

## Эразм Роттердамский Разговоры запросто



### Разговоры запросто



### ДЕЗИДЕРИЙ ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ ПРИВЕТСТВУЕТ ИОАННА ЭРАЗМИЯ ФРОБЕНА<sup>1</sup>, ПОДАЮЩЕГО НАИЛУЧШИЕ НАДЕЖДЫ

<sup>1</sup> Иоганн Эразмий Фробен (р. в 1516 г.) — младший сын знаменитого базельского печатника Иоганна Фробена (ок. 1460—1527) и крестник Эразма. Иоганн Фробен-старший был близким другом Эразма и основным его издателем (начиная с 1514 г.).

Эта книжечка, тебе посвященная, миленький мой Эразмий, превзошла все наши ожидания — теперь постарайся не обмануть их и ты.

Ее так любят, так расхватывают, так прилежно читают молодые глаза, что и отцу твоему уже много раз приходилось печатать ее сызнова, и мне пополнять все новыми добавлениями. Пожалуй, что и она — своего рода «любимчик»<sup>2</sup>, отрада тех, кто свято чтит Муз. Тем больше усилий надобно тебе приложить, чтобы оправдать имя, которое ты носишь, — чтобы ученостью и добрым нравом ты был дорог и любезен всякому порядочному человеку. И было бы очень стыдно, если бы книжечка, столь многих сделавшая и образованнее и лучше, тебе, по твоей же нерадивости, не принесла той пользы, какую через твое посредство принесла всем. Так много юношей поминает тебя с благодарностью по случаю «Разговоров», и если ты по тому же случаю меня не поблагодаришь, да еще сам, по-видимому, будешь во всем виноват — разве безосновательно назовут это люди нелепицею?

Книжечка выросла до размеров полного тома, вот и тебе надо позаботиться, чтобы, насколько прибавляется возраста, настолько прибавлялось бы и достойной образованности, и крепости нравственных правил. Не обычные ожидания связаны с тобою; исполнить их — дело необходимое, но будет намного прекраснее, если ты шагнешь дальше; обмануть эти ожидания — величайший позор. Говорю так не потому, чтобы до сих пор не был доволен твоими успехами, но с тем, чтобы прищипорить скакуна: скачи еще шибче! Вдобавок, ты как раз вступаешь в возраст, когда всего легче западают в душу семена наук и благочестия. Сделай же так, чтобы эти «Разговоры» и вправду могли называться твоими. Господь Иисус Христос да хранит юные твои годы от всяческой нечистоты и всегда да направляет тебя к наилучшей цели. Прощай.

*Писано в Базеле, в августовские календы<sup>3</sup> года 1524.*

### Опрометчивый обет



<sup>2</sup> любимчик (греч.).

<sup>3</sup> Календы — в римском календаре первый день месяца.

## Арнольд. Корнелий

- Арнольд. Здравствуй, здравствуй, Корнелий! Целый век с тобой не видались!
- Корнелий. Здравствуй и ты, дорогой приятель. Арнольд. Я уж думал, ты не вернешься. Где ты пропадал так долго?
- Корнелий. На том свете.
- Арнольд. Похоже, что и правда, — такой ты нынче у нас ободранный, тощий да бледный.
- Корнелий. Да нет, не из царства теней я к вам явился, а из Иерусалима.
- Арнольд. Какой же бог или какой ветер тебя туда занес?
- Корнелий. А что заносит туда всех остальных, а им и числа нет?
- Арнольд. Я так полагаю, что глупость.
- Корнелий. Стало быть, не мне одному зваться дураком.
- Арнольд. А чего ты там искал?
- Корнелий. Несчастья!
- Арнольд. Ну, этого и дома вдосталь. А есть ли там, по-твоему, на что поглядеть?
- Корнелий. Признаться тебе по совести, так, пожалуй, и не на что! Показывают какие-то памятники старины, но все они, на мой взгляд, вымышленные, поддельные — нарочно, чтобы заманивать легковверных простаков. Да что говорить: где Иерусалим стоял поначалу — и то, мне думается, в точности не известно!
- Арнольд. Но что же ты все-таки видел?
- Корнелий. Великое повсюду варварство!
- Арнольд. И вернулся несколько не чище?
- Корнелий. Наоборот, во много раз грязнее.
- Арнольд. Тогда, значит, богаче?
- Корнелий. Наоборот, беднее церковной крысы.
- Арнольд. А не жалеешь ты теперь о таком долгом и совсем зряшном странствии?
- Корнелий. Нет, я и не стыжусь, потому что вон сколько у меня товарищей по глупости, и не жалею, потому что жалеть уже бесполезно.
- Арнольд. Стало быть, такое трудное странствие — и никаких плодов?
- Корнелий. Плоды обильные.
- Арнольд. Какие же это?
- Корнелий. А те, что впредь житья мне будет слаще.
- Арнольд. Потому, что вспоминать о минувших тяготах приятно?
- Корнелий. Да, конечно. Но это еще не все.
- Арнольд. Есть и другая награда?
- Корнелий. Разумеется.
- Арнольд. Открой, какая.
- Корнелий. Всякий раз, как вздумается, примусь описывать свое путешествие где-нибудь на людях или за столом, и до чего же сладко будет обманывать и себя и других!
- Арнольд. Да, признаюсь, ты бьешь наверняка.
- Корнелий. И не меньше будет удовольствия послушать, как лгут другие, сочиняя небылицы о том, чего никогда не видели и не слыхали. И ведь с какою уверенностью лгут! Плетут такое, что уши вянут, а убеждены, будто говорят чистую правду!
- Арнольд. Странное удовольствие. Но ты, выходит, потрудился не попусту.
- Корнелий. Какой там попусту! По-моему, намного разумнее тех, кто за малые деньги идет в военную службу — в эту школу всяческих преступлений.
- Арнольд. Да, но черпать радость из обмана — удовольствие не из благородных.
- Корнелий. Но намного благороднее, чем забавлять других или самому забавляться злословием или же убивать время за игрою в кости.
- Арнольд. Должен с тобою согласиться.
- Корнелий. Но есть еще один добрый плод.

Арнольд. Какой?

Корнелий. Если кто из особенно близких друзей склонится к такому же безумию, я уговорю его остаться дома. Так моряки, потерпевшие кораблекрушение, всегда напоминают об опасности тем, кто намерен пуститься в плавание.

Арнольд. Ах, если бы ты и мне напомнил своевременно!

Корнелий. Что я слышу, приятель? Разве сходная болезнь постигла и тебя? Разве ты тоже заразился этой хворью?

Арнольд. Да, я побывал в Риме и в Компостелле<sup>4</sup>.

Корнелий. Боже бессмертный, какое это для меня утешение, что тебе выпало разделить со мною мою глупость! Что же за Паллада внушила тебе такие мысли?

Арнольд. Не Паллада, а сама Мория<sup>5</sup>. Ведь дома-то у меня и жена, еще в самом расцвете лет, и дети, и домочадцы, и всё держится только на мне, все кормятся моими трудами ото дня ко дню.

Корнелий. Должно быть, важная случилась причина, раз оторвала тебя от самых дорогих и близких людей. Расскажи, очень тебя прошу.

Арнольд. Стыдно рассказывать.

Корнелий. Только не передо мною: я-то, как ты знаешь, одержим тем же недугом.

Арнольд. Собралось нас несколько соседей. И вот, когда вино распалило души, кто-то и говорит, что, дескать, надумал он поклониться святому Иакову, а еще кто-то — что святому Петру<sup>6</sup>. Тотчас же остальные, один за другим, принялись клясться, что пойдут с ними вместе. Скоро оказалось, что идут все. Чтобы меня не сочли плохим собутыльником, пообещался и я. Потом, не откладывая, начали обсуждать, куда лучше идти — в Рим или в Компостеллу. Постановили: на завтра же, всем, в добрый час, отправиться и туда и сюда.

Корнелий. Ох, уж и постановление! Его бы не на меди записывать, а на вине.

Арнольд. И тут же пустили вкруговую громадную чашу, и каждый, в свой черед, осушал ее до дна и произносил нерушимый обет.

Корнелий. Странное благочестие!... Но всем ли довелось вернуться благополучно?

Арнольд. Всем, кроме троих. Один умер еще в день отбытия, поручивши нам поклониться за него Петру и Павлу. Другой скончался в Риме и велел передать поклон жене и детям. Третьего оставили во Флоренции — уже безнадежным. Я полагаю, он теперь на небесах.

Корнелий. Такой был благочестивый?

Арнольд. Что ты! Пустейший был человек.

Корнелий. Откуда же такое предположение?

Арнольд. А он доверху набил мешок самыми щедрыми индulgенциями.

Корнелий. Понятно. Но путь на небеса долгий и не вполне, как слышно, безопасный: посреди воздушной области засели разбойники.

Арнольд. Верно. Но он-то вполне надежно защищен грамотами.

Корнелий. А каким языком они писаны?

Арнольд. Римским.

Корнелий. Стало быть, опасаться нечего?

Арнольд. Нечего. Разве что натолкнется на гения, который не знает по-латыни. Тогда

---

<sup>4</sup> Компостелла (точнее Сантьяго-де-Компостела) — город на северо-западе Испании, столица бывшего королевства Галисия. По преданию, там погребено тело апостола Иакова, покровителя Испании. Собор в честь апостола Иакова в Компостелле был одним из важнейших в христианском мире центров паломничества.

<sup>5</sup> Мория — Глупость (греч.), как противоположность Афине Палладе, греческой богине мудрости.

<sup>6</sup> По традиционной хронологии, апостол Петр был казнен 29 июня 65 года в Риме. Вместе с ним, как гласит предание, был казнен апостол Павел.

надо будет возвращаться в Рим и хлопотать о новой грамоте.

Корнелий. А там и мертвым продают буллы?

Арнольд. Сколько угодно!

Корнелий. Но пока я должен тебе внушить, чтобы ты не болтал лишнего: кругом полно доносчиков, точно в Корике<sup>7</sup>.

Арнольд. Да ведь я нисколько не против индульгенций, я только смеюсь над глупостью моего собутыльника, который всегда был пустозвон из пустозвонов, а все надежды на спасение души, как говорится, утвердил и возвел на листах пергамена, вместо того чтобы исправлять свои пороки... А когда можно насладиться удовольствием, которое ты упоминал?

Корнелий. Как выпадет случай — устроим пирушку, созовем людей нашего круга и будем состязаться во лжи, да и чужих врак наслушаемся вдоволь.

Арнольд. Очень хорошо.

### В поисках прихода



#### Памфаг. Коклит

Памфаг. Либо в глазах у меня туман, либо я вижу Коклита, старого своего собутыльника.

Коклит. Нет, глаза тебя не обманывают: перед тобою закадычный твой друг. Никто уж и не чаял, что ты вернешься, — ведь столько лет тебя не было, и ни одна живая душа не знала, в каких ты краях. Откуда ж теперь? Скажи, сделай милость.

Памфаг. От антиподов.

Коклит. Скорее, по-моему, с Островов Блаженных.

Памфаг. Как приятно, что ты узнал друга. А я боялся, как бы мое возвращение не было похоже на возвращение Улисса<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Корик — портовый город в Киликии (области Малой Азии), которая в древности была пиратским гнездом. Про жителей этого города шла дурная слава, — будто они выспрашивали у путников и мореходов, куда и когда те намерены плыть, а потом доносили пиратам, которые делились с доносчиками добычей.

<sup>8</sup> см. Гомер, «Одиссея», XVI сл.

Коклит. А что с ним случилось, с этим Улиссом?

Памфаг. Жена и та его не узнала. Только собака, совсем уже старая, признала хозяина и вильнула хвостом.

Коклит. Сколько лет он пробыл в отсутствии?

Памфаг. Двадцать.

Коклит. А ты еще больше, и все-таки твое лицо сразу мне показалось знакомым. Но кто же это рассказывает про Улисса?

Памфаг. Гомер.

Коклит. А-а, как про него говорят, отец всяческих вымыслов! А может, супруга тем временем приискала себе другого быка и потому как раз и не узнала своего Улисса?

Памфаг. Наоборот — чище ее на свете не было и нет! Просто Паллада прибавила Улиссу возраста, чтобы его не признали.

Коклит. Но в конце-то концов признали?

Памфаг. Да, по бугорку на пальце ноги<sup>9</sup>. Его заметила нянька, ветхая старуха, когда мыла гостю ноги.

Коклит. Подумать только, настоящая ламия<sup>10</sup>. А ты дивишься, что я узнал тебя по твоему приметному носу!

Памфаг. Я своим носом вполне доволен.

Коклит. Еще бы тебе быть недовольным таким орудием, годным на любую потребу!

Памфаг. На какую ж именно?

Коклит. Во-первых, гасить свечи, словно бы рогом<sup>11</sup>.

Памфаг. Дальше.

Коклит. Потом, если надо вычерпнуть влагу из глубокой впадины, он будет тебе наместо хобота.

Памфаг. Вот те раз!

Коклит. Если будут заняты руки, обопрешься на пего, как на посох.

Памфаг. И это всё?

Коклит. Нет. Раздуюшь им жаровню, если не случится под рукою мехов.

Памфаг. Отлично рассказываешь. Еще что?

Коклит. Если солнце помешает писать, он послужит тебе зонтом.

Памфаг. Ха-ха-ха! Ты уж все выложил?

Коклит. В морском бою послужит багром. Памфаг. А в сухопутном?

Коклит. Щитом.

Памфаг. А еще?

Коклит. Придет нужда расколоть дерево — он будет клином.

Памфаг. Дельно.

Коклит. Ты станешь герольдом — он трубою, ты горнистом — он горном, ты землекопом — он заступом, ты жнецом — он серпом, ты мореходом — он якорем. На кухне он будет вилкою, за рыбною ловлею — крючком.

Памфаг. Однако мне повезло! Я и не знал, что ношу с собою такую снасть, годную на все случаи жизни.

Коклит. Какой же все-таки уголок земли тебя приютил?

Памфаг. Рим.

Коклит. У всех на глазах — и никто не знал, что ты жив! Как это могло случиться?

---

<sup>9</sup> У Гомера — по шраму на колене; ошибку, несомненно, следует отнести не на счет Эразма, а на счет его простоватого героя.

<sup>10</sup> Ламия — в греческой мифологии страшная старуха, которой пугали детей, некое подобие бабы-яги.

<sup>11</sup> Гасильником для свечей обычно служил полый рог.

Памфаг. Именно у всех на глазах и пропадают порядочные люди, так что часто среди бела дня на битком набитой площади никого не увидишь<sup>12</sup>.

Коклит. Стало быть, ты возвращаешься к нам, нагруженный приходами?

Памфаг. Охотился-то я с усердием, но Делия<sup>13</sup> была не слишком милостива. А все оттого, что там большею частью рыбку ловят, как говорится, золотым крючком.

Коклит. Глупо.

Памфаг. И тем не менее кое у кого получалось прекрасно. Но, конечно, не у всех.

Коклит. Разве не явные глупцы те, кто золото променивает на свинец<sup>14</sup>?

Памфаг. Ты не понимаешь, что в освященном свинце таятся золотые жилы.

Коклит. Так что же, ты вернулся к нам прежним Памфагом-Прожорою<sup>15</sup>?

Памфаг. Нет.

Коклит. Кем же?

Памфаг. Волком с разинутою понапрасну пастью.

Коклит. Лучше бы вернуться ослом, изнемогающим под грузом приходов. Но почему приход ты предпочитаешь жене?

Памфаг. Потому что мне люб покой, нравится эпикурейская жизнь.

Коклит. На мой взгляд, слаще живет тот, у кого под боком молодая и милая женка, и он обнимается с нею, когда захочет.

Памфаг. Только прибавь: иной раз — и когда не захочет. А я люблю удовольствие непрерывное. Кто взял жену, счастлив один месяц; кому достался богатый приход, наслаждается и радуется всю жизнь.

Коклит. Но одиночество печально! Даже Адаму в раю было бы не сладко, если б господь не соединил его с Евою.

Памфаг. Был бы приход побогаче, а Ева всегда найдется.

Коклит. Но тебе ведомо, что удовольствие не в удовольствии, если оно сопряжено с дурною славою и нечистой совестью.

Памфаг. Ты прав, и потому я намерен разгонять Печаль одиночества, беседуя с книгами.

Коклит. Да, приятнее этих друзей нет. Но вернешься ли ты к своей рыбной ловле?

Памфаг. Вернусь, если удастся раздобыть новую наживку.

Коклит. Золотую или серебряную?

Памфаг. Хоть какую из двух.

Коклит. Не сомневайся — отец даст тебе все, что нужно.

Памфаг. Он страшный скряга! Да и не поверит он в другой раз, когда узнает, что я не сберег его денег.

Коклит. Таков уж закон игры.

Памфаг. Но он в эту игру не играет.

Коклит. Если он не даст, я укажу тебе, откуда можно взять столько денег, сколько сам пожелаешь.

Памфаг. Какая радость! Указывай скорее, у меня уже сердце прыгает.

Коклит. Пожалуйста, когда угодно.

---

<sup>12</sup> Намек на известный анекдот о Диогене, который днем расхаживал по городу, держа в руках зажженный фонарь, и на вопрос, что он делает, отвечал: «Ищу человека».

<sup>13</sup> Делия — то есть Делосская — греческая богиня охоты Артемида, местом рождения которой считался остров Делос.

<sup>14</sup> Имеются в виду свинцовые печати, которыми скреплялись папские грамоты.

<sup>15</sup> «Памфаг» по-гречески «всеядный».

Памфаг. Ты нашел клад?

Коклит. Если бы нашел, то для себя, не для тебя.

Памфаг. Наскрести бы сотню дукатов — и надежда оживет.

Коклит. Да я тебе показываю, откуда можешь позаимствовать хоть сотню тысяч!

Памфаг. Что же ты меня не осчастливишь? Не томи меня дольше! Говори, откуда!

Коклит. Из Будеева «Асса»<sup>16</sup>. Там найдешь неисчислимые мириады, хочешь в золотой монете, хочешь в серебряной.

Памфаг. Поди-ка ты со своими шутками сам знаешь куда! А из той сокровищницы я уплачу тебе свой долг.

Коклит. Конечно, но ровно столько, сколько я тебе сперва из нее же и отсчитаю.

Памфаг. Теперь я вижу, что ты просто зубоскал.

Коклит. Что ж, у кого нос, а у кого и зубы.

Памфаг. Шутить в важном деле — это зубоскальство, и ничего больше. Тут впору скрежетать зубами, а не скалиться. Будь ты на моем месте, ты б не шутил. А ты из меня делаешь посмешище.

Коклит. Да я и не думаю насмеяться! Я говорил от души и спроста.

Памфаг. Спроста! Врешь — и не покраснеешь, и глазом не моргнешь. Но мне бы не мешкать, а отправляться домой — узнать, как там и что.

Коклит. Застанешь очень много нового.

Памфаг. Это понятно. Главное — чтобы ничего огорчительного!

Коклит. Желать никому не возбраняется, да только ни у кого еще не сбывалось такое желание.

Памфаг. Нот еще какую пользу принесет каждому из нас путешествие: после приятнее будет дома.

Коклит. Не уверен. Я вижу, как люди ездят в Рим и по семь раз. Эта чесотка, если уж нападет, так зудит и зудит — без конца.

### Исповедь солдата



<sup>16</sup> Из Будеева «Асса». — Будей — латинизированная фамилия Гильома Бюде (1467—1540), одного из виднейших французских гуманистов, друга Эразма. Главный его труд — исследование денежной системы Древнего Рима; оно называлось «Об ассе» (ассе — римская медная монета).



## Ганнон. Трасимах 17

Ганнон. Откуда к нам, Трасимах? Уходил ты Меркурием, а возвращаешься Вулканом.

Трасимах. Какие там еще Меркурии, какие Вулканы? О чем ты толкуешь?

Ганнон. Да как же: уходил — будто на крыльях улетал, а теперь хромаешь<sup>18</sup>.

Трасимах. С войны так обычно и возвращаются.

Ганнон. Что тебе война — ведь ты пугливее серны!

Трасимах. Надежды на добычу сделали храбрецом.

Ганнон. Значит, несешь уйму денег?

Трасимах. Наоборот, пустой пояс<sup>19</sup>.

Ганнон. Зато груз необременительный.

Трасимах. Но я обременен злодеяниями.

Ганнон. Это, конечно, груз тяжелый, если верно сказано у пророка<sup>20</sup>, который грех зовет свинцом.

Трасимах. Я и увидел и совершил сам больше преступлений, чем за всю прошлую жизнь.

Ганнон. Понравилось, стало быть, воинское житье?

Трасимах. Нет ничего преступнее и злополучнее!

Ганнон. Что же взбредает в голову тем, которые за плату, а иные и даром, мчатся на войну, будто на званый обед?

Трасимах. Не могу предположить ничего иного, кроме одного: они одержимы фуриями, целиком отдались во власть злему духу и беде и явно рвутся в преисподнюю до срока.

Ганнон. Видимо, так. Потому что для достойного дела их не наймешь ни за какие деньги. Но опиши-ка нам, как происходило сражение и на чью сторону склонилась победа.

Трасимах. Стоял такой шум, такой грохот, гудение труб, гром рогов, ржание коней, крики людей, что я и различить ничего не мог — едва понимал, на каком я свете.

Ганнон. А как же остальные, которые, вернувшись с войны, расписывают всё в подробностях, кто что сказал или сделал, точно не было такого места, где бы они не побывали досужими наблюдателями?

Трасимах. Я убежден, что они лгут почем зря. Что происходило у меня в палатке, я знаю, а что на поле боя — понятия не имею.

Ганнон. И того даже не знаешь, откуда твоя хромота?

Трасимах. Пусть Маворс<sup>21</sup> лишит меня наперед своей благосклонности — пожалуй, что нет. Скорее всего, камень угодил в колено или конь ударил копытом.

Ганнон. А я знаю.

Трасимах. Знаешь? Разве тебе кто рассказал?

Ганнон. Нет, сам догадался.

Трасимах. Так что же?

Ганнон. Ты бежал в ужасе, грохнулся оземь и расшиб ногу.

Трасимах. Провалиться мне на этом месте, если ты не попал в самую точку! Твоя

<sup>17</sup> Это греческое имя означает примерно «храбрый воитель».

<sup>18</sup> Меркурия (Гермеса), вестника богов, древние изображали обутом в крылатые сандалии; Вулкан (Гефест), бог кузнечного ремесла, был, по их представлениям, хромцом.

<sup>19</sup> Носить деньги в поясе — обычай римских легионеров.

<sup>20</sup> «Книга пророка Захарии», V, 7—8.

<sup>21</sup> Маворс — архаическая форма имени римского бога войны Марса.

догадка так похожа на правду!

Ганнон. Ступай домой и расскажи жене о своих победах.

Трасимах. Не слишком сладкой песнею она меня встретит, когда увидит, что муж возвращается наг и бос.

Ганнон. Но как ты возместишь то, что награбил?

Трасимах. А я уж возместил.

Ганнон. Кому?

Трасимах. Потаскухам, виноторговцам и тем, кто обыграл меня в кости.

Ганнон. Вполне по-военному. Худо нажитое пусть сгинет еще хуже — это справедливо. Но от святотатства, я надеюсь, вы все-таки удержались.

Трасимах. Что ты! Там не было ничего святого. Ни домов не щадили, ни храмов.

Ганнон. Каким же образом ты искупишь свою вину?

Трасимах. А говорят, что и не надо ничего искупать — дело ведь было на войне, а на войне что бы ни случилось, всё по праву.

Ганнон. Ты имеешь в виду — по праву войны?

Трасимах. Верно.

Ганнон. Но это право — сама несправедливость! Тебя повела на войну не любовь к отечеству, а надежда на добычу.

Трасимах. Не спорю и полагаю, что не многие явились туда с более чистыми намерениями.

Ганнон. Все же утешение: не один безумствуешь, а вместе со многими.

Трасимах. Проповедник с кафедры объявил, что война справедливая.

Ганнон. Кафедра лгать не привычна. Но что справедливо для государя, не обязательно справедливо и для тебя.

Трасимах. Слышал я от людей ученых, что каждому дозволено жить своим ремеслом.

Ганнон. Хорошо ремесло — жечь дома, грабить храмы, насиловать монашек, обирать несчастных, убивать невинных!

Трасимах. Нанимают же мясников резать скотину, — за что тогда бранить наше ремесло, если нас нанимают резать людей?

Ганнон. А тебя не тревожило, куда денется твоя душа, если тебе выпадет погибнуть на войне?

Трасимах. Нет, не очень. Я твердо уповал на лучшее, потому что раз навсегда поручил себя заступничеству святой Варвары.

Ганнон. И она приняла тебя под свою опеку?

Трасимах. Да, мне показалось, что она чуть-чуть кивнула головой.

Ганнон. Когда это тебе показалось? Утром?

Трасимах. Нет, после ужина.

Ганнон. Но об ту пору тебе, верно, казалось, что и деревья разгуливают.

Трасимах. Как он обо всем догадывается — поразительно!... Впрочем, особенную надежду я возлагал на святого Христофора и каждый день взирал на его лик.

Ганнон. В палатке? Откуда там святые?

Трасимах. А я нарисовал его на парусине углем.

Ганнон. Вот уж, конечно, не липовая, как говорится, была защита — этот угольный Христофор. Но шутки в сторону: я не вижу, как ты можешь очиститься от такой скверны, разве что отправишься в Рим.

Трасимах. Ничего, мне известна дорога покороче.

Ганнон. Какая?

Трасимах. Пойду к доминиканцам и там задешево все улажу.

Ганнон. Даже насчет святотатства?

Трасимах. Даже если бы ограбил самого Христа да еще и голову бы ему отсек вдобавок! Такие щедрые у них индульгенции и такая власть все устраивать и утишать.

Ганнон. Хорошо, если бог утвердит ваш уговор.

Трасимах. Я о другом беспокоюсь — что диавол не утвердит. А бог от природы жалостлив.

Ганнон. Какого выберешь себе священника?

Трасимах. Про которого узнаю, что он самый бесстыжий и беззаботный.

Ганнон. Чтобы, значит, дым с чадом сошлись, как говорится? И после этого будешь чист и причастишься тела господня?

Трасимах. Почему же нет? Как только выплесну всю дрянь к нему в капюшон, тотчас станет легко. Кто отпустил грехи, тот пусть дальше об них и думает.

Ганнон. А как ты узнаешь, что отпустил?

Трасимах. Да уж узнаю.

Ганнон. По какому признаку?

Трасимах. Он возлагает руки мне на голову и что-то там бормочет, не знаю что.

Ганнон. А что, если он оставит все твои прегрешения на тебе и, когда возложит руку, пробормочет так: «Отпускаю тебе все добрые дела, коих не нашел за тобою ни единого, и каким встретил тебя, таким и провожаю»?

Трасимах. Это его дело. Мне достаточно верить, что я получил отпущение.

Ганнон. Но такая вера опасна. Быть может, для бога, которому ты должник, ее недостаточно.

Трасимах. Откуда ты взялся на моем пути, чтобы ясную мою совесть затуманивать облаками?

Ганнон. Счастливая встреча: друг с добрым советом — добрая примета в пути.

Трасимах. Может, она и счастливая, но не слишком приятная.

### Хозяйские распоряжения



Рабин <sup>22</sup>. Сир

Рабин. Эй, ты, висельник, я уже охрип от крика, а ты все не просыпаешься! Мне кажется, тебе впору состязаться с тою тварью, что зовется соней. Или быстрее вставай, или я

<sup>22</sup> Рабин. — Этим вымышленным именем в «Разговорах» обозначаются обыкновенно доктора богословия. В «Диалоге о правильном произношении, латинском и греческом» Эразм сообщает, что «Наш учитель» (почетный титул доктора богословия) — это перевод еврейского «раввин».

дубиною выбью из тебя сон! Когда ж ты наконец проспишь вчерашний хмель? Неужто не стыдно тебе, сонливец, храпеть среди бела дня? У добрых слуг заведено подняться до зари да позаботиться, чтобы хозяин чуть глаза открыл — а уж все готово! Насилу растается с нагретым гнездом, кукушка! Пока чешет голову, пока потягивается, пока зевает — целый час пройдет.

Сир. Да едва рассвело.

Рабин. Ну разумеется! По-твоему, так еще глубокая ночь!

Сир. Что велишь делать?

Рабин. Разожги жаровню. Отряхни шапку и плащ. Оботри башмаки и туфли. Штаны выверни наизнанку и сперва вычисти щеткой изнутри, потом снаружи. Освежи воздух каким-нибудь курением. Засвети лампу. Перемени мне рубаху, грязную выстирай и высуши над огнем, да смотри дымом не закопти.

Сир. Ладно.

Рабин. Да двигайся ты поживее! Другой на твоём месте все бы уже сделал.

Сир. Двигаюсь.

Рабин. Вижу, что двигаешься. А вперед нисколько не подвигаешься. По-черепашьи.

Сир. «Не могу одновременно дуть и втягивать в себя!»<sup>23</sup>

Рабин. Он еще пословицами изъясняется, кровопийца! Вынеси горшок. Прибери постель, раздвинь занавеси. Подмети прихожую, подмети пол в спальне. Принеси воды умыть руки. Что ты копаешься, осел? Год тебе надобен, чтобы свечу зажечь!

Сир. Едва нашел уголек.

Рабин. Так, стало быть, вчера запрятал.

Сир. И меха у меня нет.

Рабин. Как он спорит, бездельник! А легкие тебе на что даны?

Сир. Какой властный у меня хозяин! Столько наприказывал, что и десятку слуг разом не справиться.

Рабин. Что ты там говоришь, медлитель?

Сир. Ничего. Все в порядке.

Рабин. Мне разве послышалось, как ты что-то бормочешь?

Сир. Это я молюсь.

Рабин. «Отче наш», поди, коверкаешь. Или «Молитву господню» уродуешь. А про власть что ворчал?

Сир. Молюсь, чтобы господь даровал тебе императорскую власть.

Рабин. А я — чтобы он из болвана сделал тебя человеком. Проводи меня в церковь. Потом бегом домой. Все расставь по местам. Дом пусть так и сияет чистотою! Горшок чтобы блестел! Всякую неопрятность — с глаз долой: меня может навестить кто-нибудь из придворных. Если замечу какое упущение, будешь избит, как пес!

Сир. Да уж я хорошо знаю твою доброту.

Рабин. А коли знаешь, так берегись.

Сир. Но ты еще не словом не обмолвился насчет завтрака.

Рабин. Вот что у него на уме, у висельника! Нынче утром я дома не ем. В десятом часу прибежишь ко мне и отведешь туда, где я буду завтракать.

Сир. Тебя там накормят, а у меня здесь вовсе нет еды.

Рабин. Нет еды — зато есть аппетит.

Сир. Аппетитом еще никто сыт не бывал.

Рабин. А вот хлеб!

Сир. Да, но какой? Черный, с отрубями!

Рабин. Подумайте, что за неженка! Ты бы сено должен жевать — вот пища, которой ты заслуживаешь. Или тебя, осла этакого, пирогами прикажешь потчевать? Коли один хлеб в

<sup>23</sup> Плавт, «Привидение», 791.

глотку не идет, прибавь порея или, ежели угодно, луку.

Рабин. Ступай на рынок.

Сир. В такую даль?

Рабин. До рынка три шага, но для тебя, ленивца, это две мили. Погоди, я вылечу тебя от лени! Поручений даю много — считай по пальцам, чтобы лучше запомнить. Первым делом завернешь к портному и возьмешь от него сборчатый камзол, если платье уже готово. Потом поищешь Корнелия, гонца. Он большею частью пьянствует в «Олене». Спросишь, нет ли писем для меня и когда он собирается в дорогу<sup>24</sup>. Потом зайдешь к булочнику и от моего имени попросишь не беспокоиться, что я не прислал денег к назначенному сроку, — в ближайшее время будет уплачено.

Сир. Когда? В греческие календы<sup>25</sup>?

Рабин. Насмехаешься, обжора? Нет, еще до мартовских календ! На возвратном пути свернешь влево и узнаешь у книгопродавца, нет ли новых книжек из Германии<sup>26</sup>. Выясни, какие именно и по какой цене. После этого попросишь Гокления пожаловать к моему столу — иначе, дескать, хозяин будет обедать в одиночестве.

Сир. Еще и гостей зовешь? Да у тебя в доме мышь и ту нечем накормить!

Рабин. Вот ты и зайди к мяснику, когда исполнишь остальное, и купи нам баранью лопатку. И отменно ее зажаришь. Все слышал?

Сир. Больше, чем хотелось бы.

Рабин. Да смотри ничего не забудь.

Сир. Хорошо, если половину упомяну.

Рабин. Ты еще здесь, медлитель? Другой бы на твоём месте уже вернулся?

Сир. Кто может справиться один с такою уймою дел? Я проводи, я и встречу. Я ему и за метельщика, и за горшконоса, и за скорохода, и за штопальщика, и за виночерпия, и за книгоношу, и за счетовода, и за мальчика на побегушках, и даже за цепного пса! А теперь надо стать еще и поваром — иначе он скажет, что у меня слишком много досуга.

## Внушения наставника

---

<sup>24</sup> Почты еще не существовало, и письма пересылались либо с оказией, либо — чаще — с нарочными (гонцами), взимавшими за свои труды немалое вознаграждение.

<sup>25</sup> Соответствует русскому «на турецкую пасху»: календы — чисто римское понятие.

<sup>26</sup> Следует иметь в виду, что речь идет не о слуге типа гоголевского Петрушки или Осипа, но о прислужнике-ученике, состоящем в услужении у ученого хозяина и совмещающем обязанности собственно слуги и секретаря.



### Наставник. Мальчик

Наставник. Можно подумать, что ты родился не при дворе, а па дворе, — на скотном дворе, я имею в виду, — до того скверно ты воспитан. Мальчику хорошего происхождения подобают и хорошие манеры. Если с тобою заговорил человек, которого ты обязан уважать, встань, выпрямись, обнажи голову. Лицо не должно быть ни грустным, ни мрачным, ни бесстыдным, ни дерзким, ни переменчивым, но веселым и, вместе с тем, скромным; взгляд — робкий и постоянно устремлен на собеседника; ноги сдвинуты, руки неподвижны. Не топчись на месте, не размахивай руками, не закусывай губы, не чешись в голове, не ковыряй в ушах. И платье на себе приведи в пристойный вид, чтобы и убранство твое, и обличие, и поза сразу обнаруживали прирожденную скромность и застенчивость.

Мальчик. Можно попробовать?

Наставник. Пробуй.

Мальчик. Так?

Наставник. Нет, еще худо.

Мальчик. А если так?

Наставник. Гораздо лучше.

Мальчик. А если так?

Наставник. Гм, пожалуй, довольно. И еще запомни: помалкивай, не болтай наобум. И не будь рассеян, но слушай внимательно, что тебе говорят. Если надобно ответить, отвечай кратко и вразумительно. Повторяй почаще титул собеседника, иногда прибавь имя — в знак почтения. И время от времени слегка кланяйся, в особенности — как закончишь ответ. Не уходи, не попросивши извинения, а еще лучше — дождись, пока тебя отпустят. Теперь давай посмотрим, что у нас получится... Как долго ты не был дома?

Мальчик. Почти полгода уже, господин мой.

Наставник. И не скучаешь по матери?

Мальчик. Часто.

Наставник. Хочешь с нею повидаться?

Мальчик. Хочу, господин мой, с твоего позволения.

Наставник. Тут надо было поклониться. Хорошо. Вот так и продолжай. Когда говоришь, не торопись, не запинаясь, не бормочи, по произноси слова отчетливо, ясно, членораздельно. Если проходишь мимо кого-ни-Будь из старших, мимо городского

правителя, священника, доктора<sup>27</sup> или иного уважаемого человека, не забудь снять шляпу, не поленись преклонить колено. И то же самое — когда проходишь мимо храма или изображения креста. За столом будь весел, но постоянно помни, что прилично твоему возрасту, а что нет. Руку к блюду протягивай самым последним. Если предлагают пышное угощение, скромно откажись; если настаивают — прими и благодари. Взявши самую малость, остальное тут же возврати или передай соседу. Если кто поднял чашу, весело пожелай ему здоровья, но сам пей умеренно. Если жажды и нет, все равно пригуби. Беседующим улыбайся, но сам молчи, пока с тобою не заговорят. Если услышишь что непристойное, не смейся, но сделай вид, будто не понял. Никого не старайся унижить, ни перед кем не выставляйся, своим не хвастайся, чужим не пренебрегай. Будь приветлив и с бедными товарищами. Никого не осуждай. Язык держи за зубами. Тогда все будут тебя хвалить и никто не позавидует, тогда и друзьями обзаведешься. Если увидишь, что пир затягивается, проси извинения, прощайся с гостями и уходи из-за стола. Помни о времени.

Мальчик. Постараюсь, наставник. Что еще прикажешь?

Наставник. Теперь берись за книги. Мальчик, Хорошо.

### Мальчишеские забавы



#### Николай. Иероним. Коклит. Наставник

Николай. Уж давно и душа, и ясное небо, и теплый день зовут поиграть.

Иероним. Они-то все зовут, зато учитель не зовет.

Николай. Надо отрядить к нему посла — пусть вырвет позволение.

Иероним. Вот верное слово — «вырвет»! Скорее дубину вырвешь из руки Геркулеса, чем у этого — позволение поиграть. А ведь когда-то был такой жадный до игры — жаднее всех!

Николай. Правда, но он уже сколько лет, как не помнит, что и сам был мальчишкой. На розги он скорый и щедрый до изумления, а тут — скупец из скупцов, ни за что с ним не столкнешься.

Иероним. Значит, посла надо выбрать побойчее, чтобы не сбежал от первого же резкого слова.

<sup>27</sup> Имеется в виду ученая степень доктора богословия, прав или медицины.

Николай. Пусть идет кто хочет, а я предпочитаю сидеть взаперти, лишь бы не просить.

Иероним. Никто так не годится для этого дела, как Коклит!

Николай. Ну, конечно! Он не из робкого десятка, и язык у него хорошо подвешен. И нрав учительский к тому же постиг до тонкостей.

Иероним. Пойди, Коклит, мы все будем у тебя в долгу.

Коклит. Постараюсь изо всех сил, можете не сомневаться. Но если ничего не выйдет, чур вину на посла не валить!

Иероним. Смелее, соберись с духом! Или мы тебя плохо знаем, или ты своего добьешься. Ступай просителем, возвращайся победителем.

Коклит. Иду. Меркурий да ниспошлет удачу моему посольству... Здравствуй, учитель!

Наставник. Что ему нужно, шалопаю?

Коклит. Здравствуй, почтеннейший учитель!

Наставник. Подозрительная вежливость. Я и так здоров. Говори, что надо.

Коклит. Весь круг твоих учеников просит разрешения поиграть.

Наставник. Только и делаете, что играете, и даже без всякого разрешения.

Коклит. Ведомо твоей мудрости, что умеренною игрою пробуждается живость ума, — так, по крайней мере, учишь нас ты, ссылаясь на Квинтилиана<sup>28</sup>.

Наставник. А ты, конечно, запоминаешь только то, что тебе на пользу. В предыдущее нуждаются прилежные труженики. А вы учитесь кое-как, зато играете с большим усердием. Тут бы не ослаблять поводья, а натянуть потуже.

Коклит. Налеем, как можем. А если что было упущено прежде, вперед всё возместит старание.

Наставник. Еще бы!... Ну, а кто выступит поручителем, что так оно именно и будет?

Коклит. Готов без колебаний поручиться собственной головою.

Наставник. Скорее — задом. Знаю, что верить тебе опасно, но все-таки рискну: посмотрим, способен ли ты держать слово. Если обманешь, больше со мною ни о чем и говорить не смей. Пусть играют, но только все вместе и в поле. Чтобы никаких попок или чего иного, еще похуже! И чтобы домой вернуться вовремя, до заката!

Коклит. Так и будет... Упросил, но с каким трудом!

Иероним. Ах ты наш голубчик! Любимчик ты наш!

Коклит. Только смотрите, чтобы ни в чем не проштрафиться! А не то он, как говорится, семь шкур с меня спустит. Я поручился за всех, и, стало быть, если что случится, не быть мне уже никогда вашим ходатаем.

Иероним. Будем смотреть в оба. Но во что бы нам лучше всего поиграть?

Коклит. Об этом посоветуемся в поле.

### [Мяч]

Николай. Ничто не развивает всего тела так хорошо, как ручной мяч<sup>29</sup>, но летняя пора для этого не годится: зима способнее.

Иероним. Для игры все времена года хороши!

Николай. Мы меньше вспотеем, если возьмем сетки.

Иероним. Нет уж, сетки оставим рыбакам! Ладонью бить лучше.

<sup>28</sup> Квинтилиан — Марк Фабий Квинтилиан (I в. н. а.), римский теоретик красноречия, автор сочинения «О воспитании оратора», где затронуты и вопросы физического воспитания.

<sup>29</sup> Распространенная в XV—XVI вв. игра, предок современного тенниса. Играли в нее твердым сплошным мячом на прямоугольной, отовсюду огороженной площадке, обычно в закрытом помещении. Били первоначально ладонью, позже — двойной перчаткой, еще позже появляются ракетки (сперва это была все та же перчатка с растянутой вокруг нее сеткою на жестком ободе; именно о таких перчатках с сетками идет речь чуть ниже).



Николай. Ладно, я не против. А на что играем?

Иероним. Можно на щелчки: деньги целее будут.

Николай. Ну, нет, мне лоб дороже денег.

Иероним. И мне тоже. А потом в состязании должна быть хоть какая-то опасность, без нее игра мигом засохнет.

Николай. Вот то-то и оно.

Иероним. Какая сторона выиграет трижды, получает от побежденных шестую часть драхмы<sup>30</sup>. Но с тем условием, чтобы выигрыш целиком истратить на пирушку и пригласить всех, кто играл.

Николай. Прекрасное условие. Утверждается! Теперь осталось только бросить жребий, чтоб разбиться по сторонам. Силы у всех почти поровну, и, значит, не так уж важно, кто с кем.

Иероним. Но ты намного опытнее меня!

Николай. Допустим. Зато ты удачливее.

Иероним. Разве и тут имеет вес удача?

Николай. Она правит повсюду.

Иероним. Что же, бросаем жребий. Ура! Отлично выпало! Кого я хотел, те мне и достались.

Николай. И мы на своих товарищей жаловаться не станем.

Иероним. Ну, будем мужчинами! «Победа любит усердие». Каждый зорко оберегай свое место! Ты стой здесь, позади меня, и будешь перехватывать мяч, если я пропущу, а ты — здесь: если мяч отобьют, снова вернешь его назад.

Николай. Тут и мухе не пролететь!

Иероним. В добрый час! Подавайте! Но кто подает без предупреждения, теряет подачу.

Николай. Тогда вот — держи.

Иероним. Бей! Если пробьешь за край площадки или ниже, или же выше «дома», это проигранные очки или, во всяком случае, не выигранные. Не слишком же ловко ты подал.

Николай. Да, для тебя. А для нас очень ловко.

Иероним. Как ты мне, так и я тебе. Получай по заслугам. Но лучше бы играть честно и правильно.

Николай. Да, славно победить по правилам искусства.

Иероним. Разумеется. И не только в игре, но и в бою. Но правила в обоих случаях неодинаковые. А искусства бывают не только свободные<sup>31</sup>.

Николай. И несвободных больше семи, я полагаю. Отметь заднюю линию черепком или камешком, или, если хочешь, своею шапкой.

Иероним. Лучше твоею.

Николай. Принимай-ка снова мяч.

Иероним. Подавай. Веди счет.

Николай. Наша задняя линия очень далеко от вашей.

Иероним. Как ни далеко, а достать все-таки можно.

Николай. Конечно, можно, если никто на пути не встанет.

Иероним. Ура! Первую мету обогнули<sup>32</sup> — у нас пятнадцать! Эй, докажите же, что вы

<sup>30</sup> Драхма — древнегреческая монета; шестая ее часть — обол, мелкая медная монетка.

<sup>31</sup> Круг наук, изучавшихся в школах и на общеобразовательных факультетах средневековых университетов, носил название «семи свободных (то есть приличествующих свободному человеку) искусств». «Искусства» эти разделялись на два цикла: тривиум (трехпутье), включавший грамматику, риторику, диалектику, и квадривиум (четырёхпутье) — арифметика, астрономия, музыка и геометрия.

<sup>32</sup> В древности, состязаясь в беге или в ристаниях на колесницах, участники состязаний должны были определенное число раз обогнуть столбы (меты), установленные ж противоположных концах стадиона или ипподрома.

мужчины! Не бросал бы ты своего места — мы бы снова выиграли! А теперь сравнялись.

Николай. Ненадолго. У нас тридцать! У нас сорок пять!

Иероним. Сестерциев<sup>33</sup>?

Николай. Нет.

Иероним. А чего же?

Николай. Очков.

Иероним. К чему они вам? Вы разве ослепли?

Николай. Игра наша!

Иероним. Сперва победы, а потом уж труби триумф! Случалось, при таком счете выигрывали и те, кто еще ничего не набрал. В игре превратности такие же, как на войне. Вот у нас и тридцать. Вот уже снова поровну.

Николай. Вот теперь пошло всерьез. Отлично! Мы впереди!

Иероним. Долго не продержитесь! Что я говорил? Опять сравнялись!

Николай. Что-то долго колеблется Судьба, словно никак не решится, кому присудить победу. О, Судьба-Судьбина, если будешь к нам благосклонна, дадим тебе муженька! Ура, услышала наш обет! Мы выиграли! Отметь-ка мелом, чтобы не забылось.

Иероним. Скоро вечер, да и вспотели мы изрядно. Пора заканчивать. Ничего сверх меры<sup>34</sup>! Сочтемте-ка прибыль.

Николай. Мы выиграли три драхмы, вы — две, на выпивку, значит, остается одна. Да, кстати, а за мячи кто будет платить?

Иероним. Все вместе, каждый свою долю: из прибыли ничего отнимать нельзя — слишком он скудный.

### [Ядро]

#### Адольф. Бернард. Судьи

Адольф. Сколько раз ты передо мною похвалялся, будто с ядром прямо-таки чудеса творишь. Что же, давай испытаем, каков ты мастер.

Бернард. Пожалуйста, коли тебе угодно. Только ведь ты, как говорится, бросаешь рыбу в реку.

Адольф. Ну, так ты узнаешь, что и я — не лягушка.

Бернард. Угодна тебе мономахия, то есть сойдемся один на один, или ты предпочел бы разделить риск с товарищами по игре?

Адольф. Нет, предпочитаю &#956;&#959;&#965;o&#956;a&#967;&#949;&#953;&#965;<sup>35</sup>, чтобы ни с кем не делиться победою.

Бернард. И я — тоже, чтобы слава была моею сполна.

Адольф. А вот они будут зрителями и судьями.

Бернард. Согласен. Но победителю какая награда и какое побежденному наказание?

Адольф. Побежденному отсечь ухо! Как по-твоему?

Бернард. Не лучше ль вырезать яйцо? На деньги состязаться неблагородно. Ты германец, я француз. Давай сразимся на похвалу своему народу. Если победа будет моя, ты трижды воскликнешь: «Да здравствует Франция!» Если твоя — от чего избави бог, — я

<sup>33</sup> Сестерций — римская серебряная монета.

<sup>34</sup> Ничего сверх меры — изречение, приписывавшееся кому-то из великих мудрецов Древней Греции; излюбленный принцип Эразма, применявшийся им чрезвычайно широко.

<sup>35</sup> Единоборствовать (греч.).

столько же раз возглашу здравицу Германии.

Адольф. Согласен.

Бернард. Помогай мне судьба! И уж ежели встречаются два великих народа, ядра должны быть одинаковые.

Адольф. Знаешь большой камень у ворот?

Бернард. Мимо.

Адольф. Будем метить в него, а начальную линию проведем здесь.

Бернард. Ладно. Но, повторяю, ядра должны быть одинаковые.

Адольф. Да они и так словно братья родные. Выбирай, какое нравится, мне все равно!

Бернард. Толкай!

Адольф. Эге, да у тебя, я вижу, не рука, а настоящая баллиста!

Бернард. Довольно тебе кусать губу, довольно размахивать рукою. Толкай и конце концов! Ну и сила! Настоящий Геракл! А впереди все-таки я!

Адольф. Если б не подвернулся под ногу этот проклятый кирпич, я бы толкнул дальше твоего!

Бернард. Ты встань на отметину от твоего ядра.

Адольф. Нет, обманывать я не буду. Хочу победить доблестью, а не хитростью: ведь сражаемся-то мы ради славы. Ну-ка, еще раз!

Бернард. Вот уж бросок так бросок!

Адольф. Не торопись смеяться, пока не выиграл. До сих пор мы идем почти вровень.

Бернард. Ну, теперь за дело! Кто докинёт до цели, тот и выиграл.

Адольф. Я победил! Пой хвалу Германии!

Бернард. Но надо было установить, какой из бросков решающий. Ведь по первому разу мы даже и не разогрелись толком.

Адольф. Пусть решат судьи.

Судьи. Третий.

Бернард. Ну, что ж...

Адольф. Что скажешь? Признаешь меня победителем?

Бернард. Тебе улыбнулась судьба, а силою и искусством я тебе не уступлю. Но я подчинюсь решению судей.

Судьи. Победил германец. И победа тем славнее, что одержана над таким искусником.

Адольф. Ну, теперь пой, петушок!

Бернард. Я охрип.

Адольф. Для петухов это не внове<sup>36</sup>. А все-таки — кукарекай!

Бернард. Германия да здравствует трижды!

Адольф. Да нет! Спеть надо было трижды.

Бернард. Однако мы нагуляли изрядную жажду. Пойдем-ка выпьем; за выпивкою и допоем.

Адольф. Не откажусь, если постаноят судьи.

Бернард. Так оно удобнее. Смочивши горло, петушок запоет звонче.

### [Шар в железное кольцо] 37

Гаспар. Эразмий

Гаспар. Итак, начинаем. Побежденный уступит место Маркольфу.

---

<sup>36</sup> Территория Франции в древности была заселена различными галльскими племенами; потому французы и в средние века по-латыни именовались галлами, а слово *galfus* имеет и другое значение — «петух».бюьтоооооооо

<sup>37</sup> Эта игра была предком крокета.

Эразмий. А победителю награда какая?  
Гаспар. Побежденный тут же, на месте, сочинит и прочитает двустишие в честь победителя.  
Эразмий. Принимаю твои условия.  
Гаспар. Хочешь, бросим жребий, кому начинать?  
Эразмий. Зачем? Начинай ты, если угодно.  
Гаспар. У тебя преимущество — ты знаешь площадку.  
Эразмий. А ты давно набил руку в этой игре.  
Гаспар. Да, тут я посильнее, чем в книгах. Впрочем, толку от этого мало.  
Эразмий. По справедливости, такой мастер, как ты, должен бы сделать мне уступку.  
Гаспар. Скорее я должен просить у тебя уступки. Но в победе, дарованной из жалости, мало чести. По-настоящему побеждает лишь тот, кто побеждает собственными силами. А мы с тобою ровня настолько, что и древних Бифа с Бакхием<sup>38</sup> посраим.  
Эразмий. Твой шар удобнее.  
Гаспар. А у тебя молоток лучше.  
Эразмий. Будем играть по-честному, без хитростей и уловок.  
Гаспар. Ты имеешь дело с порядочным человеком и скоро это узнаешь.  
Эразмий. Но сперва я хотел бы услышать правила.  
Гаспар. Каждому дается по четыре хода. За эту черту заходить запрещается, за эти — можно. Если стронешь шар с места, теряешь ход.  
Эразмий. Понятно.  
Гаспар. Смотри — я тебя запер!  
Эразмий. А я выбью тебя из ворот!  
Гаспар. Если сумеешь, уступаю тебе пальму первенства.  
Эразмий. Честное слово?  
Гаспар. Конечно! Ведь у тебя один-единственный шанс — подать свой шар в стенку, чтобы он отскочил и ударился в мой.  
Эразмий. Так и попытаемся. Что скажешь, милейший? Выбил я тебя или выбил?  
Гаспар. Твоя правда! Был бы ты еще такой же ловкий, как удачливый! В другой раз и со ста попыток ничего у тебя не выйдет.  
Эразмий. Ежели не боишься биться об заклад, давай поспорим, что выйдет с трех попыток. Но где обещанная награда?  
Гаспар. Какая?  
Эразмий. Двустишие.  
Гаспар. Сейчас будет.  
Эразмий. Скорей, скорей! Что грызешь ноготь?  
Гаспар. Готово!  
Эразмий. Читай внятно. Гаспар. Будешь доволен.  
*Хлопайте все победителю, юноши, хлопайте громче!*  
*Тот, кто меня победил, — первый меж плутов ловкач.*  
Ну как? Получил двустишие?  
Эразмий. Получил. Но только помни: чем кого взыщешь — и себе то же сыщешь.

### [Прыжки]

#### Винцентий. Лаврентий

Винцентий. Хочешь, посоревнуемся в прыжках?  
Лаврентий. Эта забава после обеда не к месту.

---

<sup>38</sup> Биф и Бакхий — римские гладиаторы; каждый из них выиграл схватку с противником, а затем они принялись биться друг с другом, и оба пали в этом бою. См. Гораций, «Сатиры», I, VII, 19—20.

Винцентий. Отчего ж?

Лаврентий. Оттого, что тяжесть в желудке пригнетает к земле.

Винцентий. Пригнетает, но не слишком, если обедом кормит учитель. У него еще из-за стола не встали, а уж снова есть хочется.

Лаврентий. Какой же вид прыжков мы выберем?

Винцентий. Начнем с самого простого — кузнечиком или, скорее, лягушкой: это значит, обеими ногами, и ступни вместе. Кто прыгнет дальше, тот и победил. А когда надоест, попробуем по-иному, а после еще по-иному.

Лаврентий. Что ж, я согласен по-всякому, только бы ногу не сломать: с хирургами не хочу встречаться.

Винцентий. А что, если нам прыгать на одной ноге?

Лаврентий. Нет, это забава для Эмпузы<sup>39</sup>. Не надо.

Винцентий. Красивее всего — прыжки с шестом.

Лаврентий. Но благороднее — состязаться в беге. Как раз этот род состязаний предлагает и Эней у Вергилия<sup>40</sup>.

Винцентий. Верно. Но тот же Эней предложил еще и кулачный бой<sup>41</sup>. А это мне не по нутру.

Лаврентий. Отметим наш путь: здесь будет начало, а здесь, у этого дуба, — конец.

Винцентий. Энея бы нам сюда: он бы назначил награду победителю.

Лаврентий. Победитель с избытком награжден славой.

Винцентий. Да, скорее бы следовало награждать побежденного — в утешение.

Лаврентий. Победитель пусть возвращается в город в венке из репейника.

Винцентий. Не откажусь, только я пойду за тобою, а ты впереди и будешь играть на флейте.

Лаврентий. Ужасная жара!

Винцентий. Ничего удивительного: как раз летний солнцеворот.

Лаврентий. Лучше бы не бегать, а плавать.

Винцентий. Меня лягушачья жизнь не соблазняет. Я животное сухопутное, не земноводное.

Лаврентий. Но ведь когда-то плаванье было в числе самых благородных упражнений для тела!

Винцентий. Не только благородных, но и полезных.

Лаврентий. На что полезных?

Винцентий. Если на войне случается бежать, способнее других к бегству те, кто проворен на ногу и хорошо плавает.

Лаврентий. Да, это искусство далеко не из последних. В иных обстоятельствах быстро бегать не менее важно, чем храбро сражаться.

Винцентий. Но я в плавании полный невежда, и чуждая стихия всегда вызывает во мне страх.

Лаврентий. Так надо приучаться! Мастером никто не рождается!

Винцентий. Про мастеров этого дела я слышу очень часто, что они плыли, да не выплыли.

Лаврентий. А ты сперва попробуй с пробковой корою.

---

<sup>39</sup> Эмпуза — в древнегреческой мифологии чудовище, пожирающее людей; ее изображали в виде безобразной одноногой женщины.

<sup>40</sup> В пятой книге «Энеиды» (стих 67), где изображаются торжественные игры, устроенные Энеем в память о его умершем отце.

<sup>41</sup> Там же, стих 69.

Винцентий. Коре я доверяю не так, как собственным ногам. Нет, если вам угодно поплавать, я предпочитаю остаться зрителем.

### Мальчишеское благочестие



Эразмий. Гаспар

Эразмий. Откуда, Гаспар? Из харчевни?

Гаспар. Ничего похожего!

Эразмий. Играл в шары?

Гаспар. Тоже нет.

Эразмий. Из винной лавки?

Гаспар. Никоим образом.

Эразмий. Раз угадать не могу, скажи сам.

Гаспар. Из храма Святой Девы.

Эразмий. Зачем ты туда ходил?

Гаспар. Надо было приветствовать кое-кого.

Эразмий. Кого ж именно?

Гаспар. Христа и нескольких святых.

Эразмий. Благочестие не по летам!

Гаспар. Напротив, благочестие всяким летам прилично.

Эразмий. А вот я, решишь я сделаться набожным, нахлобучил бы капюшон<sup>42</sup> по самые брови!

Гаспар. И я поступил бы не иначе, если бы капюшон давал столько же благочестия, сколько дает тепла.

Эразмий. Слыхал поговорку: «Из молоденьких ангелочков старые черти выходят»?

Гаспар. Черти и придумали эту поговорку, не сомневаюсь. Наоборот, кто смолodu не привык, тот едва ли будет набожен в старости. Нет для учения возраста счастливее детства!

Эразмий. А что ты называешь благочестием?

Гаспар. Чистое почитание божества и соблюдение его заветов.

Эразмий. Каких заветов?

<sup>42</sup> Монашеский капюшон, то есть постригся бы в монахи.

Гаспар. Долго рассказывать. Но в общем все сводится к четырем вещам.

Эразмий. К каким?

Гаспар. Во-первых, питать истинное благоговение к богу и божественным писаниям; и не только бояться бога, как боятся господина, но любить его всей душой, как любят самого доброго отца. Во-вторых, всячески, как только можно, оберегать свою непорочность, то есть никого никогда не обижать. В-третьих, блюсти долг милосердия, то есть по мере сил творить добро всякому человеку. В-четвертых, — хранить терпение: если нам причинят зло, которое мы не в силах поправить, надо его переносить терпеливо, без мести, не отвечая злом на зло.

Эразмий. Да ты настоящий проповедник! А сам ты следуешь тому, чему учишь?

Гаспар. Стараюсь, насколько хватает мужества.

Эразмий. Как «мужества»? Ведь ты еще мальчишка!

Гаспар. Размышляю, сколько хватает разума, и всякий день спрашиваю с себя самого отчета, и если были какие упущения, поправляю себя: это противно приличиям, то сказано слишком резко, то сделано слишком неосмотрительно, здесь следовало промолчать, там — зажмуриться.

Эразмий. Когда же, скажи на милость, ты его составляешь, свой отчет?

Гаспар. Поздним вечером обычно, а если выдастся досуг, то и в иной час.

Эразмий. Но, пожалуйста, объясни мне, за какими занятиями проходит твой день.

Гаспар. От такого верного друга ничего не скрою. Утром, чуть проснусь (примерно в шестом часу или в пятом), черчу большим пальцем крестное знамение на лбу и на груди.

Эразмий. Потом что?

Гаспар. Потом начинаю день во имя Отца, и Сына, и святого Духа.

Эразмий. Начало благочестивое, ничего не скажешь.

Гаспар. Потом в немногих словах приветствую Христа.

Эразмий. Что ты говоришь ему?

Гаспар. Благодарю за то, что ночь, его изволением, миновала счастливо, молюсь, чтобы и день тоже даровал мне удачный — себе на славу, а моей душе на спасение; чтобы он, который есть истинный свет, не знающий затмения, вечное солнце, все животворящее, питающее и радующее, удостоил просветить мой ум, дабы не впасть мне в грех, но под его, Христовым, водительством достигнуть жизни вечной.

Эразмий. Отличное предисловие ко дню, ничего не скажешь!

Гаспар. Потом здороваюсь с родителями, которых, вслед за богом, должен любить всех больше, и отправляюсь в школу<sup>43</sup>. Но так выбираю дорогу, чтобы пройти мимо храма.

Эразмий. Зачем?

Гаспар. Снова коротко приветствую Иисуса и всех святых вместе, а в отдельности — Матерь божью и своих небесных заступников.

Эразмий. А ты, я вижу, накрепко затвердил то, что вычитал у Катона<sup>44</sup>: «Не скупись на приветствия!» Мало тебе утреннего приветствия — а ну-ка еще одно, да поскорее! Ты разве не боишься оказаться назойливым со своею чрезмерною приветливостью?

Гаспар. Христос любит, чтобы к нему взывали почаще.

Эразмий. Но, по-моему, глупо вести разговоры с тем, кого не видишь.

Гаспар. Той части своего существа, которую я говорю со Христом, я тоже не вижу.

Эразмий. Какой же?

Гаспар. Души.

Эразмий. Но ведь это пустое занятие — приветствовать, не получая ответа.

<sup>43</sup> Уроки в школах начинались летом в 6 часов утра, зимою в 7 и длились до 5 (зимою до 6) вечера с часовым перерывом около полудня.

<sup>44</sup> Имеются в виду «Нравственные двестицать в четырех книгах» Дионисия Катона, сборник стихотворных наставлений, пользовавшийся в средние века самым широким распространением в качестве учебника добрых нравов. Об авторе этого сборника никаких достоверных сведений не сохранилось.

Гаспар. Напротив, ответ приходит часто — в тайном наитии. И, наконец, коль скоро дается тебе то, о чем просишь, — разве это не щедрый ответ?

Эразмий. Что же ты у него вымогаешь? Жадные у тебя приветствия, как я погляжу, — словно у нищего.

Гаспар. Ты попал в самую точку. Я молю, чтобы тот, кто, двенадцати лет отроду<sup>45</sup>, сидя в храме, преподавал поучение самым ученым, тот, кому Отец дал власть учить род человеческий, возгласивши с небес: «Вот сын мой возлюбленный, в коем мое благоволение, — ему внимайте»<sup>46</sup>, тот, кто есть предвечная мудрость высшего Отца, — чтобы он соблаговолил просветить мой разум к постижению добрых наук и чтобы познания мои были ему во славу.

Эразмий. А кто твои заступники среди святых?

Гаспар. Среди апостолов — Павел, среди мучеников — Киприан<sup>47</sup>, среди ученых — Иероним<sup>48</sup>, среди девственниц — Агнесса.

Эразмий. Что же сблизило их с тобою — выбор или случайность?

Гаспар. Они достались мне по жребию.

Эразмий. Их ты просто приветствуешь, и все? Или тоже что-нибудь выпрашиваешь?

Гаспар. Я молюсь, чтобы они поручились за меня перед Христом и чтобы когда-нибудь их заступничеством и милостью Христовой довелось и мне вступить в их шатры.

Эразмий. Да, просьба не из ничтожных. Ну, а потом что?

Гаспар. Спешу в школу и там с усердием исполняю все, что от меня требуется. Христа я умоляю о помощи с тою мыслью, что без него все труды наши бесполезны, а тружусь — в убеждении, что помощь он подает лишь тому, кто сам не щадит своих сил. И я стараюсь, как могу, чтобы меня не высекли по заслугам, чтобы словом или делом не задеть наставника или товарищей по учению.

Эразмий. Это хорошо.

Гаспар. После уроков, на пути домой, я снова, если удастся, прохожу мимо храма и снова приветствую Иисуса. Если надо в чем услужить родителям, исполняю службу. А если остается время и сверх того, повторяю, что читали в школе, — один или вместе с товарищем.

Эразмий. Смотри, как ты бережлив на время!

Гаспар. Не удивительно: ведь оно дороже всего в мире и, к тому ж, невозполнимо.

Эразмий. Но Гесиод учит<sup>49</sup>, что бережливость уместна только в середине: в начале скупиться слишком рано, в конце — слишком поздно.

Гаспар. Гесиод прав, но он говорит о вине, что же до недолгого нашего века, то бережливость всегда уместна и своевременна. Винная бочка, если ее не касаться, не опорожняется. А век утекает непрерывно — спишь ли ты или бодрствуешь.

Эразмий. Пожалуй... Но что происходит потом?

---

<sup>45</sup> «Евангелие от Луки», II, 41 сл.

<sup>46</sup> «Евангелие от Матфея», XVII, 5.

<sup>47</sup> Фасций Цецилий Киприан — один из Отцов западной церкви. Он был епископом Карфагенским и погиб мученической смертью в 258 г., во время гонения императора Валериана.

<sup>48</sup> Святой Иероним (ок. 346—420 гг.) был действительно в числе наиболее ученых деятелей раннего христианства. Помимо многочисленных богословских сочинений и обширной переписки (представляющей большую литературную ценность), ему принадлежит перевод Библии на латинский язык: он превосходно знал и греческий и еврейский.

<sup>49</sup> *Пей себе волю, когда начата иль кончается бочка,  
Будь на середке умерен; у дна же смешна бережливость.*  
«Работы и дни», 368—369. Перевод В. Вересаева.



Гаспар. Когда накроют стол, я читаю молитву, потом прислуживаю за столом, пока отец не велит обедать и мне. После благодарственной молитвы играю с товарищами в пристойную какую-нибудь игру (если выдается свободный час), а потом — снова в школу.

Эразмий. И снова приветствуешь Иисуса?

Гаспар. Да, если удастся. Ну, а если это почему-либо затруднительно или неуместно, все же, проходя мимо церкви, я приветствую его мысленно. В школе опять тружусь изо всех сил. Вернувшись домой, делаю то же, что перед обедом. После ужина развлекаю себя занимательными историями. Вскоре, пожелав доброй ночи родителям и домочадцам, укладываюсь спать. Встав подле кровати на колени, я, как уже говорил тебе, припоминаю, в каких занятиях прошел день. И если вспомню тяжкий какой-нибудь проступок, молю Христа о снисхождении и прощении и обещаю исправиться, а если ничего не вспомню, благодарю его за милость — за то, что уберег меня от греха. Потом от всего сердца предаю себя, всего целиком, его заступничеству, дабы он охранил меня от козней злого духа и от нечистых сновидений. Наконец ложусь в постель, осеяю лоб и грудь крестным знаменем и располагаюсь ко сну.

Эразмий. Каким образом?

Гаспар. Не ничком ложусь и не навзничь, а на правый бок и руки складываю так, чтобы оборонить грудь изображением креста, то есть правую ладонь кладу на левое плечо, а левую — на правое. И сплю сладко, пока меня не разбудят или пока не проснусь сам.

Эразмий. Святенький ты у нас, коли на такое способен.

Гаспар. Скорее ты глупенький, коли ведешь такие речи.

Эразмий. Нет, правила твои я хвалю, но вот следовать им навряд ли смог бы.

Гаспар. Было бы желание! Они станут даже приятны через несколько месяцев, когда попривыкнешь, а после привычка обратится в натуру.

Эразмий. Но я еще ничего не слышал о церковных службах.

Гаспар. Службу я посещаю неукоснительно, особенно по праздникам.

Эразмий. И как же протекает у тебя праздничный день?

Гаспар. Первым делом, я строго допрашиваю самого себя, пет ли па душе грязных пятен греха.

Эразмий. И если есть, тогда что? Удаляешься от алтаря?

Гаспар. Да, только не телом, а душою, и как бы стоя поодаль, не дерзая возвести взор к богу Отцу, которого я оскорбил, бью себя в грудь и повторяю слова мытаря из Евангелия<sup>50</sup>: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» Затем, если чувствую, что кого-то обидел, стараюсь немедленно получить прощение, а если немедленно нельзя, даю в душе обещание примириться с ближним при первой же возможности. Если кто обидел меня, я отрекаюсь от мести и забочусь лишь о том, чтобы обидчик сознал свое заблуждение и образумился. Если ж на это и надеяться нечего, всякое отмщение оставляю богу.

Эразмий. Ну, это нелегко.

Гаспар. Нелегко извинить малую провинность брату твоему? Но ведь ты, в свою очередь, так часто нуждаешься в его прощении, а Христос между тем извинил нам некогда все наши проступки разом и продолжает извинять каждодневно! Мне кажется даже, что это не доброта к ближнему, но лихоимство перед богом: все равно, как если бы один раб простил другому долг в три драхмы на том условии, чтобы с него господин не взыскивал десяти талантов.

Эразмий. Прекрасно ты рассуждаешь, да только верно ли?

Гаспар. Евангельское поручительство недостаточно надежно, по-твоему?

Эразмий. Что ты, что ты! Но есть люди, которые не считают себя христианами в тот день, когда не отстоят обедню.

---

<sup>50</sup> «Евангелие от Луки», XVIII, 13; притча о молитве гордеца фарисея и смиренного мытаря («Всякий возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится»)

Гаспар. Их обычая я не осуждаю, в особенности если это люди досужие или, напротив, с утра до вечера нанятые мирскими заботами. Но я не одобряю тех, кто питает суеверное убеждение, будто день не будет удачен, если не начать его с обедни. Прямо от богослужения они направляются к прилавку или ко двору и там вообще забывают о справедливости, но если дела идут успешно, успех приписывают обедне.

Эразмий. Полно, есть ли такие безумцы?

Гаспар. Их очень много.

Эразмий. Но вернись к церковной службе.

Гаспар. Если возможно, я стою близ алтаря, чтобы лучше слышать, что читает священник, главным образом — Послания и Евангелие. Кое-что пытаюсь уловить памятью и запечатлеть в душе, и что уловлю, повторяю про себя.

Эразмий. И в это время не молишься?

Гаспар. Молюсь, но больше в мыслях, чем губами и языком. А повод к молитве извлекаю из того, что услышу.

Эразмий. Растолкуй, пожалуйста, яснее. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

Гаспар. Пожалуйста. Представь себе, что читают из Послания<sup>51</sup>: «Удалите старые дрожжи, чтобы быть новым тестом, — ведь вы не заквашены». В ответ на это я мысленно обращаюсь к Христу так: «Если бы, и правда, я был не заквашен грехом, чист совершенно от его дрожжей! Но единственно безгрешный, единственно непорочный — это ты, господи Иисусе, даруй же мне, чтобы со дня на день и я очищался все более от старых дрожжей». Или же, если случается слышать из Евангелия о сеятеле, сеющем семя свое<sup>52</sup>, я молюсь про себя: «Счастлив, кто заслуживает быть доброю землею! Тот благодетель, без которого нет ничего благого, да благословит меня из земли бесплодной обратиться в землю добрую». Это не более чем примеры: перечислять все подряд было бы слишком долго. А если священник окажется безгласный, каких в Германии много, или если подле алтаря свободного места нет, я достаю книжку, где переписано Евангелие и Послания на этот день, и сам вычитываю из нее — вслух или одними глазами.

Эразмий. Понятно. А об чем по преимуществу размышляешь ты в это время?

Гаспар. Возношу благодарность Иисусу Христу, который, в неизреченной любви к людям, удостоил искупить род человеческий своею смертью, и молю, чтобы священная его кровь не была пролита за меня понапрасну, но чтобы он всегда питал своим телом мою душу и своею кровью животворил мой дух и чтобы, постепенно мужая под водительством добродетелей, я сделался достойным членом того таинственного тела, которое зовется Церковью, и никогда бы не отпал от святейшего того союза, который за последнею трапезой, преломив хлеб и поднявши чашу с вином, он заключил с избранными своими учениками, а через них и со всеми, кто посредством крещения принят в общину Христову. Если ж мысли начинают блуждать, я читаю псалмы или что-либо иное подобное, и благочестивое чтение удерживает мысль от рассеяния.

Эразмий. И для этой цели у тебя выбраны определенные псалмы?

Гаспар. Да. Но если вдруг придет размышление, которое укрепляет и освежает душу лучше, нежели чтение этих псалмов, я их опускаю. Эразмий. Что скажешь о посте? Гаспар. До поста мне дела нет. От Иеронима я выучился, что нельзя портить здоровье постами, пока тело не войдет в полную силу. А мне еще и семнадцати не сравнялось. Но если испытываю потребность, то и завтракаю и обедаю скуднее обычного — чтобы с большею бодростью отдать себя трудам благочестия в праздничный день.

---

<sup>51</sup> «Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла», V, 7 (перевод расходится с так называемым «синодальным», то есть общепринятым в русской православной церкви).

<sup>52</sup> «Евангелие от Луки», VIII, 5—8: «Вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взошедши, засохло, потому что не имело влаги;...а иное упало на добрую землю и, взошедши, принесло плод сторицей».

Эразмий. Раз уж я начал, выужу всё до последнего. К проповедям как ты расположен?

Гаспар. Наилучшим образом. К проповеди хожу с неменьшим благоговением, чем к божественной литургии. Но при этом выбираю, кого слушать. Есть проповедники, которых лучше не слышать вовсе. Если взойдет на кафедру один из таких или же вовсе никто не взойдет, время, отведенное на проповедь, провожу в чтении Святого писания: читаю Евангелие и Послания апостольские с толкованием Златоуста<sup>53</sup>, или Иеронима, или иного благочестивого и ученого толкователя.

Эразмий. Но живое слово доходчивее.

Гаспар. Не спорю, и больше люблю не читать, а слушать, если проповедник попадется сносный. Однако ж я не считаю, что вовсе остался без проповеди, если выслушаю Хризостома или Иеронима, который говорит со мною из книги.

Эразмий. Ты прав. А исповедь тебе доставляет, радость?

Гаспар. И еще какую! Я исповедуюсь ежедневно.

Эразмий. Ежедневно?

Гаспар. Да.

Эразмий. Выходит, тебе нужно содержать собственного духовника.

Гаспар. Зачем? Я исповедуюсь тому, кто единственный поистине отпускает прегрешения, тому, у кого вся власть целиком.

Эразмий. Кому же именно?

Гаспар. Христу.

Эразмий. И, по-твоему, этого достаточно?

Гаспар. Для меня — вполне, раз было достаточно для предстоятелей церкви и принято обычаем.

Эразмий. А кого ты называешь предстоятелями церкви?

Гаспар. Пап, епископов, апостолов.

Эразмий. И среди них числишь Христа?

Гаспар. Он, бесспорно, всему возглавие и венец.

Эразмий. И создатель исповеди в нынешнем ее виде?

Гаспар. Он создатель всякого блага. А сам ли он установил тот порядок исповеди, который принят ныне в церкви, пусть разбираются богословы: я, мальчишка и неуч, довольствуюсь веским суждением старших. Во всяком случае, эта исповедь особая: Христу исповедоваться нелегко, ему лишь тогда исповедуешься, когда проникнешься ненавистью к своему, греху. И я выкладываю ему все, как есть, и горько плачу, если провинился тяжело, — лью слезы, рыдаю, кричу, взываю к его милосердию. И так до тех пор, пока не почувствую, что ощущение греха изгнано из глубин души совершенно и что на смену ему приходит какая-то ясность, бодрость — свидетельство прощения! Когда же время призывает ко священной трапезе<sup>54</sup> тела и крови господней, я исповедуюсь и священнику, но совсем коротко и лишь в заведомых прегрешениях или в проступках особо сомнительных. Вообще-то говоря, я не усматриваю тяжкого греха в проступке, направленном против каких бы то ни было человеческих установлений, если он не сопрягается со злобною гордыней. Скажу больше: если нет злобы, то есть злой воли, тогда и смертного греха быть не может.

Эразмий. Хорошо, что ты такой богобоязненный и, однако ж, не суеверный. Мне кажется, и тут уместно помнить пословицу: не всё, не везде, не кому попало.

Гаспар. Я выбираю такого священника, которому могу доверить тайны сердца.

Эразмий. Мудро. Ведь есть немало и таких, которые бездумно разглашают услышанное

---

<sup>53</sup> Прозвище одного из святых и Отцов восточной (греческой) церкви, Иоанна (347—407 гг.). Он был блестящим проповедником и едва ли не самым замечательным среди греческих церковных писателей. Ему принадлежали комментарии на Ветхий и Новый заветы.

<sup>54</sup> То есть к причастию.

в исповедальне, — это известно точно. Есть и бесстыдники, и просто несведущие, которые расспрашивают о том, что лучше бы обойти молчанием. Есть неучи и глупцы, грязные стяжатели, — не душу обращают они к тебе, но только слух, а сами не способны различить меж виною и правым деянием, ни наставить не могут, ни утешить, ни утишить. Что это так, я слышал часто и от многих, да и по собственному опыту знаю.

Гаспар. Я тоже, и даже слишком. Потому и стараюсь сыскать человека испытанного бескорыстия, образованного, положительного, сдержанного на язык.

Эразмий. Честное слово, ты счастливее, если понял это в такие юные годы!

Гаспар. И, наконец, главная моя забота — не совершать ничего такого, что было бы опасно доверить священнику.

Эразмий. Вот это всего лучше, но только можно ли уберечься?

Гаспар. Конечно, до крайности трудно, однако ж с помощью Христовой — легко. Первым делом, необходима добрая воля, и я обновляю ее в себе неукоснительно, особенно воскресными днями. Затем, по мере сил, избегаю общения с нечестивцами. Ищу дружбы с людьми безукоризненными, чтобы через такую дружбу и самому сделаться лучше.

Эразмий. Разумная — осторожность: худые речи портят добрые нравы.

Гаспар. Праздности бегу, словно чумы.

Эразмий. Не удивительно! Ведь нет такой пакости, в которой праздность не была бы наставницей. Но по нынешним нравам, если не хочешь сообщаться с дурными, надо жить в одиночестве.

Гаспар. Ты судишь небезосновательно. «Большинство скверно», — как говорил греческий мудрец<sup>55</sup>. Но я избираю лучших меж немногими. И нередко бывает так, что товарищ на товарища действует благотворно. В играх, подстрекающих к беспутству, я не участник; если забавляюсь, то невинно. Вежлив я со всяким, но близок только с хорошими. Если ж когда столкнусь с дурными, то либо пытаюсь исправить их осторожными увещаниями, либо зажмурюсь и терплю, а как скоро удостоверюсь, что проку от этого никакого, бегу втихомолку при первой же возможности.

Эразмий. А желание надеть капюшон прельщало когда-нибудь душу?

Гаспар. Нет, никогда, хоть и не раз меня искушали, призывая от сокрушительных волнений века сего в тихую монастырскую гавань.

Эразмий. Что я слышу? На тебя уже охотились?

Гаспар. Как только ни подступались они ко мне и к моим родителям, эти ловчие! Но я твердо положил не вступать ни в брак, ни в священнический сан, ни в монашеский чин, ни в иное любое состояние, из которого уже не смогу освободиться, — до тех пор, покуда не узнаю себя по-настоящему.

Эразмий. А когда это случится?

Гаспар. Может, и никогда. Но раньше чем по двадцать восьмому году никаких решений принимать не стану.

Эразмий. Отчего так?

Гаспар. Оттого, что повсюду слышишь, как священники, монахи и мужья оплакивают свое безрассудство, ввергнувшее их в рабство.

Эразмий. Опасливый ты человек — боишься пойматься.

Гаспар. Пока что у меня три заботы.

Эразмий. Какие?

Гаспар. Совершенствоваться в добрых нравах. Далее, если в этом не преуспею, то хотя бы хранить незапятнанною свою чистоту и доброе имя. Наконец, приобретать знания и усваивать науки, которые при любом образе жизни будут мне на пользу.

Эразмий. Значит, поэтов ты обходишь стороною?

Гаспар. Не совсем. Но читаю лишь самых целомудренных, а если и у них встретится

---

<sup>55</sup> Слова эти приписываются Бианту (VI в. до н. э.), одному из полупоупендарных «семи греческих мудрецов».

что нескромное, бегу поскорее мимо, как некогда проплыл мимо сирен Улисс, заткнув себе уши.

Эразмий. А какого рода занятиям ты отдаешь предпочтение? Медицине, светскому или церковному праву, богословию? Ведь языки, словесность и философия ведут к любому из них одинаково<sup>56</sup>.

Гаспар. Я еще не делал выбора и вкушаю понемногу от каждого, чтобы ни в одном не остаться полным невеждою и чтобы, испробовав все, вернее определить, к которому именно я годен. Медицина в любых краях прокормит надежнее всего. Правоведение открывает путь к высоким званиям. А богословие мне особенно по душе, зато не по душе нравы иных богословов и мелочные их распри.

Эразмий. Кто ступает так сторожко, оступится не скоро. В наши времена, когда сомнению подвергается всё без изъятия, очень многие избегают богословия, опасаясь пошатнуться в католической вере.

Гаспар. Что я читаю в священных книгах и в Символе, который зовется Апостольским<sup>57</sup>, тому верую непоколебимо и далее не допытываюсь. Остальное пусть обсуждают и определяют богословы, ежели им угодно. Впрочем, если что принято у христиан обычаем и не расходится напрямую со Священным писанием, я подчиняюсь, чтобы никого не ожесточать.

Эразмий. Какой Фалес выучил тебя этой философии?

Гаспар. Еще совсем мальчишкою я бывал в доме у Иоанна Колета<sup>58</sup>, человека редкостных качеств. Ты его знаешь?

Эразмий. Еще бы! Как тебя.

Гаспар. Он и напитал нежный возраст подобными наставлениями.

Эразмий. А что, если и я последую твоим правилам, с тобою наперерыв? Ты не будешь гневаться?

Гаспар. Наоборот, полюблю тебя еще сильнее, и намного! Ты же знаешь, схожестью нравов крепнет взаимная приязнь.

Эразмий. Верно, но только не меж искателями одной должности, когда они страдают сходным недугом.

Гаспар. И не меж искателями одной невесты, когда все мучатся любовью одинаково.

Эразмий. Но, кроме шуток, — попробую усвоить этот образ мыслей.

Гаспар. Дай тебе бог удачи!

Эразмий. Может, и догоню тебя.

Гаспар. Обгони, сделай милость! Но имей в виду: дожидаться тебя я не стану, потому что всякий день стараюсь превзойти и одолеть самого себя. И все же попытайся вырваться вперед, если хватит сил.

## Охота

---

<sup>56</sup> Эти дисциплины изучались на факультете «семи свободных искусств», или «артистическом» (artes — „искусства“ по-латыни), который был как бы необходимою подготовительною ступенью по отношению к трем высшим и специальным — богословскому, юридическому, медицинскому.

<sup>57</sup> Апостольскому символу веры посвящен особый диалог — «Исследование веры» (см. ниже).

<sup>58</sup> Иоанн Колет — Джон Колет (1466—1519), английский церковный деятель и богослов, настоятель собора св. Павла в Лондоне, ближайший друг Эразма. Он основал школу при соборе и сам ею руководил. Взгляды Колета оказали решающее воздействие на весь жизненный путь Эразма; так и в этом диалоге — педагогические принципы, которые излагает Гаспар, столько же принадлежат Эразму, сколько Колету.



Павел. Фома. Винцентий. Лаврентий. Бартол

Павел. «Особая каждого страсть увлекает»<sup>59</sup>. Мне, к примеру, нравится охота.  
 Фома. Мне тоже. Но где собаки, рогатины, сетки?

Павел. Прочь, кабаны, медведи, олени и лисы! Мы обрушимся на кроликов!

Винцентий. А я расставлю силки на кузнечиков. Ополчусь на сверчков.

Лаврентий. Я буду ловить лягушек.

Бартол. А я — бабочек.

Лаврентий. За летучими тварями охотиться трудно.

Бартол. Да, трудно, зато прекрасно. Или, может, по-твоему, прекраснее охотиться за червями и улитками, раз у них нет крыльев?

Лаврентий. Я предпочитаю удить рыбу. У меня отменный крючок.

Бартол. А наживку откуда возьмешь?

Лаврентий. Червей повсюду тьма!

Бартол. Конечно, да только захотят ли они выползти к тебе из земли?

Лаврентий. Ну, я живо устрою так, что они тысячами будут выскакивать!

Бартол. Каким образом? Колдовством?

Лаврентий. Сейчас сам увидишь. Налей в этот ковш воды. Теперь насыпь зеленой скорлупы грецких орехов, только сперва истолки ее помельче. Теперь полей землю этой водою. Видишь, как полезли?

Бартол. Поразительно! Так, должно быть, когда-то поднимались воины<sup>60</sup> из посеянных в землю змеиных зубов! Но рыбы большею частью слишком разборчивы да привередливы, чтобы ловиться на такую грубую наживку.

Лаврентий. Я знаю одну породу насекомых, на которую идут и привереды.

Бартол. Ну, что ж, ты проверь, сумеешь ли надуть рыб, а я растревожу лягушачье царство.

Лаврентий. Чем? Сетями?

Бартол. Нет. Луком.

<sup>59</sup> Вергилий, «Буколики», II, 65.

<sup>60</sup> Намек на греческий миф о Кадме, который, по совету богини Афины, посеял зубы убитого им дракона, и из земли поднялись воины-исполины.

Лаврентий. Не слыханный прежде способ!  
 Бартол. Зато какой веселый! Вот увидишь, ты согласишься со мною.  
 Винцентий. А что, если нам вдвоем пока сыграть в пальцы<sup>61</sup>?  
 Павел. Это игра вялая и тупая. Такая забава годится, когда бездельничаешь подле очага, а не когда выйдешь за город.  
 Винцентий. Тогда, пожалуй, сразимся в орехи?  
 Павел. Орехи оставим малым ребятам, а мы уж подростки.  
 Винцентий. А все ж мальчишки, и ничего больше!  
 Павел. Ну, кому прилично играть в орехи, тому и верхом на палочке скакать прилично.  
 Винцентий. Тогда выбирай игру ты; что ты ни предложишь — я заранее согласен.  
 Павел. И я больше спорить с тобою не стану.

### Перед школою



#### Сильвий. Иоганн I

Сильвий. Почему ты бежишь сломя голову, Иоганн?  
 Иоганн. Шкуру свою спасаю, как говорится.  
 Сильвий. При чем здесь шкура?  
 Иоганн. А при том, что если я не успею вовремя, — пока еще не прочли список, — с меня не одну а семь шкур спустят.  
 Сильвий. Ну, тогда тебе не о чем тревожиться. Пятый час едва миновал. Взгляни на часы: стрелки еще не коснулись отметки между пятым и шестым.  
 Иоганн. Не очень-то я верю часам — врут они постоянно.  
 Сильвий. Хорошо, поверь мне: я слышал голос колокола.  
 Иоганн. И что же он говорил?  
 Сильвий. Пробил пять.  
 Иоганн. Но есть и еще причина для страха. Надо прочитать на память вчерашний урок, очень длинный, а я едва ли сумею.  
 Сильвий. Эта опасность не твоя, а общая. Я тоже помню по урок неважно.

<sup>61</sup> Один игрок, зажмурившись или отвернувшись, угадывает, сколько пальцев поднял другой.

Иоганн. А ведь ты знаешь, какой свирепый у нас Учитель. Он бы каждую провинность карал смертью. Так отхлещет, словно бы зады наши обтянуты бычьей кожей.

Сильвий. Но его не будет в школе.

Иоганн. А кого он оставил вместо себя?

Сильвий. Корнелия.

Иоганн. Этого косоглазого? Бедные наши ягодицы! Он до того драчлив, что и самого Орбилия<sup>62</sup> посрамит.

Сильвий. Да, правда, и я часто молюсь, чтоб у него рука отнялась.

Иоганн. Это нехорошо — проклинать учителя. Скорее самим надо остерегаться, чтобы не попасть в лапы к тирану.

Сильвий. Давай почитаем друг другу. Один будет говорить, другой — следить по книге.

Иоганн. Прекрасная мысль!

Сильвий. Успокойся, соберись с духом. Страх отшибает память.

Иоганн. Я бы легко стряхнул с себя робость, да ведь опасность какая! В такой крайности кто сохранит присутствие духа?

Сильвий. Конечно. Но все же рискуем мы не головою, а как раз противоположную частью.

## II

### Корнелий. Андрей

Корнелий. Водить пером ты умеешь, но у тебя бумага протекает: влажновата она, вот чернила и расплываются.

Андрей. Пожалуйста, очини мне это перо.

Корнелий. Ножа перочинного нет.

Андрей. Вот, возьми.

Корнелий. Да он совсем иступился.

Андрей. На тебе точильный камушек.

Корнелий. Как ты любишь писать — чтоб остриё потверже было или помягче?

Андрей. Примеряй по своей руке.

Корнелий. Мне нравится помягче.

Андрей. Пожалуйста, напиши мне все буквы по порядку.

Корнелий. Греческие или латинские?

Андрей. Сперва попробую списать латинские.

Корнелий. Ладно. Давай бумагу.

Андрей. Бери.

Корнелий. Но у меня чернила слишком жидкие, оттого что воду часто подливал.

Андрей. А мой листок совсем высох.

Корнелий. Ну, так высморкайся на него, а если хочешь — пописай.

Андрей. Нет, нет, я сейчас у кого-нибудь попрошу.

Корнелий. Лучше иметь дома свое, чем просить об одолжении.

Андрей. Что такое школьник без пера и чернил?

Корнелий. То же, что воин без меча и щита.

Андрей. Эх, были бы у меня пальцы такие же проворные!... А то я не поспеваю за учителем, когда он диктует.

Корнелий. Главное — это чтобы писать хорошо, а уж потом — чтобы скоро. Если достаточно хорошо, — значит, и достаточно быстро.

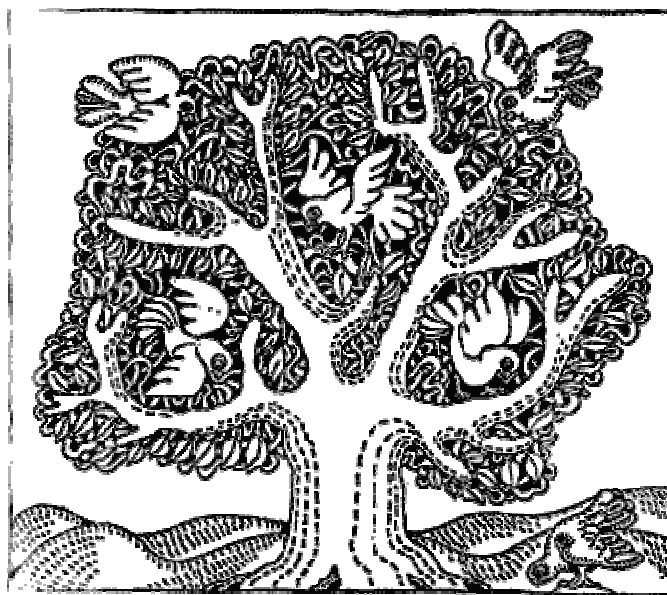
---

<sup>62</sup> Орбилий — школьный учитель Горация, которого поэт вспоминает в «Посланиях» (II, I, 70—71) и называет «щедрым на удары». Его биография известна достаточно подробно по сочинению Светония «О грамматиках и риториках».



Андрей. Отлично сказано. Только песенку эту — насчет «хорошо» и «скоро» — ты спой учителю за диктовкою.

### Благочестивое застолье



**Евсевий. Тимофей. Феофил. Хризоглотт. Ураний  
[Софроний. Евлалий. Нефалий. Феодидакт. Слуга] <sup>63</sup>**

Евсевий. Когда все в полях радостно улыбается весне, я не могу понять людей, которым любы дымные города.

Тимофей. Не каждого увлекают цветы, зеленеющие луга, ключи, реки; а кое-кого и увлекают, да не целиком: остается место для других увлечений, более сильных. Вот удовольствие и вытесняется удовольствием — словно клин клином.

Евсевий. Ты, верно, толкуешь о ростовщиках или же о банкирах, которых не отличить от ростовщиков.

Тимофей. Да, но не только об них, мой дорогой, а еще и о несметном множестве иных, вплоть до священников и монахов, которые ради выгод и прибытков всему предпочитают города, и вдобавок самые многолюдные. Не Пифагорову они следуют учению, и не Платонову, а какого-то слепого попрошайки, который всегда радовался толпе и толчее и приговаривал: «Где народ, там и доход».

Евсевий. Бог с ними, со слепцами и с их доходами. Мы ведь философы!

Тимофей. И Сократ был философ, однако ж деревне предпочитал город, оттого что постоянно жаждал учиться, а эту жажду могли утолить только города. В деревне, объяснял он, есть сады и рощи, ключи и реки, — они услаждают взор, но они безмолвны и, стало быть, ничему не учат.

Евсевий. Если гулять одному — Сократ прав, но и то лишь отчасти. На мой взгляд, природа не нема. Наоборот, она многоречива и многому научает своего созерцателя, если человек попадет вдумчивый и толковый. О чем, например, возглашает столь прелестный

<sup>63</sup> Имена всех действующих лиц значимы (по-гречески), и значение их непосредственно связано с заглавием и содержанием разговора: Евсевий — благочестивый, Тимофей — почитающий бога, Феофил — любящий бога, Хризоглотт — златоязыкий, Ураний — небесный, Софроний — благоразумный, Евлалий — хорошо говорящий, Нефалий — трезвый, сдержанный, Феодидакт — наученный богом.

лик весенней природы, как не о мудрости бога-творца, равной лишь его же, господу, благодати? Впрочем, Сократ в сельской тиши и успешно наставляет своего Федра<sup>64</sup>, и сам кое-что от него узнаёт.

Тимофей. Да, узнаёт. С такими собеседниками ничего не может быть приятнее деревенской жизни.

Евсей. Тогда не угодно ли испытать подобную приятность? Есть у меня загородное именье, небольшое, но отлично ухоженное. Завтра поутру пожалуйста все к завтраку.

Тимофей. Нас слишком много. Мы разорим тебя дотла.

Евсей. Что ты! Ведь угощение вам будет предложено сплошь растительное, из непокупных припасов, как говорит Флакк<sup>65</sup>. Вина своего вдоволь; дыни, смоквы, груши, яблоки, орехи сами так и просятся в руки — словно на Островах Блаженных, если верить Лукиану<sup>66</sup>. Пожалуй, и курица будет — с птичьего двора.

Тимофей. В таком случае мы согласны.

Евсей. И каждый пусть приходит с «тенью», приводите кого вздумается. Вас четверо, стало быть, в числе сравняемся с Музами.

Тимофей. Хорошо.

Евсей. Об одном хочу вас предупредить — чтобы приправу каждый захватил с собою свою. Я подаю только еду.

Тимофей. Какую приправу? Перец или сахар?

Евсей. Голод. Нынче вы запасетесь им через скудный обед, а утром навострите прогулку: моя деревушка одолжит вас и этой услугою. Но в котором часу угодно вам завтракать?

Тимофей. Около десяти, пока еще не слишком знойно.

Евсей. Все будет готово.

Слуга. Хозяин, гости у дверей.

Евсей. Вы сдержали слово, и это очень приятно. Но вдвойне приятнее, что вы вовремя и что с вами ваши «тени» — добро пожаловать! Бывают такие вежливые невежи, которые изводят хозяина своим запозданием.

Тимофей. Мы явились пораньше, чтобы на досуге все осмотреть и полюбоваться твоим дворцом, который, как слышно, изобилует дивными красотою и на каждом шагу свидетельствует о нраве своего владельца.

Евсей. Вы убедитесь, что каков государь, таков и дворец. Укромное гнездышко мне милее царских хором. Но если жить свободно и по своему вкусу означает царствовать, я здесь и в самом деле царь. Однако ж пока на кухне готовят овощи и солнце еще не палит, взглянем, пожалуй, на мои сады.

Тимофей. Разве есть еще один, кроме этого? Не знаю, как дальше, но этот пышный убор удивительно ласково и гостеприимно приветствует всякого входящего.

Евсей. Нарвите себе здесь цветов и листьев, чтобы в доме не страдать от духоты. Кому какой запах нравится, тот и выбирайте. Рвите больше. Все, что здесь родится, я отдаю в общее пользование: калитка в этот дворик всегда открыта, запирается только на ночь.

Тимофей. Эге, да у тебя на калитке Петр-апостол!

Евсей. Да, этот привратник мне больше по сердцу, чем всякие Меркурии, центавры и прочие чудища, которых иные изображают у себя на дверях.

---

<sup>64</sup> ...Сократ... наставляет своего Федра... — в диалоге Платона «Федр», действие которого происходит на лоне природы, близ Афин.

<sup>65</sup> Квинт Гораций Флакк, «Эподы», II, 47—60.

<sup>66</sup> Об Острове Блаженных Лукиан повествует в «Правдивой истории» (часть вторая, главы 5—29).

Тимофей. Оно и достойнее христианина.

Евсевий. И привратник у меня не безгласный: он обращается ко входящему на трех языках.

Тимофей. Что же он говорит?

Евсевий. Прочти сам.

Тимофей. Чересчур далеко, глаз не достает.

Евсевий. Вот, возьми подозрное стекло и ста сущим Линцеом<sup>67</sup>.

Тимофей. Латынь вижу хорошо: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». — «От Матфея», глава девятнадцатая.

Евсевий. Теперь читай по-гречески.

Тимофей. Греческие слова я тоже вижу, но они меня не видят. А потому передаю факел Феофилу, — он по-гречески так и заливается.

Феофил. &#924;&#949;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#945;&#964;&#949;&#967;&#945;&#953;&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#961;&#941;&#968;&#945;&#964;&#949;&#928;&#961;&#940;&#958;&#949;&#969;&#957;&#964;&#969;&#964;&#961;&#953;&#964;&#969;<sup>68</sup>.

Хризоглотт. Еврейский я возьму на себя: Вещаддик бээмунато йехйе<sup>69</sup>.

Евсевий. Ну, как по-вашему, разве он не доброжелателен, этот привратник, который разом и отвращает нас от грехов, и обращает к трудам благочестия? Напоминает, что истинно христианской жизни мы сопричастны не чрез Моисеевы «дела», но евангельскою верою? Внушает, что путь к жизни вечной — это соблюдение заветов Евангелия?

Тимофей. А вот сразу направо, в конце, дорожки, виднеется красивая часовня. В алтаре — Иисус Христос, он возвел очи к небесам, ко взирающим сверху Отцу и Духу святу, и к небесам же простирает правую руку, а левою словно манит идущих мимо.

Евсевий. И он встречает нас не безмолвно. Видишь, начертано по-латыни: «Аз семь путь, истина и жизнь»<sup>70</sup>? И по-гречески: &#904;&#947;&#969; &#949;&#953;&#956;&#953;&#964;&#959; &#940;&#955;&#966;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#969;&#956;&#941;&#947;&#945;<sup>71</sup>. И по-еврейски: Леху баним шим'у ли йир'ат йхвх аяаммэдхэм<sup>72</sup>.

Тимофей. Радостной вестью приветствует нас господь Иисус!

Евсевий. И чтобы нам не оказаться невежами, надо бы ответить на приветствие: коль скоро сами по себе мы ни на что не способны, помолимся, да не даст он нам, по неоценимой своей благости, сбиться с пути спасения, но, рассеявши мрак иудейский и лжечудеса мира сего, истинною евангельскою да приведет нас к вечной жизни, иными словами — сам, через себя, да влечет нас к себе.

Тимофей. Очень справедливо! К тому же и самый вид здешний располагает к молитве.

Евсевий. Да, многих гостей восхищала прелесть итога сада, и так уж повелось, что почти никто не минует его, не склонивши колена перед Иисусом. Я поставил Христа

<sup>67</sup> Линцей (Линкей) — в греческой мифологии герой, отличавшийся поразительной остротою зрения.

<sup>68</sup> Покайтесь и обратитесь. — «Деяния», глава третья.

<sup>69</sup> Праведный верою своею жив будет. «Книга пророка Аввакума», II, 4.

<sup>70</sup> «Евангелие от Иоанна», XIV, 6.

<sup>71</sup> Аз семь альфа и омега. «Откровение святого Иоанна Богослова», XXI, 6.

<sup>72</sup> Придите, дети мои, послушайте меня: страху господню научу вас. Псалом XXXIII, стих 12.

стражем, вместо гнусного Приапа<sup>73</sup>, стражем не только сада, но всего, чем я владею, в том числе — и души моей, и тела. Рядом, как видите, бьет ключ прекрасной, целительной воды — своего рода образ того единственного ключа<sup>74</sup>, который небесною влагою освежает всех усталых и обремененных, к которому из последних сил устремляется душа, измученная бедствиями мира сего, так в точности, как сказано у псалмопевца<sup>75</sup> о лани, томящейся жаждою, вкусившей от плоти змеиной. Отсюда можно безвозмездно черпать всякому жаждущему. Некоторые благочестиво опрыскивают себя, а кто и пьет — не из жажды, но тоже из благочестия. Вижу, что вам не хочется уходить. Однако время торопит, нам нужно осмотреть еще вот этот, самый ухоженный сад моего дворца, с четырех сторон замкнутый стенами. А все, что есть любопытного внутри, вы посмотрите после завтрака, когда солнечный жар на несколько часов загонит нас в дом, точно улиток в раковину.

Тимофей. Боже! Мне чудится, будто я в Эпикуровых садах!

Евсевий. Верно, тут все служит наслаждению, но наслаждению достойному — радует взор, освежает ноздри, ободряет душу. Здесь не растет ничего, кроме душистых трав, и то не всяких, но лишь самых отборных. И каждой породе отведено свое место.

Тимофей. У тебя и травы не безмолвствуют, сколько я вижу.

Евсевий. Правильно. У других дома богатые, а у меня — говорливый, чтобы мне никогда не чувствовать одиночества. Ты согласишься со мною еще охотнее, когда увидишь всё. Травы словно бы разбиты по турмам<sup>76</sup>, и у каждой турмы<sup>77</sup> — свой стяг с надписью. Вот, например, майоран — он объявляет: «Прочь, свинья, не для тебя мое благоухание». И верно: как ни сладок аромат майорана, а свиньи этого запаха терпеть не могут. Так же точно и остальные породы имеют свои надписи, которые указывают на приметные особенности той или иной травы.

Тимофей. Никогда не видел ничего милее этого фонтанчика посредине! Он точно улыбается всем травам сразу и сулит им прохладу в разгар зноя. Но этот желоб, заключивший в себе воду и так щедро являющий ее нашим глазам, разделивший сад на две равные половины, так что травы с обеих сторон стараются заглянуть в него, будто в зеркало, — скажи мне, он мраморный?

Евсевий. Бог с тобой! Откуда ко мне настоящий мрамор? Этот поддельный, избитого камня, а блеск ему придает гипсовая штукатурка.

Тимофей. И куда ж утекает такой прелестный ручеек?

Евсевий. Суди сам, какова человеческая несправедливость: вдосталь нарадовав наши взоры здесь, он очищает кухню — уносит кухонные отбросы в сточную яму.

Тимофей. Жестоко, господь мне свидетель!

Евсевий. Было б жестоко, если бы для такой нужды не создала его благость Предвечного. Мы жестоки тогда, когда источник божественного Писания, намного более

<sup>73</sup> Приап — греко-римский бог плодородия и деторождения. Он был также покровителем садов и огородов, и его изображения, украшенные главным его символом — вздыбленным фаллосом, ставили в садах для защиты от птиц и воров.

<sup>74</sup> См. «Евангелие от Иоанна», IV, 4 сл. (Иисус и самарянка у колодца).

<sup>75</sup> Псалом XLI, стихи 2—3. Но о «змеиной плоти» говорится не в самом псалме, а в старинном комментарии к нему, широко известном в средние века.

<sup>76</sup> Турма — подразделение конницы в римском войске.

<sup>77</sup> Обилие надписей (а также, как мы убедимся далее, всевозможных изображений) — усвоенная гуманистами античная традиция. Древние считали зрение важнейшим из чувств и были убеждены, что все, усвоенное через зрение, запоминается всего крепче. Эразм советовал воспитателям украшать стены спален воспитанников картинами, вырезать пословицы и изречения на кубках, перстнях и воротах.

прекрасный против этого, дарованный нам для освежения и очищения души, оскверняем нашими пороками и дурными страстями, злоупотребляя бесценным даром Божиим. А эта вода — разве мы употребляем ее во зло, используя на разные потребности, на которые и дал ее нам тот, кто с избытком утоляет все человеческие нужды?

Тимофей. Ты прав. Но у тебя и садовая ограда, поставленная человеческими руками, тоже зеленая. Для чего?

Евсевий. Чтобы тут все сплошь зеленело. Некоторые полагают, что уместнее был бы красный цвет — он, дескать, хорошо сочетается с зеленым. А мне больше нравится так. Ведь у каждого свой взгляд, даже и на сады.

Тимофей. Сам по себе твой сад прелестен, однако ж красота его меркнет рядом с этими тремя галереями. Евсевий. В них я либо занимаюсь, либо прогуливаюсь, — один или беседуя с другом, — либо, если вздумается, обедаю.

Тимофей. Колонны, которые поддерживают кровлю, равномерно расставленные и ласкающие глаз дивным разнообразием красок, — они что, мраморные? Евсевий. Из того же мрамора, что и желоб. Тимофей. Отменная, право, подделка! Я готов был поклясться, что это мрамор.

Евсевий. Вот и будь осторожен: не верь и не клянись, не подумав. Внешность часто обманчива. Нехватку средств возмещаем искусством.

Тимофей. Мало разве было тебе такого нарядного, такого ухоженного сада, что ты велел нарисовать другой? Евсевий. Один все виды растений не вмещает. А потом вдвойне приятно, когда видишь, как нарисованные цветы состязаются с живыми. В одних мы дивимся мастерству природы, в других — дарованию художника, и в обоих — доброте бога, который щедро дарует все это нам на пользу, любым своим даром внушая столько же восхищения, сколько любви. И, наконец, не всегда зеленеет сад, цветочки живут не всегда. А этот сад зелен и радует нас даже в середине зимы. Тимофей. Но запаха не дает никакого. Евсевий. Зато и в уходе не нуждается. Тимофей. Он только питает взор. Евсевий. Верно. Но уж это — постоянно. Тимофей. И для картины приходит старость. Евсевий. Конечно, приходит, но картина долговечнее человека, а кроме того, ей возраст добавляет прелести, у нас же — отнимает.

Тимофей. Как ни грустно, а возразить нечего. Евсевий. В этой галерее, которая обращена к западу, я наслаждаюсь утренним солнышком, в этой, которая глядит на восток, иногда загораю; а в этой, обращенной к югу, но открытой к северу, укрываюсь от зноя. Пройдемте по ним, если хотите посмотреть вблизи. Видите, полы и те напоминают о весне: плитки сверкают зеленью и изображениями цветов. Эта роща, занимающая всю стену, открывает мне зрелище пестрое и разнообразное. Во-первых, сколько здесь деревьев, столько и пород, и каждое написано в подражание натуре с немалым искусством. Сколько птиц — столько и пород, главным образом редких или отмеченных каким-нибудь особым свойством. А гусей, кур да уток какой прок изображать? Внизу — четвероногие или те виды птиц, что живут на земле по образу четвероногих.

Тимофей. Удивительное разнообразие! И все чем-то заняты — кто делом, кто разговором. Что, например, вещает нам эта сова, укрывшаяся в ветвях?

Евсевий. Аттическая гражданка и говорит по-аттически: *οὐκ ἔστιν ἄνευ σοφίας ἡ ἀρετή*; *ἡ ἀρετὴ ἄνευ σοφίας ὡς ἡ σελήνη ἄνευ ἡλίου*. Она советует, чтобы сперва подумали, а после уже действовали, потому что не всем сходит безнаказанно дерзкое безрассудство. Вот орел когтит зайца, не слушая заклинаний навозного жука<sup>79</sup>. Рядом с навозником — птичка ржанка, тоже смертельный враг орлов.

<sup>78</sup> Будь благоразумен — не для всякого мой полет (греч.). Сова, священная птица богини Афины, была для греков символом мудрости и, одновременно, своего рода гербом или эмблемой древней Аттики.

<sup>79</sup> По Эзоповой басне, подробно (и со многими дополнениями от себя) пересказанной Эразмом в его

Тимофей. Эта ласточка что несет в клюве?

Евсевий. Ласточкину траву. Ею она возвращает зрение слепым птенцам. Узнаете очертания этой травы?

Тимофей. А это что за ящерица? Никогда такой не видывал.

Евсевий. Это не ящерица, а хамелеон.

Тимофей. Как? Прославленный повсюду хамелеон? А я-то воображал, будто хамелеон больше льва!

Евсевий. Да, это он и есть, хамелеон, с вечно разинутую пастью и вечно голодный. А это дерево — смоковница; только подле нее он и опасен, в любом же ином случае безвреден. Но вообще зверек ядовитый; остерегайся его пасти.

Тимофей. Цвета он, однако же, не меняет.

Евсевий. Верно. Потому что не меняет места; как переменит место — и цвет станет другой.

Тимофей. А к чему здесь флейтист?

Евсевий. А вот же рядом с ним пляшет верблюд<sup>80</sup>. Видишь?

Тимофей. Вижу небывалое зрелище: верблюда-скомороха и обезьяну-гудошницу!

Евсевий. Чтобы оглядеть все подробно и без спешки, я отведу вам хоть и три дня, но в другой раз; а теперь и мельком будет довольно. Здесь нарисовано в согласии с натурой все, что есть примечательного среди трав. И вот чему нельзя не удивляться: яды, даже самые быстродействующие, мы здесь не только видим воочию, но и касаемся их руками.

Тимофей. Смотрите, скорпион! Редкое в наших краях бедствие, зато частое в Италии. Но цветом, по-моему, он не такой, как на картине.

Евсевий. Отчего же?

Тимофей. Оттого, что в Италии скорпион темнее, а здесь слишком светлый.

Евсевий. Разве ты не узнаешь траву, на листке которой он сидит?

Тимофей. Пожалуй, что нет.

Евсевий. Оно и понятно: в наших садах такая трава не растет. Это волчий корень, до того ядовитый, что скорпион, чуть только прикоснется к нему, замирает, блекнет и признает себя побежденным. Но, отравленный ядом, у яда же ищет исцеления. Вот, поблизости, вы видите обе породы чемерицы. Если скорпиону удастся соскользнуть с волчьего корня и коснуться белой чемерицы, к нему вернется прежняя сила: столкновение противоположных ядов разгонит оцепенелость.

Тимофей. Этому скорпиону, стало быть, конец: он от своего листика уже никуда не ускользнет. Но скорпионы здесь еще и разговаривают?!

Евсевий. И к тому ж по-гречески.

Тимофей. И что он говорит?

Евсевий. &#917;&#965;&#961;&#949; &#920;&#949;&#959;&#962;&#964;,&#945;&#955;&#953;&#964;&#961;&#959;&#957;<sup>81</sup>. Кроме трав, здесь перед вами весь род пресмыкающихся. Вот василиск с огненными очами — самые ядовитые твари и те его страшатся.

Тимофей. Он тоже что-то говорит.

Евсевий. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»<sup>82</sup>.

сборнике пословиц («Адагии»), между орлом и навозным жуком существует смертельная вражда. Началась она с того, что заяц, преследуемый орлом, попросил защиты и убежища у навозного жука, а орел даже внимания не обратил на заступничество жука. Несмотря на ничтожные размеры, жук ухитрился причинить орлу немало самых тяжких неприятностей.

<sup>80</sup> Верблюжья пляски — еще одна древняя пословица.

<sup>81</sup> Бог отыскал виновного (греч.). Начало одного стиха из Феокрита (X, 17).

<sup>82</sup> Эту фразу, принадлежащую древнему римскому драматургу Луцию Акции, приводит Цицерон в

Тимофей. Речь прямо-таки царская.

Евсевий. Нет, совсем не царская, а тираническая! Вот ящерица бьется с гадюкою. Вот дипсада<sup>83</sup> подстерегает добычу, укрывшись под скорлупу страусиною яйца. А здесь вы видите целое государство муравьев, подражать которым зовет нас премудрый Соломон, а также, наш милый Флакк. Это муравьи индийские; они собирают и запасают золото.

Тимофей. Боже бессмертный, в таком театре можно ли соскучиться!

Евсевий. Другой раз посмотритесь досыта, я уже вам сказал. А теперь взгляните, но только издали, на третью стену. Тут озера, реки и моря, и в них все достопримечательности водного царства. Вот Нил, в нем вы видите прославленного дельфина, друга людей; он сражается с крокодилом, злее которого нет врага у человека. По берегам вы видите так называемых раков, тюленей, бобров. А вот полип — ловец, словленный раковиною моллюска.

Тимофей. Что он говорит? Дивно изобразил художник прозрачность воды!

Евсевий. Если бы он не смог этого изобразить, мы бы ничего не увидели. Рядом еще полип. Он плавает под парусом, радуясь своему сходству с либурною<sup>86</sup>. Скот развалился на песке того же цвета, что он сам; здесь вы можете потрогать его рукою безо всякой опасности. Пора, однако ж, двигаться дальше. Живопись насыщает взоры, но не желудок. Поспешим же досмотреть остальное. Тимофей. Как? Это еще не всё? Евсевий. Сейчас увидите, что покажет нам задний двор. Здесь просторный огород, разделенный надвое. На одной половине — съедобные растения, и тут властвует моя супруга со служанкою, на другой — целебные травы, главным образом редкие. Налево зеленая лужайка, никак не возделанная и густо заросшая; она обнесена сплошной изгородью переплетшихся меж собою живых шипов. Здесь я часто прогуливаюсь или играю с приятелями. Направо фруктовый сад; в другой раз, когда будет больше времени, вы увидите тут много чужеземных деревьев, которые я исподволь приучаю к нашему климату.

Тимофей. Ну и ну! Против тебя и самому Алкиною<sup>87</sup> не выстоять!

Евсевий. К галерее примыкает птичник; вы увидите его после завтрака — увидите разные обличия, услышите разные говоры. Не менее разнообразны и нравы. Одни птицы водят знакомство друг с другом и питают взаимную приязнь, меж другими — непримиримая вражда. Но все до того смирные и привычные к человеку, что иной раз во время обеда — если окно оставить открытым — слетают на стол и берут пищу прямо из рук. А когда я всхожу вон на тот висячий мостик, беседуя с кем-либо, они садятся рядом, слушают наш разговор, даже на плечи нам опускаются — до такой степени отвыкли они бояться, зная, что никто их не обижает. В дальнем конце плодового сада — царство пчел. И это зрелище не лишено приятности, но теперь мы ничего больше смотреть не будем, чтобы потом вы

сочинении «Об обязанностях», I, XXVIII, 97. Но в историю она вошла как любимое изречение римского императора Калигулы.

<sup>83</sup> Ядовитая змея, чей укус вызывал нестерпимую жажду (dipsa — по-гречески «жажда»).

<sup>84</sup> Земноводных (греч.).

<sup>85</sup> Хватая, я схвачен (греч.).

<sup>86</sup> Либурна — легкое судно, конструкция которого была заимствована римлянами у жителей Либурнии, области на северо-восточном побережье Адриатики.

<sup>87</sup> Алкиной — царь мифического племени феаков, которые обитают во всяческом изобилии и благополучии на мифическом же острове Схерии. Описание Алкиноева сада — см. Гомер, «Одиссея», VII, 112—128.

вернулись сюда с новым любопытством, как будто ничего еще не видали.

Слуга. Твоя супруга и кухарка кричат, что завтрак перестоится.

Евсевий. Скажи, чтобы не тревожились, — мы сейчас будем. Умоемся, друзья, чтобы прийти к столу с чистыми руками и чистой душою. Если даже язычникам стол внушал чувство благоговения, насколько большею святинею должен он быть для христиан, всегда напоминая им о святейшей последней трапезе господина нашего Иисуса в кругу учеников. Вот откуда обычай мыть руки: если в душе у тебя застряли крупички ненависти, злобы, бесстыдства, вытряхни их, прежде чем приняться за еду! Мне думается, что и для тела полезнее, когда пищу принимаешь с чистой душою.

Тимофей. Это истинно так. Мы все с тобою согласны.

Евсевий. Сам Христос подал нам пример трапезу начинать хвалебною песнью (я имею в виду те многие места в Евангелии, где он благословляет Отца или благодарит его, прежде чем преломить хлеб) и хвалебною песнью заканчивать. А потому, если не возражаете, я прочту вам песнь, которую святой Златоуст в одной из проповедей превозносит дивными похвалами и даже удостаивает голосования.

Тимофей. Не только не возражаем, но просим.

Евсевий. «Благословен ты, боже, — ты питаешь меня от юности моей и даешь пропитание всякой плоти. Наполни сердца наши радостью и весельем, дабы, насытившись ими, мы в изобилии творили всяческое добро. Во имя Христа Иисуса, господина нашего, коему — вместе с тобою и со святым Духом — слава, честь и поклонение во веки веков!»

Тимофей. Аминь.

Евсевий. Теперь садитесь, всяк со своею «тенью». Первое место по праву принадлежит твоим сединам, Тимофей.

Тимофей. В одном слове ты выразил все мои достоинства. Никаких иных преимуществ перед остальными у меня нет.

Евсевий. Иным дарам оценщик господь; мы же следуем тому, что видим воочию. Софроний, сядь рядом со своим другом. Вы, Феофил и Евлалий, займите правый край стола. Хризоглотт и Феодидакт займут левый. Ураний и Нефалий сядут здесь. А я здесь, на углу.

Тимофей. Этого мы не допустим! Первое место — хозяину!

Евсевий. Весь дом этот — мой, и вместе с тем — ваш. А как скоро власть в моем царстве дана мне, хозяин получит то место, какое сам себе выберет. Теперь пусть Христос, преславный источник всяческой радости, без которого ничто не мило до конца, удостоит наш пир своим присутствием и тем обрадует души наши.

Тимофей. Надеюсь, так и будет. Но где же он сядет? Ведь все места уже заняты.

Евсевий. Пусть объявится частицею в каждом блюде и каждой чаше, чтобы вкус его ощущался во всем, а главное — пусть проникнет к нам в сердца. И чтобы тем вернее заслужить его милость и приготовить себя к обществу такого сотрапезника, выслушайте, если вам не в тягость, несколько слов из Святого писания. Но только, пожалуйста, начинайте кушать: берите салат и яйца.

Тимофей. Мы охотно будем есть, но еще охотнее — слушать.

Евсевий. Этот обычай, на мой взгляд, надо усвоить по многим причинам. Он не дает места пустой болтовне и доставляет пищу для плодотворной беседы. Я решительно не согласен с теми, кто полагает, будто нет веселья на пиру, если не кипит ключом вздорное зубоскальство, не гремят непристойные песни. Истинная радость рождается чистою, ничем не омраченною совестью; и лишь те речи поистине веселы, которые всегда приятно и произносить и слушать, всегда отраднo помнить, но никак не те, которых вскоре начинаешь стыдиться, которые мучат совесть раскаянием.

Тимофей. Ты говоришь сущую правду. Ах, если бы всем нам оценить это по достоинству!

Евсевий. И он не только неоспоримо полезен, такой обычай, — он становится и приятен, если привыкаешь к нему хотя бы в течение месяца.

Тимофей. Нет ничего лучше, как привыкать к лучшему!



Евсевий. Эй, слуга, читай громко и отчетливо. Слуга. «Как потоки вод, так и сердце царя в руках господя: куда захочет, туда и склонит его. Всякий путь человека прям в собственных его глазах, но сердца взвешивает господь. Милость и правосудие угоднее господу, нежели жертвы»<sup>88</sup>.

Евсевий. Достаточно. Лучше изучить немного, но с жадностью, чем поглотить много и без всякого удовольствия.

Тимофей. Конечно, но только не в этом случае. Плиний советовал<sup>89</sup> никогда не выпускать из рук Цицеронова «Обязанности»<sup>90</sup>, и действительно, они стоят того, чтобы каждый затвердил их слово в слово, и в первую очередь, люди, которым предстоит управлять государством; таково, по крайней мере, мое мнение. Что же до этой книжечки, до «Притчей», я всегда считал, что ее надо иметь при себе везде и всегда.

Евсевий. Я знал, что наш завтрак будет скудный и пресный, и потому заранее припас эту приправу.

Тимофей. Здесь всего вдоволь, и все на диво вкусно. Но если бы даже не было ничего, кроме свеклы без перца, без вина и без уксуса, все приправило бы и сдобрило такое чтение!

Евсевий. Но мне было бы еще приятнее, если б я мог вникнуть глубже в то, что сейчас услышал. Вот если бы был среди нас настоящий богослов, который бы не только понял это, но и уразумел в полной мере! А нам, непосвященным, не знаю даже, дозволено ли рассуждать о таких вещах.

Тимофей. По моему крайнему разумению, это дозволено и матросам, лишь бы не было безрассудных поползновений определять что бы то ни было. А быть может, и Христос, который обещал быть повсюду, где соберутся хотя бы двое и станут говорить о нем, осенит и вдохновит наше собрание, куда более многолюдное.

Евсевий. Ну, что ж, тогда разделим, пожалуй, меж нами, девятью, эти три предложения?

Гости. Очень хорошо, только очередь начнем с хозяина.

Евсевий. Я не хотел бы отказываться, но опасаясь, что мои речи разочаруют вас гораздо более, чем мое угощение. Однако прослыть нелюбезным хозяином еще страшнее. Отбрасывая различные догадки, которые предлагают толкователи, я считаю, что нравственный смысл этого места такой: других людей можно разубедить увещаниями, бранным криком, угрозами, ссылками на законы, но царь не боится никого и, слыша возражения, только сильнее гневается. И когда государь горячо устремляется к какой-либо цели, его не надо останавливать — не оттого, что желания государей всегда совершенны, но оттого, что бог нередко пользуется их глупостью и злобою для исправления грешников: так некогда запретил он сопротивляться Навуходоносору, ибо его руками решил покарать избранный свой народ<sup>91</sup>. На это, возможно, намекает Иов<sup>92</sup>: бог возводит на царство лицемера ради прегрешений народа. И к этому же, возможно, направлены слова Давида<sup>93</sup>,

---

<sup>88</sup> «Книга Притчей Соломоновых», XXI, 1—3 (перевод отличен от синодального).

<sup>89</sup> Гай Плиний Секунд Старший (22—79 гг. н. э.) в предисловии к «Естественной истории», обращенном к императору Титу Флавию Веспасиану.

<sup>90</sup> Цицеронова «Обязанности» — философское сочинение Цицерона «Об обязанностях», посвященное теории государства и права, а также вопросам морали.

<sup>91</sup> См. «Четвертая книга царств» («Вторая царей»), XXIV—XXV. Взятие Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором (Небукаднецаром) — 588 г. до н. э.

<sup>92</sup> «Книга Иова», XXXIV, 30.

<sup>93</sup> псалом L, ст. 6 (перевод отличен от синодального).

оплакивающего свой грех: «Тебе единому я согрешил и зло содеял перед тобою».

Конечно, и для народа грехи царей — великое зло, но нет среди смертных никого, кто был бы властен осудить государя, тогда как божьего приговора даже самый сильный избежать не в силах.

Тимофей. Отличное толкование! Но что означают «потоки вод»?

Евсевий. Это сравнение, поясняющее существо дела. Неукротим и безудержен царь в раздражении, и никому не повернуть его в ту или иную сторону — он точно ужален божественным оводом, и лишь собственная ярость направляет его бег. Так море нахлынет на берег и тотчас отхлынет, захлестнув поля, строения и все прочее, что встретилось на пути, а частью скроется в земных недрах. Попытайся воспротивиться этому натиску или изменить его направление — ты ничего не достигнешь. То же случается и с большими реками, как гласят, к примеру, предания об Ахелое<sup>94</sup>. И, подчинившись смиренно, ты потерпишь меньше зла, чем неистово отбиваясь.

Тимофей. Значит, против буйства дурных царей нет никаких средств?

Евсевий. Пожалуй, что первым было бы «не принимать в город льва»<sup>95</sup>, а затем — так умерять его мощь влиянием сената, властей и граждан, чтобы выродиться в тиранию ей оказалось непросто. Но всего лучше — воспитать и образовать его душу добрыми наставлениями, пока он мал и не сознает себя государем. Помогают и просьбы и увещания, но только ласковые и своевременные. Наконец, крайнее средство — без усталости молить бога, чтобы он внушил царю образ мыслей, достойных христианского государя.

Тимофей. И ты еще говорил о непосвященных! Да будь я и бакалавром богословия, я бы гордился таким толкованием!

Евсевий. Я не уверен, что оно правильно, но с меня и того довольно, — лишь бы не было в нем нечестия или же ереси. Итак, я исполнил ваше желание и теперь, как заведено на пирах, хочу, в свой черед, обратиться в слушателя.

Тимофей. Если вы готовы хоть сколько-нибудь довериться моим сединам, я бы сказал, что в этих словах можно обнаружить и более сокровенный смысл.

Евсевий. Не сомневаюсь и жду с нетерпением.

Тимофей. Под «царем» можно разуметь человека совершенного, смирившего вожделения плоти и ведомого лишь порывом божественного духа. Кто достигнул подобного состояния, того, пожалуй, не следует смирять и ограничивать человеческими законами, — его надо оставить суду владыки, чьим духом он движим, и не судить в согласии с поступками, которыми немощность несовершенных подвигается кое-как к истинному благочестию. И если он поступает в чем-либо иначе, скажемте вместе с Павлом: «Бог это принял; перед своим господом и стоит он, и падает»<sup>96</sup>. И еще: «Человек духа гудит обо всем, о нем же судить никто не может»<sup>97</sup>. Таким людям пусть не указывает никто, кроме господина, который указал пределы морю и рекам, который держит в руке сердце царя своего и склоняет это сердце куда заблагорассудит. Есть ли нужда указывать тому, кто по собственному почину действует лучше, нежели требуют человеческие законы? И не ужасное ли безрассудство связывать человеческими уставами того, о ком твердо известно, что им правит божественное вдохновение?

---

<sup>94</sup> Ахелой — речное божество у древних греков, сын Океана. Бог, давший имя крупнейшей в Греции реке (Ахелю), он считался одновременно владыкою всех пресных текучих вод.

<sup>95</sup> чуть измененная цитата из Аристофана, «Лягушки», 1432.

<sup>96</sup> «Послание к Римлянам», XIV, 3—4.

<sup>97</sup> «Первое послание к Коринфянам», II, 15.

Евсевий. Не только волос сед у тебя, Тимофей: почтенными сединами учености сверкает и твой ум. Такими царями надо быть всем христианам, но, увы, немногие сыщутся среди них, достойные этого звания!... Однако ж будет с нас яиц<sup>98</sup>, и овощное вступление пора заканчивать. Если вы не против, это сейчас унесут и подадут нам остальное.

Тимофей. Да, но мы уже и вступлением сыты и вполне довольны, даже если за ним ничего более не последует — ни изложения, ни заключения.

Евсевий. Раз с первой фразой мы — слава Христу! — справились, как мне кажется, удачно, я бы хотел, чтобы твоя «тень» изъяснила нам вторую. Вторая, на мой взгляд, несколько темнее.

Софроний. Если вы будете снисходительны к тому, что я скажу, я постараюсь изложить все, что думаю. Но одно меня смущает: возможно ли, чтобы свет во тьму проливал тень?

Евсевий. Будем снисходительны — ручаюсь от имени всех, кто здесь собрался! Такие тени лучатся светом очень даже пригодным для наших глаз.

Софроний. Я полагаю, здесь та же мысль, что у Павла<sup>99</sup>. Разными житейскими дорогами стремятся люди к благочестию. Кто избирает священство, кто безбрачие, кто брак, кто уединение, кто общественные заботы — всяк по своим особенностям, телесным и душевным. Или вот один ест все подряд, другой отличает пищу от пищи, один отличает день ото дня, другой судит обо всяком дне равно. В таких вещах, учит Павел, каждый пусть следует своей склонности без обид и притеснений. Нельзя никого осуждать на этом основании — судить предоставим богу, взвешивающему сердца. Ведь нередко бывает и так: кто ест, угоднее богу, нежели иной, кто голодает, и кто нарушил праздничный день, богу милее, нежели иной, кто кажется соблюдающим, и брак иного в очах божиих угоднее, нежели безбрачие многих. Тень свою речь завершила.

Евсевий. Почаще бы мне доводилось беседовать с такими тенями! По-моему, ты попал в самую точку, только не булавкою, как гласит поговорка, а словом. Вот, однако ж, подоспел холостяк не из числа блаженных, не из тех, что оскопили себя ради царства божия; он оскроплен насильственно, дабы тем больше порадовать наше чрево, «пока бог не уничтожит и чрево и пищу»<sup>100</sup>. Каплун из моего птичника. Люблю вареную курятину. Суп, по-моему, недурен. Видите, что в нем плавает? Самый лучший латук. Берите каждый что кому нравится. Но хочу предупредить вас заранее: будет еще жаркое, потом сладкое и, наконец, развязка комедии.

Тимофей. Да, а почему мы исключаем из нашего застолья твою супругу?

Евсевий. Когда вы будете со своими женами, сядет за стол и моя. А так чем была бы она среди нас? Лицом без речей, и только! И женщина охотно болтает с женщинами, и нам, мужчинам, привольнее философствовать между собою. В противном же случае как бы не приключилось с нами то, что с Сократом: у него были в гостях философы, а им этикие беседы дороже всякой еды, — вот спор и затянулся, и тогда Ксантиппа, в гневе, опрокинула стол.

Тимофей. Но твоей жены бояться нечего, сколько я знаю: нрава она самого кроткого.

Евсевий. Да, я бы ее ни на какую другую не променял, если б даже и мог; и в этом вижу особенную свою удачу. Не по душе мне уверения, будто удачлив одинокий, никогда не супружество не вступавший, и много больше нравятся слова мудрого еврея<sup>101</sup>: тому выпал счастливый жребий, кому досталась добрая жена.

<sup>98</sup> По обычаю древних римлян, Евсевий начинает угощение с яиц и овощей.

<sup>99</sup> В «Первом послании к Коринфянам», IV сл.

<sup>100</sup> Там же, VI, 13 (цитата не вполне точна).

<sup>101</sup> см. «Книга притчей Соломоновых», XVIII, 22

Тимофей. Часто жены бывают дурны по нашей вине — оттого ли, что худо выбираем, оттого ли, что портим, оттого ли, что воспитываем не так, как следует.

Евсевий. Твоя правда... Однако я жду истолкования третьей фразы, и, чудится мне, говорить желает &#952;&#949;&#959;&#960;&#957;&#949;&#965;&#964;&#959;&#962;<sup>102</sup> Феофил.

Феофил. Напротив, все мои желания были в тарелке. Но я скажу, если можно говорить безбоязненно.

Евсевий. Мы выслушаем тебя с благодарностью, даже если ты ошибешься, потому что и ошибка подает повод к открытию истины.

Феофил. Мне думается, тут высказано то же, что произносит господь у пророка Осии в главе шестой: «Милости я хотел, а не жертвы, и ведения бога — больше всесожжения». Осию же толкует и живо и успешно сам господь Иисус в Матфеевом Евангелии, в главе девятой. Левий, мытарь, устроил пир и пригласил к себе многих людей своего сословия и занятия, и вот фарисеи, чванившиеся благоговением перед Законом (хотя они пренебрегали теми заповедями, на которых стоит и весь Закон, и пророки), решили отвратить от Христа его учеников и спрашивают их, как это господь участвует в пире грешников, которых иудеи, желавшие прослыть за особенно благочестивых, всячески избегали и если случайно встречались с мытарем на улице, потом, вернувшись домой, мылись с головы до пят. Ученики, тогда еще не просветившиеся, не знали, что отвечать, и господь ответил и за себя, и за них: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Подите научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“. Не праведников Пришел я призвать, но грешников».

Евсевий. Прекрасно ты объясняешь через сопоставление мест. Для божественных писаний это замечательный способ. Но мне хотелось бы понять, что зовет он жертвою и что милостью. Действительно, как это так: господь отвергает жертвы, хотя сам же столько раз требовал их приносить!

Феофил. Каким образом бог отвергает жертвы, мы узнаём от него самого — через пророка Исаяю, в главе первой. Есть в Законе у иудеев такие предписания, которые скорее обозначают святость внешне, чем выражают по существу; в их числе — праздники, субботние уставы, посты, жертвы. И есть такие, которые надо блюсти всегда, которые хороши сами по себе, а не оттого, что их приказано соблюдать. Иудеев же бог отвергает не за то, что они исполняли обряды, предписанные Законом, но за то, что, по-глупому этим чванясь, они забыли о главнейших требованиях божиих к человеку. По уши увязая в корыстолюбии, гордыне, хищничестве, ненависти, зависти и прочих пороках, они полагали бога своим должником, оттого что по праздникам толпились в храме, оттого что приносили жертвы, не ели запретной пищи и время от времени постились. Тени вещей — вот что они лелеяли, самих же вещей не замечали. А что он говорит: «Милости хочу, а не жертвы», — так это, на мой взгляд, особенность еврейской речи — вместо «Милости хочу больше, чем жертвы». Так именно и толкует Соломон<sup>103</sup>, у которого сказано: «Милость и правосудие угоднее господу, нежели жертвы».

Далее. Всякий поступок, который совершается ради того, чтобы помочь ближнему, Писание именует «милостью» либо «милосердием». А «жертвами», я полагаю, зовется все, относящееся к телесным обрядам и так или иначе соприкасающееся с иудаизмом; сюда относятся выбор пищи, особая одежда, пост, жертвоприношения, молитвы, творимые словно бы по обязанности, праздничный покой. Пренебрегать ими вовсе, при любых обстоятельствах, не следует, но они становятся противны богу, если человек, полагаясь на свою исправность в жертвах, небрежен в милосердии, когда нужда ближнего требует долга любви. Есть видимость святости в том, чтобы остерегаться даже разговора с дурными

<sup>102</sup> Богодухновенный (греч.).

<sup>103</sup> «Книга притчей Соломоновых», XXI, 3.

людьми. Но этому не должно быть места, если любовь к брату твоему внушает тебе иное. Хранить покой по праздничным дням похвально, но из-за святости дня не подать помощи гибнущему брату — кощунство! Одним словом, блюсти день воскресный — это, так сказать, жертва, а примириться с братом — милость.

Далее. «Правосудие» можно бы отнести к сильным мира сего, которые часто подавляют и угнетают слабых, но очень вероятно, на мой взгляд, что это переключается со словами Осии: «И ведение бога — больше всеожжения». Кто пренебрегает замыслом Божиим, пренебрегает и Законом. Если осел падал в яму, иудеи вытягивали его оттуда и по субботним дням, и они же поносили Христа за то, что он исцелил человека в субботу. Это превратное суждение, и нет в нем ведения бога: не ведали иудеи, что праздники созданы для человека, а не человек для праздников.

То, что я говорю, было бы, пожалуй, и дерзостью и бесстыдством, но ведь говорил-то я по вашему велению. А вообще я предпочел бы послушать других, тех, кто мыслит более здраво.

Евсевий. Хорошо «бесстыдство»! Да мне чудилось, будто сам господь Иисус глаголет твоими устами!... Но, щедро питая душу, не будем забывать и об ее товарище.

Феофил. О каком товарище?

Евсевий. О теле. Разве тело не товарищ души? Это слово, я считаю, подходит больше, чем «орудие», или «жилище», или «могила».

Тимофей. Но когда человек в целом подкрепляет силы, крепнет, без сомнения, и его тело!

Евсевий. Лениво вы кушаете, как я посмотрю. Что же, если разрешите, я прикажу подавать жаркое, чтобы скудость застолья не пыталась скрыться за долгою. Перед вами вершина нашего скромного завтрака: баранья лопатка, — правда, отменная, — каплун и четыре куропатки. С рынка только куропатки, всем прочим снабжает это именице.

Тимофей. Эпикурейский у нас завтрак, чтобы не сказать «сибаритский»!

Евсевий. Куда там — даже не кармелитский<sup>104</sup>. Но каков бы он ни был, вы уж не обессудьте. Застолье пусть и небогатое, зато намерения добрые.

Тимофей. До того дом твой речист, что не только стены, но и бокалы разговаривают.

Евсевий. И что говорит твой бокал?

Тимофей. «Всяк вредит себе сам».

Евсевий. Это он берет под защиту вино. Когда после попойки является лихорадка или тяжесть в голове, люди обыкновенно бранят вино, между тем как сами навели на себя беду неумеренными возлияниями.

Софроний. А мой говорит по-гречески: &#949;&#957; &#959;&#953;&#957;&#969;&#945;&#955;&#951;&#952;&#949;&#953;&#945;<sup>105</sup>.

Евсевий. Он напоминает, что священникам и царским слугам много пить небезопасно: что таилось на сердце, вино переносит на язык.

Софроний. В Египте в старину вино священнослужителям было воспрещено, а ведь тогда смертные еще не доверяли им своих тайн<sup>106</sup>.

Евсевий. А теперь пить можно всем подряд, но полезна ли такая свобода?... Что за книгу ты достаешь из кармана, Евлалий? Очень красивая на вид книжечка — вся золотая снаружи.

Евлалий. А внутри — краше любых бриллиантов. Это Павловы послания. В них первая

---

<sup>104</sup> Кармелиты — монашеский нищенствующий орден, основанный в 1121 г. Первая его обитель была поставлена на горе Кармель (Кармил) в Палестине; отсюда название ордена.

<sup>105</sup> В вине истина.

<sup>106</sup> Намек на исповедь.

моя отрада, они всегда со мною. А достал я их сейчас потому, что, слушая тебя, вспомнил одно место, которое не так давно долго меня мучило, да и теперь еще тревожит душу. В «Первом послании к Коринфянам», в главе шестой, сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто да не имеет власти надо мною».

Прежде всего, если верить стоикам, полезно лишь то, что честно. Каким же образом Павел различает меж позволительным и полезным? Без сомнения, блудить и пьянствовать непозволительно, — как, в таком случае, может быть позволительно все? А если Павел говорит лишь об известном роде вещей, из которых каждую полагает дозволенной, я не в силах вывести из общего смысла, какой именно это род. Судя по дальнейшему, можно предполагать, что речь идет о выборе пищи. Одни воздерживались от идоложертвенного, другие от пищи, запрещенной Моисеем. Идоложертвенному посвящена глава восьмая, глава же десятая, как бы разъясняя значение нашего места, говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый — пользы другого. Все, что, продается на мясном торгу, ешьте». То, что Павел здесь добавляет, согласно, мне кажется, с тем, что говорилось выше: «Пища для чрева, и чрево для пищи, но бог уничтожит и то и другое». — А что он и здесь имеет в виду иудейский выбор пищи, свидетельствует заключение десятой главы: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни язычникам, ни церкви божией, так же, как и я угождаю всем и во всем, ища не своей выгоды, но пользы для многих, чтобы они спаслись». И самом деле, «соблазн язычникам» относится, вероятно, к идоложертвенному, «иудеям» — к выбору пищи, а «церкви божией» — к нестойким из иудеев и язычников. Итак, апостол разрешает есть всякую пищу, и для чистых все было чисто. Но пользы в этом могло и не быть. Что все позволительно — это от евангельской свободы, но любовь повсюду хлопочет о том, что ведет к спасению ближнего, а потому нередко воздерживается и от дозволенного, предпочитая послужить благу ближнего, чем воспользоваться своею свободой.

Но тут меня останавливает двойное сомнение.

Во-первых, ни до, ни после нашего места нет ничего, что подкрепляло бы такое толкование. Перед тем Павел порицал коринфян за то, что они не ладят друг с другом, за то, что замараны блудом, прелюбодеянием и даже кровосмесительством, за то, что судятся у нечестивых судей. Как с этим связать: «Все мне позволительно, но не все полезно»? А в дальнейшем, оставив разговор о тяжбах, апостол возвращается к обличению разврата. «Тело, — говорит он, — не для блуда, а для господина и господь для тела».

Впрочем, это сомнение я еще могу как-то рассеять, потому что немного выше, перечисляя пороки, Павел упоминает и поклонение идолам: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи...» Но употребление в пищу идоложертвенного мяса близко к поклонению идолам. Поэтому чуть далее он прибавляет: «Пища для чрева, и чрево для пищи», — давая понять, что при необходимости для тела, при особых обстоятельствах, можно есть все подряд, — если только любовь к ближнему этому не воспрепятствует. Разврата же следует гнушаться всегда и везде. Еда — это необходимость, которая исчезнет при воскресении мертвых; похоть — злейший порок.

Зато второго сомнения я разрешить не могу: как со всем этим сочетается «но ничто да не имеет власти надо мною»? Апостол утверждает, что имеет власть надо всем, сам же ничьей власти не подлежит. Если быть в чужой власти означает хранить воздержность, дабы не вводить в соблазн ближнего, то ведь тот же Павел говорит о себе: «Хотя я свободен совершенно, но сделал себя рабом каждого, чтобы приобрести всех». С этим же сомнением, мне кажется, столкнулся и святой Амвросий<sup>107</sup>, который думает, что апостол выражает здесь свои чувства прямо, без иносказаний: он заранее прокладывает путь тому, что объявит в главе девятой, — что-де он вправе поступать так же, как прочие, будь они апостолы или

---

<sup>107</sup> Святой Амвросий Медиоланский (340—397) — один из святых и Отцов западной церкви, епископ города Милана (Медиолана), крупный церковный деятель и талантливый писатель, автор многих сочинений в прозе и стихах.

лжеапостолы, все равно, а именно брать пропитание от тех, кому проповедовал Евангелие. Да, он мог брать, но не брал ничего, чтобы не обременять коринфян, которых обличал в столь многих и столь непростительных грехах. И затем, всякий, кто принимает, уже В какой-то мере зависит от того, кто дает, и от силы воздействия что-то отнимается. Принимающий обличает с меньшею свободой, и дающий не склонен выслушивать обличения от человека, которого он облагодетельствовал. Вот почему Павел и воздержался от причитавшегося ему по праву — ради апостольской свободы, которую он не желал стеснять никакою зависимостью, чтобы тем свободнее и с большей внушительностью порицать прегрешения коринфян.

Объяснение Амвросия мне по душе. Но если бы кто предпочел применить это место к выбору пищи, то, по моему разумению, слова Павла: «Ничто да не имеет власти надо мною», — можно понимать так: хоть временами я и воздерживаюсь от мяса жертвы или от пищи, запрещенной Моисеевым законом, — в заботе о спасении ближнего и об успехе Евангелия, — дух мой, однако же, свободен, ибо я твердо знаю, что мне позволительно есть все подряд, по потребностям тела. А лжеапостолы силились убеждать, будто бывает пища нечистая сама по себе и будто воздерживаться от такой пищи надо не глядя по обстоятельствам, но постоянно, словно бы от природной скверны, так в точности, как мы воздерживаемся от человекоубийства и прелюбодеяния. Кто уступил этим уговорам, те подпали чужой власти, от евангельской же свободы отпали.

Один только Феофилакт<sup>108</sup>, сколько я помню, выводит отсюда мысль, отличную от всего, о чем я сейчас говорил: «Позволительно есть все подряд, но полезно — только к мере: из невоздержности рождается распутство». Нечестивого в таком толковании нет ничего, но подлинней смысл этого места, мне кажется, иной.

Я открыл вам, что не дает мне покоя, а вы окажите милосердие и избавьте меня от сомнений.

Евсевий. Честное слово, ты оправдываешь свое имя! Кто умеет задавать вопросы так, как это делаешь ты, в чужих ответах не нуждается. Нет, верно, ты так изложил свои сомнения, что я уже ни в чем не сомневаюсь. Но, конечно, Павел в этом послании хотел высказаться о многом сразу и потому часто переходит от одного предмета к другому, часто вновь обращается к предмету, уже оставленному.

Хризоглотт. Если бы не опасения, что моя болтовня отвлечет вас от еды и что не подобает вмешивать в святые беседы нечистых язычников, я бы тоже предложил вам один отрывок, который прочел сегодня. Правда, он нисколько меня не мучил, наоборот — доставил редкостное удовольствие.

Евсевий. Ничто благочестивое, ничто, ведущее к добрым нравам, называть нечистым или языческим нельзя! Споры нет, первое место всегда и повсюду должно принадлежать Священному писанию, но нередко встречаются изречения древних, слова язычников и даже языческих поэтов такие чистые, возвышенные и вдохновенные, что невольно веришь: душа того, кто это писал, была во власти некоего благого божества. Как знать, быть может, дух Христов разлит шире, чем судим и толкуем мы, и к лику святых принадлежат многие, кто в наших святцах не обозначен. Я признаюсь перед друзьями — не могу читать сочинений Цицерона «О старости», «О дружбе», «Об обязанностях», «Тускуланские беседы» без того, чтобы не поцеловать книгу несколько раз, чтобы не испытать благоговения перед этой святою душой, осененною свыше. И напротив, когда читаю, что пишут иные из новых о государстве, о хозяйстве или же о нравах, — боже бессмертный!... как они вялы против древних, как сами, по-видимому, не понимают того, что говорят! Я готов пожертвовать скорее всем Скотом<sup>109</sup> и прочими ему подобными, чем хотя бы одною книгою Цицерона

---

<sup>108</sup> Феофилакт Болгарский (вторая половина XI — начало XII вв.) — крупный византийский писатель и церковный деятель, Главным его сочинением были толкования на книги Ветхого и Нового заветов.

<sup>109</sup> Скот — Иоанн (Джон) Дуне Скот (ок. 1265—1308), знаменитый богослов и философ; для Эразма и его

или Плутарха! Не то чтобы я вообще осуждал новых писателей, но я чувствую, как через чтение древних становлюсь лучше, а эти каким-то непостижимым образом делают меня равнодушнее к истинной доблести, зато так и подстрекают к спорам. Стало быть, не опасайся предложить нам свой отрывок, какой бы он ни был.

Хризоглотт. Большинство философских сочинений Марка Туллия <sup>110</sup> отмечено присутствием божества, но то, что он создал уже стариком — «О старости», — доподлинно, на мой взгляд, <sup>111</sup>, как говорили греки. Сегодня я перечитывал эту книгу, и слова, которые понравились мне всего больше, затвердил наизусть:

«Если бы кто из богов милостиво предложил мне снова сделаться младенцем и пищать в колыбели, я бы отказался наотрез: не хотелось бы мне теперь, когда бег почти закончен, все начинать сначала. Какие есть в этой жизни выгоды или, вернее, каких только нету в ней тягот? Но когда бы тягот и не было — приходят неизбежно и скука и пресыщение. Я не склонен, наподобие многих, в их числе и ученых, оплакивать свою жизнь, и не сожалею о том, что жил: я прожил так, что не считаю, будто родился понапрасну. А из этой жизни я ухожу, как из гостиницы, не как из собственного дома: природа дала нам здесь пристанище не для жительства, но лишь для временной остановки. Блажен тот день, когда я отправлюсь к прославленному собранию душ, расставшись с этой нечистою толпою!» <sup>112</sup>

Так говорит Катон <sup>113</sup>. Но что более возвышенного мог бы сказать христианин? Ах, если б разговоры монахов между собою или с монашенками были всегда таковы, как этот разговор старого язычника с молодыми!

Евсей. Тебе возразят, что он вымышлен Цицероном.

Хризоглотт. По мне, так разница невелика, кому вменить это в заслугу — Катону ли, который испытывал и обнаружил подобные чувства, или Цицерону, чей дух и разум вместили столь божественные мысли, чье перо было столь же красноречиво, сколь замечателен предмет описания. Впрочем, я полагаю, что Катон говорил если и не в точности такими словами, то как-нибудь схоже. Не так уж бесстыден был Марк Туллий, чтобы изобразить Катана иным, чем на самом деле, забыть в диалоге о чести и приличии, которые в этом роде писаний надо соблюдать с предельною тщательностью, тем более что память о Катоне была тогда еще свежа.

Феофил. Все это в высшей степени вероятно, но я хочу сказать, что мне пришло в голову, когда ты читал на память. Я много раз дивился про себя, что вот, дескать, многие мечтают о долголетию и боятся смерти, а вместе с тем едва ли найдется хоть один такой счастливец, — не говорю, между стариками, но меж людьми пожилыми, — который на вопрос, желал бы он, если бы представился случай, снова сделаться ребенком, чтобы снова узнать все те же радости и горести, какие уже однажды выпали на его долю, отвечал бы иначе, нежели Катон, и особенно если бы перебрал в уме все, что за прожитые годы происходило печального и что веселого. Ведь нередко даже приятные воспоминания сопряжены либо со стыдом, либо с укорами совести, и душа упорно отказывается их хранить, наравне с грустными и печальными. Не на это ли указывают самые мудрые поэты,

---

современников и единомышленников он был как бы воплощением схоластической философии.

<sup>110</sup> то есть Цицерона.

<sup>111</sup> Лебединая песнь (греч.).

<sup>112</sup> Цицерон, «О старости», XXIII, 83—84.

<sup>113</sup> Катон — Марк Порций Катон Старший (234—149 гг. до н. э.), римский государственный деятель и полководец. Его собеседниками в диалоге «О старости» выступают юные Публий Корнелий Сципион, будущий победитель карфагенян в III Пунической войне (149—146 гг. до н. э.), и его друг Гай Лелий Мудрый.



когда пишут, что душа проникается тоскою по оставленному ею телу не раньше, чем досыта напьется забвением из реки Леты?

Ураний. Да, удивительное дело, вне всякого сомнения! Я и сам наблюдал это неоднократно... Но как же хорошо сказано — «не сожалею о том, что жил!»! И до чего же мало христиан устроили свою жизнь так, чтобы могли применить к себе слова этого старика! Большею частью люди убеждены, что жили не напрасно, если, умирая, оставляют богатство, сколоченное любыми средствами. А Катон оттого не считает себя родившимся понапрасну, что был безукоризненным гражданином и безупречным начальником и что оставил потомству воспоминания о своей доблести и усердии. А что могло быть вдохновеннее этого: «Я ухажу, как из гостиницы, не как из собственного дома!»! В гостинице живут лишь до тех пор, покуда хозяин не выпроводит. В собственном доме чувствуешь себя намного увереннее, но и оттуда сплошь да рядом гонит человека обвал, или пожар, или иное какое-нибудь несчастье. А если ничего подобного и не происходит, все равно стены ветшают и обрушиваются, напоминая: время переселяться.

Нефалий. Ничуть не хуже говорит Сократ у Платона: «Душа человеческая помещена в теле, словно бы солдат на посту, так что ей не дозволено ни уйти без приказа командующего, ни медлить дольше, нежели сочтет нужным тот, кто назначил караул». У Платона даже нагляднее: вместо слова «дом» он говорит «пост», и правда, в доме мы лишь проводим время, а на посту обязаны действовать, исполнять то, что поручил нам командующий. Такое сравнение не расходится и с Писанием, которое называет человеческую жизнь то воинской службою, то сражением.

Ураний. А по-моему, Катон в этой речи замечательно сходится с Павлом. Обращаясь к коринфянам, апостол небесное жилище, которого мы чаем после земной жизни, именует *οικουμένη* и *σκηνή*, то есть «дом» либо «жилище». Тело же он зовет шатром, по-гречески *σκήνη*: «Ибо, — говорит он, — находясь в этом шатре, мы стонем под бременем». 114

Нефалий. Почти то же самое и у Петра<sup>115</sup>: «Справедливым почитаю, покуда нахожусь в этом шатре, тревожить вас напоминаниями, ибо знаю твердо, что скоро должен оставить свой шатер». И разве иное что вещает Христос, требуя, чтобы мы жили и бодрствовали так, точно вот-вот умрем, а добро чтобы творили с таким усердием, точно будем жить вечно? И когда мы слышим: «Блажен тот день...» — разве не чудится нам, будто слышим самого Павла<sup>116</sup>: «Хочу развязаться и быть со Христом».

Хризоглотт. Счастливы люди, ожидающие смерти с такою твердостью и надеждой! И все же, как ни хороша речь Катона, а ее можно упрекнуть в некоторой самоуверенности, самоуверенность же — от гордыни, которая христианину нисколько не подобает. Мне кажется, я не читал у язычников ничего более близкого истинному христианину, чем то, что сказал Критону Сократ, поднося к губам чашу с цикутою: «Одобрит ли наши труды бог, не знаю, но я изо всех сил старался ему угодить, и есть у меня надежда, что он не пренебрежет моими стараниями»<sup>117</sup>. Человек этот так мало полагается на себя и свои поступки, что лишь

114 «Второе послание к Коринфянам», V, 4 (перевод расходится с синодальным).

115 «Второе соборное послание святого апостола Петра», I, 13—14 (перевод расходится с синодальным).

116 «Послание к Филиппийцам», I, 23 (перевод расходится с синодальным).

117 Платон, «Федон», 69 D. Цитата очень неточна. Слова такого приблизительного содержания Сократ обращает не к Критону, а к другому своему ученику, Симмию, и не перед самою казнию, а за несколько часов до нее.

в желании подчинить свою волю воле божества обретает надежду на благость Божию, которая будет благосклонна к его усилиям жить достойно.

Нефалий. Поразительно! Ведь он не знал ни Христа, ни Святого писания! Когда я читаю что-либо подобное о таких людях, то с трудом удерживаюсь, чтобы не воскликнуть: «Святой Сократ, моли бога о нас!»

Хризоглотт. А я часто и не могу удержаться, и уже не сомневаюсь, что душа Марона и Флакка<sup>118</sup> — среди блаженных.

Нефалий. А сколько я видел христиан, умиравших горько, ужасно! Иные уповают на то, что не заслуживает упования, иные же, с нечистой совестью, терзаемые сомнениями, которыми невежды отравляют им последние минуты жизни<sup>119</sup>, выпускают дух чуть ли не в полном отчаянии.

Хризоглотт. Что же удивительного? Ведь всю жизнь они ни о чем ином не задумывались, кроме как о церемониях.

Нефалий. Что ты имеешь в виду?

Хризоглотт. Постараюсь объяснить, но сперва хочу самым решительным образом оговориться, что я не осуждаю, — наоборот, горячо одобряю таинства и обряды церкви, но я осуждаю людей бесчестных, либо суеверных, либо, чтоб выразиться помягче, простодушных и невежественных, которые учат народ верить только в церемонии, опуская то, что действительно делает нас христианами.

Нефалий. Я все еще не пойму, к чему ты клонишь.

Хризоглотт. Сейчас поймешь. Если взглянуть на христианский люд в целом, что составляет основу и костяк жизни, если не церемонии? С каким благоговением воспроизводятся древние обряды церкви при крещении! Младенец ждет у дверей храма, творят заклинание бесов, творят наставление в вере, произносят обеты, отрекаются от Сатаны со всеми его наслаждениями и великолепием; потом миропомазывают, осеняют крестным знаменем, кладут на язык крупинку соли, кропят водою; на восприемников возлагается обязанность заботиться о воспитании и образовании ребенка, а те возвращают себе свободу, откупившись монетою. И вот уже мальчик зовется христианином, впрочем, в известной степени он и есть христианин. Потом его миропомазывают во второй раз, он выучивается ходить к исповеди, принимает святое причастие, привыкает хранить покой по праздничным дням, слушать обедню, поститься время от времени, воздерживаться от мяса. Соблюдая все это, он считается христианином вполне и безусловно. Он женится — и принимает еще одно таинство. Он принимает сан — и снова его миропомазывают и освящают, ему меняют платье, над ним читают молитвы. Что так все происходит, я нисколько не осуждаю, но что оно происходит скорее по заведенному обычаю, чем по живому убеждению, — осуждаю, а что к этому сводится все христианство — отвергаю категорически! Ведь очень многие, веря и обряды, тем не менее копят богатства всеми правдами и неправдами, служат гневу, служат похоти, служат зависти, служат суетному тщеславию. Так наконец доживают они до смерти. Тут опять церемонии наготове. Исповедь, одна и другая, последнее помазание, причастие, свечи, крест, святая вода, индульгенции; достают из-под спуда, а когда и нарочно покупают для умирающего папскую буллу<sup>120</sup>; заказывают пышные похороны и поминки; вновь звучит торжественный обет; кто-нибудь сидит при умирающем неотлучно и кричит ему в ухо<sup>121</sup> — и нередко убивает до срока, если

<sup>118</sup> То есть Вергилия и Горация: оба были любимейшими поэтами Эразма.

<sup>119</sup> см. далее, диалог «Похороны».

<sup>120</sup> В данном случае имеется в виду грамота с отпущением грехов или с подтверждением последней воли умирающего.

<sup>121</sup> см. тот же диалог «Похороны».

крикун попадется голосистый или изрядно подвыпивший, а это дело обычное. Пусть все это правильно, пусть так и надо, — в особенности ежели передано нам церковным обычаем, — но есть еще и нечто иное, более глубокое, сокровенное, дарованное нам для того, чтобы мы покидали этот мир с душевною бодростью и христианской надеждой.

Евсевий. Ты проповедуешь и верно и благочестиво, но к еде между тем никто и не прикасается. Смотрите, не обманитесь! Я предупредил, что, кроме сладкого, ничего больше не будет, да и сладкое-то простецкое, деревенское. Так что не ждите ни фазанов, ни рябчиков, ни аттических лакомств. Слуга, унеси это. Ставь на стол все, что еще не подано. Вот какой у меня «рог изобилия» — совсем пустой. Это собрано в садах, которые вы видели. Если что нравится, кушайте больше, не стесняйтесь.

Тимофей. Какое разнообразие! Смотреть — и то вкусно!

Евсевий. Чтобы моя невзыскательность внушала вам хоть сколько-нибудь уважения, вспомните, что это блюдо с плодами немало порадовало бы Илариона<sup>122</sup>, доподлинно евангельского монаха, будь при нем даже сотня тогдашних пустынножителей. А Павлу или Антонию<sup>123</sup> хватило бы на целый месяц.

Тимофей. Скажу больше: на мой взгляд, сам Петр, князь апостолов, не погнушался бы твоими плодами, в ту пору как стоял на квартире у кожевника Симона<sup>124</sup>.

Евсевий. Полагаю, что и Павел — тоже, когда он, нуждаясь, занимался по ночам сапожным ремеслом<sup>125</sup>.

Тимофей. Да, мы в долгу у божественной щедрости. Но я бы с удовольствием голодал вместе с Петром и Павлом, если бы скудость телесной пищи возмещалась изобилием духовных радостей.

Евсевий. Нет, лучше выучимся у Павла и как наслаждаться изобилием, и как переносить лишения. Когда недостача, будем благодарны Иисусу Христу, за то что он подает нам повод к бережливости и терпению, когда ж избыток — за то, что своею добротою он призывает и побуждает нас любить бога. Умеренно и расчетливо пользуясь дарами божественной щедрости, будем помнить о бедняках: господь для того иным недодал, иным же дал слишком много, чтобы и те и другие могли выказать добрые качества — первые через по-средство вторых и наоборот. Нам он уделяет так щедро, чтобы, приходя на помощь брату в нужде, мы заслужили его, господа, милость. А бедняки, получив поддержку, благодарят бога за нашу доброту и в своих молитвах поручают нас его заботам. Кстати, и мысль добрая пришла! Эй, слуга, скажи хозяйке, чтобы из жаркого — из того, что не доели, — послала нашей Гудуле. Это соседка у нас такая, она беременна и очень бедна, но сердце золотое. Муж недавно умер, был он мот и бездельник и, кроме кучи детей, ничего жене не оставил.

Тимофей. Христос велел давать всякому просящему. Если б я так и поступал, то через месяц сам протянул бы руку за милостыней.

Евсевий. Я думаю, Христос подразумевал лишь тех, кто просит по крайней необходимости. А если кто просит, да нет — требует, чуть не силою выдирает громадные

---

<sup>122</sup> Иларион (или Гиларион) — зачинатель монашества в Палестине. Годы жизни: ок. 291 — ок. 371. Причислен к лику святых.

<sup>123</sup> Антоний (251—356) — прославленный святой, основатель всего восточного монашества в целом. Жил и проповедовал в Египте.

<sup>124</sup> О том, как апостол Петр гостил у кожевника Симона в Яффе (Иоппии) и творил там чудеса, рассказывает новозаветная книга «Деяния святых апостолов», IX — X. Впрочем, как столовался в эту пору апостол, там не сказано ни слова.

<sup>125</sup> В «Деяниях апостолов», XVIII, 3, говорится, что он шил палатки. Но палатки в те времена изготовлялись из кожи, и, стало быть, ремесло апостола Павла было близко к сапожному.

деньги на постройку трапезных под стать самому Лукуллу<sup>126</sup> или, еще того хуже, на убогостроение собственной похоти и безумного расточительства, в таких случаях отказывать — и значит творить милостыню. А отдавать на дурное употребление то, что причиталось нищете ближних, — значит грабить. И потому, мне кажется, в смертном грехе повинны люди, которые тратят без счета и меры на сооружение или украшение монастырей и храмов, меж тем как столько живых храмов Христовых голодают, коченеют от холода полунагие, мучатся жесточайшею нуждою. В Британии, я видел гробницу святого Фомы<sup>127</sup>, убранную бесчисленными и баснословно дорогими самоцветами (не говоря уже об иных сказочных богатствах). Будь на то моя воля, я бы употребил ненужную эту роскошь на нужды бедняков, чем хранить ее для сатрапов, которые в один прекрасный день расхитят всё до последнего камешка, а гробницу убрал бы листьями и цветами и тем, полагаю, больше бы угодил святому мужу. А в земле инсубров<sup>128</sup>, не так далеко от Павии, видел я монастырь картезианского ордена<sup>129</sup>. В монастыре церковь вся из белого мрамора, сверху донизу, и внутри и снаружи, и почти все, что есть в церкви, тоже мраморное — алтари, колонны, надгробья. К чему, спрашивается, было бросать на ветер столько денег? Чтобы несколько монахов пели в мраморном храме? Но даже им он лишь в обузу, этот храм: то и дело их тревожат гости, которые являются только на том, чтобы полюбоваться на мраморную церковь. Там я услышал о вещах уж и вовсе несуразных. Оказывается, монахам завещано по три тысячи дукатов в год па строительные работы, и есть люди, которые считают грехом обратить эти деньги на дела благочестия, помимо желания завещателя: чем не строить вовсе, они предпочитают разрушать, чтобы после отстроить заново. Это случаи особенно примечательные, потому я об них и упомянул, но и в наших храмах<sup>130</sup> повсюду то же самое. На мой взгляд, это не милостыня, а, наоборот, вымогательство: богачи домогаются для себя памятников в церквах, где когда-то не было места и святым. Они хлопочут, чтобы их изобразили и резцом, и кистью, и к тому ж чтоб имя приписали, и само благодеяние не забыли обозначить. Так они загромождают изрядную часть храма и однажды, я думаю, потребуют, чтобы их погребали в самом алтаре! Мне возразят: «Значит, по-твоему, их даров принимать не следует?» Вотсе нет, если только приношение достойно храма божия! Но будь я священником или епископом, я бы уговаривал этих тупоголовых придворных и купцов направить свою щедрость в иную сторону — облегчить участь тех, кто действительно нищ, — если только действительно они желают искупить свои прегрешения перед богом. По их разумению, деньги, изведенные на помощь неимущим, мелкими долями и тайно, не воздвигнувшие себе никакого памятника в назидание потомству, — это пропащие деньги. По

---

<sup>126</sup> Луций Лициний Лукулл (ок. 106 — ок. 57 гг. до н. э.), римский полководец. Военные победы принесли ему несметное богатство, которое он расточал с таким усердием, что имя Лукулла стало символом любви к роскоши, и особенно к тонкому столу.

<sup>127</sup> См. далее, диалог «Паломничество», где эта гробница описана во всех подробностях.

<sup>128</sup> Инсубры — древнее кельтское племя, обитавшее в северной Италии; главным городом инсубров был Медиолан (нынешний Милан).

<sup>129</sup> Картезианский орден — монашеский орден, основанный в конце XI в. и названный по месту, где возникла первая обитель ордена — горному массиву Большой Шартрез в Альпах; латинское название этого массива — Картузия. Среди прочих монахов картезианцы славились суровостью своего устава и своей жизни.

<sup>130</sup> Где происходит действие диалога, установить невозможно. Мирная беседа с друзьями на лоне природы, в загородном имении, — «общее место» как в античной литературе, так и в литературе Возрождения. Реальным прототипом Евсе-виева «дворца» может быть дом Иоганна Фробена в Базеле, или Томаса Мора в Челси, или Джона Колета в Чартерхаузе, или некоторых иных друзей Эразма; но вернее предположить, что какого-то одного определенного прототипа не существует.

моему же разумению, выгоднее сделки и быть не может: ведь такие расходы принимает на свой счет Христос, а уж он из всех должников самый надежный.

Тимофей. А если что пожертвовано монастырю, это разве невыгодно, неправильно?

Евсевий. Я бы жертвовал и монастырям, будь я богат, но только для необходимых нужд, — не для роскоши. И, вдобавок, тем монастырям, где видел бы стремление к подлинной святости.

Тимофей. Многие судят так: не слишком хорошо распоряжается своим добром и тот, кто жертвует пресловутым общественным нищим.

Евсевий. Нет, им тоже следует кое-что жертвовать иногда, но с разбором. Мне, впрочем, представляется разумным, чтобы каждый город кормил своих нищих и чтоб не допускали бродяг слоняться с места на место, особенно людей здоровых, которым, я чувствую, не деньги надо давать, а нагрузить бы их работою невпроворот.

Тимофей. Кому ж, по-твоему, надо жертвовать по преимуществу? И сколько? И до каких пределов?

Евсевий. Расписать все до последних подробностей очень трудно. Главное — это чтобы было желание прийти на помощь каждому. Далее, я уделяю, что могу по своей скудости, всякий раз, как представится случай, но в первую очередь тем, чья нужда и безукоризненный образ жизни мне известны заведомо. А если собственных средств недостает, призываю к доброму делу и других.

Тимофей. А можно ли нам здесь, в твоём царстве, говорить свободно?

Евсевий. И даже свободнее, чем у себя дома.

Тимофей. Ты осуждаешь неумеренные траты в храмах божиих, но ведь и это жилище можно было устроить намного скромнее.

Евсевий. Я полагаю, что здесь все ограничивается пределами изящества или, коли угодно, тонкого вкуса; роскошью здесь и не пахнет, если только я не заблуждаюсь. Те, что живут милостыней, строят пышнее. Впрочем, и мои сады, каковы б они ни были, платят подать нуждающимся, и сам я каждый день отрываю частицу от своих расходов, стесняя себя и близких, чтобы быть щедрее к беднякам.

Тимофей. Если бы все держались таких правил, очень многие, кого нынче незаслуженно гнетет нужда, жили бы лучше. А с другой стороны, меньше было бы холеных толстяков, заслуживающих, чтобы нужда выучила их скромности и умеренности.

Евсевий. Возможно. Однако же, как по-вашему, не подсластить ли нам эту пресную закуску?

Тимофей. Нет, все и так отменно!

Евсевий. А вот я сейчас достану такую сладость, от которой вы не откажетесь и на сытый желудок.

Тимофей. Что это?

Евсевий. Четвероевангелие. Я приберег его на конец застолья, потому что ничего прекраснее у меня нет. Слуга, читай с того места, где остановился в прошлый раз.

Слуга. «Никто не может служить двум господам, потому что или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить богу и мамоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?» 131

Евсевий. Подай книгу назад. Мне кажется, что тут Иисус Христос дважды повторяет одно и то же. Сперва он говорит «ненавидеть», потом, вместо этого, «не радеть»; а вместо «любить», которое поставлено вначале, потом появляется «усердствовать». Лица меняются, но смысл складывается прежний.

Тимофей. Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать.

---

131 «Евангелие от Матфея», VI,

Евсевий. Тогда, пожалуй, изобразим это математически. В первой половине вместо «одного» поставь А, вместо «другого» В, во второй вместо «одного» поставь В, вместо «другого» А — в обратном порядке. Итак, или «А будет ненавидеть, а В любить», или «В усердствовать, а об А не радеть». Разве не очевидно, что А дважды оказывается предметом ненависти, а В — любви? Тимофей. Да, это ясно.

Евсевий. Однако ж союз «или», и особенно употребленный повторно, имеет значение подчеркнуто противительное и уж во всяком случае соединяет мысли отнюдь не равнозначные. Разве не прозвучала бы нелепостью такая фраза: «Или Петр меня одолеет, а я уступлю, или я уступлю, а Петр меня одолеет»?

Тимофей. Забавный софизм, бог мне свидетель. Евсевий. А по мне, он лишь тогда станет забавен, если вы подскажите, в чем разгадка.

Феофил. Дух мой грезит и готов разродиться, а чем — и сам пока не знаю. Если прикажете, я откроюсь, но вы тогда будете либо толкователи снов, либо повитухи.

Евсевий. Хотя припоминать сны за столом — дурная, по общему суждению, привычка, а рожать в присутствии стольких мужчин — не слишком-то пристойно, все же мы охотно будем восприемниками этого сна или, коли угодно, этого плода твоего духа.

Феофил. Мне кажется, что здесь переменяются не лица, а скорее состояния, и что эти слова — «одного» и «одного» — относятся не к А и В, но, в обеих частях, к одному из двоих, любому, какого ни выберешь, а лицо, обозначенное через «другого», ему противопоставлено. Примерно так же, как если сказать: или ты исключашь А и принимаешь В, или А принимаешь, а В исключашь. Вы сами видите, что лица остаются прежние, а состояния передвинуты. Причем выражено это так, что сказанное об А можно высказать и о В, общий же смысл сохраняется прежний: или В исключашь и принимаешь А, или принимаешь В и исключашь А.

Евсевий. Тонко распутал ты нам задачу! Пожалуй, что и математику на песке лучше не изобразить.

Софроний. А меня больше смущает, что Христос не велит тревожиться о завтрашнем дне, тогда как Павел и сам трудился ради пропитания, и резко обличает бездельников, любителей пожить на чужой счет, внушая им, чтобы они работали, трудились собственными руками, ибо это благо, когда есть из чего уделить терпящему нужду. Разве не святы те труды, которыми бедняк питает любимую супругу и милых детей?

Тимофей. Это затруднение, на мой взгляд, можно разрешить несколькими способами. Во-первых, применяя слова Христа исключительно к тем отдаленным временам: занятые проповедью Евангелия, апостолы скитались с места на место, недосуг им было добывать себе пищу ручным трудом, да они и не знали никакого ремесла, кроме рыбной ловли, а потому их следовало избавить от тревоги, где снискать пропитание на завтра. Теперь иные времена, и все мы обожаем досуг, все бежим от труда.

Другое решение такое: не трудолюбие запретил Христос, но тревогу, под тревогою же он понимает чувство, знакомое почти каждому человеку, когда надо всеми помыслами верх берет один — как заработать на прожиток, и, забыв обо всем, этим только и занимаешься, этой заботе только и предан. На это решение почти прямо указывает и сам бог, утверждая, что нельзя служить двум господам сразу: ведь поистине служит лишь тот, кто предан всем сердцем. Бог желает, чтобы распространение Евангелия было главною заботою, но не единственной. Недаром он говорит: «Ищите же прежде царства божия, и это все приложится вам». Не просто «ищите», но «прежде ищите»<sup>132</sup>. Кроме того, в слове «завтрашний», я считаю, заключена гипербола: понимать надо — «на долгий срок». Что в обычае у алчных и скаредных мира сего? Стяжать для потомства.

Евсевий. Толкование твое принимаем. Но что хочет сказать господь, призывая: «Не тревожьтесь для души вашей, чем насытиться». Тело и в самом деле прикрывают одеждою,

<sup>132</sup> «Евангелие от Матфея», VI, 33.

но душа-то не ест!

Тимофей. «Душой», я полагаю, господь называет здесь жизнь. Жизнь человека в опасности, если лишит его пищи; совсем не то, если отнять одежду, которая дана нам в уступку скорее стыду, чем насущной необходимости. Нагота убивает не сразу и не обязательно; от голода и жажды смерть неизбежна.

Евсевий. Я не совсем понимаю, как согласуется с этим последняя фраза: «Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?» Если жизнь — большая ценность, с тем большею зоркостью надо следить, чтобы она не погибла. Тимофей. Этот довод не рассеивает наше недоумение, но умножает его.

Евсевий. Все дело в том, что Христос мыслит не так, как ты толкуешь, но этим доводом усугубляет нашу веру в Отца. Если Отец добр к нам безвозмездно и по собственному почину дал самое дорогое, — значит, прибавит и то, что подешевле. Кто дал душу, не откажет и в пропитании; кто дал тело, набросит и одежду. Если мы уповаем на его доброту, так незачем тревожиться и заботиться о вещах низменных. И лишь одно нам остается: пользуясь плодами мира сего так, словно бы и не пользуемся ими, всю заботу нашу, все рвение и всю любовь обратить к вещам небесным и, отвергнув мамону, отвергнув Сатану со всеми его лжечудесами, неустанно, всем сердцем служить одному лишь господу, который не покидает сынов своих.

Но погляди-ка, к сладкому никто и не прикоснулся! А ведь с какою приятностью можно лакомиться тем, что без хлопот и забот доставляет нам собственный дом. Тимофей. Довольно уж ублажали тело. Евсевий. Но я б хотел, чтобы и душу вы ублажили довольно.

Тимофей. Так оно и есть: душе даже и побольше досталось.

Евсевий. Тогда унеси это, слуга, и подай таз для умывания. Умоем руки, друзья, чтобы в чистоте воспеть богу — на случай если в чем-то согрешили мы за этим столом. Если вы не против, я закончу тот гимн из Златоуста.

Тимофей. Просим.

Евсевий. «Слава тебе, господи, слава тебе, святой, слава тебе, царь, — ты даровал нам пищу. Исполни нас радостью и весельем во Духе святе, дабы снискать нам милость пред лицом твоим, дабы не смугиться нам в час, когда ты воздашь каждому по делам его».

Слуга. Аминь.

Тимофей. Поистине благочестивый и прекрасный гимн.

Евсевий. Святой Златоуст удостоил его даже толкованием.

Тимофей. Где именно?

Евсевий. В проповеди пятьдесят шестой на Евангелие от Матфея.

Тимофей. Прочту непременно, и сегодня же. А пока объясни мне только одно: почему славу Христу возглашаем трижды и под тремя разными именами — господа, святого и царя?

Евсевий. Потому что ему подобает всякая слава. А нам всего правильнее восхвалять его под тройным именем вот почему. Во-первых, святейшею своею кровью он выкупил нас из рабства у диавола и утвердил за собою — оттого и зовем его «господом». Затем, безвозмездно отпустив нам все грехи, он этим не ограничился, но, через Духа своего, сообщил нам и свою справедливость, дабы мы следовали тому, что свято и непорочно. Оттого и зовем его святым, что он освятитель всех и всего. Наконец, от него чаем мы награды — царства небесного, где он уже пребывает, сидя одесную бога Отца; отсюда третья имя — царь. Лишь его бескорыстной к нам доброте обязаны мы всем этим счастьем — тем, что вместо прежнего господина или, вернее, тирана, диавола, господом имеем Иисуса Христа, тем, что вместо грязи и мерзости грехов обрели невинность и святость, что вместо геенны нас ждут радости жизни небесной.

Тимофей. Благочестивое изъяснение, ничего не скажешь.

Евсевий. Поскольку вы у меня впервые, я не отпущу вас без гостинцев. Но предупреждаю: каково застолье, таковы и гостинцы. Эй, слуга, неси сюда подарки, которые мы припасли для гостей. Пожелаете ли метать жребий или всяк выберет сам, что больше по душе, — разницы почти никакой: все подарки примерно одной цены — ничтожной. Да, это

вам не жребий Гелиогабала<sup>133</sup>, когда одному выпадает сто коней, а другому столько же мух. Тут четыре книжки, двое часов, лампа, шкатулка с тростниковыми перьями из Мемфиса. Это более для вас подходит, чем, например, бальзам, или зубной порошок, или зеркало. Так мне, по крайней мере, кажется, или же я вас совсем не знаю.

Тимофей. Все до того красиво, что и выбрать трудно. Лучше ты сам назначь, по своему усмотрению; так будет даже приятнее, что бы кому ни досталось.

Евсевий. Эта пергаменная книга заключает в себе Соломоновы притчи. Она учит мудрости и потому изукрашена золотом, ибо золото — символ мудрости. Ее получит наш седовласый мудрец, чтобы — по слову евангельскому — кто имеет мудрость, тому еще прибавилось и было бы в изобилии.

Тимофей. Во всяком случае, постараемся, чтобы глупости поубавилось.

Евсевий. Софронию — часы. (Их привезли издалека, из самой Далмации, — может быть, хоть это придаст веса жалкому моему подарку.) Я знаю, как он бережет время, как ни единой крупинки сокровища не растратит без пользы.

Софроний. Напротив, ты зовешь к прилежанию ленивца.

Евсевий. В этой книге, на пергаменных страницах, — Евангелие от Матфея. Оно заслуживает убора и покрова из самоцветов, но нет для него вместилища дороже, чем сердце человека. А потому пусть оно всегда будет с тобою, Феофил, чтобы ты еще тверже оправдывал свое имя.

Феофил. Обещаю тебе, что никто не скажет, будто ты совсем уже скверно распорядился своим подарком.

Евсевий. А вот послания Павла, с которыми ты так неохотно расстаешься, Евлалий. Павел постоянно у тебя на устах; но не будь его в груди, не было бы и на устах. Впредь ты с большим удобством будешь держать его и в руках, и перед глазами.

Евлалий. Это уже не подарок, это совет. Но добрый совет дороже любого подарка.

Евсевий. Лампа — Хризоглотту, ненасытному чтецу, великому, как говорит Марк Туллий, пожирателю книг.

Хризоглотт. Я дважды тебе обязан — во-первых, за подарок, на редкость изящный, во-вторых же, за то, что призываешь сонливца бодрствовать.

Евсевий. Шкатулка с перьями должна принадлежать Феодидакту, <sup>134</sup> всем на зависть; и перьям, я полагаю, можно позавидовать — им предстоит возвестить славу господина нашего, Иисуса Христа, и вдобавок с таким искусством!

Феодидакт. Если бы ты мог снабдить меня еще и вдохновением!

Евсевий. В этой книге — несколько нравственных сочинений Плутарха<sup>135</sup>. Их выбрал и умело переписал какой-то знаток греческой словесности, и я нахожу в них столько святости, что мне кажется почти чудом, как это совершенно евангельские мысли могли проникнуть в душу язычника. Плутарха отдадим Уранию, человеку молодому и <sup>136</sup>. Остаются еще часы.

---

<sup>133</sup> Гелиогабал — римский император Варий Авит Бассиан (218—222), прозванный Гелиогабалом (правильнее — Элагабалом) по имени сиро-финикийского божества солнца, жрецом которого он был. Жребий, о котором говорится здесь, он предлагал тянуть своим гостям на торжественных приемах во дворце. Гелиогабал погиб 17 или 18 лет от роду, убитый дворцовой гвардией, возмущенной необыкновенным распутством юного государя.

<sup>134</sup> Тот, кто много пишет, «многописец» (греч.).

<sup>135</sup> Кроме знаменитых «Сравнительных жизнеописаний», от Плутарха осталось значительное число небольших по объему и разнообразных по содержанию прозаических произведений, объединяемых под названием «Нравственные сочинения», или «Моралии».

<sup>136</sup> Поклонник всего греческого, «филэллии» (греч.).



Пусть ими владеет наш Нефалий, бережливый казначей времени.

Нефалий. Мы благодарны не за одни лишь дары, но и за добрые слова. Ибо не столько оделяешь ты нас гостинцами, сколько похвалами.

Евсевий. Нет, это я благодарен вам вдвойне: во-первых, вы снисходительны к моей скудости, во-вторых, учеными и благочестивыми речами освежили мне душу. Как я вас принимал и с какими чувствами вы покинете мой дом, я не знаю, но что сам я за нынешнее утро сделался и умнее и лучше — это уж верно! Не сомневаюсь, что вам не по душе ни дудки, ни шуты, ни, тем более, игральные кости. Поэтому давайте-ка еще часок полюбуемся чудесами моего царства.

Тимофей. А мы как раз хотели тебе напомнить.

Евсевий. Когда обещание верное, не к чему и напоминать. Этот летний дворик, мне кажется, вы уже рассмотрели как следует. Вид отсюда на три стороны, и, куда ни взглянешь, взор встречает дивная зелень сада. Если ж погода облачная или ветреная, от нее можно отгородиться стеклянными окнами; а если солнце слишком припекает, можно отгородиться и от «его — наружными ставнями, совсем частыми, или внутренними — те пореже. Когда я завтракаю здесь, я точно бы в саду, а не в доме, под крышею. Ведь здесь и стены зеленеют, а по зелени рассыпаны цветы. Есть и картины, и недурные. Вот Христос справляет последнюю вечерю с избранными учениками. Вот Ирод отмечает день своего рождения<sup>137</sup> кровавым празднеством. Вот известный каждому евангельский богач<sup>138</sup>: сегодня он пышно пирует, а завтра будет проглочен адом. А Лазаря сегодня гонят от дверей, завтра ж он будет принят в лоно Авраамово.

Тимофей. А тут что происходит? Я что-то не узнаю...

Евсевий. Это Клеопатра состязается в роскоши с Антонием; одну жемчужину она уже выпила и теперь протягивает руку за вторую<sup>139</sup>. Это лапифы в битве<sup>140</sup>. А это Александр Великий пронзает копьем Клита<sup>141</sup>. Всё примеры, которые зовут к трезвости за столом и внушают отвращение к пьянству и роскоши. Теперь пойдемте в библиотеку. Книг в ней не так уже много, зато книги отменные.

Тимофей. Какою-то прямо-таки святостью дышит это место! Все так и сверкает.

Евсевий. Здесь перед вами главное мое богатство. Ведь за столом вы не видали ничего, кроме стекла и олова, да и вообще серебряной посуды в доме нет, если не считать одного

---

<sup>137</sup> По евангельскому преданию, правитель (тетрарх) Галилеи Ирод Антипа приказал обезглавить Иоанна Крестителя, уступив просьбе своей падчерицы: «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду; посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“ („Евангелие от Матфея“, XIV, 6—8).

<sup>138</sup> Притча о богаче и Лазаре, нищем, кормившемся крохами, которые падали со стола богача («Евангелие от Луки», XVI, 20—31), действительно едва ли не самая известная из евангельских притч.

<sup>139</sup> Клеопатра, египетская царица (51—30 гг. до н. э.), много лет была возлюбленной римского полководца Марка Антония. Жемчуг пили, растворяя его в уксусе.

<sup>140</sup> Легендарное племя лапифов обитало, по верованиям древних, в Фессалии, области северной Греции. Они были соседями кентавров, а царь лапифов, Пиритой, состоял с кентаврами даже в родстве и потому пригласил их на свою свадьбу. За пиром кентавры охмелели и попытались похитить невесту и других женщин. Вспыхнула война, закончившаяся изгнанием кентавров из Фессалии. Битва кентавров с лапифами — очень частый сюжет в изобразительном искусстве античного мира.

<sup>141</sup> Приближенный и друг Александра Македонского — Клит — повздорил с царем. Дело происходило за столом, оба были пьяны, и Александр, разгневавшись, убил друга, после чего долго и безутешно мучился раскаянием и даже пытался наложить на себя руки (ок. 328 г. до н. э.).

позолоченного бокала, из которого я всегда пью с благоговением — ради любви к тому, кто его подарил. Этот висящий в воздухе шар наглядно представляет всю землю, а здесь, на стене, представлены в большем размере отдельные области. На других стенах вы видите изображения великих учителей (всех подряд нарисовать немислимо — им нет числа). Первое место занимает Христос; с простертою рукою он сидит на вершине холма. Над головою у него бог Отец, глаголящий: «Ему внимайте». Святой дух, раскинув крылья, обымает его ярким сиянием.

Тимофей. Работа, достойная Апеллеса<sup>142</sup>, бог мне свидетель!

Евсевий. К библиотеке прилегает покойник для занятий, тесный, правда, но удобный, со скрытым за съемною доскою камином — на случай мороза. Летом же стена кажется сплошною.

Тимофей. Здесь все из драгоценных камней — так мне видится! И какой дивный запах!

Евсевий. Да, об этом я всего больше стараюсь — чтобы в доме было чисто и хорошо пахло. А стоит и то и другое сущую безделицу. У библиотеки своя висячая галерея; выходит она в сад и соединена с часовней.

Тимофей. Место, достойное божества.

Евсевий. Теперь пройдемте по трем верхним галереям: они как раз над теми тремя, что глядят в огород, — вы их уже осматривали. Отсюда вид открывается на обе стороны, но только через окна с запорами, которые по наружным стенам особенно крепки и надежны — чтобы никто в дом не вломился. Здесь, налево, где больше света и окна пробиты реже, изображена по порядку, в согласии с повествованием четырех евангелистов, вся жизнь Иисуса, вплоть до ниспослания Духа свята и первой апостольской проповеди (это уже из «Деяний»)<sup>143</sup>. Прибавлены обозначения мест, чтобы можно было узнать, подле какого озера или на какой горе происходит действие. Еще прибавлены заголовки, несколькими словами намекающие на все содержание в целом, как, например, вот эти слова Иисуса: «Хочу, очистишься»<sup>144</sup>. Насупротив новозаветных — лица и прорицания Ветхого завета, главным образом из пророков и псалмов: ведь и пророческие книги, и псалтирь ничего иного не содержат, кроме жизни Христа и апостолов в иносказании. Здесь я нередко прогуливаюсь в одиночестве, внутренним взором созерцая тот неизреченный замысел божий, коим он, через посредство Сына своего, соблаговолил спасти род человеческий. Нередко бывает подле меня и супруга или же кто-либо из друзей, кому в удовольствии благочестивые размышления.

Тимофей. В этом доме мог ли бы кто соскучиться?

Евсевий. Никто из тех, кто умеет жить наедине с собою... По самому краю, словно особое дополнение, — портреты римских пап, и под каждым имя. На противоположной стене — портреты императоров, в память о прошлом. Обе крайние галереи оканчиваются комнаткою для отдыха; оттуда виден фруктовый сад и птичник. Вон там, в дальнем углу лужайки, вы видите еще одно строение; там мы иногда обедаем летней порою, там лечим больных, если кого из домочадцев вдруг постигает заразная и потому опасная для прочих болезнь. Тимофей. Кое-кто утверждает, что в таких случаях принимать меры осторожности ни к чему.

Евсевий. Зачем же они тогда остерегаются, как бы не угодить в яму или не хлебнуть яда? Или заразы меньше боятся оттого, что не видят? Но невидим и яд василиска, который

<sup>142</sup> Апеллес (вторая половина IV в. до н. э.) — великий греческий художник.

<sup>143</sup> О том, как апостолы на пятидесятый день после воскресения их распятого учителя «исполнились Духа святого и заговорили на иных языках», рассказывает глава II новозаветной книги «Деяния святых апостолов». Там же говорится и о первой апостольской проповеди: ее произнес апостол Петр в ответ на недоумение окружающих, которые, слыша, как галилейские крестьяне вдруг начали изъясняться на неведомых языках, предположили, будто «они напились сладкого вина».

<sup>144</sup> «Евангелие от Марка», I, 41. Эти слова обращены к прокаженному, который молит Христа об исцелении.

он источает глазами. Если требуют обстоятельства, я, не задумываясь, рискну жизнью ради близких. Но подвергать беспричинно смертельной опасности себя — это сумасбродство, а других — жестокость... Есть и еще чем полюбоваться, но это уже вам покажет жена. Гостите здесь хоть и три дня, чувствуйте себя, как дома. Вволю насыщайте и взоры и душу. А у меня неотложные дела. Надо съездить в две деревни по соседству.

Тимофей. Дела-то денежные?

Евсевий. Ради денег я бы никогда не расстался с такими друзьями, как вы.

Тимофей. Тогда, верно, охота где-нибудь поблизости?

Евсевий. Да, охота, только не за кабанами да оленями, а совсем за другою дичью.

Тимофей. За какую же это?

Евсевий. Сейчас расскажу. В одной деревне слег мой приятель, и жизнь его под угрозой. Врач опасается за тело, а я еще больше опасаясь за душу больного. Мне кажется, он приготовлен к переселению в иной мир не так, как должно христианину. Я помогу ему ободрением и увещанием, чтобы, умрет ли он или поправится, любой исход послужил ему на благо. В другой деревне вспыхнул ожесточенный раздор. Оба противника — люди совсем не дурные, но очень упрямые, и если вражда разгорится, боюсь, как бы они многих не втянули в гною распрю. Я приложу все усилия, чтобы их помирить: ведь у меня с обоими старая дружба. Вот за чем я («кочусь, и если охота удастся, мы вместе справим здесь

Тимофей. Благочестивая охота. Помогай же тебе не Делил, но Христос!

Евсевий. Такую добычу я предпочту наследству в две тысячи дукатов.

Тимофей. А вернешься скоро?

Евсевий. Сперва надо испробовать все средства до последнего, а потому назвать точный срок заранее не могу. Пока прощайте и распоряжайтесь моим добром словно бы своим.

Тимофей. Доброго пути и счастливого возвращения. Храни тебя господь!

## **О несравненном герое Иоганне Рейхлине<sup>146</sup>, причисленном к лику святых**

---

<sup>145</sup> Празднество и пир в честь победы (греч.).

<sup>146</sup> Иоганн Рейхлин (1455—1522) — германский юрист и филолог, один из первых по времени гуманистов в Германии. Он был знатоком всех трех священных языков — латинского, греческого и еврейского, и когда император Максимилиан, по наущению еврея-рenegата Иоганна Пфедферкорна, издал указ о сожжении всех еврейских книг (кроме Ветхого завета), за то что все они якобы содержат хулу на Христа и христианство, Рейхлин убедительно опроверг эту клевету и добился отмены указа. Это послужило началом многолетней борьбы между гуманистами и врагами возрождающейся науки; одним из плодов борьбы была знаменитая сатира «Письма темных людей».



### Помпилий. Брассикан

Помпилий. Откуда ты к нам в дорожном уборе?

Брассикан. Из Тюбингена.

Помпилий. Нового ничего там не слышно?

Брассикан. Удивительное дело, до чего же все смертные одержимы жаждою новшеств!

Впрочем, слышал я в Лувене одного черноризца верблюжьего ордена <sup>147</sup>, так он проповедовал, что всего нового должно бежать.

Помпилий. Слово, достойное верблюда. А будь он человеком, он бы заслуживал того, чтоб никогда не менять старых сандалий и дырявых штанов, чтобы есть одни тухлые яйца и не пить ничего, кроме прокисшего вина.

Брассикан. Но я не хочу оставлять тебя в неведении: не до такой степени наслаждается он старьем, чтобы предпочитать вчерашнюю похлебку свежей.

Помпилий. Ладно, бог с ним, с верблюдом. Скажи, есть ли какие новости.

Брассикан. Есть, но недобрые — в подтверждение верблюжьей проповеди.

Помпилий. Однако же эта самая новость со временем состарится. Иначе и быть не может: если все старое хорошо, а все новое дурно, то все хорошее ныне прежде было дурным, а что дурно теперь, будет некогда хорошо.

Брассикан. По-видимому, так, ежели следовать определениям и правилам верблюда. Но этого мало: из них вытекает, что если дурень в юности был скверный дурень, — оттого что молод, — он же нынче добрый дурень — оттого что обветшал.

Помпилий. Выкладывай, однако ж, все, что принес.

Брассикан. Великий и славный муж, феникс триязыкой учености, Иоганн Рейхлин скончался.

Помпилий. Ты не ошибаешься?

Брассикан. Увы, нет.

Помпилий. Но что в этом недоброго — оставив по себе чистейшее имя и бессмертную славу, уйти от бедствий человеческой жизни к сонму блаженных?

Брассикан. Кто тебе это открыл?

Помпилий. Самое существо дела. Не может умереть иначе тот, кто так прожил жизнь.

<sup>147</sup> Намек на главу лувенских кармелитов (верблюд по-латыни *camelus*) Николаса Бехема (ок. 1462—1526), который публично обвинял «Разговоры» и их автора в ереси.

Брассикан. Но ты судил бы еще увереннее, если бы знал то же, что я.

Помпилий. Что же именно? Говори, заклинаю!

Брассикан. Нельзя никак.

Помпилий. Отчего?

Брассикан. Я пообещал молчать и хранить тайну, которую мне доверили.

Помпилий. Возьми обещание и с меня! Я рта не раскрою, вот тебе честное слово!

Брассикан. Хотя честное слово не раз меня обманывало, изволь. Само дело такого свойства, что о нем даже надо бы рассказывать всем добрым людям. Есть и Тюбингене один францисканец; все считают его человеком редкой святости, — все, кроме него самого.

Помпилий. Важное доказательство подлинной святости.

Брассикан. Если б я назвал имя, ты бы понял, о ком речь, и тут же со мною согласился.

Помпилий. А если б я сам попробовал угадать?

Брассикан. Попробуй.

Помпилий. Придвинь-ка ухо.

Брассикан. Зачем? Ведь мы одни.

Помпилий. Так уж заведено. (Шепчет.)

Брассикан. Он самый!

Помпилий. Да, этому человеку можно верить с закрытыми глазами. Что бы он ни сказал, для меня будет Сивиллиным листом<sup>148</sup>.

Брассикан. Тогда выслушай с доверием весь наш разговор. Рейхлин хворал, и довольно опасно, но все же надежда нас не покидала: ведь он заслуживал того, чтобы никогда не стариться, не болеть, не умирать. Рано поутру навестил я францисканца, чтобы тот своею молитвою снял мне тяжесть с души: болезнь друга, которого я любил, как родного отца, была и моею болезнью.

Помпилий. Конечно! Кто не любил его, кроме разве лишь самых низких мерзавцев!

Брассикан. Тут мой францисканец и говорит: «Брассикан, гони прочь из сердца всякую скорбь — наш Рейхлин перестал болеть». — «Как? — говорю. — Внезапно поправился?» (За два дня до того врачи не сулили ничего хорошего.) А он в ответ: «Да, поправился, но так, что вперед ему уже нет нужды опасаться за свое здоровье. Не плачь, — это он увидел, как у меня брызнули слезы, — не плачь, пока не выслушаешь все до конца. Шесть дней не навещал я нашего друга, но ежедневно молился господу о его спасении. Нынешней ночью, после заутрени, я прилег, и неприметно подкрался ко мне сон, такой ласковый, легкий».

Помпилий. Что-то радостное чует душа... Брассикан. И не напрасно. «Казалось мне, — говорит он, — будто я стою перед каким-то мостиком, ведущим на какой-то восхитительной красоты луг. Так ласкала взор изумрудная зелень трав и листвы, так сияли невероятною пестротой красок звездочки цветков, так все благоухало, что по сю сторону речки, разделявшей счастливое это поле, ничто словно бы и не зеленело, и даже не жило вовсе, но все было уныло, безобразно, мертво. И пока я глядел, не отрываясь, забыв обо всем на свете, как раз в это время мимо прошел Рейхлин и, проходя, пожелал мне по-еврейски мира. Он миновал уже средину моста, и тут только я опомнился и хотел было бежать следом, но он оглянулся и остановил меня. „Еще не время, — промолвил он. — В пятый от нынешнего год последуешь за нами и ты. А пока смотри и будь свидетелем того, что происходит“. Тут я спрашиваю францисканца: „Рейхлин был наг или одет? один или с провожатыми?“ — „Одеяние, — отвечал францисканец, — на нем было только одно, ослепительной чистоты и белизны, словно бы из дамасского шелка. Позади следовал мальчик, крылатый и неопикуемо

<sup>148</sup> То есть такую же непреложной истиной, как предсказание пророчицы Сивиллы. Сивиллою древние звали любую женщину, наделенную даром прорицания, но отличали между ними нескольких самых знаменитых. Римляне особенно чтили Кумскую Сивиллу (Кумы — город на юге Италии), которая, по преданию, продала царю Тарквинию Гордому сборник стихотворных прорицаний. Этот сборник («Сивиллины книги») хранился в главном храме Римского государства, и к нему обращались лишь в случаях крайней нужды и крайней опасности. Свои предсказания Кумекая Сивилла писала на листах пальмы.

красивый; я полагаю, это был его добрый гений“.

Помпилий. Но злых гениев в провожатых не было?

Брассикан. Нет, были, — так думает францисканец. За спиною у Рейхлина, поодаль, тянулось несколько птиц, совсем черных<sup>149</sup>, и только когда они распускали крылья, виднелись перья не то чтобы белые, а скорее желтоватые. Оперенье и голос — в точности как у сорок, но только каждая крупнее сороки раз в шестнадцать, — с коршуна, никак не меньше, — на голове гребень, клюв и когти крючком, живот отвислый. Настоящие гарпии, будь их всего три.

Помпилий. Что ж замышляли эти фурии?

Брассикан. Они грозились издали и, верно, напали бы впрямую, если б смогли.

Помпилий. А отчего не смогли?

Брассикан. Оттого, что Рейхлин обернулся и, простерши к ним руку, сотворил крестное знамение. «Ступайте прочь, гнусные твари, — примолвил он, — ступайте туда, где вам и место. Вы чините хлопоты смертным — и довольно с вас, а я уже приписан к бессмертным, и ваше беснование не имеет надо мною никакой власти». Едва он это выговорил, рассказывает францисканец, мерзопакостные пернатые миглом исчезли, но оставили по себе такое зловоние, против которого смрад нужника мог показаться благоуханием майорана или нардового масла. Францисканец клялся, что скорее готов сойти в ад, чем вдохнуть подобный фимиам еще раз.

Помпилий. Пропади они пропадом, эти твари!

Брассикан. Но слушай, что было дальше. «Смотрю, говорит, во все глаза, и вдруг подле моста появляется блаженный Иероним и обращается к Рейхлину с такою речью: «Здравствуй, святейший мой коллега<sup>150</sup>! Мне наказано встретить тебя и ввести в небесный круг братства, который божественная доброта назначила в награду твоим святейшим трудам». И с этими словами достал одеяние и облек Рейхлина». Тут я его прервал: «Скажи мне, говорю, какой был Иероним с виду? Такой ветхий, как его обычно рисуют? В капюшоне, в меховой шапке, в кардинальском паллии<sup>151</sup>? Бок о бок со львом?» — «Ничего подобного, — отвечал францисканец. — Внешности он был привлекательной, свидетельствовавшей, правда, о преклонных годах, но единственно лишь достоинством, а никак не старческой запущенностью. И лев, которого постоянно пририсовывают ему художники, был бы тут совершенно некстати. Платье носил длинное, до пят, и светлое, словно бы хрустальное, — такое ж точно, какое дал Рейхлину; со всех сторон его украшали языки трех цветов: одни алые, как пиропы, другие изумрудные, третьи сапфировые. Все сияло и светилось, слагаясь в чудесный узор».

Помпилий. Я догадываюсь, что это был знак трех языков, которыми они владели.

Брассикан. Вне всякого сомнения, потому что, как говорил мне францисканец, на бахrome виднелись буквы еврейские, греческие и латинские, и тоже трех различных цветов.

Помпилий. А Иероним появился один, без провожатых?

Брассикан. Какой там «без провожатых»! Все поле покрылось мириадами гениев, они наполнили весь воздух, точь-в-точь, как наполняют солнечный луч мельчайшие тельца, которые мы зовем &#945;&#964;&#959;&#956;&#945;<sup>152</sup>, — если только не грешно выводить сравнение от предмета столь низменного к столь возвышенному. Не будь они

<sup>149</sup> Это монахи-доминиканцы, главные враги и гонители Рейхлина, носившие черную рясу.

<sup>150</sup> Иероним был тоже и ученым и «трехязычным».

<sup>151</sup> Паллий — плащ (лат.). Так называлось особое одеяние, служившее одним из знаков кардинальского достоинства.

<sup>152</sup> «Атомы», то есть неделимые (греч.).

прозрачны, не стало бы видно ни луга, ни неба.

Помпилий. О, счастливец Рейхлин! И что ж потом?

Брассикан. «Иероним, — говорит он, — взял Рейхлина за правую руку в знак уважения и вывел его на середину луга, где возвышался холм. На вершине холма они обменялись ласковым поцелуем, и в этот миг небо над ними широко разверзлось, источая величие столь несказанное и неизъяснимое, что все прочее, до сей поры казавшееся дивным, вдруг представилось ничтожным».

Помпилий. А не мог бы ты как-нибудь изобразить это величие?

Брассикан. Как же я могу, не видевши своими глазами, если тот, кто видел, утверждает, что нет таких слов, которыми можно описать хотя бы тень происходившего! Только одно он и сказал, — что готов умереть хоть тысячу раз, лишь бы снова насладиться этим зрелищем на кратчайший миг.

Помпилий. И чем все кончилось? Брассикан. Из проема в небесах спустился могучий столп, огненный, но сладостный для взора, и по этому столпу обе святейшие души, обнявшись, вознеслись ввысь. Ангельские хоры оглашали всё кругом напевом столь пленительным, что никогда, уверяет францисканец, не сможет он вспоминать без слез испытанную в те мгновения радость. Потом разлилось чудесное благоухание. Когда же францисканец пробудился — впрочем, должны ли мы называть сном его видение? — он был как помешанный: не верил, что он у себя в келье, спрашивал, где же мост, где луг, и ни о чем ином не мог ни думать, ни говорить. Старшие среди братии поняли, что это не досужий вымысел, — стало известно, что Рейхлин покинул грешную землю в тот самый час, когда видение посетило достойнейшего монаха, — и единодушно вознесли благодарность богу, который с величайшею щедростью воздаст праведным за праведные их дела.

Помпилий. Стало быть, остается лишь вписать имя святейшего мужа в святцы, не правда ли?

Брассикан. Я бы так именно и поступил, даже если бы францисканцу ничего подобного не привиделось. И к тому же — золотыми буквами, и рядом с блаженным Иеронимом.

Помпилий. Провалиться мне на этом месте, если не сделаю того же и я!

Брассикан. А у себя в часовне поставлю золотое его изваяние меж избранными святыми.

Помпилий. А я — хоть и бриллиантовое, если достанет средств!

Брассикан. И в библиотеке место ему будет отведено рядом с Иеронимом.

Помпилий. И в моей тоже.

Брассикан. Скажу более: все любители и почитатели языков и наук, особенно священных, если не желают прослыть неблагодарными, пусть последуют нашему примеру.

Помпилий. Конечно, Рейхлин этого заслуживает, но разве тебя нисколько не смущает то, что он еще не внесен в число святых волею и властью римского папы?

Брассикан. А кто канонизировал (так это называется) святого Иеронима? Или Павла-апостола? Или Матерь божью? И чья память более почитаема у благочестивых христиан — тех ли, кто каждому внушает любовь замечательным своим благочестием, мудростью, высокими деяниями, или же Катерины Сиенской, которую причислил к лику святых Пий Второй, как говорят — в угоду ордену и городу<sup>153</sup>?

Помпилий. Верно! Поклонение лишь тогда истинно, если его оказывают по собственному почину, оказывают усопшим, чьи заслуги действительно достойны небес и ощутимы во все времена.

Брассикан. Ну, так как же по-твоему, — должны мы оплакивать кончину этого мужа? Жил он долго (если долголетие значит что-либо для счастья человека), оставил о своих доблестях память, которая никогда не сотрется, благими деяниями обессмертил свое имя и

---

<sup>153</sup> То есть городу Сиене, откуда была родом эта святая католической церкви (годы жизни: 1347—1380), и доминиканскому ордену, к которому она принадлежала; сам папа Пий II родился близ Сиены и в Сиене же провел годы учения.

теперь, избавленный от всякого зла, радуется небесам и беседует с Иеронимом.

Помпилий. Но в жизни он много страдал.

Брассикан. Однако ж святой Иероним страдал еще больше. Потерпеть от дурных ради блага — это счастье.

Помпилий. Да, не спорю, — многое претерпел Иероним от самых худших злодеев ради самого дорогого блага.

Брассикан. Что некогда учинил Сатана против господина Иисуса чрез книжников и фарисеев, то чинит и теперь чрез неких новых фарисеев против всех лучших, кто своими бдениями служит человеческому роду. Ныне Рейхлин пожинает богатейшую жатву — плоды своего посева, а нашим долгом будет свято чтить его память, славить его имя и почаще приветствовать такими примерно словами: «О святая душа, прими под свою защиту друзей языков, покровительствуй святым языкам, губи дурные языки, отравленные ядом геенны». Помнили и. Я свой долг исполню и остальным постараюсь внушить те же мысли. Но я уверен, будет немало людей, которые пожелают — как это принято и заведено — воспевать славу святейшему герою в особой молитве.

Брассикан. Ты говоришь о так называемой «коллекте»?

Помпилий. Разумеется.

Брассикан. Коллекту я составил еще при жизни Рейхлина.

Помпилий. Прочти, сделай милость. Брассикан. «Боже, человеколюбче, дар языков, коим некогда чрез святого Духа твоего наделил ты апостолов твоих для проповеди Евангелия, ныне вновь явил ты миру чрез избранного слугу твоего Иоанна Рейхлина! Дай, боже, чтобы все люди на всех языках повсюду возглашали хвалу сыну твоему Иисусу, и чтобы смешались языки лжеапостолов, кои, в преступном сговоре, воздвигают нечестивую башню Вавилонскую, пытаясь затмить твою славу, свою же — вознести и возвысить, меж тем как тебе одному подобает всякая слава, честь и поклонение, со Иисусом, Сыном твоим и Господом нашим, и со святым твоим Духом во веки веков. Аминь». Помпилий. Без сомнения, прекрасная и благочестивая молитва! Чтоб мне пропасть, если не буду читать ее ежедневно! И нашу с тобою встречу полагаю немалой для себя удачей: ведь она принесла мне такую радостную новость!

Брассикан. Желаю тебе долго наслаждаться этой радостью. Прощай.

Помпилий. Прощай и ты.

## Поклонник и девица





**Памфил. Мария**

Памфил. Здравствуй, жестокая, здравствуй, железная, здравствуй, алмазная!

Мария. Здравствуй и ты, Памфил, — столько раз, сколько сам пожелаешь, и под каким угодно именем. А вот мое имя ты, кажется, позабыл. Меня зовут Марией.

Памфил. А надо бы зваться Марсией.

Мария. Это еще почему, скажите на милость! Что общего у меня с Марсом?

Памфил. А то, что и Марсу убийство в забаву, и тебе тоже. Только ты еще бессердечнее: губишь всех подряд, даже людей, которые тебя любят.

Мария. Вот тебе и раз! Да где они, эти груды трупов? Где кровь убитых?

Памфил. Один бездыханный труп и сейчас перед тобою: взгляни-ка на меня.

Мария. Что я слышу? Мертвый разговаривает и ходит? О, если бы страшнее тебя привидений мне не суждено было встретить на моем веку!

Памфил. Ты еще шутишь, а между тем отнимаешь у несчастного жизнь, и куда более жестоко, чем если бы пронзила его копьем. Увы, я весь истерзан долгою пыткой.

Мария. Эй, призрак, отвечай, сколько беременных выкинули от страха, повстречавшись с тобою?

Памфил. Разве бледность моя не свидетельствует, что я мертвее загробной тени?

Мария. Но твоя бледность цвета левкоя. Ты такой же бледный, как поспевшая вишня или виноград, налившийся багровым соком.

Памфил. Как бесстыдно насмехаешься ты над несчастным!

Мария. Если мне не хочешь верить, поглядишь в зеркало.

Памфил. Не надо мне другого зеркала: то, в которое я смотрюсь, — по-моему, самое ясное, яснее не сыщешь.

Мария. О чем ты толкуешь?

Памфил. О твоих глазах.

Мария. Остер, как всегда! Но как ты докажешь, что ты мертвец? Разве тени едят?

Памфил. Едят, да только вкуса не чувствуют. Вот и я так же точно.

Мария. Чем же они питаются?

Памфил. Мальвою, пореем да волчьими бобами.

Мария. Но ведь ты и от каплунов, и от куронок не отказываешься?

Памфил. Да, но радости моему небу они доставляют не больше, чем если бы я жевал мальву или свеклу без перца, вина и уксуса.

Мария. И за всем тем такой толстячок? Ах ты, бедняга! А разве мертвые разговаривают?

Памфил. Так, как я, — чуть слышным голосом.

Мария. Но когда ты недавно поносил своего соперника, слышно было совсем недурно. Но скажи, пожалуйста, разве тени разгуливают взад-вперед, одеваются, спят?

Памфил. И даже не в одиночестве, а друг с дружкой, только на особый лад.

Мария. Ну и болтун!

Памфил. А если я Ахилловыми договорами<sup>154</sup> докажу и то, что я мертвец, и то, что ты убийца?

Мария. Избави боже! А впрочем — приступай к твоему софизму.

Памфил. Во-первых, я надеюсь, ты уступишь мне в том, что смерть — это не что иное, как отделение души от тела.

Мария. Уступаю, получай.

Памфил. Но так, чтобы подаренного обратно не требовать!

Мария. Конечно, нет.

Памфил. Далее. Ты не станешь отрицать, что если кто отнимет у другого душу, он

<sup>154</sup> То есть самими сильными (по имени сильнейшего из гомеровских героев — Ахилла).

убийца.

Мария. Согласна.

Памфил. Согласись еще и с тем, что сказано у самых почтенных авторов и подкреплено суждением стольких веков, — что душа человеческая не там, где она животворит, а там, где любит.

Мария. Это объясни попроще: я не совсем тебя понимаю.

Памфил. И тем, стало быть, я несчастнее: ты и здесь мыслишь и чувствуешь иначе, чем я.

Мария. А ты заставь, чтобы одинаково.

Памфил. Сперва заставь чувствовать адамант.

Мария. Я же все-таки девушка, а не камень!

Памфил. Верно, но тверже адаманта.

Мария. Однако продолжай.

Памфил. Кто захвачен божественным наитием, те не слышат, не видят, не чуют, не ощущают боли — хоть режь их на куски.

Мария. Да, это мне известно.

Памфил. А как по-твоему, — отчего?

Мария. Скажи ты, философ.

Памфил. Оттого, конечно, что дух покинул тело и воспарил в небеса, к тому, кого он пламенно любит.

Мария. И что же дальше?

Памфил. Что дальше, жестокая? Из этого как раз и вытекает, что я мертвец, а ты убийца. Мария. И где твоя душа? Памфил. С тою, кого любит.

Мария. А кто отнял у тебя душу? Что вздыхаешь? Говори смело — скажешь безнаказанно.

Памфил. Одна безжалостная, беспощадная девица, которую, однако ж, ненавидеть я не могу даже мертвый.

Мария. Какая мягкая натура! Но почему ты, в свою очередь, не отнимешь душу у нее, оплачивая, как говорится, тою же монетой?

Памфил. Ах, если б можно устроить такой обмен, чтобы ее душа переселилась в мою грудь, как моя, вся целиком, живет в ее теле, — не было бы меня счастливее!

Мария. А можно ль и мне выступить в роли софиста?

Памфил. Софистики, — хочешь ты сказать.

Мария. Допустимо ли, что одно и то же тело одушевлено и бездыханно?

Памфил. Нет, в одно и то же время недопустимо.

Мария. Когда души нет, тогда тело мертво?

Памфил. Мертво.

Мария. И никоим иным образом, кроме как собственным присутствием, душа не животворит?

Памфил. Пусть будет так.

Мария. Как же тогда получается, что душа, находясь там, где любит, животворит, однако ж, тело, которое покинула?

Памфил. Да ты заправский софист, но меня в такие сети не изловить. Душа, которая каким-то образом управляет телом любящего, душою зовется неточно: на самом деле это лишь жалкие остатки души, — все равно как запах розы остается на пальцах, когда цветка уже нет.

Мария. Да, поймать лисицу силками не просто, как я погляжу. Но вот тебе еще вопрос: тот, кто убивает, действует?

Памфил. Еще бы!

Мария. А тот, кого убивают, испытывает действие?

Памфил. Конечно.

Мария. В таком случае, как же это: любящий действует, любимая испытывает действие,

но ты утверждаешь, будто убивает та, кого любят, хотя скорее любящий убивает себя сам?

Памфил. Ничего подобного: любящий испытывает действие, а та, кого любят, действует.

Мария. Так тебе никогда не выиграть перед ареопагом<sup>155</sup> грамматиков.

Памфил. Не беда — выиграю перед амфиктионами<sup>156</sup> диалектики.

Мария. Не сочти за труд ответить еще на один вопрос: добровольно ты любишь или против своей воли?

Памфил. Добровольно.

Мария. Ну, а коли есть свобода любить и не любить, по-видимому, тот, кто любит, — самоубийца; и девицу он винит вопреки справедливости.

Памфил. Да не потому убивает девица, что она любима, а потому, что не любит взаимно! Ведь всякий, кто может спасти, но не спасает, — убийца.

Мария. А если любовь юноши непозволительна — если он любит чужую жену? или деву-весталку<sup>157</sup>? Полюбит ли любимая взаимно, чтобы спасти любящего?

Памфил. Но в нашем случае любовь юноши дозволена, чиста, честна и благородна, и все-таки его убивают! А ежели убийство — обвинение недостаточно тяжкое, я вчиню тебе другой иск — в колдовстве.

Мария. Боже упаси! Новую Цирцею<sup>158</sup> хочешь из меня сделать?

Памфил. Нет, ты свирепее. Уж лучше быть медведем или свиньей, мне кажется, нежели тем, во что обратился я, то есть мертвецом.

Мария. Каким же это колдовством гублю я людей? Памфил. Сглазом.

Мария. Значит, на будущее мне отводить в сторону зловредные глаза?

Памфил. Что ты, наоборот! Только на меня и смотри!

Мария. Если глаз у меня дурной, почему тогда не чахнут и прочие, на кого я гляжу? Нет, наверно, колдовство не в моих глазах, а в твоих.

Памфил. Мало тебе отнять у Памфила душу — надо еще и поизмываться над ним?

Мария. Какой, однако, милый и забавный мертвец! А когда похороны?

Памфил. Скорее, чем ты ожидаешь, если ты же не придешь на помощь.

Мария. Полно, разве это в моих силах?

Памфил. В твоих силах даже мертвого вернуть к жизни, и к тому же — почти без труда.

Мария. Да, если кто вложит мне в руки панацею.

Памфил. Никаких снадобий не нужно — ты только ответь на любовь! Что может быть легче и, вместе с тем, справедливее? И никак иначе от обвинения в убийстве ты не очистишься.

Мария. Какой суд будет слушать мое дело? Ареопаг?

Памфил. Нет, судьей тебе будет Венера.

Мария. Говорят, она снисходительна.

Нам фил. Напротив, нет божества страшней и неумолимее во гневе.

<sup>155</sup> Ареопаг — верховный суд в древних Афинах.

<sup>156</sup> Амфиктионы — так назывались у греков города, заключавшие союз для совместного отправления культа в общем святилище и совместной защиты этого святилища. Памфил хочет сказать, что если его утверждение и несогласно с правилами грамматики, то вполне согласуется с учением философов (платоников и неоплатоников), на которое он ссылался выше.

<sup>157</sup> Жрицы богини Весты в Древнем Риме обязаны были хранить строжайшее целомудрие. Растлитель весталки подлежал позорной и мучительной казни.

<sup>158</sup> Цирцея (Кирка) — в греческой мифологии могучая волшебница, дочь бога Солнца. Желая удержать у себя Одиссея, заплывшего случайно в ее царство, она лишила его памяти об отечестве, куда он возвращался, а всех его спутников обратила в свиней.

Мария. Она что, вооружена молнией?

Памфил. Нет.

Мария. Трезубцем?

Памфил. Нет.

Мари я. Копьем? 159

Памфил. Нет. Но она владычица моря...

Мария. А я по морю не плаваю.

Памфил...и есть у нее сынишка...

Мария. Малютка — чего ж его бояться?!

Памфил...мстительный и упорный.

Мария. Что он мне сделает?

Памфил. Что сделает? Боги всевышние да избавят тебя от его мести! Не хочу вещать и накликивать беду той, кому желаю только добра.

Мария. И все-таки скажи, не скрывай! Я несколько не суеверна.

Памфил. Ладно, скажу. Ежели ты отвергнешь этого жениха, не совсем, как мне представляется, недостойного взаимной любви, то, пожалуй, малютка, по приказу матери, метнет в тебя дротик, отравленный самым ужасным ядом, и ты без памяти влюбишься в какое-нибудь ничтожество, и вдобавок безнадежно.

Мария. Что за мерзкая казнь! Чем любить уроды, позабывши обо всем на свете, да еще и безответно, — право, я бы охотнее умерла!

Памфил. А ведь недавно как раз такая беда стряслась с одною девицею в поучение всем прочим. Мария. Где это случилось? Памфил. В Орлеане.

Мария. Сколько лет назад?

Памфил. Сколько лет? Еще и десяти месяцев не прошло!

Мария. А как звали девушку? Что примолк? Не помнишь?

Памфил. Нет, я знаю ее так же, как тебя.

Мария. Почему ж тогда имя не называешь?

Памфил. Огорчать тебя неохота. Если б она звалась как-нибудь по-другому! Но у нее твое имя.

Мария. Кто был ее отец?

Памфил. Он жив и теперь, известный правовед, очень богатый.

Мария. А имя?

Памфил. Мавриций.

Мария. А фамилия?

Памфил. Аглаиус<sup>160</sup>.

Мария. А мать жива?

Памфил. Недавно скончалась.

Мария. От какой болезни?

Памфил. От какой болезни, спрашиваешь? От огорчения. Да и отец, хотя человек на редкость крепкий, едва не умер.

Мария. А имя матери тоже не тайна?

Памфил. Разумеется! Кто не знал Софронию! Но что означает этот вопрос? Или ты думаешь, я тебе притчу сочиняю?

Мария. Мне ли тебя подозревать в обмане? Такие подозрения скорее навлекает на себя наш пол. Рассказывай, однако ж, что приключилось с девицею.

Памфил. Девица была, как я уж говорил, хорошего рода, весьма состоятельная,

159 Она... вооружена молнией?.. трезубцем?.. копьем? — Молния — оружие Зевса, трезубец — его брата Посейдона, владыки морей, копьё — бога войны Ареса.

160 Аглаиус — от греческого *aglaos*, то есть «блестящий», «славный».

прекрасной наружности. Чего ж еще? Хоть за князя отдавай! И жених сватался ей под пару.

Мария. Как его звали?

Памфил. Ах Увы! Грустное предзнаменование — он был тоже Памфилом. И как он ни бился, чего только не пробовал — она оставалась непреклонна. Юноша зачах с тоски. А не так много спустя она начала сохнуть по какому-то человеку или, вернее сказать, по обезьяне.

Мария. Что ты говоришь!

Памфил. Да, да! И так отчаянно, что и не описать!

Мария. Такая красавица — по такому уроду?

Памфил. Макушка редькою, волосы жидкие, и притом встрепанные, всклоченные, все в перхоти, в гнидах; большая половина черепа оголена плешью; косоглазый, курносый, рот до ушей, зубы гнилые, подбородок шелудивый, язык заплетается; меж лопаток горб, брюхо торчком, ноги кривые.

Мария. Прямо Ферсит<sup>161</sup> какой-то!

Памфил. И об одном ухе вдобавок.

Мария. Другого, видно, лишился на войне.

Памфил. Ничего похожего — в мирное время.

Мария. Кто ж это посмел отсечь ему ухо?

Памфил. Палач Дионисий.

Мария. Но, быть может, избытие в доме заставляло не видеть безобразия хозяина?

Памфил. Что ты! Он все промотал и увяз в долгах. С таким-то вот супругом коротает свой век женщина, наделенная столькими достоинствами, да еще и бита бывает частенько.

Мария. Это ужасно!

Памфил. Но это правда. И похоже, что сама Немезида<sup>162</sup> мстит за того юношу, отвергнутого и оскорбленного.

Мария. Я бы скорее согласилась погибнуть от удара молнии, чем терпеть эдакого мужа!

Памфил. Так не гневи Немезиду — ответь любящему на любовь.

Мария. Если этого довольно — отвечу.

Памфил. Но я хотел бы, чтоб эта любовь была и твоею собственной, а значит, постоянной и надежной: я ищу жену, а не подружку.

Мария. Я знаю. Но надо как следует поразмыслить в таком деле, которое, раз начавши, уже не расстроишь.

Памфил. Что до меня, то я размышлял больше чем достаточно.

Мария. И все ж смотри, не обманывает ли тебя любовь. Она советчица не из лучших: люди говорят, она слепа.

Памфил. Нет, она зряча, если родится из трезвого суждения. Не потому видишься ты мне такою, что я тебя люблю, но потому и люблю тебя, что увидел, какова ты есть.

Мария. Да хорошо ли разглядел? Обуешь сапог — тогда только и почувствуешь, где он жмет.

Памфил. Приходится бросать жребий. Впрочем, по многим приметам я заключаю, что все будет хорошо.

Мария. Так ты еще и авгур?

Памфил. Да, авгур<sup>163</sup>.

Мария. Что же ты приметил? Сова, что ли, пролетела?

Памфил. Сова летает для глупцов. Мария. Или чета голубей появилась по правую руку?

Памфил. Совсем не то. Но уже много лет, как мне знакомы твои родители, люди

<sup>161</sup> Ферсит — персонаж «Илиады» Гомера, небывалый урод и наглец.

<sup>162</sup> Немезида — греческая богиня возмездия.

<sup>163</sup> Авгур — у древних римлян жрец-прорицатель, предсказывавший будущее по полету и поведению птиц.

достойнейшие, и это первая из птиц, сулящих удачу, — доброе происхождение. Далее, не секрет для меня, в каких правилах и на каких примерах ты у них воспитана. А доброе воспитание еще поважней благородства. Вот тебе и другая примета. Вдобавок, мои родители — люди, смею надеяться, не вовсе скверные, — уже давно связаны теснейшей дружбою с твоими; оттого мы и знаем друг друга, как говорится, от молодых ногтей. У нас с тобою годы примерно одинаковые, а у родителей наших — состояние, достоинство, знатность. Но что в дружбе особенно важно — твой прав, мне думается, хорошо подходит к моему. Ведь сами по себе вещи могут быть и очень хороши, но одна с другою не в лад. Насколько же мой характер согласен с твоим, это уже мне неведомо. Такие-то птицы сулят мне, что союз меж нами будет счастливым, прочным и радостным, лишь бы только ты, светик мой, не спела нам зловещую песню.

Мария. А какой песни ты от меня ждешь? Памфил. Я запою: «Я твой», — а ты отвечай: «Я твоя».

Мария. Песенка-то короткая, да припев долгий<sup>164</sup>. Памфил. Какая разница, долгий ли, короткий ли, — был бы радостный!

Мария. Не хотелось бы мне, чтоб ты совершил поступок, в котором после будешь раскаиваться. Памфил. Полно, не накликай беду. Мария. Быть может, ты увидишь меня иною, когда болезнь или старость изменят мой облик.

Памфил. Но ведь и мое тело, дорогая, не всегда останется одинаково молодым и крепким. А я любуюсь не только этим жилищем, каким бы ни было оно прекрасным и цветущим, — много милее мне и дороже хозяин.

Мария. Какой хозяин?

Памфил. Твоя душа, чья прелесть с годами будет все краше да краше.

Мария. Право, ты зорче самого Линцея, если различаешь душу под столькими покровами.

Памфил. Душу различаю душою. А вдобавок мы вновь — и не единожды — помолодеем в общих наших детях.

Мария. Но тем временем уйдет без возврата невинность!

Памфил. Не спорю. Но скажи мне, если бы был у тебя красивый сад, хотела бы ты, чтобы там никогда не родилось ничего, кроме цветов? Или предпочла бы, после того как цветы отцветут, увидеть деревья под грузом спелых плодов?

Мария. До чего же речист!

Памфил. Тогда ответь хотя бы на такой вопрос: какое зрелище милее для взора — лоза, стелющаяся по земле и загнивающая или же обвившаяся вокруг тычины или какого-нибудь вяза и отяготившая дерево пурпурными гроздьями?

Мария. Ответь и ты мне, в свою очередь: какое зрелище приятнее — роза, сияющая молочною белизною на своем кусте или сорванная и мало-помалу вянущая в человеческих пальцах?

Памфил. Я полагаю более счастливой ту розу, что вянет в руке, лаская и глаза наши, и ноздри, чем ту, что старится на кусте: ведь и на кусте ей все равно увядать. Так же точно счастливее то вино, которое выпьют, прежде чем оно прокиснет. Впрочем, не сразу после замужества увядает цвет девичьей красоты; наоборот, я видел многих, которые в девичестве были и бледны и вялы, будто сохли чахоткою, и только тогда по-настоящему расцвели, когда сочетались с супругом.

Мария. И однако ж девичество все одобряют, восхваляют...

Памфил. Да, юная девица прекрасна, но нет ничего противнее естеству, чем старая дева! Не утрать твоя родительница своего цветка — не любоваться бы нам теперь и на этот цветик. Вот и мы, я надеюсь, если наш брак не будет бесплоден, вместо одной девицы

---

<sup>164</sup> По каноническому (церковному) праву, обмен такими обещаниями был равнозначен заключению брака, почти столь же законного и нерасторжимого, как скрепленный обрядом венчания.

произведем на свет многих.

Мария. Но говорят, что всего угоднее богу чистота.

Памфил. Потому-то и хочу я жениться на чистой девушке, чтобы жить с нею чисто. Это будет союз скорее душ, нежели тел. Мы станем рожать для государства и для Христа. Намного ль будет разниться такое супружество от девства? А со временем, быть может, мы заживем так, как жили некогда Иосиф с Марией<sup>165</sup>. Но до тех пор надо приучать себя к девству: совершенства достигают не сразу.

Мария. Что я слышу? Чтобы научиться девству, надо его потерять?

Памфил. Конечно! Точно так же, как, постепенно испивая все меньше вина, мы приучаем себя к трезвости. Кто, по твоему мнению, более воздержан — тот, кто окружен наслаждениями, но отказывается от них, или кто далек от наслаждений, соблазняющих к невоздержности?

Мария. Тот, я считаю, сильнее в воздержании, кого изобилие соблазнов не может испортить.

Памфил. А кому верней должна принадлежать слава чистоты — тому, кто оскопит себя, или кто, цел и невредим, все же не знает с Венерою?

Мария. Я бы славу чистоты присудила второму, а первого назвала бы безумцем.

Памфил. Но разве те, что отрекаются от брака, связанные обетом, разве они не оскопляют себя?

Мария. Пожалуй, что да, в известной мере.

Памфил. И не спать с мужчиной — никакая не доблесть.

Мария. Как это?

Памфил. А вот послушай. Если б не спать с мужчиною было само по себе доблестью, спать было бы пороком. Но получается, что порок — не спать, а спать — доблесть.

Мария. Когда же так получается?

Памфил. А всякий раз, как супруг настаивает на супружеском своем праве, в особенности если он ищет объятий из любви к будущему потомству.

Мария. А если это одна похоть? Отказывать все равно не дозволено?

Памфил. Дозволено вразумлять или, точнее, ласково просить, чтобы он отступился; но упорно отказывать в ответ на упорные домогательства не дозволено. Впрочем, в таком деле жалобу мужа на непослушание жены услышишь не часто.

Мария. Но свобода так сладка!...

Памфил. Напротив: девство — такое тягостное бремя! Я буду тебе царем, ты мне царицею, мы станем править семьею по общему усмотрению. Разве это рабство, как по-твоему?

Мария. Брак многие зовут уздою...

Памфил. Вот им бы и одеть узду, тем, кто зовет его так! Скажи мне, пожалуйста, твоя душа не связана ли с телом?

Мария. По-видимому, да.

Памфил. Так же точно, как птица с клеткою. И, однако, спроси у нее: желает она быть свободной? И она ответит: «Нет» — нисколько не сомневаюсь. А почему? Потому, что связь эта добровольная.

Мария. Достатки у нас обоих невелики.

Памфил. Тем лучше! Ты будешь умножать их дома бережливостью, которую не без причины именуют доходом, и немалым, а я, за стенами дома, — трудолюбием.

Мария. Бесчисленные заботы приносят с собою дети.

Памфил. Но и бесчисленные радости тоже, и нередко с большою лихвой возвращают

---

<sup>165</sup> Евангелие повествует, что Мария, мать Иисуса, прежде чем «сочетаться» со своим супругом, Иосифом, «имела во чреве от Духа святого». Иосиф «хотел тайно отпустить ее», но ангел, явившись ему во сне, объяснил смысл происходящего, и, «встав ото сна, Иосиф... принял жену свою и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца...» («Евангелие от Матфея», I, 18—25).

родителям свой долг.

Мария. А если детей не будет? Ведь это ужасно!

Памфил. А теперь разве ты не бездетна? И какой толк заранее наклепать беду, ежели исхода все равно никак не предскажешь? Что бы ты предпочла — вообще не родиться или родиться, чтобы после умереть?

Мария. Родиться и умереть.

Памфил. Подобным же образом та бездетность горше, которая и не имела и не будет иметь потомства. И те, что жили на свете, счастливее тех, что не родились и никогда не родятся.

Мария. Кто ж это такие, которых нет и не будет?

Памфил. Если человек не согласен терпеливо переносить превратности судьбы, которым одинаково подвержены мы все, простолюдины и цари, без разбора, ему лучше уйти из жизни. Но и за всем тем, что бы ни приключилось, тебе достанется лишь половина: большую часть я приму на свои плечи. Так что, если случится радость, она будет двойною, а если беда — наш союз вдвое ослабит горечь. Для меня же, коли призовет судьба, будет отрадою и смерть на твоих руках.

Мария. Что совершается в согласии с общими законами природы, с тем люди мирятся довольно легко. Но я вижу, как иным родителям больше горя доставляет испорченность детей, чем их кончина.

Памфил. Чтобы не случилось ничего подобного, зависит главным образом от нас.

Мария. Не понимаю!

Памфил. Ведь обыкновенно от добрых добрые и рождаются, — я имею в виду природные качества, — и голубка коршунов не выведет. Значит, приложим все усилия, чтобы самим быть добрыми. Затем постараемся, чтобы дети еще с молоком матери впитали возвышенные правила и взгляды. Чрезвычайно важно, чем нальешь впервые новый сосуд. Позаботимся, наконец, чтобы они всегда видели пример для подражания дома. Мария. Трудная задача.

Памфил. И не удивительно — раз она прекрасна (по той же самой причине и ты — орешек не из легких). Но тем упорнее будем стремиться ее решить.

Мария. Материал тебе достанется податливый — ты только лепи как следует.

Памфил. А пока вымолви словечко.

Мария. Нет ничего проще, да только слово что птица: упустишь — не воротишь. Прими совет более полезный для нас обоих: переговори сперва со своими родителями и с моими, чтобы все происходило с общего их согласия.

Памфил. Ты велишь мне хлопотать и упрашивать, хотя можешь решить дело одним словечком.

Мария. Едва ли: я не в своей власти. В старину без согласия старших ни один брак не заключался. И прочем, как бы там ни было, я считаю, что наш брак будет счастливее, если совершится по воле родителей. И потом вам, мужчинам, так и полагается — хлопотать, это нам хлопоты не к лицу: похищение и насилие всегда девству в отраду, хотя мы часто так и горим любовью.

Памфил. Хлопотать я готов без устали, лишь бы твой выбор меня не обманул.

Мария. Не обманет — будь покоен, мой Памфил.

Памфил. Ты со мною слишком строга. Мария. Но сначала обдумай и взвесь как следует собственный выбор. И страсть к совету не допускай — только разум. Что постановит страсть, то непродолжительно, мимолетно; что определит разум, в том век не раскаешься.

Памфил. Да ты отменно философствуешь! Выходит, надо тебя слушаться.

Мария. Послушайся — не пожалеешь. Впрочем, постой-ка, сомнение берет меня и омрачает душу.

Памфил. Долой сомнения!

Мария. Ты хочешь, чтобы я вышла за мертвеца?

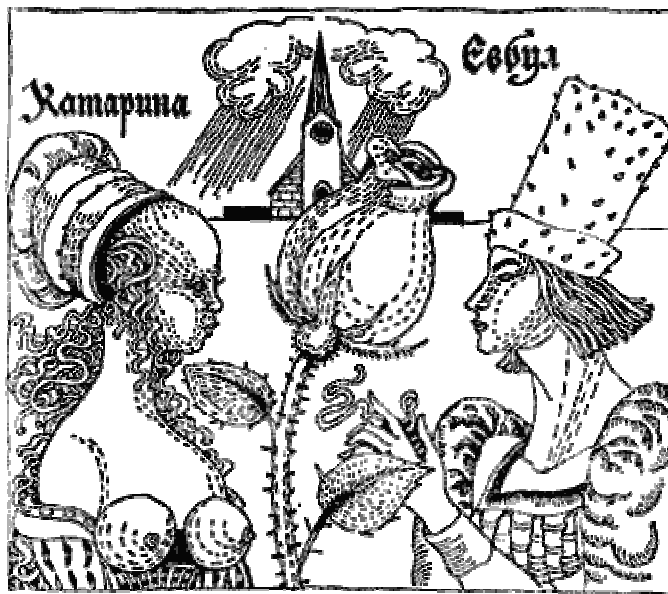
Памфил. Ничего похожего! Я оживу!

Мария. Вот ты и развеял мое сомнение. А теперь прощай, Памфил, и будь здоров.



Памфил. Это уж твоя забота.  
 Мария. Желаю тебе доброй и приятной ночи. Ну, что вздыхаешь?  
 Памфил. Приятной ночи, говоришь? Ах, если б ты одарила меня тем, чего пожелала!...  
 Мария. Не торопись, твоя жатва еще не поспела.  
 Памфил. Так ничем на прощание и не обрадуешь?  
 Мария. Возьми этот благовонный шарик, он порадует тебе сердце.  
 Памфил. Прибавь хоть поцелуй.  
 Мария. Нет, я хочу отдать тебе свою невинность целой и нетронутой.  
 Памфил. Да что в ней убудет от поцелуя?  
 Мари я. Тебе угодно, стало быть, чтобы я и другим поклонникам дарила поцелуи?  
 Памфил. Ни в коем случае! Все мое храни для меня.  
 Мария. Для тебя и храню. Но есть и еще причина, почему сейчас целовать тебя не отваживаюсь.  
 Памфил. Что за причина?  
 Мария. Ты говоришь, что твоя душа почти вся переселилась в мое тело; в тебе осталась лишь крохотная частица. Я и боюсь, как бы этот остаток не ускользнул вместе с поцелуем в мою грудь, а ты не умер бы вполне и окончательно. Потому вот тебе моя рука — знак взаимной любви — и прощай. Веди дело старательно, а я буду молиться Христу, чтобы все происходящее он соизволил обратить на счастье нам и на благо.

## Девушка &#956;&#953;&#949;&#959;&#947;&#956;&#959;&#949; 166



Евбул. Катарина

Евбул. Как хорошо — наконец-то отобедали! Теперь можно насладиться прогулкой: нет ничего милее и приятнее.

Катарина. И мне тоже надоело сидеть за столом.

Евбул. Как все зеленеет, как радостно улыбается! И не удивительно: весна — это юность мира.

Катарина. Да, верно.

Евбул. Ну, а твоя весна почему не улыбается?  
Катарина. С чего ты это взял?  
Евбул. Ты как-то грустна.  
Катарина. Разве я выгляжу не так, как всегда?  
Евбул. Хочешь, покажу тебе, как ты выглядишь?  
Катарина. Очень.  
Евбул. Видишь вон ту розу, которая к ночи подобрала и поджала свои лепестки?  
Катарина. Ну и что?  
Евбул. Вот так ты и выглядишь.  
Катарина. Прекрасное сравнение!  
Евбул. Не веришь — посмотришь в этот ручеек. Нет, правда, что означают твои вздохи, да еще такие частые: ты и за обедом вздыхала.  
Катарина. Оставь свои расспросы, тебе это знать не нужно.  
Евбул. Наоборот, нужнее всего на свете! Я не могу быть весел, если ты невесела. Вот, пожалуйста, еще вздох, и какой тяжкий — из самой глубины души!  
Катарина. Тяжело на сердце, а отчего, не скажу: это небезопасно.  
Евбул. Мне не скажешь?! Милая Катарина, ты мне дороже родной сестры! Ничего не опасайся! Этим ушам можешь открыть без страха все, что угодно.  
Катарина. Пусть так, но к чему напрасная откровенность? Ведь ты мне ничем не можешь помочь.  
Евбул. Откуда ты знаешь? Если не делом, то уж советом или утешением — наверняка!  
Катарина. Нет, не могу вымолвить.  
Евбул. Ах, господи, боже мой! Ненавидишь ты меня, что ли?  
Катарина. До того ненавижу, что, кажется, и брат не так мне дорог, как ты. И все же сердце велит молчать.  
Евбул. А если я сам угадаю, подтвердишь? Что ж ты отворачиваешься? Обещай — иначе не отстану.  
Катарина. Ладно, обещаю.  
Евбул. Я решительно не вижу, чего тебе недостает для полного счастья.  
Катарина. Ах, когда бы так!...  
Евбул. Во-первых, — возраст самый цветущий. Если не ошибаюсь, тебе пошел семнадцатый год.  
Катарина. Да, верно.  
Евбул. Стало быть, я полагаю, страх перед старостью тебя еще не угнетает.  
Катарина. Нисколько.  
Евбул. Во-вторых, — счастливая внешность. Это тоже дар господень, и немалый.  
Катарина. Внешностью, какая б она там ни была, не хвастаюсь, но и жаловаться на нее не стану.  
Евбул. Далее, и цвет лица, и сложение свидетельствуют об отличном здоровье; разве что грызет тебя таимый какой-нибудь недуг.  
Катарина. Нет, слава богу, я совершенно здорова.  
Евбул. Затем — безупречное имя.  
Катарина. Да, надеюсь.  
Евбул. И разум, достойный тела, — самый что ни на есть счастливый. Мне бы такой светлый разум, чтобы легче постигать науки.  
Катарина. Если что и есть, так все от бога.  
Евбул. Мягкий, приятный нрав, которого столь часто не хватает красавицам.  
Катарина. Для меня важно одно — чтобы нрав был достойный.  
Евбул. Многих угнетает несчастливое происхождение. У тебя же родители и знатны, и честны, и состоятельны, и любят тебя без памяти.  
Катарина. Тут мне не на что жаловаться.  
Евбул. Одним словом, изо всех здешних девиц я бы не стал свататься ни за кого, кроме

тебя; только бы звезда счастливая подмигнула.

Катарина. Да и я не выбрала б другого жениха, если б только вообще решилась идти замуж.

Евбул. Важная, однако ж, должна быть причина, чтобы так огорчаться.

Катарина. Да, немаловажная.

Евбул. Не рассердишься, если я угадаю?

Катарина. Я ведь тебе уже обещала.

Евбул. Я по себе знаю, какая это мука — любовь. Ну, признавайся! Ты дала слово.

Катарина. Правда, причиною — любовь, но не такая, как ты подозреваешь.

Евбул. А какая же?

Катарина. Догадайся сам.

Евбул. Конец — все догадки исчерпаны! Но я не мы пущу твою руку, пока не вырву признания.

Катарина. Да ты прямой насильник!

Евбул. Схорони свою заботу в моей груди.

Катарина. Раз ты так настаиваешь, изволь. С самых нежных лет мною владела одна необычная страсть.

Евбул. Какая? Говори, заклинаю!

Катарина. Вступить в сообщество священных дев.

Евбул. То есть — сделаться монахиней?

Катарина. Да.

Евбул. Хм! Ехал прямо, да попал в яму!

Катарина. Что ты сказал, Евбул?

Евбул. Ничего, светик мой, просто закашлялся. Но продолжай, продолжай.

Катарина. Этому моему желанию всегда упорно противились родители.

Евбул. Так, так.

Катарина. А я в ответ старалась подействовать на них благочестием, просьбами, ласками, слезами.

Евбул. Удивительное дело!

Катарина. Я все упрашивала, умоляла, заклинала, Плакала, и в конце концов они пообещали дать свое согласие, когда мне сравняется шестнадцать лет, если к этому времени желание мое не переменится. И вот срок настал, желание все то же, а родители отказывают наотрез. Это меня и терзает. Я открыла тебе свой недуг, а ты теперь исцели меня, если сможешь.

Евбул. Первый мой тебе совет, прелестнейшая девица, — умерять и сдерживать свои страсти и, ежели нельзя достигнуть того, чего желаешь, желать того, чего можно достигнуть.  
167

Катарина. Нет, я умру, если не добьюсь своего!

Евбул. А с чего она началась, твоя роковая страсть?

Катарина. Как-то раз, очень давно, побывала я в женском монастыре. Меня водили повсюду, всё показывали, и так полюбились мне прекрасные девичьи лица, словно не люди были предо мною, но ангелы. И храм поражал красою и благоуханием, и на диво ухоженные сады. Коротко сказать, куда ни обернешь взгляд — везде прелесть и очарование. А слух радовали ласковые речи девиц. Повстречала я там и подружек, с которыми прежде, совсем еще крошкой, вместе играла. С этого времени и запала мне в душу любовь к монашеской жизни.

Евбул. Я нисколько не собираюсь бранить сообщество священных дев, но не всё одинаково полезно для каждого, и, приняв в рассуждение природные твои качества, о

---

<sup>167</sup> Чуть перефразированная сентенция из «Девушки с Андроса» Теренция (ст. 304—305), любимая мысль Эразма, которую он повторяет на все лады в самых различных своих сочинениях и подробно толкует в «Пословицах» («Адагиях»).

которых сужу по твоей наружности и характеру, я бы советовал тебе выйти за человека с теми же достоинствами и основать новое сообщество в собственном доме. Твой муж в этом сообществе будет исполнять роль отца, ты — матери.

Катарина. Скорее умру, чем отступлюсь от целомудрия!

Евбул. Целомудрие, конечно, вещь замечательная, гели оно поистине чисто. Но нет никакой необходимости поступать ради этого в монастырь, откуда потом уже не выбраться. Можно хранить целомудрие и у родителей.

Катарина. Можно, да не совсем надежно.

Евбул. Напротив, по-моему, — гораздо надежнее, чем у этих толстобрюхих обжор, у монахов. Они ведь не скопцы, ты это имей в виду. Их зовут «отцами», и нередко они оправдывают свое имя полностью. В старину нигде не жили девицы честнее и достойнее, чем у своих родителей, и духовного отца иного, кроме епископа, не имели. Но скажи, пожалуйста, какую же обитель ты избрала, чтобы отдать себя в рабство?

Катарина. Златоградную.

Евбул. А, знаю, по соседству с вашим домом.

Катарина. Верно.

Евбул. И обитателей всех знаю прекрасно. Да, кто-кто, а они действительно стоят того, чтобы променять на них и мать, и отца, и всю родню! Достоянейший приор<sup>168</sup> уж давно лишился рассудка под бременем лет, пьянства и природной тупости и теперь не смыслит ни в чем, кроме вина. У него двое закадычных друзей, оба ему под стать, Иоанн и Иодок. Иоанну быть бы, пожалуй, и мужем совета, но только от мужа в нем нет ничего, кроме бороды: образованности — ни на волос, здравомыслия — немногим больше. А Иодок до того глуп, что если бы не ряса, разгуливал бы он у всех на виду в шутовском колпаке с бубенчиками и ослиными ушами.

Катарина. На мой взгляд, они люди хорошие.

Евбул. Я знаком с ними получше твоего, милая Катарина. Они, верно, еще и ходатайствуют за тебя перед родителями, чтобы приумножить свою паству.

Катарина. Иодок всячески этому содействует.

Евбул. Ах, благодетель! Ну, хорошо, пусть нынче там люди и хорошие и ученые, но ведь завтра могут помниться невежественные и скверные, а тебе придется терпеть любых, какие бы ни случились.

Катарина. В отцовском доме мне неприятны частые пирушки. Не для девичьих ушей речи, которые ведут меж собою женатые мужчины. А иной раз и в поцелуе нельзя отказать.

Евбул. Кто старается ускользнуть от любой неприятности, тому надо уходить из жизни... Ты так приучай свои уши, чтобы слышать все подряд, а в душу не пускать ничего, кроме доброго. Я думаю, родители не отказывают тебе в особой комнате?

Катарина. Конечно, нет.

Евбул. Туда и удаляйся, если застолье слишком веселое, и пока они пьют да пустословят, ты веди беседу со своим женихом — со Христом: молись, пой богу славу, возноси ему благодарность. Родительский дом тебя не замарают, а ты сделаешь его чище.

Катарина. И все ж надежнее быть в обществе девиц.

Евбул. Я не порицаю невинное девичье общество, но не хотел бы, чтобы ты обманывала себя ложным мнением. Когда ты побудешь среди них подольше и приглядишься поближе, так, пожалуй, и не увидишь той красы, которая прежде сияла тебе отовсюду. И

---

<sup>168</sup> Если женский монастырь возглавляет настоятель-мужчина, то обитель, в которую желает уйти Катарина, принадлежит к так называемому «двойному ордену» гильбертинцев и гильбертинок, основанному около 1135 г. святым Гильбертом Сэмпрингемским и существовавшему только в Англии (т. о. открывается место действия диалога). Монастыри этого ордена считались женскими, монастырская собственность была во владении у монахинь; мужчины в обителях были двух категорий — монахи, жившие по уставу черных августинских каноников, и «мирские братья», бельцы, исполнявшие тяжелые физические работы. Правил гильбертинской обители приор.

поверь мне: не каждая, кто носит манатью, непременно девица.

Катарина. Болтаешь невесть что!

Евбул. Нет, не болтаю, а говорю тебе истинную правду. Разве что хвала, которую до сей поры мы полагали подобающей единственно лишь Богородице Приснодеве, стала достоянием многих, так что и после родов можно зваться девицею.

Катарина. Боже упаси!

Евбул. Впрочем, и без того не всё у них одно целомудрие.

Катарина. Разве? Отчего же, объясни, пожалуйста.

Евбул. Оттого, что очень многие подражают не таланту Сапфо, а ее нравам<sup>169</sup>.

Катарина. О чем ты? Я что-то не понимаю.

Евбул. А я нарочно так говорю, чтобы ты не поняла, милая Катарина.

Катарина. И все-таки туда стремится сердце, и воодушевление мое, я полагаю, от бога, потому что вот уже столько лет оно не угасает, напротив — со дня на день крепнет.

Евбул. А мне как раз потому подозрительно твое воодушевление, что достойнейшие родители нисколько ему не сочувствуют. Будь в том, что ты затеваешь, доподлинное благочестие, их бы тоже осенило свыше. Но свое воодушевление ты почерпнула из красот, которые видела девчонкой, из вкрадчивых девичьих речей, из привязанности к давнишним подругам, из пышного убранства храма и блистательных обрядов, из бессовестных уговоров глупцов-монахов, которые для того охотятся за тобою, чтобы пьянствовать почаще. Знают они, что твой отец человек щедрый и радушный, и либо его станут зазывать к себе, но на том условии, чтобы вина принес с собою, да столько, чтобы на десятерых пьяниц достало, либо сами явятся в гости. А потому послушай меня — ни на что не дерзай и не покушайся без родителей, власти которых подчинил нас бог.

Катарина. В таком деле благочестие требует забыть и отца и мать.

Евбул. Только ради самого Христа можно пренебречь отцом и матерью! А если сын-христианин покидает отца-язычника, совершенно беспомощного и беззащитного, оставляя его на голодную смерть, не ведает этот человек ни благочестия, ни страха божия. Если бы ты еще не исповедала Христа через крещение, а родители запрещали бы тебе креститься, тогда ты поступила бы благочестиво, предпочтя Христа безбожным родителям. Или, скажем, если бы родители принуждали тебя к нечестию или сраму, их волею должно было бы пренебречь.

Но при чем здесь обитель? Ведь Христос и дома с тобой! Природа указывает, бог одобряет, Павел внушает, законы человеческие предписывают, чтобы дети повиновались родителям. А ты хочешь выйти из-под власти достойнейших родителей, чтобы отдать себя мнимому отцу вместо настоящего, на место родной матери призвать чужую или, точнее говоря, на место родителей поставить над собою господ? Ибо родителям хотя и покоряешься, они желают, чтобы дитя их было свободно.

А ныне ты что делаешь? Сама стараешься обратить себя в рабыню! Христианское милосердие искоренило древнее рабство почти повсюду, мало где сохраняются его следы по сей день. Но под видом и под предлогом набожности изобретено новое рабство, которое и процветает в большинстве монастырей. Без правил и шагу не ступи, что ни получишь, отдай им, господам. Если уйдешь — поймают и вернут назад, словно беглую злодейку, отравительницу, отцеубийцу. А чтоб оно было заметнее, это рабство, переменяют одежду, которую дали родители, и, по примеру древних покупателей, переменяют рабу имя, нареченное при крещении, и вместо Петра или Иоанна впредь зовут его Франциском, или Домиником, или Фомой. Петр записался добровольцем в войско Христово, но, вступив в орден Доминика, должен именоваться Фомою. Если воин сбросит с себя платье, полученное от начальника, все считают, что он отрекся от своего начальника. А мы рукоплещем тому,

---

<sup>169</sup> Намек на распространенное в древности, но мало обоснованное предание о противоестественной любви великой греческой поэтессы с острова Лесбоса (VII—VI вв. до н. э.) к своим подругам и ученицам.

кто облачается в платье, которого Христос, общий наш господин, не давал. И уж если этот наряд надумаешь переменить, тебя покарают строже, чем если бы ты сто раз сбросил с себя платье, полученное от полководца твоего и господина, — я имею в виду чистоту сердца.

Катарина. Но говорят, что это великая заслуга — добровольно отдать себя в такое рабство.

Евбул. Это фарисеи так поучают! А Павел, напротив того, учит, что если кто призван свободным, пусть не стремится к рабскому званию, пусть старается остаться свободен. И тем горше будет твое рабство, что служить придется многим господам, и, большею частью, глупым и бесчестным, переменчивым и всякий раз новым. Ответь мне вот на какой вопрос: законы освобождают тебя от родительской власти?

Катарина. Нет, конечно.

Евбул. Стало быть, можно тебе купить или продать имение без согласия родителей или нельзя?

Катарина. Разумеется, нельзя.

Евбул. Откуда ж тогда у тебя право отдать себя самое невесть кому без согласия родителей? Разве ты сама — не самое дорогое, не самое собственное их владение?

Катарина. В деле благочестия естественные законы теряют силу.

Евбул. Главное дело благочестия совершается при крещении. У тебя же дело идет об одежде и об образе жизни, которые сами по себе и не хороши, и не дурны. Подумай еще и о том, какие выгоды и удобства ты потеряешь вместе со свободой. Сейчас ты вольна читать в своей комнате, молиться, петь, когда и сколько душе угодно. Надоело сидеть в комнате — можно послушать церковное пение, службу, проповедь. Если повстречаешь мать семейства или девицу испытанной скромности, можно заговорить и через этот разговор самой сделаться лучше, если мужа, заведомо достойного, — спросить у него, что могло бы придать достоинства и тебе. Можно, наконец, выбрать проповедника, который проповедует Христа особенно чисто и свято. Отсюда начинается самый прямой путь к истинному благочестию, и всех этих благ, всех разом, ты лишишься, как только поступишь в монастырь.

Катарина. Но ведь я еще не буду монахиня<sup>170</sup>.

Евбул. Что тебе до названий! Не об имени тревожься — думай о сути. Они хвастаются послушанием. Но разве не останется тебе славы послушания, если будешь покоряться родителям, которым бог велит покоряться, и своему епископу, и пастырю? Или славы бедности не останется, когда всё в руках у родителей? Правда, в старину святые мужи особенно хвалили в святых девах щедрость к беднякам, а они не могли быть щедры, если бы ничем не владели... И от целомудрия твоего ничего в родительском доме не убудет. Что ж остается? Манатья, холщовое платье, вывернутое наизнанку, да кое-какие обряды, сами по себе благочестию нисколько не способствующие и ко Христу не приближающие, потому что Христос смотрит на чистоту души.

Катарина. Что-то неслыханное ты проповедуешь.

Евбул. Зато бесспорное и несомненное. Ежели ты не свободна от власти родителей, ежели не владеешь правом продать одежду или поле, откуда у тебя право отдать себя в рабство чужим людям?

Катарина. Родительское право — вере не помеха, так все говорят.

Е бул. А разве ты в крещении не исповедала христианскую веру?

Катарина. Исповедала.

Евбул. Разве не веруют те, кто верны заветам Христовым?

Катарина. Очень даже веруют.

Евбул. Что же за новая вера такая, отменяющая то, что возвестил закон природы, чему учил ветхий закон, одобрил закон евангельский, подтвердило апостольское учение? Это

---

<sup>170</sup> Между поступлением в монастырь и принятием монашеского чина (принесением обетов) протекал своего рода «испытательный срок», и обычно довольно продолжительный — не менее года.

постановление не от бога, оно принято в монашеском сенате. Подобным же образом иные утверждают, будто следует считать законным брак, который заключен без ведома или даже вопреки воле родителей меж мальчишкой и девчонкой через изустное их согласие. Но такого суждения не одобрит ни здравый смысл, ни древние законы, ни сам Моисей, ни евангельское учение, ни апостольское.

Катарина. Стало быть, ты считаешь, что мне грешно обручиться со Христом иначе, как после родительского одобрения?

Евбул. Ты уже с ним обручена и все мы тоже. Кто обручается дважды с одним женихом?! Речь идет лишь о месте, о платье, об обрядах, а ради этого пренебрегать родительским правом, по-моему, нельзя. И берегись, как бы, готовя себя к браку со Христом, не побрачиться со многими иными.

Катарина. Но монахи объявляют во всеуслышание, что нет ничего более святого, как пренебречь родителями в таком деле.

Евбул. А ты потребуй у этих столпов учености, чтобы они привели хоть одно место из священных книг, которое бы наставляло в таком непослушании. А если не смогут, вели им выпить стаканчик бургундского — это они смогут. Бежать от нечестивых родителей ко Христу — благочестие. Но от благочестивых в монастырь, то есть от достойных к недостойным (случай, увы, нередкий), — какое же это, спрашивается, благочестие? Ведь и встарь, если кто обращался от язычества ко Христу, он был обязан повиновением родителям-идолопоклонникам до тех пределов, покуда это было совместимо с его верою.

Катарина. Выходит, что ты вообще осуждаешь монашескую жизнь.

Евбул. Отнюдь. Но если я никогда не стал бы советовать девице, уже обрекшей себя на эту жизнь, чтобы она постаралась от нее избавиться, я, не задумываясь, призвал бы всех девиц, особенно даровитых, не бросаться очертя голову туда, откуда после уже не смогут выпутаться, тем более что в монастырях невинность часто подвергается очень тяжелым испытаниям, а всего, что достигается в обители, ты способна достигнуть и дома.

Катарина. Как ни много у тебя доводов и как они ни убедительны, а все-таки моей страсти им не развеять.

Евбул. Если уж я тебя не убедил (о чем весьма сожалею), то хотя бы запомни, что Евбул тебя предупреждал. А пока, — ради моей к тебе любви, — буду молиться, чтобы твоя страсть оказалась счастливее моих советов.

## Раскаяние



## Евбул. Катарина

Евбул. Всегда бы встречали меня такие привратницы!

Катарина. И всегда бы стучались такие гости!

Евбул. Однако прощай, Катарина.

Катарина. Что я слышу? Еще «здравствуй» не сказал, а уже «прощай»!

Евбул. Не для того я сюда пришел, чтобы видеть тебя в слезах. Как это понимать: стоило мне появиться — ты в слезы?

Катарина. Куда побежал? Обожди, обожди, говорю! Сейчас перестану плакать. Посмеемся вволю.

Евбул. А это что за птицы?

Катарина. Приор из монастыря по соседству. Не уходи. Они уже все пьяны. Посиди со мною немного, а когда приор удалится, мы потолкуем, как бывало.

Евбул. Изволь. Это ты не хотела меня слушаться, а я тебя послушаюсь. Ну, вот мы и одни. Рассказывай все как есть, я хочу услышать твою историю из твоих же уст.

Катарина. Из множества друзей, которые все капались мне людьми весьма разумными, ни один не дал такого по-стариковски мудрого совета, как ты, самый младший годами. Теперь-то я это понимаю.

Евбул. Но как ты сломила сопротивление родителей?

Катарина. Сперва бесчестные уговоры монахов и монахинь, а после мои просьбы и ласки поколебали непреклонность матери; зато отца тронуть никак не удавалось. Наконец пустили в ход все средства, но и тогда он скорее рухнул в изнеможении, нежели согласился. Случилось это за попойкою: ему грозили вечной погибелью, если он не отдаст Христу его невесту.

Евбул. О, какая наглость! И какая тупость! Ну, а потом?

Катарина. Три дня оставалась я дома взаперти, и все это время при мне неотлучно были несколько женщин из обители, которых монахи называют «обращенными»; они убеждали меня быть твердой в святом намерении и зорко следили, как бы не проникла ко мне какая-нибудь родственница или приятельница, которая могла бы изменить мое настроение. А пока готовили уборы, наряды и все прочее, что было потребно для празднества.

Евбул. А ты как себя чувствовала тою порой? Колебалась в душе?

Катарина. Нет. Но перенесла такую страшную муку, что лучше десять раз умереть, чем вынести ее еще раз.

Евбул. Что же это было? Скажи!

Катарина. Не могу.

Евбул. В чем бы ты ни открылась, ты откроешься другу.

Катарина. Обещаешь молчать?

Евбул. Я молчал бы и так, безо всякого уговора. Будто ты меня не знаешь!

Катарина. Мне явилось ужасное привидение.

Евбул. Несомненно, это был твой злой дух, он-то и гнал тебя в монастырь.

Катарина. Да, наверняка, это был

&#967;&#954;&#945;&#954;&#959;&#948;&#945;&#953;&#956;&#969;&#957;<sup>171</sup>.

Евбул. Каков же он был с виду? Такой, каким его рисуют? Клюв крючком, рога, когти, как у гарпии, длиннущий хвост?

Катарина. Ты знай себе шутишь, а мне бы, право, лучше сквозь землю провалиться, чем увидеть его снова.

Евбул. А твои увещательницы при этом были?

Катарина. Нет. И я ничего им не рассказывала, хоть они всячески допытывались, что со мною стряслось: они застали меня без памяти и без дыхания.

---

171 Злой дух, злое божество (греч.)



Евбул. Хочешь, скажу тебе, что это было?

Катарина. Скажи, если можешь.

Евбул. Твои приставницы тебя околдовали или, вернее, обморочили до потери рассудка. Но ты тем временем от задуманного не отступалась?

Катарина. Нимало. Ведь это, как все кругом говорили, случилось со многими, кто посвящал себя Христу, и если одолеть искусителя в первой схватке, дальше все будет спокойно.

Евбул. Как тебя провожали из дому?

Катарина. В полном уборе, с распущенными волосами — точь-в-точь, как невесту к жениху провожают.

Евбул (*в сторону*). Да, к толстобрюхому монаху. (*Катарине*.) Кха! Вот проклятый кашель!

Катарина. Отвели меня в обитель средь бела дня, зевак сбежалось — уйма!

Евбул. Ох, и ловкие же комедианты! Как они умеют разыгрывать свои представления перед простым народишкой! И сколько ты провела в этой святой девичьей обители?

Катарина. Меньше двух недель.

Евбул. Что, однако, повернуло твои мысли по-новому? Ты ведь была непреклонна!

Катарина. Что — не скажу, но только что-то очень важное. Через шесть дней я вызвала мать и умоляла, заклинала ее, чтобы меня оттуда забрали, если только не хотят моей смерти. Она возражала, твердила, что нужна выдержка. Тогда я вызвала отца. Он даже бранился, кричал, что насилу поборол свои чувства и чтобы теперь я, в свою очередь, поборола свои — не навлекала на себя позора, прыгая взад-вперед. Наконец, видя, что ничего не помогает, я объявила родителям, что исполню их желание и умру — раз они так велят, а умру я здесь непременно, и очень скоро. Услыхав такой ответ, они забрали меня домой.

Евбул. Хорошо, что ты успела прыгнуть назад, не связав себя вечным рабством. Но я еще не слышал, что переменяло твое настроение так внезапно.

Катарина. Этого от меня не слышал никто, и ты не услышишь.

Евбул. Что, если я попробую догадаться?

Катарина. Не угадаешь — я уверена. А если б и угадал, я бы не подтвердила.

Евбул. Ах, ну тогда все понятно! А деньги, конечно, пропали.

Катарина. Больше сорока гульденов.

Евбул. Да, хорошо погуляли обжоры на свадьбе, нечего сказать! И все же бог с ними, с деньгами, лишь бы ты была невредима. Вперед слушайся добрых сонетов.

Катарина. Непременно! В другой раз рыбка в невод не пойдет.

**&#924;&#917;&#924;&#936;&#921;&#915;&#913;&#924;&#927;&#931;  
172 или супружество**



### Евлалия. Ксантиппа

Евлалия. Здравствуй, здравствуй, Ксантиппа! Как я по тебе соскучилась!

Ксантиппа. Здравствуй и ты, дорогая моя Евлалия. Как ты похорошела!

Евлалия. Славно же ты меня встречаешь — колкостью, насмешкою.

Ксантиппа. Нет, правда, так мне кажется.

Евлалия. Может, новое платье мне к лицу?

Ксантиппа. Ну, конечно! Давно не видала ничего краше! Сукно не иначе как английское.

Евлалия. Шерсть английская, а красили в Венеции.

Ксантиппа. Тоньше виссона! И цвет удивительно приятный — настоящий пурпур! От кого такой прекрасный подарок?

Евлалия. От кого ж еще принимать подарки замужней женщине, как не от собственного супруга?

Ксантиппа. Счастливица ты! Вот это муж так муж! А мне бы лучше быть за пнем дубовым, чем за моим Николаем!

Евлалия. Что ты говоришь? Так скоро — и уже нет согласия между вами?

Ксантиппа. И никогда не будет согласия с эдаким ослом! Видишь — я вся в лохмотьях, а ему хоть бы что! Клянусь, мне часто на люди выйти стыдно, когда я вижу, как одеты другие женщины, у которых мужья намного беднее моего.

Евлалия. Замужнюю женщину украшает не платье и не уборы, как учит святой апостол Петр (и как слыхала я недавно за проповедью), но чистота и скромность нравов, то есть украшения духовные. Шлюхи прихорашиваются ради многих глаз. Мы достаточно хороши, если нравимся одному лишь супругу.

Ксантиппа. Однако ж добрый этот супруг, с женою отчаянный скупец, усердно проматывает приданое, которого взял за мною немало.

Евлалия. А на что?

Ксантиппа. На что вздумает — пьянствует, распутничает, играет в кости.

Евлалия. Ужасно!

Ксантиппа. Да, но так оно и есть. Я все жду его, жду, а он возвращается далеко за полночь, пьяный, а потом храпит до утра, а нередко и всю постель облюет, а бывает — и того хуже.

Евлалия. Тс-с! Ведь ты себя порочишь, когда порочишь мужа!

Ксантиппа. Клянусь жизнью, я охотнее спала бы со свиньей, чем с таким мужем!

Евлалия. И ты, наверно, встречаешь его бранью?

Ксантиппа. Он того и стоит. Пусть помнит, что и не немая.

Евлалия. А что он в ответ?

Ксантиппа. Сперва отругивался очень свирепо — думал, что запугает меня своими бешеными криками.

Евлалия. А до побоев никогда не доходило?

Ксантиппа. Как-то раз оба до того распалились, что еще чуть-чуть — и подрались бы.

Евлалия. Что я слышу?!

Ксантиппа. Он размахивал дубинкой, неистово орал и грозился.

Евлалия. И ты не испугалась?

Ксантиппа. Наоборот! Я схватила табурет, и если б он хоть пальцем меня тронул, я б ему показала, что и я не безрукая!

Евлалия. Вот невиданный щит! Тебе не хватало только прялки вместо копья.

Ксантиппа. Он бы у меня понял, с кем дело имеет — с амазонкою!

Евлалия. Ах, милая Ксантиппа! Не так бы чадо...

Ксантиппа. А как? Ежели он не желает признавать меня за жену, не стану и я признавать его за мужа!

Евлалия. Но Павел учит, что жены должны покоряться своим мужьям с полным смирением. И Петр ставит нам в пример Сарру<sup>173</sup>, которая супруга своего, Авраама, называла «господином».

Ксантиппа. Слыхала. Но тот же Павел учит, чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил свою невесту — Церковь. Пусть он помнит свои обязанности — я не забуду про свои.

Евлалия. Но когда уж зашло так далеко, что кому-то из двух необходимо уступить, — справедливо, чтобы жена уступила мужу.

Ксантиппа. Если только вправе называться мужем тот, кто обращается со мною, как со служанкой.

Евлалия. Но скажи, милая Ксантиппа, после того случая он перестал грозиться побоями?

Ксантиппа. Перестал и несколько образумился, а не то получил бы как следует.

Евлалия. А ты ссориться с ним не перестала?

Ксантиппа. И не перестану.

Евлалия. Ну, а что же он теперь?

Ксантиппа. Что он? Когда спит, сонливее несчастный, когда хохочет без умолку, а когда схватит лютню о трех струнах и бренчит без конца, заглушая мои крики.

Евлалия. А тебя это раздражает?

Ксантиппа. До того, что и сказать невозможно. Иной раз едва удерживаюсь, чтоб не пустить руки в ход.

Евлалия. Милая Ксантиппа, разрешишь быть с тобою вполне откровенной?

Ксантиппа. Разрешаю.

Евлалия. И пусть откровенность будет взаимной. Этого требует наша дружба, завязавшаяся чуть ли не в колыбели.

Ксантиппа. Истинная правда! Никогда ни одна подруга не была мне дороже, чем ты.

Евлалия. Каков бы ни был твой супруг, подумай о том, что переменить на другого уже невозможно. В давние времена крайним средством против неисцелимых раздоров служил

---

<sup>173</sup> В «Первом соборном послании святого апостола Петра», гл. III, ст. 1—6, говорится: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям... Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха» Это намек на деталь ветхозаветной истории патриарха Авраама, которому бог — несмотря на столетний почти возраст — обещает сына, а супруга патриарха «внутренне рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“ („Бытие“, XVIII, 12).

развод. Ныне это средство отнято и отменено. До последнего дня жизни ему быть твоим мужем, а тебе — его женою.

Ксантиппа. Будь он трижды проклят, тот, кто отнял у нас право разводиться!

Евлалия. Господь с тобой! Ведь это Христос так порешил! <sup>174</sup>

Ксантиппа. Что-то мне не верится.

Евлалия. Уверяю тебя! И теперь не остается ничего иного, как искать согласия, приспособливаясь друг к другу.

Ксантиппа. Да разве я могу его переделать?

Евлалия. Каков супруг, во многом зависит от супруги.

Ксантиппа. А ты со своим легко ужилась?

Евлалия. Теперь все спокойно.

Ксантиппа. Значит, поначалу не все шло гладко?

Евлалия. Бурь никогда не бывало. Но, как обычно у людей, случалось, набегали тучки, которые, пожалуй, и разразились бы бурей, да только бурю можно предупредить — уступчивостью и снисходительностью. У каждого свой нрав и свой взгляд, а если говорить начистоту, то и свои недостатки. И чем кричать «ненавижу», нам следует их узнавать — и вообще, а в браке особенно.

Ксантиппа. Это ты правильно советуешь.

Евлалия. А между тем нередко взаимное доброжелательство меж супругами рвется еще до того, как они мало-мальски узнают друг дружку. Этого надо остерегаться всего больше. Вражде стоит только вспыхнуть, и дружба восстанавливается с большим трудом, а после жестоких перебранок — и подавно. Если что скрепляешь клеем, а после сразу встряхнешь, то склеенные части легко разваливаются, но если клей успеет засохнуть и они пристынут одна к другой, нет ничего прочнее. Поэтому поначалу необходимо употребить все средства, чтобы доброжелательство между супругами утвердилось и окрепло. Крепнет оно, в первую очередь, покорностью и уступчивостью. Если ж симпатия приобретена одною внешнею привлекательностью, она почти всегда скоро иссякает.

Ксантиппа. Нет, ты мне, пожалуйста, расскажи, каким способом приспособила ты супруга к своему нраву.

Евлалия. Расскажу, но на том условии, чтобы ты последовала моему примеру.

Ксантиппа. Если смогу.

Евлалия. Это будет очень просто, если ты захочешь: ведь еще не поздно. Он еще молод, ты и вовсе девчонка, а после вашей свадьбы, по-моему, и года не прошло.

Ксантиппа. Да, перно.

Евлалия. Итак, я расскажу. Но ты — никому ни слова.

Ксантиппа. Ни слова!

Евлалия. Главная моя забота была в том, чтобы всегда доставлять мужу радость и ничем его не огорчить. Я наблюдала за его пристрастиями и образом мыслей, наблюдала и за случайными обстоятельствами — что его успокаивает, что раздражает, — совсем как те, кто приручает слонов, львов и прочих диких зверей, которых силою ни к чему не принудишь.

Ксантиппа. Как раз такой зверь у меня дома.

Евлалия. Если ходишь за слоном, не надевай белое платье, если за быком — красное: ведь эти цвета приводят их в бешенство, кто этого не знает?! Точно так же и тигры: звуки бубна вызывают у них такую ярость, что они готовы растерзать самих себя. Кто ухаживает за лошадьми, ласково их окликает, щелкает языком, похлопывает, поглаживает и вообще по-всякому сдерживает необузданную горячность. Насколько ж важнее для нас, жен, всегда держать наготове подобные приемы! Ведь хочешь не хочешь, а каждой из нас до конца

---

<sup>174</sup> В «Евангелии от Матфея», XIX, 8—9, Христос поучает: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала было не так. Но я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует».

жизни делить с мужем кров и постель! Ксантиппа. Продолжай.

Евлалия. Я приняла это в расчет и приноравливалась к нему, как могла, стараясь не подать ни малейшего повода к неудовольствию.

Ксантиппа. И как же ты сумела?

Евлалия. Во-первых, неусыпными хлопотами по хозяйству, — в этой провинции власть жены никто не оспаривает, — не только стараясь чего-либо не упустить, но все устраивая в согласии с его вкусом, все до послед-лих мелочей.

Ксантиппа. Каких мелочей?

Евлалия. Ну, например, если муж особенно любит какую-нибудь еду, так или этак приготовленную, или чтобы постель была постлана как-нибудь особенно...

Ксантиппа. Но как приноровиться к тому, кто до-ч мой не является, а если является, то пьяный?

Евлалия. Погоди, дойдем и до этого. Если муж бывал очень грустен, а повода заговорить ненароком не находилось, я никогда не смеялась и не дурачилась, как иные женщины в подобных случаях, но и сама принимала вид озабоченный и печальный. Как хорошее зеркало всегда отражает облик того, кто в него смотрится, так пусть жена согласует свои чувства с чувствами мужа, чтобы не радоваться, когда он мрачен, не веселиться, когда раздражен. Если ж раздражение вырывалось наружу, я смягчала гнев супруга ласковой речью или покорным молчанием, дожидаясь, пока он остынет и будет можно либо прогнать досаду вовсе, либо умерить ее разумными доводами. То же самое — если он возвращался домой пьяный: я говорила ему всякие приятные вещи и умильными словами заманивала в постель.

Ксантиппа. Несчастливая все-таки участь у жен, которые так угождают гневным, хмельным, своевольным мужьям!

Евлалия. Да, но ведь угождение-то взаимное! И мужья вынуждены смиряться со многим в нашем характере. А выпадают минуты, когда супруге можно и наставить супруга в важном деле, но именно что в важном: в дела второстепенные лучше совсем не вмешиваться.

Ксантиппа. Что ж это за минуты такие?

Евлалия. Когда он ничем не занят, не раздражен, не обеспокоен, не пьян, тогда с глазу на глаз, без свидетелей, ласково подай ему совет или, вернее, попроси, чтобы он старательнее исполнял свой долг, или не забывал о добром своем имени, или о здоровье. А самое наставление не забудь приправить смехом, шуткою Иногда я заранее беру с него слово, что он не рассердится на глупую женщину, но мне, мол, кажется, что надо поступить так-то и так-то и что это послужит к его чести или ему на благо. Едва лишь посоветую, что хотела, тут же обрываю разговор и сворачиваю на другое, более приятное. Ведь это общий наш порок, милая Ксантиппа, что как заладим про одно, так уж и остановиться не можем.

Ксантиппа. Пожалуй.

Евлалия. Я всегда старалась не бранить мужа при людях, не выносить жалоб за порог. Любое недоразумение легче улаживается между двоими. А если складывается так, что и терпеть нет силы, и супружеские увещания не помогают несколько, учтивее будет, если жена пожалуется родителям и родичам мужа, а не своим: это и не так обидно, и свидетельствует, что она ожесточена не против мужа, но против его заблуждения и упорства. Да и тогда лишнего болтать не надо, чтобы муж мог признать и оценить обходительность супруги.

Ксантиппа. Нужно быть философом в юбке, чтобы соблюдать все эти правила.

Евлалия. Но таким поведением мы и мужа побуждаем ко взаимной обходительности.

Ксантиппа. Есть мужья, которых никакой обходительностью не исправить.

Евлалия. Не думаю. Но пусть даже так! Прежде всего, рассуди, что мужа приходится терпеть, каков бы он ни был. И уж лучше терпеть какого ни есть, либо хоть сколько-нибудь помягчевшего благодаря нашей обходительности, чем такого, который день ото дня все свирепее. Что, если я укажу тебе на мужей, которые сходным образом исправляли жен? Насколько больше приличествует этот образ действий нам, женам!

Ксантиппа. Значит, ты приведешь пример, во всем обратный моему супругу!

Евлалия. Я близко знакома с одним человеком<sup>175</sup>, знатным, образованным и на редкость порядочным. Он взял за себя девушку семнадцати лет, воспитанную в деревне, в отцовском доме: знатные люди любят жить в деревне — ради охоты на зверей и птиц. Он нарочно выбрал жену молодую и неученую, чтобы тем легче вылепить ее по собственному образцу, и вот принялся обучать ее наукам и музыке, требовал, чтобы она повторяла то, что услышит за проповедью, наставлял и еще во многом, что могло бы оказаться на пользу впоследствии. Все это было внове молодой женщине, которая дома не знала ничего, кроме досуга, и ничего не слыхала, кроме шуток и болтовни слуг. Учение быстро ей наскучило, покориться она не хотела, и, так как муж от задуманного не отступался, жена плакала без умолку, а нередко и кидалась наземь и билась затылком об пол, словно желая покончить с собой. В конце концов муж, скрывая досаду, предложил жене поехать вместе в деревню, к ее отцу, чтобы как-то отвлечься и развлечься. Тут она повиновалась охотно. Когда прибыли на место, муж оставил жену с ее матерью и сестрами, а сам отправился с тестем на охоту. Улучив момент, когда рядом никого не было, он рассказал тестю, что надеялся приобрести веселую подругу жизни, она же все плачет, не осушая глаз, мучит себя и ко всем уговорам глуха. «Помоги мне исцелить ее», — так он закончил. Тесть возразил, что всю власть над дочерью передал ему, и если она не слушается слов, пусть он употребит свое право и поучит ее плеткой. А зять в ответ: «Я свое право знаю, но чем мне прибегать к такому крайнему средству, лучше бы вылечил ее ты — своим умением или влиянием». Тесть обещал. День или два спустя, выбрав время и место, он закрывается вдвоем с дочерью, грозно хмурит брови и начинает ей припоминать, как она нехороша собою, каким скверным отличается характером и как часто он опасался, что вообще не сможет выдать ее замуж. «Но с великими трудами, — продолжал он, — я нашел тебе мужа, за которого любая красавица вышла бы с охотой. А ты не только не ценишь того, что я для тебя сделал, не только не понимаешь, что у тебя такой муж, которому ты и в служанки не годилась бы, если бы не редкая его снисходительность, но еще и бунтуешь против него!» Что много говорить! Отец, казалось, до того распалился собственной речью, что едва не прибил дочку. Поистине ловок и хитроумен тот, кто умеет без маски разыграть любую комедию! Тут в молодой женщине заговорили и страх, и нечистая совесть, она бросилась отцу в ноги, умоляла забыть прошлое, клялась, что вперед ни в чем не нарушит своего долга. Отец простил ее, пообещав быть самым любящим из отцов, если и она исполнит то, что обещает.

Ксантиппа. Ну? А потом?

Евлалия. А потом она вернулась к себе в комнату и застала мужа одного. Припала она к его коленям и говорит: «До сей поры я не знала ни тебя, ни себя самоё. Вперед увидишь, что я стала другая — только забудь о том, что было прежде!» Эти ее слова муж встретил поцелуем и сказал, что на все согласен, лишь бы только она не изменила своему намерению.

Ксантиппа. И что? Не изменила?

Евлалия. Вплоть до самой смерти не было такого непривлекательного дела, за которое она не взялась бы с радостью и с охотою, если того хотел муж. Вот какая родилась меж ними любовь и вот как она окрепла. Спустя несколько лет жена часто повторяла, что, дескать, это была безмерная для нее удача — выйти за такого мужа. «Случись по-иному, — твердила она, — и быть бы мне самой жалкой и самой пропащей на свете женщиной!»

Ксантиппа. Эдакие мужья попадаются не чаще, чем белые вороны.

Евлалия. Если тебе не надоело слушать, я расскажу другую историю, которая происходила недавно, и не где-нибудь, а в этом самом городе, — про мужа, исправленного

---

<sup>175</sup> Далее следует история из жизни Томаса Мора, великого английского гуманиста и одного из самых дорогих и любимых друзей, какие были у Эразма за всю его жизнь. Героиня этой истории — первая супруга Мора, Джейн Коулт, умершая в 1511 г., после шести лет счастливого брака.

мягкостью жены<sup>176</sup>.

Ксантиппа. Дел у меня никаких, а беседовать с тобою — одно удовольствие.

Евлалия. Есть один человек, не из последних у нас в городе. Как это в обычае у знати, он часто и помногу охотился. Где-то в деревне повстречал он девушку, дочку совсем нищей бабенки, и без памяти в нее влюбился, хотя был уже в годах. С той поры он частенько не ночевал дома. Предлогом всегда служила охота. Его супруга, женщина редкой добропорядочности, подозревала невесть что и наконец выследила проделки мужа. Явившись в эту деревенскую хижину, она разузнала все до последнего — и где спит муж, и из чего пьет, и как там накрывают и подают на стол; впрочем, утвари в доме не было никакой — одна бедность. Супруга отправилась обратно и вскоре вернулась, привезя с собою удобную кровать с постелью и серебряную посуду. Дала она и денег и просила, чтобы на будущее время, если он придет еще, его принимали пообходительнее; при этом она скрыла, кто она такая, и выдавала себя за его сестру. Спустя несколько дней тайком приезжает муж. Он видит новую, богатую утварь и дивится — откуда эта неожиданная роскошь. Ему объясняют, что все доставила сюда почтенная женщина, его родственница, с наказом, чтобы вперед его потчевали и принимали более пристойно. Он тут же заподозрил, что здесь побывала жена. Возвратившись домой, он прямо спрашивает ее об этом; она не отрицает. Тогда он спрашивает, с какою же целью отправила она туда посуду и остальное. «Но ведь ты привычен к удобствам, — отвечала жена. — Я видела, что там все слишком грубо, и, раз уж ты так заблагорассудил, считала своим долгом, чтобы с тобою обходились потоньше».

Ксантиппа. Какая доброта! Нет, я бы не постель ему постелила, а крапиву и терновник!

Евлалия. Ты дослушай до конца. Тут только понял он всю честность и кротость своей супруги и с тех пор навсегда потерял вкус к тайным ласкам, но забавлялся дома, со своею женою... Тебе, конечно, знаком голландец Гильберт.

Ксантиппа. Да, знаком.

Евлалия. Он, как тебе известно, в расцвете лет, а жену взял пожилую, чуть ли не старую.

Ксантиппа. Приданое он взял, пожалуй, а не жену.

Евлалия. Верно. К супруге он испытывал отвращение, а любил одну бабенку и постоянно с нею забавлялся. Редко когда он завтракал или обедал дома. Что бы ты стала делать в таком случае?

Ксантиппа. Я что сделала бы? Любовнице этой я бы вцепилась в волосы, а мужа, когда он пошел бы к ней на свидание, облила мочой — пусть благоухает за пирушкою!

Евлалия. И насколько разумнее поступила жена Гильберта! Она позвала бабенку к себе домой и радушно ее принимала. Так она приохотила к дому и мужа, и без всякого колдовского зелья. А если он, случалось, обедал с тою в ином месте, жена посылала туда какое-нибудь изысканное кушанье с пожеланием хорошо повеселиться.

Ксантиппа. По-моему, приятнее умереть, чем служить своднею собственному мужу!

Евлалия. Но ты вдумайся в самую суть. Неужели это не лучше — и намного! — чем окончательно отдалить от себя мужа бешеным гневом и провести всю жизнь в брани и ссорах?

Ксантиппа. Вероятно, ты права. Но я бы так не смогла.

Евлалия. Еще один пример — и довольно. Наш сосед, человек хороший и честный, но чересчур вспыльчивый, однажды прибил свою супругу, женщину, достойную всяческих похвал. Она закрылась в дальней комнате и плакала навзрыд, стараясь перемолоть и переварить обиду. Несколько времени спустя туда же случайно вошел муж и, застав жену в слезах, спросил: «Ты что это здесь рыдаешь, словно девчонка?» А она рассудительно в ответ:

---

<sup>176</sup> Это народная новелла, имевшая самое широкое хождение; ее сюжет разработан, в частности, у Маргариты Наваррской («Гептамерон», новелла 38).

«А разве не лучше мне выплакать горе здесь, чем вопить на улице, как это в заводе у других женщин?» Муж был растроган и сломлен этими истинно супружескими словами и поклялся жене, что никогда больше не поднимет на нее руку; и правда, не поднимал.

Ксантиппа. Того же и я добила от своего, только совсем по-другому.

Евлалия. Зато теперь между вами непрерывная война.

Ксантиппа. Ну, так что мне делать? Укажи.

Евлалия. Во-первых, надо сносить молча все мужнины обиды и кротостью, лаской, всевозможными одолжениями постепенно утишить его ожесточение. Либо ты победишь окончательно, либо, по крайней мере, тебе станет с ним намного легче, чем теперь.

Ксантиппа. Его не укротить никакими одолжениями — он чересчур свиреп.

Евлалия. Не говори так! Нет зверя настолько дикого, чтобы он не отзывался на ласку. Не отчаивайся, сделай пробу, и можешь обвинять меня во всех грехах, если через несколько месяцев не убедишься, что я дала тебе благой совет. Есть даже такие недостатки, на которые надо вовсе закрыть глаза... А прежде всего остерегайся затевать ссоры в спальне или в постели: там все должно быть приятно, красиво и весело. В самом деле, если уж это место, свято предназначенное для прекращения всякой вражды и неприязни, оскверняется спором и досадою, — значит, исчезло последнее средство восстановить доброжелательство и согласие. Есть женщины настолько мерзкого нрава, что уж и под мужем лежат — а все не перестают ворчать да жаловаться, отнимая сладость у того наслаждения, которое гонит из души супруга любую горечь, и портя то снадобье, которым можно было исцелить все обиды.

Ксантиппа. Со мной это бывает нередко. Евлалия. Жене постоянно следует остерегаться, как бы чем-нибудь не досадить мужу, но всего больше усилий она должна приложить к тому, чтобы, сходясь с мужем в постели, быть самой ласкою, самым очарованием.

Ксантиппа. Так то с мужем! А я сплю с чудовищем.

Евлалия. Не надо говорить о нем скверно — ведь мужья скверны во многом по нашей вине. Вернемся, однако ж, к делу. Люди, начитанные в древних притчах поэтов, рассказывают, что у Венеры (ее изображают богиней брака) был пояс, сделанный искусником Вулканом, и в него вотканы все любовные зелья. Этот пояс она надевала всякий раз, как готовилась лечь с мужем. Ксантиппа. Да ведь это притча. Евлалия. Конечно. Но послушай, какой в ней урок.

Ксантиппа. Какой?

Евлалия. Супруга, учит нас она, должна всеми стараниями доставлять мужу радость на супружеском ложе, чтобы мужнина любовь разогревалась и освежалась, а всякая досада и пресыщение бежали бы прочь. Ксантиппа. Но откуда к нам этот пояс? Евлалия. Не нужно ни приворотов, ни заклинаний. Нет заклинания вернее, чем скромность в соединении с любезностью.

Ксантиппа. Я такому мужу угождать не могу! Евлалия. Но это от тебя зависит, чтобы он перестал быть «таким». Если бы волшебством Цирцеи ты могла превратить своего мужа в свинью или в медведя, ты бы превратила?

Ксантиппа. Не знаю.

Евлалия. Не знаешь? Ты что же, предпочитала бы иметь мужем свинью, а не человека?

Ксантиппа. Нет, разумеется, человека.

Евлалия. Ну, а если бы волшебством Цирцеи ты могла из пьяницы сделать трезвенника, из мота и кутилы — доброго хозяина, из размазни — проворного и внимательного, неужели б не сделала?

Ксантиппа. Конечно, сделала бы. Да только откуда ко мне это волшебство?

Евлалия. А оно в тебе самой — надо только пустить его в ход. Хочешь ты или не хочешь, он твой муж. Чем лучше ты его сделаешь, тем лучше позаботишься о самой себе. Ты глаз не сводишь с его недостатков, и это раздувает в тебе ненависть; ты ухватила его за ту рукоять, за которую держаться невозможно. А ты лучше гляди на то, что в нем хорошего, возмись за другую рукоять, за которую легко и удобно держаться. До свадьбы было время



раздумывать, какие у него изъяны: не только глазами следовало выбирать мужа, но и ушами. А теперь время не винить, но лечить.

Ксантиппа. Какая это женщина и в какие такие времена находила себе мужа ушами?

Евлалия. Глазами ищет та, кто смотрит только на красивую наружность, ушами — кто старательно замечает, что говорит об ее избраннике молва.

Ксантиппа. Славно ты внушаешь, но поздно.

Евлалия. Однако ж постараться исправить мужа — совсем не поздно. Этому много поможет, если ты родишь ему ребенка.

Ксантиппа. Уже родила.

Евлалия. Когда?

Ксантиппа. Да уж изрядно.

Евлалия. Сколько месяцев прошло?

Ксантиппа. Без малого семь.

Евлалия. Что я слышу?! Ты повторяешь шутку насчет трехмесячного потомства? <sup>177</sup>

Ксантиппа. И не думаю.

Евлалия. Но иначе быть не может! Сочти время со дня свадьбы.

Ксантиппа. А у меня был с ним разговор еще до свадьбы.

Евлалия. Разве от разговоров рождаются дети?

Ксантиппа. Он случайно застал меня одну, принялся со мною заигрывать, щекотать бока и под мышками. А я не выношу щекотки — захохотала, упала навзничь на постель, он навалился сверху и ну меня целовать! Что он там еще делал, я толком не знаю, но немного спустя начал пухнуть живот.

Евлалия. Поди-ка посмотри свысока на такого супруга. Если он играючи зачинает детишек, что ж будет, когда он возьмется за дело не на шутку?

Ксантиппа. Боюсь, что я опять беременна.

Евлалия. Прекрасно: тучному полю — добрый пахарь!

Ксантиппа. Да, тут он ретивее, чем хотелось бы.

Евлалия. Ну, эту твою жалобу немногие жены поддержат... Однако вы уже были помолвлены?

Ксантиппа. Были.

Евлалия. Тогда грех невелик. А кто родился? Мальчик?

Ксантиппа. Мальчик.

Евлалия. Он вас и примирит, если ты хоть сколько-нибудь пожелаешь приноровиться. Что говорят о твоём муже другие — приятели, деловые знакомцы?

Ксантиппа. Их послушать, так он самый покладистый из людей, обходительный, щедрый, дружелюбный.

Евлалия. И это тоже внушает надежду, что он будет таким, каким хочется нам.

Ксантиппа. Только со мною он не таков.

Евлалия. Сперва ты покажи ему себя в том виде, как я тебе сказала, и можешь после звать меня не Евлалией, а Псевдолалией-Пустобрешкой<sup>178</sup>, если он и с тобою не станет таким же, как с прочими. Прими в соображение и то, что он еще очень молод, — наверное, лет двадцати четырех, не более, — еще не понял, что это значит — быть отцом семейства. О разводе тебе уже и думать нечего.

---

<sup>177</sup> Эту шутку приводит Гай Светоний Транквилл в жизнеописании императора Клавдия. Бабка Клавдия, Ливия, вышла замуж за Октавиана Августа, будучи беременной, и уже через три месяца после свадьбы родила; тут же кто-то пустил стишок: Везучие родят на третьем месяце. «Божественный Клавдий», Перевод М. Гаспарова.

<sup>178</sup> Как очень часто у Эразма, имена героиням диалога выбраны со значением: Евлалия — по-гречески дословно «благоречивая», Ксантиппа — тезка супруги Сократа, на века прославившей себя сварливостью и дурным характером. Имя «Псевдолалия», если и его перевести дословно, означает «лжеречивая».

Ксантиппа. А я часто думала.

Евлалия. Если придут еще когда-нибудь тебе в голову такие раздумья, ты прежде всего вспомни, что женщина, расставшаяся с мужем, не стоит ровно ничего! Высшая честь и слава замужней женщины в том, чтобы быть покорной своему супругу. Так заведено самою природой. Так пожелал господь бог, — чтобы женщина во всем зависела от мужчины. Ты только размысли, как обстоит дело: он тебе муж, другого не будет. Затем вспомни про малыша — общее ваше дитя. Как ты с ним распорядишься? Возьмешь с собою — лишишь супруга законной собственности. Оставишь ему — отнимешь у себя самой самое дорогое достояние. И потом скажи мне: есть у тебя недоброжелатели?

Ксантиппа. Есть: мачеха, и еще свекровь, во всем похожая на мачеху.

Евлалия. Так ли уж сильно они тебя ненавидят?

Ксантиппа. В гробу рады бы меня увидеть!

Евлалия. И про них тоже вспомни. Чем ты сможешь обрадовать их сильнее, как если они узнают, что ты отторгнута от супруга, что ты вдова, нет, намного хуже вдовы! Ведь вдовам позволительно выйти замуж в другой раз.

Ксантиппа. Твой совет мне по душе, но долгие труды так противны!...

Евлалия. Но подумай, сколько трудов ты положила на этого попугая, прежде чем выучила его выговаривать несколько слов на человеческом языке!

Ксантиппа. Немало, конечно.

Евлалия. И тебе лень потрудиться ради супруга, чтобы после, до конца дней жить с ним душа в душу? Сколько хлопот стоит выездить норовистую лошадь! А нам лень похлопотать, чтобы смягчить нрав мужа?

Ксантиппа. Что же мне делать?

Евлалия. Я уже тебе сказала. Следи, чтобы дома все блестело, чтобы ничто не тяготило хозяина, не гнало его прочь, за порог. Будь с ним ласкова, предупредительна, всегда помни об уважении, которым жена обязана мужу. Долой унылость, но долой и развязность; не будь мямлею, но и озорницею не будь. Ты знаешь вкус мужа: что ему нравится всего больше, то и стряпай. И с теми, кого он любит, будь ласкова и приветлива. Почаще зови их к обеду, к ужину, и за столом пусть царит радость и довольство. И, наконец, если он, подвыпив и развеселившись, примется брэнчать на своей лютне, ты подпевай. Так ты приучишь мужа сидеть дома, а заодно и расходы его уменьшишь. Он скажет себе: «Какой я безумец, что живу с продажною девкой, не щадя ни денег, ни своего доброго имени, меж тем как дома жена, которая и не в пример милее, и преданнее, и принимает моих гостей гораздо пристойнее и изысканнее!»

Ксантиппа. Ты думаешь, что-нибудь получится, если я попробую?

Евлалия. Погляди на меня. Твердо тебе обещаю. А тем временем я потолкую и с твоим мужем — напомним и ему об его обязанностях.

Ксантиппа. Очень хорошо! Только смотри, чтобы он ничего не заподозрил: он тогда небо с землею смешает!

Евлалия. Не бойся. Я так хитро поведу разговор, что он сам мне выложит, какие между вами нелады. А после этого я приступлю к нему по-своему — ласково да вкрадчиво и, надеюсь, верну тебе помягчевшим. Про тебя ж при случае солгу — с какою, дескать, любовью ты о нем говоришь.

Ксантиппа. Помогай нам Христос!

Евлалия. Христос поможет — лишь бы ты сама себе не вредила.

## Солдат и картезианец



Солдат. Здравствуй, брат!

Картезианец. Здравствуй и ты, дорогой брат! Солдат. Насилу тебя узнал.

Картезианец. Неужели за два года я так постарел?

Солдат. Нет, но с бритой головой и в другом платье ты выглядишь как-то совсем по-новому. Ты словно животное иной породы.

Картезианец. Так ты и собственную жену не признал бы, если б она встретилась тебе, одевшись по-иному?

Солдат. Если бы настолько по-иному — нет.

Картезианец. А вот я так прекрасно тебя узнаю, хоть у тебя не только платье переменялось, но и лицо, и все обличье. Во сколько красок ты расписан? Такого пестрого оперения ни у одной птицы не сыщешь. И потом — как все изрезано, издырявлено<sup>179</sup>! Что за вызов и обычаю, и самой природе! Прибавь к этому стриженую макушку и небритую бороду, да еще усы торчат, как у кота. А лицо-то — все в шрамах, точно ты клейменный самосец из поговорки<sup>180</sup>.

Солдат. Так всегда возвращаются с войны. Но скажи мне, пожалуйста, у вас здесь врачи хорошие перевелись, что ли?

Картезианец. Нет, отчего ж...

Солдат. Да оттого, что ты не нашел у кого вылечить больную голову, прежде чем ввергнуть себя в это рабство.

Картезианец. Тебе кажется, будто я совсем сошел сума?

Солдат. Окончательно и бесповоротно! Что за необходимость припала хоронить себя здесь раньше срока, когда было на что и в мире жить приятно и с удобством?

Картезианец. А теперь, по-твоему, я в мире не живу?

Солдат. Нет, клянусь Юпитером!

Картезианец. Почему, объясни.

Солдат. Потому что тебе нельзя идти куда вздумается. Ты заперт здесь, точно в клетке. К этому прибавь тонзуру, нелепую одежду, одиночество, бесконечную рыбу к столу — удивительно, как ты сам еще не обратился в рыбу!

<sup>179</sup> Над модными в те времена прорезями на платье Эразм в «Разговорах» потешается неоднократно.

<sup>180</sup> На протяжении всей древней истории острова Самос его обитатели много раз вели войны с афинянами, и оба народа так ненавидели друг друга, что пленных клеймили раскаленным железом. Эти уродующие и позорные клейма вошли в поговорку.

Картезианец. Если бы люди обращались в то, чем они питаются, ты бы уже давно был свиньей: ведь ты так любишь полакомиться свининкой.

Солдат. Не сомневаюсь, что ты уже раскаиваешься. Не многих я знаю монахов, которые не раскаялись бы в своем выборе.

Картезианец. Это бывает с теми, кто бросается в монашескую жизнь, будто в колодец падает. А я спустился постепенно и вполне умышленно, узнав сначала самого себя и во всех подробностях разглядев здешний образ жизни. Ведь мне уже двадцать восемь, к этим годам человек способен быть с собою знаком. Что касается места, так и ты тоже заперт в тесноте, если подумать, как громаден мир в целом. Тесно ли, просторно ли — не это важно; важно, чтобы не было ущерба житейским удобствам. Многие редко, а то и вовсе никогда не покидают города, где родились; но если бы вдруг им запретили выезжать за его пределы, они страшно досадовали бы на самих себя — зачем не ездили прежде! — и прониклись бы нестерпимым желанием расстаться с отечеством. Это чувство всеобщее, но я его лишен. Я представляю себе, будто здесь передо мною целый мир, а эта карта и правда являет взору всю землю, и в своем воображении я путешествую и приятнее и безопаснее тех, кто плавает к неведомым островам.

Солдат. Тут ты, пожалуй, прав.

Картезианец. Хулить бритую голову ты не можешь — ты ведь и сам коротко стрижешься, наверное, ради удобства. Бритье же, во всяком случае, делает голову чище, а пожалуй, и здоровее. Знаешь, сколько знатных господ в Венеции бреют голову целиком? А что нелепого в моем платье? Разве оно не прикрывает тела? Платье служит двойную службу — защищает от холода или зноя и прячет то, что велит прятать стыд. Разве моя одежда не исполняет обоих этих назначений? Или тебя изумляет ее цвет? Но какой цвет более приличествует любому из христиан, нежели тот, что всем дарован в обряде крещения? Да, да — было и тебе сказано: «Облекись в одеяние, белое как снег»<sup>181</sup>. Стало быть, это платье напоминает мне про обещание, которое я дал при крещении: всегда хранить чистоту сердца.

Далее, если одиночеством ты зовешь бегство от толпы, так пример подаем не мы, а древние пророки и даже языческие философы и вообще все, кто дорожил силой и ясностью духа. Скажу больше: поэты, астрологи и прочие, посвятившие себя подобным занятиям, когда задумают что-либо великое и необычайное, всегда ищут уединения. Почему, однако ж, ты толкуешь об одиночестве? Даже беседа с одним другом разгоняет тоску одиночества, а здесь у меня множество товарищей, и у нас всё сообща. Вдобавок и старые приятели навещают, и даже слишком часто. И тебе кажется, будто я живу в одиночестве, в пустыне?

Солдат. Но поговорить с ними можно не всегда.

Картезианец. Не всегда это и на пользу. И беседы тем приятнее, что долгие перерывы умножают удовольствие.

Солдат. Недурно подмечено. Мне тоже мясо особенно по вкусу на Пасху, после Великого поста.

Картезианец. Но и тогда, когда я вроде бы остаюсь в полном одиночестве, со мною собеседники куда более приятные, чем дружки по хмельному застолью.

Солдат. Где же они?

Картезианец. Видишь Евангелие? Из этой книги со мною беседует тот, кто некогда был красноречивым спутником двоим ученикам<sup>182</sup>, которые шли в Эммаус, и, впивая медвяные его речи, не усталость они испытывали, а лишь несказанно сладостный жар сердца. Из этой

---

<sup>181</sup> Эта деталь в чинопоследовании крещения ведет свое начало от обычаев древней церкви, когда крестили преимущественно взрослых и вновь окрещенного облекали в белое льняное платье, которое на Западе носили восемь дней, а на Востоке сохраняли до смерти, надевая лишь по самым торжественным случаям.

<sup>182</sup> В «Евангелии от Луки», XXIV, 13—27, рассказывается о том, как после распятия воскресения Иисуса двое его приверженцев шли из Иерусалима в селение Эммаус и по дороге к ним присоединился Христос и беседовал с ними, оставаясь неузнанным.

книги со мною говорит Павел, из этой — Исайя и остальные пророки. Вот обращается ко мне несравненный Златоуст, вот — Василий<sup>183</sup>, вот — Августин<sup>184</sup>, вот — Иероним, вот — Киприан и прочие наставники; их ученость не уступает силе слова, а сила слова — учености. Знаешь ли ты собеседников, которых можно было бы сравнить с ними? И полагаешь ли ты, что в такое общество — а оно со мною всегда — может вкрасться скука одиночества?

Солдат. Мне бы они ничего сказать не сумели — я бы не понял.

Картезианец. А что за важность, чем питается это брренное тело? Живи мы в согласии с природою, оно бы довольствовалось самым малым. Твоя еда — перепелки, фазаны да каплуны, я живу одной рыбою<sup>185</sup>, а кто из нас двоих плотнее?

Солдат. Тебе бы жену, как у меня, — поубавилось бы и сока и силы.

Картезианец. Верно: еще и поэтому с меня хватает любой пищи, даже самой скудной.

Солдат. Но выходит, что ты живешь на иудейский лад!

Картезианец. Ничего подобного! Мы если и не живем, то уж, во всяком случае, стараемся жить по-христиански.

Солдат. Как же — вы уповаете на одежду, на пищу, на всякие там молитвы и прочие обряды, а евангельским благочестием пренебрегаете!

Картезианец. Что делают иные, не мне судить, я же всему этому нимало не доверяюсь и цены не придаю почти никакой. Все свои упования я полагаю в чистоте души и во Христе.

Солдат. А тогда зачем соблюдаешь, раз не ценишь?

Картезианец. Чтобы хранить мир со своими братьями и никого из них не обидеть. Я бы никому не хотел нанести обиду из-за мелочей, которые ничего не стоит исполнить. Мы все-таки люди, в какое бы платье ни были одеты, а потому согласие или несогласие в самых ничтожных вещах утверждает или, наоборот, разрушает наше единомыслие. Бритая голова или цвет платья сами по себе не приближают меня к богу. Но что бы сказали люди, если б я отрастил кудри или надел такое платье, как у тебя?

Свое решение я тебе объяснил, теперь и ты, пожалуйста, объясни мне свое, и не забудь рассказать, куда подевались все дельные врачи, когда ты, бросив дома детей и молодую жену, отправлялся на военную службу, когда за ничтожное жалование нанялся убивать людей, да еще и с опасностью для собственной жизни! В самом деле, не с грибами и не с маковыми головками шел ты сражаться, а с вооруженными бойцами. Как ты думаешь, что злополучнее — погубить за плату христианина, который не причинил тебе никакого зла, или всего себя, и тело, и душу разом, обречь на вечную гибель?

Солдат. Убивать врагов не грешно.

Картезианец. Быть может, и так, если они нападают на твое отечество. Тогда, может быть, и благочестиво — биться за детей своих и супругу, за родителей и друзей, за алтари и очаги, за спокойствие всех сограждан. Но к твоему наемничеству это никакого отношения не имеет. Если бы тебя убили на войне, я бы и гнилого ореха не дал за твою душу.

Солдат. Не дал бы?

Картезианец. Не дал, Христос мне свидетель! Что, по-твоему, тяжелее, повиноваться достойному мужу (мы зовем его приором), который кличет нас на молитву, либо послушать Святое писание или спасительные наставления, либо воспеть хвалу богу, или же быть в подчинении у какого-нибудь варвара сотника, который чуть не всякую ночь гонит тебя в долгий поход, куда заблагорассудит, который ставит тебя под ядра бомбард и запрещает

---

<sup>183</sup> Василий, по прозвищу Великий (329—370), — один из святых и Отцов восточной церкви, великий богослов и проповедник, талантливый писатель.

<sup>184</sup> Августин — Аврелий Августин, епископ города Гиппона в Северной Африке (354—438 гг.), крупнейший писатель христианского Запада, святой и Отец западной церкви. Его многочисленные сочинения касались самых различных вопросов — от богословия до воспитания и музыки.

<sup>185</sup> Картезианский устав категорически и безусловно запрещал мясную пищу.

трогаться с места, покуда ты жив или покуда жив неприятель?

Солдат. Ты еще не все беды перечислил. Картезианец. Если я нарушу устав моего ордена, карою мне будет внушение или какое-нибудь другое легкое наказание. Тебе же, если ты хоть в чем-нибудь провинишься против воинских уставов, тебе — болтаться на виселице или идти сквозь строй; потерять в этом случае голову на плахе — великая удача!

Солдат. С правдою спорить не могу.

Картезианец. А твой наряд свидетельствует, что не слишком-то много денег несешь ты домой.

Солдат. Денег у меня давно ни гроша, зато долгов — не счесть. Я для того и завернул к тебе, чтобы попросить на дорогу.

Картезианец. Лучше б ты завернул ко мне, когда торопился на свою преступную службу! Но откуда такая нужда?

Солдат. Откуда, спрашиваешь? Все жалование, все, что удалось набрать грабительством, святотатством или простою кражею, — все ушло на пьянство, на девок да на игру в кости.

Картезианец. Ах ты несчастный! А тем временем жена, ради которой господь приказывает оставить отца и мать, горевала дома, брошенная с малыми детьми! И тебе еще казалось, что ты наслаждаешься жизнью, — посреди таких бедствий, таких злодеяний?!

Солдат. Меня то вводило в заблуждение, что рядом со мною чинили зло бесчисленное множество других. Я уже сам не понимал, что творю.

Картезианец. Боюсь, что жена тебя не узнает.

Солдат. Как так?

Картезианец. Лицо у тебя совсем другое. Из-за рубцов. Вот, на лбу, — что за рытвина? Можно подумать, будто у тебя рог вырезали.

Солдат. Знал бы ты, как было дело, ты бы меня еще поздравил с этим рубцом.

Картезианец. Почему?

Солдат. Потому что я был на волосок от смерти.

Картезианец. Что ж такого стряслось?

Солдат. Кто-то натягивал арбалет, а стальной лук лопнул, и осколок угодил мне в лоб.

Картезианец. И на щеке у тебя шрам чуть не в целую пядь.

Солдат. Эту рану я получил в схватке.

Картезианец. На поле сражения?

Солдат. Нет, за костями повздорили.

Картезианец. А на подбородке что за украшения?

Солдат. Это так, ничего.

Картезианец. Не испанскою ли чесоткою ты заразился? 186

Солдат. Да, брат, угадал. Уж в третий раз болею, чуть не помер.

Картезианец. А эта напасть откуда — что ходишь согнувшись, будто старик девяностолетний, или какой-нибудь жнец, или будто тебе дубиною поясницу переломили?

Солдат. Так жилы свело проклятою хворью.

Картезианец. Славное случилось с тобою превращение, ничего не скажешь. Раньше был ты конник, теперь из центавра обратился в полупресмыкающееся.

Солдат. Таковы проказы Марса.

Картезианец. Нет, таково твое безумие! И какую ж добычу принесешь ты домой жене и детям? Проказу? Конечно, эта чесотка не иное что-нибудь, а проказа особого рода. Особенность в том, что от нее трудно уберечься: очень уж многие болеют, и все больше знать. Но по этой самой причине и следовало остерегаться с удвоенною зоркостью. А теперь ты наделишь этой мерзостью тех, кто должен быть тебе дороже всего в жизни. И сам до

---

186 Испанской чесоткой (или паршой) Эразм называет сифилис, который был тогда новою, еще почти неизвестною болезнью и носил эпидемический характер.

конца дней будешь таскать повсюду гнилой и зловонный труп!

Солдат. Пожалуйста, брат, перестань! И так худо — зачем еще браниться?

Картезианец. А ведь я назвал только малую толику твоих бед, только те, что затронули тело. А душу какую ты принес с войны? какой паршой она изъедена? сколькими ранами изъязвлена?

Солдат. Душа не чище сточной канавы в Париже на улице Мобер или отхожего места общего пользования.

Картезианец. Боюсь, что богу и ангелам его она покажется куда зловоннее!

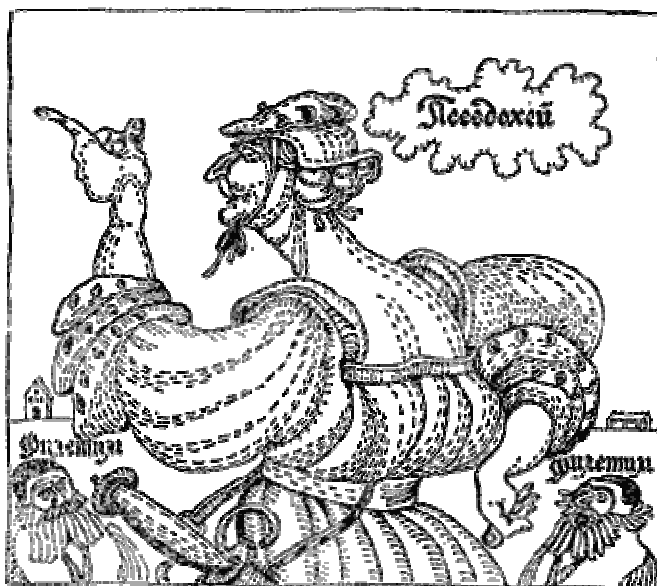
Солдат. Но уж полно ворчать. Скажи лучше, как будет с деньгами на дорогу.

Картезианец. У меня не из чего дать, узнаю, что решит приор.

Солдат. Но если он что уделит, ты держи руки наготове: ведь когда надо отсчитывать денежки, столько вдруг всяких препятствий появляется!

Картезианец. До других мне дела нет, а моим рукам ни принимай, ни давать не должно<sup>187</sup>. Впрочем, об этом — после завтрака, а сейчас пора к столу.

### Псевдохей и Филетим 188



Филетим. Откуда в тебе такая бездна лжи?

Псевдохей. Оттуда ж, откуда у паука нескончаемая нить.

Филетим. Стало быть, не от искусства, а от природы?

Псевдохей. От природы — семена, а искусство и опыт умножили запасы.

Филетим. И ты не стыдишься?

Псевдохей. Не более, чем кукушка своей песни.

Филетим. Но в твоих возможностях переменить песню! В конце концов, язык дан человеку на то, чтобы вещать правду.

Псевдохей. Нет, не правду, а пользу. Правду же говорить не всегда выгодно.

Филетим. Но иногда приносят выгоду и вороватые руки! А что этот порок — родич твоего, даже пословица подтверждает.

Псевдохей. И оба восходят к достойным творцам: обман — к Улиссу, столь громко

<sup>187</sup> Устав запрещал картезианцам прикасаться к деньгам.

<sup>188</sup> Псевдохей по-гречески — «сеятель лжи», Филетим — «любящий правду». Эразм испытывал чрезвычайное, почти что болезненное отвращение ко лжи и лгунам (см. диалог «Дружество», стр. 607—608).

воспетому Гомером, а воровство — даже к богу Меркурию, если верить поэтам<sup>189</sup>.

Филетим. Почему тогда люди проклинаят лжецов, а воров даже на кресте распинают?

Псевдохей. Не потому, что они обманывают или крадут, а за то, что крадут или обманывают неумело: либо несогласно с природою, либо недостаточно искусно.

Филетим. А есть ли у кого из писателей «Искусство лганья»?

Псевдохей. Многие из этого искусства изложено твоими любимыми риторками.

Филетим. Риторы излагают искусство красноречия.

Псевдохей. Верно. Но говорить красно — это во многом умело лгать.

Филетим. Что значит «умело лгать»?

Псевдохей. Ты хочешь услышать определение?

Филетим. Да.

Псевдохей. Лгать так, чтобы наживаться и никогда не попадаться.

Филетим. Но что ни день — многие попадают.

Псевдохей. Они не владеют искусством в совершенстве.

Филетим. А ты, значит, в совершенстве владеешь?

Псевдохей. Почти.

Филетим. Попробуй, сможешь ли провести меня. Псевдохей. Смог бы, почтеннейший, если б захотелось.

Филетим. Ну, скажи какую-нибудь ложь. Псевдохей. А я уж сказал. Ты не заметил?

Филетим. Нет. Псевдохей. Постарайся быть внимательней. Итак, начинаю лгать.

Филетим. Я весь внимание. Говори.

Псевдохей. Да я уж и во второй раз солгал, а ты опять не заметил.

Филетим. До сих пор я никакой лжи не слышал.

Псевдохей. Услыхал бы, если б владел искусством.

Филетим. Тогда покажи ты.

Псевдохей. Во-первых, я назвал тебя «почтеннейшим», а ты и «почтенным» называться не вправе, и уж во всяком случае — «почтеннейшим», потому что людей более достойных — бесчисленное множество.

Филетим. Да, тут ты меня провел.

Псевдохей. Может быть, вторую ложь откроешь: сам?

Филетим. Нет, едва ли.

Псевдохей. Нет у тебя к этому дарования, не то, что в других делах!

Филетим. Не спорю. Говори.

Псевдохей. Я сказал: «Итак, начинаю лгать», — разве это не блистательная ложь? Ведь я лгу беспрерывно уже столько лет и перед тем, как произнести эти слова, опять-таки солгал!

Филетим. Удивительный обман!

Псевдохей. Теперь ты предупрежден — так наостри уши, чтобы поймать лжеца.

Филетим. Навострил. Говори.

Псевдохей. Уже сказал, а ты повторил мою ложь.

Филетим. Ты меня уговоришь, что я и слеп и глух!

Псевдохей. Ежели у человека уши неподвижны, так что ни наострить их нельзя, ни опустить, — стало быть, я солгал.

Филетим. Такими обманами полна вся жизнь человеческая.

Псевдохей. Не только такими, мой милый. Это всего лишь забавы, а есть обманы, которые приносят доход.

Филетим. Выгода от обмана еще позорнее, чем прибыль от мочи<sup>190</sup>!

<sup>189</sup> В одном из так называемых «Гомеровых гимнов» (на самом деле они Гомеру не принадлежат), в гимне «К Гермесу», рассказано, как этот бог, который в Риме именовался Меркурием, едва родившись на свет, похитил коров Аполлона.



Псевдохей. Согласен. Но только для тех, кому неизвестно искусство лганья.

Филетим. Что же это за искусство?

Псевдохей. Несправедливо было бы учить тебя даром. Плати — и все услышишь.

Филетим. Дурных правил не покупаю.

Псевдохей. А свое имение задаром отдашь?

Филетим. Я еще с ума не спятил.

Псевдохей. А я со своего искусства снимаю жатву более верную, чем ты со своих полей.

Филетим. Хорошо, пусть оно остается при тебе. Ты только приведи пример, чтобы мне понять, не попусту ли ты хвастаешься.

Псевдохей. Пожалуйста, вот тебе пример. Я веду многочисленные дела со многими людьми: покупаю, продаю, ручаюсь, беру займы, ссужаю под залог. Филетим. А потом?

Псевдохей. А потом подавливаю тех, кому меня не изобличить.

Филетим. Кого же?

Псевдохей. Тупиц, забывчивых, безрассудных, отсутствующих, мертвых.

Филетим. Что правда, то правда: мертвый никого во лжи не уличит.

Псевдохей. Если что продаю в долг, всегда делаю пометки в счетных книгах. Филетим. И после что?

Псевдохей. Когда приходит срок платежа, требую с покупателя больше, чем он получил. Если он человек опрометчивый или беспамятный, это верная прибыль.

Филетим. А если тебя изобличают? Псевдохей. Достāju счетную книгу. Филетим. А если он докажет, что не получал того, что ты требуешь?

Псевдохей. Возражаю, сколько могу. В моем искусстве от стыда и застенчивости один вред. И наконец, последнее прибежище — какая-нибудь выдумка. Филетим. А если ты изобличен бесповоротно?

Псевдохей. Ничего страшного: слуга, дескать, ошибся или сам запомнил. Разумно смешивать счета в беспорядке — тогда легче обманывать. К примеру, одни счета оплачены и закрыты, другие — нет, а я все вперемешку заношу на последующие листы, где вообще нет отметок об уплате. Когда подводим счета, спорим отчаянно, и по большей части верх одерживаю я, хотя бы и ценой ложной клятвы. Есть еще такой способ: рассчитываться с человеком, когда он собрался в дорогу и дела вести не готов. А я всегда готов. Оставят мне что для передачи — я схороню у себя и не отдаю. Сколько еще пройдет, пока получатель узнает, а тогда, если вовсе отпереться нельзя, я утверждаю, будто у меня все пропало или будто я все давно послал по назначению, и сваливаю вину на возчиков. Наконец, если все-таки пи могу не возратить, возвращаю, но не полностью.

Филетим. Поистине, прекрасное искусство!

Псевдохей. Нередко, если удается, взыскиваю один долг дважды: сперва дома, после в чужом месте — я везде поспеваю. Время бежит, память слабеет, счета запутываются, кто умирает, кто уезжает далеко и надолго, и если даже, в конце концов, все обернется самым неблагоприятным образом, я покамест пользуюсь чужими деньгами. Кое-кого я улавливаю в сети притворной щедростью, и всегда на чужие средства: из собственных денег я бы и родной матери не дал ни полушки. В каждом из случаев прибыль, может быть, и невелика, зато случаев много (я ведь тебе сказал, что веду много дел сразу), вот и набирается изрядных размеров гряда. Далее, у меня есть множество приемов, чтобы не попасться, а главный из них вот какой: я никогда не упускаю случая перехватить чужое письмо, распечатать; и прочесть. Если заподозрю, что оно способно мне повредить, оставляю у себя, а если и отправлю дальше, так только тогда, когда сам сочту нужным. Кроме того, своею ложью сею вражду меж людьми, которых разделяют большие расстояния.

Филетим. А от этого какая тебе польза?

---

190 Намек на знаменитый исторический анекдот о римском императоре Веспасиане, обложившем налогом отхожие места и в ответ на укоры отвечавшем, что деньги не пахнут и что у любого барыша запах приятный.

Псевдохей. Двойная. Во-первых, если обещание, которое я дал от чужого имени (и от этого же имени принял вознаграждение), остается неисполненным, — а я часто, как говорится, торгую дымом, и за хорошую цену вдобавок, — я изображу все в таком виде, будто виноват другой или третий.

Филетим. А если он будет отрицать?

Псевдохей. Да ведь он далеко, допустим в Базеле, а я дал обещание в Англии<sup>191</sup>; оттого и получается, что стоит вспыхнуть вражде — и ни один из двух другому не поверит, если возникнут обвинения против меня.

Ну, как тебе пример моего искусства?

Филетим. Да как тебе сказать? Мы, непосвященные и привычные называть смокву смоквой, а лодку лодкой, зовем это искусство воровством.

Псевдохей. Сразу видно человека, не смыслящего в гражданском праве! Разве можно вчинять иск в краже тому, кто утаил отданное на сохранение, клятвенно отпирался от долга или совершил иной обман сходными средствами?

Филетим. Надо бы!

Псевдохей. Ну, так оцени по достоинству мудрость моего искусства. Доход от него большой, а риск невелик.

Филетим. Будь ты неладен со своими приемами, средствами и обманами! Язык не поворачивается вымолвить «будь здоров».

Псевдохей. А ты лопни с досады со своим правдолюбием. Я ж тем временем — с моими кражами и надувательством — буду жить припеваючи попечением Улисса и Меркурия!

## Кораблекрушение



Антоний. Адольф

<sup>191</sup> Эразм в одном из писем прямо сообщает, что прототипом Псевдохея ему послужил некий Франц Беркман, уроженец Кельна, торговавший книгами в Антверпене. Он часто выступал посредником между авторами и печатниками, обманывая и тех и других. В 1512 г., находясь в Англии, он пытался выманить у Эразма рукопись, предназначенную для парижского издателя Бадиуса, чтобы выгодно ее перепродать, а еще год спустя перехватил выправленный и дополненный экземпляр «Пословиц» («Адагий»), которые должны были выйти в свет у того же Бадиуса, и отвез в Базель типографу Иоганну Фробену.

Антоний. Какой ужас! Это и значит «плавать по морю»? Не дай боже, чтобы мне когда-нибудь пришла на ум такая затея!

Адольф. Все, что я успел тебе рассказать, — это пустяк, забава против того, что ты услышишь дальше.

Антоний. Я и так наслушался ужасов более чем довольно! Ты вспоминаешь, а у меня волосы дыбом встают, будто я сам в опасности.

Адольф. А мне — так даже приятны эти муки, оставшиеся позади... В ту же ночь произошло событие, которое сильно поколебало надежды хозяина на спасение.

Антоний. И что же именно?

Адольф. Ночь была не совсем черная, и на вершине мачты, в «вороньем гнезде», — так это, по-моему, у них зовется, — стоял кто-то из матросов; он озирался кругом, высматривая землю. Вдруг подле него появился огненный шар. Для моряков нет знамения печальнее, чем ежели огонь одиночный; а когда их пара — это добрый знак. В древности верили, будто это Кастор и Поллукс<sup>192</sup>.

Антоний. Что им до моряков? Ведь один был конником, а другой кулачным бойцом.

Адольф. Так заблагорассудили поэты. Хозяин, который сидел у руля, крикнул: «Эй, товарищ (моряки друг к другу иначе не обращаются), видишь, какой у тебя сосед?» — «Вижу, — отвечает тот, — и молю бога, чтобы он послал нам удачу». Скоро огненный клубок соскользнул по снастям вниз и подкатился к хозяину.

Антоний. Он поди обмер со страху?

Адольф. Моряки привычны к чудесам. Тут шар помедлил, потом обежал вдоль борта весь корабль, потом посреди палубы рассыпался и исчез. К полудню непогода стала крепчать. Ты когда-нибудь видел Альпы?

Антоний. Видел.

Адольф. Ну, так те горы — жалкие бугорки против морских волн. Всякий раз, как мы взбирались на гребень, казалось, можно бы луны коснуться рукою, а как съезжаем вниз — так словно бы земля разверзлась и мы несемся прямо в Тартар!

Антоний. Ох, эти безумцы, которые доверяются морю!

Адольф. Моряки пытались бороться с бурей, но безуспешно, и в конце концов хозяин, весь бледный, приблизился к нам.

Антоний. Эта бледность — предвестник большого несчастья.

Адольф. «Друзья, — сказал он, — я больше не господин своему судну. Победил ветер. Теперь возложим всю надежду на бога, и пусть каждый готовится к самому худшему».

Антоний. Поистине скифская проповедь. <sup>193</sup>

Адольф. «Первым делом, однако же, — продолжал он, — нужно разгрузить судно. У нужды рука тяжелая. Лучше потерять добро и спасти жизнь, чем погибнуть вместе с добром». Истина живо убеждает: мигом полетели за борт бочки и тюки с дорогими товарами.

Антоний. Почти как в пословице: бросать добро на ветер.

Адольф. Да. С тою лишь разницей, что мы бросали в море. Был среди нас один итальянец; он исполнял должность посла при короле Шотландии. Этот человек вез с собою сундук, полный серебряной посуды, перстней, сукна и шелковой одежды.

Антоний. И он отказывался вступать в сделку с морем?

Адольф. Вот именно. Он желал либо утонуть вместе со своими любимыми

---

<sup>192</sup> Кастор и Поллукс — близнецы Диоскуры, то есть «сыновья Зевса». Несмотря на такое прозвание, миф утверждал, что от Зевса Леда родила только Поллукса (Полидевка), а Кастор — сын смертного ее супруга, Тиндарея, царя Спарты. У древних Диоскуры считались покровителями мореплавателей.

<sup>193</sup> Слово «скиф» для греков и римлян было синонимом варварской суровости и грубости.

сокровищами, либо уцелеть вместе с ними.

Антоний. И что же хозяин судна?

Адольф. «Будь ты один, — объявил он, — так и погибай себе на здоровье вместе со своим имуществом. Но несправедливо, чтобы ради твоего сундука мы все рисковали жизнью. Не согласен — пойдешь на дно вместе с сундуком».

Антоний. Речь истинно корабельная!

Адольф. Коротко говоря, итальянец последовал общему примеру, проклиная всех богов подряд, за то что доверил свою жизнь столь варварской стихии.

Антоний. Узнаю голос итальянца!

Адольф. Немного спустя ветер, нисколько не тронутый нашими дарами, оборвал канаты и в ключья изорвал паруса.

Антоний. Ох, беда!

Адольф. Тут снова подходит к нам хозяин.

Антоний. Опять с проповедью?

Адольф. Нет, с приветствием. «Друзья, — сказал он, — время велит, чтобы каждый поручил себя богу и приготовился к смерти». Какие-то люди, недурно знакомые с мореходным делом, спросили, сколько часов, по его мнению, можем мы еще продержаться, и он отвечал, что обещать не может ничего, а уж более трех часов ни при каких условиях не обещает.

Антоний. Эта проповедь еще суровее первой.

Адольф. Закончив разговор с нами, он приказывает рубить все канаты, а мачту спилить у самого гнезда, в которое она вставлена, и вместе с реями сбросить в воду.

Антоний. Зачем?

Адольф. Затем, что с разодранными парусами или вовсе без парусов она была для судна только обузой; единственной надеждою оставался руль.

Антоний. А что тем временем люди на борту? Адольф. Жалостное открылось бы тебе зрелище. Моряки пели «Царицу небесную» и умоляли Приснодеву о помощи, называя ее Звездой над морем, Владычицею небес, Госпожою мира, Вратами спасения и многими иными льстивыми именами, которых Святое писание нигде к Богородице не прилагает.

Антоний. Но что общего у Богородицы Приснодевы с морем? Она, я думаю, никогда и на корабль-то не всходила!

Адольф. В древности о морях заботилась Венера: верили, будто она родилась из моря. А когда ее заботам настал конец, Девственная мать заняла место матери, но не девы.

Антоний. Ты еще шутишь!

Адольф. Некоторые, распростершись на палубе, молились морю, лили на волны масло, ублажали стихию лестью, будто разгневанного государя. Антоний. Что же они говорили? Адольф. Что говорили? «Море милосерднейшее! море прекраснейшее! утихни! пощади!» Много подобных слов выкрикивали они глухому морю.

Антоний. Смехотворное суеверие! А остальные что? Адольф. Иные только блевали без передышки, а большинство произносили разные обеты. Был на борту один англичанин, который сулил золотые горы святой Деве Уолсингэмской<sup>194</sup>, если выйдет на берег живым. Одни давали щедрые обещания древу Креста, что хранится в таком-то месте, другие — что в таком-то. То же самое — и Марии Деве, что правит в различных местах: многие считают обет недействительным, если не указано место.

Антоний. Смешно! Как будто святые обитают не в небесах!

Адольф. Были такие, что обещали вступить в картезианский орден. Кто-то клялся отправиться к святому Иакову, что в Компостелле, босиком, с непокрытою головой, в одной кольчуге на голом теле, да еще и питаться по дороге одним подаянием.

Антоний. Неужели никто не вспомнил о святом Христофоре?

<sup>194</sup> О храме Богородицы в Уолсингэме рассказано подробно в диалоге «#928;аломничество».

Адольф. Христофору — тому, что стоит в Париже, в главном храме, не статуя, а настоящая гора, — кто-то громким голосом (наверное, чтобы святой не прослушал) обещал восковую свечу вышиной с эту самую статую. Когда он, напрягаясь что было сил, прокричал свое обещание во второй и в третий раз, кто-то из знакомцев, по случайности оказавшийся рядом, тронул его за локоть и промолвил: «Опомнись! Что ты делаешь? Даже если ты пустишь с торгов все имущество, тебе не расплатиться!» Тогда тот, уже много тише (на сей раз — чтобы до ушей святого не дошло): «Замолчи, дурак! Неужели ты поверил, что это я от чистого сердца? Дай только выбраться на сушу — он у меня и сального огарка не увидит!» Я слушал и не мог удержаться от смеха.

Антоний. Ах, болван! Наверно, голландец?

Адольф. Нет, зelandец.

Антоний. Удивительно, что никому не пришел на память апостол Павел, который сам плывал по морю, терпел кораблекрушение и добрался до берега невредим<sup>195</sup>. «Ведая беды и сам»<sup>196</sup>, он, конечно, умеет «приходить на помощь несчастным».

Адольф. К Павлу не взывал никто.

Антоний. А молились?

Адольф. Наперебой! Один тянет «Царицу небесную», другой «Верую». А некоторые бубнили какие-то особенные молитвы, похожие на заклинания.

Антоний. Как горе постоянно обращает нас к благочестию! Покуда всё ладно, мы и не вспоминаем ни о боге, ни о ком из святых... Ну, а ты что? Тоже давал обеты?

Адольф. Нет, никому.

Антоний. Почему?

Адольф. Я не заключаю сделок со святыми. И правда, что такое эти обеты, как не соглашение на твердых условиях: «дам, если сделаешь» или «сделаю, если сделаешь»? «Дам восковую свечу, если выплыву». «Отправлюсь в Рим, если ты меня спасешь».

Антоний. Но ты просил какого-нибудь святого о защите?

Адольф. Тоже нет.

Антоний. Но отчего же?

Адольф. Небо слишком просторно. Если б я поручил себя кому из святых, скажем, святому Петру, — он, пожалуй, первый услышит, потому что стоит у ворот, — не успел бы он дойти до бога и объяснить ему, в чем моя просьба, как я бы уж и погиб.

Антоний. Ну, хорошо, что ты все-таки делал?

Адольф. Я обратился прямо к Отцу, со словами: «Отче наш, иже еси на небесех». Ни один святой не услышит скорее и не дарует охотнее.

Антоний. А нечистая совесть тебя не останавливала? Ты не боялся взывать к Отцу, которого столько раз оскорблял своими прегрешениями?

Адольф. По правде говоря, мне было очень страшно и очень совестно. Но я ободрился и воспрянул духом, сказав себе так: «Нет отца, настолько гневного, чтобы, видя, как сын тонет в бурном потоке или в озере, не схватил его за волосы и не вытащил на берег». Спокойнее всех, впрочем, вела себя какая-то женщина, кормившая ребенка грудью.

Антоний. И что она?

Адольф. Она одна не вопила, не рыдала, не обещала; она только молилась про себя, прижавши к груди младенца. Судно часто било о камни, и хозяин, опасаясь, как бы оно вдруг не развалилось, распорядился опоясать канатами нос и корму.

---

<sup>195</sup> Римский наместник в Палестине Фест отправил Павла под стражею в Рим, на суд к императору. Невдалеке от Мальты судно пошло ко дну, но все, кто на нем находился, остались живы. Описание бури из «Деяний святых апостолов» (гл. XXVII), один из лучших эпизодов во всей этой новозаветной книге, до известной степени послужило литературным прототипом Эразмову диалогу. Так, отсюда заимствовано упомянутое несколько ниже обвязывание носа и кормы канатом.

<sup>196</sup> Слегка перефразированный стих из «Энеиды», I, 630.

Антоний. Жалкая защита.

Адольф. Тут поднимается старик священник, лет примерно шестидесяти; звали его Адам. Он сбрасывает с себя платье, сбрасывает даже башмаки и чулки и, оставшись в одной сорочке, велит, чтобы и мы все последовали его примеру и готовились плыть. И, стоя посреди судна, принимается проповедовать нам из Жерсона<sup>197</sup> — пять истин о пользе исповеди, — и убеждает всех и каждого не отчаиваться в спасении, но и смерти не страшиться. Был тут и монах-доминиканец; они вдвоем исповедали всех, кто желал.

Антоний. А ты исповедался?

Адольф. Я, видя, что все полно смятения, исповедался про себя богу, проклял перед ним свои грехи и молил о милосердии.

Антоний. И куда думал попасть в случае гибели?

Адольф. Быть судьей над самим собой я отказался и судить предоставил богу. Но все-таки в душе надеялся а лучшее. Пока это происходит, возвращается к нам хозяин, весь в слезах. «Приготовьтесь! — говорит он. — Еще четверть часа — и судно нам больше не защита». В днище было уже несколько пробоин, в трюм хлынула вода. Немного спустя — новое сообщение: хозяин разглядел вдали колокольню и призывал, чтобы мы молили о помощи святого покровителя этого храма, кто бы он ни был. Все падают ниц и молятся неведомому святому.

Антоний. Если бы вы обратились к нему по имени, может, он бы и услышал.

Адольф. Имени никто не знал. Тем временем хозяин, сколько возможно, держит курс на ту же колокольню. Судно уже разбито, уже глотает воду во многих местах сразу и, наверно, уже рассыпалось бы, если б не канаты, которые его опоясали.

Антоний. Грозное положение.

Адольф. Мы подошли к суше так близко, что нас заметили. Тамошние обитатели толпами высыпали на берег, к самой полосе прибоя, и, размахивая шапками и куртками, вздетыми на длинные шесты, приглашали нас к себе. Они простирали руки к небу и потрясали ими, показывая, что оплакивают нашу участь.

Антоний. Я с нетерпением жду, чем это кончится!

Адольф. Море захватило уже весь корабль, и теперь что на палубе, что за бортом — опасность была одинаковая.

Антоний. Осталась, как говорится, последняя надежда.

Адольф. Скажи лучше: последний час настал. Моряки вычерпывают воду из лодки и спускают ее за борт. В нее хотят попасть все, но моряки, среди страшного замешательства, кричат, что лодка такого множества людей не вместит и чтобы каждый хватал любую деревяшку, какая попадется, и плыл. Времени на размышления нет. Кто хватает весло, кто багор, кто бочонок, кто лохань, кто доску, и каждый, полагаясь на собственные силы, бросается в волны.

Антоний. А что происходит с тою женщиной, которая одна не вопила?

Адольф. Она самая первая добралась до берега.

Антоний. Как же она сумела?

Адольф. Мы посадили ее на изогнутую доску, привязали покрепче, чтобы не свалилась, и дали в руки дощечку, вместо весла, а потом, пожелав ей удачи, бережно опустили на воду и оттолкнули багром подальше от корабля и от опасности.левой рукой она держала младенца, правую гребла.

Антоний. Какое мужество в женщине!

Адольф. Под рукою не было уже ничего пригодного, и тогда кто-то сорвал с цоколя деревянное изображение Богородицы, прогнившее, источенное мышами, обнял его и пустился вплавь.

---

<sup>197</sup> Жан Шарлье из Жерсона (на северо-востоке Франции) (1363—1429), знаменитый богослов, государственный и церковный деятель, человек удивительного благородства и мужества. Его взгляды были во многом близки Эразму, но латынь Жерсона по справедливости казалась ему варварской.

Антоний. Лодка добралась благополучно?

Адольф. Наоборот — утонула первой. А в ней было тридцать человек.

Антоний. Что за беда приключилась?

Адольф. Лодка не успела даже отчалить, как была опрокинута качкою судна.

Антоний. Ох, горе! Ну, а потом?

Адольф. Помогая другим, я чуть было сам не погиб.

Антоний. Каким образом?

Адольф. Ничего плавучего не осталось на мою долю.

Антоний. Вам бы туда пробковой коры.

Адольф. Да, в тех обстоятельствах я предпочел бы грошовую пробку золотому подсвечнику... Я озирался в растерянности и вдруг вспомнил про нижнюю часть мачты, ту, что осталась в гнезде. Вытащить ее один я не мог и кликнул кого-то на помощь. Вдвоем мы вцепились в этот обрубок и поплыли. Я держался за правый край, он за левый. Вдруг на плечи нам взбирается тот священник, что читал проповедь посреди палубы; а был он человек дородный и громадного роста. Мы в ужасе восклицаем: «Кто там третий? Он утопит и себя и нас!» А тот спокойно возражает: «Не бойтесь, места на всех хватит. Бог нам поможет».

Антоний. Почему он так долго не покидал судна?

Адольф. Он должен был сесть в лодку, так же как доминиканец (все уступили это право им), но, хотя они уже исповедались один другому, что-то, по-видимому, упустили и принялись снова исповедоваться, стоя у борта; возлагают они друг другу руки на голову, а лодка тем временем переворачивается. Это рассказал мне Адам.

Антоний. А что произошло с доминиканцем?

Адольф. Он, как рассказывал тот же Адам, воззвал к помощи святых, потом разделся догола и — в воду.

Антоний. Кого из святых он призывал?

Адольф. Доминика, Фому, Винцентия и какого-то Петра, но в первую очередь поручал себя Катерине Сиенской.

Антоний. Христос ему на память не пришел?

Адольф. Так рассказывал священник.

Антоний. Он бы вернее выплыл, если бы хоть капюшон на себе оставил; а без капюшона — как могла его признать Катерина Сиенская? Но рассказывай дальше о себе.

Адольф. Мы все еще кружились подле судна, которое кружили на месте волны, и ударом руля раздробило бедро тому, кто держался за левый край. Разумеется, он пошел ко дну. Священник, пожелав ему вечного покоя, занял его место и крикнул мне, чтобы я не падал духом, не разжимал рук и шибче двигал ногами. Мы уже вдоволь нахлебались соленой воды. Нептун не только устроил нам соленую ванну, но и соленого питья поднес. Против этого, однако, священник предложил хорошее средство.

Антоний. Какое?

Адольф. Всякий раз, как набегала волна, он подставлял затылок, а рот закрывал.

Антоний. Бодрый, я вижу, старик!

Адольф. Мы плыли уже некоторое время и заметно продвинулись вперед, когда священник, на диво рослый и длинноногий, воскликнул: «Мужайся! Я достаю дно!» Я не смел верить такому счастью. «Мы слишком далеко от берега, — отвечал я, — чтобы на это надеяться». — «Нет, говорит, я чувствую под ногами землю». — «Может, это ящик какой-нибудь, который сюда забросили волны?» — «Нет, говорит, пальцы явно скребут по дну». Мы поплыли еще немного, и он снова нащупал дно. «Ты, говорит, как хочешь, ты сам за себя в ответе, а я доверюсь твердой земле». И, выждав, когда волна отхлынет, он побежал что было духу и сил. Когда же надвинулся новый вал, он обхватил обеими руками колени и, не давши воде смыть себя и унести, скрылся под нею — так ныряют утки. Волна снова отхлынула — он вскочил и снова побежал. Видя, что его затея удалась, я последовал его примеру. На песке стояли люди, сцепившись друг с другом посредством длинных жердей и таким образом выдерживая натиск валов, люди всё крепкие, привычные к морю; самый

последний протягивал жердь подплывавшему, и как только тот схватится за нее, все отступали к берегу, вытаскивая жертву крушения на сушу. Благодаря этой помощи несколько человек были спасены.

Антоний. Сколько именно?

Адольф. Семеро. Но из них двое умерли, когда их поднесли к огню.

Антоний. А сколько вас было на корабле? Адольф. Пятьдесят восемь.

Антоний. Ох, какое свирепое море! Хоть бы удовольствовались десятиной, как священники! Из такого множества вернуть так мало!

Адольф. Тут мы на себе испытали редкостную доброту тамошнего народа: нас всем снабдили — и теплым кровом, и пищею, и одеждой, и деньгами на дорогу, и вдобавок невероятно быстро. Антоний. А что за народ? Адольф. Голландцы.

Антоний. Нет народа добрее, а ведь они окружены дикими племенами. Больше, я думаю, испытывать Нептуна не станешь?

Адольф. Нет, разве что бог отнимет у меня рассудок.

Антоний. И я предпочитаю слушать такие истории, чем в них участвовать.

### Заезжие дворы



#### Бертульф. Гильом

Бертульф. Почему большинство путников задерживается в Лионе на два-три дня? Я, раз уже пустился в дорогу, не успокоюсь, пока не доберусь до цели.

Гильом. А я — так, наоборот, дивлюсь, как можно расстаться с этим городом.

Бертульф. Да почему ж, в конце концов?

Гильом. Потому что оттуда Одиссею своих спутников не увести бы — там настоящие сирены<sup>198</sup>! В собственном доме никто не найдет такого обхождения, как там — в гостинице.

Бертульф. Я слушаю тебя.

Гильом. У стола всегда, бывало, сидит женщина, развлекающая гостей шутками и забавными рассказами. А женщины там на диво хороши. Первою является хозяйка с

<sup>198</sup> Имеется в виду известный эпизод из «Одиссеи» Гомера, песнь XII, где рассказывается, как Одиссей и его спутники миновали остров сирен, которые своим пением заманивают плывущих мимо путников, и те, забыв обо всем на свете, погибают вместе с кораблями.



приветствием и с пожеланием, чтобы все были веселы и не бранили угощение, которое им предлагают. Следом приходит дочка, красивая и до того жизнерадостная, что и самого Катона развеселила бы, пожалуй<sup>199</sup>. Разговаривают они с нами не так, как с незнакомыми постояльцами, но словно бы с давними и близкими знакомцами.

Бертульф. Узнаю прославленную французскую учтивость.

Гильом. Но все время оставаться за столом они не могли — надо было и по дому распорядиться, и других гостей встретить и приветствовать, — а потому с нами безотлучно была молоденькая, но весьма острая на язык девица. Она одна легко отражала все наши удары, поддерживая разговор, пока не вернется хозяйская дочка. (Мать была уже в летах.)

Бертульф. Ну, а стол-то был каков? Разговорами ведь не наешься!

Гильом. Роскошный, да и только! Я все удивлялся, как они могут так принимать постояльцев за такую дешевую плату. После еды снова забавляют гостя беседою, чтобы он не скучал. Мне казалось, что я дома, а не на чужбине.

Бертульф. А спальни?

Гильом. В спальне тоже всегда застаешь девушку — улыбчивую, шаловливую, игрунью; она спрашивает, нет ли у тебя грязного платья, и все грязное стирает и отдает чистым. Скажу больше: там не увидишь никого, кроме женщин и девушек, разве что в конюшне мужчины. Впрочем, и в конюшню нередко врываются девушки: они обнимали отъезжающих, прощались с ними до того нежно, точно с братьями или близкими родичами.

Бертульф. Французам, может быть, и к лицу такие нравы, но мне больше по душе мужественная суровость германских обычаев.

Гильом. Мне никогда не случилось повидать Германию. Пожалуйста, не сочти за труд, расскажи, как там принимают постояльца.

Бертульф. Я припомню только то, что видел своими глазами; в иных местах, может, все и по-иному. Итак, подъезжаешь ты к постоялому двору — тебя никто не приветствует: иначе, как бы не подумали, будто гостя обхаживают, а это, по мнению немцев, дело позорное, презренное, не достойное германской строгости. Кричишь, кричишь — наконец кто-то высовывает голову в окошечко общей залы (чуть не до самого летнего солнцеворота постояльцы большую часть времени проводят в таких залах с печами), точь-в-точь как черепаха, выглядывающая из-под своего панциря. Надо спросить, можно ль остановиться. Если не откажет, — значит, согласен пустить. Спрашиваешь, где конюшня, — молча машет рукою. С лошадью управляйся сам, как умеешь, — никто пальцем не шевельнет, чтобы тебе пособить. Если гостиница из числа известных, в конюшню провожает слуга и даже показывает стойло для коня, самое, впрочем, неудобное. Места получше берегут впрок, для знатных гостей. Стоит вымолвить хоть слово поперек — тут же услышишь в ответ: «Не нравится? Ищи себе другую гостиницу». Сено в городах дают неохотно и очень скупо, а платишь почти столько же, сколько за овес. Когда поставишь лошадь и задашь ей корма, идешь в залу как есть — весь грязный, в сапогах, с дорожными пожитками.

Гильом. У французов гостя обводят в комнату, где можно раздеться, высушить одежду у очага, согреться, даже вздремнуть часок-другой, если надумаешь.

Бертульф. Тут — ничего похожего. В зале разуваешь сапоги, обуваешь туфли, меняешь, если хочешь, сорочку, развешиваешь у печки промокшее под дождем платье и сам придвигаешься поближе к огню, чтобы обсушиться. Есть и вода — умыть руки, если кто пожелает, — но обычно такая чистая, что после приходится просить еще воды, чтобы смыть первое умывание.

Гильом. Слава мужам, не избалованным никакими удовольствиями!

Бертульф. Ты прибыл в четвертом часу после полудня, ужинать, однако ж, будешь не раньше девятого, а не то и десятого часа.

Гильом. Почему?

---

<sup>199</sup> Строгость и суровость нрава Марка Порция Катона Старшего вошла у римлян в поговорку.

Бертульф. Хозяева ничего не готовят, пока не убедятся, что больше ждать некого: им надо всех обслужить разом.

Гильом. Чтобы отделаться побыстрее и подешевле.

Бертульф. Угадал. И нередко в одну залу набивается человек восемьдесят или девяносто — пешие, конные, торговцы, матросы, возчики, крестьяне, женщины, дети, здоровые, больные...

Гильом. Настоящая общежительная обитель!

Бертульф. Кто расчесывает волосы, кто утирает пот, кто очищает от грязи башмаки или сапоги, кто рыгает чесноком. Коротко говоря — такое ж смешение языков и лиц, как в старину на Вавилонской башне. Но стоит им заметить чужеземца, одетого почище и побогаче, они так и впиваются в него глазами и глядят, не отрываясь, словно на невиданного заморского зверя; даже и потом, усевшись за обед, не перестают смотреть, выворачивая шеи и забывая про еду.

Гильом. В Риме, Париже и Венеции никто ничему не изумляется.

Бертульф. Просить что бы то ни было строго-настрога запрещено. Когда уже изрядно стемнеет и больше ждать, по-видимому, некого, входит старый слуга с седой бородою и мрачным лицом, коротко остриженный и неопрятно одетый.

Гильом. Таких бы стариков — римским кардиналам в виночерпии.

Бертульф. Он молча озирает залу, пересчитывает гостей, и, чем их больше, тем жарче разводит огонь в печи, хотя бы жара стояла и на дворе. Это у них главный признак хорошего обхождения — если все истекают потом. Ты не привык к духоте и чуть-чуть приоткрываешь окно, но тут же слышишь: «Затвори!» Если возразишь: «Не могу терпеть», — услышишь в ответ: «Стало быть, ищи другую гостиницу».

Гильом. На мой взгляд, нет ничего опаснее, как всем вместе — да еще такому множеству! — дышать одной духотою, и тут же принимать пищу, и оставаться долгие часы. Я уж не говорю о чесночной отрыжке, о смрадных ветрах, о гнилом дыхании, но есть люди, страдающие тайными болезнями, и нет ни одной болезни, которая не была бы заразительна. В самом деле, очень многие болеют испанской чесоткой (или французской, как зовут ее еще, потому что она общее достояние всех народов). От них, я думаю, опасность едва ли меньше, чем от прокаженных. Посуди сам, что будет, если начнется повальный мор.

Бертульф. Немцы — храбрецы, они смеются над опасностью и презирают ее.

Гильом. Но их храбрость грозит бедою многим.

Бертульф. Что поделаешь! Так уж у них заведено, а человеку твердому и постоянному не свойственно отступать от заведенного обычая.

Гильом. Но вот для брабантцев, лет двадцать пять назад, не было ничего привычнее общественных бань, а теперь они вывелись повсюду: эта новая чесотка выучила нас не ходить по баням.

Бертульф. Ладно, слушай дальше. Снова является, бородатый Ганимед<sup>200</sup> и застилает скатертями столы — сколько находит достаточным по числу гостей. Но, боже бессмертный, скатерти отнюдь не милетские<sup>201</sup>, скорее скажешь, что это сорванная с реи парусина. Потом он разводит гостей по столам, за каждый стол — не менее восьми. Кто знаком с германским обычаем, тут же садится, кому где правится. Нет никакого различия меж богатым и бедным, меж хозяином и слугою.

Гильом. Вот оно, пресловутое древнее равенство, ныне уничтоженное тиранией. Так, я думаю, жил Христос со своими учениками.

Бертульф. Когда все рассядутся, снова приходит мрачный Ганимед и снова

---

<sup>200</sup> Мальчик Ганимед, любимец Зевса, был виночерпием на пирах у богов; отсюда насмешливое сравнение.

<sup>201</sup> Жители города Милета, старинной греческой колонии на западном берегу Малой Азии, считались любителями роскоши, изнеженными, избалованными.

пересчитывает своих подопечных. Он исчезает и, вскоре возвратившись, ставит перед каждым деревянную тарелку, кладет ложку, сработанную из того же серебра, что тарелка, ставит стеклянный стакан, а еще чуть спустя раздаст хлеб, который все потихоньку и уминают на досуге, дожидаясь, пока поспеют кушанья. Ведь иной раз так и целый час просидишь.

Гильом. И никто из постояльцев тем временем не торопит, не требует?

Бертульф. Ни один из тех, кто знает тамошние нравы. Наконец приносят вино, но, боже благий, что это за вино! Его бы только софистам пить — такое оно тонкое и едкое<sup>202</sup>. Если кто из гостей попросит — хотя бы и за особую плату — другого вина, сперва сделают вид, будто не слышат, но скроют такую физиономию, словно сейчас прихлопнут надоеду. Если ж ты повторишь свою просьбу, тебе ответят: «У меня стояли и графы и маркизы, и никто никогда не жаловался на мое вино. А ежели не нравится, поищи себе другую гостиницу!» Только знатных господ из своего племени и считают они за людей, и повсюду выставляют напоказ их гербы... Итак, лающему желудку бросили кость. После величавою чередой вносят блюда. Первое — обычно куски хлеба, пропитанные мясным наваром, а если день постный — то овощным. Потом — суп, потом — разогретое мясо или соленая рыба, снова похлебка, снова что-нибудь из твердой пищи, и наконец, когда голод уже основательно укрощен, предлагают жаркое или вареную рыбу. Отказаться невозможно, но тут уже подают в обрез и быстро убирают. Все застолье, стало быть, устраивается по образцу театрального представления, где к игре артистов примешаны хоры; вот и здесь — чередуют жидкие кушанья с густыми, но так, чтобы последнее действие было наилучшим.

Гильом. Это правило соблюдает и хороший поэт. Бертульф. Не дай бог, если кто вдруг скажет: «Убери это блюдо — все равно никто уже не ест». Надо сидеть смиренно, пока не истечет срок, который хозяин, по-моему, отмеряет клепсидрою<sup>203</sup>. Но вот опять выходит тот бородач или сам хозяин, одетый почти так же, как его слуги, и спрашивает, нет ли у нас каких желаний. Вслед за тем приносят еще вина, получше. В Германии любят пьяниц, и кто выпил всех больше, платит ровно столько же, сколько тот, кто едва пригубил. Гильом. Удивительный обычай. Бертульф. Иной столько в себя вольт, что плата за ужин и половины не покроеет. Но прежде чем покончить с застольем, я хотел бы, чтобы ты себе представил, какой страшный поднимается шум и неразбериха, когда все разогреется вином. Одно скажу: оглохнуть можно! В этот момент нередко появляются шуты; нет более гнусной породы людей, но ты не поверишь, какое удовольствие для немцев их мерзкие проделки. Они так поют, галдят, орут, пляшут, топают, что, кажется, вот-вот обрушится потолок и сосед не слышит соседа. Но все уверены, что в этом и состоит радость жизни. И так волей-неволей сидишь до глубокой ночи.

Гильом. Ну, будет уж про застолье. Слишком оно затянулось, даже мне надоело.

Бертульф. Да, да, кончаю. Наконец убирают сыр, который только тогда им по вкусу, если совсем прогнил и кишит червями, и опять выходит тот бородач с подносом, на котором мелом начерчено несколько кругов и полукругов; поднос ставит на стол, молча и сурово, точно Харон какой-нибудь<sup>204</sup>. Кому знакомы эти знаки, кладут деньги, один за другим, пока поднос не наполнится. Заметив, кто расплатился, бородач молча подсчитывает выручку. Если нет недостачи, кивает головой.

---

<sup>202</sup> Софисты, древнегреческие учителя философии и риторики (V в. до н. в.), были непревзойденными мастерами казуистически тонких, но часто пустых и бесплодных рассуждений.

<sup>203</sup> Клепсидра — водяные часы, применявшиеся древними в судебных заседаниях, где время, предоставленное для речей обеим сторонам, строго регламентировалось.

<sup>204</sup> Харон, перевозящий души умерших через реки и озера подземного царства, взимает плату за перевоз; в рот покойнику вкладывали мелкую медную монетку для расплаты с Хароном. Подробнее см. далее, в диалоге «Харон».

Гильом. А если больше, чем нужно?  
Бертульф. По-видимому, возвращает. Так иногда и случается.  
Гильом. И никто не возражает, что, дескать, расчет не справедливый?  
Бертульф. Никто, если он в здравом уме. Потому ' что тут же услышит в ответ: «Ты еще что за птица? Платишь не больше, чем другие».  
Гильом. Какой грубый народ!  
Бертульф. Если кто, уставши с дороги, хочет сразу после еды лечь в постель, ему велют ждать, пока все не отправятся на покой.  
Гильом. Мне кажется, будто увижу Платоново государство<sup>205</sup>.  
Бертульф. После каждому показывают его гнездо в спальне, но уж это именно что спальня: кроме кроватей, нет ничего — нечем воспользоваться и украсть нечего.  
Гильом. Чисто в спальнях?  
Бертульф. Так же чисто, как за столом. Простыни, верно, месяцев по шесть не стирают.  
Гильом. А лошади тем временем как?  
Бертульф. С ними обходятся так же бесцеремонно, как с их хозяевами.  
Гильом. И везде обхождение одинаковое?  
Бертульф. Где повежливее, где поглубее, чем я рассказываю, но в общем такое.  
Гильом. Хочешь, я тебе расскажу, как принимают постояльцев в той части Италии, что зовется Ломбардией, как в Испании, в Англии, в Уэльсе? Англичане придерживаются нравов отчасти французских, отчасти германских: они ведь смесь из этих двух народов. А валлийцы утверждают, будто они  
&#945;&#965;&#964;&#972;&#967;&#952;&#959;&#957;&#949;&#962;<sup>206</sup> Англии.

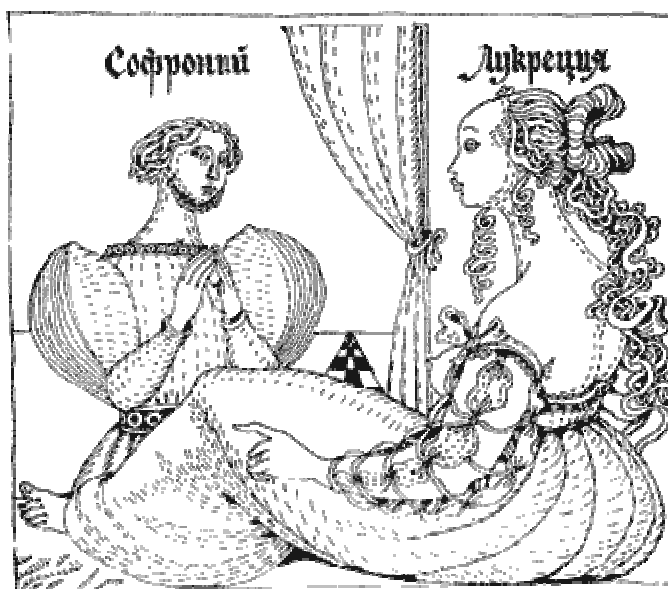
Бертульф. Пожалуйста, расскажи. Мне никогда не случалось там побывать.  
Гильом. Сейчас недосуг. Хозяин судна велел, чтобы я вернулся к трем часам, если не хочу отстать и остаться, а мои вещи уже на борту. В другой раз будет случай — наговоримся всласть.

## Юноша и распутница

---

<sup>205</sup> Идеальное государственное устройство — первый в истории европейской культуры опыт утопии — изображено Платоном в диалоге «Государство». Здесь имеется в виду абсолютное равенство внутри сословий, на которые членит общество Платон.

<sup>206</sup> Коренные жители (греч).



### Лукреция. Софроний

Лукреция. Вот славно! Миленький мой Софроний! Наконец-то ты вернулся! Кажется, целый век с тобою не видались! Я едва признала тебя с первого взгляда.

Софроний. Почему, Лукреция?

Лукреция. Потому что уезжал ты безбородый, а возвратился с бородкою. Что с тобой, мое сердечко? Ты какой-то мрачный, не такой, как бывало.

Софроний. Я хочу поговорить с тобою наедине и по душам.

Лукреция. Полно, разве мы не одни, сладкая моя палочка?

Софроний. Давай выберем место поукромнее.

Лукреция. Хорошо, пойдем в дальнюю комнату, если хочешь.

Софроний. Нет, там недостаточно укромно, по-моему.

Лукреция. Откуда вдруг такая застенчивость? Есть у меня покойчик, — я держу там свои наряды, — до того темный, что я едва разгляжу тебя, а ты — меня.

Софроний. Посмотри, нет ли где щелки.

Лукреция. Ни одной.

Софроний. Нет никого поблизости, кто бы мог подслушать?

Лукреция. Даже муха нас не услышит, светик мой. Что же ты медлишь?

Софроний. А от божиих очей мы здесь укроемся?

Лукреция. Никоим образом! Бог все видит.

Софроний. А от ангельских?

Лукреция. От их очей нельзя спрятаться.

Софроний. Как же так получается? Пред очами божиими и в присутствии святых ангелов человек без стыда творит то, что стыдится творить на глазах у людей!

Лукреция. Это что за новости? Ты пришел ко мне проповедь читать? Сперва покройся францисканским капюшоном, взойди на кафедру — тогда и послушаем тебя, бородатенький ты наш.

Софроний. Что ж, и это не счел бы за труд, если бы смог заставить тебя расстаться с твоим образом жизни, не только самым позорным, но и самым несчастным.

Лукреция. Отчего, мой дорогой? Надо как-то сыскивать себе, пропитание, и каждого кормит свое искусство. Такое у нас занятие, в нем наш доход.

Софроний. Пожалуйста, Лукреция, хотя бы немного стряхни с души этот хмель и вместе со мною вдумайся в суть дела.

Лукреция. Оставь-ка ты свою проповедь до другого раза, а пока будем жить да

радоваться, мой Софроний.

Софроний. Хорошо. Какое бы оно ни было, твое дело, а ты занимаешься им ради прибыли.

Лукреция. Метко сказано.

Софроний. Ну, так убытков ты не понесешь: я заплачу тебе вчетверо, только выслушай меня.

Лукреция. Говори.

Софроний. Прежде всего, ответь мне на такой вопрос: есть женщины, которые тебя ненавидят?

Лукреция. Еще бы! И не одна.

Софроний. И которых ты, в свою очередь, не выносишь?

Лукреция. Как они того и заслуживают!

Софроний. Если б ты могла чем-нибудь им угодить, угодила бы?

Лукреция. Скорее бы ядом их употчевала!

Софроний. А теперь рассуди, можешь ли угодить им больше, чем теперь, когда они видят, какую бесчестную и злосчастную жизнь ты ведешь. И можешь ли причинить больше горя тем, кто хочет тебе добра.

Лукреция. Так уж мне выпало на долю.

Софроний. То, что для людей, которых карают ссылкой на далекие острова, на край света, бывает обычно самым мучительным в их наказании, это ты приняла на себя добровольно.

Лукреция. О чем ты говоришь?

Софроний. Разве ты, по собственной воле, не отреклась от всех, кто был тебе дорог, — от отца, матери, братьев, сестер, теток, словом, от всех, с кем тебя связала природа? Они тебя стыдятся, а ты не смеешь показаться им на глаза!

Лукреция. Нет, я просто переменяла дорогих и близких, и очень счастливо переменяла: было немного, стало очень много, и один из них ты, которого я всегда считала за брата:

Софроний. Брось свои шутки, подумай всерьез, как все у тебя сложилось. Поверь мне, Лукреция: иметь так много друзей — значит, не иметь ни одного. Для тех, кто к тебе ходит, ты не подруга, а подстилка. Посмотри, несчастная, в какую яму ты сама себя столкнула! Христос возлюбил тебя так, что искупил своею кровью и пожелал сделать соучастницею в небесном наследстве, а ты делаешь себя сточною канавой, к которой приходит кто угодно — грязные, гнусные, обсыпанные струпами, и свою грязь и мерзость сбрасывают в тебя! Если ты еще не заразилась той проказой, которую зовут испанскою чесоткой, все равно тебе ее не миновать. И тогда — нет тебя злополучнее, будь даже все прочее к твоим услугам: богатство, доброе имя... Ты станешь живым трупом! Тебе тяжело было угождать матери — теперь ты в рабынях у подлейшей сводни. Тебе скучно было слушать внушения отца — здесь ты нередко терпишь побои от пьяных и безумных развратников. Леня было трудиться дома, чтобы заработать на пропитание, — здесь какой адский шум приходится переносить, сколько бессонных ночей?

Лукреция. Откуда к нам этот новый проповедник?

Софроний. И вот еще над чем поразмысли. Цвет красоты, который привлекает к тебе любовников, быстро увянет. Что ты тогда будешь делать, несчастная? Любои куче дерьма цена будет выше, чем тебе. Из шлюхи ты станешь своднею. Впрочем, не всем достается такая почесть. А если б и досталась — что может быть преступнее или ближе к злобе дьявольской?

Лукреция. Почти все, что ты говоришь, истинная правда, мой Софроний. Но откуда вдруг к тебе эта святость? Ведь среди пустозвонов ты всегда был сам пустой и вздорный. Никто не приходил сюда чаще твоего или в срок более неурочный... Говорят, ты побывал в Риме.

Софроний. Верно.

Лукреция. Но ведь оттуда люди возвращаются хуже, чем уезжают, а ты — наоборот!

Каким образом?

Софроний. Сейчас объясню. Я отправился в Рим не с теми намерениями, что остальные. Почти все для того как раз и едут в Рим, чтобы вернуться хуже прежнего; случаев и возможностей для этого в Риме больше чем довольно. Я ж пустился в путь с одним достойным человеком и по его совету взял с собою не бутылку, а Новый завет в переводе Эразма.

Лукреция. Эразма? Говорят, он всем еретикам еретик!

Софроний. Разве и здесь уже известно его имя?

Лукреция. Что ты! Только об нем и речи!

Софроний. А ты его видела когда-нибудь?

Лукреция. Никогда. Но хотелось бы взглянуть на того, о ком слышу столько дурного.

Софроний. Вероятно — от дурных.

Лукреция. Наоборот, от очень почтенных.

Софроний. От кого же?

Лукреция. Нельзя открыть.

Софроний. Почему?

Лукреция. Потому что если ты проболтаешься, а до них это дойдет, — прощай немалая доля моих прибытков.

Софроний. Не бойся: я буду нем, как камень.

Лукреция. Придвинь-ка ухо.

Софроний. Глупенькая, к чему это, раз мы одни? Разве, чтобы бог не услышал... Боже бессмертный, да ты, как я посмотрю, благочестивая шлюха, коли помогаешь милостынькой нищим<sup>207</sup>.

Лукреция. От этих нищих мне больше выгоды, чем от вас, богачей.

Софроний. Да, они грабят добрых матерей семейства, чтобы тратиться на шлюх.

Лукреция. Но ты продолжай насчет книги.

Софроний. Да, конечно. В этой книге Павел, который не умеет лгать, внушает мне, что ни блудницам, ни блудникам царства небесного не наследовать. Прочитав слова Павла, я начал рассуждать так: немногого ожидаю я для себя из отцовского наследия, и все же скорее расстался бы со всеми блудницами на свете, только бы отец не лишил меня наследства. Насколько ж больше надо остерегаться, чтобы меня не лишил наследства Отец небесный! Вдобавок, против отца, который от тебя отрекается или лишает тебя наследства, какою-то защитой служат человеческие законы; против бога, отказывающего в наследстве, защиты нет. И я строго-настрого запретил себе иметь дело с блудницами.

Лукреция. Только сможешь ли удержаться...

Софроний. Едва ли не половина воздержности — в искреннем желании быть воздержным. И, наконец, остается в запасе крайнее средство — женитьба. В Риме я обрушил на священника, которому исповедовался, целые авгиевы конюшни. Он пространно и разумно призывал к чистоте души и тела, к чтению священных книг, к частой молитве, к трезвости и умеренности, епитимьи, однако же, не назначил никакой, кроме того, чтобы преклонить колени перед главным алтарем и прочесть «Помилуй мя, боже»; и еще, если хватит денег, — дать первому попавшемуся нищему один флорин. Я удивился: за столько блудных грехов такая ничтожная кара, — но он отвечал очень метко: «Сын мой, если ты поистине раскаиваешься и готов переменить свою жизнь, наказание нисколько меня не занимает, а если будешь упорствовать, сама похоть взыщет с тебя так круто, как ни один священник. Взгляни на меня: глаза гноятся, руки-ноги дрожат, спина скрючена; а в прошлом я был в точности такой блудник, как ты». И я опомнился и образумился.

Лукреция. Стало быть, я потеряла своего Софрония.

---

<sup>207</sup> «Нищие» — это нищенствующие монахи, скорее всего ненавистные Эразму францисканцы или доминиканцы.

Софроний. Наоборот — нашла! До сих пор он погибал, не был другом ни себе, ни тебе. Теперь он поистине тебя любит и жаждет твоего спасения.

Лукреция. Какой же совет ты мне подашь, мой Софроний?

Софроний. Прежде всего — бросить эту жизнь! Ты еще молода, все, что пристало к тебе грязного, смывается. Либо выходи замуж (приданое мы тебе соберем), либо поступай в какую-нибудь обитель, принимающую согрешивших, либо поселись в доме у какой-нибудь уважаемой матери семейства и поручи себя ее попечению и надзору. Я помогу тебе в любой час, когда скажешь.

Лукреция. Пожалуйста, мой Софроний, выбирай ты, а я подчинюсь.

Софроний. Но пока тебе нужно уйти отсюда.

Лукреция. Как? Немедленно?

Софроний. Разве не лучше сегодня, чем завтра, если отлагательство грозит ущербом, а промедление — опасностью?

Лукреция. Но куда я денусь?

Софроний. Собери все свои наряды и передашь их мне нынче вечером. Мой слуга тайком отнесет вещи к верной и надежной женщине, а несколько спустя я уведу тебя — как бы на прогулку. Ты спрячешься у той женщины и будешь жить на мой счет, покуда я что-нибудь для тебя не придумаю. Долго ждать не придется.

Лукреция. Хорошо, мой Софроний, я целиком полагаюсь на тебя.

Софроний. И никогда об этом не пожалеешь.

## Исследование веры



Авл. Барбацій

Авл. В детской песенке поется: «Здоровайся, не ленись». Но не знаю, можно ли пожелать тебе здоровья.

Барбацій. Вот если бы ты мог не только желать, но дарить здоровье, тогда другое дело! Почему, однако ж, ты так говоришь, Авл?

Авл. Почему? Потому, ежели хочешь знать, что от тебя разит серою или Юпитеровой молнией.

Барбацій. Есть и Юпитеры навыворот, бывают и шальные молнии, которые ничего не



возвещают. Ты, верно, намекаешь на отлучение<sup>208</sup>?

Авл. Угадал.

Барбаций. Да, раскаты грома, и даже очень грозные, я слышал, но удара молнии не ощутил.

Авл. Как так?

Барбаций, А так, что желудок варит нисколько не хуже прежнего и сплю по-прежнему спокойно.

Авл. Но тем опаснее беда, если ее не ощущаешь. А эти шальные, как ты говоришь, молнии разят и горы и моря.

Барбаций. Верно, разят, — только попусту. Молнией, случается, сверкнет и стекло, и медная миска.

Авл. Но и такая молния пугает.

Барбаций. Конечно, но только малых ребят. Один лишь бог владеет молнией, которая поражает душу.

Авл. А если бог действует через своего заместителя?

Барбаций. Если б так!

Авл. Скажу больше: многие дивятся, как ты еще не стал чернее угля.

Барбаций. Представь себе, что я уже почернел. Но тем более должно желать здоровья и спасенья грешнику — если следовать евангельскому учению.

Авл. Желать, но не вслух.

Барбаций. Почему?

Авл. Чтобы он устыдился и образумился.

Барбаций. Если б так обходился с нами бог, мы бы все погибли.

Авл. Не понимаю.

Барбаций. Ну, как же! Когда мы были врагами Божиими — идолопоклонниками, солдатами Сатаны, то есть всего сильнее отдалены и отлучены от бога, как раз тогда он заговорил с нами через своего сына и этим разговором вернул нас, уже мертвых, к жизни.

Авл. Что правда, то правда.

Барбаций. И плохо пришлось бы больным, если б врач избегал утешающей беседы, всякий раз как видит перед собою тяжкий и мучительный недуг: как раз тогда и надо бы врачу быть подле.

Авл. Но я боюсь, что скорее ты повредишь мне, чем я исцелю твою болезнь. Нередко ведь случается, что, навещая больного, врач не лечить должен, а биться, словно в палестре<sup>209</sup>.

Барбаций. Так случается, когда недугом поражено тело; если ж беда постигла душу, у тебя всегда наготове средство против любой заразы.

Авл. Какое?

Барбаций. Адамантовая<sup>210</sup> решимость не изменять однажды принятому суждению. И

---

<sup>208</sup> В послесловии «О пользе „Разговоров“ (1526) Эразм прямо пишет: „Я изображаю лютеранина, чтобы легче вернулись к согласию те, между кем нет противоречий по поводу главнейших пунктов правой веры“. Папская булла „Восстань, господь“, перечислявшая 41 еретическое заблуждение Лютера и грозившая отлучением ему и всем его приверженцам, если они не откажутся от своих взглядов, была обнародована еще весной 1520 г. 10 декабря того же года Лютер торжественно сжег эту буллу вместе с несколькими книгами канонического права. С тех пор обе враждующие стороны требовали от Эразма решительных выступлений, но он всячески уклонялся, пытаясь примирить врагов. „Исследование веры“ — последняя из таких попыток: осенью 1524 г. выходит в свет первый антилютеровский трактат Эразма „О свободе воли“.

<sup>209</sup> Палестра — у древних греков школа, где обучали искусству борьбы.

<sup>210</sup> Адамант — по-гречески «непреклонный». Так назывался какой-то твердый металл или сплав. Но Эразм в «Адагиях» пишет, что это слово обозначает несокрушимой твердости камень, и повсюду употребляет его именно в таком значении.

причем тут страх перед палестрою, если все решается словесными прениями?

Авл. Ты говоришь дело... Только есть ли надежда на успех?

Барбаций. Пословица гласит: пока дышу, надеюсь. И у Павла сказано<sup>211</sup>: любовь не умеет отчаиваться, ибо чаёт всего.

Авл. Это ты удачно напомнил, и, в такой надежде, мне, пожалуй, можно обменяться с тобою несколькими словами. И, если ты согласен, я разыграю роль врача.

Барбаций. Ладно.

Авл. Дотошные расспросы обычно вызывают отвращение. Но между врачами хвалят тех, которые допытываются обо всех подробностях.

Барбаций. Расспрашивай и выспрашивай, что ни вздумаешь.

Авл. Попробую. Но ты дай слово, что будешь отвечать чистосердечно.

Барбаций. Даю. Но хочу знать, о чем ты намерен спрашивать.

Авл. Об апостольском Символе веры<sup>212</sup>.

Барбаций. Пусть меня считают врагом Христовым, если хоть в чем-нибудь покривлю душой.

Авл. Веруешь ли в бога Отца, вседержителя, творца неба и земли?

Барбаций...и всего, что на небе и на земле, и духов ангельских — тоже.

Авл. Когда ты говоришь о боге, что подразумеваешь?

Барбаций. Некий вечный разум, который не имел начала и не будет иметь конца, который ничто не способно превысить ни величием, ни мудростью, ни добротой...

Авл. Пока вполне благочестиво.

Барбаций...который всемогущею своею волею создал все вещи, видимые и невидимые, который дивною своею мудростью устрояет и направляет вселенную, своею добротой все питая и сохраняя, и падший род человеческий спас и возродил безвозмездно.

Авл. Да, эти три качества главные в боге. Но какую пользу находишь ты для себя в том, что их признаешь?

Барбаций. Мысля бога всемогущим, я подчиняю ему себя целиком, ибо рядом с его величием возвышенность людей или ангелов — ничто. Затем твердо и бесповоротно верю всему, что повествует о нем Святое писание, и так же твердо — что все его обещания сбудутся, ибо для его воли возможно все без изъятия, хотя бы человеку и казалось неисполнимым. Так я проникаюсь недоверием к собственным силам и уже целиком завишу от него, который может все. Созерцая его мудрость, я уже ничего не оставляю на долю собственного ума и верю, что бог все вершит самым правильным и справедливым образом, хотя бы человеческому пониманию многое представлялось бессмысленным и несправедливым. Раздумывая о его благодати, я убеждаюсь, что нет во мне ничего, чем бы я не был обязан его бескорыстной милости, и что нет такого тяжкого преступления, которого бы он не пожелал простить, если ты раскаиваешься, и нет такого дара, в котором он отказал бы, если просишь с верою.

Авл. И, по-твоему, этого достаточно?

Барбаций. Ни в коем случае! Все свои упования и всю надежду я искренне полагаю в нем одном, Сатану же, и любое идолопоклонство, и всяческую магию отвергаю! Ему одному поклоняюсь; ничто не ставлю ни выше, ни вровень с ним — ни ангелов, ни родителей, ни

---

211 «Первое послание к Коринфянам», XIII, 7.

212 По преданию, которое живо в христианской церкви и по сей день, апостолы, перед тем как разойтись по разным странам для проповеди Евангелия, все вместе составили краткое изложение основных догматов христианской веры, которое и получило название апостольского Символа. Ученые полагают, что апостольский Символ веры в нынешнем его виде сложился окончательно лишь в VI в. По происхождению, однако же, это древнейший из трех символов веры, входящих в католическое богослужение (апостольский, никео-цареградский и Символ святого Афанасия).

детей, ни супругу, ни государя, ни богатство, ни почести, ни наслаждения; готов отдать жизнь ради него, ежели он велит; не сомневаюсь, что не может погибнуть тот, кто предал всего себя в его руки.

Авл. Стало быть, ничего не считаешь, ничего не боишься, ничего не любишь, кроме одного бога?

Барбаций. Если что и считаю, кроме него, боюсь или люблю, то ради него люблю, ради него считаю, ради него боюсь, все обращая к его славе и всегда творя ему благодарность — радость ли постигает или печаль, умирать ли приходится или продолжать жизнь.

Авл. До сих пор речи здравые... О второй ипостаси как ты судишь?

Барбаций. Спрашивай.

Авл. Веруешь ли, что Иисус был бог и человек?

Барбаций. Неколебимо.

Авл. Как возможно, чтобы одно лицо было и бессмертным богом, и смертным человеком?

Барбаций. Тот, для которого все возможно, учинил это без труда. И по причине божественной природы, той же самой, что у Отца, все величие, мудрость и благость, какие я признаю за Отцом, признаю и за Сыном; и все, чем обязан Отцу, тем же самым обязан и Сыну. Разница лишь в том, что Отец соизволил все даровать и уделить нам через Сына.

Авл. Почему ж тогда Святое писание чаще именует Сына «господом», чем «богом»?

Барбаций. Потому что «бог» — это имя высшей власти или первенства, а стало быть, в особенности подобает Отцу, который есть безусловное всему начало и даже источник собственной божественности. «Господь» — название для искупителя и избавителя. Впрочем, и Отец искупил нас через Сына, и Сын — бог, но от бога-Отца. Один лишь Отец не происходит ни от кого и среди божественных ипостасей занимает первое место.

Авл. Значит, свои упования ты полагаешь и в Иисусе тоже?

Барбаций. Как же иначе!

Авл. Но сказано у пророка: проклят тот, кто уповает на человека.

Барбаций. Но лишь этому человеку, лишь ему одному, дана вся власть на земле и на небесах, так что во имя его преклоняется всякое колено на небесах, на земле и в преисподней. Впрочем, и в таком человеке не утвердил бы я священного, как гласит пословица, якоря своей надежды, если бы он не был богом.

Авл. Зачем Символ зовет его «Сыном»?

Барбаций. Чтобы никто не вообразил, будто он тварное существо.

Авл. Зачем «единственным»?

Барбаций. Чтобы различали между родным сыном и приемными. Честь этого прозвания распространена и на нас — чтобы мы не ожидали никого иного, кроме Иисуса.

Авл. Почему Отец пожелал, чтобы бог сделался человеком?

Барбаций. Чтобы людей с богом примирил человек.

Авл. Веруешь ли, что Иисус был зачат безмужно, силою святого Духа, и родился от непорочной девы Марии, и смертное его тело взято от ее существа? Барбаций. Верую неколебимо. Авл. Почему пожелал он так родиться? Барбаций. Потому что так подобало родиться богу, так подобало родиться тому, кто пожелал очистить скверну нашего зачатия и рождения. Бог пожелал родиться сыном человеческим, дабы мы, возродившись в нем, стали сынами Божиими.

Авл. Веруешь ли, что он пребывал на земле, творил те чудеса и произносил те поучения, какие запечатлены в евангельских писаниях?

Барбаций. Тверже, чем в то, что ты — человек. Авл. Я не какой-нибудь Апулей навыворот, чтобы подозревать во мне осла под человечесьей наружностью<sup>213</sup>!... Но веруешь

---

<sup>213</sup> В романе Апулея (II в. н. э.) «Золотой осел», где повествование ведется от первого лица, изображены приключения юноши, обращенного в осла. Поздняя античность и средневековье твердо верили в то, что Апулей

ли, что он тот самый мессия, которого предвосхищал ветхий Закон, которого сулили вещания пророков, которого столько веков ожидали иудеи? Барбаций. Для меня это бесспорно. Авл. Веруешь ли, что в учении его и жизни заключено все благочестие целиком? Барбаций. Да, верую.

Авл. Веруешь ли, что он поистине был схвачен иудеями при Понтий Пилате, связан, подвергнут заушениям, оплеванию, осмеянию, бичеванию и, наконец, распят на кресте, и на кресте же умер? Барбаций. Неколебимо.

Авл. Веруешь ли, что он не был повинен ни в каком проступке или прегрешении? Барбаций. Как же иначе! Верую в агнца непорочного.

Авл. Веруешь ли, что он все претерпел добровольно?

Барбаций. И даже с охотою, со страстным желанием, но — творя волю Отца.

Авл. Почему Отец пожелал подвергнуть такой страшной муке своего Сына — единственного, ни в чем не повинного и горячо любимого?

Барбаций. Чтобы этой жертвою примирить с собою нас, грешников, — чтобы впредь свои упования и надежду мы полагали в нем одном.

Авл. Почему бог попустил такому падению всего человеческого рода? И почему, попустив, не открыл иного пути к нашему исправлению?

Барбаций. Не человеческий разум, но вера убеждает меня, что никаким иным образом это не могло совершиться лучше или же с большею пользою для нашего спасения.

Авл. Почему этот род смерти он предпочел всем прочим?

Барбаций. Потому что в глазах мира этот род смерти был самым позорным; потому что казнь распятием жестока и продолжительна; потому что она-то и подобала Иисусу, который обрек свое тело всем мукам мира, чтобы все народы призвать к спасению, чтобы людей, погрязших в земных заботах, обратить к небесам. Для того, наконец, чтобы напомнить нам о медном змее<sup>214</sup>, которого некогда утвердил на шесте Моисей, дабы всякий, ужаленный змеею, возводил к нему взор и исцелялся; и чтобы исполнить слово пророка, который предрекал: «Скажите народам: господь царствует с древа!»<sup>215</sup>

Авл. Почему пожелал быть погребен, да еще со всем тщанием — омытый миррой и умащенный благовониями, в гробнице, заново высеченной из цельного, природного камня, и чтобы вход опечатали, и даже поставили стражу у входа?

Барбаций. Чтобы тем очевиднее было, что он поистине умер.

Авл. Почему не ожил тотчас?

Барбаций. По этой же самой причине. Если бы смерть была сомнительна, сомнительно было бы и воскресение, а он желал, чтобы оно было вернее верного.

Авл. Веруешь ли, что душа его нисходила в преисподнюю?

Барбаций. Киприан свидетель, что этого члена не было когда-то ни в Римском символе, ни в Символе восточных церквей<sup>216</sup>; не приводится он и у Тертуллиана<sup>217</sup>, старейшего

---

был могущественным магом и побывал в ослиной шкуре.

<sup>214</sup> На пути Израиля из Египта в Землю обетованную народ пал духом и стал роптать против бога и Моисея: «Зачем вывели нас из Египта? чтоб умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища!» Разгневанный бог наслал на Израиль ядовитых змеев; тогда народ стал просить Моисея заступиться за него перед богом. «И помолился Моисей о народе. И сказал господь Моисею: „Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив“ („Числа“, XXI, 4—9).

<sup>215</sup> «Псалтирь», ХСV, 10. В этом стихе из псалма два последних слова — фальсификация, благочестивый обман: их прибавив к библейскому тексту святой Юстин Мученик (II в.), самаритянин, писавший по-гречески. Хотя эта фальсификация очевидна каждому, церковь, наряду с подлинной редакцией, приняла и «редакцию» Юстина.

<sup>216</sup> Многие церкви, по преданию, основанные апостолами, имели свои Символы веры, именовавшиеся апостольскими и несколько отличные от иных, также апостольских; всего таких изводов апостольского символа насчитывается не менее шести; апостольский символ Римской церкви — один из них. Сочинение св. Киприана,

среди христианских писателей. Однако ж я и в это верую твердо — и оттого, что в пророчествах псалмопевца читаем: «Не оставишь души моей в преисподней»<sup>218</sup> и еще: «Господи! Ты вывел из ада душу мою», и оттого, что Петр-апостол в Послании первом (чья принадлежность никогда не вызывала сомнений), в главе третьей написал следующим образом: «Был умерщвлен во плоти, но ожил духом, коим проповедал и заключенным в темнице духам, сойдя к ним». Итак, я верую, что в преисподнюю он нисходил, но чтобы он терпел там муку, не верую нимало. Не для того, чтобы принять муку, он туда опускался, но ради нас, дабы сокрушить царство Сатаны.

Авл. Пока ничего нечестивого я не слышал. Значит, он умер, чтобы воззвать к жизни нас, мертвых во грехе. А ожил зачем?

Барбаций. Главных причин — три.

Авл. Какие? Назови.

Барбаций. Во-первых, чтобы подать несокрушимую надежду на воскресение. Далее, чтобы мы ведали: бессмертен и никогда не умрет тот, в ком мы полагаем опору своего спасения. Наконец, чтобы и мы, через покаяние умершие для грехов, через крещение сопребенные со Христом, были через его благодать призваны к новой жизни.

Авл. Веруешь ли, что тело, висевшее мертвым на кресте и ожившее во гробе, тело, которое видели и которого касались ученики, это самое тело вознеслось на небо?

Барбаций. Неколебимо.

Авл. Отчего пожелал он покинуть землю?

Барбаций. Дабы все мы любили его духовно и никто на земле не присваивал Христа себе одному, но все одинаково стремились бы душою к небу, зная, что глава и водитель наш там. Ведь ежели теперь люди испытывают такое самодовольство из-за цвета или покроя своего платья, а иные так хвастаются кровью или крайней плотью Христовой, или молоком святой Девы, можешь ты себе представить, что было бы, ежели бы он оставался на земле — носил платье, ел, разговаривал? какие пошли бы раздоры из-за телесных его особенностей?

Авл. Веруешь ли, что, одаренный бессмертием, он восседает в небесах одесную Отца?

Барбаций. Как же иначе! Ведь он господин всего сущего и совладыка всего отцовского царства. Он сам возвестил это ученикам и воочию явил это зрелище Стефану, своему мученику<sup>219</sup>.

Авл. Зачем явил?

Барбаций. Чтобы мы ничего и никогда не страшились, зная, какого могущественного имеем на небесах заступника и господина.

Авл. Веруешь ли, что в том же теле он вернется судить живых и мертвых?

Барбаций. Насколько я не сомневаюсь в совершившемся до сей поры и предреченном о Христе пророками, настолько ж не сомневаюсь и в исполнении всего, чего мы, следуя воле Христовой, должны ожидать в будущем. Первое пришествие совершилось в согласии с вещаниями пророков: пришел смиренный, чтобы нас наставить и спасти. Совершится и

на которое здесь и дальше ссылается Эразм («Изъяснение апостольского символа»), в действительности принадлежит не Киприану, а другому церковному писателю — Руфину (вторая половина IV в.).

<sup>217</sup> Квинт Септимий Флорент Тертуллиан (ок. 160 — ок. 240), выдающийся богослов и писатель раннего христианства; не был причислен к лику святых, потому что выступил против церкви и сперва примкнул к ереси монтанистов, а впоследствии сам сделался главою новой секты — тертуллианистов. Тем не менее труды Тертуллиана всегда оставались в идеологическом арсенале церкви.

<sup>218</sup> «Псалтирь», XV, 10. «Господи! Ты вывел...» — «Псалтирь», XXIX, 4.

<sup>219</sup> Стефан, по новозаветной традиции, — первый, кто принял добровольную смерть за веру в Христа. Его обвинили в богохульстве перед синедрионом (Высшим советом в Иерусалиме), он произнес речь в свое оправдание, и, когда договорил, «исполнился духа свитого и, возрев на небо, увидел славу божью и Иисуса, стоящего одесную бога» («Деяния апостолов», VI—VII).

второе: придет великий, облеченный славою Отца, и пред его судилищем предстанут все люди всех народов и состояний, будь то цари или простолюдины, греки или скифы, не те только, кого пришествие Христово застанет в живых, но и все, умершие от начала мира до того часа, вдруг оживут, каждый в прежнем теле, дабы взглянуть в очи судии. Будут там и блаженные ангелы, словно верные слуги, будут и бесы, ожидающие суда. Тогда он изречет с высоты свой необратимый приговор, который предаст вечным мукам дьявола с его приспешниками, дабы впредь они уже никому не могли причинить вреда, а благочестивых перенесет в царство небесное избавленными от всяких тягот.

Но срок этого пришествия он пожелал оставить от нас сокрытым.

Авл. Покамест никаких следов болезни. Перейдем к третьей ипостаси.

Барбаций. Как тебе угодно.

Авл. Веруешь в Духа святого?

Барбаций. Верую, что это истинный бог наравне с Отцом и Сыном. Верую, что этим Духом были исполнены те, кто передал нам книги Ветхого и Нового завета, и что без его помощи никому не достигнуть спасения.

Авл. Почему он зовется «Духом»?

Барбаций. Подобно тому как наши тела живут дыханием, святой Дух безмолвным своим веянием животворит души наши.

Авл. Нельзя ли называть «духом» Отца?

Барбаций. Отчего же? Конечно.

Авл. Но не смешиваются ли тогда ипостаси?

Барбаций. Нет, ибо Отец зовется «духом» оттого, что бестелесен; но это одинаково свойственно всем ипостасям — по их божественной природе. Третья же ипостась «духом» зовется оттого, что веет повсюду и неощутимо разливается по душам, подобно тому как над землями или над водами текут ветры.

Авл. Почему второй ипостаси наречено имя Сына?

Барбаций. По совершенству природы и подобию воли.

Авл. Сын более подобен Отцу, чем Дух святой?

Барбаций. По божественной природе — нет, и разве лишь в том ближе повторяет свойства Отца, что святой Дух исходит и от него.

Авл. Что же мешает Духу святому именоваться «Сыном»?

Барбаций. Вместе со святым Иларию<sup>220</sup> я нигде не могу прочесть, что он был рожден или имеет отца, но читаю лишь, что он «Дух» и что он «исходит».

Авл. Почему в Символе только Отец назван «богом»?

Барбаций. Потому что он, как я уже говорил, — единственный и исключительный творец всего сущего, источник всей божественности в целом.

Авл. Скажи яснее.

Барбаций. Нельзя указать такую вещь, чье начало не восходило бы к Отцу. Даже и то, что Сын и Дух святой — бог, приписывают воле Отца. Стало быть, особая власть, то есть всеобщая первопричина заключена в одном лишь Отце, который один не происходит ни от кого. А Символ можно понимать так, что имя бога отнесено не к одной ипостаси, но употреблено как родовое понятие, которое затем расчленяется посредством слов «Отец», «Сын» и «Дух святой». Единый бог — это обозначение божественной природы, охватывающее Отца, Сына и святого Духа, то есть все три ипостаси.

Авл. Веруешь ли во Святую церковь?

Барбаций. Нет<sup>221</sup>.

<sup>220</sup> Святой Иларий Пуатевинский (ок. 300—367) — латинский церковный писатель, полемизировавший с ересью арианства.

<sup>221</sup> В древних и потому авторитетных для Лютера изводах апостольского Символа пунктов (т. н. аз. «членов»), касающихся церкви и сонма святых, не было.

Авл. Что? Не веруешь?

Барбаций. Я верую, что существует Святая церковь, каковая есть тело Христово, иначе говоря — некое всемирное сообщество людей, согласных друг с другом в евангельской вере, почитающих единого бога-Отца, все свои упования полагающих в его Сыне и движимых его Духом; от этого сообщества отсекается всякий, кто совершит смертный грех.

Авл. Почему ты опасаясь сказать: «Верую во Святую церковь»?

Барбаций. Так учит меня святой Киприан — что веровать должно только в бога, в коем единственно все наши упования. А церковь, в собственном смысле слова, хоть и составлена лишь из добрых и достойных, но все же из людей, а люди из добрых могут сделаться дурными, могут и обмануть и сами обмануться.

Авл. Что ты думаешь о сонме святых?

Барбаций. Этот член у Киприана не затрагивается, хотя он подробно объясняет, чему в каких церквах придадут больше значения и чему меньше. Он заключает так: «Далее следует: „во Святую церковь, во отпущение грехов, в воскрешение сей плоти“. Некоторым кажется, что эта часть ничем не отлична от предыдущей, но лишь раскрывает и подкрепляет высказанное раньше. „Во Святую церковь“ — ибо церковь есть не что иное, как исповедание единого бога, единого Евангелия, единой веры, единой надежды, сопричастность тому же духу, тем же таинствам, коротко говоря, некая общность всех благ между всеми благочестивыми от начала мира до его конца, в точности подобная союзу меж членами одного тела, когда добрые действия одних идут на пользу всем прочим, и так до тех пор, пока члены тела живы. Но вне этого союза, если ты разорвал со святым сообществом и не примирился с ним, даже собственные благие дела не послужат тебе ко спасению. Потому и следует далее „во отпущение грехов“, что вне церкви никакого отпущения грехов нет, сколько бы человек ни изнурял себя покаянием, сколько бы дел милосердия ни творил. Лишь в церкви, не еретической, но Святой, соединенной духом Христовым, повторяю, только в церкви отпускаются грехи — сперва через крещение, а после крещения через покаяние и благодаря ключам, которые даны церкви.

Авл. Пока суждения всё здоровые. Веруешь ли в грядущее воскресение плоти?

Барбаций. Напрасно веровать во все прочее, если не веруешь в это, потому что это самое главное.

Авл. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «плоть»?

Барбаций. Человеческое тело, одушевленное человеческою душою.

Авл. Всякая ли душа вновь обретет свое тело, которое покинула бездыханным?

Барбаций. Да, то самое, откуда она улетела. Поэтому в Киприановом символе и прибавлено: «сей плоти».

Авл. Как возможно, чтобы тело, уже претерпевшее столько превращений, ожило в прежнем виде?

Барбаций. Тому, кто может сотворить из ничего все, что пожелает, — разве трудно ему будет вернуть к первоначальной природе то, что переменило свою форму? Я не вхожу в подробности, как именно это произойдет, но пообещавший это так правдив, что не может солгать, так могуществен, что кивком головы способен исполнить любое свое желание, — и с меня довольно.

Авл. А зачем понадобится тогда тело?

Барбаций. Чтобы весь целиком прославился вместе со Христом тот, кто здесь целиком был унижен и сокрушен ради Христа.

Авл. Что означает это прибавление: «И в жизнь вечную»?

Барбаций. Оно сделано, чтобы никто не заподозрил, будто мы оживем так, как оживают по весне лягушки, которым снова предстоит умереть. Наша смерть двоякого рода: мы умираем телом — и добрые и дурные одинаково — и душою; и смерть души — это грех. Но после воскресения благочестивые будут жить вечно и телом и душою. И тело уже не будет

подвластно ни болезням, ни старости, ни голоду, ни жажде, ни боли, ни утомлению, ни смерти, ни любым иным тяготам, но станет духовным и движимым лишь силою духа. И душу уже не омрачат никакие недуги, никакие скорби — она будет беспредельно наслаждаться высшим благом, которое есть бог. И напротив, нечестивые умрут навеки и телом и душою: и тело их станет бессмертным для вечных мук, и душа, неисцелимо изъязвленная грехами, лишена надежды на прощение.

Авл. Ты веруешь в это искренне и до конца?

Барбаций. Больше, чем в то, что ты со мною разговариваешь.

Авл. Я был в Риме и нахожу, что там не все веруют так чисто.

Барбаций. Если потрясти, то и в других местах найдешь многих, не столь твердых в вере.

Авл. Ежели по стольким трудным вопросам ты с нами заодно, что мешает тебе быть вполне нашим?

Барбаций. Это я от тебя хочу услышать. Сам себе я кажусь правоверным, и если жизнь свою за образец не выставляю, то, во всяком случае, стараюсь, чтобы она отвечала исповеданию.

Авл. Откуда ж такая война меж вами и правоверными?

Барбаций. Попробуй выяснить. Однако же, господин врач, если ты доволен этим вступлением, давай позавтракаем вместе, а после завтрака, на досуге, продолжишь свои расспросы<sup>222</sup>. Я предоставлю для осмотра обе руки. Ты сможешь исследовать выделения, как твердые, так и жидкие. И, наконец, если пожелаешь, произведешь полное рассечение груди, чтобы вернее обо мне судить.

Авл. Но сидеть с тобою за одним столом — тяжкий грех!

Барбаций. Но это в обычае у врачей — чтобы лучше определить, чего желают больные и в чем их заблуждения.

Авл. Но боюсь, как бы не сказали, что я мирволю еретикам.

Барбаций. Но нет ничего более святого, как мирволить еретикам!

Авл. Как это?

Барбаций. Разве Павел не мечтал подвергнуться отлучению ради иудеев, а они были намного хуже еретиков? И разве не мирволит тот, кто старается, чтобы человек из дурного сделался хорошим, из мертвого — живым?

Авл. Разумеется.

Барбаций. Так вот и ты мирволи и ничего не опасайся.

Авл. Никогда не слыхал, чтобы больной отвечал разумнее. Ладно! Веди меня завтракать!

Барбаций. Ты будешь принят, как подобает врачу, который явился к больному. Мы ублажим тело пищею, но лишь настолько, чтобы дух был по-прежнему способен к рассуждению.

Авл. Да будет так, и птицы да возвестят нам удачу.

Барбаций. Скорее рыбы: ты, наверно, забыл, что сегодня пятница.

Авл. Ну, это уж за пределами нашего Символа.

**&#915;&#917;&#929;&#927;&#925;&#932;&#927;&#923;&#915;&#921;&#913;, или &#927;&#935;&#919;&#924;&#913; 223**

<sup>222</sup> Эразм предполагал написать вторую часть «Исследования веры», но не исполнил своего намерения — «из-за неслыханно мерзких времен».

<sup>223</sup> Разговор стариков, или Повозка (греч.).





Евсей. Пампир. Полигам. Гликион 224  
[Возчики: Хуго и Хендрик]

Евсей. Это еще что за птички? Если ни душа, ни глаза меня не обманывают, — значит, это старинные мои собутыльники — Пампир, Полигам и Гликион. Ну да, они самые, сидят друг подле дружки!

Пампир. Эй, что уставился стеклянными глазами, колдун, — смотри не сглазь! Ну, подойди поближе, Евсей!

Полигам. Здравствуй, ненаглядный мой Евсей!

Гликион. Прими наилучшие пожелания, достойнейший!

Евсей. Здравствуйте и вы, все разом, потому что всех вас люблю одинаково! Какой бог нас соединил или какой случай, еще более благосклонный, чем бог? Ведь мы не встречались ни все вместе, ни по отдельности, по-моему, уже добрых сорок лет. Сам Меркурий своим кадуцеем<sup>225</sup> не мог бы свести нас удачнее! Что вы здесь делаете?

Пампир. Сидим.

Евсей. Вижу. Но зачем?

Полигам. Дожидаемся повозки, чтобы ехать в Антверпен.

Евсей. На ярмарку?

Полигам. Конечно. Но скорее поглазеть, чем по делам. Впрочем, есть у каждого и свое дело.

Евсей. И я туда же. Но что вам помехою, почему не едете?

Полигам. С возчиками никак не сговоримся.

Евсей. Да, у этих людей нрав нелегкий. А хотите, проведем их?

Полигам. Конечно, если возможно.

Евсей. Прикинемся, будто сейчас все уйдем пешком.

Полигам. Скорее они поверят, что раки полетят, чем нам, старикам, будто мы пустимся пешие в такой долгий путь.

<sup>224</sup> Все три имени значимы, и значение их связано с содержанием диалога: Пампир — по-гречески «все испытывавший», Полигам — «многоженец», Гликион — «сладкий, приятный». О значении имени Евсей уже говорилось в начале примечаний к «Благочестивому застолью».

<sup>225</sup> Кадуцей — жезл бога Гермеса (Меркурия), трость с обвившимися вокруг нее двумя змеями.

Гликион. Хотите послушать верное предложение?

Полигам. Еще бы!

Гликион. Сейчас они пьют, и чем дольше будут пить, тем больше риска, что где-нибудь по дороге вывалят нас в грязь.

Полигам. Если желаешь нанять трезвого возчика, надо прийти чуть свет.

Гликион. Чтобы поскорее добраться до Антверпена, сговорим-ка для нас четверых целую повозку. Расход, я думаю, не такой уже страшный. А что потеряем в деньгах, выгадаем в удобствах: будем сидеть свободнее и за общей беседой очень приятно скоротаем время.

Полигам. Гликион правильно советует; добрый попугчик сокращает путь. Да и разговор пойдет откровеннее, почти по греческой пословице<sup>226</sup>, с одной лишь разницей: говорить будем не с воза, а на возу.

Гликион. Уговорился, садитесь. Ах, какая радость, какое удовольствие — после такой долгой разлуки снова довелось свидеться со старыми и самыми близкими когда-то приятелями!

Евсевий. И мне чудится, будто я снова помолодел.

Полигам. Сколько лет прошло, как мы вместе жили в Париже?

Евсевий. Если я не сбился со счета, не меньше сорока двух.

&#928;ампир. Тогда мы все выглядели ровесниками.

Евсевий. Да мы примерно и были в одних годах, а если и была разница, то самая незначительная.

&#928;ампир. А теперь какое различие! Гликион совсем не состарился, зато Полигама можно принять за его дедушку!

Евсевий. Да, так оно и есть. В чем же дело?

&#928;ампир. В чем дело? Либо один остановил колесницу и стоял на месте, либо другой вырвался далеко вперед.

Евсевий. Ну нет, — как бы люди ни медлили, годы бегут без остановки.

Полигам. Скажи по совести, Гликион, сколько лет у тебя за плечами?

Гликион. Больше, чем дукатов в кошельке. Полигам.

Сколько все-таки?

Гликион. Шестьдесят шесть.

Евсевий. Поистине &#932;&#953;&#952;&#969;&#957;&#959;&#965;&#947;&#942;&#961;&#945;&#962;<sup>227</sup>, как говорится!

Полигам. Но какими же средствами ты задержал старость? Ни седины нет, ни морщин, глаза блестят, все зубы целы, лицо свежее, тело как налитое!

Гликион. Я открою свои средства, но при одном условии — чтобы и ты открыл свои, которыми пришпорил старость.

Полигам. Хорошо, согласен. Итак, из Парижа ты куда направился?

Гликион. Прямо на родину. С год побездельничал, а после задумался, какой образ жизни для себя избрать. От этого выбора, я уверен, зависит очень многое. И вот я приглядывался, что приносит людям удачу, а что нет.

Полигам. Сколько в тебе разума оказалось — прямо удивительно! Ведь в Париже не было никого ветренее тебя.

Гликион. Тогда возраст позволял. И вдобавок, мой дорогой, не без чужой помощи принялся я дома за дела.

---

<sup>226</sup> Во время празднеств в честь Диониса в Афинах по улицам разезжали повозки, с которых острословы высмеивали и бранили всех подряд, невзирая на лица и положения; отсюда пословица о полной откровенности.

<sup>227</sup> Тифонова старость (греч.). Тифон — легендарный царь Трояды, возлюбленный богини Зари (Эос), которая выпросила для него у Зевса бессмертие, но вечную молодость выпросить не догадалась.

Полигам. То-то я подивился.

Гликион. Прежде чем к чему бы то ни было приступить, я советовался с одним из наших горожан, человеком пожилым и многоопытным, безусловно честным, по единодушному свидетельству всего города, а по моему мнению — и на редкость счастливым.

Полигам. Умница!

Гликион. По его совету я женился.

Полигам. Взял с хорошим приданым?

Гликион. Нет, не очень богатую и в точности по пословице — «Богатство — не счастье»;<sup>228</sup> я тоже был небогат. Все вышло как раз так, как мне хотелось.

Полигам. Сколько лет тебе было?

Гликион. Около двадцати двух.

Полигам. Счастливец!

Гликион. Не думай, однако ж, будто я целиком в долгу у счастливого случая.

Полигам. То есть как?

Гликион. Сейчас объясню. Другие, кого полюбят, ту и выберут, а я сперва выбрал по здравому размышлению, а потом уж полюбил, да и женился не ради удовольствия, а ради потомства. Жили мы с нею душа в душу, но прожили лет восемь, не больше.

Полигам. И ты остался бобылем?

Гликион. Какой там — с четверкою ребятишек: двое сыновей и две дочери.

Полигам. Исполняешь ли какую-нибудь должность или в общих делах не участвуешь?

Гликион. Общественная должность у меня есть. Могла быть и поважнее, но я выбрал такую, чтобы придавала мне весу лишь настолько, насколько необходимо, зато и хлопот бы доставляла как можно меньше. Таким образом, никто не может меня упрекнуть, что я живу только для себя; а случается, что и помощь могу оказать друзьям. Этим я довольствуюсь и ничего большего никогда не искал. А должность свою всегда исправлял так, чтобы прибавить ей весу и значения. На мой взгляд, это куда пристойнее, чем придавать себе весу за счет высокой должности.

Евсевий. Совершенно справедливо!

Гликион. Так я и состарился среди своих земляков, окруженный общею любовью.

Евсевий. Это до крайности трудно, если только не попусту сказано: «У кого нет врагов, у того и друга быть не может». И еще: «Зависть — всегдашняя спутница удачи».

Гликион. Зависть обычно сопутствует крупной удаче, умеренность всегда в безопасности. И потом я постоянно заботился, чтобы моя выгода не была следствием чужой невыгоды. Я всегда ценил то, что греки называют «умом»;<sup>229</sup> никогда не вмешивался ни в какие хлопоты, но особенно сторонился таких, которые нельзя было принять на себя без обиды для многих. И если нужно помочь другу, я помогаю так, чтобы никто по этой причине не сделался моим недругом. А если возникнет вражда, я либо утишаю ее извинениями, либо гашу услугами, либо делаю вид, что ничего не замечаю, и жду, пока она сама захиреет. От спора всегда уклоняюсь: если случается спор, предпочитаю жертвовать имуществом, но не дружбою. И вообще играю роль некоего Митиона-Миролюбца<sup>230</sup>: никого не браню, всем улыбаюсь, всех ласково приветствую, ничьим намерениям не противоречу, ничьих правил

<sup>228</sup> Себе ровню (греч.).

<sup>229</sup> Досуг (греч.).

<sup>230</sup> Митион (от латинского *mitis* — «мягкий») — вместо Микион: так зовется в комедии Теренция «Адельфы» снисходительный и мягкосердечный старик

или поступков не осуждаю, ни перед кем не чванюсь, согласен, что каждому всего краше свое. Что хочу сохранить в молчании, того не доверяю никому. В чужие тайны проникнуть не стараюсь, а если что узнаю случайно, никогда не выболтаю. Об отсутствующих либо молчу, либо говорю дружелюбно и вежливо: большая часть раздоров между людьми рождается от невоздержности на язык. Чужих ссор не возбуждаю и не раздуваю, но, если только открывается случай, мирю врагов или хотя бы смягчаю их вражду. Такими приемами я до сих пор избегал ненависти сограждан и поддерживал их благоволение.

‡ампир. А без жены не тяжело?

Гликион. За всю жизнь не было у меня потери горше, чем смерть супруги. Я бы так хотел, чтобы мы состарились вместе и вместе радовались, глядя на наших детей. Но раз высшие боги определили по-иному, я решил, что так оно лучше для нас обоих; незачем, рассудил я, терзать себя пустою печалью, тем более что усопшей от этого пользы никакой.

Полигам. И никогда не приступало желание попытаться счастья еще раз, тем более что первый брак был такой счастливый?

Гликион. Приступало, но ради детей я женился и не женился тоже ради них.

Полигам. Но ведь это жалости достойно — лежать в постели одному все ночи подряд!

Гликион. При желании ничто не трудно. А потом сочти, сколько выгод в одиночестве. Есть люди, которые во всем отыскивают одни неудобства, таков, по-видимому, был и Кратет, которому приписывается эпиграмма<sup>231</sup>, исчисляющая житейские бедствия; не мудрено, это этим людям по сердцу его слова: «Самое лучшее — не родиться вовсе». Мне ближе и милее Метродор, выискивающий повсюду, что есть хорошего: так жизнь слаще. Вот и я тоже так настроил душу, чтобы ничего слишком не домогаться, ни к чему не питаться слишком горячей неприязни. Тогда если что случается доброго, я не зазнаюсь и не чванюсь, а если что ускользнет из рук, не очень страдаю.

‡ампир. Да ты истинный философ, почище самого Фалеса, ежели на это способен!

Гликион. Если душа омрачится неприятным чувством, а это в жизни смертных бывает очень нередко, я решительно гоню его прочь, будь то гнев или незаслуженная обида.

Полигам. Но есть такие обиды, которые и самого кроткого приведут в негодование; частый тому пример — грубость слуг.

Гликион. Я ничему не позволяю засесть в душе надолго. Если можно исправить дело, исправляю, а если нет, говорю себе: «Что мне за польза хмуриться и злиться — ведь от этого к лучшему ничего не переменится». Иначе говоря, я позволяю разуму быстро добиться от

<sup>231</sup> Кратет Фиванский (вторая половина IV в. до н. э.) был философом кинической школы, учеником знаменитого Диогена. Эпиграмма, о которой здесь идет речь, принадлежит не ему, а поэту IV—III вв. до н. э. Посидиппу. Так как взгляды Гликиона — это весьма важное изложение положительной программы Эразма, мы приведем полностью и стихотворение Посидиппа, и ответ на него поэта Метродора (IV в. н. э.).

Посидипп:

О жизни. В жизни какую избрать нам дорогу? В общественном месте —

Тяжбы да спор о делах; дома — своя суета; Сельская жизнь многотрудна; тревоги полно мореходство.

Страшно в чужих нам краях, если имеем мы что, Если же нет ничего, — много горя; женатым заботы

Не миновать, холостым — дни одиноко влачить; Дети — обуза, бездетная жизнь неполна; в молодежи

Благоразумия нет, старость седая слаба. Право, одно лишь из двух остается нам, смертным, на выбор:

Иль не родиться совсем, или скорей умереть.

Метродор:

О жизни. В жизни любая годится дорога. В общественном месте —

Слава и мудрость в делах; дома — покой от трудов; В селах — природы благие дары, в мореплаванье — прибыль,

В крае чужом нам почет, если имеем мы что, Если же нет ничего, мы одни это знаем; женитьба

Красит очаг, холостым — более легкая жизнь. Дети — отрада, бездетная жизнь — без забот. Молодежи

Сила дана, старики благочестивы душой. Вовсе не нужно одно нам из двух выбирать — не родиться

Или скорей умереть; всякая доля блага.

Перевод А. В. Булуменау

меня того признания, которого спустя немного все равно добьется время. Право, нет такого огорчения, которому я позволил бы лечь со мною в постель.

Евсевий. Ничего удивительного, что ты не стареешь, храня такое расположение духа.

Гликион. И еще признаюсь (чтобы не утаить от друзей ничего): я всегда особенно остерегался любого бесчестного поступка, который мог бы опозорить меня или моих детей. Нет ничего беспокойнее нечистой совести. Если чувствую за собой какую-нибудь вину, не лягу спать, пока не примирюсь с богом. Источник подлинной безмятежности, или, если выразиться по-гречески, *εὐφροσύνη*; — это согласие с богом. Тем, кто ведет такую жизнь, и люди бессильны повредить всерьез. Евсевий. А страх смерти никогда не мучит? Гликион. Не в большей степени, чем заботит день рождения. Я знаю, что смерти не миновать. Страх перед нею может, пожалуй, отнять несколько дней жизни, но прибавить, во всяком случае, ничего не может. Пусть уж об этом тревожатся боги; а я тревожусь лишь об одном — чтобы жить достойно и приятно. Ибо лишь тогда жизнь приятна, когда она достойна.

Эмпир. Но я бы состарился от скуки, если бы пробел столько лет в одном городе безвыездно, доведись мне жить хотя бы и в Риме!

Гликион. Конечно, перемена мест — немалое удовольствие, однако же дальние путешествия не только прибавляют знаний, но и чреваты бесчисленными опасностями. Мне представляется более надежным объезжать мир по карте, и думается, что из сочинений историков я узнал и увидел даже и побольше, чем если б, следуя примеру Улисса, целых двадцать лет носился по всем морям и землям. Есть у меня именице, не дальше чем в двух милях от города. Там время от времени из горожанина я становлюсь мужиком и, отдохнувши, возвращаюсь в город незнакомцем, чужеземцем — принимаю приветствия и отвечаю на них так, словно приплыл домой с недавно открытых островов.

Евсевий. А лекарствами здоровье не укрепляешь? Гликион. С врачами знакомство не вожу. Никогда не отворял себе кровь, не глотал пилюль, не пил отваров. Если вдруг почувствую слабость, гоню ее прочь умеренностью в пище или деревенским воздухом. Евсевий. А ученые занятия совсем забросил? Гликион. Нет, ведь это первая услада в жизни. Но я именно услаждаю, а не изнуряю себя занятиями. Впрочем, для удовольствия ли я занимаюсь или для житейской пользы, главное — что не напоказ. После еды либо сам читаю, либо слушаю чтеца и никогда не провожу за книгами больше часа; потом поднимаюсь, беру лютню и, медленно прогуливаясь по комнате, напеваю или повторяю про себя то, что прочел, а если рядом случится гость, пересказываю ему; потом возвращаюсь к книге.

Евсевий. Скажи мне по чести, неужели ты не ощущаешь ни одной из тягот старости, которым, как говорится, числа нет?

Гликион. Сон стал похуже, память не такая цепкая, если нарочно не напрягать. Ну, вот я и сдержал слово — открыл вам все магические средства, которыми поддерживаю свою молодость. Теперь пусть Полигам так же откровенно поведает, откуда к нему такая ранняя старость.

Полигам. От верных друзей ничего не скрою.

Евсевий. К тому же дальше наших ушей твой рассказ не уйдет.

Полигам. Как мало отращения к Эпикуру испытывали мы в Париже, вы знаете сами.

Евсевий. Да, помним, конечно. Но мы полагали, что эти замашки ты оставил в Париже вместе с юностью.

Полигам. Из многих девчонок, которых я там любил, одну я увез с собою домой. Она была беременна.

Евсевий. И привез в отцовский дом?

Полигам. Прямохонько! Но солгал, будто это супруга кого-то из моих друзей и он вскоре за нею приедет.

Евсевий. И отец поверил?

Полигам. Четырех дней не прошло, как он уже все пронюхал. Пошли жестокие ссоры. Но и тем временем я не переставал таскаться по пирушкам, играть в кости и вообще не

потерял вкуса к низменным забавам. Что много говорить? Отец бранился, не умолкая, кричал, что не желает кормить таких курочек-француженок в своем доме, и все угрожал родительским проклятием, — тогда я ушел в изгнание: вместе с курочкою переселился петушок в другой город. А она мне родила нескольких цыплят.

— А деньги откуда брались? Полигам. Кое-что потихоньку давала мать, а кроме того, долгов наделал уйму.

Евсей. И еще находились такие дураки, чтобы ссужать тебе в долг?

Полигам. Есть люди, которые никому не ссужают с большей охотою.

— А что же в конце концов?

Полигам. В конце концов, когда отец уже не на шутку готов был меня проклясть, вмешались друзья и примирили воюющих на тех условиях, чтобы я взял в жены девушку из нашего города, а с француженкою развелся.

Евсей. А он а была тебе женой?

Полигам. Уговаривались мы с нею на будущее, но в одну постель легли не откладывая.

Евсей. Как же удалось с нею развестись?

Полигам. После я узнал, что у моей француженки есть муж-француз, от которого она сбежала.

Евсей. Значит, теперь ты женат?

Полигам. Женат. В восьмой раз.

Евсей. В восьмой? Да, вещь дали тебе имя, Полигам-Многоженец. Верно, все жены умирали бездетными.

Полигам. Наоборот, не было ни одной, чтобы не оставила щенят в моем доме.

Евсей. По мне — так лучше восемь несусек, чтобы клали яйца в моем доме. И не надоела тебе полигамия?

Полигам. До того надоела, что умри нынче эта восьмая, я б послезавтра взял девятую. Нет, мне только одно досадно, — что нельзя иметь по две или по три жены разом, а у петуха вон сколько кур под началом — и пожалуйста.

Евсей. Теперь я не удивляюсь, петух, что ты такой тощий и такой старый. Ничто так не подгоняет старость, как разнузданное пьянство, неумеренность в любовных удовольствиях и ненасытная похоть. Кто же, однако, кормит твою семью?

Полигам. После смерти родителей осталось скромное состояние, и сам работаю не покладая рук.

Евсей. С науками, стало быть, распрощался бесповоротно?

Полигам. Да, как говорится, с коня пересел на осла, семь свободных искусств променял на одно ремесло.

Евсей. Бедный, столько раз ты вдовел, столько раз носил траур!

— А олигам. Никогда я не вдовел дольше десяти дней, и всегда новая супруга освобождала меня от старого траура. Вот вам, честно и откровенно, итог моей жизни. Теперь хорошо бы, если бы и Пампир рассказал нам свою историю. Ему преклонный возраст, как видно, не в обузу, а ведь, если не ошибаюсь, он на два или три года старше моего.

Пампир. Конечно, расскажу, раз нечем заполнить досуг, кроме как таким вздором.

Евсей. Что ты! Нам будет приятно тебя послушать.

Пампир. Едва я вернулся домой, тут же старик-отец принялся требовать, чтобы я приискал себе какое-нибудь доходное занятие, и после долгих обсуждений я выбрал торговлю.

Полигам. Странно, что такой образ жизни привлек тебя больше всякого другого.

Пампир. От природы я был жаден до новых впечатлений, хотел увидеть чужие земли и города, узнать чужие языки и нравы, а наилучшие возможности для этого давала, как мне казалось, торговля. К тому ж из обилия новых сведений рождается опытность, благоразумие.

Полигам. Но горестное благоразумие: ведь за него большею частью надо платить слишком дорого.

Пампир. Не спорю. Итак, отец отсчитал мне изрядную сумму, чтобы, с изволения

Геркулеса и с милостивой поддержкою Меркурия, я приступил к делу. Одновременно стали мне сватать невесту с громадным приданым и такую красавицу, что она и бесприданницею могла бы выйти за кого угодно.

Евсей. И успешно ты торговал?

Пампир. Так успешно, что не довез до дому ни барыша, ни отцовской ссуды.

Евсей. В кораблекрушение, верно, попал.

Пампир. Да, в кораблекрушение. Наскочили на утес, губительнее всякой Малеи<sup>232</sup>.

Евсей. В каком море этот утес и как он зовется?

Пампир. Море назвать тебе не могу, а утес, печально прославленный гибелью многих и многих, зовется по-латыни «Кости». Как вы именуете его по-гречески, не знаю.

Евсей. Ах ты глупец!

Пампир. Но еще глупее мой родитель, который доверил столько денег мальчишке.

Гликион. Что же ты сделал потом?

Пампир. Делать уже было нечего, и я стал подумывать, не удавиться ли мне.

Гликион. Неужели отец был совершенно неумолим? Ведь деньги можно и снова нажить, а первая провинность всегда и повсюду прощается.

Пампир. Ты, вероятно, прав, но тем временем я, несчастный, лишился невесты. Родители девушки, как узнали, с чего я начал, тут же расторгли помолвку. Я был влюблен без памяти.

Гликион. Жаль мне тебя. И что ты решил?

Пампир. Что остается решать, когда все пропало? Отец меня проклял, деньги погибли, отовсюду я только и слышал: «Кутила! Мот! Расточитель!» Коротко говоря, я всерьез раздумывал, удавиться мне или уйти в монастырь.

Евсей. Жестокое решение. Но я вижу, что ты выбрал смерть помягче.

Пампир. Наоборот, я выбрал то, что мне казалось тогда самым жестоким: до такой степени я себя ненавидел.

Гликион. А ведь очень многие уходят в монастырь, чтобы жить сладко и беззаботно.

Пампир. Наскреб я денег на дорогу и тайно бежал подальше от отечества.

Гликион. Куда именно?

Пампир. В Ирландию. Там я сделался каноником, из числа тех, что снаружи льняные, внутри шерстяные. <sup>233</sup>

Гликион. Значит, там и зимовал, спрятавшись от холода в шерсти?

Пампир. Нет, побыл с ними два месяца и уплыл в Шотландию.

Гликион. Что тебе у них не понравилось?

Пампир. Только одно: устав, на мой взгляд, был слишком мягок — не по заслугам тому, кому надо бы удавиться, и не один раз.

Евсей. Что ты назначил себе в Шотландии?

Пампир. Из льняного обернулся кожаным — у картезианцев<sup>234</sup>.

Евсей. Эти люди полностью умели для мира.

Пампир. Да, так мне представлялось, когда я слышал их песнопения.

Гликион. Как? Они и после смерти поют? Сколько месяцев ты провел у этих шотландцев?

Пампир. Без малого шесть.

---

<sup>232</sup> Мыс Малея — юго-восточная оконечность полуострова Пелопоннес. Близ него часто гибли морские суда.

<sup>233</sup> То есть вступил в обитель черных (уставных) августинских каноников (как уже сказано выше, к этому ордену принадлежал и сам Эразм), которые носили льняную рясу поверх шерстяной рубахи.

<sup>234</sup> Картезианцы в те времена одевались в рясу из кожи.

Гликион. Каково постоянство!

Евсевий. Что тебе там пришлось не по нраву?

Амбир. Их жизнь показалась мне слишком вялой и медлительной. Вдобавок, я повстречал многих, пошатнувшихся в уме, — от одиночества, я полагаю. А я и сам не слишком-то был тверд в уме и опасался, как бы совсем не спятить.

Полигам. И куда ты улетел?

Пампир. Во Францию. Там я нашел монахов, черных с головы до пят, — из ордена святого Бенедикта<sup>235</sup>. Цветом платья они свидетельствовали, что погружены в траур в этом мире. Среди них были и такие, что вместо верхнего платья надевали рубаху из козьей шерсти, редкую, вроде сети.

Гликион. Тяжкое истязание плоти!

Пампир. У них я оставался одиннадцать месяцев.

Евсевий. А что помешало остаться навсегда?

Пампир. Я нашел у них больше пустых церемоний, чем истинного благочестия. Кроме того, я слышал, что есть другие, которые живут намного более свято; их вернул к строгим правилам Бернад<sup>236</sup>, темное платье они переменили на белое. Там я провел десять месяцев.

Евсевий. И что не понравилось?

Пампир. Ничего в особенности; они оказались добрыми товарищами. Но не давала покоя греческая пословица: *«Безопаснее быть монахом, чем жить в мире»*.<sup>237</sup> И я решил либо вообще не быть монахом, либо стать образцовым монахом. Знал я, что существуют некие бригиттинцы<sup>238</sup>, люди словно с небес спустившиеся, к ним я и направился.

Евсевий. И сколько месяцев пробыл?

Пампир. Два дня, да и то неполных. Гликион. Так полюбился тебе их образ жизни? Амбир. Они принимают только тех, кто сразу связывает себя обетом. А я еще не настолько лишился рассудка, чтобы покорно надеть узду, которую после никогда уже не сбросишь. И всякий раз, как я слышал пение монахинь, сердце терзала память о потерянной невесте.

Гликион. А потом что?

Пампир. Душа алкала чистоты и нигде не могла насытиться. Странствуя, набрел я как-то на крестоносную братию. Знамение креста очень меня привлекало, но пестрота затрудняла выбор: на одних был белый крест, на других зеленый, на третьих разноцветный; у одних простой, у других двойной, у иных даже четверной и всевозможных иных очертаний. Чтобы ничего не пропустить, я перепробовал почти все. Но на деле убедился, что носить крест на плаще или на рубахе — это одно, а в сердце — совсем-совсем другое. Наконец,

<sup>235</sup> Святой Бенедикт из Нурсии в Средней Италии (480 — ок. 542) был основателем первого в Западной Европе монашеского ордена и первых монастырей.

<sup>236</sup> Бернад Клервоский, едва ли не самый авторитетный церковный деятель и писатель первой половины XII в., главный вдохновитель Второго крестового похода, был одновременно и реформатором монашества. Черепашье мясо либо ешь досыта, либо не ешь вовсе, — Греки считали, что черепашье мясо в большом количестве полезно, а в малом — вызывает рези в животе.

<sup>237</sup> Черепашье мясо либо ешь досыта, либо не ешь вовсе.

<sup>238</sup> Орден, основанный святой Бригиттой Шведской (ок. 1302—1373), имел монастыри преимущественно на севере Европы (Швеция, Дания, Норвегия, Померания). Стр. 233...набрел я как-то на крестоносную братию. — Изображение креста на одежде и на латах носили все (или почти все) рыцарствующие монахи. Каждый орден отличался от всех других формой или цветом креста.



истомившись в поисках, я рассудил так: чтобы ухватить всю святость разом, подамся-ка я в Святую землю и вернусь домой, сгибаясь под грузом святости.

Полигам. И отправился в Святую землю?

Пампир. Конечно!

Полигам. А деньги на дорогу откуда?

Пампир. Удивительно, что тебе только сейчас пришло в голову спросить про деньги, а не гораздо раньше. Но ведь ты знаешь пословицу: «Святая земля не прощает ни бедности, ни глупости, ни лени, ни жадности, ни зависти, ни гордыни, ни тщеславия, ни злобы, ни ненависти, ни клеветы, ни лжи, ни коварства, ни измены, ни предательства, ни трусости, ни трусости»<sup>239</sup>.

Гликион. Что же это за искусство или ремесло, которое ты с собою носил?

Пампир. Хиромантия.

Гликион. Где ты ее изучил?

Пампир. Что тебе за разница!

Гликион. А кто был твоим наставником?

Пампир. Тот, кто всему научит, — пустой желудок. Я открывал прошедшее, будущее и настоящее.

Гликион. И действительно знал?

Пампир. Ничего подобного! Но угадывал смело и, вдобавок, ничем не рискуя, потому что плату брал вперед.

Полигам. И это такое смехотворное ремесло могло тебя прокормить?

Пампир. Могло, и даже не одного, а с двумя слугами. Так много повсюду дураков и дур. Но на пути в Иерусалим я пристроился к свите одного богатого вельможи; ему было уже семьдесят лет, и он вбил себе в голову, что не сможет умереть спокойно, если не посетит наперед Иерусалим.

Евсевий. А дома оставил жену?

Пампир. И шестерых детей.

Евсевий. Ох, нечестивое благочестие! Но ты и вправду возвратился святым?

Пампир. Сказать тебе правду? Еще хуже, чем уехал.

Евсевий. Стало быть, сколько я понимаю, любовь к святости улетучилась?

Пампир. Наоборот, разгорелась еще жарче. Я вернулся в Италию и поступил в военную службу.

Евсевий. Вот как ты охотился за благочестием — на войне? Но что может быть преступнее войны?

Пампир. Тогда шла святая борьба.

Евсевий. С турками, наверно?

Пампир. Нет, еще более святая, как нам внушали.

Евсевий. Какая же?

Пампир. Юлий Второй бился с французами<sup>240</sup>. Кроме того, военная служба соблазняла меня возможностью многое узнать.

Евсевий. Многое, но дурное.

Пампир. Это я понял впоследствии. И вдобавок — военная жизнь суровее монастырской.

Евсевий. Ну, а затем что?

Пампир. Я уже начинал колебаться: то ли снова вернуться к торговле, то ли продолжать погоню за неуловимой святостью. И вдруг я подумал: а нельзя ли их соединить?

---

<sup>239</sup> Искусство повсюду прокормит (греч.).

<sup>240</sup> Римский папа Юлий Второй (Джюльиано делла Ровере) начал войну с Францией в 1511 г. (французы укрепились в Северной Италии, а папа стремился вытеснить их оттуда). Борьба шла с переменным успехом и прервалась лишь со смертью папы (1513 г.).

Евсевий. Как? Чтобы быть и купцом и монахом одновременно?

Ампир. Вот именно. Нет ничего благочестивее нищенствующих орденов и, вместе с тем, ничего более сходного с торговою братией. Они скитаются по всем морям и землям, многое видят и слышат, вхожи во все дома — и к простолюдинам, и к знати, и к царям.

Евсевий. Да, но они не торгуют.

Ампир. Нередко еще и поудачливее нашего.

Евсевий. И какой орден ты выбрал?

Ампир. Все перебрал.

Евсевий. И ни один не понравился?

Ампир. Наоборот, все очень понравились, да только нельзя было сразу пуститься в торговлю. Я нисколько не сомневался, что очень долго придется драть глотку в хоре, прежде чем мне доверят настоящее дело. Тогда я стал думать, как бы поймать на крючок должность аббата. Но, во-первых, Делия благосклонна не ко всем, а во-вторых, такая ловля часто затягивается надолго. И вот, растратив таким образом восемь лет, я вдруг получаю весть о смерти отца и еду домой. По совету матери я женился и опять принялся за торговлю.

Гликион. Объясни мне, пожалуйста: ты столько раз менял платье и словно бы превращался в новое, иное, чем раньше, существо, — как же тебе удалось сохранить собственное лицо?

Ампир. В точности так же, как актерам, которые за одно представление нередко меняют по нескольку масок.

Евсевий. Нет такого образа жизни, которого бы ты не испытал, — так скажи честно, какой из них, по-твоему, всего лучше?

Ампир. Не всякому годится всё подряд. Что до меня, то нынешняя моя жизнь для меня самая лучшая.

Евсевий. Но торговля сопряжена со многими неудобствами.

Ампир. Это так. Но ведь ни один образ жизни не свободен от неудобств. Я стараюсь украсить ту Спарту, которая выпала мне на долю... Теперь остался Евсевий. Он, конечно, не сочтет за труд показать друзьям какую-нибудь сцену из своей жизни.

Евсевий. Хотя бы и всю комедию, ежели угодно. Действий в ней не много.

Гликион. Нам будет очень приятно.

Евсевий. Возвратившись к себе в город, я год раздумывал, какой образ жизни хотелось бы мне избрать, и вместе с тем изучал себя самого — к какой жизни я склонен или пригоден. Тем временем предложили мне бенефиций (так это у них зовется)<sup>241</sup>, и довольно доходный; я его принял.

Гликион. Эта жизнь у большинства людей пользуется недоброй славой.

Евсевий. А по-моему, если судить здраво, она вполне привлекательна и даже завидна. Как вы полагаете — разве это не удача, и к тому же большая, если, точно с небес, на тебя сыплется столько благ и преимуществ — высокое положение, красивый и хорошо устроенный дом, изрядный годовой доход, почетный круг друзей, наконец, храм, в котором ты всегда волен молиться и служить богу?

Ампир. Мне в священниках отвратительны роскошь и постыдная привязанность к сожительницам. И еще то, что почти все они — враги наук.

Евсевий. Я не на то смотрю, как поступают другие, а на то, как должно поступать мне. И присоединяюсь к лучшим, раз уже не могу исправить худших.

Полигам. Так ты и прожил все эти годы?

Евсевий. Да, не считая четырех лет, которые провел в Падуе.

Полигам. Зачем?

---

<sup>241</sup> Бенефиций — в католической церкви должность, приносящая доход. Это латинское слово, первоначально означавшее «благодеяние», приобрело новое значение лишь в средние века, отсюда презрительная оговорка Евсевия: «так это у них зовется».

Евсевий. Полтора года посвятил занятиям медициной, остальное время — богословию.

Полигам. Это еще к чему?

Евсевий. Чтобы лучше управлять собственной душой и телом, а иногда и друзьям приносить помощь. Я ведь и проповедую иногда в меру своего ума. Вот как я живу, очень тихо и спокойно, довольствуясь единственным бенефицием, ничего сверх этого не ищу, а если бы и предложили, то отказался бы.

Пампир. Если бы узнать, что поделявают остальные наши товарищи, с которыми мы были дружны в ту пору!

Евсевий. О некоторых я кое-что мог бы рассказать. Но смотри-ка, мы уже подъезжаем к городу! Знаете что? Остановимся-ка все в одной гостинице и там, на досуге, поговорим всласть обо всех старых приятелях.

Возчик Хуго. Эй, ты, кривой, где только такую пакость подобрал наместо поклажи?

Возчик Хендрик. Нет, ты сперва скажи, куда везешь этот бардак, пропойца несчастный!

Хуго. Надо было этих остылых старикашек вывалить где-нибудь в крапиву, чтобы разгорячились.

Хендрик. Нет, уж ты сперва позаботься опрокинуть свою ораву в какую-нибудь топь поглубже — пусть остынут, а то слишком уж горячие.

Хуго. Этого у меня в заводе нет, чтобы опрокидывать кладь.

Хендрик. Нет? А почему ж я видел недавно, как ты вышвырнул шестерых картезианцев прямо в трясины, так что падали белыми, а поднялись черными? А ты еще хохотал, будто подвиг какой совершил.

Хуго. И поделом: они всё храпели и чуть было не раздавили мою повозку — такие, право, тяжелые.

Хендрик. А мои старики чудо как облегчают повозку — всю дорогу болтали без умолку. Никогда лучше не встречал!

Хуго. Но ведь ты обыкновенно этаких седоков не жалуешь.

Хендрик. Да, но это хорошие старикашки.

Хуго. С чего ты это берешь?

Хендрик. А с того, что они три раза подносили мне пива, да какого забористого!

Хуго. Ха-ха-ха! Ну, тогда так — тебе они хороши.

**&#928;Т&#937;&#935;&#927;&#928;&#923;&#927;&#933;&#931;&#921;&  
#927;&#921; 242**



**Конрад. Бернардин. Пастырь. Хозяин. Хозяйка**

Конрад. Но пастырю приличествует гостеприимство!

Пастырь. Я овчий пастырь и волков не люблю.

Конрад. Но к распутным волчиham, уж верно, относишься помягче. За что, однако, такая неприязнь к нам? Даже в ночлеге нам отказываешь!

Пастырь. Изволь, скажу: если вы углядите в моем доме курочку или птенчиков, завтра ж за проповедью выставите меня прихожанам на посмеяние<sup>243</sup>. Вот всегдашняя ваша благодарность за гостеприимство.

Конрад. Не все мы одинаковы.

Пастырь. Будьте себе хоть самые распрекрасные — я бы, пожалуй, и святому Петру не доверился, если бы он явился ко мне в таком наряде.

Конрад. Ну, коли так, укажи, по крайней мере, где еще можно пристать на ночь.

Пастырь. В селе есть заезжий двор.

Конрад. Под каким знаком?

Пастырь. На вывеске увидите собаку, уткнувшую нос в горшок; дело происходит на кухне. И еще: у счетной доски сидит волк.

Конрад. Знак недобрый.

Пастырь. Приятного вам отдохновения.

Бернардин. Что за пастырь такой? Хоть голодом помри — ему все равно!

Конрад. Да, если он и овец своих пасет не лучше, не очень-то они, должно быть, тучные.

Бернардин. В дурных обстоятельствах необходимо доброе решение. Что нам делать?

Конрад. Надо отбросить робость.

Бернардин. Верно! Коли нужда придавила — стыд не на пользу<sup>244</sup>.

<sup>243</sup> Папские привилегии давали францисканцам право проповедовать, исповедовать и отпускать грехи. Это вызывало зависть и протесты со стороны приходских священников, не желавших терпеть конкурентов. Вражда между нищенствующими монахами и приходским духовенством — частая тема в предреформационной литературе задолго до Эразма (Джон Виклиф, Ян Гус).

<sup>244</sup> Перифраз известной сентенции из «Одиссеи» Гомера (XVII, 347):  
*Стыдливим.*

Конрад. Даже во вред. Помогай нам святой Франциск!

Бернардин. В добрый час!

Конрад. Не будем ждать ответа у дверей, но вломимся прямо в залу и уж не уйдем, даже если станут гнать.

Бернардин. Ужасная все-таки наглость!

Конрад. Но лучше так, чем всю ночь трястись под открытым небом и заколечеть насмерть! Спрячь пока стыд в суму — завтра достанешь, если понадобится.

Бернардин. Конечно, раз иного выхода нет.

Хозяин. Кого я вижу — неведомых каких-то животных!

Конрад. Мы рабы божии, сыны святого Франциска, достойнейший муж.

Хозяин. Доволен ли бог такими рабами, не знаю, но у меня в доме пусть бывают пореже.

Конрад. Почему?

Хозяин. Потому что в жранье и питье вы любого за пояс заткнете, а как работать — так у вас ни рук нет, ни ног. Эй, сыночки святого Франциска, вы ведь всегда твердите, что он был девственник, откуда ж у него столько детей?

Конрад. Мы по духу сыновья, не по плоти.

Хозяин. Неудачливый, значит, он родитель, потому что самое скверное в вас — это дух. А телом вы даже чересчур здоровы, больше чем хотелось бы нам, у кого на попечении дочери и молодые жены.

Конрад. Ты, видимо, подозреваешь, что мы из тех, которые изменили правилам нашего прародителя<sup>245</sup>? Нет, мы — наблюдающие устав.

Хозяин. Вот и я буду наблюдать, как бы вы чего не напакостили. Терпеть не могу вашу породу, ненавижу!

Конрад. За что, объясни, сделай милость!

Хозяин. За то, что зубы у вас всегда наготове, а деньги — никогда. Такой гость мне противнее любого прочего.

Конрад. Но ведь мы трудимся вам на благо.

Хозяин. Хотите, любезные, покажу вам, как вы трудитесь?

Конрад. Покажи.

Хозяин. Взгляните на картинку слева, самую ближнюю к вам: видите? — лисица произносит проповедь, но за спиной у нее из капюшона вытянул шею гусь. А тут волк отпускает исповедавшемуся грехи, но под рясой спрятана часть овечьей туши, и подол оттопырился. А вот обезьяна во францисканском наряде сидит у постели больного; одной рукой она подносит ему крест, другую запустила ему в кошелек.

Конрад. Мы не станем спорить, что под нашим одеянием скрываются иногда и волки, и лисы, и обезьяны. Мы даже признаём, что часто оно покрывает свиней, собак, лошадей, львов и василисков. Но то же платье покрывает и многих достойных людей. Платье никого не делает лучше, но и хуже никого не делает. Стало быть, несправедливо оценивать человека по одежде. А в противном случае, тебе надо бы проклинать свое платье, которое носишь не только ты, но и многие воры, убийцы, отравители и прелюбодеи.

Хозяин. Насчет платья вам уступлю, если заплатите.

---

*Нищему, тяжкой нуждой удрученному, быть неприлично.*

Перевод В. А. Жуковского

<sup>245</sup> Еще при жизни святого Франциска Ассизского (1182—1226), основателя нищенствующего ордена меньших братьев, начались раздоры между теми, кто требовал неукоснительного исполнения устава, и сторонниками реформ, приспособлявавших устав Франциска к требованиям папской курии и повседневной жизни. Эти разногласия привели к фактическому расколу ордена на два крыла — обсервантов («наблюдающих устав») и конвентуалов (умеренных). Главою обсервантов в начале XV в. был святой Бернардин Сиенский, именем которого и назван один из персонажей настоящего диалога.

Конрад. Мы будем молить за тебя бога.  
Хозяин. А я — за вас: услуга за услугу.  
Конрад. Но не со всех подряд должно взимать плату.  
Хозяин. Почему притрагиваться к деньгам — это для вас грех?  
Конрад. Потому что это против нашего обета.  
Хозяин. А против моего обета — пускать постояльцев даром.  
Конрад. Но нам устав запрещает прикасаться к деньгам.  
Хозяин. А мой устав предписывает как раз обратное.  
Конрад. Где твой устав?  
Хозяин. Вот. Читай стихи:

*Гость, услышь наставленья: утробе снискав насыщенье,  
Не поспеши уходить, но поспеши уплатить. 246*

Конрад. Мы не доставим тебе расхода.  
Хозяин. Но кто не доставляет расхода, те и дохода не приносят.  
Конрад. Бог щедро тебе воздаст, если ты окажешь нам услугу.  
Хозяин. Вашими речами семью не прокормишь.  
Конрад. Мы забьемся в уголок и никому не будем помехою.  
Хозяин. Таких, как вы, мой дом не переносит.  
Конрад. Значит, ты нас выгоняешь, быть может, и волкам на съедение?  
Хозяин. Волк волчатины не ест, так же как пес — псины.  
Конрад. Даже с турками так обойтись и то было бы жестоко. Какие бы мы там ни были, а все-таки мы люди!  
Хозяин. Зря стараетесь — глухому поете.  
Конрад. Ты будешь нежиться голый возле печки, а нас выставишь ночью на мороз, чтобы мы погибли от холода, даже если волки не тронут!  
Хозяин. Так жил Адам в раю.  
Конрад. Жил, но невинным!  
Хозяин. Ия ни в чем не повинен.  
Конрад (в сторону). Пожалуй, только — без первого слога. (Хозяину.) Но если ты сейчас выгонишь нас из своего рая, смотри, как бы бог не закрыл тебе дорогу в свой.  
Хозяин. Вздор!  
Хозяйка. Муженек, ты столько гретишь — сделай хоть одно доброе дело! Позволь им остаться у нас на эту ночь, они добрые люди, вот увидишь — тебе после воздастся за них щедрым прибытком.  
Хозяин. Вот еще заступница! Наверно, заранее столковались. «Добрые люди» — не очень-то приятно выслушивать такое свидетельство от жены! Может, и ты была добра, и даже чересчур?  
Хозяйка. Полно тебе! Ты лучше припомни, сколько ты играешь в кости, пьянствуешь, бранишься, дерешься! Хоть этою милостыней искупи грехи, не гони тех, кого будешь призывать на смертном одре. Шутов да скоморохов пускаешь все время, а этих выставишь за порог?  
Хозяин. Откуда эта проповедница на мою голову? Поди прочь да займись своей стряпнёю!  
Хозяйка. Это-то будет исполнено!  
Бернардин. Он присмирел. Надевает рубаху. Надеюсь, все обойдется.  
Конрад. Слуги накрывают на стол. Хорошо, что гостей нет, иначе пришлось бы нам убираться.

Бернардин. Удачно получилось, что мы захватили с собою из соседнего городка бутылочку винца и жареную баранью ляжку: хозяин нам бы и клочка сена не уделил, пожалуй.

Конрад. Слуги сели за стол. Сядем и мы, но только с краешка, чтоб никому не мешать.

Хозяин. Не иначе, как по вашей милости, нет у меня сегодня за столом никого, кроме домочадцев да вас, никудышных.

Конрад. Если это случается не часто, отнеси на наш счет.

Хозяин. Чаше, чем хотелось бы.

Конрад. Не тужи: Христос жив и не покинет своих.

Хозяин. Я слыхал, вы называете себя евангельскою братией, но Евангелие не велит брать с собою в дорогу суму или хлебы. А у вас, я вижу, наместо сумы рукава, и несете вы не только хлеб, но и вино, и самое лучшее мясо.

Конрад. Покушай с нами, если охота.

Хозяин. Мое вино против этого — уксус.

Конрад. И мясо возьми — нам одним слишком много.

Хозяин. Завидная у вас нищета и для меня удачная! Моя супруга ничего сегодня не готовила, кроме капусты и тухлой солонины.

Конрад. Соединим, если хочешь, наши припасы? Нам-то — лишь бы голод утолить, а чем — все равно.

Хозяин. Отчего ж тогда у вас с собою не капуста и не прокисшее вино?

Конрад. Оттого, что именно это навязали нам на дорогу хозяева, у которых мы нынче завтракали.

Хозяин. Задаром завтракали?

Конрад. Конечно! И нас еще благодарили, и гостинцами вот этими нагрузили на прощание.

Хозяин. Откуда вы идете?

Конрад. Из Базеля.

Хозяин. Ба! Так издалека?

Конрад. Да.

Хозяин. Что ж вы за люди такие — странствуете с места на место без лошади, без кошелька, без слуг, без оружия, без хлеба?

Конрад. Перед тобою след евангельской жизни, хотя и очень далекий.

Хозяин. А мне это кажется жизнью бродяги, который рыщет повсюду в поисках поживы.

Конрад. Такими бродягами были апостолы, таким был и господь наш Иисус.

Хозяин. Знаешь ты искусство хиромантии?

Конрад. Нет, совсем не знаю.

Хозяин. Откуда ж на пропитание получаешь?

Конрад. От того, кто обещал.

Хозяин. Это кто такой?

Конрад. Тот, кто сказал: «Не заботьтесь: это все приложится вам»<sup>247</sup>.

Хозяин. Да, он обещал, но тем, кто взыскует царства божия.

Конрад. Это мы и делаем в меру своих сил.

Хозяин. Апостолы творили чудеса, исцеляли больных; не мудрено, что им повсюду было чем пропитаться. А вы ничего подобного не можете.

Конрад. Могли бы и мы, если бы были схожи с апостолами и если б наше время требовало чудес. Но чудеса были дарованы лишь на краткий срок — неверующим; ныне нужды нет ни в чем, кроме благочестия. И нередко лучше болеть, чем быть здоровым, лучше смерть, нежели жизнь.

---

<sup>247</sup> «Евангелие от Матфея», VI, 33.

Хозяин. Что же все-таки вы делаете?

Конрад. Что можем, каждый по своему дарованию: утешаем, ободряем, увещаем, изобличаем; иногда, если представится случай, проповедуем — когда узнаём, что пастырь безгласен. Если оказать помощь нельзя, стараемся, чтобы никого не задеть своим поведением и речами.

Хозяин. Хорошо бы, если бы ты завтра сказал проповедь нам: у нас завтра праздник.

Конрад. Чей праздник?

Хозяин. Святого Антония.

Конрад. То был достойный муж. Но почему у вас праздник?

Хозяин. Сейчас объясню. В нашем селе много свинопасов, оттого что рядом дубрава и желудей — пропасть. А всякому известно, что попечение о свиньях поручено Антонию. Вот его и чтут, чтобы он не разозлился, если останется в небрежении.

Конрад. Если бы его чтили, как подобает!

Хозяин. А как подобает?

Конрад. Всех чище чтит святых тот, кто подражает им.

Хозяин. Завтра все село загремит пирушками, плясками, играми, ссорами, драками.

Конрад. Так в давние время чтили своего Вакха язычники. Удивительно, если святой Антоний, видя такое поклонение, не гневается на людей, которые глупее скотины. Какой у вас пастырь? Безгласный и скверный?

Хозяин. Каков он для других, я не знаю, а для меня — лучше не надо: он пьет целыми днями, и никто не водит сюда так много выпивох и таких крепких да неутомимых — к немалой моей выгоде, конечно. Мне даже странно, почему сейчас его нет.

Конрад. Мы нашли его не слишком обходительным.

Хозяин. Как? Значит, вы у него были?

Конрад. Мы искали у него пристанища, но он и на порог нас не пустил, точно волков, и велел идти к тебе.

Хозяин. Ха-ха! Теперь все ясно! Потому он и не пришел, что не захотел встретиться здесь с вами.

Конрад. Так он безгласный?

Хозяин. Безгласный? Нет никого голосистее в трактирной зале, и в церкви ревет, ровно бык; но проповедей я от него никогда не слыхивал. Да к чему тут много говорить? Вы, как я вижу, на себе испытали, какой он безгласный.

Конрад. А в Священном писании начитан?

Хозяин. Говорит, что до тонкостей. Но все эти познания приобрел, как видно, за тайною исповедью, так что другим открывать не дозволено. Скажу коротко: каков приход, таков и поп, и крышка — в точности по кастрюле.

Конрад. Может быть, он и на кафедре не даст мне взойти.

Хозяин. Даст, это я беру на себя. Но на том только условии, чтобы в него камней не бросать, как у вас в обыкновении.

Конрад. Дурное обыкновение. Если мне что не нравится, я усовещаю пастыря тайно. Все прочее — дело епископа.

Хозяин. Птицы вроде тебя к нам залетают редко. Я вижу, что вы и вправду добрые люди. Но к чему у вас платье такое, ни на что не похожее? Ведь и судят-то об вас дурно в большинстве потому, что вы так одеваетесь.

Конрад. Как это получается?

Хозяин. Точно не скажу, но у многих людей такое мнение.

Конрад. А многие по этой же самой причине — что мы так одеваемся — считают, будто мы святые. И те и другие заблуждаются, но заблуждение вторых, которые, глядя на платье, думают об нас хорошо, — добрее и человечнее.

Хозяин. Пусть так, и все же к чему вообще столько отличий в одежде?

Конрад. А как тебе представляется?

Хозяин. По-моему, они вообще ни к чему, кроме как в торжественных процессиях или



на войне. В процессиях несут изображения разных лиц — святых, иудеев, язычников, и мы их узнаем по различному платью. А на войне это нужно для того, чтобы каждое войско следовало за своим знаменем и не случилось замешательства в рядах.

Конрад. Прекрасно рассуждаешь, но и наша одежда — тоже военная. Кто следует за этим полководцем, кто — за тем, но все мы сражаемся под началом одного императора — Христа. Впрочем, в одежде следует различать три качества.

Хозяин. Какие?

Конрад. Насколько она отвечает необходимости, привычке и приличиям. Для чего мы принимаем пищу?

Хозяин. Чтоб не умереть с голоду.

Конрад. Так иногда необходимо одеваться, чтобы не умереть от холода.

Хозяин. Согласен.

Конрад. Но в этом отношении наше платье лучше твоего: оно прикрывает и голову, и шею, и плечи — те места, которые застуживать всего опаснее. Кто ездит верхом, тому подходит короткое платье, кто больше сидит — тому — долгое, летом — тонкое, зимою — плотное. В Риме есть люди, которые в течение дня меняют платье трижды: утром надевают подбитое мехом, около полудня — обыкновенное, под вечер — опять иное, потеплее. Но перемена не у всякого найдется, поэтому и придумано наше платье, одинаково годное на очень многие случаи.

Хозяин. Как так?

Конрад. Например, если дует северный ветер или пылает солнце, мы покрываемся капюшоном, стало жарко — опускаем капюшон на спину, надо отдохнуть — опускаем подол, надо идти — подбираем или даже затыкаем за пояс.

Хозяин. Не дурно соображал тот, кто это придумал.

Конрад. А для счастья и благополучия особенно важно, чтобы человек привык довольствоваться малым: если уже мы начнем потакать своим страстям или гоняться за удовольствиями — конца этому не будет. Но невозможно найти другую одежду, которая бы одна доставляла столько удобств.

Хозяин. Не спорю.

Конрад. Теперь поговорим о приличиях. Ответь мне по совести: если бы ты надел платье своей жены, разве не сказали бы все, что ты нарушаешь приличие?

Хозяин. Сказали бы, что я рехнулся.

Конрад. А что бы сказал ты, если б она надела твое платье?

Хозяин. Худого, может, и ничего не сказал бы, зато бока намял бы ей нехудо.

Конрад. А между тем ведь совсем не важно, какое платье носить.

Хозяин. Нет, коли так взглянуть — очень важно!

Конрад. И не удивительно: даже у язычников законы карают и мужчину и женщину, если они наденут платье, принадлежащее другому полу.

Хозяин. И поделом!

Конрад. Ну, а если б старец восьмидесяти лет от роду надел платье пятнадцатилетнего мальчишки или, наоборот, мальчишка — платье старика, разве не скажут все, что по ним плачет палка? Или если старуха нарядится, как молоденькая, или наоборот?

Хозяин. Еще бы не сказать!

Конрад. А если мирянин надел бы облачение священника или священник оделся, как мирянин?

Хозяин. Оба поступили бы непристойно.

Конрад. Если б обыкновенный человек украсил себя знаками отличия государя или обыкновенный священник — убором епископа, они поступили бы непристойно?

Хозяин. Разумеется!

Конрад. Что, если бы мирный гражданин разоделся по-военному — в перья и прочие

Фрасоновы глупости<sup>248</sup>?

Хозяин. Его бы осмеяли.

Конрад. Что, если бы английский солдат носил на платье белый крест, швейцарский — красный, а французский — черный?

Хозяин. Это была бы наглость.

Конрад. Почему же ты так дивишься нашему убору?

Хозяин. Какое различие между обыкновенным человеком и государем, между мужчиной и женщиной, я понимаю; но чем различается монах от немонаха — никак не пойму!

Конрад. В чем различие между бедняком и богачом?

Хозяин. В имуществе.

Конрад. И однако ж было бы непристойно, если б бедняк оделся наподобие богача.

Хозяин. Конечно. Особенно ежели принять в рассуждение, как нынче разряжены почти все богачи.

Конрад. А в чем — между дураком и умным?

Хозяин. Ну, здесь различие побольше!

Конрад. А шуты не одеваются ли иначе, нежели мудрецы?

Хозяин. Не знаю, что подобало бы вам, но только ваш наряд недалек от шутовского — не хватает лишь ослиных ушей да бубенчиков.

Конрад. Да, этого, и правда, недостает, потому что мы, и правда, шуты мира сего, если живем так, как исповедуем.

Хозяин. Кто вы и как живете, я не знаю, но знаю твердо, что многие шуты в колпаках с бубенчиками и ослиными ушами мудрее тех, кто носит шляпы, подбитые мехом, мантии и прочие украшения мудрости. И если кто исповедует мудрость платьем, а не делом, он, по-моему, самый дремучий глупец. Видал я одного шута-расшута, который носил платье до пят и мантию Учителя и Наставника<sup>249</sup>, да и внушительностью лица мог сойти за важного богослова. Он диспутировал перед кем угодно, и не без наружного достоинства, а для знатных господ был такою же забавой, как любой иной шут, хотя своею разновидностью глупости побивал всех прочих.

Конрад. Чего же ты требуешь? Чтобы государь, который смеется над шутком, поменялся с ним платьем?

Хозяин. Быть может, этого именно и потребовало бы приличие, если б людям заблагорассудилось изобразить наглядно все, что скрыто у них в душе.

Конрад. Ты стоишь на своем, а я все-таки считаю, что не без причины назначена шутам особая одежда.

Хозяин. И какая этому причина?

Конрад. Чтобы их не обидели ненароком, если они что скажут или сделают не так — спроста, конечно, сдуру.

Хозяин. Я, однако, не замечаю, чтобы их обижали; наоборот, они пользуются полной свободой, так что глупость нередко вырастает в прямое безумие. И мне непонятно, почему бодливого быка, который убьет человека, или пса, или свинью, которые загрызут ребенка, мы наказываем смертью, а шута, который совершит худшее преступление, милуем, оправдывая глупостью... Впрочем, я жду ответа, почему вы одеваетесь не так, как все прочие. Ведь ежели любого повода довольно, то пекарю надо бы одеваться иначе, чем рыбаку, сапожнику иначе, чем портному, аптекарю — чем виноторговцу, возчику — чем

---

<sup>248</sup> Фрасон — имя хвастливого и заносчивого воина из комедии Теренция «Евнух» (от греческого слова *thrasys* — «дерзкий», «наглый»).

<sup>249</sup> То есть был доктором богословия, носившим почетный титул «Наш учитель» (об этом титуле см. начало примечаний к «Хозяйским распоряжениям»)

матросу. А вы, коли вы духовные, — почему одеты не так, как прочее духовенство? А коли миряне — почему от нас отличаетесь?

Конрад. В старину мы, монахи, были не чем иным, как более чистою половиною мирян. И различие между монахом и мирянином было такое же, как нынче между дельным, домовитым хозяином, который кормит семью трудами собственных рук, и бандитом, который сам хвастается, что живет грабежом. Позже папа римский наградил нас почетными преимуществами, тогда и наша одежда приобрела особое достоинство, которого ныне не имеет ни мирское платье, ни одеяние священников. И какая бы она ни была, наша одежда, а ее не стыдятся ни кардиналы, ни даже папы<sup>250</sup>.

Хозяин. Но откуда все-таки это представление о приличии?

Конрад. Иногда из самой природы, иногда из наших обычаев и мнений. Если бы кто оделся в бычью шкуру, так, чтобы над головою торчали рога, а позади волочился хвост, разве все не сочли бы это нелепицею?

Хозяин. Да, это смехотворно.

Конрад. А если б у кого было такое платье, что лицо и руки закрывало бы, а срам выставляло напоказ?

Хозяин. Это еще нелепее, и намного.

Конрад. Вот почему даже языческие писатели порицают тех, кто носил одежду из прозрачной ткани, которая не только мужчинам, но и женщинам не прилична. В самом деле, скромнее уж ходить нагишом, каким мы застали тебя здесь подле печи, чем одеваться в прозрачное платье.

Хозяин. А я полагаю, что в одежде все зависит от нашей привычки и убеждений.

Конрад. Как это?

Хозяин. Недавно у меня останавливались люди, которые говорили, что объездили разные вновь открытые земли<sup>251</sup>. На старых картах эти земли и не обозначены. И вот они рассказывали, что побывали на одном острове с очень мягким климатом, где прикрывать наготу считается за величайший позор.

Конрад. Наверно, они там живут, как дикие звери.

Хозяин. Ничего подобного — ведут жизнь самую что ни есть человеческую (так говорили мои постояльцы). Они подчиняются царю; вместе с ним рано поутру отправляются на работу, но трудятся не больше часа в день.

Конрад. Какую же они исполняют работу?

Хозяин. Дергают какой-то корень, который у них заменяет хлеб (он и вкуснее и здоровее нашего хлеба). Закончив эту работу, возвращаются к своим делам: кому что по душе, каждый тем и занят. Детей воспитывают в нерушимой чистоте, дурных поступков гнушаются и не оставляют без наказания, но ничего не карают строже, чем прелюбодеяние.

Конрад. А какую карой?

Хозяин. Женщину прощают, по слабости ее пола, а мужчина, уличенный в блуде, должен до конца жизни появляться на людях не иначе, как обернувши срамной уд платком.

Конрад. Да, тяжкое наказание!

Хозяин. Но привычкою им внушено, что тяжелее и быть не может.

Конрад. Когда подумаешь о том, какова сила убеждения, невольно соглашаешься с тобою. Если бы мы желали вконец опорочить вора или убийцу, разве недостаточно было бы обрезать ему сорочку выше ягодич, непоказанное место укутать волчьим мехом, чтобы оно бесстыдно торчало и выпирало, на ноги обуть разноцветные башмаки, платье на боках и от

---

<sup>250</sup> Смиранные «меньшие братья» поднимались и до кардинальского достоинства, и даже всходили на папский престол в Риме.

<sup>251</sup> Один из очень немногих у Эразма откликов на великие географические открытия, современником которых он был.

локтя до кисти издырявить наподобие сети, плечи и грудь оголить вовсе, бороду где обрить, где не касаться бритвою, где взлохматить, волосы остричь, на голову нахлобучить шапку, всю изрезанную, и с громадным пучком перьев, — и в таком виде вывести на люди? Разве это опозорило бы негодяя не больше, чем шуговской колпак с длинными ушами и бубенчиками? А между тем военные щеголяют в таком уборе по доброму своему желанию и очень собою довольны. И еще находятся люди, которым это кажется красивым, хотя ничего безумнее и быть не может!

Хозяин. Мало того: нет недостатка в почтенных горожанах, которые подражают воякам, как только могут.

Конрад. А ведь если б кто надумал подражать наряду индейцев, которые одеваются в перья, даже малые дети решили бы, что он спятил. Как по-твоему?

Хозяин. Нечего и сомневаться.

Конрад. А ведь в этом безумия куда меньше! Итак, ежели бесспорно, что нет такой нелепости, которой привычка не сообщала бы чего-то привлекательного, то, с другой стороны, нельзя отрицать, что платье бывает свойственно некое приличие, которое всегда остается приличием в глазах людей здравых и рассудительных, или же, напротив, неприличие, которое должно казаться неприличием всякому разумному человеку. Кто удержится от смеха, видя, как женщина с трудом тянет за собою длинный край платья, измеряя благородство происхождения протяженностью этого хвоста? И, однако, иные кардиналы не стыдятся ей подражать, только место платья занимает кардинальский паллий. Но привычка — жестокий тиран: то, что однажды усвоено, изменить никто не волен.

Хозяин. О привычке — будет. Скажи лучше, как, по-твоему, правильнее — чтоб монахи не отличались одеждою от остальных людей или чтобы отличались?

Конрад. Мое мнение такое, что и честнее, и более по-христиански ни о ком не судить по платью, если только оно пристойно и прилично.

Хозяин. Почему бы вам тогда не разделаться с вашими капюшонами?

Конрад. Почему апостолы не сразу принялись есть всякую пищу без разбора<sup>252</sup>?

Хозяин. Не знаю. Скажи сам.

Конрад. Неодолимость привычки мешала. То, что проникло глубоко в души, прочно укоренилось благодаря долговременному применению и словно бы вошло в самую природу человека, не может быть вдруг отменено без большой опасности для общего спокойствия; это надо устранять постепенно, как испанец выдергивал волоски из конского хвоста<sup>253</sup>.

Хозяин. Я бы слова не сказал, если бы у всех монахов наряд был одинаковый. Но кто смолчит, видя такую пестроту?

Конрад. Это зло породил обычай, который чего только с собою не приносит! Бенедикт не придумывал новой одежды — он со своими учениками одевался так же, как тогдашние простые миряне. И Франциск ничего нового не изобрел: это платье принадлежало беднякам и крестьянам. Но потомки, кое-что прибавив, обратили разумное установление в предрассудок. Разве мы и теперь не видим, как иные старухи упорно цепляются за наряды своего века, которые отличны от нынешних нарядов сильнее, чем мое платье от твоего?

<sup>252</sup> Ветхий завет, а также обычаи накладывали на исповедующих иудизм различные ограничения в пище. Христианство этими ограничениями пренебрегло.

<sup>253</sup> Плутарх в жизнеописании Сертория, римского военачальника I в. до н. э., рассказывает, что он хотел показать недисциплинированным испанцам, которые находились у него под командой, какова сила постоянства, настойчивости и организованности. Для этого он «созвал всенародную сходку и приказал вывести двух коней: одного дряхлого и старого, другого же статного, могучего и, главное, с удивительно густым и красивым хвостом. Дряхлого коня вел человек огромного роста и силы, а могучего — маленький и жалкий человечек. Как только был подан знак, силач обеими руками схватил своего коня за хвост и всюю принял тянуть, стараясь выдернуть, а немощный человечек стал между тем по одному выдергивать волосы из хвоста могучего коня. Великие труды первого оказались безрезультатными, и он бросил свое дело, вызвав лишь хохот зрителей, а немощный его соперник скоро и без особого напряжения выщипал хвост своей лошади».

Хозяин. Да, видим.

Конрад. Стало быть, глядя на мою одежду, ты глядишь на остатки минувшего века.

Хозяин. И никакой иной святости в ней, стало быть, нет?

Конрад. Совершенно никакой.

Хозяин. А кой-кто хвастается, что этот убор вам указан свыше, святою Девой Марией.

Конрад. Вздор, пустое.

Хозяин. Есть больные, которые убеждены, что им не поправиться, если на них не наденут доминиканскую рясу. А другие в гроб не желают ложиться иначе, чем в наряде францисканца.

Конрад. Кто внушает такие мнения — либо корыстные обманщики, либо дураки, а кто усвоил их — те суеверы. Бог и под францисканским платьем различит проходимца не хуже, чем в военном доспехе.

Хозяин. Но в птичьем царстве не столько разных оперений, сколько у вас разных уборов!

Конрад. Разве это не прекрасно — подражать природе? А еще прекраснее — ее превзойти.

Хозяин. Желаю вам превзойти природу и разнообразием клювов тоже.

Конрад. Если ты выслушаешь меня спокойно, я попробую защитить и несходство одежд. По-иному одевается испанец, по-иному итальянец, по-иному француз, по-иному немец, по-иному грек, по-иному турок, по-иному сарацин. С этим ты согласен?

Хозяин. Вполне.

Конрад. Да и в одном краю какое разнообразие одежд, даже среди людей одного пола, возраста и сословия! Иной наряд у венецианца, иной у флорентинца, иной у римлянина — а ведь всё в пределах той же Италии!

Хозяин. Ты прав.

Конрад. Отсюда ж несходство и у нас. Доминик перенял покрой платья у честных земледельцев той части Испании, где жил он; Бенедикт — у крестьян той части Италии, где жил он; Франциск — у земледельцев другой части страны; прочие — точно так же.

Хозяин. Выходит, как я посмотрю, вы несколько не святее нас, ежели только не живете более свято.

Конрад. Наоборот — хуже вас, потому что, живя нечестиво, тяжелее вашего вредим простым душам.

Хозяин. Значит, и для нас не все потеряно, хоть нет у нас ни святого покровителя, ни особого платья, ни устава, ни обетов?

Конрад. Есть, добрый человек, есть! — только исполняй получше! Спроси у крестного отца с матерью, какой обет ты давал, принимая крещение, в какое платье облекся? К чему тебе человеческие уставы, когда ты исповедал устав евангельский? К чему покровитель из людей, когда покровитель твой — Иисус Христос? А когда ты женился, разве ты ничего не обещал? Подумай, в каком ты долгу перед супругою, перед детьми, перед семьею, — и ты поймешь, что на тебе лежит бремя более тяжкое, чем если бы ты дал обет хранить верность уставу святого Франциска.

Хозяин. А ты веришь, что хоть один трактирщик взойдет на небеса?

Конрад. Отчего же нет?

Хозяин. Но в моем доме и случается и говорится много такого, что с Евангелием никак не согласно.

Конрад. Что именно?

Хозяин. Кто пьет до одури, кто сквернословит, одни ссорятся, другие бранятся; коротко сказать — чистого едва ли что найдется.

Конрад. Этому надо препятствовать, насколько можешь, а если не можешь — хотя бы самому не сеять и не растить зла ради прибыли.

Хозяин. Иногда я бываю не совсем честен — мошенничаю с вином.

Конрад. Как это?

Хозяин. Как замечу, что гости не в меру разгорячились, лью щедрой рукою воду.

Конрад. Этот грех легче, чем если бы ты продавал вино, отравленное вредными снадобьями.

Хозяин. Скажи мне честно, сколько дней вы уже в пути?

Конрад. Почти месяц.

Хозяин. Кто же об вас заботится?

Конрад. Разве мало заботы о тех, у кого есть жена, дети, отец с матерью, родичи?

Хозяин. Достаточно.

Конрад. Между тем у тебя лишь одна жена, нас — сто, у тебя лишь один дом, у нас — сто, у тебя лишь несколько детей, у нас — без счета, у тебя лишь несколько родичей, у нас — без конца.

Хозяин. Как так?

Конрад. Родство по духу шире, нежели по плоти. И так нам пообещал Христос, так оно и сбывается.

Хозяин. Какой замечательный гость у меня оказался! Провалиться мне на этом месте, ежели беседовать с тобою не лучше, чем бражничать с моим пастырем! Пожалуйста, скажи завтра что-нибудь нашим прихожанам. А если еще случится идти этой дорогою, знай, что здесь тебе всегда готов приют.

Конрад. А что, если другие пойдут?

Хозяин. Милости просим — лишь бы схожи были с тобою.

Конрад. Будут лучше, я надеюсь.

Хозяин. Но среди такого множества худых как мне различить добрых?

Конрад. Я скажу в двух словах, но только на ухо.

Хозяин. Скажи.

Конрад. *(Шепчет.)*

Хозяин. Запомню и исполню.

### Аббат и образованная дама



Антроний 254. Магдалия

254 Эразм в «Адагиях» приводит поговорку: «Антронский осел» (Антрон — город в северной части Греции, где разводили ослов). Таким образом, имя аббату выбрано не случайно.

- Антроний. Что это здесь за убранства?
- Магдалия. А разве некрасиво убрано?
- Антроний. Красиво или нет, не знаю, но едва ли прилично хоть для девицы, хоть для мужней жены.
- Магдалия. Почему?
- Антроний. Потому что все полно книг!
- Магдалия. Ты человек в летах, аббат и придворный, — неужели ты никогда не видел книг в покоях у знатных дам?
- Антроний. Видел, но французские, а здесь вижу греческие и латинские.
- Магдалия. Разве только французские книги учат мудрости?
- Антроний. Знатным они как раз подходят — чтобы занять и заполнить досуг.
- Магдалия. Разве только знатным разрешено быть мудрыми и жить приятно?
- Антроний. Это ты худо связываешь — мудрость и приятную жизнь: мудрость — дело совсем не женское, приятная жизнь — всегдашний удел знатных дам.
- Магдалия. А жить хорошо — разве не общий удел?
- Антроний. Пожалуй.
- Магдалия. Но может ли кто жить приятно, если он не живет хорошо?
- Антроний. Наоборот, может ли кто жить приятно, если он живет хорошо?
- Магдалия. Значит, ты одобряешь тех, кто живет скверно, главное — чтобы приятно?
- Антроний. По-моему мнению, хорошо живут те, которые живут приятно.
- Магдалия. Но эта приятность откуда происходит — от вещей внешних или из собственной души?
- Антроний. От внешних вещей.
- Магдалия. Аббат ты острый, но философ тупой. Что же считаешь ты мерилom приятности?
- Антроний. Сон, пирушки, свободу делать что хочешь, деньги, почести.
- Магдалия. Ну, а если ко всему этому бог прибавит мудрость, ты будешь жить приятно?
- Антроний. Что ты называешь мудростью?
- Магдалия. Это когда ты понимаешь, что счастье человеку приносят только духовные блага, а богатства, почести, знатность не делают его ни счастливее, ни лучше.
- Антроний. Бог с нею, с этакою мудростью.
- Магдалия. А что, если мне приятнее читать хорошего писателя, чем тебе охотиться, пить или играть в кости? Ты не согласишься, что я живу приятно?
- Антроний. Я бы так не жил.
- Магдалия. Я не про то спрашиваю, что тебе всего приятнее, а что должно быть приятно.
- Антроний. Не хотел бы я, чтобы мои монахи засиживались за книгами.
- Магдалия. А мой супруг очень мною доволен. Почему ж ты не одобряешь этого в своих монахах?
- Антроний. Я убедился, что они становятся менее послушны, — прекословят, ссылаясь на декреты, декреталии<sup>255</sup>, на Петра и Павла.
- Магдалия. Стало быть, ты велишь им прекословить Петру и Павлу?
- Антроний. Чему учат Петр и Павел, я не знаю, но монахов-спорщиков не люблю и не желаю, чтобы кто-нибудь из моей братии был мудрее меня.
- Магдалия. Этого можно избежать, если ты сам постарайся набраться побольше мудрости.
- Антроний. Недосуг мне.

---

<sup>255</sup> Декретами назывались постановления высших церковных властей; «Декретом» был назван и свод древнего церковного права, составленный в середине XII в. Декреталии — постановления римских пап, облеченные в форму письменных ответов на различные запросы.

- Магдалия. Как так?
- Антроний. Некогда.
- Магдалия. Некогда быть мудрым?
- Антроний. Да.
- Магдалия. Что ж помехою?
- Антроний. Долгие молитвы, дела по хозяйству, охота, лошади, служба при дворе.
- Магдалия. И это тебе дороже мудрости?
- Антроний. Так уж у нас заведено.
- Магдалия. Тогда скажи мне: если б какой-нибудь Юпитер дал тебе такую власть, чтобы ты мог превратить и своих монахов, и себя самого в любое животное, — превратил бы ты их в свиней, а себя в коня?
- Антроний. Ни за что!
- Магдалия. Но тогда уже ни один из них не был бы мудрее тебя.
- Антроний. Какой породы животные мои монахи, мне, пожалуй, безразлично — лишь бы самому быть человеком.
- Магдалия. А ты считаешь человеком того, кто не знает мудрости и знать не хочет?
- Антроний. Для себя я достаточно мудр.
- Магдалия. Для себя и свиньи мудры.
- Антроний. Да ты прямо софистка какая-то — до чего ловко споришь!
- Магдалия. Кого напоминаешь мне ты, я не скажу... Почему, однако, тебе не по душе убранство этой комнаты?
- Антроний. Потому что женская снасть — веретено да прялка.
- Магдалин. Разве матери семейства не полагается управлять домом, воспитывать детей?
- Антроний. Полагается.
- Магдалия. А ты считаешь, что для таких дел мудрость совсем не нужна?
- Антроний. Нет, не считаю.
- Магдалия. Но этой мудрости и учат меня книги.
- Антроний. У меня под началом шестьдесят два монаха, а в моей келье ни одной книги не найдешь.
- Магдалия. Славное, стало быть, о них попечение, об этих монахах!
- Антроний. Книги я готов терпеть, но не латинские.
- Магдалия. Почему?
- Антроний. Потому что этот язык не для женщин.
- Магдалия. Жду объяснений.
- Антроний. Он плохо помогает хранить женское целомудрие.
- Магдалия. А французские книжки, полные самых вздорных басен, стало быть, хорошо помогают?
- Антроний. Есть и еще причина.
- Магдалия. Какая? Говори прямо.
- Антроний. Кто не знает по-латыни, той священник не так опасен.
- Магдалия. Ну, тут опасность невелика — вашими стараниями: ведь вы делаете всё, чтобы самим не знать по-латыни.
- Антроний. Так и в народе говорят, что если женщина знает латынь — это редкость, диковинка.
- Магдалия. Что ты мне киваешь на народ — ведь никто не распоряжается своими делами бестолковой народа! Что киваешь на привычку — наставницу во всяческом безобразии! Надо приучаться к лучшему, и то, что было диковиной, войдет в обычай, что было горько, станет приятно, что казалось непристойным, станет пристойным.
- Антроний. Продолжай.
- Магдалия. Разве непристойно уроженкам Германии учиться по-французски?
- Антроний. Вполне пристойно.
- Магдалия. С какою целью?



Антроний. Чтобы говорить с теми, кто знает по-французски.

Магдалия. А мне, по-твоему, не пристало учить латынь, чтобы каждодневно беседовать с таким множеством писателей, таких красноречивых, таких ученых, таких мудрых, таких надежных советчиков?

Антроний. Книги отнимают у женщины ум, которого у нее и так немного.

Магдалия. Сколько ума у вас, я не знаю, но свой, как бы ни было его мало, я предпочла бы употребить не на молитвы, вытверженные и повторяемые без смысла, не на пирушки с вечера до утра, не на искусство опорожнять емкие чаши, а на занятия науками.

Антроний. Дружба с книгами рождает безумие.

Магдалия. А разговоры с пьяницами, шутами и скоморохами безумия не рождают?

Антроний. Наоборот — разгоняют скуку.

Магдалия. Но возможно ли, чтобы такие приятные собеседники привели меня к безумию?

Антроний. Так люди говорят.

Магдалия. А истина говорит иное! Насколько больше видим мы людей, которых привели к безумию бесконечные пирушки и неумеренное пьянство, хмельные бдения и разнузданные страсти!

Антроний. Я бы себе ученой супруги не пожелал.

Магдалия. А я счастлива, что мне попался супруг, не схожий с тобою. Через образование я становлюсь дороже ему, а он — мне.

Антроний. Образование стоит таких трудов, а после все равно умирать.

Магдалия. Скажи мне, почтенный, если бы завтра тебя ожидала смерть, как бы ты хотел умереть — глупцом или мудрецом?

Антроний. Если бы мудрость доставалась без труда!...

Магдалия. Но человеку ничто не достается без труда в этой жизни, и что бы мы ни приобрели, какими бы трудами ни приобретали, все приходится оставлять здесь. И мы ленимся потрудиться ради величайшей драгоценности, добрые плоды которой последуют за нами и в будущую жизнь?!

Антроний. Я не раз слышал поговорку: мудрая женщина — дважды дура.

Магдалия. Да, правда, так говорят, но только глупцы. Женщина поистине мудрая себе самой мудрою никогда не кажется; а если мудрости в ней ни капли, а воображает она себя мудрою, — тогда она и, в самом деле, вдвойне дура.

Антроний. Не знаю почему, но только науки для женщины — все равно что ослиное седло для быка.

Магдалия. Но все-таки ты не будешь спорить, что больше подходит быку ослиное седло, чем ослу или свинье — митра. Какого ты мнения о Богородице?

Антроний. Наилучшего.

Магдалия. А разве она не читала книги?

Антроний. Читала, но другие.

Магдалия. Какие ж?

Антроний. Часослов.

Магдалия. Какой именно?

Антроний. Бенедиктинский.

Магдалия. Пусть так. Ну, а Павла и Евстохион<sup>256</sup>? Разве не были они начитаны в священных книгах?

Антроний. Теперь это редкость.

Магдалия. Точно так же, как редкою птицею был в старину неученый аббат (зато теперь совсем не редкость), как не только властью, но и образованием блистали в старину

---

<sup>256</sup> Эти две благочестивые и богатые римлянки, мать и дочь, покинули Рим под воздействием проповеди святого Иеронима и, основав четыре монастыря в Вифлееме, остались в Палестине навсегда (конец IV в. до н. э.). Иероним часто упоминает о них в письмах и других сочинениях.

императоры и князья. Впрочем, не такая уж и редкость, как ты думаешь: и в Испании, и в Италии между высшею знатью немало женщин, которые с любым мужчиною потягаются; в Англии есть женщины из дома Мора<sup>257</sup>, в Германии — из дома Пиркгеймера и Блауэра<sup>258</sup>. Если вы не остережетесь, кончится тем, что мы возглавим богословские школы, мы будем проповедовать в храмах, мы завладеем вашими митрами.

Антроний. Боже сохрани!

Магдалия. Ваше дело сохранить себя от этого. А если не одумаетесь, скорее гуси взойдут на проповедническую кафедру, чем вы, безгласные пастыри, удержите за собою паству. Вы сами видите — сцена мира меняется, и надо либо вовсе снимать маску, либо каждому играть свою роль.

Антроний. Как только я повстречался с этой женщиной?... Если когда-нибудь навестишь нас, я приму тебя много любезнее.

Магдалия. Каким образом?

Антроний. Мы попляшем, выпьем вволю, поохотимся, поиграем, посмеемся.

Магдалия. А мне уж и теперь смешно.

### Эпиталама Петру Эгидию 259



<sup>257</sup> Томас Мор дал прекрасное образование трем своим дочерям, особенно старшей — Маргарет, которая была его любимицей. С Маргарет, по-видимому, и написана Магдалия в настоящем диалоге. Косвенное этому подтверждение — слова Магдалины, что муж очень ею доволен и что через образование они становятся еще дороже друг другу: супруг Маргарет, Уильям Ропер, гордился и восхищался ученостью своей жены.

<sup>258</sup> Виллибальд Пиркгеймер (1470—1530) из Нюрнберга — германский гуманист; у него было пять дочерей. Блауэр — два брата из города Констанца (на берегу Боденского озера, в нынешней Швейцарии), добрые приятели Эразма; их сестра отлично знала латынь.

<sup>259</sup> Эпиталама — свадебный гимн (греч.). Петр Эгидий — латинизированное имя Питера Гиллеса (1486—1533) из Антверпена. Эразм встретился с ним в 1504 г., когда Эгидий работал корректором у антверпенского типографа Теодора Мартенса и держал корректуру одного из сочинений Эразма; впоследствии он занял должность главного секретаря антверпенского городского управления. Они были дружны в течение всей жизни. Эразм познакомил Эгидия с Томасом Мором, и первое издание «Утопии», увидевшее свет у того же Мартенса (1516 г.), посвящено Эгидию. Женится Эгидий еще в 1514 г. С тех пор Эразм неоднократно обещал ему «эпиталаму» и, по-видимому, действительно начал писать ее вскоре после свадьбы, но напечатал лишь десять лет спустя.



дикобраза, или в лесного вепря, или в свинью, или в верблюда, или в лягушку, или в галку. Но я сделаю так, что ты все услышишь. Только не перебивай. Они поворачивают сюда. Бежим навстречу!

Музы.

Алипий. Ты что меня щиплешь?

Бальбин. Ты не держишь своего слова.

Алипий. Разве ты не слышишь?

Бальбин. Слышу, но так же, как осел звуки лиры.

Алипий. Хорошо, буду говорить по-латыни... Куда путь держите, такие нарядные, такие радостные? Не Лувенский ли университет надумали посетить?

Музы. Полно!

Алипий. Отчего же нет?

Музы. Оттого, что не место Музам там, где хрюкает столько свиней, режут ослы, вопят верблюды, кричат галки, стрекочут сороки.

Алипий. Но и там иные поклоняются Музам. Музы. Знаем, и даже переселимся туда, но спустя несколько лет: круговращение времен еще не привело назначенного судьбою дня. Ибо есть человек, который воздвигнет нам в Лувене прекрасное жилище, или, вернее, храм, коему едва ли сыщется равный великолепием и святостью.

Алипий. Дозволено ли знать, кто принесет такую славу нашим краям?

Музы. Тебе дозволено — ты посвящен в наши таинства. Ты, конечно, знаешь известное целому миру имя Буслейденов.

Алипий. Вы называете род героев, явившихся на свет для того, чтобы украсить собою дворы самых могущественных государств. Кто не почитает великого Франциска Буслейдена, предстоятеля Безансонской церкви, который один был целым сонмом Несторов для Филиппа<sup>265</sup>, сына величайшего Максимилиана и родителя Карла, коего ожидает величие, еще более ослепительное?

Музы. Как были бы мы счастливы, если бы завистливая судьба не принудила этого мужа расстаться с землею! Какой был меценат для благородных занятий, какой бескорыстный покровитель талантов! Но он оставил двух братьев — Эгидия, человека дивного ума и остроты суждения, и Иеронима.

Алипий. Иеронима я знаю<sup>266</sup>. Он образован во всех видах словесности и украшен

---

растерзали хозяина в клочья.

<sup>263</sup> Здравствуй, трижды желанные богини! (греч.)

<sup>264</sup> Здравствуй и ты, почитатель Муз! (греч.)

<sup>265</sup> То есть был незаменимым советником (по имени гомеровского Нестора, мудрого старца, помогающего советами ахейским героям под Троей) для Филиппа I Австрийского, с 1482 г. — правителя Нидерландов, а с 1504 г. — короля Испании. Сын Филиппа Карл, вступивший на испанский престол в 1516 г., был избран императором Священной Римской империи германской нации (под именем Карла V) в 1519 г., то есть величие не ожидало его, как пишет Эразм, но уже стало его достоянием. Однако следует помнить, что время действия диалога — 1514 г.

<sup>266</sup> С Йероомом (Жеромом) Буслейденом (ок. 1470—1517) Эразм познакомился осенью 1500 г. в Орлеане. Это самый известный из представителей семейства Буслейденов, крупный церковный деятель и дипломат (на службе Австрийского дома). Он был покровителем наук, дружил с Эразмом и Томасом Мором.

всеми видами доблести!

Музы. И ему судьбы не дадут долголетия, хотя никто не заслуживает бессмертия более, нежели он.

Алипий. Почему вы так уверены?

Музы. Аполлон нам поведал.

Алипий. Сколь жестока зависть судеб, которые похищают все лучшее!

Музы. Сейчас не время об этом рассуждать... Умирая, Иероним назначит все свое состояние на устройство в Лувене коллегии<sup>267</sup>, где бесплатно и для всех желающих будут преподавать три языка самые замечательные ученые. Это послужит немалым украшением и для наук, и для славы Карла. Тогда мы с охотой будем жить в Лувене.

Алипий. А теперь куда направляетесь?

Музы. В Антверпен.

Алипий. Музы и Грации — на ярмарку?

Музы. Отнюдь — на свадьбу.

Алипий. Что девам до свадьбы?

Музы. Свадьба такая, что на ней пристойно побывать и девам.

Алипий. О какой же это свадьбе вы говорите?

Музы. О святой, чистой, целомудренной, на которую самой Палладе прийти не стыдно; наверно, она и придет.

Алипий. А можно ль узнать имя жениха и невесты?

Музы. Наверно, тебе знаком безупречный, искушенный во всех тонкостях учености юноша — Петр Эгидий.

Алипий. Не человека вы назвали, а драгоценный камень!

Музы. А выходит за него Корнелия, девушка хоть и самому Аполлону под стать.

Алипий. Эгидий — пламенный ваш почитатель с самых нежных лет.

Музы. Вот мы и споем ему эпиталаму.

Алипий. А Грации будут плясать?

Музы. Не только плясать — они еще свяжут два чистейшие сердца нерасторжимыми узами взаимной приязни, дабы никогда не возникло меж ними и тени гнева или же скуки. Она не услышит ничего иного, как лишь: «Светик мой!», он — ничего, кроме: «Душа моя!» И даже старость ничего не отнимет от этого очарования, а скорее — еще и прибавит к нему.

Алипий. Те, которые так живут, навряд ли способны постареть.

Музы. Верно: скорее то будет зрелость, нежели старость.

Алипий. Но я знаю очень многих, у кого уже через три месяца все эти нежности обращались в худшую брань, а за столом стреляли друг в дружку не забавными шутками, а тарелками и подносами. Супруг вместо «Душа моя!» слышал: «Пень! Пропойца! Винная бочка!», а супруга: «Свинья! Чучело! Чума!»

Музы. Это правда, но такие свадьбы совершаются вопреки воле Граций. А тут веселость и обходительность всегда будут питать взаимную приязнь.

Алипий. Редкое счастье в браке вы мне описываете.

Музы. Редкостные достоинства заслуживают и редкого счастья.

Алипий. А как же Юнона и Венера? Неужели отпразднуют без них?

Музы. Юноны не будет: она богиня сварливая и редко ладит со своим Юпитером. А

---

<sup>267</sup> Первоначально, в XIII—XIV вв., коллегиями назывались закрытые, монастырского типа общежития для студентов. Впоследствии места в коллегиях стали предоставляться и учителям, и все преподавание было перенесено в стены коллегий. «Триязычные коллегии», вроде той, на которую завещал деньги Буслейден, возникали в начале XVI в. во многих государствах Европы. Они становились центрами нового, гуманистического образования; предметом обучения в них были три «священных» языка — еврейский, греческий, латынь. «Коллегиум Буслидианум» была рассчитана на восьмерых студентов, трех преподавателей и принцепала (главу коллегии). Эразм горячо содействовал и самому появлению на свет этого учебного заведения, и его первым успехам и даже хотел завещать ему свою библиотеку.

Венера придет, но не та, земная и хмельная<sup>268</sup>, а иная, небесная, которая сочетает души.

Алипий. Я вижу, брак будет бесплодный.

Музы. Ничего подобного — на редкость плодоносный.

Алипий. Но что эта, небесная, может породить, кроме душ?

Музы. Она дарует и тело, но во всем покорное душе: так наливают бальзам в драгоценный флакон.

Алипий. А где она?

Музы. Вот — приближается сюда.

Алипий. Вижу. Боже бессмертный, какое сияние, какое величие! Против нее другая Венера просто нехороша!

Музы. Видишь, какие скромные у нее Купидоны, и не слепые, как те, через которых другая лишает рассудка души смертных, а зрячие и зоркие, и в руках у них не факелы, сеющие безумие, но тихие огни, и нет свинцовых стрел, которые вселяют ненависть к любящему и мучат несчастных неразделенною любовью?

Алипий. В точности похожи на мать. О, счастливый дом, как ты дорог вышним богам! А нельзя услышать свадебную песнь, котсфую вы приготовили?

Музы. Мы сами просим тебя, чтобы ты ее выслушал.

Клио

*С чистой празднует брак Корнелией Петр достославный:  
Благословенье свое боги чете да пошлют!*

Мельпомена

*Пусть явит в них согласие голубиное,  
Воронье долголетие.*

Талия

*Пусть супруг в любви и Гракха превзойдет Тиберия,  
Для Корнелии-супруги жизнь свою отдавшего 269.*

Эвтерпа

*Пусть жена в любви подругу превзойдет Адметову 270,  
За супруга доброй волей душу положившую.*

Терпсихора

*Пусть супруг не меньшим огнем пылает,*

<sup>268</sup> Намек на миф о двух Афродитах (Небесной и Пошлой), который излагается у Платона в диалоге «Пир».

<sup>269</sup> В жизнеописании братьев Гракхов (гл. I) Плутарх рассказывает об их отце Тиберии: «Однажды... он нашел у себя на постели пару змей, и прорицатели... объявили, что нельзя ни убивать, ни отпускать обеих сразу: если убить самца, умрет Тиберий, если самку — Корнелия. Любя жену и считая, вдобавок, что справедливее первым умереть старшему..., Тиберий самца убил, а самку выпустил на волю. Вскоре после этого он умер...»

<sup>270</sup> Алкеста, супруга мифического царя Фессалии Адмета, согласилась умереть вместо своего мужа, когда тому было возвещено от богов, что он исцелится от смертельного недуга, если кто-либо добровольно пожертвует ради него своею жизнью.

*Только награжден будет лучшей долей,  
Чем печальный Плавший 271, подруги милой  
Не переживший.*

Эрато

*Пусть она не меньшим огнем пылает,  
Но награждена будет лучшей долей,  
Чем супруга та, что любила древле  
Брута святого 272.*

Каллиопа

*Пусть супруг безупречным благонравьем  
Превзойдет досточтимого Назику 273.*

Урания

*Пусть жена целомудрием превысит  
Ту Сульпицию, что родил Патеркул 274.*

Полигимния

*Пусть гордится жена юными чадами,  
Пусть пребудут в доме блеск и обилие,  
Но — возможно ль? — вовек желчи избегнет злой.  
Слава, доблести их мзда справедливая 275.*

Алипий. Я бы не удержался и позавидовал Петру Эгидию, если бы не чистота этого человека, который не способен завидовать никому.

Музы. Однако ж нам пора продолжить наш путь.

Алипий. Не желаете ли передать что-либо в Лувен?

Музы. Да, приветствуй от нашего имени всех истинных и преданных нам друзей, но в особенности — старейших почитателей нашего хора: Иоанна Палудана, Иодока Гаверия,

---

271 Об этом примере супружеской привязанности Эразм прочитал у римского писателя I в. н. э. Валерия Максима («Достопамятные деяния и речения в девяти книгах», IV, VI).

272 Супруга Марка Юния Брута, убийцы Цезаря, узнав, что муж ее погиб (42 г. до н. э.), «хотела покончить с собой, но никто из друзей не соглашался ей помочь, напротив, ее зорко караулили, ни на миг не оставляя одну, и тогда она выхватила из огня уголь, проглотила его, крепко стиснула зубы и умерла, так и не разжав рта» (Плутарх, «Брут», LIII).

273 В 204 г. до н. э. сенат должен был избрать посланца, который привез бы в Рим из Малой Азии изваяние Великой Матери богов. Сенаторы единодушно выбрали Публия Корнелия Сципиона Назику, признав его самым достойным среди римлян.

274 Намек на эпизод, аналогичный предыдущему и примерно с ним одновременный: Сульпиция за безупречное целомудрие была избрана среди ста римских матрон для освящения нового кумира Венеры в Риме.

275 Стихи переведены С. Аверинцевым

Мартина Дорпа и Иоанна Борсала<sup>276</sup>.

Алипий. Будет исполнено неукоснительно. Остальным что передать?

Музы. Придвинь ближе ухо. (*Шепчут.*)

Алипий. Поручение необременительное. Исполню и это в точности.

### Заклинание беса, или привидение



Томас. Ансельм

Томас. Что за радость у тебя случилась, отчего ты смеешься с таким удовольствием, будто сокровище нашел?

Ансельм. Ты почти угадал.

Томас. И ты не поделишься с другом, что бы там именно ни случилось?

Ансельм. Наоборот, уже давно ищу, кому бы я мог излить свою радость.

Томас. Так изливай!

Ансельм. Я услышал прелестную историю, которую счел бы вымыслом из комедии, если бы и место, и действующие лица, и все прочее не было мне знакомо так же близко, как ты.

Томас. Ну-ну! Не томи — рассказывай!

Ансельм. Ты знаешь Пола, зятя Фавна?

Томас. Конечно.

Ансельм. Он и сочинил и сыграл эту комедию.

Томас. Охотно верю: он может сыграть любую комедию, даже без маски.

Ансельм. Твоя правда. И, наверно, знаешь его поместье неподалеку от Лондона<sup>277</sup>?

<sup>276</sup> Иоанн Палудан — латинизированное имя лувенского богослова Жана Демаре (ум. в 1525 г.), близкого и верного друга Эразма, который неоднократно пользовался его гостеприимством. Мартин Дорп (ум. в 1525 г.) — Маартен Бартоломеус ван Дорн, голландский ученый, в ту пору бывший принципалом коллегии святого Духа в Лувене. Он яростно нападал на «Похвалу Глупости», но позже примирился с Эразмом. Йодок Гаверий — Йодокус Вреде из Гавере, в 12 км от Гента (ум. в 1533 г.), юрист, доктор обоих прав. Иоанн Борсал — Йохан (Ян) Бекар из Борсселена, давний знакомец Эразма, часто живший в Лувене со своими воспитанниками — юношами из знатных семей Бургундии. Он должен был занять место преподавателя латыни в «Коллегиум Буслидианум», но это назначение по какой-то причине не состоялось.

<sup>277</sup> Ученые предполагают, что Пол — это Томас Мор и что события, изображаемые в этом диалоге,



Томас. Еще бы! Не однажды пили там и угощались.

Ансельм. Стало быть, ты помнишь и дорогу, обсаженную по обеим сторонам деревьями, на равном друг от друга расстоянии?

Томас. Слева от дома, примерно в двух выстрелах из арбалета.

Ансельм. Точно. Вдоль дороги тянется сухая канава, густо заросшая шиповником и ежевикой, через нее переброшен мостик, а за мостиком — открытое поле.

Томас. Помню.

Ансельм, Между тамошними крестьянами уже довольно давно ходила молва, будто подле этого мостика видели привидение и слышали жалостные стоны и вопли; толковали, что это не иначе, как грешная душа, терзаемая жестокими муками.

Томас. Кто ж распускал эти слухи?

Ансельм. Кто, как не Пол! Он загодя готовил пролог для своей комедии.

Томас. Что ему в голову взбрело — зачем он это придумал?

Ансельм. Не знаю, такой уж нрав у этого человека: любит с помощью подобных проделок потешаться над людской глупостью. Расскажу тебе, что он устроил недавно. Мы вместе ехали в Ричмонд; было нас несколько попутчиков, и среди них люди вполне рассудительные. Погода стояла на диво ясная, на небе — ни облачка. Вдруг Пол задирает голову кверху, размахисто крестится и говорит самому себе, словно бы в изумлении и замешательстве: «Боже бессмертный! Что я вижу!» Те, кто скакал рядом, спрашивают, что такое он увидал, а он снова осеняет себя крестным знаменем и снова: «Боже милосердный, отврати от нас злое знамение!» Спутники настаивают, сгорая от любопытства, и тогда он, вперив в небо очи и указывая пальцем, восклицает: «Неужели вы не видите громадного дракона с огненными рогами, хвост завился кольцом?!» Все отвечали, что не видят, он велел глядеть пристальнее и еще раз указал место на небе, и наконец, кто-то один, не желая прослыть слепцом, подтвердил: да, дескать, вижу и я. Его примеру последовал другой, третий — каждому было стыдно не видеть того, что так и бросается в глаза. Не прошло и трех дней, как всю Англию облетел слух о чуде. А сколько еще прибавила к этой басне народная молва! Не встретилось недостатка и в толкователях, которые важно рассуждали, что бы могло означать такое знамение. А сочинитель комедии получал немалое наслаждение от всеобщей глупости.

Томас. Узнаю его нрав. Но вернись к привидению.

Ансельм. Случилось очень кстати, что к Полу завернул некий Фавн<sup>278</sup>, священник, и из числа тех, которым мало прозываться латинским словом «уставные»<sup>279</sup>, но непременно надо прибавить то же прозвание по-гречески. У него был приход где-то по соседству, и он считал себя изрядным знатоком во всяческих делах, особенно же в священных.

Томас. Понимаю: актер сыскался!

Ансельм. За обедом говорили насчет слухов о привидении. Когда Пол почуял, что Фавн не только о них знает, но и верит им, он принялся уговаривать ученого и благочестивого мужа, дабы тот поспешил на помощь жалкой, но тяжко страдающей душе. «А если ты в чем сомневаешься, — прибавил он, — исследуй сам: погуляй в десятом часу возле мостика — и услышишь вопли. Да, и возьми кого-либо с собою: вдвоем уже никак не ошибетесь».

Томас. И что же?

происходили в его имении, в феврале 1514 г. По другим соображениям, Пол — это тесть Мора, Джон Коулт.

<sup>278</sup> «Скорописец» Эразм, почти никогда не перечитывавший то, что сам написал, назвал одним именем трех персонажей: тестя Пола (который так и не появляется), глупца священника и «грешную душу». Имя, как почти во всех случаях, выбрано для священника не случайно: римский бог полей и лесов Фавн чтился еще под именем «Фатуус», а *fatuus* — по-латыни — «дурак», «тупица».

<sup>279</sup> Эразм насмеяется над нелепостью названия «уставные каноники»: *canon* — по-гречески — «правило, устав».

Ансельм. После обеда Пол, по своему обыкновению, отправился на охоту. Фавн, прогуливаясь в сумерках, когда разглядеть что бы то ни было отчетливо уже никто не мог, услышал наконец жалобные стоны, которые с поразительным мастерством издавал Пол, спрятавшийся в терновнике: он кричал в пустой глиняный горшок, и голос, отраженный пустотою, звучал особенно мрачно.

Томас. Комедия, как я посмотрю, почище Менандровой «Фазмы»<sup>280</sup>.

Ансельм. Погоди, то ли ты еще скажешь, когда узнаешь все до конца! Фавн вернулся домой, сгорая от нетерпения поведать о том, чему был свидетелем; Пол его опередил: он возвратился другою, кратчайшею дорогою. Тут Фавн рассказывает Полу, что произошло, да еще и от себя обильно присочиняет — чтобы было поудивительнее.

Томас. И Пол сумел удержаться от смеха?

Ансельм. Кто? Пол? Он своему лицу полный хозяин. Подвоха никто бы не почувал. В конце концов Фавн, уступая неотступным просьбам Пола, берется изгнать беса. Всю ночь он проводит без сна, раздумывая, как приняться за дело самым безопасным образом: он отчаянно боялся за собственную душу. Итак, сперва припомнил он наиболее испытанные и проверенные заклинания, к ним присовокупил несколько новых — внутренностями святой Девы Марии, костями святой Веренфриды. Потом выбрали место в поле, рядом с кустарником, где слышался голос, очертили широкий круг, внутри него начертили частые кресты и иные знаки, и всё — в сопровождении торжественных возгласов. Приготовили громадную чашу со святой водою. Фавн облачился в так называемую священную столу<sup>281</sup>, навесив на нее начало Евангелия от Иоанна. В шкатулке у него была восковая облатка — из тех, что ежегодно освящает папа римский: «Агнец божий»<sup>282</sup> — так зовут их в просторечье. Этим оружием защищались от злых демонов в старину, когда еще не появился грозный для них францисканский капюшон. Все было запасено на тот случай, чтобы дух, если он окажется духом тьмы, не напал на заклинателя. И тем не менее Фавн не отваживался вступить в круг один: было решено призвать на помощь второго священника. Тогда Пол, опасаясь, как бы помощник не оказался слишком проницателен и тайна комедии не обнаружилась, присоединяет к Фавну настоятеля соседней церкви, открыв ему предварительно свой замысел. Этого требовал ход представления, а новый актер был совсем не прочь принять участие в игре. На другой день около десятого часа, исполнив с надлежащею торжественностью все, что требовалось исполнить наперед, Фавн с помощником входят в круг. Фавн приступает к заклинанию. Тем временем Пол, под покровом темноты, пробирается в ближайшее поместье и приводит оттуда еще одно действующее лицо: без многих актеров обойтись было нельзя.

Томас. И что они делают?

Ансельм. Садятся на вороных коней и везут с собою светильник, прикрывши пламя. Подскакав почти вплотную, они сорвали покров, рассчитывая, что огонь напугает Фавна и выгонит его из круга.

Томас. Сколько трудов ради обмана!

Ансельм. Такой уж он человек, этот Пол. Впрочем, дело едва не приняло оборот весьма плачевный для самих шутников.

Томас. Как так?

---

<sup>280</sup> Заявление весьма рискованное, поскольку, кроме названия, от этой комедии Менандра сохранилось менее пятидесяти строк, да и те, возможно, были известны Эразму не полностью. Фазма (&#966;&#940;&#963;&#956;&#945;) — призрак (греч.).

<sup>281</sup> Стола у римлян — длинное и просторное женское платье, а в позднюю античность — одеяние жрецов. Здесь священническое облачение, риза.

<sup>282</sup> На одной стороне такой облатки было оттиснуто изображение «агнца» (ягненка) с хоругвью, на другой — папской руки с ключами. Папа освящал эти облатки в канун Пасхи.

Ансельм. Внезапно сверкнувшее пламя до смерти перепугало лошадей, они понесли и чуть было не сбросили своих седоков.

Вот тебе первое действие комедии.

Когда все вернулись, Пол, словно ни о чем не зная, спрашивает, как все происходило. Тут Фавн рассказывает, что видел двух гнуснейших бесов на черных огнедышащих конях с огненными очами; они пытались переступить заветную черту, но слова молитвы отогнали их и отправили к нечистому! Это прибавило духу Фавну, и назавтра, после новых и самых тщательных приготовлений, он снова идет в круг. Долго произносил он заклинания, вызывая духа, пока, наконец, вдали не показались Пол с товарищем на вороных конях, грозно рыча и завывая, — словно бы готовясь ворваться в круг.

Томас. Огня на сей раз не было вовсе?

Ансельм. Не было: ведь выдумка с огнем не удалась. Но послушай, что они придумали взамен. Они тянули за собой длинный, но легкий канат, и когда ринулись прочь, точно бы в ужасе перед заклинаниями Фавна, оба священника вместе с сосудом, полным святой воды, повалились наземь.

Томас. Вот, значит, какую награду получил за свою игру второй священник?

Ансельм. Да, но он соглашался и на это, лишь бы не бросать начатого. Когда же все вернулись, Фавн объявляет Полу, какой опасности он подвергался и как храбро сокрушил обоих бесов своими молитвами. Теперь он был совершенно уверен, что ни один демон, даже самый наглый и самый зловредный, в круг вломиться не может.

Томас. Что ж, этот Фавн — круглый дурак?

Ансельм. Это все еще пустяки — слушай дальше! К этому месту комедии очень кстати подоспел зять Пола, муж его старшей дочери, человек молодой и, как ты знаешь, на диво веселого нрава.

Томас. Знаю. Навряд ли подобные забавы ему не по душе.

Ансельм. Не по душе? Ради того, чтобы полюбоваться такой комедией или самому в ней сыграть, он бросит любое дело! Тесть рассказывает ему обо всем и поручает роль грешной души. Тот охотно обряжается — обертывается простыню (как у нас принято обертывать трупы), кладет в черепок тлеющий уголь, который сквозь простыню может представиться пылающим огнем. К ночи все были на своих местах. Зазвучали дикие стоны. Фавн принялся читать все заклинания подряд. Наконец вдали, среди терновника, появилась душа; она горестно вздыхала и время от времени приоткрывала «пламя». Меж тем как Фавн заклинал душу поведать, кто она такая, из кустарника вдруг выскакивает Пол в обличий демона и притворным голосом рычит: «Нет у тебя права на эту душу! Она моя!» — и раз, другой, третий подлетает к кругу, как бы вот-вот набросится на заклинателя, но тут же, как бы остановленный могуществом заклинаний и силою святой воды, которою Фавн щедро его кропил, отступает. Наконец демон-педагог сгинул; между Фавном и душою завязывается разговор. На упорные расспросы священника душа отвечает, что она принадлежала христианину; на вопрос, как ее зовут, ответила: «Фавн». — «И меня так же зовут», — изумился заклинатель. То, что они тезки, задело его за живое, теперь он непременно желал, чтобы Фавн Фавна избавил от муки. Священник все спрашивал да спрашивал, и, боясь, как бы затянувшаяся беседа не выдала обмана, душа объявила, что дольше разговаривать ей нельзя, что время торопит и она должна удалиться, куда прикажут бесы, но обещала прийти снова на другой день, как только будет возможно. Опять все сходятся в доме Пола, хорега<sup>283</sup> этой комедии. Заклинатель пересказывает происходившее, а кое-что добавляет и от себя, твердо, впрочем, уверенный, что так именно все и было: до такой степени увлекся он своим делом. И не удивительно: ведь выяснилось, что это христианская душа и что демон немилосердно терзает ее зверскими пытками. Но в следующий раз случилась забавная

---

<sup>283</sup> Хорег — в древней Греции организатор театрального представления, бравший на себя, в порядке общественной повинности, все расходы по обучению и содержанию хора для постановки трагедии или комедии.

история.

Томас. Какая?

Ансельм. Когда Фавн вызывал душу, Пол, игравший беса, подскочил так близко, точно сейчас перепрыгнет черту; Фавн отражал его натиск заклинаниями и не жалел святой воды, но бес кричал, что ему все это нипочем. «Ты спал с девчонкою! — кричал бес. — Теперь ты в моей власти!» Это было сказано в шутку и наобум, но оказалось, по-видимому, правдой: заклинатель тут же умолк, отступил на середину круга и что-то зашептал в ухо второму священнику. Увидя это, отступает и Пол, — чтобы не услышать чего-либо неподобающего.

Томас. Какого, однако, робкого и благочестивого беса он играл!

Ансельм. Верно. А иначе представление можно было бы упрекнуть в том, что оно не считается с приличиями... Тем не менее до него донесся голос священника, который назначал Фавну епитимью.

Томас. И что же была за епитимья?

Ансельм. Велел трижды прочесть молитву господню. Из этого Пол заключил, что минувшей ночью Фавн согрешил трижды.

Томас. Так этот «уставной» блюдет свой устав?

Ансельм. Что же — они люди, и проступок человеческий.

Томас. Пожалуйста, продолжай.

Ансельм. Фавн возвращается к черте смелее прежнего и сам зовет беса на битву. А тот, растеряв свою дерзость, убегает с такими словами: «Ты меня обманул. Если б я знал заранее, никогда бы тебе не напомнил». Многие убеждены, что, если в чем исповедуешься священнику, грех этот мигом исчезает у беса из памяти и попрекнуть тебя им он уж не может.

Томас. Да, история очень смешная.

Ансельм. Пора, однако, заканчивать комедию. Беседы с душою продолжались несколько дней и вот к чему привели. На вопрос священника, можно ли каким-нибудь способом положить предел ее муке, она отвечала, что можно — если деньги, нажитые ею обманом и оставшиеся в целости, вернуть прежним владельцам. Тогда Фавн: «А что, если достойные люди употребят их на дела благочестия?» — «Поможет и это», — ответило привидение. Заклинатель возвеселился и принялся узнавать, велики ли деньги. Душа назвала громадную сумму, что было радостной вестью для Фавна. Назвала и место, где зарыто сокровище, очень отдаленное место. Указала, на что именно употребить деньги.

Томас. На что?

Ансельм. Она пожелала, чтобы трое паломников отправились в путь: один, чтобы посетил жилище Петра<sup>284</sup>, другой — приветствовал Иакова Компостельского, третий — облобызал гребень Иисуса в Трире<sup>285</sup>. Затем — чтобы в нескольких монастырях по многу раз отчитали псалтирь и служили обедни. А если что останется, — чтобы Фавн распорядился по своему усмотрению. Фавн уже ни о чем, кроме этого сокровища, не думал, уже поглотил его в своих мечтах.

Томас. Это общая слабость, хотя особенно дурная слава тут за духовным сословием.

Ансельм. Когда денежные дела были оговорены вплоть до мельчайших подробностей, заклинатель, по внушению Пола, стал расспрашивать душу о сокровенных искусствах — об алхимии и магии. И на это душа ответила, насколько было возможно, и пообещала рассказать подробнее, едва лишь хлопотами и трудами Фавна избавится от бесовской опеки. Это, если ты не возражаешь, пусть будет у нас третьим действием комедии. В четвертом Фавн начинает повсюду трубить о чуде, только об этом и твердит в любом разговоре, за любым столом, монастырям сулит баснословные вклады, о скромности и смирении забыл

---

<sup>284</sup> То есть базилику святого Петра в Риме.

<sup>285</sup> В Трирском соборе показывали гребень, которым якобы причесывался Иисус Христос.

совершенно. Он находит указанное место и приметы, но вырыть клад не смеет, потому что душа предупредила его, что это чревато грозной опасностью — если тронуть сокровища, не отслужив сперва назначенных ею обеден. Уже многие проникательные люди чуяли обман, ибо не было такого места, где бы он не раструбил о своей глупости. Его друзья, и в первую очередь его аббат, втихомолку напоминали ему, что он всегда считался человеком рассудительным — пусть же не выставляет себя на глаза целому свету примером обратного свойства! Но никакие речи не могли его разуверить в том, что все случившееся — истинная правда. Это до такой степени заполонило его душу, что ни о чем, кроме привидений и злых гениев, он уже и не говорил и даже во сне ничего иного не видел. Состояние духа отразилось и в лице, которое было таким бледным, исхудавшим и унылым, что Фавн и сам больше походил на загробную тень, чем на живого человека. Он был на волосок от настоящего безумия, но тут применили сильное и скорое средство.

Томас. И это будет последнее действие комедии.

Ансельм. Да, его-то я и хочу изложить. Пол с зятем придумали такую хитрость. Они сочинили письмо и написали его диковинными буквами, да еще не на обычной бумаге, а на той, которую золотых дел мастера подкладывают под листовое золото, — красновато-желтой. Вот содержание письма:

«Фавн, в прошлом пленник, а ныне свободный, шлет вечный привет Фавну, своему достойнейшему освободителю! Отныне, мой Фавн, тебе более незачем изнурять себя заботою обо мне. Бог призрел на благочестивую решимость твоей души и ее заслугами избавил меня от страданий. Ныне я блаженствую меж ангелами. Тебя ожидает место подле Августина, Августин же — в ближайшем соседстве с апостольским сонмом. Когда ты явишься к нам, я поблагодарю тебя лично. А пока живи счастливо. Писано на седьмом небе в сентябрьские иды года одна тысяча четыреста девяносто восьмого и припечатано моим перстнем».

Письмо тайком положили на алтарь, у которого должен был служить Фавн. После службы кто-то, нарочито подученный, указал ему на это послание, словно бы обнаруженное случайно. Теперь Фавн носит с ним повсюду и показывает как святыню; и ни во что не верит он крепче, как в то, что письмо принесено ангелом с небес.

Томас. Это значит не избавить человека от безумия, но лишь переменить род безумия.

Ансельм. Конечно. Новое безумие приятнее прежнего — вот и вся разница.

Томас. Я и раньше не очень прислушивался к ходячим рассказам о привидениях, а вперед и вовсе не стану обращать на них внимания. Многое из того, что записано и выдается за истину людьми легковверными и схожими с Фавном, многое из этого, я подозреваю, было подстроено примерно так же. 286

Ансельм. А я — так прямо уверен, что большая часть.

## Алхимия

---

286 В уже упоминавшемся послесловии «О пользе „Разговоров“ Эразм дает такое несколько неожиданное толкование этому диалогу: „Я разоблачаю уловки обманщиков, которые привыкли издеваться над простыми и легковверными душами, изображая явления демонов и усопших, подражая звукам сверхъестественных голосов... Юный и неискушенный возраст особенно беззащитен перед подобными обманами, и потому я решил показать злостное надувательство на этом забавном примере“.



### Филекой. Лал 287

Филекой. Что это случилось с Лалом? Он все улыбается, едва удерживается от хохота, и все крестится. Сейчас спрошу самого. Здравствуй, мой дорогой Лал! Мне кажется, ты очень доволен сегодня.

Лал. Да, и буду еще довольнее, если поделюсь своим удовольствием с тобою.

Филекой. Что же, говори скорее.

Лал. Ты знаешь Бальбина?

Филекой. Такой образованный старик и жизнь ведет примерную?

Лал. Совершенно правильно. Но нет смертного, который был бы разумен во всякий час или не имел своих слабостей. Ваг и у него среди многих замечательных достоинств есть один изъян: он уже давно помешан на том искусстве, которое называют алхимией.

Филекой. Это не изъян, а тяжелый недуг.

Лал. Как бы там ни было, а его уже много раз одурачивали алхимики, и все ж недавно он снова попался на удочку, и удивительным образом.

Филекой. Каким же?

Лал. Подходит к нему какой-то священник, почтительно его приветствует и начинает так: «Ученнейший Бальбин, ты, верно, удивишься, что тебе докучает незнакомец, и в особенности если этому незнакомцу известно, что ты постоянно погружен в самые возвышенные занятия». Бальбин кивнул: такой у него обычай, потому что он вообще до крайности скуп на слова.

Филекой. Это признак ума.

Лал. Но другой был еще умнее и продолжал так: «Впрочем, ты простишь мне мою дерзость, когда узнаешь, почему я к тебе обратился». — «Говори, — отвечал Бальбин, — только коротко, если можешь». — «Скажу в самых немногих словах, как только сумею. Ведомо тебе, ученнейший муж, что судьбы смертных неодинаковы, и я затрудняюсь, к кому себя приписать, — к счастливым или к несчастным. Когда взираю на свою судьбу с одной стороны, мне кажется, что я отменно счастлив, когда с другой — что нет меня несчастнее». Бальбин напомнил ему, чтобы он изъяснялся короче, а он: «Сейчас кончаю, ученнейший Бальбин. Это будет совсем просто: ведь я говорю с человеком, которому это дело знакомо, как никому в целом свете!»

287 Филекой — по-гречески — «любитель послушать», Лал — «болтливый».

Филекой. Ритора ты мне описываешь, а не алхимика.

Лал. Сейчас услышишь алхимика: «Еще мальчишкою я сподобился счастья изучать самое драгоценное среди искусств и наук, мозг всей философии — алхимию». При слове «алхимия» Бальбин оживился, шевельнулся, но тут же невнятным мычанием велел рассказчику продолжать. «Но увы, — продолжал он, — я вступил не на тот путь, на который следовало вступить». Бальбин спросил, о каких путях он говорит, и священник отвечал: «Ты, Бальбин, человек всесторонне ученнейший, ты ничего не упустил и не пропустил и, конечно, знаешь, что в искусстве алхимии нам открываются два пути: один зовут „удлинновением“, другой — „укратчением“. Мне по какой-то недоброй случайности довелось встретиться с „удлинновением“. Бальбин осведомился, какое между путями различие. „Не такой уж я наглец, — возразил священник, — чтобы объяснять это Бальбину, которому все это знакомо, как никому в целом свете! Итак, я обращаюсь к тебе с мольбой: сжался надо мною и удостоив наставить на счастливейший путь укрращения. Чем более опытен ты в этом искусстве, тем легче можешь сообщить свой опыт мне. Не скрывай столь драгоценный дар божий от брата, угасающего во скорбях! Иисус Христос да осыплет тебя новыми, еще более щедрыми дарами!“

Этим заклинаниям не видно конца, и Бальбин вынужден признаться, что понятия не имеет ни об удлинновении, ни об укрращении; затем он просит священника растолковать смысл обоих слов. А тот в ответ: «Хоть я и не сомневаюсь, что ты знаешь лучше моего, однако раз ты велишь, я повинуюсь. Кто посвятил всю жизнь божественному этому искусству, изменяет обличие вещей двумя способами: один короче, но сопряжен с большими опасностями, другой дольше, но зато безопаснее. Я считаю себя несчастным оттого, что до сей поры бьюсь на пути, который мне не по душе; и до сей поры я не смог найти никого, кто согласился бы указать мне другой путь, который мне люб до безумия. Наконец бог внушил мне мысль обратиться к тебе, мужу столько ж благочестивому, сколько ученому. Ученость позволит тебе без труда наделить меня тем, о чем я прошу, а благочестие побудит прийти на помощь брату, чье спасение в твоих руках».

Не буду затягивать рассказа. Подобными речами хитрец отвел от себя всякое подозрение в обмане и внушил Бальбину уверенность, что другой путь отлично ему известен. Бальбин уже давно порывался его остановить и наконец не выдержал: «Бог с ним, с укрращением, — я о нем и не слыхивал-то никогда. Скажи мне по совести: удлинновением ты хорошо владеешь?» — «Ха! Как собственной пятернею! Долгота только не нравится». — «Какого срока он требует?» — спрашивает Бальбин. «Чересчур большого — почти целого года. Но дело верное, вернее не бывает». — «О сроке не тревожься, пусть и два года уйдут, лишь бы ты твердо полагался на свое искусство». Одним словом, уговорились тайно открыть работу в доме Бальбина, на том условии, что священник берет на себя труд, а Бальбин издержки, прибыль же разделят поровну; впрочем, неприятельный мошенник добровольно уступал весь будущий доход Бальбину. Оба клянутся молчать, как при посвящении в таинства. Тут же отсчитываются деньги на покупку глиняной и стеклянной посуды, углей и всего прочего, что потребно для оборудования мастерской, и наш алхимик с удовольствием проматывает эти денежки на продажных девок, на выпивку, за игрою в кости.

Филекой. Но это и значит изменять обличие вещей!

Лал. Бальбин, однако, требовал приступать к делу. «Разве ты не помнишь пословицу, — возражал ему алхимик, — насчет того, что доброе начало — половина успеха? Очень важно, чтобы хорошо заготовить материал». Наконец он принялся складывать печь. Тут снова открылась нужда в золоте — чтобы приманить будущее золото. Как рыба не ловится без наживки, так и золото алхимикам не дастся, если не примешать заранее частицу золота.

Тем временем Бальбин с головою ушел в расчеты: если унция принесет пятнадцать унций, прикидывал он, сколько ж прибытка ждать от двух тысяч унций? (Таковую сумму решил он израсходовать.) Когда алхимик промотал и эти деньги и уже месяца два, как притворялся, будто усердно хлопочет над мехами и углем, Бальбин спрашивает, подвигается

ли работа. Сперва тот отмалчивается, но Бальбин стоял на своем, и наконец слышит в ответ: «Кто всему прекрасному приступы и подходы трудны». Мошенник ссылаясь на оплошность, допущенную при покупке углей: он, дескать, купил дубовые, а надо было еловые или ореховые.

На ветер было брошено уже сто золотых, и тем не менее Бальбин снова пускается на риск. Снова отсчитываются денежки; куплены новые угли. Берутся за дело с еще большим рвением, чем вначале: так и на войне — после неудачи солдаты поправляют положение удвоенным мужеством. Несколько месяцев в мастерской все кипело и хлопотало, и Бальбин ожидал золотой жатвы, но в колбах не было и намека «а золото: всё, как и прежде, прогулял алхимик. Отыскивается новое оправдание: колбы были не такие, как надо. Ведь не из всякого дерева можно резать Меркурия<sup>288</sup> — так и золото не из всякой колбы вынешь. И чем больше были затраты, тем больше не хотелось отступаться.

Филекой. Это в обычае и у игроков. Как будто не лучше потерять часть, нежели все.

Лал. Ты прав. Алхимик клялся и божился, что никогда не случилось у него такого просчета, но теперь ошибка обнаружена, вперед все будет ладно и гладко, а все убытки он возместит с лихвою.

Переменяли колбы; мастерская обновилась во второй раз. Алхимик утверждал, что дело пойдет удачнее, если отправить в дар Богородице, которую, как ты знаешь, чтут в Паралиях<sup>289</sup>, несколько золотых: ведь алхимия — священное искусство, и для успеха необходима благосклонность небес. Бальбину этот совет очень понравился: он человек богобоязненный и ни единого дня не пропустит, без того чтобы не побывать в храме за службою. Алхимик отправляется в благочестивое странствие, но, разумеется, — не далее соседнего городка, где и оставляет приношение святой Деве в кабаке. Вернувшись, об объявил, что полон самых лучших надежд и что все их замыслы непременно сбудутся, ибо святая Дева с явною, как ему показалось, благосклонностью приняла их дары.

Опять протекло немало времени в упорных трудах, и опять золота ни крупинки. Бальбин требует объяснений, алхимик заверяет, что еще никогда в жизни не случилось с ним ничего похожего (а ведь он столько раз испытывал свое искусство!) и в чем тут причина — ума не приложит! Долго оба думали и гадали, и вдруг Бальбину приходит мысль: а не пропустил ли алхимик в который-нибудь из дней обедни или главных молитв? Если это так — никакой удачи и быть не может. Тут обманщик восклицает: «Ты попал в самую точку! О, я злосчастный! Я согрешил по забывчивости, и не раз, а дважды, а еще, совсем недавно, после затянувшегося обеда, поторопился встать и забыл принести благодарность святой Деве». А Бальбин ему: «Не удивительно, почему наше дело нам не удается!» Вместо двух пропущенных обеден алхимик вызывается отстоять дюжину, вместо одной «Богородицы» — отчитать десяток.

Скоро у мота-алхимика опять вышли все деньги, зато не вышли поводы к вымогательству. Вот что он придумал. Прибегает домой, чуть дыша, и жалобным голосом шепчет: «Я погиб, Бальбин, окончательно погиб. Считай, что меня уже нет в живых». Бальбин остолбенел, потом спрашивает, что за беда стряслась. «При дворе, — отвечает алхимик, — пронюхали, что мы с тобою делаем; не иначе как быть мне в тюрьме, и очень скоро». Услышав это, Бальбин так и побелел от страха. Ты ведь знаешь, что у нас занятия алхимией без дозволения государя караются смертью. А тот продолжает: «Не смерти я боюсь — хоть бы довелось умереть! — боюсь иного, пострашнее». — «Чего же?» — говорит Бальбин. «Упрячут меня в башню и до конца дней заставят трудиться на тех, ради кого и

---

<sup>288</sup> То есть не любая чурка годится на то, чтобы из нее вырезать статую бога (латинская пословица).

<sup>289</sup> Паралии можно перевести примерно как «Приморск» (греч.); значит, имеется в виду та же «Богородица Приморская», что в диалоге «Паломничество» (см. дальше), то есть Божья мать Уолсингэмская (Уолсингэм — к северо-востоку от Лондона, в графстве Норфолк). Отсюда определяется место действия диалога.



пальцем шевельнуть неохота. Любая смерть слаще такой жизни!»

Дело исследовали со всех сторон. Бальбин, искушенный в риторике, прикидывал и так и этак, нельзя ли избежать опасности. «Не можешь ли, — спрашивает, — отрицать вину в целом?» — «Никоим образом! Слух разнесся широко, у королевских советников есть доказательства, которых не опровергнешь. Даже защищаться невозможно — закон слишком ясен». Многие они перебрали и ни в чем не находили надежного укрытия; наконец алхимик, которому деньги были нужны немедленно, промолвил: «Мы, Бальбин, все строим дальние планы, а обстоятельства требуют средства, которое подействовало бы сразу. Я думаю, что за мною вот-вот явятся». Бальбину, однако ж, ничего в голову не приходило. «Вот и мне ничего не приходит, — подтвердил другой, — и я не вижу ничего иного, кроме как мужественно принять свою гибель, разве что мы обратимся к самому последнему средству; оно не столько честно, сколько полезно, но ведь стрекало пощады не знает. Для тебя не тайна, что эти придворные жадны до денег. Тем легче их подкупить и заткнуть им глотку. Как ни тягостно давать этим висельникам, которые тут же все пустят на ветер, но в нынешнем положении ничего лучшего я не нахожу». Бальбин решил точно так же и отсчитал тридцать золотых на покупку молчания.

Филекой. На редкость щедрый этот Бальбин, как тебя послушать.

Лал. Нет, в честном деле скорее выбьешь у него зуб, чем монету. Однако ж об алхимике своем он позаботился, хотя тому никто и ничем не угрожал — кроме возлюбленной, которая требовала подарков.

Филекой. Какая поразительная близорукость!

Лал. Только тут и обнаруживается его близорукость, в остальном он зорче самых зорких<sup>290</sup>. Опять расходы, складывают новую печь, помолившись наперед Богородице о подмоге и заступлении. Уже целый год миновал, а мошенник, ссылаясь то на одно, то на другое, ничего не делает и только сорит деньгами. Между тем произошел забавный случай.

Филекой. Что же именно?

Лал. Алхимик находился в тайной связи с женою какого-то придворного; супруг заподозрил неладное и стал за ним следить. И вот мужу доносят, что священник у него в спальне; тот совершенно неожиданно возвращается домой и стучит в дверь.

Филекой. И как собирался он поступить?

Лал. Как поступить? Да уж ничего приятного прелюбодея не ожидало: либо с жизнью расстался бы, либо с яйцами. Супруг яростно грозился, что взломает двери, если жена не otvorит, за дверями — страшное смятение, лихорадочно соображают, что делать. Но есть лишь единственный выход — тот, который предлагают обстоятельства. Алхимик сбрасывает с себя платье, протискивается сквозь узкое окно, прыгает — не без опасности, не без ушибов! — и спасается бегством. Ты знаешь, что молва о таких событиях разлетается мгновенно. Дошла она и до Бальбина. Но наш искусник уже был к этому готов.

Филекой. Тут-то он и попался.

Лал. Как бы не так — выскользнул удачнее, чем из той спальни. Послушай, какова хитрость. Бальбин ни слова ему не сказал, но хмурым выражением лица достаточно показывал, что осведомлен о слухах, которые стали общим достоянием. А тот знал, что Бальбин человек благочестивый, а кое в чем, пожалуй, и суеверный; такие люди легко прощают раскаявшемуся любой проступок, хотя бы и самый тяжелый. И вот он умышленно заводит разговор об их деле, жалуется, что нет того успеха, к которому он привык и которого желал бы; в чем причина, прибавляет он, одному богу известно. Бальбин, который, по-видимому, твердо решил молчать, тут вспыхнул (он и вообще-то вспыльчив). «Нет, — заметил он, — вполне понятно, что нам мешает: мешают грехи. Наше дело лишь тогда будет успешно, если его вершить в чистоте и чистыми руками!» В ответ на это обманщик упал на

<sup>290</sup> С этим замечанием, возможно, связан выбор имени «Бальбин»: у Горация в «Сатирах» (третья сатира первой книги) так назван влюбленный, который «не видит ничуть недостатков в милой подруге».

колени и, состроив плаксивую физиономию, плаксивым голосом воскликнул: «Истинную правду вымолвил ты, Бальбин. Верно: грехи мешают! Но мои грехи, не твои! Не постыжусь исповедаться в моей скверне перед тобою, словно перед самым святым священником! Слабость плоти меня одолела, Сатана завлек в свои сети! О, я несчастный! Из служителя святыни стал прелюбодеем! И все же не пропал понапрасну дар, который мы сделали святой Деве. Я погиб бы наверняка, если бы не ее помощь. Супруг уже выламывал двери, окно было слишком тесно для меня. В этой неминуемой опасности пришла мне на память святейшая Богородица. Я преклонил колени и взмолился: „Если дар был тебе угоден, оборони!“ И тут же (время не ждало!) снова устремляюсь к окну и нахожу, что оно достаточно просторно и открывает дорогу к бегству».

Филекой. И Бальбин поверил?

Лал. Поверил. Мало того — простил, и внушал со страхом Божиим, что ни в коем случае нельзя явить себя неблагодарным пред блаженнейшею Девой! И снова отсчитываются денежки мошеннику, который заверяет, что вперед никогда и ничем не осквернит священного дела.

Филекой. Ну, а конец-то этому какой?

Лал. История очень длинная, но я завершу в нескольких словах. Долго морочил он Бальбина подобными проделками и немало денег у него выманил, когда появился человек, знавший этого негодяя с детства. Он легко сообразил, что его знакомец и здесь занят тем же, чем занимался везде, и, тайно встретившись с Бальбином, объяснил ему, какого искусника пригрел он в своем доме. Он советовал Бальбину поскорее отделаться от алхимика, если только Бальбин не предпочитает, чтобы тот скрылся сам, очистив предварительно ящики и шкапулки.

Филекой. И что тогда Бальбин? Уж, верно, постарался усадить негодяя в тюрьму?

Лал. В тюрьму? Ничего похожего — дал денег на дорогу и заклинал всем святым не болтать о том, что произошло. И, на мой взгляд, поступил мудро: лучше уж так, чем чтобы имя твое трепали на пирушках и на площадях, а после еще бояться, как бы не отобрали в казну твое имущество. Ведь обманщик никакой опасности не подвергался: искусством алхимии он владел столько же, сколько любой осел, и в подобных обстоятельствах на обман смотрят сквозь пальцы; а если бы Бальбин обвинил его в краже, сан спас бы мерзавца от веревки; кормить же такого приятеля за свой счет в тюрьме едва ли кто захочет.

Филекой. Я бы пожалел Бальбина, да ведь он сам находил удовольствие в том, что его водили за нос.

Лал. Ну, мне надо торопиться ко двору. В другой раз расскажу тебе про еще больших глупцов.

Филекой. Если будет время, послушаю охотно и отплачу рассказом за рассказ.

## Конский барышник



### Авл. Федр

Авл. Боже бессмертный, &#969;&#962;&#963;&#949;&#956;&#957;&#959;&#960;&#961;&#949;&#960;&#949;&#953;<sup>291</sup> наш Федр, то и дело возводит очи к небу. Подойду к нему. Что нового, Федр?

Федр. Отчего ты так спрашиваешь, Авл?

Авл. Оттого, что из Федра, мне кажется, ты обратился в Катона, — столько строгости у тебя в лице.

Федр. Не удивительно, друг: я только что исповедался в грехах.

Авл. А, ну тогда я уже не удивляюсь. Но скажи по чести, ты во всем исповедался, ничего не утаил?

Федр. Во всем, что припомнил, кроме одного.

Авл. Почему ж умолчал об этом одном?

Федр. Потому что до сих пор раскаяться не могу.

Авл. Приятный, надо думать, был грех.

&#934;едр. Я не уверен, грех ли это. Впрочем, послушай сам, если ты не занят.

Авл. Послушаю с удовольствием.

Федр. Ты знаешь, какие обманщики те, кто торгует лошадьми или отдает их внаем.

Авл. Слишком хорошо знаю: не однажды они меня надували.

Федр. Недавно случилось мне отправляться в дорогу, довольно дальнюю, и главное — по спешному делу. Иду я к одному из таких торговцев, пожалуй, самому честному среди людей этой породы, а отчасти даже и приятелю. Рассказываю, что дело у меня важное, что лошадь нужна самая крепкая и быстрая, и прошу, чтобы теперь, как никогда, он доказал мне свою дружбу и порядочность. Тот обещает обойтись со мною, как с родным братом.

Авл. Наверно, он и брата готов надуть.

Федр. Приводит он меня в конюшню и велит выбирать коня, которого захочу. Один приглянулся больше всех других. Торговец хвалит мой выбор, клянется, что лошадь добрая, много раз испытанная, и что он берег ее для близкого друга, а чужим отдавать не хотел. Договариваемся о цене; тут же расплачиваюсь; сажусь в седло. Поначалу конь мой скачет на диво резво; я даже решил, что он мало объезжен — до того гладок он был и хорош с виду. Но часа полтора спустя чувствую, что он совсем без сил, даже шпоры не помогают. Я слышал

<sup>291</sup> Как важно глядит (греч.).

про обманщиков, которые держат на продажу таких коней — с виду отменных, но без всякой выносливости. «Да, попался, — говорю я себе. — Ну, погоди, мошенник, вернусь — отплачу по заслугам!»

Федр. И что же ты стал делать, конник без коня?

Авл. То единственное, что подсказывали обстоятельства: завернул в ближайшее село. Тайно поставил коня у одного знакомого, нанял другую лошадь и выехал туда, куда направлялся. Приезжаю назад, возвращаю наемную лошадь, снова получаю моего притворщика, прекрасно отдохнувшего и такого же гладкого, как прежде. Сажусь верхом — и к барышнику. «Подержи, говорю, пока у себя в конюшне несколько дней; после я заберу». Тот спрашивает, хорошо ли он меня вез. Я клянусь всем святым, что никогда в жизни не было подо мною коня лучше этого», он не бежит, а летит, за весь долгий путь ни разу не почувствовал усталости и нисколько не отошал, несмотря на нелегкие свои труды. Хозяин поверил, примолк и задумался: лошадь оказалась иною, чем он полагал. И вот, не давая мне уйти, он спрашивает, не продается ли лошадь. Сперва я отвечал, что нет; если опять случится ехать, другую такую сыскать будет не просто; впрочем, говорю, нет у меня ничего столь дорогого, чтобы не продать за хорошую цену, — даже если бы кто пожелал купить меня самого.

Авл. Да, недурно ты разыграл критянина с этим критянином<sup>292</sup>!

Эразм; едр. Короче — ни за что меня не отпускает, покамест не назначу цену. Я назначаю много выше той, за которую купил. Распровавшись, сразу нахожу человека, который соглашается сыграть в этой комедии со мною вместе, и все как следует ему объясняю. Он входит в дом, зовет хозяина и говорит, что ему нужен очень хороший и очень выносливый конь. Хозяин показывает многих коней и самых скверных расхваливает всего больше; только про того, которого недавно продал мне, ни одного доброго слова не вымолвил, поверив моей лжи. Но посетитель тотчас осведомился, можно ли и того купить (я описал ему наружность коня и место, где он стоял). Хозяин сперва промолчал и продолжал притворно выхвалять других лошадей. Но тот, с одобрением отозвавшись и о прочих, упорно толковал все об одном коне, и хозяин признал про себя: «Да, тут я решительно просчитался! Даже иноземец сразу высмотрел его среди всех остальных». Покупатель настаивал, и наконец хозяин сказал: «Он продается, но цена, наверно, тебя отпугнет». — «Нет цены слишком высокой, если вещь того стоит». Хозяин потребовал много больше, чем назначил я; он и тут хотел сорвать барыш. Все же сговорились — покупатель дает задаток, и немалый — золотой дукат, — чтобы не заронить подозрений, что покупка мнимая, потом велит засыпать коню корма и обещает вскоре за ним вернуться; перепадает кое-что и конюху.

Я, как узнал, что сделка заключена и расторгнута, быть не может, снова обуваю сапоги со шпорами и бегу к хозяину; кличу его, не успев отдышаться. Выходит. Спрашивает, что мне угодно. «Сейчас же, говорю, седлай моего коня. Надо немедля отправляться по чрезвычайно важному делу». — «Но ведь ты, говорит, только что просил подержать его здесь несколько дней». — «Верно, говорю, но неожиданно появилось дело, и не какое-нибудь, а королевское поручение, — отлагательств не терпит». Тут хозяин: «Выбирай любого, а своего не получишь». Спрашиваю, почему. «Потому что он продан». А я, словно бы в крайнем волнении: «Что ты?! Боже избави! Теперь, перед такую дороною, я бы не продал его, даже если бы вчетверо больше предлагали». Начинаю браниться, кричу, что я погиб. Наконец разгорячился и он. «Что толку препираться? — говорит. — Ты назначил цену на своего коня — я его продал. Отсчитаю тебе твои деньги — и прощай! Есть еще в нашем городе законы! Не можешь ты требовать у меня коня!» Долго я кричал, чтобы он представил мне либо моего коня, либо покупателя, и, наконец, в гневе, он отсчитывает всё сполна. Покупал я за пятнадцать дукатов, оценил в двадцать шесть. Он оценил в тридцать два и расчел про себя, что лучше взять эту прибыль, чем возвратить лошадь. Я насили

<sup>292</sup> Греческая пословица: жители Крита считались в древности отъявленными лгунами и обманщиками.

успокаиваюсь, — даже после того, как получаю деньги, — и уйду раздосадованный и огорченный. Он просит меня не сердиться, обещает загладить эту неприятность в других делах.

Итак, обманщик обманут. У него в стойле лошадь, которая вообще ничего не стоит, а он дожидается, когда придет тот, кто дал задаток, и уплатит всю цену. Но никто не приходит и никогда не придет.

Авл. И он не пробовал на тебя жаловаться?

Федр. И наглости не хватает, да и права нет ни малейшего. Приходил раз и другой, сетовал на бесчестного покупателя. Но я сам жалуюсь на него повсюду, говорю, что поделом ему, раз он своею поспешностью отнял у меня такого коня. И до того хорошо все подстроено, что не могу я склонить свою душу к покаянию.

Авл. Я бы считал, что мне должны поставить статую, если бы учинил что-нибудь подобное. И, уж конечно, не раскаивался бы.

Федр. Не знаю, от чистого ли сердца твои слова, но мое сердце они успокаивают, внушая еще большую охоту к таким проделкам.

**293**



**Ирид. Мисопон 294**

Ирид. Что это за новая птица к нам залетела? Лицо узнаю, но платье лицу не отвечает. Либо я вижу сны наяву, либо передо мною Мисопон. Здравствуй, Мисопон!

Мисопон. А, Ирид...

Ирид. Здравствуй, Мисопон!

Мисопон. Ш-ш! Тихо!

Ирид. Как? Не хочешь быть здоровым?

Мисопон. Хочу, но не под этим именем.

Ирид. Что случилось? Ты уже не тот, что раньше? Или вместе с платьем переменил

293 Разговор нищей братии (греч.).

294 Мисопон — «ненавидящий труд» (греч.); Ирид — потомок Ира (греч.), наглого нищего, изображенного в «Одиссее» Гомера.

имя?

Мисопон. Нет, взял прежнее имя.

Ирид. И как ты прежде назывался?

Мисопон. Апиций.

Ирид. Если даже судьба тебе улыбнулась, все равно не стыдись старого товарища. Ведь еще недавно и ты принадлежал к нашей братии.

Мисопон. Отойдем-ка в сторону, приятель, и я все тебе объясню. Вашей братии я не стыжусь — стыжусь того ордена, к которому принадлежал сначала.

Ирид. О ком ты говоришь? О францисканцах?

Мисопон. Нет, мой дорогой, совсем не о них, а об ордене промотавшихся гуляк.

Ирид. Ну, по этой братии у тебя товарищей без счета.

Мисопон. Был я богат, мотал направо, а когда деньги вышли, все дружки от Апиция<sup>295</sup> отвернулись. Стыд прогнал меня из родных мест, и я пристал к вам: всё лучше, рассудил, чем землю копать.

Ирид. И умно рассудил. Но откуда вдруг такая благообразность и свежий румянец? Перемене в платье я не слишком удивляюсь.

Мисопон. Отчего?

Ирид. Оттого, что богиня Лаверна<sup>296</sup> многих выводит из нищеты внезапно.

Мисопон. Значит, ты подозреваешь, что я ворую?

Ирид. Это, пожалуй, для тебя слишком трусливо. Грабишь, наверно?

Мисопон. Нет, не ваша Пеня<sup>297</sup> мне помогла, и не воровство, и не грабеж. Но сперва объясню насчет благообразия; оно для тебя всего удивительнее, как я вижу.

Ирид. Конечно. Ведь у нас ты был весь в язвах.

Мисопон. Я обратился к одному лекарю, который мне первый друг.

Ирид. К кому же?

Мисопон. К самому себе. Едва ли ты станешь утверждать, что у меня есть друзья ближе.

Ирид. Но я никогда не знал, что ты сведущ в медицине.

Мисопон. Всю ту красу я навел на себя сам — смолою, серою, клеем, тряпицами, кровью, разными красками.

Ирид. Ах ты обманщик! А казалось — нет тебя злосчастнее! Ты мог бы Иова представлять<sup>298</sup> в трагедии.

Мисопон. Нужда заставила; впрочем, и удача нередко способна переменить человеку шкуру.

Ирид. Так расскажи про удачу! Ты нашел клад?

Мисопон. Нет. Но я нашел промысел поприбыльнее вашего.

Ирид. Какие могут быть прибыли, когда нет денег, чтобы начать дело?

Мисопон. Искусство повсюду прокормит.

Ирид. Ты имеешь в виду искусство обрезать кошельки?

Мисопон. Вот еще выдумки! Нет, — искусство алхимии.

---

<sup>295</sup> Апиций — имя знаменитого мота и гурмана (кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.), ставшее нарицательным у римских писателей. Он прокутил большую часть своего состояния и, считая, что стеснять себя в чем бы то ни было — это все равно что умирать с голода, отравился.

<sup>296</sup> Лаверна — римская богиня нечестной прибыли, покровительница воров и мошенников.

<sup>297</sup> Пеня — бедность (греч.). Это божество (или олицетворение) нужды — не выдумка Эразма: о нем упоминают некоторые древние писатели.

<sup>298</sup> Праведный страдалец Иов — герой одноименной книги Ветхого завета. Испытывая благочестие Иова, бог передает его во власть дьяволу, и тот, кроме многих иных бедствий, поражает Иова проказой.

Ирид. И пятнадцати дней не прошло, как ты с нами расстался, а уже постиг искусство, которым другие и за долгие годы едва могут овладеть?

Мисопон. А я напал на кратчайший путь.

Ирид. Какой? Объясни, сделай милость.

Мисопон. Ваше искусство доставило мне около четырех золотых. По милости судьбы повстречался я со старым собутыльником, который распорядился со своим добром не лучше моего. Сидим, попиваем; он, как водится, рассказывает о своих делах. И вот уславливаемся, что я буду поить его вволю, а он откроет мне свое искусство. И открыл, сдержал слово. В этом теперь мой доход.

Ирид. А мне узнать нельзя?

Мисопон. С тобой я хоть и задаром поделюсь — по давней дружбе. Ты знаешь, что повсюду очень много людей прямо-таки помешанных на алхимии.

Ирид. Слышал и не сомневаюсь.

Мисопон. Под каким-нибудь предлогом я вкрадываюсь к ним в доверие; начинаю превозносить искусство алхимии. Как почую, что будет пожива, готовлю приманку.

Ирид. Каким образом?

Мисопон. Сам внушаю, чтобы они не слушали всех подряд, кто хвастается своими познаниями, потому что большинство среди таких хвастунов — обманщики: только о том и думают, как обморочить беспечных и опустошить их кошельки.

Ирид. Не слишком годится такое вступление для твоего дела.

Мисопон. Мало того, я еще прибавляю, чтобы они и мне не верили, пока сами не убедятся, что дело верное: не увидят собственными глазами и собственными руками не ощупают.

Ирид. Как ты полагаешься на свое искусство! Поразительно!

Мисопон. Прошу их присутствовать при опытах превращения. Прошу глядеть повнимательнее. Чтобы рассеять последние сомнения, прошу делать все своими руками, а сам стою в стороне, наблюдаю и даже пальцем не прикоснусь. Прошу, чтобы расплавленную массу либо очистили сами, либо отнесли для очищения к золотых дел мастеру. Заранее предсказываю, сколько серебра или золота должно получиться. Наконец, то, что очистится, прошу отнести к нескольким мастерам для пробы лидийским камнем. Получают тот вес, который я предсказал. Получают чистейшее золото или серебро — разницы для меня никакой, разве что с серебром меньше риска.

Ирид. Значит, в твоём искусстве нет никакого обмана?

Мисопон. Наоборот — один только обман.

Ирид. Пока не вижу.

Мисопон. погоди, увидишь. Прежде всего, я уславливаюсь насчет платы: не хочу ничего, покамест не испытано мое искусство. Даю им порошок, силою которого, якобы, и совершается превращение. Но как изготовить порошок, сообщаю только за большие деньги. И беру с них клятву, что в течение полугода они не откроют этой тайны никому из смертных или бессмертных.

Ирид. Обмана все еще не вижу.

Мисопон. Весь обман скрывается в одном уголке, нарочно для этого приготовленном. Я выдалбливаю уголь и заливаю внутрь расплавленное серебро — ровно столько, сколько должно выйти, чтобы мое предсказание оправдалось. Когда всыплют порошок, располагаю сосуд так, чтобы он был обложен жаром не только снизу и с боков, но и сверху: таково, мол, правило искусства. К углям, которые накладывают сверху, примешиваю уголек с серебром или золотом. Металл расплавляется и стекает в сосуд, где уже плавится олово или, например, медь.

Потом производят очищение и примесь извлекают.

Ирид. Нехитрое искусство. Но как остаться незамеченным, если все делает другой?

Мисопон. Когда он все исполнит по моим предписаниям, я подхожу и, пока сосуд не стронули с места, проверяю, ничего ли не упущено. Говорю, что, по-моему, недостает

одного-двух углей сверху, и кладу свой уголек: делаю вид, будто взял его наугад из кучи угля, но на самом деле он подложен заранее, да так ловко, что простак ничего не заподозрит.

Ирид. А когда без тебя у них ничего не получается, чем ты оправдываешься?

Мисопон. Это меня не тревожит, раз деньги уже выплачены. Выдумываю что попало: что горшок был нечист, или угли не такие, как надо, или огонь плохо поддерживали. И наконец, немаловажная часть моего мастерства состоит в том, чтобы на одном месте долго не задерживаться.

Ирид. Но неужели доход от этого искусства так велик, что может тебя прокормить?

Мисопон. Отменно кормит! Вот и ты, если не глуп, бросай-ка свое нищенство и присоединяйся к нашей братии.

Ирид. Нет, скорее постараюсь вернуть тебя в нашу братию.

Мисопон. Чтобы я по доброй воле возвратился к тому, от чего уже раз бежал, отказался от благ, которые нашел?

Ирид. Наше занятие становится тем слаще, чем больше к нему привыкаешь. Многие покидают орден святого Франциска или Бенедикта, но встречал ты хоть однажды человека, который пробыл бы среди нас долго, а потом бы нас покинул? За считанные месяцы ты едва вкусил, что такое нищенство.

Мисопон. Вкусил довольно, чтобы понять: большего несчастья на свете нет.

Ирид. Почему тогда никто нам не изменяет?

Мисопон. Может быть, оттого, что все вы несчастны по самой своей природе.

Ирид. А я этого несчастья даже на царскую участь не променял бы. Потому что нет ничего более сходного с царским достоинством, чем нищета.

Мисопон. Что я слышу? Нет ничего более сходного со снегом, чем уголь?

Ирид. Скажи мне, какая главная причина тому, что цари счастливы?

Мисопон. Они могут делать что душе угодно.

Ирид. Но эта свобода, которая всего на свете отраднее, никому из царей не принадлежит в большей мере, чем нам. И я не сомневаюсь, что есть немало царей, которые нам завидуют. Война ли идет, стоит ли мир — мы всегда в безопасности: в военную службу нас не записывают, к общественным обязанностям не призывают, податями не обкладывают; народ дочиста грабят поборами — на нас никто не обращает внимания; совершив преступление, и даже тяжелое, — кто унижится до того, чтобы привлечь к суду нищего? Даже если кинемся на кого с кулаками — с нищим драться стыдно. Царям ни во время мира, ни во время войны нельзя жить в свое удовольствие, и чем выше их положение, тем больше страхов. Нас же толпа страшится обидеть и глядит на нас с каким-то благоговением, словно мы под особой защитой у господ бога.

Мисопон. Но и лохмотья ваши, и лачуги до того грязны!...

Ирид. Разве это хоть сколько-нибудь умаляет истинное счастье? То, о чем ты говоришь, — вне человека. Нашим лохмотьям и обязаны мы блаженством.

Мисопон. Но боюсь, что изрядной доли своего блаженства вы скоро лишитесь.

Ирид. Как так?

Мисопон. Пошли уже речи о том, чтобы не позволять нищим бродить с места на место, куда вздумается, но чтобы каждое государство содержало своих нищих, а тех, кто здоров, заставляло бы трудиться.

Ирид. Отчего такие замыслы?

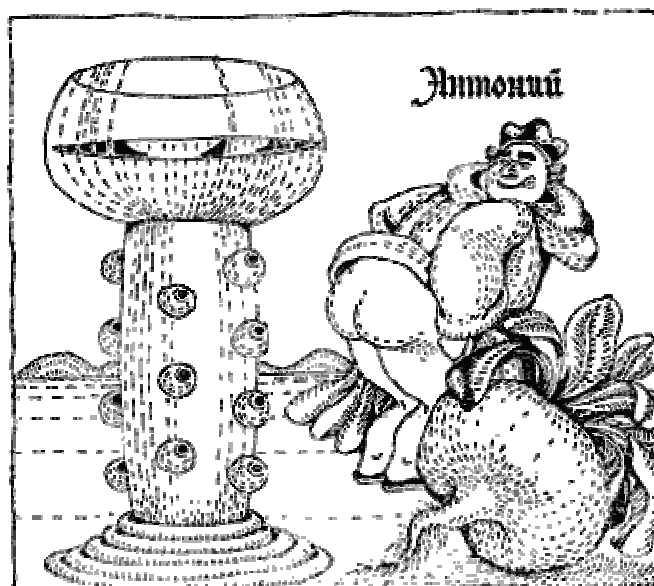
Мисопон. Обнаружилось, что под покровом нищенства творятся ужасные злодеяния. И вообще от вашей братии — страшный вред.

Ирид. Не в первый раз слышу такие толки. В греческие календы это исполнится.

Мисопон. А может, и скорее, чем ты надеешься.

## Говорливое застолье





**Полимиф. Геласин. Евтрапел. Астэй. иллит. Филогел. Евглотт. Лерохар.  
Адолесх. [Левин] 299**

Полимиф. Как не подобает хорошо устроенному государству жить без законов и без государя, так и застолью негоже быть &#945;&#957;&#945;&#961;&#967;&#959;&#957;&#954;&#945;&#953; &#945;&#957;&#959;&#956;&#959;&#957; 300

Геласин. Прекрасно! От имени всего народа изъявляю согласие!

Полимиф. Эй, слуга, принеси-ка нам кости. Их голосованием определится, к кому благосклонен Юпитер. Тому и за столом царить. Замечательно! Юпитер благосклонен к Евтрапелу. На этот раз случай не был слеп. Удачнее выбора и быть не могло, даже если бы собирали голоса по трибам<sup>301</sup>, запрашивая каждого из граждан в отдельности. Есть одна пословица, не очень, правда, латинская, но не без смысла: что ни граф, то свой прав. Она и к царю приложима. &#925;&#959;&#956;&#959;&#952;&#949;&#964;&#949;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957;., &#969;&#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#965;<sup>302</sup>.

Евтрапел. В добрый для сего застолья час! Во-первых, повелеваю: всякий да расскажет забавную историю; кто промолчит, с того пени одна драхма; означенную пеню употребить на вино. В числе надлежащих полагать и такие истории, кои будут сочинены на месте, коль скоро соблюдены &#964;&#959; &#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#972;&#957;&#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#960;&#961;&#941;&#960;&#959;&#957;<sup>303</sup>. Ежели не

<sup>299</sup> Все имена вымышленные и все греческого происхождения: Полимиф — «словоохотливый», Геласин — «смеющийся», Евтрапел — «остроумный», Астэй — «изящный, прелестный», Филитл — «любитель вздора», Филогел — «смешливый», Евглотт — «краснобай», Лерохар — «пустослов», Адолесх — «болтун».

<sup>300</sup> Безначальным и незаконным (греч.).

<sup>301</sup> Трибы — административно-территориальные округа в древнем городе Риме. Поначалу их было три, постепенно число триб дошло до тридцати пяти, и все новые римские граждане приписывались к этим, уже существующим трибам.

<sup>302</sup> Здесь: огласи нам твои законы, царь (греч.).

<sup>303</sup> Правдоподобие и приличие (греч.).

промолчит никто, тогда цену вина да уплатят двое: один — кто расскажет самую веселую историю, другой — кто самую скучную. Хозяин дома от расходов на вино да будет свободен, все прочие расходы да примет на себя. Ежели при исполнении вышеозначенного случатся разногласия, судьей и посредником да будет Геласин. Ежели вы одобряете, да имеет указанное силу закона. Кто не желает подчиняться, пусть уходит, сохраняя, однако ж, полное право прийти к завтрашней выпивке.

Геласин. Закон, предложенный царем, одобряем и утверждаем. Но с кого начнется круг рассказов?

Евтрапел. С кого же еще, как не с хозяина?

Астэй. Можно ли, царь, сказать три слова?

Евтрапел. А что, разве у нас застолье несвоевременное и неприсутственное? <sup>304</sup>

Астэй. Законоведы утверждают, что, если закон несправедлив, он не должен иметь силы.

Евтрапел. Согласен.

Астэй. А твой закон приравнивает лучшую историю к худшей.

Евтрапел. Если мы ищем развлечения, не меньшей похвалы заслуживает тот, кто сказал хуже всех, нежели тот, кто всех лучше, — потому что и позабавит нас не меньше. Так и среди певцов развлечение доставят только те, кто поет либо на редкость хорошо, либо из рук вон плохо. Разве не чаще люди смеются, услышав кукушку, чем соловья? В этих случаях без похвал остается середина.

Астэй. Но почему наказывать тех, кто удостоится похвалы?

Евтрапел. Чтобы чрезмерная удача не навлекла на них гнева Немезиды<sup>305</sup>, если они удостоятся и похвалы и льготы разом.

Астэй. Клянусь Бромием, сам Минос<sup>306</sup> никогда не предлагал закона справедливее!

Филитл. А насчет того, как пить, никакого закона не предложишь?

Евтрапел. Все уже взвешено и рассмотрено: я последую примеру Агесилая, царя лакедемонян.

Филитл. Как же он поступил?

Евтрапел. Однажды, когда решением костей он был избран в симпосиархи<sup>307</sup> и архитриклин<sup>308</sup> спросил его, сколько вина прикажет наливать каждому из гостей, он ответил: «Если запасено щедро, лей каждому, сколько потребует, а если скупо, в обрез, всем раздели поровну».

Филитл. А что он имел в виду, этот лаконец? Евтрапел. Чтобы застолье не было пьяным, но и чтоб унылым тоже не мало.

Филитл. Как так?

Евтрапел. Есть люди, которые любят выпить обильно, есть — которые умеренно, а находятся и такие, что вовсе не пьют (таков, по рассказам, был Ромул). Если наливать только

<sup>304</sup> Римский календарь разделял дни на благоприятные и неблагоприятные. Последние были объявлены неприсутственными — в такие дни преторы не могли вершить суд и не произносили формулу, утверждавшую законность их решений. А формула эта состояла из трех слов: *do* — предоставляю [права], *disco* — произношу [приговор], *addisco* — присуждаю. Отсюда шутовское возражение Евтрапела.

<sup>305</sup> Древние верили, будто боги завистливы и не прощают человеку постоянного и неизменного счастья. Немзида — греческая богиня справедливости, карающая дерзость и заносчивость смертных.

<sup>306</sup> Бромий — «шумный» (греч.), прозвище бога вина Вакха. Минос — царь острова Крита, сын Зевса. После смерти боги сделали его одним из трех судей в подземном Царстве мертвых.

<sup>307</sup> Глава (распорядитель) пира (греч.).

<sup>308</sup> Здесь: старший слуга за столом (греч.).

тому, кто требует, никто не пьет по принуждению, а вместе с тем вполне довольны и главные выпивалы. И все за столом веселы. А если запас вина невелик и его делят на равные доли, — тем, кто пьет мало, будет довольно, а кто собирался хлебнуть побольше, тот легко примиряется с воздержностью, оттого что всем досталось поровну и ворчать никто не вправе. Этим примером, если вы не против, я и воспользуюсь. Мы желаем, чтобы наше застолье было говорливое и озорное, но не хмельное.

Филитл. Но что же тогда пил Ромул?

Евтрапел. То же, что собаки, Филитл. Но это недостойно царя!

Евтрапел. Ничуть не более, чем дышать одним воздухом с собаками. Разница лишь в одном: царь не пьет ту же воду, что собака, а воздух, который выдохнул царь, вдыхает собака, и наоборот — который выдохнула собака, вдыхает царь. Громче была бы слава великого Александра, если бы он пил наравне с собаками. Для того, кто постоянно печется о многих тысячах, нет ничего хуже пьянства. А что Ромул был трезвенник, показывает остроумная его апофтегма<sup>309</sup>; Кто-то, видя, что он не пьет за столом, заметил: «Дешевое было бы вино, если бы все пили, как ты». — «Напротив, — возразил Ромул, — оно было бы очень дорогое, если бы все пили так, как пью я, потому что я пью столько, сколько мне хочется».

Геласин. Жаль, что нет с нами нашего друга Иоганна Ботцхейма<sup>310</sup>, констанцкого каноника. Он точно какой-то новый Ромул: сам не пьет, но за столом обходителен и весел.

Полимиф. Ну, что ж, если вы способны разом — не скажу, дуть и втягивать в себя (это, если верить Плавту<sup>311</sup>, трудно), — но кушать и слушать, что никакого труда не составляет, я, в добрый час, первым вступлю в должность рассказчика. Если история будет не слишком изящная, помните, что она голландская. Я думаю, некоторые из вас слышали имя Макка.

Геласин. Да, он умер не так давно.

Полимиф. Приехал он в город Лейден, не был никому известен и хотел сыграть какую-нибудь шутку, чтобы о нем заговорили (это был всегдашний его обычай). И вот входит он в обувную лавку, здоровается. Хозяин, желая сбыть свой товар, спрашивает, не угодно ли ему чего. Макк окидывает взглядом развешанные повсюду краги, сапожник спрашивает, не угодно ли. Макк кивает, сапожник отыскивает пару ему по ноге, приносит проворно и, как водится, сам обувает покупателя. Глядя на ловко схваченные крагами ноги Макка, он говорит: «Как хорошо подошли бы к ним башмаки на двойной подошве! Не угодно ли?» Макк снова кивнул. Подыскали и башмаки, примерили. Макк хвалил краги, хвалил башмаки, а сапожник ему поддакивал, радуясь про себя: коли товар так понравился покупателю, — значит, есть надежда взять настоящую цену! Уже завязывалась какая-то взаимная приязнь, и тут Макк спрашивает: «Скажи мне начистоту, случилось с тобою когда-нибудь, чтобы ты обул покупателя в краги и башмаки — снарядил его для бега, вот как сейчас снарядил меня, — а он бы удрал, не расплатившись?» — «Никогда», — отвечает хозяин. «А если бы все-таки случилось, что бы ты стал делать?» — «Побежал бы вдогонку», — отвечает хозяин. А Макк ему: «Ты это всерьез или в шутку?» — «Какие тут шутки!» — отвечает хозяин. «Сейчас проверим, — говорит Макк. — Я побегу вперед, ты — следом. Награда победителю — башмаки». И с этими словами припустился во весь дух. Сапожник тут же за ним, кричит: «Держи вора!» На этот крик изо всех домов высыпали

---

<sup>309</sup> Изречение (греч.).

<sup>310</sup> Иоганн Ботцхейм (ок. 1480—1535) — друг Эразма и многих других гуманистов. Его дом в Констанце был пристанищем для всех людей науки и искусства, ехавших из Северной Европы в Италию или в обратном направлении. Эразм был его гостем в 1522 г. Они сблизились благодаря сходству характеров и взглядов, в частности — благодаря одинаковому отношению к Реформации; сперва сочувственному, потом враждебному.

<sup>311</sup> «Привидение», 791.

горожане, но Макк уже придумал, как их остановить, чтобы они его не схватили. Весело и безмятежно улыбаясь, он предупреждал: «Не мешайте нам. Мы бежим наперегонки за кружку пива», — и все почувствовали себя зрителями на состязании и решили, что крики сапожника — это просто хитрость, чтобы опередить противника. В конце концов сапожник признал себя побежденным и, обливаясь потом, задыхаясь, повернул обратно. А Макк унес домой награду.

Геласин. От сапожника твой Макк улизнул, а от вора — нет.

Полимиф. Почему это?

Геласин. Потому что вор бежал вместе с ним.

Полимиф. Вероятно, у него не было денег при себе: после-то он расплатился.

Геласин. Но иск хозяин ему вчинил?

Полимиф. Да, несколько позднее. Но к этому времени Макк был уже известен кое-кому из властей.

Геласин. И как он оправдывался?

Полимиф. Как оправдывался? В таком легком деле? Ты еще спрашиваешь! Да ответчику пришлось туже, чем истцу!

Геласин. Как это?

Полимиф. Макк обвинял его в клевете и грозил законом Ремия, который гласит: кто вчиняет иск, вины же доказать не может, тот подлежит наказанию, которое понес бы ответчик, если бы оказался изобличен. Он утверждал, что не прикасался к чужому имуществу вопреки воле хозяина, но что хозяин сам его об этом просил. О цене же вообще не было речи: он вызвал сапожника состязаться в беге, тот принял его условия и не вправе ни на что жаловаться, потерпев поражение.

Геласин. Это очень похоже на тяжбу о тени осла<sup>312</sup>. И что ж в конце концов?

Полимиф. Когда все насмеялись всласть, один из судей пригласил Макка к обеду, и тот отсчитал сапожнику его деньги. Такой же случай произошел в Девентере, когда я был мальчишкою<sup>313</sup>. Стояла пора, когда царствуют рыбки, а мясники пропадают от безделия<sup>314</sup>. У окна торговли фруктами (или, если угодно по-гречески, опораполиды), женщины весьма грузной и дородной, какой-то человек разглядывал выставленный на продажу товар. Торговка, конечно, спросила, чего ему угодно, и, видя, что он глядит на смоквы, сказала: «Смоквы замечательные! Угодно?» Тот кивнул, хозяйка спрашивает, сколько фунтов: «Угодно пять фунтов?» Тот опять кивнул, и хозяйка высыпала смоквы ему в полу. И пока она кладет на место чашки весов, тот удаляется, не бегом, а вполне спокойно. Хозяйка выходит получить деньги, видит, что покупатель ушел, и поднимает крик ему вдогонку. Он, однако ж, продолжает шагать своей дорожкой, словно это не имеет к нему никакого отношения, и лишь когда на крики хозяйки сбегается много народу, останавливается. Суд вершат тут же, в кольце зрителей: покупатель утверждает, что ничего не покупал, — он лишь принял то, что было ему предложено; если торговка желает судиться по-настоящему, он не против. И все хохочут.

Геласин. Теперь я расскажу историю. Она мало чем отлична от твоей и, пожалуй,

---

<sup>312</sup> Источник этой поговорки — анекдот о великом греческом ораторе Демосфене. Выступая в одном сложном деле и видя, что судьи рассеяны и невнимательны, он вдруг прервал свою речь и начал рассказывать о каком-то юноше, нанявшем осла с погонщиком. День был жаркий, и седок, спешившись, присел отдохнуть в тени, которую отбрасывал осел. Погонщик возразил, утверждая, что отдал внаем только осла, а не его тень. Спор превратился в судебную тяжбу. Тут Демосфен умолк, а когда судьи попросили его закончить рассказ, с горечью воскликнул: «Басню о тени осла вы готовы слушать, а важное дело выслушать не желаете».

<sup>313</sup> По всей видимости, истинная автобиографическая деталь: Эразм учился в голландском городе Девентере в 70-х — начале 80-х гг. XV в.

<sup>314</sup> То есть мясопуст (Великий пост).

нисколько ее не хуже, разве что сочинитель и виновник не такой знаменитый, как твой Макк. Всех, кто собирается на торгу, Пифагор делил на три разряда: одни вышли, чтобы продать, другие — чтобы купить (и оба эти разряда, говорил он, обременены заботой и потому несчастливы), наконец, третьи явились на рынок с единственной целью — посмотреть, что привезли и что делается; только они счастливы, потому что свободны от тревог и радуются даром, безвозмездно. Философ в нашем мире, продолжал он, ведет себя так же, как те люди на торгу. Однако нынешние рынки хорошо знают посетителей еще одного разряда, которые и не покупают, и не продают, и не глядят безмятежно по сторонам, но зорко высматривают, что плохо лежит. Среди них попадаются такие удивительные искусники, словно они родились под покровительством Меркурия.

Наш хозяин рассказал историю с послесловием, а я — со вступлением. Итак, послушайте, что произошло недавно в Антверпене. Один священник получил деньги, небольшие, но в серебряной монете. Проведал об этом какой-то обманщик. Подходит он к священнику (а у того в поясе туго набитый кошелек), приветливо здоровается и говорит, что ему поручили купить для настоятеля их приходской церкви новую ризу, которую надевают за богослужением поверх прочего облачения, и просит помощи: «Пойдем, говорит, вместе к торговцу и выберем ризу по тебе: мне чудится, ты и ростом и толщиной в точности такой же, как наш священник». Услуга казалась невелика, и тот с легкостью согласился. Являются они в какую-то лавку, выносят им ризу, священник примеряет, торговец клянется, что как раз впору. Обманщик долго оглядывал священника то спереди, то сзади и ризу похвалил, но сказал, что спереди она короче, чем надо. Тут торговец, боясь, как бы дело не расстроилось, принимается уверять, что риза тут ни при чем, что виною всему пояс, который как раз спереди выпирает. Что долго объяснять? Священник снимает пояс; ризу снова оглядывают со всех сторон, и тут обманщик, когда священник повертывается к нему спиной, хватается за пояс — и давай бог ноги. Священник бросается за ним, как был, в ризе, за священником — торговец. Священник кричит: «Держи вора!» Торговец кричит: «Держи священника!» Мошенник кричит: «Держи вора священника!» — и все кругом верят, что так оно и есть, глядя, как тот летит по улице в облачении. И пока они старались задержать друг друга, обманщик улизнул.

Евтрапел. Повесить бы эдакого искусника, да не просто, а как-нибудь похитрее!

Геласин. Если он уже не висит.

Евтрапел. И хорошо бы, чтоб висел не один, а вместе с теми, кто мирволит этим выродкам на горе и погибель государству.

Геласин. Да и мирволят-то не даром: цепь спущена на землю, но первое звено — в деснице Юпитера<sup>315</sup>.

Евтрапел. Вернемся к нашим рассказам.

Астэй. Пришла твоя очередь, если только дозволено ставить царя в общий черед.

Евтрапел. Меня не надо ставить, я встану добровольно; иначе я был бы тираном, а не царем, — когда бы отказывал в подчинении законам, которые сам издаю.

Астэй. Но говорят, что государь выше законов.

Евтрапел. И не без основания — если под «государем» понимать верховного властителя, из тех, что когда-то звались «цезарями», и если, далее, «быть выше законов» означает: неопустительно и по собственному почину исполнять то, что другие делают главным образом по принуждению. Что для души тело, то для государства добрый государь. Впрочем, «добрый» — излишнее уточнение, ибо скверный государь — вообще не государь. Точно так же, как нечистый дух, вторгшийся в человеческое тело, не есть душа. Однако ж — к рассказу! Царю, я думаю, и рассказ подобает царский.

Людовик, одиннадцатый среди французских королей, носивших это имя,

<sup>315</sup> В «Илиаде» Гомера (VIII, 19—27) Зевс (Юпитер) грозит спустить с неба на землю золотую цепь и утверждает, что все боги и богини не смогут «совлечь с неба на землю Зевса, строителя вышнего, сколько б они ни трудились», тогда как он, если почтет за благо, поднимет их всех вместе «с самой землею и с самим морем».

междоусобными распрями был изгнан из отечества и жил в Бургундии. Охотничьи забавы свели его с неким Кононом, человеком грубым, но искренним и бесхитростным; монархи находят удовольствие в общении с людьми такого рода. Людовик много раз останавливался у него после охоты, и так как высоким государям нередко доставляет радость простота, очень любил поест у него репы. Вскоре Людовик возвратился во Францию, а потом и вступил на престол<sup>316</sup>. Жена уговаривала Кокона, чтобы он напомнил королю о прежнем гостеприимстве. «Послушайся меня, — твердила жена, — выбери несколько репок, самых крупных, да отнеси ему в подарок». Конон упирался, говорил, что незачем терять попусту время, — государи, дескать, таких услуг не помнят, — и все-таки жена поставила на своем. Конон выбирает несколько реп покрупнее и снаряжается в путь. Но дорогою, не выдержав соблазна, он слопал все сам, кроме одной, на редкость громадной репы.

Конон проник в залу, которою должен был проходить король, и Людовик тотчас его узнал и окликнул. Конон с великою радостью поднес свой подарок; король с еще большею радостью принял и передал кому-то из приближенных с наказом положить среди самых дорогих ему вещей, а Конона пригласил позавтракать. После завтрака король поблагодарил гостя и, узнав, что Конон хочет без промедлений вернуться к себе в деревню, велел отсчитать ему за репу тысячу золотых.

Молва об этом, как и следовало ожидать, облетела весь двор, и кто-то из придворных подарил Людовику красивого коня. Король сразу сообразил, что причину этому его щедрость с Кононом и что на уме у дарителя только нажива. С еще большей, чем прежде, радостью в лице принимает он подарок и, созвавши первых вельмож, совещается с ними, чем отплатить за такого прекрасного и дорогого коня. Придворный уже предвкушает обильное воздаяние, рассуждая сам с собою: «Если он так вознаградил мужика за репу, насколько ж богаче вознаградит придворного за коня!» Словно речь шла о важном деле, король выслушивал совет за советом, и корыстолюбец долго ласкал себя напрасной надеждою. Вдруг король восклицает: «Уже знаю, чем его отдарить!» — и шепчет на ухо одному из самых знатных своих приближенных, чтобы тот принес вещь, которую найдет в спальне, в таком-то месте, да не забыл бы наперед как следует обернуть ее в шелк. Приносят репу, и король собственными руками подает ее, — старательно завернутую, — придворному, промолвив: «По-моему, недурная награда за коня эта драгоценность, стоившая мне тысячу золотых». Придворный удалился и, когда снял обертку, нашел вместо клада не угли, как в поговорке, а репу, да к тому ж вялую. Так ловец был изловлен в свои же силки и выставлен всем на посмешище.

Астэй. Царь, если дозволишь и простолюдину говорить о царских деяниях, я расскажу о том же Людовике. Этот случай вспомнился мне, когда я слушал твой рассказ: ведь как петля идет за петлею, так одна история тянет за собой другую. Один слуга, приметив, что по королевскому платью ползет вошь, преклонил колено и поднял руку — в знак того, что желает исполнить какую-то службу. Людовик приблизился к нему, он снял вошь и потихоньку ее бросил. Король спросил, в чем дело, слуга застыдился ответить. Король, однако ж, настаивал, и он признался. «Добрый знак! — обрадовался король. — Он свидетельствует, что я человек, потому что эти насекомые опасны только людям, и главным образом — в молодости!» — и приказал за верную службу выдать слуге сорок золотых. Довольно много спустя другой слуга, видевший, какой удачею обернулась столь низменная услуга, но не понимавший, какое громадное существует различие меж искренним поступком и искусным подражанием, придвинулся к королю, повторяя то же движение, и, когда Людовик обернулся, сделал вид, будто снял что-то с его одежды и бросил. Снова король спрашивал, что это, снова настаивал, и слуга, упираясь и замечательно ловко изображая стыд, ответил, наконец, что это была блоха. Но Людовик разгадал обман. «Ты что же это, —

---

<sup>316</sup> Людовик наследовал своему отцу, Карлу VII, в 1461 г., а умер в 1483 г. То есть память о нем была еще жива и свежа, когда Эразм впервые появился во Франции (1495 г.).

крикнул он, — собаку из меня делаешь?!» И распорядился тотчас увести слугу и, вместо сорока золотых, которых тот ожидал, отсчитать ему сорок плетей.

Филитл. Да, шутить с государями небезопасно, как я слышу. Львы иногда спокойно даются гладить, но все ж они львы, стоит им пожелать — и конец забавам. Вот и царская благосклонность так же.

К твоей истории я прибавлю еще одну, сходную с нею, чтобы не расставаться с Людовиком, которому нравилось обманывать жадных воронов. Получил он откуда-то в дар десять тысяч золотых. (А каждый раз, как заведутся у государя новые деньги, все придворные настороже, чтобы урвать частицу добычи, и для Людовика это не было тайною.) Деньги высыпали на стол, чтобы сильнее раздражить надежды стоявших подле, и Людовик обратился к ним с такою речью: «Ну, что скажете — я ли не богатый король? Куда девать такую гору денег? Они дареные, стало быть, и нам надо кому-нибудь их подарить. Где ж друзья, у которых я в долгу за верную службу? Скорее сюда, пока сокровище не утекло!» Откликнулись очень многие, и все рассчитывали хоть чем-нибудь, да поживиться. Заметив одного, который смотрел особенно жадно — так и пожирал деньги глазами, — Людовик обратился к нему: «Что ты расскажешь, друг?» Тот напоминает, что долгое время ходил за королевскими соколами, с величайшим усердием и не без обременительных расходов. Тут всякий рассказывает про свое, всякий до небес превозносит свою службу; не обходится и без вымыслов. Король всех выслушивал благосклонно и каждого благодарил. Он нарочно затягивал совещание, чтобы подольше помучить всех надеждою и страхом.

Среди прочих присутствовал канцлер (король и его велел пригласить); он был умнее прочих и потому не расхваливал своих заслуг, но исполнял роль зрителя. Наконец король обратился к нему: «А что скажет мой канцлер? Он один ничего не просит и не объявляет о своих заслугах». — «Я, — отвечал канцлер, — получил от королевской щедрости более, чем по заслугам, и главная моя забота — отплатить королю за его милости. Просить еще мне и в голову не приходит». А король ему: «Значит, тебе, одному из всех, деньги не нужны?» — «Да, — говорит канцлер, — твои милости уже избавили меня от всякой нужды». Тогда король, обернувшись к остальным: «Я и вправду самый щедрый из королей, коли у меня такой богатый канцлер!» Все обрадовались: раз канцлер ни на что не притязает, значит, уж верно, Людовик разделит деньги меж ними! Вдосталь натешившись, король велел канцлеру забрать все деньги себе. А потом, обратившись ко всем прочим, немало приунывшим, сказал: «Вам придется подождать другого случая».

¶;илогел. Быть может, вы сочтете скучным то, что я расскажу, только, пожалуйста, не думайте, будто это умышленно, будто я исподтишка ищу для себя льготы.

Приходит к тому же Людовику человек, говорит, что в его краях случайно освободилась должность и просит, чтобы эту должность дали ему. Король выслушал просьбу и ответил решительно: «Ничего не выйдет». Проситель коротко поблагодарил и удалился. Король, видя по его лицу, что это человек неглупый, и, подозревая, что он не понял ответа, велел его вернуть. Тот возвращается. Король спрашивает: «Ты понял, что я тебе сказал?» — «Понял». — «Что именно ты понял?» — «Что я ничего не добыю». — «Почему же ты меня благодарил?» — «Потому что у меня и своих дел довольно, а, стало быть, надежда моя опасна и гнался я за нею к большой для себя невыгоде. Ты сразу отказал мне в благодеянии, но это прямое для меня благодеяние: что бы я ни потерял, лстя себя несбыточными мечтами, теперь я это заведомо выгадал». По этим словам король убедился, что перед ним человек отнюдь не ленивый, и, задав еще несколько вопросов, объявил: «Ты получишь то, о чем просишь, чтобы мог благодарить меня дважды». И тут же, обернувшись к своим чиновникам, прибавил: «Выправить ему грамоту без промедлений, чтобы он не терял здесь времени попусту».

Евглотт. Есть и у меня что рассказать о Людовике, но мне хочется вспомнить нашего Максимилиана<sup>317</sup>. Он и сам денег никогда не копил и не берег, и на чужое мотовство

<sup>317</sup> Максимилиан I, император Священной Римской империи германской нации (1493—1519), еще в 1477 г.

смотрел сквозь пальцы, был бы только мот хорошего происхождения. Одному из таких людей он хотел как-то помочь и поручил ему взыскать с некоего города сто тысяч флоринов. Какой был к этому взысканию предлог, я не знаю, но, что бы ни удалось выжать распорядительному посланцу, все могло считаться прямою прибылью. Посланец выжал пятьдесят тысяч, императору отдал тридцать. Радуюсь неожиданному прибытку, Максимилиан отпустил своего посланца, ничего больше не спрашивая. Но казначеи и советники пронюхали, что денег государю предъявлено меньше, чем было получено, и докучали Максимилиану просьбами вызвать того человека. Его вызвали; он тут же прибыл. Император обращается к нему: «Говорят, что ты взыскал пятьдесят тысяч». Тот подтверждает: «А внес в казну только тридцать». Снова подтверждает. «Надо представить отчет». Обещает исполнить и удаляется. Но ничего исполнено не было, и, по настоянию чиновников, его опять призвали ко двору. «Ты получил повеление представить отчет», — сказал император. «Помню. Этим как раз и занят». Максимилиан решил, что он еще не закончил свои подсчеты, и отпустил его. Так он увиливал и уклонялся, а чиновники упорно стояли на своем, кричали в запальчивости, что он открыто насмехается над императором и что это непереносимо! Они убеждали императора снова вызвать его и потребовать отчета тут же, на месте, в их присутствии. Максимилиан согласился. Тот является на зов без малейшей задержки. «Разве ты не обещал нам отчета?» — спрашивает император. «Обещал». — «Что ж, пора. Вот сидят те, кто его примут. Медлить дольше нельзя». Чиновники приготовили свои книжки для записей. На это находчивый юноша ответил так: «Отчитываться я не отказываюсь, непобедимый император, но никогда подобных отчетов не делал и мало что в них смыслю. Те же, кто здесь сидит, знают про это все до тонкостей, и если я хоть раз увижу, как они управляют с отчетами, то легко последую их примеру. Пожалуйста, прикажи им показать образец, и они убедятся, что я ученик толковый». Максимилиан понял смысл его речи, не уловленный теми, против кого она была направлена, и промолвил с улыбкою: «Ты говоришь верно, и просьба твоя справедливая». И он отпустил юношу, который намекал на то, что чиновники отчитываются перед императором ничуть не иначе, чем он, и что немалая толика денег застревает у них меж пальцами.

Лерохар. Самое время нашим рассказам пересесть, как говорится, с лошадей на ослов: от королей перейдем к лувенскому священнику Антонию, который был любимцем Филиппа Доброго<sup>318</sup>. Ему приписывают много веселых слов и забавных проделок, но большею частью — грязных: свои шутки он обыкновенно приправлял особою мазью, которая не очень красиво именуется, а пахнет и того хуже. Я выберу одну почище.

Повстречал он на улице нескольких приятелей, — из тех, что зовут «славными ребятами», — и пригласил их к себе. Вернулся домой, смотрит — а в кухне даже огонь не горит, и в кошельке ни монетки; впрочем, для него это было обычное дело. Как тут поступить? Он молча удаляется. Входит в кухню ростовщика, — с которым знался оттого, что часто брал у него займы, — дожидается, пока отлучится служанка, и снимает с огня медную кастрюлю с мясом, уже успевшим свариться; прячет кастрюлю под одеждою, уносит домой и передает своей кухарке с наказом немедленно переложить мясо и перелить навар в глиняный горшок, а кастрюлю ростовщика вычистить до блеска. Когда это было исполнено, Антоний послал к ростовщику слугу — взять под залог кастрюли две драхмы и получить собственноручную расписку в том, что такая кастрюля ему послана. Ростовщик, не узнавая своей кастрюли, — так хорошо она была вычищена и так ярко блестела, — принял залог, дал расписку и отсчитал деньги; на эти деньги слуга купил вина. Теперь можно было и за стол садиться.

Между тем стали собирать на стол и у ростовщика и хватились кастрюли. Хозяин давай

---

получил во владение Нидерланды, вступив в брак с Марией Бургундской, дочерью герцога Бургундского Карла Смелого.

<sup>318</sup> Филипп II Добрый — герцог Бургундский (1419—1467), отец упомянутого выше Карла Смелого.



браниться с кухаркою, та ни в чем не признается и твердит одно: никто, кроме Антония, нынче в кухне не появлялся. Возводить такое подозрение на священника казалось ужасною дерзостью, и все-таки отправились к Антонию, чтобы выведать, не там ли кастрюля. Кастрюли, однако ж, не было и в помине. В конце концов ростовщик, не на шутку расвирепев, потребовал у Антония вернуть похищенное: ведь он один заглядывал в кухню как раз тогда, когда случилась пропажа! Антоний признает, что брал в долг какую-то кастрюлю, но он отослал ее назад, туда, где взял. Ростовщик с кухаркою отрицают это наотрез, спор разгорается все жарче, и наконец Антоний, пригласив нескольких свидетелей, объявляет: «Судите сами, как опасно в наше время вести дела, если не позаботишься о расписке. Ростовщик вчинил бы мне иск в краже, не будь у меня его руки!» И с этими словами достает расписку. Тут только и разгадали обман. Историю эту, надрываясь от смеха, рассказывали по всей округе — как ростовщик принял в залог собственную кастрюлю. Людям очень нравятся такого рода обманы, когда они в ущерб тем, кого все ненавидят, особенно — тем, кто сам привык надувать других.

Адолесх. Назвав Антония, ты открыл перед нами целое море всевозможных рассказов. Перескажу только один, и то очень короткий; я слышал его совсем недавно. Собрались за столом несколько «славных ребят», для которых нет в жизни ничего дороже смеха. Был среди них Антоний и еще один знаменитый шутник, как бы соперник Антония. Когда соберутся философы, они предлагают друг другу хитрые вопросы касательно природы вещей; так и тут — немедленно возник вопрос, какая часть человеческого тела самая почтенная. Один высказал предположение, что глаза, второй — что сердце, третий — что мозг, одним словом, каждый говорил иное и приводил свои доводы. Когда спросили Антония, он ответил, что, по его разумению, самая почтенная часть нашего тела — это рот, и объяснил, по какой причине (по какой именно — не знаю). Тут его соперник, чтобы ни в чем не согласиться с Антонием, возразил: «А по-моему, самая почтенная часть та, на которой мы сидим». Все сочли это мнение нелепым, но он прибавил: «В народе говорят: кто садится первым, тому и почета всего больше. А почетное это право принадлежит названной мною части». Все рукоплескали его суждению и смеялись до упаду. Да и сам он был очень собою доволен: Антоний, по-видимому, потерпел поражение в этой стычке. Но Антоний схитрил: первенство рту он отдал лишь для того, чтобы соперник его славы назвал противоположную часть тела; а что так оно и случится, он знал заведомо. Несколько дней спустя оба снова был» приглашены к одному столу. Войдя в дом, Антоний увидел своего соперника, который беседовал с другими гостями в ожидании обеда; Антоний повернулся и с шумом пустил ветры прямо ему в лицо. Тот воскликнул с возмущением: «Поди прочь, шуг! Где ты выучился такому безобразию?» А Антоний в ответ: «Как? Ты еще и сердишься? Ведь если бы я поздоровался ртом, ты бы тоже поздоровался. А я приветствую тебя тою частью тела, которая, по твоим же словам, всех почтеннее, — и ты бранишь меня шутом!» Так он вернул себе потерянную было славу.

Теперь мы все высказались. Дело за судьбою.

Геласин. Сейчас вынесу решение. Но сперва каждый пусть осушит свой бокал. Я покажу пример. Что это? Нечаянный гость! Как волк в басне<sup>319</sup>!

Полимиф. Левин Панагат! Нет, это не волк. Это птица, которая сулит удачу<sup>320</sup>.

Левин. Что здесь происходит меж такими веселыми собутыльниками?

Полимиф. Что ж еще, как не состязание в остроловии и забавных разговорах?

Левин. Стало быть, я как раз вовремя, чтобы его завершить. Приглашаю вас всех на завтра к себе — откусать богословский завтрак.

Геласин. Скифское застолье ты нам обещаешь. Левин. &#913;&#965;&#964;&#972;

<sup>319</sup> Эта латинская пословица чаще употреблялась в значении русского «легок на помине».

<sup>320</sup> См. прим. к диалогу «Поклонник и девица» (к слову Авгур).

и, если оно не окажется приятнее вашего говорливого застолья и вы сами этого не признаете, я готов платить штраф. Нет ничего забавнее, как всерьез разбирать и исследовать пустяки.

### Роженица



### Евтрапел. Фабулла

Евтрапел. Прекрасной Фабулле желаю здоровья.

Фабулла. Здравствуй и ты, Евтрапел. Но что это случилось? Ты вдруг являешься с приветствиями, после того как целых три года никому из наших на глаза не показывался?

Евтрапел. Сейчас объясню: я проходил случайно мимо вашего дома, увидел, что дверное кольцо обернуто белой тканью, и не понял, зачем это.

Фабулла. Неужели ты такой чужак в наших краях? Неужели не знаешь, что это обозначает роженицу в доме?

Евтрапел. Нет, конечно, знаю, но мне и в голову не могло прийти, чтобы ты, девчонка, — ведь тебе едва пятнадцать минуло? — так рано постигла труднейшее искусство рожать детей, которое иные и к тридцати-то годам едва постигают.

Фабулла. Как ты всегда оправдываешь свое имя, Евтрапел-Насмешник.

Евтрапел. Как у тебя всегда и на все готов ответ, говорливая Фабулла! Ну, так вот, я был изумлен, и очень кстати повстречал Полигама.

Фабулла. Того, что недавно схоронил десятую жену?

Евтрапел. Его самого. Но ты, наверно, еще не слыхала, что он опять жених и сватается до того усердно, будто всегда жил холостяком. Спрашиваю его, что случилось, а он в ответ: «В этом доме тело женщины рассекла надвое, и как раз посередине». — «За какую вину?» — спрашиваю. «Если верить молве, эта женщина не побоялась облупить своего мужа». Засмеялся и пошел прочь.

Фабулла. Грубые у него шутки. Евтрапел. Я тут же вхожу, чтобы поздравить тебя со счастливыми родами.

Фабулла. С добрым здоровьем поздравь, если хочешь, а со счастливыми родами поздравить тогда, когда убедишься, что тот, кого я родила, вырос честным и добрым

<sup>321</sup> Само дело покажет (греч.). Здесь: погодите, сами увидите.

человеком.

Евтрапел. Это и благочестиво и верно, моя Фабулла.

Фабулла. Нет, не твоя и ничья другая, а только Петрония.

Евтрапел. Родишь ты только для Петрония, но живешь не для него одного, я полагаю. А еще поздравляю тебя, что родился мальчик.

Фабулла. Почему, по-твоему, лучше родить мальчика, чем девочку?

Евтрапел. Почему бы тебе самой, Петрониева Фабулла (назвать тебя «моею» я уже не решаюсь), почему тебе самой не объяснить мне, какие тому причины, что вы, женщины, больше радуетесь, родив мальчика, нежели девочку?

Фабулла. Про других не знаю, а я, родивши мальчика, радуюсь оттого, что так судил бог; предпочел бы он послать мне девочку — я бы сильнее радовалась девочке.

Евтрапел. Неужели ты думаешь, будто у бога столько досуга, чтобы еще роды принимать?

Фабулла. А что же ему делать, Евтрапел, как не присматривать за умножением того, что он создал?

Евтрапел. Что делать?! Ах ты, простая душа! Да не будь он богом, его бы просто не хватило на столько хлопот и забот! Христиан, король Дании<sup>322</sup>, ревностный защитник Евангелия, изгнан из отечества. Франциск, король французский, гостит в Испании<sup>323</sup>, и навряд ли по доброй воле, а ведь он, бесспорно, заслуживает лучшей участи. Карл замышляет расширить пределы своей державы. Фердинанд<sup>324</sup> без остатка поглощен своими делами в Германии. Все дворы задыхаются от безденежья. Крестьяне подняли опасные волнения, и никакие кровопролития не могут заставить их отступить от начатого. Народ стремится к анархии. Борьба противных станов<sup>325</sup> грозит обрушить здание церкви, нешвенный хитон Иисуса<sup>326</sup> раздирается на части. Вертоград господень разоряет уже не один вепрь<sup>327</sup>; под ударом одновременно и власть священников вместе с десятиною<sup>328</sup>, и достоинство богословов, и святость монахов; шатается исповедь, ненадежны обеты, заколебались папские законы, на волоске от гибели евхаристия<sup>329</sup>, вот-вот явится Антихрист, и весь мир вот-вот разродится еще неведомою, но великой бедою. А между тем берут верх и все ближе подступают турки, которые ничего не пощадят, если одержат

---

<sup>322</sup> Датский король Христиан II бежал из своего королевства в 1523 г. в результате восстания под руководством Густава Вазы.

<sup>323</sup> Французский король Франциск I был захвачен в плен императором Карлом V в битве при Павии (1525 г.) и вернулся на родину лишь год спустя.

<sup>324</sup> Фердинанд — младший брат императора Карла V

<sup>325</sup> Имеются в виду верные католики и сторонники Реформации.

<sup>326</sup> Распяв Иисуса, римские воины разделили его одежду между собою, а хитон, который «был не сшитый, а весь тканый сверху», раздирать не стали, но «бросили о нем жребий» («Евангелие от Иоанна», XIX, 23—24). Этот цельнотканый хитон считался символом нерушимого единства христианской церкви.

<sup>327</sup> Вертоград господень разоряет уже не один вепрь (перифраз стихов 9—14 из псалма LXXIX) — прямой выпад против Лютера и его последователей: вепрем, разоряющим вертоград господень, Лютер назван во вступлении к папской булле «Восстань, господь» (см. прим. к «Исследованию веры», к словам: Ты, верно, намекаешь на отлучение).

<sup>328</sup> Десятина — налог в пользу церкви.

<sup>329</sup> Евхаристия — церковное таинство причащения, отрицавшееся реформаторами.

решающую победу. И ты спрашиваешь, «что ему еще делать»? А я считаю, что ему самое время позаботиться о собственном царстве.

Фабулла. Что человеку представляется необъятно великим, для бога, быть может, не имеет никакого веса. Впрочем, если ты не возражаешь, бога из игры исключим. Объясни, почему ты думаешь, что лучше родить котенка, чем кошечку.

Евтрапел. Считать высшим благом то, что дал бог, который сам есть высочайшее благо, — конечно, благочестиво. Но вообрази, что бог дал тебе хрустальный бокал, — разве ты не благодарила бы самым горячим образом?

Фабулла. Разумеется.

Евтрапел. А если бы стеклянный? Благодарила бы точно так же? Боюсь, однако, что мои рассуждения будут тебе не в утеху, а в досаду.

Фабулла. Говорливой Фабулле от разговоров беды никакой. Я уж четвертую неделю отлеживаюсь — сил довольно хоть и для борьбы.

Евтрапел. Почему же из гнезда не вылетаешь?

Фабулла. Царь запретил.

Евтрапел. Какой царь?

Фабулла. Вернее даже, тиран.

Евтрапел. Какой, спрашиваю?

Фабулла. Обычай.

Евтрапел. Увы, этот царь многого требует вопреки справедливости. Ну, что же, продолжим философствовать насчет хрусталя и стекла.

Фабулла. Сколько я понимаю, мужчина, по-твоему, лучше и крепче женщины по природе.

Евтрапел. Да, по-моему, так.

Фабулла. Мужское мнение бесспорно! Но разве мужчины долговечнее женщин? Разве никогда не хворают?

Евтрапел. Нет, но в целом они сильнее.

Фабулла. Да, но верблюды еще сильнее.

Евтрапел. И вдобавок, мужчина сотворен раньше.

Фабулла. Да, но Адам сотворен раньше Христа. И художники в более поздних творениях часто превосходят самих себя.

Евтрапел. Но бог подчинил женщину мужчине.

Фабулла. Не всегда повелевает лучший. И подчинил он не женщину, а супругу; да и супругу-то подчинил на том условии, что, хотя в браке оба имеют власть друг над другом, женщина должна покоряться более сильному, слышишь? — не лучшему, но сильнейшему. Скажи, Евтрапел, кто слабее: тот, кто уступает, или тот, кому уступают?

Евтрапел. Тут я согласен тебе уступить, если ты растолкуешь мне, что имел в виду Павел<sup>330</sup>, когда писал коринфянам: как мужу глава Христос, так жене глава муж? И когда называет мужа образом и славою божией, а жену — славою мужа?

Фабулла. Растолкую, если ты сперва ответишь мне на вопрос: разве одним мужчинам дано быть членами тела Христова?

Евтрапел. Отнюдь! Это дано всем людям — через веру.

Фабулла. Как же возможно, чтобы голова, раз она одна, не принадлежала всем членам тела сообща? И далее: если бог создал человека по своему подобию, это подобие запечатлено в очертаниях тела или в дарах души?

Евтрапел. В дарах души.

Фабулла. Но тогда какое у мужчин преимущество перед нами? В котором из двух полов больше пьянства, ссор, драк, смертоубийств, грабежей, прелюбодеяний?

Евтрапел. Но только мы, мужчины, воюем за отечество.

330 «Первое послание к Коринфянам», XI, 3, 7.

Фабулла. Но вы же и в бегство обращаетесь сплошь да рядом, позорно бросив свое место в бою. И не всегда воюете за отечество, а чаще покидаете жену и детей ради грязного жалованьшика, добровольно, хуже всяких гладиаторов, предаете свои тела рабской необходимости либо умирать, либо убивать. И как бы ты ни хвастал передо мною воинской доблестью, любой из вас, если бы хоть однажды испытал, что такое роды, предпочел бы десять раз стоять в боевом строю, чем один раз родить ребенка; а мы родим да родим, не считая. В самом деле, на войне не всегда доходит до битвы, а если и доходит, не всякая часть войска в одинаковой опасности. Те, что вроде тебя, размещаются посредине строя, иные — в резерве, иные — в последних рядах, наконец, очень многих спасает бегство и плен.

А нам нельзя иначе, как биться со смертью лицом к лицу.

Евтрапел. Такие речи я слышу не впервые, только верны ли они?

Фабулла. Слишком верны.

Евтрапел. Хочешь, Фабулла, я упрошу твоего мужа, чтобы вперед он к тебе не прикасался? И ты будешь в полной безопасности.

Фабулла. Это самое большое мое желание, если только ты можешь его исполнить.

Евтрапел. А какая будет просителю награда, если он достигнет успеха?

Фабулла. Дам тебе десять говяжьих языков прямо из коптильни.

Евтрапел. Да, это лучше, чем десять соловьиных. Я согласен. Впрочем, сделку будем считать заключенной не раньше, чем совершим договор по всем правилам.

Фабулла. Требуй вдобавок любого поручительства и какого ни вздумаешь обеспечения!

Евтрапел. Все будет, как ты желаешь, но спустя месяц.

Фабулла. А почему не сейчас же? Евтрапел. Охотно объясню: боюсь, что за месяц твои желания переменятся, и тогда тебе придется платить двойную награду, а мне делать двойную работу — сперва убеждать, потом разубеждать.

Фабулла. Хорошо, пусть будет так. А пока продолжай доказывать, почему мужской пол лучше женского.

Евтрапел. Вижу, что у тебя на уме единоборство, а потому в настоящее время полагаю более разумным уступить. Сразимся в другой раз, когда я буду вооружен и приведу с собою подкрепление: ведь если дело решают речи, тут и семерых мужчин против одной женщины мало.

Фабулла. Да, природа вооружила нас языком. Впрочем, и вы не безъязыкие.

Евтрапел. Пожалуй. А где твой малютка?

Фабулла. В соседней комнате.

Евтрапел. Что он там делает? Капусту варит?

Фабулла. Болтун ты, болтун! Он с кормилицей.

Евтрапел. Про какую такую кормилицу ты мне толкуешь? Разве бывает другая кормилица, кроме матери?

Фабулла. Ну, конечно! Так повсюду принято.

Евтрапел. Хуже примера ты и назвать не могла, Фабулла. Повсюду грешат, повсюду играют в кости, повсюду ходят к продажным девкам, повсюду обманывают, пьянствуют, беснуются.

Фабулла. Так решили друзья. Они говорят, что надо пощадить мои годы, еще совсем молодые.

Евтрапел. Если природа дала силу зачать ребенка, она, без сомнения, дала силу и на то, чтобы его выкормить.

Фабулла. Пожалуй, что верно. Евтрапел. Неужели ты не ощущаешь, какая сладость в этом имени — «мать»? Фабулла. Ощущаю. Евтрапел. Если б могло так случиться, согласилась бы ты, чтоб другая женщина была матерью твоего ребенка?

Фабулла. Ни за что!

Евтрапел. Почему же тогда переносишь больше половины материнского званья на другую?

Фабулла. Что ты говоришь, Евтрапел! Я ни с кем не делю своего сына. Одна я ему

мать, вся целиком, и больше никто.

Евтрапел. Нет, Фабулла, тут сама природа возражает тебе прямо в глаза. Почему земля зовется общею родительницей? Оттого только, что производит на свет? Гораздо важнее другое: она вскармливает все, что породила. Что рождает вода, воспитывается в воде. Нет па земле ни единого рода животных или растений, который та же земля не кормила бы своими соками; и нет такого животного, которое не кормило бы своего потомства. Совы, львы, гадюки воспитывают своих детенышей, а люди своих — бросают? Ответь мне, сделай милость, что может быть безжалостнее, чем подкинуть ребенка из отвращения к обязанностям воспитателя?

Фабулла. Даже слушать об этом гнусно!

Евтрапел. А делать, выходит, не гнусно. Если крохотного младенца, еще обгаренного материнскою кровью, еще дышащего материнским дыханием и взывающего к матери о помощи тем голосом, который, говорят, способен тронуть и дикого зверя, если этого малютку ты отдаешь женщине, быть может, и телом не здоровой, и нравом не безупречной (да к тому же, несколько жалких монеток ей дороже всего твоего ребенка), — разве он не подкидыш?!

Фабулла. Мы нашли женщину вполне здоровую.

Евтрапел. Об этом пусть судят врачи, а не ты. Но пусть даже она ничем тебе не уступает, пусть даже лучше тебя, если угодно. Неужели, по-твоему, нет никакой разницы, пьет ли младенец влагу, сродную ему и близкую, согревается ли он привычным уже теплом, или вынужден привыкать наново ко всему чужому? Пшеница, брошенная в другую почву, вырождается в овес или полбу; лоза, пересаженная на другой холм, меняет свойства; растение, выдернутое из родимой земли, вянет и умирает (поэтому, если только возможно, его переносят с места на место вместе с родною почвой).

Фабулла. А я слышала, что наоборот — растения после пересадки и прививки теряют дикие свойства и отлично плодоносят.

Евтрапел. Но не сразу после рождения, дорогая Фабулла. Настанет время, если будет на то воля божья, когда ты проводишь из дому своего юношу, чтобы он напился знанием словесности и другими, более серьезными знаниями; впрочем, это уже скорее дело отца, нежели матери. А нежный возраст надо оберегать. И если для здоровья и крепости тела пища всего важнее, то особенно важно, какими соками питывается тельце слабое и нежное. Ведь и тут приложимы известные слова Флакка:

*Запах, который впитал еще новый сосуд, сохранится  
Долгое время. 331*

Фабулла. Тело не очень меня тревожит — был бы дух таков, как хотелось бы.

Евтрапел. Это, конечно, благочестиво, но далеко от философии.

Фабулла. Почему?

Евтрапел. А почему ты, когда режешь овощи, недовольна, если нож тупой, и велишь его наточить? Почему выбрасываешь иглу с иступившимся острием — ведь искусства шить это не отнимает.

Фабулла. Нет, конечно, но неудобное орудие — помеха искусству.

Евтрапел. Почему те, кто дорожит остротою зрения, избегают плевелов и лука?

Фабулла. Потому что они портят глаза.

Евтрапел. А разве не душа видит?

Фабулла. Душа; кто лишился души, тот уже ничего не видит. Но что делать плотнику, если топор не в порядке?

Евтрапел. Значит, ты признаешь, что тело — орудие души?

---

331 Гораций, «Послания», I, II, 69—70. Перевод Н. Гинцбурга.

Фабулла. Пожалуй.

Евтрапел. И не будешь спорить, что если тело не в порядке, душа не действует вовсе или действует с неудобством для себя?

Фабулла. Похоже, что так.

Евтрапел. Хм, кажется, я повстречался с философским умом. Теперь представь себе, что душа человека переселилась в тело петуха, — смогла бы она говорить так же, как говорим мы с тобою?

Фабулла. Никогда!

Евтрапел. Отчего?

Фабулла. Оттого, что нет языка, губ и зубов, похожих на человеческие, нет ни голосовых связок, ни трех хрящей, приводимых в движение тремя мышцами, к которым тянутся нервы из мозга, ни глотки, ни человеческого рта.

Евтрапел. А если — в тело свиньи?

Фабулла. Тогда душа хрюкала бы, как хрюкают свиньи.

Евтрапел. А если — в тело верблюда?

Фабулла. Кричала бы по-верблюжьи.

Евтрапел. А в тело осла, как случилось с Апулеем?

Фабулла. Наверно, ревела бы по-ослиному?

Евтрапел. Несомненно, Апулей сам это подтверждает. Он хотел воззвать к Цезарю и сморщил губы, насколько смог, но выдавил из себя только «О!», слова же «Цезарь», как ни старался, произнести не сумел. А в другой раз, не надеясь на память, надумал записать историю, которую услышал, но, глядя на твердые и тяжелые копыта, отбросил это истинно ослиное намерение.

Фабулла. Как же иначе!

Евтрапел. Стало быть, если воспалены глаза, душа хуже видит, если забиты грязью уши — хуже слышит, если простужена голова — хуже чует, если окоченели пальцы — хуже осязает, если поврежден дурной влагою язык — теряет вкус.

Фабулла. Нельзя не согласиться.

Евтрапел. И не по иной какой причине, а только потому, что повреждено орудие.

Фабулла. Видимо, да.

Евтрапел. И ты не станешь возражать, что вред по большей части причиняют еда и питье.

Фабулла. Не стану. Но какое отношение это имеет к здравому рассудку?

Евтрапел. А какое отношение имеют плевелы к зоркости глаза?

Фабулла. Они повреждают орудие души.

Евтрапел. Верный ответ. Но объясни мне вот сколько нечетко, обозначает ум, чистый от всякого сношения с чувственными вещами.

Фабулла. В чем же различие между ангелом и душою?

Евтрапел. В том же, в чем меж слизняком и улиткою, или, если угодно, черепахой.

Фабулла. Но тогда тело — скорее жилище души, чем ее орудие.

Евтрапел. Ничто не мешает неотъемлемое орудие называть жилищем. К тому же суждения философов на этот счет расходятся. Одни утверждают, что тело — одежда души, другие — что жилище, третьи — что орудие, четвертые — что гармония. Но какое суждение ни выскажешь, из него следует, что дурное состояние тела — помеха действиям души. Возьмем первое: что для тела одежда, то для души тело. Как много значит для телесного здоровья платье, показал собственным примером Геркулес<sup>332</sup>. (О цветах, о родах шерсти и меха не стану и говорить.) А способна ли одна душа износить много тел, так же как тело

---

<sup>332</sup> Супруга Геракла Деянира послала мужу одежду, пропитанную кровью кентавра Несса, убитого Гераклом (коварный кентавр, умирая, уверил Деяниру, что его кровь обладает силой приворотного зелья). Едва надев эту одежду, Геракл почувствовал нестерпимую боль, а снять одежду уже не мог — она приросла к телу. В конце концов он покончил с собою, взойдя живым на погребальный костер.

изнашивает много одежд, — это пусть рассматривает Пифагор<sup>333</sup>.

Фабулла. А было б недурно, если б, в согласии с Пифагором, мы могли менять тело, как платье: в зимние месяцы надевали бы тело упитанное и плотное, летом — пореже и похудее.

Евтрапел. Но было бы, пожалуй, не слишком ладно, если б, подобно телу, которое, сносив множество одежд, в конце концов изнашивается и само, душа, сносив множество тел, в конце концов состарилась и скончалась.

Фабулла. Да, конечно.

Евтрапел. Насколько существенно для здоровья и подвижности тела, в какое платье оно одето, настолько же существенно для души, какое носит она тело.

Фабулла. Если тело — одежда души, люди, как я посмотрю, наряжены очень пестро.

Евтрапел. Да, верно. И все-таки во многом от нас зависит, удобно ль одета наша душа.

Фабулла. Об одежде — будет. Теперь скажи о жилище.

Евтрапел. Чтобы мои речи не казались тебе досужею выдумкой, Фабулла, знай, что сам господь Иисус называет свое тело храмом. А Петр-апостол свое тело называет шатром. Многие объявляли тело гробницею души (считая, что &#963;&#974;&#956;&#945;<sup>334</sup> говорится вместо &#963;&#942;&#956;&#945;<sup>335</sup>), иные — тюрьмою ума, иные — караульным постом и словно бы крепостью. Если душа безусловно чиста, она обитает в храме. Кто не связан любовью к телесному, души тех живут в шатрах и готовы в любой миг выбежать наружу, если кликнет командующий. Кто безнадежно ослеплен гнуснейшими пороками, так что никогда уже не устремится за веянием евангельской свободы, души тех лежат в могиле. А кто тяжело борется с пороками и еще не может достигнуть желанной цели, души тех заключены в тюрьме и часто взывают ко всеобщему избавителю: «Выведи душу мою из темницы, дабы исповедала душа имя твое, господи»<sup>336</sup>. Кто ведет жестокую битву с Сатаною, кто неусыпно, днем и ночью, оберегает себя от козней нечистого, который рыщет вокруг, словно лев в поисках добычи, душа тех расположилась в крепости, на посту, которого нельзя покинуть без приказа начальника.

Фабулла. Если тело — жилище души, очень многие души, как я посмотрю, живут скверно.

Евтрапел. Да, в домах с протекающей кровлею, темных, дымных, сырых, ветхих, дырявых, открытых всем ветрам, наконец, трухлявых и заразных. А ведь Катон говорит, что первое условие для счастья — хорошее жилище.

Фабулла. Все было б ничего, если б дозволялось вселиться в другой дом.

Евтрапел. Нет, пока не позовет тот, кто назначил нам это жилье, двинуться с места нельзя. Но если нельзя переселиться, то искусством и трудом жилище души можно сделать удобнее — так же, как в домах меняют окна, настилают полы, выкладывают мрамором или забирают деревом стены, огнем или курениями гонят прочь плесень. Всего труднее это в старческом теле, которое уже грозит обвалом. А всего больше пользы приносит, если должную заботу прилагают к детскому телу, и вдобавок — с самого рождения.

Фабулла. Ты требуешь, чтобы мать была не только кормилицею, но и врачом.

Евтрапел. Да, требую, — во всем, что касается выбора и строгой меры в пище, питье, движениях, сне, купаниях, смазываниях, растираниях, одежде. Знаешь ли ты, как много людей страдают неисцелимыми недугами и изъязнениями — падучей, худосочием,

---

<sup>333</sup> Пифагорейцы верили в переселение душ.

<sup>334</sup> Тело (греч.).

<sup>335</sup> Могила (греч.).

<sup>336</sup> «Псалтирь», СХLI, 7 (перевод отличен от синодального).



расслабленностью, глухотой, переломами поясницы, вывихами рук и ног, тупоумием, — единственно из-за небрежности и легкомыслия кормилицы?

Фабулла. Странно, почему ты сделался художником, а не францисканцем. Ты так прекрасно проповедуешь!

Евтрапел. Ты сперва стань клариссою<sup>337</sup> — тогда и прочту тебе проповедь в рясе францисканца.

Фабулла. Я бы очень хотела узнать, что же это такое — душа, о которой мы так много слышим и говорим, хотя никто ее не видал.

Евтрапел. Напротив, ее видит всякий, кто не слеп.

Фабулла. Да, я видела души на картинах, изображенные наподобие малых детей. Но отчего художники не рисуют им крылья, как ангелам?

Евтрапел. У душ, которые спустились с неба на землю, крылья сломаны, если верить Сократовым притчам<sup>338</sup>.

Фабулла. Как же тогда говорят, что души улетают на небо?

Евтрапел. Вера и милосердие оказывают такое действие, что крылья отрастают вновь. О таких крыльях молил псалмопевец<sup>339</sup>, проникшийся отвращением к жилищу своей души: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы». Иных крыльев душа не имеет, ибо она бестелесна, не имеет и очертаний, видимых телесному взору. Впрочем, то, что мы созерцаем очами души, намного надежней. Верить ли ты, что бог существует?

Фабулла. Верю нерушимо.

Евтрапел. Но нет ничего более невидимого, чем бог.

Фабулла. Он виден в вещах, которые им сотворены.

Евтрапел. Но и душа видна в действиях, которые она производит. Если ты спрашиваешь, как она действует в живом теле, взгляни на тело, расставшееся с душой. Если перед тобою человек, который чувствует, видит, слышит, тревожится, мыслит, помнит, рассуждает, ты убеждена в том, что перед тобою душа, с большею определенностью, нежели в том, что сейчас перед тобою эта винная чаша: может обмануться одно чувство, но свидетельства стольких чувств сразу не обманывают.

Фабулла. Раз ты не способен показать мне душу, изобрази ее через какие-нибудь приметные знаки, как если бы желал описать императора, которого я никогда не видела.

Евтрапел. Есть определение Аристотеля. Я его помню.

Фабулла. Какое? Говорят, он точно описывает всякую вещь.

Евтрапел. «Душа есть действие и осуществление органического естественного тела, обладающего возможностью жизни»<sup>340</sup>.

Фабулла. Почему «действие», почему не «пролог» или не «хор»?

Евтрапел. Потому что здесь не комедия разыгрывается, а определяются свойства души. Осуществлением он зовет форму, природа которой состоит в том, чтобы действовать, тогда как у материи главное свойство — испытывать действие. Всякое естественное движение тела начало имеет в душе. (Нельзя упускать из виду, что движения тела бывают различны.)

Фабулла. Это я понимаю. Но почему он прибавляет «органического»?

Евтрапел. Потому что душа действует не иначе, как через телесные орудия, то есть — органы тела.

<sup>337</sup> Кларисса — монахиня ордена, основанного святою Кларой в 1212 г.

<sup>338</sup> В диалоге «Федр» Платон, устами Сократа, учит, что бессмертные души, спускаясь из небесной области на землю и вселяясь в смертное тело, теряют крылья.

<sup>339</sup> «Псалтирь», LIV, 7.

<sup>340</sup> Аристотель, «О душе», II, 1,412a.

Фабулла. А почему прибавляет «естественного»?

Евтрапел. Потому что Дедал такого тела изваять не смог бы<sup>341</sup>. И потому же прибавляет: «обладающего возможностью жизни». Форма оказывает воздействие не на все подряд, но лишь на восприимчивую материю.

Фабулла. Что, если бы ангел вселился в человеческое тело?

Евтрапел. Он бы действовал, но не через природные орудия, и не мог бы дать телу жизни, если б душа отсутствовала.

Фабулла. И этим понятие души исчерпывается?

Евтрапел. По Аристотелю — да.

Фабулла. Мне известно, что он знаменитый философ, и я боюсь, как бы целые центурии<sup>342</sup> мудрецов не вчинили мне иска в ереси, если я выражу хоть малейшее несогласие. И однако ж все, сказанное до сих пор о человеческой душе, приложимо и к ослу, и к быку.

Евтрапел. Мало того, — и к навозному жуку, и к улитке.

Фабулла. Так в чем различие меж душами быка и человека?

Евтрапел. Те, для кого душа — не что иное, как гармония телесных качеств, ответили бы, что различие не столь уже велико, поскольку с нарушением гармонии обе души гибнут одинаково. И не разумом отличается бычья душа от человеческой, но лишь тем, что быки глупее людей; впрочем, можно встретить и людей, которые глупее быка.

Фабулла. Что с них возьмешь — у них бычьи головы.

Евтрапел. Но чтобы гармония была как можно стройнее, — насколько позволяет качество лютни, — это уже зависит от тебя.

Фабулла. Не спорю.

Евтрапел. Немалое имеет значение, из какого дерева сработана лютня и какого она вида.

Фабулла. Вероятно.

Евтрапел. И не из всяких кишок получаются звонкие струны.

Фабулла. Слышала и об этом.

Евтрапел. И струны, если окружающий воздух влажен или чересчур сух, растягиваются, или сокращаются, или даже лопаются иногда.

Фабулла. Это я видела не однажды.

Евтрапел. И здесь ты можешь оказать неоценимую помощь своему ребенку, чтобы лютня его души была хорошо настроена и ничем не повреждена, чтобы струны не обвисли от лени, не визжали от гнева, не хрипели от пьянства: эти пороки нередко прививают нам воспитание и образ жизни.

Фабулла. Твое наставление принято. Но я жду, каким образом ты защитишь Аристотеля.

Евтрапел. Он описал три рода души: одушевляющую, растительную и чувствующую. Душа дает жизнь, но не все, что живет, — непременно животное. Живут, и старятся, и умирают деревья, но они не чувствуют; впрочем, некоторые и за деревьями признают чувство — смутное, неотчетливое. Ловцы губок замечают чувство в губках, дровосеки, — если только им можно верить, — в деревьях. Они уверяют, что если похлопать ладонью по стволу дерева, которое собираешься свалить, — так обычно поступают лесорубы, — то рубить труднее: дерево сжимается от страха. То, что живет и чувствует, — это животное. То, что не чувствует, вполне способно быть растением: таковы грибы, свекла, капуста.

Фабулла. Но если они как-то живут, и как-то чувствуют, и даже движутся, пока молоды, что мешает их тоже удостоить имени «животного»?

<sup>341</sup> Среди многих иных открытий мифы приписывали Дедалу и изобретение скульптуры.

<sup>342</sup> Центурия — низшее подразделение пехоты в римском войске.

Евтрапел. Предки наши рассудили иначе, и нам не следует отступать от их взглядов. И потом, для сегодняшнего разговора это совсем не важно.

Фабулла. Но я никогда не соглашусь, что душа у человека и у навозного жука — одна и та же!

Евтрапел. Вовсе не одна и та же, дорогая Фабулла, но некоторые свойства у них — общие. Твоя душа одушевляет и растит твое тело, сообщает ему чувствительность; и так же действует душа навозного жука в его теле. А что человеческая душа кое в чем действует иначе, чем душа жука, этому причиной отчасти материя. Жук не поет и не говорит, потому что нет у него пригодных для этого орудий.

Фабулла. Выходит, по-твоему, если бы душа жука вселилась в человеческое тело, она бы действовала так же, как душа человека.

Евтрапел. Нет, ведь я уже сказал: даже если бы ангельский ум — все равно нет! Между ангелом и человеческою душой различие лишь в одном: душа человека создана для того, чтобы приводить в движение человеческое тело, снабженное природными орудиями, подобно тому как душа жука не движет ничем, кроме тела навозного жука. Ангел создан не для того, чтобы одушевлять тело, а для того, чтобы мыслить вне и помимо телесных орудий.

Фабулла. А душа на это способна?

Евтрапел. Способна, но только когда расстанется с телом.

Фабулла. Значит, она несамостоятельна, пока находится в теле?

Евтрапел. Нет, конечно. Разве что нарушится обычный и естественный ход событий.

Фабулла. Но ты мне вместо одной души насыпал целую грудку — тут и одушевляющая, и растительная, и чувственная, и мыслящая, и помнящая, и волевая, и гневная, и желающая... А мне довольно было одной.

Евтрапел. У одной души действия могут быть разные. Отсюда и разные наименования.

Фабулла. Я не совсем тебя понимаю.

Евтрапел. Сейчас поймешь, в спальне ты супруга, в мастерской — ткачиха, в лавке — продавщица гобеленов, в кухне — кухарка, среди слуг и служанок — хозяйка, среди детей — мать, и однако все это — ты в своем доме.

Фабулла. Да, нехитро ты философствуешь, что и говорить. Стало быть, душа в теле действует так же, как я — в доме?

Евтрапел. Да.

Фабулла. Но покамест я ткаю гобелены в мастерской, я не стряпаю в кухне.

Евтрапел. Это оттого, что ты не просто душа, но душа, одетая в тело. Тело не может находиться одновременно во многих местах, но душа, поскольку это простая форма, действует так, что одновременно пребывает и во всем теле, и в отдельных его частях вся целиком, действия же в различных частях производит различные: мыслит и помнит в мозгу, гневается в сердце, желает в печени, слышит в ушах, видит в глазах, обоняет в ноздрях, вкушает на языке и на нёбе, осязает в любой части тела, снабженной нервами. В волосах и кончиках ногтей осязания нет; нечувствительны сами по себе также легкие, печень и, возможно, селезенка.

Фабулла. Значит, в некоторых частях тела она только одушевляет и растит.

Евтрапел. Видимо, так.

Фабулла. Если все это в одном человеке производит одна и та же душа, отсюда следует, что плод в материнском чреве, едва начнет расти, — что есть признак жизни, — как уже и чувствует, и мыслит; а в противном случае, у одного человека вначале должно быть несколько душ, впоследствии же остается одна, которая все исполняет сама. Иными словами, человек сперва бывает растением, потом животным и наконец человеком.

Евтрапел. То, что ты говоришь, Аристотель, быть может, счел бы не лишенным основания. На мой же взгляд, более правдоподобно, что разумная душа вспыхивает вместе с жизнью, но, словно малый огонек, заваленный сырыми дровами, еще не может обнаружить свою силу.

Фабулла. Стало быть, душа привязана к телу, которым она движет?

Евтрапел. В точности так же, как черепаха к своему панцирю, который повсюду носит с собою.

Фабулла. Да, носит, но и сама передвигается с ним вместе. Так кормчий не только направляет свой корабль, но и сам движется вместе с кораблем.

Евтрапел. Более того: так белка вертит колесо, но и сама бежит, не останавливаясь.

Фабулла. Выходит, что душа воздействует на тело и, в свою очередь, подпадает его воздействию?

Евтрапел. Конечно. В той степени, в какой это касается внешних проявлений.

Фабулла. А по природе, стало быть, душа шута равна душе Соломона?

Евтрапел. Вполне возможно.

Фабулла. Но тогда равны меж собою и ангелы, коль скоро они свободны от материи, которая, как ты утверждаешь, порождает неравенство.

Евтрапел. Довольно уж философии! Пусть себе богословы ломают над этим голову, а мы продолжим то, что начали. Если желаешь быть матерью вполне и целиком, ухаживай за телом своего ребенка, чтобы огонек ума, поднявшись над сыростью испарений, мог воспользоваться исправными и удобными орудиями. Всякий раз, как ты слышишь писк младенца, зерь, что он просит тебя именно об этом. Когда ты видишь на своей груди два ключа, набухшие и сами по себе сочащиеся молочною влагой, верь, что это природа напоминает тебе о твоих обязанностях. Если твой сын назовет тебя «полуматерью», что ты сделаешь? Наверно, схватишь розгу. А ведь едва ли и на такое имя вправе притязать та, которая, родивши, отказывается кормить. Главное — не произвести на свет, главное — выкормить. Ребенок питается не только молоком, но и благоуханием материнского тела; он ищет той влаги, которая уже знакома и близка ему, которую он вобрал в себя в материнском чреве, из которой возник. И я держусь того суждения, что в зависимости от молока меняются в дурную сторону природные качества детей, совершенно так же, как соки, которыми земля поит растения, изменяют их свойства. Ты думаешь, попусту говорится: «Он впитывает злобу с молоком кормилицы»? И у греков, мне думается, не попусту ходит поговорка: «Будто у кормилицы». Это про тех, кого худо кормят: разжевать-то кормилица разжует, да в рот младенцу положит самую малость, а всего больше проглотит сама. Кто, произведя на свет, вскорости бросает, — пусть уж лучше вовсе бы не рожала. Это и не роды, а скорее выкидыш. К таким женщинам как раз подходит греческая этимология: греки считают, что  $\mu\eta\tau\epsilon\rho\upsilon$  произошло от  $\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\epsilon\iota$ ; <sup>343</sup>  $\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\epsilon\iota$  то есть «не беречь». Нет, верно: нанимать кормилицу для младенца, еще теплого материнским теплом, — это все равно что подкинуть его.

Фабулла. Я бы с тобою согласилась, если бы мы не нашли женщину, которую ни в чем не упрекнешь.

Евтрапел. Пусть даже безразлично, какое молоко пьет крохотное дитя, какую слону глотает вместе с разжеванною чужими зубами пищей, пусть нашлась такая кормилица, какую не знаю можно ли и сыскать, — неужели ты думаешь, что есть на свете женщина, способная снести все тяготы кормления так же, как сносит их мать, — всю грязь, писк, болезни, неотлучные сидения, неусыпную заботу, которой, однако же, всегда мало? Только если можно любить наравне с матерью, только тогда можно и заботиться с нею наравне. А глядишь, случится и так, что сын будет любить тебя холоднее, чем должен, потому что природное чувство как бы разделится меж двумя матерями; и у тебя не будет полной преданности и нежности к нему. И когда он вырастет, то без особой охоты станет покоряться твоей воле, да и ты будешь испытывать некоторое равнодушие к тому, в чьем характере, быть может, узнаешь кормилицу. Далее: взаимная любовь между учащим и учащимся —

<sup>343</sup> Мать (греч.).

главнейшая ступень в обучении. А значит, если из этого благоухания врожденной привязанности ничто не утеряно, тем легче ты внушишь сыну правила достойной жизни. Силы матери здесь очень велики уже потому хотя бы, что материал перед нею податливый, всему покорный.

Фабулла. Я вижу, что быть матерью не так просто, как обычно думают.

Евтрапел. Если мне не доверяешь, послушай Павла. Он прямо говорит о женщине: «Спасена будет чрез чадородие»<sup>344</sup>.

Фабулла. Стало быть, та, что «родила», спасена?

Евтрапел. Отнюдь нет! Апостол прибавляет: если дети пребудут в вере<sup>345</sup>. Ты не исполнила родительского долга, если правильным воспитанием не образовала сперва нежного тельца своего сына, а после — столь же нежной души.

Фабулла. Но это уже не во власти матерей, чтобы дети всегда хранили страх божий!

Евтрапел. Пожалуй. Но неусыпные увещания так важны, что Павел полагает необходимым предъявить обвинение матери, если дети изменили добрым нравам. И, наконец, если ты сделаешь все, что от тебя зависит, бог соединит свою подмогу с твоим усердием.

Фабулла. Меня, Евтрапел, твои доводы убедили. Вот если бы ты еще смог убедить моих родителей и супруга!...

Евтрапел. Это я тебе обещаю, лишь бы ты подала голос в мою пользу.

Фабулла. Подаю, не сомневайся.

Евтрапел. А можно ль поглядеть на мальчика?

Фабулла. Конечно! Эй, Сириска, кликни кормилицу, пусть придет с ребенком.

Евтрапел. Какой славный! Говорят, что первая проба заслуживает снисхождения. Но ты и по первому разу показываешь искусство самое высокое.

Фабулла. Это ведь не ваяние, тут искусство ни к чему.

Евтрапел. Верно. Это литье из воска. Но что бы это ни было, а вышло на редкость удачно. Хоть бы гобелены выходили у тебя не хуже!

Фабулла. А вот ты — так наоборот: удачней на полотне изображаешь, чем рожашь.

Евтрапел. Так угодно природе — она не со всеми обходится одинаково. Но как она хлопочет, чтобы ничто не пропало бесследно! В одном человеке воспроизвела двоих: нос и глаза — отцовские, лоб и подбородок — материнские. Такой драгоценный залог любви можно ли доверить чужой заботе? Те, кто на это идет, мне кажется, жестоки вдвойне: они подвергают опасности не только младенца, с которым расстаются, но и себя самих, потому что молоко, обратившись вспять и испортившись, нередко вызывает опасные болезни. И получается, что, тревожась о красоте одного тела, нисколько не тревожатся о жизни двух, и, спасаясь от преждевременной старости, находят безвременную кончину. Как назвали мальчика?

Фабулла. Корнелием.

Евтрапел. Имя деда со стороны отца. Если бы в нем повторилась безукоризненная чистота этого человека!

Фабулла. Постараемся, насколько хватит сил. Но послушай, Евтрапел, у меня к тебе одна очень большая просьба.

Евтрапел. Считаю меня своим рабом: приказывай что хочешь — отказа ни в чем не будет.

Фабулла. Ну, так я дам тебе вольную только тогда, когда ты завершишь доброе дело, которое начал.

---

<sup>344</sup> «Первое послание к Тимофею», II, 15

<sup>345</sup> Так толкует это место Эразм. Обычное толкование (принятое и в синодальном переводе) — женщина спасется, если пребудет в вере.

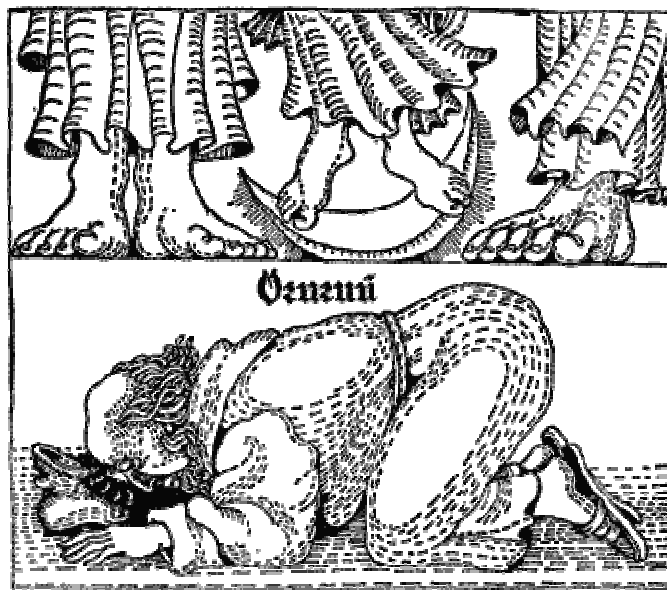
Евтрапел. Что ты имеешь в виду?

Фабулла. Чтобы ты указал мне, как сперва следить за здоровьем ребенка, а после, когда он окрепнет, как подвести невинную душу к первым основам благочестия.

Евтрапел. С большой охотой, — если достанет ума, — но в другой раз; а теперь иду просителем к твоему супругу и отцу с матерью.

Фабулла. Бог тебе в помощь!

## Паломничество



### Менедем. Огигий

Менедем. Что это?! Неужели передо мною Огигий, мой сосед, которого добрых шесть месяцев никто из наших не видал? Был слух, будто его уж и на свете нет. Да, он самый, если только я не рехнулся! Подойду и поздороваюсь. Доброго здоровья, Огигий!

Огигий. Здравствуй и ты, Менедем.

Менедем. Какие края и земли возвращают нам тебя в целости и сохранности? А то ведь разнесся печальный слух, будто ты переплыл Стигийскую топь<sup>346</sup>.

Огигий. Наоборот, — слава небесам! Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо, как в это последнее время!

Менедем. Дай тебе бог всегда с такою же легкостью рассеивать вздорные слухи подобного свойства. Но что это за убор? Ты усыпан ракушками, усеян оловянными и свинцовыми образками, увешан соломенными ожерельями, на руке — змеинные яйца<sup>347</sup>!

Огигий. Я побывал у святого Иакова Компостельского, а после — у чтимой по всей Англии Богородицы Приморской. Сказать точнее, у Богородицы я был уже в другой раз<sup>348</sup>, а впервые посетил ее три года назад.

<sup>346</sup> Древние изображали Стикс, через который Харон переправляет в своей ладье души усопших, то в виде реки, то в виде заболоченного озера.

<sup>347</sup> Так Эразм называет здесь бусины четок.

<sup>348</sup> Сам Эразм тоже побывал в Уолсингэме дважды — в 1512 и 1514 гг.

Менедем. Для развлечения, верно, путешествовал?

Огигий. Нет, из страха божия.

Менедем. Не греческие ли книги внушили тебе этот страх?

Огигий. Моя теща дала обет, что, если ее дочь родит живого и крепкого младенца мужского пола, я буду приветствовать и благодарить святого Иакова лицом к лицу.

Менедем. И ты приветствовал святого только от себя и от тещи?

Огигий. Нет, от всей семьи.

Менедем. Ну, на мой взгляд, оставь ты Иакова без приветствия, семье от этого ущерба не было б ни малейшего. Однако скажи, пожалуйста, как отвечал святой на изъявления благодарности?

Огигий. Никак. Но когда я поднес ему дар, мне показалось, что он улыбнулся и легонько кивнул. И тут же протянул мне эту раковину, похожую на черепицу.

Менедем. Почему именно такой подарок, а не какой-нибудь еще?

Огигий. Потому что этих раковин у него громадный запас: их выносит море по соседству.

Менедем. Какой любезный святой! И роженицам помогает, и о гостях заботится. Но что за новый способ давать обеты — чтобы самому палец о палец не ударить, а все труды переложить на другого? Представь себе, ты пообещался бы, что, если дело, которое ты начал, завершится благополучно, я буду поститься дважды в неделю; как ты полагаешь, исполню я твой обет?

Огигий. Полагаю, что не исполнишь, даже если пообещаешься от собственного имени: надувать святых тебе в забаву. Это ведь не кто-нибудь, а моя теща; пришлось повиноваться. Сам знаешь, каковы женщины. Впрочем, и ко мне это имело самое прямое отношение.

Менедем. А чего ты опасался, если б не выполнил ее обета?

Огигий. К суду, конечно, святой притянуть бы меня не мог, но на будущее мог бы сделаться глух к моим молитвам или исподтишка навести беду на моих близких. Сам знаешь, какой нрав у власть имущих.

Менедем. Как поживает достойнейший муж Иаков?

Огигий. Намного хуже прежнего.

Менедем. А причиною что? Старость?

Огигий. Болтун! Ты же знаешь, что святые не старятся. Нет, всему виною новые убеждения, распространившиеся по миру: из-за них Иакова приветствуют реже, чем встарь, а если кто к нему и приезжает, то с одними только приветствиями, дарить же — не дарит ничего или самую малость, утверждая, что эти деньги лучше употребить на помощь беднякам.

Менедем. Да, нечестивые убеждения!

Огигий. И вот такой великий апостол, который, бывало, сверкал самоцветами и золотом с головы до пят, теперь — сплошь деревянный, и даже сальная свечка не всегда перед ним теплится.

Менедем. Если то, что мне доводится слышать, верно, боюсь, как бы и прочих святых не постигла такая же судьба.

Огигий. Я тебе больше скажу: повсюду читают письмо, которое по этому поводу написала сама Дева Мария.

Менедем. Какая Мария?

Огигий. Та, что прозывается Каменной.

Менедем. Та, что в Базеле, если не ошибаюсь?

Огигий. Она самая.

Менедем. Про каменную, стало быть, святую ты мне толкуешь. Ну, и кому ж она написала?

Огигий. Имя обозначено в письме.

Менедем. А с кем послала?

Огигий. Без сомнения, с ангелом. А он положил письмо на кафедру, с которой

проповедует тот, кому оно написано. Чтобы тебе ни в чем не сомневаться, ты увидишь

Менедем. Ты так хорошо узнаешь руку ангела, который у Богородицы в секретарях?

Огигий. Еще бы не узнать!

Менедем. По каким, однако же, приметам?

Огигий. Я читал эпитафию Беды<sup>350</sup>, высеченную ангелом, и очертания букв полностью совпадают. Читал я и записку, посланную святому Эгидию<sup>351</sup>: тоже совпадают. Разве этого недостаточно?

Менедем. Можно взглянуть?

Огигий. Можно, если поклянешься молчать.

Менедем. О, буду нем, как камень!

Огигий. Но есть и камни, печально прославленные тем, что ничего не скрывают.

Менедем. Тогда я буду просто нем — если камню нет доверия.

Огигий. На этом условии — изволь, прочитаю. А ты навести оба уха.

Менедем. Уже навострил.

Огигий. «Мария, Мать Иисуса, приветствует Главкоплута<sup>352</sup>!

Вслед за Лютером ты с усердием убеждаешь, что взывать ко святым излишне; знай, что этим ты приобрел мою благосклонность, искреннюю и немалую. До нынешней поры смертные чуть не до отчаяния изводили меня бессовестными своими мольбами. У меня одной просили и требовали всего — словно бы сын мой все еще младенец (как его изображают у меня на коленях), словно все еще ни в чем не выходит из материнской воли и ни в чем не смеет мне отказать, боясь, наверное, как бы я, в отместку, не отказала ему в материнской груди. И нередко просили у Девы такое, чего скромный юноша едва ли дерзнул бы попросить и у сводни, такое, о чем мне стыдно писать в письме. Купец наживы ради плывет в Испанию, а целомудрие своей сожительницы оберегать поручает мне. Монахиня, сбросивши манатю, готовит побег, а мне поручает хранить славу своей непорочности, которую сама же замыслила опорочить и опозорить. Гнусный наемник, которому платят, за резню, за пролитую кровь, взывает ко мне: «Святая Дева, ниспосли богатую добычу!» Взывает игрок: «Будь благосклонна, святая, — поделюсь с тобою выигрышем». И если счастье улыбается не слишком широко, бранят меня, и поносят, и проклинают, за то что не помогла преступлению. Взывает та, что торгует собою: «Пошли щедрые прибитки!» А стоит мне хоть в чем-нибудь выказать неодобрение, тут же слышу недовольные голоса: «Тогда ты больше не Мать милосердная!»

Другие мольбы не столько нечестивы, сколько нелепы. Зовет незамужняя: «Мария, дай мне красивого и богатого жениха!» Зовет замужняя: «Мария, дай мне доброе потомство!» Зовет беременная: «Дай мне легкие роды!» Зовет старуха: «Дай прожить подольше, без кашля и жажды!» Зовет старик, выживший из ума: «Дай помолодеть!» Зовет философ: «Дай связать нерасторжимые узлы!» Зовет священник: «Дай богатый приход!» Зовет епископ:

---

349 Подлинную рукопись (греч.).

350 Беда Достопочтенный (ок. 673—735) был крупнейшим представителем англо-саксонской литературы на латинском языке. Самое важное его произведение — «Церковная история англосаксов». Гробница Беды — в церкви аббатства в Дареме (Дургеме) на северо-востоке Англии.

351 Эгидий — отшельник, живший в VI или VII в. на юге Франции. Он просил бога отпустить грехи королю готов Флавию, и ангел положил на алтарь листок пергамента, в котором сообщалась, что просьба Эгидия исполнена.

352 Главкоплут — греческий перевод имени Ульрих. Эразм имеет в виду швейцарского реформатора Ульриха Цвингли, под руководством которого в 1525 г. церковь в Цюрихе была реформирована и храмы очищены от икон и статуй.



«Сохрани мою церковь!» Зовет моряк: «Дай счастливого плавания!» Зовет правитель: «Покажи мне твоего сына, прежде чем умру!» Зовет придворный: «Дай исповедаться чистосердечно в смертный час!» Зовет крестьянин: «Дай дождя вовремя!» Зовет крестьянка: «Сохрани коровушек и лошадок!» Если в чем не соглашаюсь, тут же слышу обвинение в жестокости. Если отсылаю к сыну, слышу: «Чего желаешь ты, того — и он». Что же, мне одной — женщине и девице — помогать и плавающим по морю, и воюющим, и торгующим, и играющим в кости, и брачующимся, и рождающим, и сатрапам, и царям, и мужикам?

А ведь то, что я описала, — лишь ничтожная доля моих страданий! Но теперь забот стало гораздо меньше, и я благодарила бы тебя за это самой горячею благодарностью, если бы выгода не привела за собой новой невыгоды, еще тяжелее: досуга-то больше, но почестей меньше и меньше богатства. Раньше ко мне обращались: «Царица небесная!», «Владычица мира!» Теперь насилу дождешься, пока услышишь: «Радуйся, Мария!» Раньше меня одевали в самоцветы и золото, то и дело облачали в новое платье, приносили мне драгоценные дары, теперь насилу прикрываюсь половинкою плаща, да и тот весь изъеден мышами. Годовые доходы такие жалкие, что едва хватает на прокорм горемыке-причетнику, на лампадку да на сальную свечку. Впрочем, это бы еще можно сносить, но говорят, что у тебя наготове планы пошире. Говорят, ты клонишь к тому, чтобы всех святых, сколько их ни есть, изгнать из храмов повсюду! Еще и еще раз обдумай, что ты затеял. У других святых достанет силы отомстить за обиду. Петр, изгнанный из храма, в свою очередь, закроет перед тобою вход в царство небесное. Павел — с мечом, Варфоломей — с ножом, Вильгельм, хоть и в рясе, а вооружен с головы до пят, и даже пику в руке держит. А с Георгием как ты совладаешь — ведь он и верхом, и в панцире, и копье под мышкою, и меч у пояса? И Антоний не безоружен — палит священным огнем. И у остальных — у каждого либо оружие, либо напасть, которые они и направляют против кого бы ни вздумалось. Я и в самом деле беззащитна, но ты прогонишь меня не иначе, как вместе с сыном, которого я держу на руках. Расстаться с ним я не соглашусь никогда; либо, заодно со мною, ты вытолкаешь за порог и его, либо обоих оставишь, если только не предпочтешь иметь храм без Христа.

Вот о чем я хотела тебя известить. Ты же рассуди, как тебе отвечать, ибо я встревожена не на шутку.

*Послано из Каменного нашего дома, в августовские календы, в год от рождения моего пострадавшего сына 1524.*

*Каменная Дева руку приложила».*

Менедем. Да, грозное и страшное письмо. Вперед он, верно, поостережется...

Огигий. Если он в здравом уме, то конечно. Менедем. А почему и достойнейший Иаков не написал Главкоплуту того же?

Огигий. Точно не знаю. Но он намного дальше<sup>353</sup>, а все письма в наше время перехватываются.

Менедем. А что за бог опять привел тебя в Англию?

Огигий. Во-первых, ветер, на диво попутный, а во-вторых, я почти что обещался святой Деве Приморской снова навестить ее через два года.

Менедем. И о чем ты хотел ее просить?

Огигий. Да о том же, о чем все просят: о благополучии домашних, о богатстве, о долголетию и радости в этой жизни, о вечном блаженстве в жизни будущей.

Менедем. А у нас Присно дева не могла тебе этого даровать? В Антверпене у нее храм намного пышнее, чем там.

Огигий. Пожалуй, что могла бы, спорить не стану, но в разных местах она дарит разное: либо так именно ей угодно, либо, по своей доброте, она приспособливается к нашим склонностям.

<sup>353</sup> Действительно, Базель — ближайший сосед Цюриха, и Реформация там одержала победу лишь немногими годами позже (в 1529 г.). В том же году Эразм покинул Базель.

Менедем. Про Иакова я слышал много раз, но, сделай милость, опиши мне царство этой Приморской. Огигий. Постараюсь, и буду краток, насколько удастся. Она славится по всей Англии, и едва ли ты сыщешь на целом острове человека, который бы надеялся преуспеть, не принося ей ежегодных даров, хотя бы и скромных — в меру своих средств и сил. Менедем. Где она обитает?

Огигий. На самом краю острова, к северо-западу<sup>354</sup>, недалеко от моря — примерно в трех милях. Все селение кормится лишь наплывом богомольцев. Есть обитель каноников, именуемых «уставными»: они занимают среднее положение между монахами и так называемыми «белыми» или «мирскими» канониками. <sup>355</sup>

Менедем. Прямо амфибии какие-то! Вроде бобров.

Огигий. И крокодилов. Но оставим колкости, и я в трех словах объясню тебе то, что ты хочешь узнать. Когда дела складываются скверно, они — каноники, когда благоприятно — монахи.

Менедем. Ты всё задаешь мне загадки.

Огигий. Сейчас прибавлю математическое доказательство. Если бы папа римский метнул молнию в монахов, эти сразу бы заявили: «Мы не монахи, мы каноники». А если разрешит всем монахам взять жену, тут они все станут монахами.

Менедем. Неслыханное доньше благодеяние! Хоть бы взяли и мою заодно.

Огигий. Однако — к делу. У обители нет иного до-кода, кроме щедрости Богородицы. Крупные дарения сохраняются на будущее, а наличные деньги и вклады малой ценности идут на содержание братии и настоятеля, которого они величают приором.

Менедем. Жизнь ведут достойную?

Огигий. Дурного об них не скажешь: благочестием они богаче, чем годовым прибытком. Церковь нарядная и красивая, но Дева живет не в ней: тот храм она, в знак почтения, уступила сыну, а собственный ее храм поставлен так, чтобы матери быть справа от сына.

Менедем. Справа? А сын куда обращен лицом?

Огигий. Верно напомнил, спасибо. Если сын смотрит на запад, то мать по правую руку от него, если повертывается к востоку — по левую. Но и это еще не ее жилище, потому что постройка не закончена, нет ни окон, ни дверей, и весь собор продувается насквозь в любом направлении, а по соседству — отец ветров, Океан.

Менедем. Худо. Так где же все-таки она обитает?

Огигий. В том недостроенном храме есть тесная часовня с дощатыми стенами; в двух противоположных стенах — по узкой дверце, пропускающей богомольцев Света мало, — только то, что от свечей, — ноздри ласкает благоухание.

Менедем. Это все приличествует святыне.

Огигий. Ах, Менедем, если б ты увидел это своими глазами! Ты бы сам сказал, что это райские кущи, — так все блистает самоцветами, золотом, серебром!

Менедем. Слушаешь тебя — и тянет пуститься в путь.

Огигий. И стоит того: не пожалеешь.

Менедем. А священного елея там нет вовсе?

Огигий. Глупец! Елей сочится лишь там, где преданы погребению святые, например — из гробницы святого Андрея или святой Екатерины. А Деву Марию не погребали.

Менедем. Да, признаться, я ошибся. Но ты продолжай.

Огигий. Дабы шире разлился страх божий, в разных местах показывают разные вещи.

---

<sup>354</sup> По-видимому, описка Эразма: как уже сказано раньше, Уолсингэм находится на восточном побережье Великобритании.

<sup>355</sup> Августинские (или черные) каноники были орденом священников-монахов. Первоначально орден складывался из общин, в которые объединялся причт одного храма («белые каноники»), принимая добровольное обязательство жить по уставу наподобие монастырского

Менедем. И, вероятно, — чтобы больше и щедрее давали, в согласии со стихом:

*Быстро добыча растет, если рука не одна.* 356

Огигий. И повсюду наготове мистагоги<sup>357</sup>.

Менедем. Из каноников?

Огигий. Что ты! Их никогда не зовут, чтобы не отвлечь от благочестия хотя бы и ради благочестия, и чтобы, служа Деве, они не позабыли о собственном девстве. Только во внутренней часовне — в покое святой Девы, о котором я говорил, — у алтаря стоит каноник.

Менедем. Зачем?

Огигий. Чтобы принимать даяния.

Менедем. А чтобы против воли давали, так бывает?

Огигий. Никогда! Но бывает так, что один, без свидетелей, человек не дал бы, а когда рядом кто-то есть, благочестивый стыд заставляет дать; или, в иных случаях, дают щедрее, чем собирались вначале.

Менедем. Это чувство всякому человеку знакомо, я по себе знаю.

Огигий. Однако ж есть у святейшей Девы и такие почитатели, которые, делая вид, будто возлагают свое приношение на алтарь, с поразительной ловкостью и проворством крадут то, что положил другой.

Менедем. Но пусть бы и никто не присматривал — разве Дева не испепелила бы воров на месте?

Огигий. Почему же Дева, а не сам Отец небесный, которого они обирают безо всякого страха, хотя бы даже приходилось проломить стену храма?

Менедем. Не знаю, чему больше дивиться, — их ли нечестивой самонадеянности или божией кротости.

Огигий. С северной стороны — ворота, только не в храмовой стене, а в ограде, окружающей храм. В воротах — крохотная калитка, вроде тех, что в домах и замках у знати, и если кто желает войти, то сперва выставляет далеко вперед ногу, а потом низко наклоняет голову.

Менедем. Входить к врагу через такую калитку — верная погибель.

Огигий. Конечно! Мистагог мне говорил, что в старину один рыцарь, верхом на коне, ускользнул через нее от погони. Несчастный был уже, можно сказать, у неприятеля в руках и, окончательно отчаявшись, вдруг вспомнил о святой Деве и доверил свою жизнь ей: он решил искать прибежища подле ее алтаря, если бы калитка пропустила. И тут совершилось неслыханное: в один миг всадник с конем оказался внутри ограды, а преследователь, в бессильной злобе, бушевал снаружи.

Менедем. И ты поверил этой удивительной истории?

Огигий. Вполне.

Менедем. А ведь ты философ, тебя убедить не так просто.

Огигий. Он показывал мне медную доску, прибитую к воротам, а на доске — изображение спасенного рыцаря в тогдашнем английском уборе, какой мы видим на старинных картинах. И если картины не лгут, худо жилось в ту пору цирюльникам, красильщикам, суконщикам.

Менедем. Отчего?

Огигий. Оттого, что у рыцаря борода, как у козла, а на всем платье ни единой складки; такое оно тесное, да узкое, что и само тело становится меньше, скуднее. Была и еще одна доска — с видом и размерами святилища.

<sup>356</sup> Овидий, «Любовные элегии», I, VIII, 92. Перевод С. Шервивского.

<sup>357</sup> Мистагог — наставник, посвящающий в таинства (греч.).

Менедем. Сомневаться было уже грешно.

Огигий. Верхняя часть калитки забрана железной решеткою, пропускающей только пешего. Нельзя, чтобы конь попирал копытами место, которое тот конник посвятил Деве.

Менедем. Это так и должно быть.

Огигий. Потом, к востоку от входа, — часовенка, полная чудес. Тут встречает нас другой мистагог. Произносим краткую молитву. Показывают нам сустав человеческого пальца, больший из трех. Я облобызал, реликвию и спрашиваю, чья она. Мистагог отвечает: «Святого Петра». — «Неужели, говорю, апостола?» — «Да, говорит, апостола». Разглядываю я сустав, такой большой, что мог бы принадлежать и исполину, и замечаю вслух: «Как видно, крупного роста был святой Петр», — и тут кто-то из моих спутников расхохотался. Я был очень раздосадован и огорчен. Если бы он промолчал, служка показал бы нам все реликвии до последней. А так — насилу успокоили нашего мистагога, сунув ему несколько драхм.

Перед часовнею стоял домик. Служка объявил, что этот домик перенесен сюда внезапно и издалека, зимней порою, когда все вокруг было завалено снегом. Под ним — два колодца, полные до краев. Источник посвящен Богородице. Вода на диво холодная и помогает против болей в голове и в желудке.

Менедем. Если холодом лечат болезни головы и желудка, то скоро пожары начнут тушить маслом.

Огигий. Ведь это чудо, странный ты человек! А что было бы за чудо, если б холодная вода уголяла жажду?!

Менедем. Не только чудо, но и часть представления.

Огигий. Нам говорили, что источник внезапно ударил из земли по велению святейшей Девы. Я все внимательно оглядываю и спрашиваю, сколько лет прошло, как это строение сюда перенесено. Отвечает служка\*; несколько веков. «Но ведь стены, если глаза меня не обманывают, совсем новые?» В ответ — никаких возражений. «И эти деревянные столбы — тоже?» Служка не отрицает, что их поставили недавно, да и самый их вид свидетельствует о том же. «А эта соломенная крыша, по-моему, настлана и вовсе недавно?» Соглашается. «Да и эти балки, и самые стропила, которые поддерживают кровлю, положены, мне кажется, не слишком давно?» Подтверждает. Когда таким образом перебрали все части хижины, я спрашиваю: «Откуда ж известно, что эта лачужка принесена издалека?»

Менедем. Любопытно! И как служка выпутался из этой петли?

Огигий. Он тут же показал нам ветхую медвежью шкуру, приколоченную к балкам, и разве что в глаза не посмеялся над нашею слепотою. И правда, не заметить такого очевидного свидетельства! Уверившись и попросив извинения за свою ненаблюдательность, мы двинулись к небесному млеку блаженной Девы.

Менедем. О, Мать, во всем подобная Сыну! Он оставил нам столько своей крови! А она — столько молока, сколько едва ли могли бы источить сосцы женщины, родившей единогожды, даже если бы младенец не испил из них ни капли!

Огигий. Так же точно толкуют о кресте господнем, который показывают по храмам и по частным домам в столь многих местах, что если бы все частицы собрать, можно бы, наверно, нагрузить доверху целое судно. А ведь господь нес свой крест на собственных плечах.

Менедем. А это тебе не кажется еще одним чудом?

Огигий. Необычайным я бы это, пожалуй, назвал, но чудесным — никогда, потому что господь, умножающий частицы креста по своему усмотрению, — всемогущ.

Менедем. Благочестиво ты объясняешь. И все же я опасаясь, что многое подобное просто-напросто вымышлено ради наживы.

Огигий. Не думаю, чтобы господь согласился терпеть такие насмешки над собою.

Менедем. Напротив! Ведь святотатцы грабят и Мать, и Сына, и Отца, и Духа, а они порою и не пошевельнутся, чтобы отогнать злодеев хоть мановением головы, хоть шумом. Такова уж божественная кротость.

Огигий. Ты прав. Но слушай дальше. Млеко хранится на главном алтаре. Посредине алтарного образа Христос, одесную — Матерь, в знамение почета. Ибо млеко знаменует собою Матерь.

Менедем. Значит, его можно видеть?

Огигий. Да, заключенным в хрусталь.

Менедем. Значит, оно жидкое?

Огигий. Какой там «жидкое», ежели оно пролилось полторы тысячи лет назад! Оно сгустилось и теперь напоминает тертую глину в смеси с яичным белком.

Менедем. Отчего ж тогда не показывают его без покрова?

Огигий. Дабы млеко Девы не осквернялось поцелуями мужчин.

Менедем. Это верно. Многие губы, я полагаю, ни чистыми не назовешь, ни девственными.

Огигий. Завидев нас, прибегает мистагог. Он облачается в подризник, покрывает плечи епитрахилью, благочестиво преклоняет колена, произносит молитву; после этого трижды святое млеко протягивает нам для лобызания. Тут мы, в свою очередь, преклоняем колена на первой ступени алтаря и, воззвав сперва к Христу, творим Деве краткую молитву, нарочно для этой цели приготовленную:

«Дева и Матерь, ты, заслужившая питать девичьими своими сосцами владыку неба и земли, сына своего Иисуса, молим тебя, дабы достигнуть нам, очищенным его кровью, того блаженного детства, которое, в голубиной простоте своей не ведая ни злобы, ни обмана, жаждет напитаться млеком евангельского учения, покуда не обретет совершенного мужества в меру исполненности Христом, коего блаженство ты разделяешь во веки веков, вместе с Отцом и со Духом святым. Аминь».

Менедем. Молитва поистине благочестивая. И что Дева?

Огигий. Оба — и Матерь и Сын — внимали милостиво, если только я могу верить своим глазам: мне показалось, что священное млеко дрогнуло, а святые дары стали еще белее. Тем временем приближается к нам мистагог и молча протягивает деревянное блюдо, вроде тех, с какими в Германии взимают пошлину на мостах.

Менедем. Сколько раз я проклинал эти жадные блюда, когда ездил по Германии!

Огигий. Мы положили несколько драхм, которые он поднес Деве. Потом через переводчика, прекрасно знающего по-английски (звали этого красноречивого юношу, если не ошибаюсь, Роберт Олдридж<sup>358</sup>), я спросил его самым учтивым образом, какими располагает он доказательствами, что это млеко Девы. Желание мое было самое благочестивое — чтобы можно было заткнуть рот иным нечестивцам, у которых в обычае насмехаться над любыми реликвиями. Мистагог сперва нахмурился и промолчал. Я велел переводчику повторить вопрос, но только еще учтивее. На сей раз его слова звучали так мягко и вкрадчиво, что, пожалуй, не смогли бы обидеть даже Матерь, еще не поднявшуюся после родов. Но мистагог, точно в некоем наитии, поглядел на нас застывшим от ужаса взором, как бы проклиная кощунственную речь. «К чему, — промолвил он, — эти расспросы, когда есть доподлинная запись?» И, наверное, погнал бы нас прочь, будто еретиков, если бы драхмы не остудили его ярости.

Менедем. Ну, а вы-то что?

Огигий. Мы? Как ты себе представляешь? Убрались потихоньку, словно дубиной нас ушибло или ожгло молнией, и смиренно молили прощения за свою дерзость, как приличествует в делах, касающихся святыхни. Потом направляемся к часовне святой Девы. На пути появляется перед нами иерофант<sup>359</sup> из числа меньших братьев и пристально нас

<sup>358</sup> Роберт Олдридж — ученый из Кэмбриджа, приятель Эразма; впоследствии — епископ Карлайльский.

<sup>359</sup> Иерофант — у греков это слово обозначало: верховный жрец; здесь: монах-францисканец («из числа меньших братьев»).

разглядывает, немного подальше — еще один, и тоже смотрит во все глаза, еще подальше — третий.

Менедем. Может, они хотели тебя нарисовать?

Огигий. Нет, я заподозрил совсем другое.

Менедем. Что именно?

Огигий. Что какой-то святотатец похитил что-нибудь из убора святой Девы и подозрение пало на меня. И вот, войдя в часовню, я обратился к Богородице с такою мольбой:

«О, единственная меж женами Матерь и Дева, Матерь блаженнейшая, Дева чистейшая, ныне, чистая, взираем на тебя, нечистые, приходим к тебе с приветствием, чтим тебя убогими нашими приношениями. Сын твой да ниспошлет нам дар подражания святейшим твоим достоинствам, да заслужим и мы благодатью святого Духа зачать в сокровенных глубинах душ наших господина Иисуса и, зачавши однажды, никогда не утратить. Аминь».

Затем я облобызал алтарь, положил несколько драхм, и, не мешкая, удалился.

Менедем. И как отозвалась Дева? Не возвестила ли каким-нибудь знаком, что молитва услышана?

Огигий. Я уже тебе говорил, свет там неверный, а Дева так и вовсе скрывалась в потемках по правую руку от алтаря. И главное, выговор мистагога так меня озадачил, что я и глаз поднять не смел.

Менедем. Стало быть, после того начала исход оказался не слишком веселый.

Огигий. Напротив — самый счастливый.

Менедем. Ну, слава богу! А то уж и у меня «сердце в колена упало», говоря словами Гомера. 360

Огигий. После завтрака мы вернулись в храм.

Менедем. Как ты решился? Ведь тебя подозревали в святотатстве!

Огигий. Возможно, но сам-то я ни в чем себя не подозревал, а чистая совесть не знает страха. Мне непременно хотелось увидеть запись, к которой нас отослал мистагог. Долго мы ее разыскивали и наконец нашли; но прибита она так высоко, что не всякий глаз прочтет. Линцею меня назвать нельзя, но и подслеповатым тоже не назовешь. И пока Олдридж громко читал вслух, я следил глазами неотступно, в столь важном деле не полагаясь целиком даже на него.

Менедем. Все сомнения рассеялись?

Огигий. Да, мне стало стыдно, что я сомневался, — с такою очевидностью было там все изложено: имя, место, все события, шаг за шагом. Коротко сказать — ничего не пропустили. Речь шла о некоем Гильоме из Парижа, человеку и вообще благочестивом, но особенно ревностном и усердном в розысках святых реликвий. Он объехал много стран, повсюду осматривая храмы и монастыри, и наконец добрался до Константинополя. (Браг этого Гильома был там епископом.) Когда он уже собирался в обратный путь, брат открыл ему, что есть одна монахиня, которая владеет млеком святой Девы, и если он сможет приобрести хоть малую толику — выпросит, купит или выманит хитростью, — то будет редкостным счастливецом, ибо все прочие реликвии, какие он собрал прежде, ничто против священного млека. И Гильом не успокоился до тех пор, покуда не вымолил половину. С этим сокровищем он считал себя богаче Креза.

Менедем. Еще бы! И вдобавок удача-то нечаянная!

Огигий. Спешит он прямо домой, но дорогою заболевает.

Менедем. О, как непродолжительно и несовершенно всякое человеческое счастье!

Огигий. Чувствуя опасность, призывает он тайно одного француза, самого верного из своих спутников, берет с него торжественную клятву хранить молчание и вручает млеко с таким наказом: если он возвратится благополучно, пусть возложит сокровище на алтарь

святой Девы, чтимой в Париже, в царственном храме, и взирающей на воды Сены, которая разделяется и омывает храм с двух сторон, словно бы тоже воздавая должное могуществу Девы. Но буду краток: Гильома похоронили, француз поспешает на родину, но болезнь настигает и его. Не надеясь поправиться, он передает млеко другому спутнику, англичанину, наперед заставивши много раз поклясться, что тот завершит дело, которого сам он завершить не может. Француз умирает. Англичанин возлагает млеко на алтарь в присутствии каноников того храма (тогда они именовались еще уставными, как ныне каноники святой Женевьевы). От них он получает половину млека, увозит в Англию и наконец, ведомый святым Духом, доставляет Богородице Приморской.

Менедем. Что же, все очень последовательно и стройно.

Огигий. Мало того: чтобы и тень сомнения не закралась, обозначены имена викарных епископов, которые могут предоставить паломникам, посетившим святыню и сделавшим скромный дар, отпущение в меру своей власти.

Менедем. Что это за мера?

Огигий. До сорока дней.

Менедем. Значит, и в преисподней бывает день?

Огигий. Время, во всяком случае, есть и в преисподней.

Менедем. А если епископ за один раз исчерпает свою власть в полной мере, другим он уже ничего не сможет уделить?

Огигий. Напротив: все, что он отдаст, немедленно возместится, и происходит как раз обратное тому, что в бочке Данаид<sup>361</sup>. Бочку беспрерывно наливают, а она всегда пустая; отсюда сколько бы ты ни черпал, меньше не становится.

Менедем. Если сорок дней уделено ста тысячам, столько ж получит и каждый в отдельности? Огигий. Ровно столько же.

Менедем. А если кто, получив сорок дней до завтрака, перед обедом попросит еще сорок, можно ли дать? Огигий. Даже если по десяти раз за один час! Менедем. Был бы у меня дома такой ларчик! Тогда и больше трех драхм не надо — лишь бы никогда не переводились.

Огигий. С одинаковым успехом можешь пожелать себе сделаться золотым с головы до пят. Вернемся, однако же, к нашему рассказу. Нам приводили еще один довод, замечательно набожный и ясный: млеко Девы, которое показывают во многих иных местах, пользуется заслуженным почитанием, но все-таки меньшим, чем это млеко, потому что все прочее соскоблено с камней, а это пролилось прямо из сосцов Девы. Менедем. Откуда такая уверенность? Огигий. О, так поведала константинопольская монахиня, которая дала млеко.

Менедем. А ей, вероятно, сообщил святой Бернард. Огигий. Думаю, что да.

Менедем. Ему, уже в зрелые годы, довелось вкусить млека из той самой груди, которую сосал Младенец Иисус. Странно, что Бернарда прозвали «медоточивым»<sup>362</sup>, а не «млекоточивым».

Но как это именуют «млеко Девы» то, что никогда не стекало с ее сосцов?

Огигий. Нет, оно тоже стекало, но, капая на камень, где случалось сидеть Богородице во время кормления, застывало и твердело, а после, божьим изволением, умножилось.

Менедем. Так-так. Продолжай. Огигий. Мы уже собирались уходить и прогуливались взад-вперед, поглядывая, не увидим ли еще чего, достойного обозрения, как вдруг опять появились мистагоги: они смотрят на нас краешком глаза, исподтишка показывают пальцами, приближаются, отступают, снова приближаются, мнутя в нерешительности и,

---

<sup>361</sup> Данаиды — пятьдесят дочерей Дана, царя Арюса (на Пелопоннесе). В брачную ночь все они, кроме одной, умертвили своих мужей и за это преступление терпят вечную муку в царстве мертвых — наполняют бездонную бочку (греч. миф.).

<sup>362</sup> Это прозвище святой Бернард (уже упоминавшийся выше) получил за сладость своих речей и писаний.

по-видимому, очень хотят к нам обратиться, но не смеют.

Менедем. И тут ты уже совсем не боялся?

Огигий. Нисколько. Я повернулся к ним лицом, улыбался и глядел на них так, словно приглашая заговорить. Наконец один подошел и спросил мое имя. Я сказал. «Это ты два года назад прибил во исполнение обета табличку, писанную еврейскими буквами?» — «Я», — отвечаю.

Менедем. Ты умеешь писать по-еврейски?

Огигий. Нет, но у них все непонятное зовется «еврейским». Тут же, как я предполагаю, послали за <sup>363</sup> обители, и он мигом подоспел.

Менедем. Какую должность это обозначает? Разве у них нет аббата?

Огигий. Нет.

Менедем. Почему?

Огигий. Потому что они не знают по-еврейски<sup>364</sup>.

Менедем. А епископа?

Огигий. Тоже нет.

Менедем. Почему?

Огигий. Потому что Дева еще слишком бедна, чтобы купить посох и митру<sup>365</sup>, — это ей не по средствам.

Менедем. И даже настоятеля нет?

Огигий. Нет.

Менедем. А этому что помехою?

Огигий. «Настоятель» — обозначение должности, а не духовной чистоты. Поэтому в обителях каноников слово «аббат» отвергают и отдают предпочтение слову «приор».

Менедем. Но <sup>366</sup> я еще никогда не слыхивал!

Огигий. Стало быть, ты полный невежда в грамматике.

Менедем. <sup>366</sup> среди тропов я знаю.

Огигий. Вот именно! Кто следует за первым — за приором, — тот и есть «первый последующий».

Менедем. А! Значит, ты говоришь о помощнике приора.

Огигий. Он учтиво поздоровался со мною и рассказал, сколько пота пролили многие паломники, пытаясь прочесть эти стихи, сколько очков протиралось попусту. Всякий раз, как прибывал какой-нибудь старик-доктор богословия или права, его приводили к этой табличке. Кто утверждал, что это арабские буквы, кто — что и вовсе вымышленные. В конце концов отыскался человек, который прочел заглавие; оно было написано и словами латинскими, и буквами, но — прописными. Греческие стихи написаны греческими прописными<sup>367</sup>,

<sup>363</sup> Букв.: первый последующий (греч.).

<sup>364</sup> Слово «аббат» происходит от арамейского abba — «отец» (Эразм неточно возводит его к древнееврейскому ab — «отец»).

<sup>365</sup> Это знаки достоинства епископа.

<sup>366</sup> Этот греческий тремин (первое на месте последнего) обозначает не троп, а так называемую «фигуру речи». Она состоит в том, что предмет, который следовало бы изложить вначале, излагают позже.

<sup>367</sup> В первое посещение Уолсингэма Эразм написал по-гречески стихотворение в честь Богородицы



которые с первого взгляда напоминают латинские прописные. Исполняя просьбу монахов, я передал смысл стихов по-латыни, переводя слово в слово. За этот ничтожный труд мне было предложено вознаграждение, но я отказался наотрез, объявив, что нет такого трудного дела, которое я не исполнил бы с величайшею охотой в угоду пресвятой Деве, даже если б она повелела мне доставить письмо из Англии в Иерусалим.

Менедем. Есть ли нужда в таком письмоносе, как ты, когда у нее столько ангелов в писцах и в нарочных? Огигий. Тогда он достал из кошелька щепку от бревна, на котором однажды стояла Девственная Матерь. Дивное благоухание тут же засвидетельствовало, что это великая святыня. Я опустился на колени, обнажил голову и, почтительно облобызав столь драгоценный дар трижды и четырежды, спрятал его в свой кошелек. Менедем. Можно взглянуть?

Огигий. По мне — так пожалуйста. Но если ты сегодня не постишься или если минувшею ночью имел сношение с женою, не советую смотреть.

Менедем. Показывай: опасности никакой. Огигий. Вот.

Менедем. Счастливец ты! Получить такой подарок! Огигий. Знай, что эту крохотную щепочку я не променял бы на все золото Тахо. Я оправлю ее в золото, но так, чтобы она просвечивала сквозь хрусталь.

Между тем помощник приора, видя, каким ликованием наполнил меня его дар, решил, что я достоин и большего доверия. «Ты видал когда-нибудь тайны Девы?» — осведомился он. Слово «тайны» очень меня смутило, но я не посмел расспрашивать, что он имеет в виду, ибо в делах столь священных даже оговорка сопряжена с риском. «Нет, отвечаю, не видел, но мечтал бы увидеть». Иду следом за ним, словно в наитии. Он возжигает одну свечу, потом другую; показывает статую, замечательную не величиной, не материалом и не работою, но внутренним достоинством и силою.

Менедем. Если дело касается чудес, размеры почти никакого значения не имеют. Я видел в Париже святого Христофора, даже и не исполинского, не колоссального, но прямо-таки вышиною с гору. И однако никакими чудесами он себя не прославил, сколько мне известно.

Огигий. У ног Девы — самоцвет, которому ни по-латыни, ни по-гречески названия нет вовсе, а французы называли его жабьим камнем, оттого что он повторяет очертания жабы с такою точностью, какая ни единому искусству недоступна. И что особенно невероятно — камешек совсем маленький, и жаба не выпуклая, а словно бы заключена в середине и просвечивает сквозь поверхность.

Менедем. Может, это только чудится, так же как в корне папоротника, если его разрезать, нам чудится орел? Или вот ребятишки — чего только не разглядят в облаках?! Драконов, изрыгающих пламя, огнедышащие горы, сражающихся бойцов.

Огигий. Поверь: и живая жаба не так похожа на самое себя, как та, изображенная в камне.

Менедем. До сих пор я терпеливо слушал твои басни, теперь ищи другого слушателя, который поверит тебе насчет жабы.

Огигий. Я не удивляюсь, Менедем, что ты так распалился. Я бы и сам не поверил никому, даже всем богословам, вместе взятым, если б не увидел собственными глазами, — вот этими двумя глазами, говорю, — не увидел, не рассмотрел, не убедился! А ты, мне кажется, совершенно равнодушен к природе.

Менедем. Отчего? Оттого, что я не верю, будто ослы летают?

Огигий. Разве ты не замечаешь, как забавляется художник-природа, воспроизводя краски и черты любых предметов различными средствами, но прежде всего — в драгоценных камнях? И какую поразительной силой наделяет она эти камни, силою совершенно неправдоподобной, если бы прямой опыт не внушал нам обратного убеждения. Скажи, поверил бы ты, что сталь притягивается и отталкивается магнитом на расстоянии, если б не видел своими глазами?

Менедем. Конечно, нет, даже если б десять Аристотелей мне в этом поклялись!

Огигий. Но тогда не кричи: «Басни! Сказки!» — если услышишь о чем-либо, еще не известном тебе по опыту. В керавнии мы видим образ молнии<sup>368</sup>, в пиропе — живого пламени, в халазии — округленность и твердость градины, которые сохраняются и после того, как бросишь камень в огонь, в изумруде — глубину и прозрачность морской волны. Каркиния подражает морскому раку, эхит — гадюке, скарит — рыбе скару, гиеракит — ястребу. Геранит напоминает журавлиную шею, эгофталм — козий глаз; есть камень, схожий с глазом свиньи, есть — с тремя человеческими глазами сразу. Ликофталм изображает волчий глаз четырьмя цветами: рыжим, кроваво-красным, черным посередине, по краям белым. Если разломишь черную киамею, внутри найдешь боб. Дриит подобен древесному стволу и даже загорается, как дерево. Циссит и нарциссит изображают плющ. Астрапия из белой или синей глуби мечет лучи, похожие на молнию. У флегонита внутри пожар, которому не вырваться наружу. В антракитиде разбегаются искры. Крокий повторяет цвет шафрана, родит — розы, халькит — меди. Аэтит изображает орла с белым хвостом; на таосе рисунок павлина, на хелидонии — аспиды, на мирмеките — образ ползущего муравья. Кантария полностью воспроизводит навозного жука, скорпит в точности похож на скорпиона. К чему, однако, перечислять? Ведь этому нет конца, ибо нет в природе таких первооснов, растений или животных, которые та же природа, точно бы шая и резвясь, не повторила бы в самоцветах. А ты еще дивишься, что в том камне заключена жаба!

Менедем. Я дивлюсь, откуда у природы столько досуга, чтобы играть, подражая всему на свете.

Огигий. Она пожелала изощрить человеческую пытливость и хотя бы таким образом вырвать нас из лап праздности. И за всем тем, будто нечем человеку убить время, мы без ума от шутов, от костей, от мнимых чудес, которыми морочат нас фокусники.

Менедем. Истинная правда.

Огигий. Некоторые люди, которых в легкомыслии никак не заподозришь, утверждают, что если такой самоцвет опустить в уксус, жаба начинает шевелить лапками и пускается вплавь.

Менедем. Но почему святой Деве подносят жабу?

Огигий. Потому что она одолела, растоптала, истребила всякую нечистоту, язвительность, гордыню, алчность и все прочие земные страсти до последней.

Менедем. Увы! Сколько мерзких жаб носим мы в своей груди!

Огигий. Мы очистимся, если будем усердно чтить Деву.

Менедем. Какое почитание ей угодно?

Огигий. Ты угодил бы Деве всего больше, если бы научился ей подражать.

Менедем. Так-то оно так. Но это очень трудно.

Огигий. Конечно. Но зато и всего прекраснее.

Менедем. Но ты продолжай — рассказывай дальше.

Огигий. Потом он показывает нам золотые и серебряные статуи. «Вот, говорит, чистое золото, а вот позолоченное серебро». И всякий раз называет вес, цену и дарителя. Я не переставал изумляться и все радовался блаженному богатству Девы, и мистагог сказал: «Ты, я вижу, поистине благочестивый посетитель, и от тебя не нужно скрывать ничего. Ты узришь самые сокровенные тайны Девы!» И с этими словами снимает с алтаря дивный убор. Если бы я стал описывать его подробно, часть за частью, нынешнего дня не хватило бы. Так это паломничество завершилось для меня на редкость удачно. Я насмотрелся досыта и вдобавок везу с собою бесценный дар, полученный от самой Девы в знак благоволения.

Менедем. А ты еще не испытывал, какая сила в твоей частице древа?

Огигий. Испытывал. Три дня назад на постоялом дворе повстречал я буйно помешанного; ему уже готовили цепи, и тут мы, втайне от него, подсунули ему под

---

<sup>368</sup> Почти все названия камней, приведенные далее, греческие и произведены от тех предметов, которые камень напоминает. Эти сведения по минералогии заимствованы Эразмом у Плиния Старшего («Естественная история», XXXVII, XI, 72—73).

изголовье мою шепку. Он уснул глубоким и долгим сном и наутро поднялся в здравом уме.

Менедем. Не помешательство это было, а верней всего похмелье. От такого недуга сон всегда хорошо помогает.

Огигий. Если ты расположен шутить, Менедем, поищи, будь добр, иного предмета для своих шуток. Смеяться над святыми и нечестиво и небезопасно. А тот человек сам говорил, что во сне ему явилась несказанной красоты жена и протянула чашу.

Менедем. С чемерицею, я полагаю.

Огигий. Этого я не знаю. А вот что разум к нему вернулся, знаю наверное.

Менедем. К Фоме, архиепископу Кентерберийскому<sup>369</sup>, вы не заезжали?

Огигий. Что ты, как можно! Святое нет паломничества!

Менедем. Очень бы мне хотелось послушать, если тебе не в тягость.

Огигий. Наоборот: ты сделаешь мне одолжение, если меня выслушаешь. Кентом зовется та часть Англии, что обращена к Франции и Фландрии. Главный город се — Кентербери. В городе два монастыря, почти что рядом, и владеют обоими бенедиктинцы. Тот, что носит имя блаженного Августина, по-видимому, древнее; тот, что ныне зовется именем святого Фомы, был, по-видимому, резиденцией архиепископа, обитавшего там вместе с немногими избранными монахами, — так же как и теперь епископы занимают жилище по соседству с церковью, но отдельно от остальных каноников. (В прошлом и епископы и каноники бывали, как правило, монахи; тому имеются совершенно ясные свидетельства.) Храм святого Фомы вознесся к небесам с таким величием, что внушает благоговение даже взирающим издали. Своим блеском он затмевает светоч соседа и как бы окутывает тенью издавна почитаемое место. Две исполинские башни издали приветствуют пришельца и оглашают всю округу громовым ревом медных своих, языков. В преддверии храма, что обращено к югу, стоят высеченные из камня трое вооруженных: это они нечистыми руками умертвили святейшего мужа. Обозначены и родовые их имена: Туски, Фуски, Берри<sup>370</sup>.

Менедем. Почему нечестивцам такой почет?

Огигий. Им тот же почет, что Иуде, Пилату, Каиафе, когорте преступных солдат, которых ты видишь искусно вырезанными на позлащенных алтарях. Имена обозначены для того, чтобы никто на будущие времена не вспоминал их с похвалою. Они у всех перед глазами, чтобы на будущие времена ни один придворный не посмел поднять руку ни на епископа, ни на владения Церкви, ибо, совершив злодеяние, все трое впали в безумие, и рассудок возвратился к ним не прежде, чем взмолились о помощи к трижды святому Фоме.

Менедем. О, неиссякаемое милосердие мучеников!

Огигий. Как войдешь, глазу открывается величественный простор здания. В этой части храма может побывать каждый.

Менедем. А достопримечательного ничего нет?

Огигий. Ничего, кроме самой громады строения, нескольких книг, прикованных к колоннам (в их числе «Евангелие от Никодима»<sup>371</sup>), да какой-то гробницы, не знаю чьей.

---

<sup>369</sup> Фома, архиепископ Кентерберийский — святой Фома Бекет (правильнее — из Бекета), глава (примас) английской церкви с 1162 г. Он вступил в борьбу с королем Генрихом II, отстаивая привилегии церкви и духовенства, которые король решил урезать. В 1170 г. он был убит в Кентерберийском соборе во время богослужения. Убийцы были убеждены, что исполняют волю короля, но сам Генрих упорно это отрицал и принял тяжкое покаяние во искупление совершившегося злодеяния, считая себя невольным его виновником.

<sup>370</sup> В действительности имена убийц Фомы Кентерберийского — Де Трэси, Фицурс, Ле Бретон и Де Мовилль (последнего Эразм вообще не называет).

<sup>371</sup> ...«Евангелие от Никодима» — одно из многих апокрифических (не включенных церковью в канон Нового завета) евангелий. Значительная часть этого Евангелия представляет собою рассказ о нисхождении Христа в ад и о его прорицаниях среди душ усопших. «Евангелие от Никодима» пользовалось громадной популярностью и оказало большое влияние на искусство и литературу средних веков. Никодим —

Менедем. Дальше.

Огигий. Железные решетки преграждают доступ, но не препятствуют видеть пространство меж дальним концом здания и так называемым «хором»<sup>372</sup>. К хору ведет подъем из многих ступеней, а под ними — сводчатый проход к северной стороне. Там деревянный алтарь, посвященный Деве Марии, совсем маленький и ничем не примечательный, кроме того, что напоминанием о старине обличает роскошь нашего века. Говорят, что на этом месте Фома сказал последнее «прости» Богородице, когда почувствовал близость смерти. На алтаре покоится острие меча, которым убийца снес достойнейшему епископу полголовы и вышиб из черепа мозг, для того, чтобы ускорить кончину. Из любви к мученику мы благоговейно облобызали священную ржавчину на этом клинке.

Оттуда спускаемся в склеп; там свои мистагоги. Прежде всего, нам показывают продырявленный череп мученика; он весь забран в серебро, и только маковка открыта для целования; и еще видна свинцовая пластинка с надписью: «Фома из Акры». Там же висят в потемках власяница, волосяной пояс и нижние штаны, которыми славный предстоятель смирял свою плоть; вид их внушает ужас, а нам служит жестоким укором в изнеженности и роскошестве.

Менедем. Я полагаю, что и монахам — тоже. Огигий. Об этом я судить не берусь, да меня это и не касается.

Менедем. Что же, ты прав.

Огигий. Из склепа возвращаемся к хору. В северной его стороне нам показали то, что обычно скрыто от и нор. Ты не поверишь, сколько вынесли костей, черепов, подбородков, зубов, кистей, пальцев, целых рук, и каждой реликвии мы воздавали почести поклоном и лобызанием. Этому не было бы конца, если бы один из тогдашних моих спутников, человек не слишком обходительный, не остудил рвения мистагога.

Менедем. Какой спутник?

Огигий. Англичанин по имени Грациан Пулл<sup>373</sup>. Он был и образован и благочестив, но к этой стороне религии слишком, на мой взгляд, равнодушен.

Менедем. Наверно, виклифист какой-нибудь<sup>374</sup>.

Огигий. Не думаю. Хотя книги Виклифа он каким-то образом раздобыл и прочел.

Менедем. Он что, обидел мистагога?

Огигий. Нам вынесли руку еще с кровавым мясом на костях. Англичанин не решился ее поцеловать и не смог скрыть своего отвращения. Мистагог немедля убрал святые останки. Потом мы осмотрели алтарный образ и украшения алтаря, а потом то, что было скрыто под алтарем.

Доведись тебе взглянуть на эти богатства, на эти груды серебра и золота, ты бы сказал, что Мидас и Крез были нищие<sup>375</sup>.

---

высокопоставленный фарисей, уверовавший в Иисуса и тайно беседовавший с ним однажды ночью («Евангелие от Иоанна», III, 1—21).

<sup>372</sup> Хор — часть католического храма, отведенная для духовенства и для певчих, обычно приподнятая над полом храма (ее не следует отождествлять или путать с хорами в православных храмах).

<sup>373</sup> Под этим именем выведен Джон Колет (см. прим. к «Мальчишескому благочестию»).

<sup>374</sup> Джон Виклиф (1324—1387) — английский предшественник Реформации. Книги Виклифа были признаны еретическими; останки его были вырыты из земли и сожжены через сорок лет после его смерти.

<sup>375</sup> Мидас — легендарный царь Фригии (область в Малой Азии). Все, к чему бы он ни прикоснулся, обращалось в золото. Это волшебное свойство, дарованное ему Дионисом по его просьбе, довело бы Мидаса до голодной смерти, если бы тот же бог не сжалился над ним и не дал ему избавления. Крез (VI в. до н. э.) — последний владыка Лидийского царства в Малой Азии, обладавший несметными богатствами.

Менедем. Тут ничего не лобызали?

Огигий. Нет, но другого рода желание закралось в душу.

Менедем. Какое?

Огигий. Я вздохнул оттого, что в моем доме нет и следа подобных реликвий.

Менедем. Святотатственное желание.

Огигий. Не спорю. И я тут же, не выходя из храма, смиренно молил святого об прощении. Потом нас повели в ризницу. Боже правый, сколько там шелковых облачений! Какая бездна золотых подсвечников! Там же мы видели епископский посох святого Фомы. Это обыкновенная трость, забранная в серебро, очень легкая, ничем не украшенная, высотой до пояса, не выше.

Менедем. И даже без креста?

Огигий. Я не видал. Показали нам паллий, шелковый правда, но грубого тканья и без золота, без дорогих камней. Еще был платок, хранящий следы пота, отертого с шеи, и явные следы крови. Мы охотно облобызали эти памятники старинной простоты.

Менедем. Это ведь показывают не всем подряд?

Огигий. Конечно, нет, мой дорогой.

Менедем. Откуда ж к тебе такое доверие, что все тайники пооткрывались?

Огигий. А я немного знаком с достопочтенным отцом Уильямом Уорхэмом<sup>376</sup>, архиепископом, и он дал мне короткое рекомендательное письмо.

Менедем. Я от многих слышал, что это человек редкостной доброты.

Огигий. Ты бы сказал, что это самоё доброта, если бы его узнал. Такая в нем ученость, такая чистота нравов, такое благочестие, что, право же, ни единым из даров совершенного предстоятеля церкви он не обделен... После этого нас ведут наверх. За главным алтарем словно бы сизнова вступаешь еще в один храм. В часовне выставлен изваянный образ святого, позолоченный, расцвеченный множеством дорогих камней. Тут случилось неожиданное происшествие, чуть было не разрушившее все это благолепие.

Менедем. Любопытно, что там такое приключилось.

Огигий. Мой спутник Грациан сделал шаг до крайности неловкий и неграциозный. После краткой молитвы он спросил у мистагога, караулившего часовню: «Послушай, отец мой, верно ли гласит молва, будто Фома всю жизнь был на редкость ласков и щедр к беднякам?» Тот отвечает, что да, верно, и принимается вспоминать многочисленные благодеяния, которыми святой осыпал неимущих. «Не думаю, — продолжал Грациан, — что это чувство в нем переменялось, разве что стало еще сильнее». Мистагог опять подтвердил. Тут Грациан: «Если святейший муж отличался таким милосердием еще тогда, когда был беден и сам, когда и самому не из чего было покрыть и утолить неотложные нужды, неужели теперь, когда он так богат и ни в чем не знает нужды, он не закроет глаза на то, что какая-нибудь бедная женщина, у которой в доме голодные дети, или девицы на выданье, но без приданого, а потому рискующие своим целомудрием, или больной супруг, лишенный всяких средств к существованию, — что эта бедная женщина, повторяю я, заранее попросив прощения, отнимет малую толику от великих его сокровищ, беря, словно бы с его согласия, в дар или в долг, чтобы помочь семье?» На это караульщик золотого лика не ответил ничего. Л Грациан, человек настойчивый, не унимался: «Святейший муж был бы только обрадован, что, даже мертвый, облегчает тяжкую долю бедняков, — нисколько в этом не сомневаюсь!» Тут мистагог нахмурился, губы вытянулись в ниточку, и он поглядел на нас горгоньим взглядом<sup>377</sup>. Он бы, конечно же, выгнал бы нас вон, плюясь и бранясь, если б его не

<sup>376</sup> Уильям Уорхэм (ок. 1460—1532), архиепископ Кентерберийский и один из высших вельмож королевства (лорд — хранитель печати, затем лорд-канцлер), был другом и покровителем Эразма, который посвящал ему свои труды и часто, при всяком удобном случае, писал о нем с благодарностью и восхищением.

<sup>377</sup> Горгоны — три дочери богини Земли, омерзительные и опасные чудовища. Их взгляд обращал все живое в камень (греческ, миф.).

предупредили, что мы приехали с письмом от архиепископа. Я, как мог, утишил его гнев вкрадчивыми речами, заверял, что Грациан просто-напросто шутит по своему обыкновению, и одновременно положил на блюдо несколько драхм.

Менедем. Твое благочестие, я, разумеется, всецело одобряю. Но часто я задаю себе вопрос, как и чем оправдают свою вину люди, которые тратят столько денег на сооружение, украшение и обогащение храмов, что нет этим тратам ни предела, ни меры? Не спорю: в священных облачениях, в храмовых сосудах должно быть свое великолепие, отвечающее торжественности обрядов. Я хочу, чтобы свое величие было и в самом строении. Но к чему столько купелей, столько подсвечников, столько золотых изваяний? К чему бешеные расходы на органы? Впрочем, и органов нам еще не довольно — к чему это блеяние струн, за которое приходится столько платить, меж тем как братья и сестры наши, живые храмы Христовы, чахнут от голода и равнодушия ближних?

Огигий. Всякий благочестивый и разумный человек желал бы, чтобы этому был назначен какой-то предел. Но поскольку подобные безмерные траты рождаются из безмерного же благочестия, они заслуживают снисхождения, особенно когда вспоминаешь о противоположном недуге — о людях, которые грабят церковные богатства. Ведь главным образом это дары властителей и монархов, и в ином случае ушли бы и вовсе без пользы и смысла — на кости, на войны. Отнять от них хоть частицу, во-первых, — все равно что совершить святотатство; а во-вторых, это значит связать руки тем, кто всегда давал прежде, и вдобавок — призвать к грабежу. Выходит, что духовные скорее стражи, чем хозяева своих богатств. И наконец, я предпочитаю видеть храм ломящимся от священной утвари, чем — как в иных случаях — голым, убогим, больше похожим на конюшню, нежели на дом господень.

Менедем. Но ведь в книгах написано, что некогда хвалили тех епископов, которые продавали священные сосуды, а деньги раздавали неимущим.

Огигий. Хвалить-то и поныне хвалят, но и только; а подражать им, по-моему, нельзя, да и охоты ни у кого нет.

Менедем. Однако я прервал твой рассказ. С нетерпением жду развязки.

Огигий. Вот она (я доскажу быстро). Появляется главный мистагог.

Менедем. Кто это? Тамошний аббат?

Огигий. И митра и доход у него, как у аббата, недостает только имени. Именуют же его приором, потому что место аббата занимает архиепископ: в старину глава этой епархии был непременно монахом.

Менедем. По мне — так хоть бы и верблюдом называться, лишь бы доход был такой, как подобает аббату!

Огигий. Сколько я могу судить, он и благочестив, и разумен, и даже в Скотовом богословии искушен. Он показал нам раку, где, как утверждают, покоится тело святого.

Менедем. И ты видел кости?

Огигий. Это и недозволено, и потом невозможно, если не приставить лестницу. Золотую раку покрывает рака из дерева; ее подняли на веревках, и открылось бесценное сокровище.

Менедем. Что ты говоришь!

Огигий. Самую ничтожную его долю составляет золото: все сверкало, блестело, играло редкостными и поразительно крупными самоцветами, иные крупнее змеинового яйца. Вокруг в благоговейном ожидании стояли несколько монахов; когда подняли деревянный покров, все мы простерлись ниц. Приор белой указкою прикасался к каждому камню и говорил нам французское его название, цену и кто сделал дарение, потому что самые лучшие были присланы в дар монархами.

Менедем. Прекрасная, должно быть, у него память.

Огигий. Да, конечно. Впрочем, и упражнения помогают: он часто показывает раку святого. От раки приор повел нас в склеп. Там жилище пресвятой Девы, правда темноватое и обнесенное двойной железной решеткой.

Менедем. Чего она страшится? Огигий. Я полагаю, ничего и никого, кроме воров: никогда не видывал я такого скопления богатств. Менедем. Мрачные, однако, богатства!

Огигий. Придвинули поближе лампы, свечи — и мы увидели зрелище более чем царственное!

Менедем. Стало быть, она богаче Богородицы Приморской?

Огигий. С виду — намного богаче, а сокровенное ведомо лишь ей самой. Эту божью Матерь не показывают никому, кроме самых знатных господ или же близких друзей. Под конец нас снова приводят в ризницу. Достают ларец, обитый черною кожей. Ставят его на стол. Открывают. Тут же все преклоняют колена. Менедем. И что внутри?

Огигий. Полотняные лоскутья и почти на каждом — следы слизи. Говорят, что этими лоскутьями святой Фома утирал пот с лица и с шеи, сопли под носом и прочую подобную грязь, от которой не свободно ни одно человеческое тело. Тут мой Грациан не оправдал своего имени и в другой раз. Видя перед собою англичанина, человека и известного и влиятельного, доброхотный приор протянул ему один из обрывков, в уверенности, что осчастливит гостя этим подарком. Но Грациан на этот раз выказал себя прямым медведем: не скрывая отвращения, он взял тряпицу кончиками пальцев и брезгливо положил на прежнее место, да еще губы вытянул, словно собираясь свистнуть (такая была у него привычка, если он указывал на что-либо в его глазах низменное и презренное). Мне стало стыдно и, вместе, страшно до ужаса. Но приор, человек отнюдь не тупой, сделал вид, будто ничего не заметил: поднес нам по бокалу вина и учтиво с нами распрощался. На обратном пути в Лондон...

Менедем. Зачем снова в Лондон? Тебе ведь надо было к морю, а морской берег был совсем рядом.

Огигий. Верно, но я с истинным удовольствием бежал подальше от того берега, прославившего себя надувательствами и грабежом еще печальнее, чем любые скалы Малей — кораблекрушениями. Сейчас расскажу тебе, что я видел, когда в последний раз переправлялся через Пролив. Мы вышли из Кале на баркасе, чтобы пересечь на большее судно. Пассажиров было много, и среди них — один молодой француз, бедный, оборванный. Требуют с него полдрахмы — такую плату взимают с каждого за перевоз, который оканчивается, едва успев начаться. Тот просит извинения, ссылаясь на бедность. Тогда перевозчики, шутки ради, обыскивают его, срывают с ног башмаки и между подметкой и стелькою находят десять, не то двенадцать драхм. Деньги в открытую отнимают, осыпая «проклятого француза» насмешками и бранью.

Менедем. А что этот юноша?

Огигий. Плакал. Что ж еще?

Менедем. У перевозчиков было на то право?

Огигий. Такое ж самое, как право воровать у пассажиров дорожные пожитки или кошельки, если что плохо лежит.

Менедем. Удивительно, как они осмеливаются на столь наглое самоуправство в присутствии стольких свидетелей!

Огигий. А у них это вошло в обычай; теперь они уж уверены, что так и надо. С корабля на нас смотрели много глаз, на баркасе было несколько английских купцов, которые пробовали вступить, но безуспешно. Перевозчики хвастались, что изловили «проклятого француза», точно комедию какую разыгрывали...

Менедем. Я бы этих морских грабителей, играючи да шутя, вздернул на виселицу.

Огигий. А ведь такими головорезами кишат оба берега. Сообрази сам:

*Как господам поступать, коль воры столь смелыми стали?*

Теперь я решительно предпочитаю любой окольный путь этому прямому. Вдобавок, если в преисподнюю легко сойти, но до крайности трудно выбраться назад, то через Кале и Дувр и приехать не слишком просто, а уехать — так и вовсе тяжело. В Лондоне задержались несколько моряков из Антверпена, и я надумал пуститься в море вместе с ними.

Менедем. Такие они безупречные люди, эти антверпенские матросы?

Оигий. Как тебе сказать... Обезьяна — всегда обезьяна, и матрос — всегда матрос, но по сравнению с теми грабителями они сущие ангелы.

Менедем. Надо запомнить, на случай если когда-нибудь и мне придет желание повидать этот остров. Вернись, однако, на дорогу, с которой ты меня свел.

Оигий. Ну, так вот, едем мы в Лондон и, не успев еще отъехать как следует от Кентербери, попадаем на дорогу очень узкую и с обеих сторон окаймленную крутыми склонами, так что бежит она словно бы по ущелью, и сойти с нее невозможно; и миновать эту дорогу, выбрав другую, тоже нельзя. У левой обочины стоит богадельня для нескольких старых нищих. Один из них, едва заслышав цокот копыт, спешит навстречу всаднику, кропит его святой водой и протягивает верх башмака, забранный в медную рамку со стекляшкою вместо бриллианта. Всадник лобызает остаток башмака и расплачивается мелкой монеткой.

Менедем. На такой дороге я был бы даже рад повстречаться с престарелыми нищими — лишь бы не с шайкою здоровенных разбойников!

Оигий. Грациан ехал слева от меня, ближе к нищему. Опрыскивание водою он еще кое-как стерпел, но, увидев башмак у себя под носом, осведомился, что это значит. Нищий отвечал, что это, дескать, башмак святого Фомы. Грациан вспыхнул и, обернувшись ко мне, говорит: «О чем они думают, эти скоты, заставляя нас целовать башмаки всех добрых людей? Почему бы заодно не подносить для лобызания и харкотину, и прочие отбросы тела?!» Но я пожалел бедного старика и дал ему монетку в утешение.

Менедем. По-моему, Грациан вспыхнул не без причины. Если бы башмаки и сандалии хранили как доказательства простоты жизни, я бы слова не сказал против, но совать всем подряд для поцелуя старые башмаки, сандалии и штаны — это, мне думается, наглость. Конечно, если кто целует по доброй воле, из особого благочестия, тогда, пожалуйста, сколько угодно.

Оигий. Сказать по правде, лучше бы этого вовсе не было, но если дело касается порядков, которые вдруг не переменишь и не исправишь, я всегда стараюсь извлечь из них хоть Крупицу добра. И вот меня заняла и развлекла мысль, что добрый человек подобен овце, а скверный — какой-нибудь зловредной твари. Дохлая гадюка ужалить не может, но отравляет воздух смрадным гниением. Овца, куда живет, кормит нас своим молоком, одевает шерстью, обогащает щедростью утробы, а мертвая дает шкуру и съедобную целиком тушу. Так вот и спесивые, преданные миру сему люди при жизни всем чинят одни неприятности, а после смерти досаждают ревом колоколов и показною пышностью похорон, а иногда и вступлением в должность своих преемников, иначе говоря — новыми поборами. Напротив, люди достойные приносят пользу всем и всегда. Взять хоть этого святого. Пока он был жив, своим примером, учением и наставлениями он призывал к благочестию, утешал удрученных, помогал неимущим, а от мертвого, пожалуй, и еще больше пользы: он выстроил богатейший храм, доставил духовному сословию такое влияние по всей Англии, какого оно не знало никогда прежде и, наконец, обрывком башмака питает целую богадельню.

Менедем. Благочестивое, бесспорно, размышление... Но удивительно, что с такими чувствами и наклонностями ты еще не побывал в пещере святого Патрика<sup>379</sup>, о которой ходят толки самые невероятные и, по-моему, не слишком правдоподобные.

Оигий. Какие бы они ни были, но на самом деле все еще более невероятно.

Менедем. Значит, ты и туда добрался?

---

<sup>379</sup> Святой Патрик (372 — ок. 466) — «апостол Ирландии». Пещеру, названную его именем, считали входом в ад (или в чистилище); Патрик, гласит, легенда, умолил бога заранее показать нечестивцам те муки, которые их ожидают за гробом, — чтобы они раскаялись и обратились.



Огигий. Да, я переплыл поистине Стигийское болото и прошел Авернскою тесниной<sup>380</sup>. Я видел все, что торится в преисподней.

Менедем. Ты меня осчастливишь, если не поленишься рассказать.

Огигий. Пусть это будет вступлением к будущему нашему разговору. (Согласись, что вступление достаточно пространное.) А теперь я пойду домой и велю собрать на стол: я еще не обедал.

Менедем. Почему? Постышься из благочестия?

Огигий. О, нет! Из ненависти.

Менедем. Ненавидишь собственный желудок?

Огигий. Нет, хищных трактирщиков, которые не желают подавать гостям того, что должно, но не стесняются требовать с них то, чего не должно. Мщу я им обыкновенно так. Если есть надежда сытно поужинать у знакомого или в гостинице получше да почище, за обедом желудку моему худо. А если судьба подарит обед, какой я хочу, желудок начинает страдать к ужину.

Менедем. И не стыдно, Огигий, слыть жадиною, скупцом?

Огигий. Поверь мне, Менедем, кто расходует стыд на такие пустяки, несет пустые траты. Я свой стыд умею сохранять для другого употребления.

Менедем. Я жажду дослушать твою историю, а потому жди меня сегодня к ужину. За столом рассказывать удобнее.

Огигий. Очень тебе благодарен, что ты сам напрашиваешься в гости, между тем как многих никакими просьбами не зазовешь. Но буду благодарен вдвойне, если нынче отужинаешь у себя: это время я употреблю на то, чтобы потолковать со своими домашними. Но я дам тебе совет, более удобный для нас обоих. Пригласи к обеду меня и мою супругу, и тогда я буду рассказывать хоть до ужина, пока сам не объявишь, что сыт по горло, а если захочешь, мы и поужинаем с тобою. Что чешешь в затылке? Ты знай готовь угощение, а мы придем, не сомневайся.

Менедем. Мне больше по нраву некупленные истории. Впрочем, ладно — выставлю тебе обед. Только он будет невкусный, если ты не приправишь его занимательными рассказами.

Огигий. Но послушай-ка, неужели тебя не тянет обойти все эти места самому?

Менедем. Может, и потянет, когда ты договоришь до конца. А в нынешнем моем положении довольно с меня римских караулов, которые надо обойти и поверить самому.

Огигий. Как «римских»? Ты ведь Рима и не видывал-то никогда!

Менедем. Сейчас объясню. Сперва я расхаживаю по дому, заглядываю в комнату к дочерям, чтобы убедиться, ничем ли не запятнали они своего целомудрия. Из дома в мастерскую: гляжу, что делают работники и работницы. Оттуда — в кухню: не нужно ли что напомнить или внушить. Потом — дальше и дальше, наблюдая, что делают дети, что жена, следя, чтобы каждый исполнял свои обязанности. Это и есть мои римские караулы.

Огигий. Ну, об этом мог бы позаботиться и святой Иаков — вместо тебя.

Менедем. Чтобы об этом заботился хозяин дома, учит Святое писание, а чтобы поручать это святым угодникам, — такого предписания я нигде не читал.

**&#921;&#935;&#920;&#933;&#927;&#934;&#913;&#915;&#921;&#913;  
381**

---

<sup>380</sup> Авернское озеро находится недалеко от Неаполя и лежит в кратере потухшего вулкана. Над водою постоянно стояли зловонные испарения, и древние итальянцы верили, что там пролегает один из путей в подземное царство мертвых.

<sup>381</sup> Рыбодество (греч.).



### Мясник. Рыбник

Мясник. Ну, что, снулый ты судак, еще не купил себе веревку?

Рыбник. Веревку, мясник?

Мясник. Да, веревку.

Рыбник. Зачем же это?

Мясник. Затем, чтобы повеситься, вот зачем!

Рыбник. Пусть другие покупают, а мне еще жить не надоело.

Мясник. Скоро надоест!

Рыбник. Против тебя ж самого да обратят боги твои прорицания! Но о чем ты толкуешь?

Мясник. Если не знаешь, скажу: тебе и всем вообще рыбникам грозит прямо-таки сагунтийский, как говорится, голод<sup>382</sup>, и дело непременно дойдет до петли.

Рыбник. Упаси и помилуй! С врагами нашими это пусть приключится! Но с чего вдруг из мясника ты обратился в пифию и предрекаешь великие беды?

Мясник. Это не догадка, — не льсти себя пустой надеждой, — это истинная правда: беда уже на пороге.

Рыбник. Если что узнал — открой, не томи!

Мясник. Открою — тебе на горькое горе. В римском сенате вышло распоряжение, чтобы вперед каждый ел что и когда вздумается. Что же остается тебе и твоему сословию, как не подыхать с голоду на бочках с гнилыми соленьями?

Рыбник. По мне — пусть едят хоть улиток, хоть крапиву, кто захочет. Но неужели вышло запрещение есть рыбу?

Мясник. Нет, но всякий, кому заблагорассудится, может питаться мясом.

Рыбник. Если ты лжешь, то скорее моего заслуживаешь петли, а если нет, то не мне, а тебе надо запастись веревкою, потому что я вперед могу рассчитывать на прибыли, щедрее прежних.

Мясник. Еще бы — будешь сыт по горло, но только чем? Пустотою в брюхе! А желаешь услышать речи более приятные — выразимся так: вперед будешь жить namного

<sup>382</sup> Восьмимесячная осада города Сагунта в Испании войсками карфагенского полководца Ганнибала (219 г. до н. э.) сопровождалась жесточайшим голодом у осажденных

чище и уже не станешь, как бывало, утирать локтем сопливый и прыщавый нос<sup>383</sup>.

Рыбник. Ну, дальше уже некуда! Слепой поносит кривого! Как будто у мясников есть что-нибудь опрятнее той части тела, которая, как говорится, надо всяким мытьем верх берет<sup>384</sup>!... Эх, если б то, что ты объявляешь, было верно! Но боюсь, ты радуешь меня пустыми посулами.

Мясник. Они даже слишком верны. Но почему ты сулишь себе доход больше прежнего?

Рыбник. Я вижу, к чему склонна человеческая природа: все жаждут как раз того, что запрещено.

Мясник. И что же дальше?

Рыбник. А дальше очень многие не станут есть мяса, раз это будет дозволено, и ни одно доброе застолье не обойдется без рыбы — как было в обычае у древних. Вот почему я радуюсь разрешению есть мясо. Если бы еще вдобавок запретили питаться рыбою — люди бы так и бросались на мой товар!

Мясник. Клянусь, отличное пожелание!

Рыбник. Да, я бы и в самом деле этого хотел, если бы на твой лад не думал ни о чем, кроме денег да наживы. Любовь к деньгам сведет твою грубую и плотоядную душу в кромешный ад.

Мясник. Странно: ты весь просолился с ног до головы, а в речах ни крупинки соли.

Рыбник. Что ж побудило римлян смягчить мясной закон, соблюдавшийся столько столетий?

Мясник. Что ж иное, как не опыт? Они уже давно убедились, что рыбники — чума для государства, что они заражают землю, реки, воздух, огонь и все прочие элементы, ежели таковые существуют, что они портят здоровье людей, ибо рыбоедство наливает тело гнилыми влагами, а от них — и лихорадка, и чахотка, и подагра, и падучая, и проказа, словом — все хвори без изъятия!

Рыбник. А скажи-ка мне, Гиппократ ты этакий, почему в правильно устроенных городах запрещается забивать быков и свиней внутри городских стен? И еще лучше позаботились бы власти о здоровье граждан, если бы и овец резать не разрешали. Почему мясникам отводят для жительства особое место? Потому, конечно, что, живи они где попало, — так и весь город погубили бы! Есть ли запах вреднее и губительнее, чем зловоние гниющей крови?

Мясник. Против смрада тухлой рыбы это еще индийские благовония!

Рыбник. Ну, разумеется, — для тебя! Однако ж иного мнения держатся власти, которые гонят вас из города. И потом, как сладко пахнут ваши лавки, свидетельствуют прохожие, которые, поравнявшись с мясною, всякий раз зажимают носы; свидетельствует и общее мнение, что лучше десять сводников по соседству, чем один мясник.

Мясник. А вам, чтобы отмыть ваше соленое гнилье, ни озер, ни рек не хватает. Вот уж поистине все равно что эфиопа добела отмывать. От рыбы всегда разит рыбой, хоть ты душистою мазью ее обмажь. Да и что удивительного, если такой дух идет от мертвой рыбы, когда она и живая воняет, только что выловленная! У нас солонина сохраняется много лет и не только что не смердит, но еще и какой-то аромат приобретает. Да просто посыпь мясо солью — оно долго не провоняет; а если прокоптишь или высушишь на ветру — так и вовсе никогда. Но попробуй применить все это к рыбе — она по-прежнему будет пахнуть рыбою. Отсюда ты должен заключить, что с рыбьим зловонием никакое другое не сравнится. Рыба

---

<sup>383</sup> Эта насмешка над рыбниками принадлежит еще Цицерону и (как утверждает Эразм в «Адагиях») вошла в пословицу.

<sup>384</sup> Намек на поговорку: «Задница побеждает мытье». В «Адагиях» Эразм объясняет эту поговорку так: «Эта часть тела, сколько ее ни мой, все равно снова сама себя пачкает».

даже соль — и ту гноит, хотя соль самую природою предназначена служить средством против гниения: благодаря естественной способности замыкать и стягивать, она преграждает доступ вредным влияниям извне, а изнутри осушает влаги, в которых могло бы зародиться гниение. Только в рыбе соль теряет свою силу. Может, какой-нибудь неженка и зажмет нос, проходя мимо мясной лавки, но что ни один смельчак не осмелится сесть в лодку, груженную вашим добром, это уж точно! А если путнику повстречаются на дороге возы с соленою рыбой, боже мой, как он бежит со всех ног! как затыкает нос! как отплеивается! как отхаркивается! И если б только было возможно доставлять в город рыбу свежего засола — как мы доставляем свежую говядину, — уж конечно, закон не дремал бы, да ведь что поделаешь с товаром, который и едят-то протухшим? Но и за всем тем сколько раз на наших глазах рыночные приставы швыряли вашу тухлятину в реку, а вас облагали штрафом! Оно бы случилось и еще чаще, когда бы вы их не подкупали и они не пеклись бы о своей выгоде больше, чем об общем здравии. Это не единственный вред, который вы причиняете государству: между вами заключен сговор, чтобы ниоткуда не привозить рыбу свежее той, какую привозят сейчас.

Рыбник. Как будто мы никогда не видавали мясника, оштрафованного за то, что продавал негодную свинину или свиные языки с явными пятнами проказы, а то и овцу, захлебнувшуюся в воде или в грязи, либо же вымыл и облил свежую кровью тушу, которую уже изъели черви!

Мясник. Но от нас никогда не бывало таких бед, какая недавно произошла от вас: один-единственный угорь, запеченный в тесте, отравил насмерть целое застолье — девятерых. Вот какими яствами украшаете вы столы ваших земляков?

Рыбник. Ты рассказываешь о несчастном случае, а случая никому не избежать, от судьбы не уйти. Зато вы чуть не каждый день продаете откормленных кошек вместо кроликов, а вместо зайцев продавали бы собак, если бы не короткие собачьи уши да не косматые лапы! И не напомнить ли тебе про пироги с человечиной?

Мясник. Ты мне делаешь те же упреки, какие не желаешь выслушивать от меня, — ставишь мне в укор несчастный случай и человеческую испорченность. Виновные пусть и держат ответ за свои провинности, а я различаю меж доходом и доходом. Впрочем, заслуживают наказания и зеленщики, которые иногда, сами того не ведая, вместо капусты продают цикуту или волчий корень, и аптекари, которые иногда вместо лекарства предлагают больному яд. Самое безупречное занятие не свободно от этих печальных случайностей. Но вы, если даже соблюдаете все правила неукоснительно, все равно торгуете ядом. Если б вы с остальным уловом продали ската, или водяную змею, или морского зайца, это было бы не преступление, а несчастный случай, и винить вас можно было бы не больше, чем врача, который иной раз и убивает больного. Если бы вы сбывали с рук вашу гниль только зимою, это бы еще полбеды: холод как-то смирял бы заразу. Но вы и летом подбрасываете дрова в огонь, и осень, опасную самоё по себе, делаете еще опаснее. А когда год обновится и скрытые влаги вновь устремятся наружу, не без угрозы для здоровья, тогда вы целых два месяца властвуете безраздельно<sup>385</sup> и отравляете детство года, торопя и призывая старость. И когда природа помышляет о том, чтобы тела, очистившись от вредных соков, набрались новых и помолодели, вы вливаете нам в жилы гниль и гной. И если в теле уже есть недуг, вы его утяжеляете, к прежнему злу прибавляя еще одно, а вдобавок портите добрые соки тела. Впрочем, и это бы еще полбеды — если бы портили только тела; но такой выбор пищи пагубно отзывался на орудиях души, а стало быть, портится и сама душа. Какова рыба, таковы и рыбоеды — бледные, вонючие, тупые, немые.

Рыбник. О, новоявленный Фалес<sup>386</sup>! Сколько ж в таком случае ума у тех, кто питается

---

<sup>385</sup> Речь идет о Великом посте.

<sup>386</sup> Здесь имя древнейшего греческого философа и естествоиспытателя Фалеса Милетского (VII—VI вв. до н. э.) употреблено как синоним слова «мудрец». Фалес входил в число полулегендарных «семи греческих

свеклою? Ровно столько же, сколько у самой свеклы? А у тех, кто усердно поглощает говядину, баранину, козлятину? Молоденьких козлят вы продаете за тонкое лакомство, а между тем Мяслик. Но ведь сразу после сотворения человека мы читаем: «Владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле»<sup>387</sup>. А какое же это владычество, если в пищу употреблять нельзя?

Рыбник. О, жестокий хозяин! А слуг и служанок, детей, супругу ты сожрать не хочешь? И почему бы не употребить в пищу свой ночной горшок — ведь и над ним ты владыка!

Мясник. Послушай и ты, что тебе говорят, рыбы твои мозги! Все прочее мне служит, и слово «владычество» — не пустой звук. Конь везет всадника, верблюд тащит поклажу, а от рыб какой прок, если их не жарить и не варить?

Рыбник. А бесчисленные лекарства, которые из них готовят? А множество рыб, для того только и созданных, чтобы усладить взор человека и внушать восхищение Творцом? Ты, может быть, не веришь, что дельфины возят людей на своей спине? И, наконец, есть рыбы, которые заранее предсказывают бурю, например — морской еж. Разве тебе не хотелось бы иметь такого слугу у себя в доме?

Мясник. Хорошо, допустим, что до потопа не было в употреблении иной пищи, кроме плодов земли, — и что же? Не бог вещь какая заслуга — воздерживаться от того, в чем тело не испытывает нужды и что, само по себе отмечено печатью жестокости. Ты не станешь спорить, что употребление в пищу живых существ было разрешено впервые ради человеческой немощи. Потоп привел за собою холод, а мы и теперь видим, что уроженцы холодных областей едят больше, чем жители теплых стран. Вдобавок волны потопа погубили или хотя бы испортили урожай.

Рыбник. Пусть будет так.

Мясник. И, однако ж, после потопа жили по двести лет и больше.

Рыбник. Верю.

Мясник. Почему же крепышам и здоровякам бог позволял есть все подряд, а после тем, кто против них и слабосилен и недолговечен, велел довольствоваться лишь некоторыми родами животных, — как предписано в Моисеевом законе?

Рыбник. Не мне, конечно, давать отчет в том, поступает бог. Но я думаю, бог тогда сделал то же, что обычно делают хозяева, желая умерить свою снисходительность к слугам, если видят, что те злоупотребляют их добротой. Так и непомерно ретивому коню мы не засыпаем ни бобов, ни овса и даже сена задаем поменьше; мы смиряем его строгими удилами и ударами шпор. Наступило время, когда род человеческий забыл всякую почтительность и дошел до такого своеволия, точно бога и вообще-то нет! Тогда и были изобретены решетки закона, изгороди обрядов, удила угроз и заповедей, чтобы люди хоть как-то образумились.

Мясник. Почему ж они и до сего дня не сохранились, изгороди этого закона?

Рыбник. Потому что суровое рабство по плоти уничтожилось, — после того как через Евангелие мы стали сынами божьими. Власть заповедей иссякает там, где начинается обилие благодати.

Мясник. Если бог называет свой завет вечным, если Христос говорит, что пришел не разрушить Закон, но исполнить его, как смеют те, что явились позже, отменять добрую часть Закона?

Рыбник. Язычникам этот закон не был писан, и потому апостолы порешили не отягощать их бременем обрезания, дабы надежду на спасение они полагали в доверии и любви к богу, а не — как и поныне иудеи — в телесном послушании.

Мясник. Язычников оставим в покое. Но где в Писании недвусмысленно объявлено, что иудеи, принявши евангельскую веру, освобождаются от рабства Моисеева закона?

Рыбник. Да ведь об этом говорили пророки, когда обещали новый завет и сердце новое,

---

мудрецов».

<sup>387</sup> «Бытие», 1,28.

когда изображали, как мерзки богу праздники иудеев, как он гнушается их жертвами, ненавидит посты, отвергает дары, как жаждет народа, обрезанного в сердце. Их обещания подтвердил сам господь, когда, предлагая ученикам свое тело и кровь, сказал: «Се есть новый завет»<sup>388</sup>. Если в старом ничто не отменяется, зачем этот назван «новым»? Иудейский выбор пищи господь осудил не только собственным примером, но и на словах, когда объявил, что не способна осквернить человека пища, которая входит в желудок, а после извергается вон. То же внушал он Петру через чудесное видение<sup>389</sup>, то же внушает и сам Петр, когда вместе с Павлом и остальными апостолами питается общей для всех пищей, которую воспрещает Закон. О том же говорит Павел во всех своих посланиях, и нет сомнения, что обычай, которому ныне следует христианский люд, пришел к нам прямо от апостолов.

Получается, что иудеи не столько были отпущены на волю, сколько отторжены от предрассудков Закона, словно бы отняты от груди, и родной и привычной, но уже более не нужной. Закон не отменен, но той его части, которая сделалась бесполезной, велено удалиться. Листва и цветы сулят появление плодов, но когда ветви отягощены плодами, никто и не вспоминает о цветах. И когда сын вырастает, мужает, ни один отец не оплакивает его минувшего без возврата детства. И никто не ищет фонарей или факелов, когда над землею поднялось солнце. И не на что жаловаться педагогу, если воспитанник становится взрослым, освобождается из-под его власти и, в свою очередь, подчиняет своей власти старого дядьку. Залог перестает быть залогом, когда обещание исполнено. Невеста, пока ее не соединят с женихом, утешается письмами, которые он посылает, целует его подарки, ласкает портреты. Но когда, наконец, является жених собственной персоной, она, из любви к нему, забывает о том, что так горячо любила прежде. Иудеи поначалу никак не соглашались расстаться со своими привычками, — все равно как если бы ребенок, привыкнув к грудному молоку, требовал материнской груди и отказывался от твердой пищи, даже когда вырастет. Чуть не силою пришлось их отрывать от этих призраков, или теней, или временных утешений, чтобы они уже целиком обратились к Тому, кого обещал и смутно очерчивал Закон.

Мясник. Кто бы мог ожидать от рыбника такого потока богословия!

Рыбник. А я поставляю рыбу здешнему доминиканскому монастырю, и монахи часто завтракают у меня, а иной раз — и я у них. Вот я и набрался кое-чего, слушая их споры.

Мясник. Право, ты стоишь того, чтобы торговать не соленой рыбою, а свежей. Но ответь-ка мне на такой вопрос: будь ты иудеем (а может, так оно и есть?) и грози тебе голодная смерть, что бы ты предпочел — покушать свинины или помереть с голоду?

Рыбник. Как бы я поступил, я знаю точно, но как бы следовало поступить, — еще не знаю.

Мясник. Бог запретил и то и другое. Сказано: не убивай и не ешь свинины. В таких обстоятельствах который из двух запретов должен уступить другому?

Рыбник. Во-первых, неясно, с каким намерением запретил бог вкушать свиное мясо и следует ли человеку скорее умереть, чем спасти свою жизнь этою пищей. Ведь бог сам извиняет Давида, который, вопреки Закону, съел священные хлебы<sup>390</sup>. И в Вавилонском

---

<sup>388</sup> Ср. «Евангелие от Матфея», XXVI, 26—28.

<sup>389</sup> В новозаветной книге «Деяния святых апостолов» (X, 10—16) рассказывается о видении, которое было апостолу Петру в городе Иоппии (Яффе). С неба спустилось «как бы большое полотно, привязанное за четыре угла... в нем находились всякие... звери, пресмыкающиеся и птицы». А Петр был голоден, и вот раздался голос; «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что бог очистил, того не почитай нечистым».

<sup>390</sup> В молодые годы Давид, будущий царь Израиля, спасаясь от преследований царя Саула, бежал из царского дома; он явился к священнику Ахимелеху и просил хлеба, но у того были лишь священные «хлебы предложения», которые клали в святилище «в жертву господу» и каждую неделю меняли, с тем, чтобы

изгнании<sup>391</sup> иудеи не соблюдали многое из того, что предписывал Закон. Словом сказать, я считаю, что закон, который установлен самою природою и по этой причине вечен и нерушим, должен иметь преимущество перед законом, который и существовал не всегда, и с течением времени должен был исчезнуть.

Мясник. Но почему тогда восхваляют братьев Маккавеев<sup>392</sup>, которые согласились умереть в жестоких мучениях, лишь бы не вкусить свиного мяса?

Рыбник. Потому, я думаю, что, подчиняясь этому приказу царя, человек отрекался от всего отеческого закона целиком, точно так же, как обрезание, которое иудеи пытались навязать язычникам, предполагало исповедание всего Закона, и не иначе, как задаток обязывает к совершению всей сделки в целом.

Мясник. Но если более грубая часть Закона была по справедливости отменена, когда просиял евангельский свет, на каком основании ныне вновь вызывают к жизни те же порядки — или даже обременительнее прежних?! Ведь свое иго господь зовет сладостным, а Петр в «Деяниях» иудейский Закон называет суровым, так что ни иудеи, ни их отцы нести его были не в силах. Обрезание отменено, но его заменило крещение — на условиях, я бы сказал, еще более суровых. Обрезание назначалось на восьмой день, и если тем временем несчастный случай уносил младенца, намерение исполнить обряд засчитывалось за обрезание. А мы новорожденного, едва вышедшего из материнской утробы, с головой окунаем в воду, холодную и уже давно застоявшуюся (чтобы не сказать «загнившую») в каменной купели; и ежели он погибнет в первый же день или в самых вратах рождения, безо всякой вины родителей или друзей, уделом несчастному будет вечное проклятие.

Рыбник. Говорят, что так.

Мясник. Суббота отменена. Нет, не отменена, а перенесена на воскресный день. Что за разница? Моисеев закон назначил всего несколько постных дней — сколько новых мы к ним прибавили? В выборе пищи насколько иудеи свободнее нас: ведь им-то хоть круглый год можно было есть и овец, и каплунов, и куропаток, и козлят! Им не запрещался никакой род одежды; только одно нельзя — смешивать шерсть со льном. Теперь, помимо такого множества предписаний и запрещений касательно покроя и цвета одежды, существует тонзура, и к тому ж — далеко не единообразная. Я уж не стану вспоминать о тяготах исповеди, о бремени человеческих установлений, о всевозможных десятинах, о тесных и тяжелых, как никогда, оковах брака, о новых законах насчет родства и свойства и о многом ином, заставляющем думать, что с этой стороны положение иудеев было намного удобнее нашего.

Рыбник. Ты заблуждаешься от начала до конца, мясник! Не тою мерою, что ты воображаешь, мерят иго Христово. У христианина больше обязательств, и они труднее, и наказание его ожидает более тяжкое. Но к этому присоединяется обильная, как никогда прежде, сила веры и любви — она и сообщает сладость тому, что от природы горше горького.

Мясник. Но если некогда Дух святой под видом языков пламени низошел с небес и наполнил души верующих обильнейшими дарами веры и любви, почему бремя Закона было

---

зачерствевший хлеб шел в пищу только священнику и его сыновьям.

<sup>391</sup> В начале VII в. до н. э. вавилоняне дважды (598 и 586 гг. до н. э.) брали Иерусалим и разоряли Иудею, всякий раз угоняя население в Вавилонию, так что страна почти совсем опустела. Возвращение изгнанников началось в 538 г., после покорения Ново-Вавилонского царства персами.

<sup>392</sup> Речь идет о семи братьях, принявших мученическую смерть во время религиозных гонений в Иудее, находившейся под властью сирийского царя Антиоха IV Епифана (185—164 гг. до н. э.). Рассказ об этом содержится во «Второй Книге Маккавейской», включенной в состав христианской Библии. Со знаменитым жреческим родом Маккавеев, организовавшим восстание евреев против сирийского владычества, Маккавеи-мученики ничего общего не имеют; впрочем, и сам рассказ о них исторически недостаточно достоверен.

с них снято, точно с убогих калек, согнувшихся под непомерным грузом? Почему Петр, даже исполнившись Духа свяга, называет бремя непереносимым?

Рыбник. Оно было снято частично, дабы иудейство не заслонило славы Евангелия, — а к тому уже шло, — и чтобы ненависть к Закону не отдалила от Христа язычников. Между ними было очень много нестойких, которым грозила двойная опасность: во-первых, они могли решить, будто, не соблюдая Закона, никто не достигнет спасения, а во-вторых, могли предпочесть остаться в язычестве, лишь бы не принимать на себя игр Моисеева закона. Слабые их души надо было как бы завлечь приманкою свободы. Далее, чтобы помочь тем, кто не верил, будто возможно спастись одним исповеданием Евангелия, без соблюдения закона, — в помощь им либо вовсе отменили, либо переиначили обрезание, субботний покой, выбор пищи и прочее в этом роде. А если Петр утверждает, что бремя Закона ему не по плечам, это надо относить не к той личности, какую он являл собою в тот миг, когда уже ничто не было для него обременительным, но к простым и бессильным иудеям, которые не без отвращения глодали ячменную корку, еще не вкусив от духовной сердцевины.

Мясник. Слишком просто ты рассуждаешь. А мне представляется, что и сегодня не меньше причин, по которым следует отменить эти чисто плотские правила, как не обязательные, но предоставленные на благоусмотрение каждого.

Рыбник. Не понимаю тебя.

Мясник. Недавно я видел изображение всего земного круга на огромном холсте. И вот, разглядывая это изображение, я понял, какая малая часть мира искренне и чистосердечно исповедует религию Христа. Это запад Европы, северный ее край, затем — далекий юг; что касается восточной четверти, она, по-видимому, заканчивается Польшей.

Все остальное занято варварами, мало чем отличными от скотов, либо схизматиками<sup>393</sup>, либо еретиками, либо теми и другими вперемешку.

Рыбник. Но ты не заметил всех южных земель, всех рассыпанных по морю островов — они тоже помечены знаком креста!

Мясник. Нет, заметил, и знаю, что оттуда везут добычу. Но чтобы туда привезли христианство, я не слыхал. И если жатва так велика, вот что представляется чрезвычайно полезным для распространения христианской религии: как апостолы уничтожили бремя Моисеева закона, дабы не отпугнуть язычников, так и ныне, дабы уловить и слабые души, надо уничтожить некоторые обязательства, без которых мир стоял и раньше, и впредь не погибнет — была бы только вера и евангельская любовь. Далее, я слышу и вижу, что весьма многие суть благочестия полагают в одежде, в пище, в постах, телодвижениях, песнопениях, в выборе места и ближнего судят в согласии с этим и вопреки Евангелию; и меж тем как всё соразмеряется с верою и любовью, и ту и другую душат суеверия. Да, ибо далек от веры евангельской тот, кто доверяет подобным вещам, и далек от христианской любви, кто из-за питья или пищи ожесточает брата своего, ради свободы коего Христос принял смерть. Каких только раздоров не наблюдаем мы между христианами! Каких только злобных клевет не слышим из-за платья, не так опоясанного или не так окрашенного, из-за пищи, которую доставляют нам воды или пастбища! Пусть бы это зло гнездились лишь в немногих сердцах — оно бы не заслуживало ничего, кроме презрения, но мы видим ныне, как целый мир сотрясается в погибельных распрях. Если бы все подобное устранить, и мы, христиане, жили бы в согласии, забыв о пустых церемониях, устремляясь только к тому, чему учил Христос, и прочие народы скорее приняли бы религию, сопряженную со свободой.

Рыбник. Вне Церкви нет спасения.

Мясник. Согласен.

Рыбник. Но вне Церкви находится тот, кто не признает Римского первосвященника!

Мясник. Не спорю.

Рыбник. Но его не признает тот, кто пренебрегает его повелениями.

---

<sup>393</sup> Схизматиками (то есть раскольниками) католики называли православных.



Мясник. Потому как раз я и надеюсь, что нынешний папа, именем Климент, то есть Кроткий, и безмерно более кроткий благочестивым своим сердцем, пожелает еще крепче связать все народы с Церковью и смягчит всё, что до сей поры, по-видимому, отчуждало некоторые народы от Святого престола; надеюсь, что интересы Евангелия он поставит выше собственного права властвовать над каждым христианином. Что ни день, я слышу старые жалобы на аннаты, на отпущения, на диспенсации<sup>394</sup>, на то, что церкви отягощены поборами, но я думаю, Климент все устроит так, что вперед только наглец не отвыкнет жаловаться.

Рыбник. Если бы все монархи последовали его примеру! Загнанное ныне в тесные границы, христианство распространилось бы самым счастливым образом, если бы варварские народы узнали, что не к человеческому рабству их призывают, но к евангельской свободе, что не ограбить их хотят, но привлечь к соучастию в святости и блаженстве — нисколько в этом не сомневаюсь! Если бы они соединились с нами и увидели истинно христианские нравы и правила, они по доброй воле предложили бы нам то, чего у них никакою силою не исторгнешь, и даже более того.

Мясник. Я рассчитываю, что так оно вскорости и будет, если гнусная Ата, которая столкнула в злополучной войне двух самых могущественных государей<sup>395</sup>, отправится &#949;&#962;&#954;&#972;&#961;&#945;&#954;&#945;&#962;&#966.

Рыбник. А я удивляюсь, что этого уже не случилось. Ведь человека мягче, добрее Франциска и представить себе нельзя, а императору Карлу, мне думается, наставники внушили, что чем шире раздвигает судьба границы его державы, тем большее приличествует ему милосердие и доброта. Вдобавок он в тех годах<sup>397</sup>, которые наделены даром кротости, как ни один возраст.

Мясник. Да, каждый из двух безупречен.

Рыбник. Что же препятствует ему исполниться, атому общему желанию целого мира?

Мясник. Правоведы никак не могут согласиться насчет рубежей и пределов. Ты знаешь, что в комедиях все недоразумения всегда кончаются свадьбой. Так же точно завершают государи свои трагедии. Но в комедиях браки заключаются сразу, а между великими мира сего — с великими трудностями. И лучше подождать, пока рана зарубцуеться как следует, чем чтобы вскорости открылась новая язва.

Рыбник. Ты считаешь эти брачные узы надежным залогом единодушия?

Мясник. Если бы так! Но я вижу, что как раз от них-то большая часть войн. А если, когда вспыхнет война, родич спешит на помощь родичу, то пожар разливается особенно широко, и погасить его особенно трудно.

Рыбник. Целиком и полностью с тобою согласен!

Мясник. Но справедливо ли это, на твой взгляд, чтобы из-за распри правоведов, мешающей заключить мирный договор, весь мир терпел столько мук? Ведь теперь ни у кого нет уверенности ни в чем, и покуда нет ни войны, ни мира, всего привольнее негодяям.

Рыбник. Не мне рассуждать о планах и намерениях государей. Но если бы кто сделал

---

<sup>394</sup> Аннаты — налог, который выплачивал папскому престолу в Риме всякий, вновь занявший церковную должность. Обычный размер аннатов — половина доходов от должности за первый год. Отпущения — индульгенции. Диспенсации — папские постановления, изымающие определенное лицо из-под действия определенного закона. В качестве примера можно привести диспенсации, полученные самим Эразмом: разрешение не носить монашеского платья, разрешение есть скоромное в постные дни.

<sup>395</sup> Эразм говорит об императоре Карле V и французском короле Франциске I. Ата — греческое божество раздоров и бедствий.

<sup>396</sup> Букв.: к воронам (греч.); соответствует русскому «ко всем чертям».

<sup>397</sup> В 1526 г. Карлу было 20 лет.

меня императором, я знаю, как бы поступил.

Мясник. Отлично! Делаем тебя императором и к тому же римским папою, если хочешь. Твое решение?

Рыбник. Нет, лучше — императором и французским королем.

Мясник. Пожалуйста, милости просим.

Рыбник. Едва лишь зародилось бы желание прекратить войну, я тут же объявил бы перемирие во всех своих владениях, пригрозивши смертью любому, кто протянет руку хотя бы за чужую курицей. Наведя таким образом порядок, — к моей же или, вернее, ко всеобщей выгоде, — я повел бы переговоры о границах или об условиях брачного союза.

Мясник. А тебе знакомы связи более прочные, нежели брак?

Рыбник. Думаю, что да.

Мясник. Открой, какие.

Рыбник. Будь я императором, я без малейших отлагательств обратился бы к королю Франции с таким предложением: «Брат мой, какой-то злой дух втянул нас в эту войну, и, во всяком случае, бились мы не ради жизни, но ради власти. Ты показал себя храбрым и могучим воителем. Судьба была благосклонна ко мне и из короля обратила тебя в пленника. То, что случилось с тобою, могло бы случиться и со мною; твоя беда напоминает всем нам о непрочности человеческого счастья. Мы убедились, сколь вредно для нас обоих это соперничество. Давай же соперничать на совсем иных началах. Я дарю тебе жизнь, дарю свободу, принимаю тебя в число друзей. Забудем все минувшее зло. Возвращайся к своим подданным без выкупа, без всяких условий, владей своим добром, будь добрым соседом, и впредь будем состязаться лишь в одном: кто из двоих превзойдет другого в верности, услужливости, благожелательстве. Не о том будем спорить, у кого обширнее держава, но кто более свято и беспорочно правит своим государством. В прежней борьбе я приобрел славу удачника; кто победит теперь, тот стяжает славу намного прекраснее. Мне молва о моем милосердии доставит больше истинной славы, чем если бы я присоединил к своей империи всю Францию; тебе слухи о твоей благодарности принесут больше почета, чем если бы ты изгнал меня из Италии. Не завидуй славе, к которой я стремлюсь; а я, в свою очередь, стану так оберегать твою славу, что ты никогда не устыдишься долга благодарности, который свяжет тебя со мною, твоим другом».

Мясник. Конечно, так можно бы склонить к покорности не только Францию, но и весь мир. Если же эту язву не исцелить окончательно, а лишь поверхностно залечить несправедливыми условиями мира, боюсь, как бы вскоре, по любой случайности, рубец не разошелся и старый гной не вырвался наружу. Это будет зло больше прежнего.

Рыбник. Какую громкую, какую завидную славу стяжала бы Карлу повсюду такая человечность! Какой народ не подчинился бы добровольно такому милосердному государю!

Мясник. Императора ты сыграл очень недурно. Теперь сыграй папу.

Рыбник. Перечислять все по порядку было бы слишком долго. Скажу коротко: я действовал бы так, чтобы весь мир воочию увидел пред собою главу Церкви, который не помышляет ни о чем ином, кроме как о славе Христовой и о спасении всех смертных. Это без следа рассеяло бы ненависть к имени папы и принесло римскому первосвященнику славу нерушимую и вечную. Но я, как говорится, свалился с осла — мы совсем потеряли из виду предмет нашего разговора.

Мясник. Сейчас я тебя к нему верну. Ты утверждаешь, стало быть, что постановления пап обязательны для всех членов Церкви?

Рыбник. Да.

Мясник. Под страхом геенны?

Рыбник. Говорят, что так.

Мясник. А епископов тоже?

Рыбник. Думаю, что да. Для каждого — в пределах его епархии.

Мясник. И аббатов тоже?

Рыбник. Не уверен. Аббаты принимают власть на определенных условиях и не могут

стеснять своих подвластных особыми правилами иначе, как с изволения всего ордена.

Мясник. А что, если и епископ принимает свою должность на тех же условиях?

Рыбник. Едва ли.

Мясник. То, что постановил епископ, папа может отменить?

Рыбник. Полагаю, что да.

Мясник. А что решил папа, того отменить никто не вправе?

Рыбник. Никто.

Мясник. Как же тогда мы слышим, что суждения пап объявлялись недействительными — по причине недостаточной осведомленности тех, кто их вынес, и что прежние установления впоследствии отвергались — по несовместности с благочестием?

Рыбник. Это случайные заблуждения. Ведь папа — человек, он не способен знать всё и вся. Но что исходит от вселенского собора, то уже небесное речение, равное евангельским или, по крайней мере, самое к ним близкое.

Мясник. Допустимы ли сомнения насчет Евангелий?

Рыбник. Господь с тобою! Даже насчет соборов, собранных и завершившихся по всем правилам, во Духе святе, и обнародовавших свои деяния<sup>398</sup>, которые затем были приняты христианским миром, — недопустимы!

Мясник. Но что, если иные сомневаются, обладает ли тот или иной собор названными тобою качествами? Сколько мне известно, многие отвергают Базельский собор, не все одобряют Констанцкий<sup>399</sup> (я говорю лишь о тех соборах, за которыми признана правая вера). О последнем Латеранском соборе<sup>400</sup> не стану и упоминать.

Рыбник. Пусть, кто хочет, сомневается на свой страх и риск. Я сомневаться не желаю.

Мясник. Значит, у Петра была власть издавать новые законы?

Рыбник. Да, была.

Мясник. А у Павла с остальными апостолами — тоже?

Рыбник. Каждый обладал властью в своей церкви, которую доверил ему Петр или Христос.

Мясник. А у преемников Петра власть та же, что у самого Петра?

Рыбник. Конечно.

Мясник. Но тогда мы обязаны чтить папские буллы наравне с посланиями Петра и установления епископов — наравне с посланиями Павла.

Рыбник. Я полагаю, что даже больше, если папы и епископы действуют в согласии со своими правами.

Мясник. А дозволено ли сомневаться, что Петр и Павел писали под наитием божественного духа?

Рыбник. Кто в этом сомневается, тот еретик!

Мясник. И так же ты судишь о буллах и установлениях пап и епископов?

Рыбник. О папе — да, о епископах твердого суждения не имею, но одно знаю наверное: благочестие воспрещает дурные подозрения, пока человек не изобличен с полной очевидностью.

Мясник. Почему Дух скорее терпит заблуждения епископов, нежели папы?

Рыбник. Потому что страшнее всего — когда заблуждается голова.

Мясник. Если установления предстоятелей имеют такую силу, чем объяснить, что

---

<sup>398</sup> Решения церковных соборов именуется «деяниями».

<sup>399</sup> Базельский вселенский собор — 1431 г., Констанцкий вселенский собор — 1414—1418 гг.

<sup>400</sup> Эразм имеет в виду Пятый Латеранский вселенский собор (1512—1516 гг.), Латеран — папский дворец в Риме, где происходили заседания собора.

господь во «Второзаконии»<sup>401</sup> так строго грозит всякому, кто прибавит или отнимет от Закона хоть букву?

Рыбник. Ты ничего не прибавляешь к Закону, раскрывая то, что было в нем скрыто, или принимая меры к его соблюдению, и ничего не отнимаешь, делая его доступным для слушателей — одно выдвигая вперед, другое оставляя в тени, в зависимости от обстоятельств.

Мясник. Установления фарисеев и книжников были обязательны?

Рыбник. Не думаю.

Мясник. Почему?

Рыбник. Потому что они имели власть учить, но не издавать законы.

Мясник. Какая власть кажется тебе большей — создавать человеческие законы или толковать божественные?

Рыбник. Создавать человеческие.

Мясник. А по-моему, наоборот. Ведь если тебе принадлежит право толкования, твое суждение обладает весомостью божественного закона.

Рыбник. Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать.

Мясник. Сейчас объясню. Божественный Закон велит помогать родителям. Фарисей толкует: что помещено в храмовую сокровищницу, то дано Отцу, ибо бог — отец всех людей. Разве божественный Закон не отступает перед этим толкованием?

Рыбник. Да, толкование ложное...

Мясник. Ну, хорошо, пусть право толковать Закон передано им, — но откуда я узнаю, чье толкование истинное, если между самими толкователями такие разногласия?

Рыбник. Если общепринятое понимание тебя не удовлетворяет, следуй суждению прелатов — это всего вернее.

Мясник. Значит, авторитет фарисеев и книжников перешел к богословам и проповедникам?

Рыбник. Да.

Мясник. Но никто не твердит: «Внемлите, глаголю вам!» — назойливее и чаще, чем те, кто никогда и не заглядывал в богословские палестры.

Рыбник. Слушай всех с открытым сердцем, но храни трезвость рассудка. Лишь бы не было в их речах прямого умоисступления; если ж будет, надо их освистать всенародно, чтобы они Сами убедились в своем безумии. Впрочем, вот тебе мой совет: кто носит звание доктора, тем и доверяй.

Мясник. Но и среди них мне известны люди намного невежественнее и глупее тех, кто совершенно необразован. А среди самых ученых — удивительно, сколько споров!

Рыбник. Выбери для себя наилучшее, запутанного и темного не касайся, принимай всегда лишь то, что единодушно одобрено и высокими особами, и простым народом.

Мясник. Да, я знаю, что так вернее... Но, стало быть, есть и несправедливые установления, так же, как бывают ложные толкования?

Рыбник. Есть или нет, судить не мне; но я полагаю, что могут быть.

Мясник. Анна и Каиафа<sup>402</sup> имели власть издавать законы?

Рыбник. Имели.

Мясник. И что же — любое их установление было обязательно под страхом геенны?

Рыбник. Не знаю.

Мясник. Представь себе, что Анна постановил бы: никто, вернувшись с рынка, не

---

<sup>401</sup> «Второзаконие» — последняя из книг Пятикнижия Моисеева, основной части Ветхого завета, по-еврейски называющейся «Тора», то есть «учение» или «закон».

<sup>402</sup> По евангелиям, Каиафа — первосвященник, возглавлявший заговор против Иисуса («Это был тот Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за целый народ»); Анна — тесть Каиафы, в прошлом также первосвященник.

должен принимать пищи прежде, нежели не омоет тела. Кто нарушил бы это постановление, совершил бы проступок, заслуживающий геенны огненной?

Рыбник. Не думаю. Разве что проступок был бы отягощен неуважением к общественной власти.

Мясник. Все ли предписания божии обязательны под страхом геенны?

Рыбник. По-моему, нет. Ведь бог воспрещает всякое прегрешение, хотя бы и искупимое, — если верить богословам.

Мясник. Возможно, что искупимые грехи тоже ввергали бы в геенну, если б не милосердие божие, которое приходит на помощь нашему бессилию.

Рыбник. Это не лишено смысла; но настаивать я бы не решился.

Мясник. Во время Вавилонского изгнания очень многое из закона было предано забвению — вплоть до того, что немало израильтян остались необрезанными. Все ли они погибли?

Рыбник. Это знает бог.

Мясник. Если бы иудей, умирая с голоду, поел свиного мяса, было бы это преступлением?

Рыбник. Мне, в меру моего разумения, представляется, что его извиняла бы необходимость: ведь устами божиими оправдан был Давид, когда, вопреки велению Закона, он съел священные хлебы, именуемые хлебами предложения, и даже не один съел, а еще накормил товарищей по бегству, которые никак не были причастны священству.

Мясник. Если бы кто очутился в такой крайности, что либо умирай с голоду, либо укради, — что бы он выбрал? Смерть или кражу?

Рыбник. Пожалуй, что в этом случае кража не была бы кражею.

Мясник. Вот тебе раз! Что я слышу? Яйцо — это не яйцо?

Рыбник. В особенности, ежели б он взял с намерением вернуть или возместить хозяину убыток при первой возможности.

Мясник. А когда бы человеку грозила гибель, если он не принесет лжесвидетельства против ближнего, — что бы следовало ему избрать?

Рыбник. Смерть.

Мясник. А что, если бы можно было избежать смерти ценою прелюбодеяния?

Рыбник. Лучше было бы умереть.

Мясник. Что, если б ценою жизни оказался обыкновенный блуд?

Рыбник. Все равно — лучше умереть. Такое общее мнение.

Мясник. Почему ж в этом случае яйцо не перестает быть яйцом? В особенности, ежели ни насилие не чинится, ни надругательство?

Рыбник. Чинится надругательство над телом девушки.

Мясник. Что, если цена жизни — клятвопреступление?

Рыбник. Должно умереть.

Мясник. Что, если обыкновенная и совершенно безвредная ложь?

Рыбник. Нас учат, что следует предпочесть смерть, но я бы сказал так: в очень тяжелых обстоятельствах или в предвидении очень большой пользы ложь подобного рода — либо вовсе не преступление, либо преступление самое ничтожное. Опасность тут лишь одна: открывши дверь невинному обману, не втянуться потом и в пагубные.

Представь себе, что безобидным обманом человек может спасти и тела, и души всего отечества, — каков будет его выбор, если он человек благочестивый? Уклонится он от обмана?

Мясник. Как поступили бы другие, не знаю, а я не побоялся бы и гомеровских измышлений, солгал бы хоть и пятнадцать раз подряд, а после смыл бы ничтожное пятнышко святою водой.

Рыбник. Ия тоже.

Мясник. Стало быть, не всякое божье повеление или запрещение обязательно под страхом геенны огненной.

Рыбник. По-видимому, нет.

Мясник. Мера обязательности зависит не только от того, кем закон установлен, но и от существа дела\* Иногда закон отступает перед силою необходимости, иногда — нет.

Рыбник. Пожалуй.

Мясник. Представь себе священника, чья жизнь под угрозой, но может быть спасена женитьбою. Ч' ему выбрать?

Рыбник. Смерть.

Мясник. Если божественный закон отступает перед необходимостью, почему этот человеческий закон разыгрывает бога Термина<sup>403</sup>, ничто и никого не удостаивая уступки?

Рыбник. Не закон тут помехою, но обет. Мясник. А что, если б человек дал обет побывать в Иерусалиме и не мог бы исполнить его иначе, как потерявши жизнь? Умирать ему? Или же не трогаться с места?

Рыбник. Умирать, если только не исхлопочет у папы разрешения от обета.

Мясник. Почему ж от одного обета можно получить разрешение, а от другого — ни в коем случае?

Рыбник. Потому что один торжественный и общий, а другой частный.

Мясник. Что значит «общий»?

Рыбник. Его принимают многие.

Мясник. Но тогда и другой — тоже и торжественный и общий: его принимают каждый день!

Рыбник. Принимают, но частным образом.

Мясник. Значит, если монах частным образом пообещается в чем-либо перед своим настоятелем, торжественным обетом это не будет?

Рыбник. Вздор ты городишь! От частного обета потому легче разрешить, что препятствий к разрешению меньше. Да и тот, кто его приносит, всегда держит в уме: «Если понадобится, я передумаю».

Мясник. Вот, значит, что на уме у тех, кто частным образом обещается хранить вечное целомудрие?

Рыбник. Должно быть.

Мясник. Вечное, стало быть, и, вместе, не вечное?... Л что, если картезианец занеможет так тяжело, что надо либо есть мясо, либо умирать? Какой выбор он сделает?

Рыбник. Врачи утверждают, что нет такого мяса, которое нельзя было бы заменить растворенным золотом или жемчугом.

Мясник. Но что полезнее — самоцветами и золотом помочь одному, чья жизнь в опасности, или же ценою этих драгоценностей сохранить жизнь многим, а больному дать курицу?

Рыбник. Не знаю.

Мясник. Ведь рыбная или мясная пища — не из того ряда вещей, которые называют «субстанциальными».

Рыбник. Оставим картезианцев их собственному судье.

Мясник. Хорошо, будем рассматривать в целом. Настойчиво, во многих местах и многих словах требует Моисеев закон соблюдать субботу.

Рыбник. Верно.

Мясник. Так прийти ли мне на помощь городу в опасности, нарушив субботний покой, или нет?

Рыбник. Ты что же, хочешь, чтобы я покамест стал иудеем?

Мясник. Да, и к тому же обрезанным.

Рыбник. Этот узел разрубил сам господь: суббота создана для человека, а не человек

---

<sup>403</sup> Термин — римский бог межей и границ. Изображение Термина было эмблемою Эразма, а девизом — соответствующим эмблеме — «Никому не уступлю!».

для субботы<sup>404</sup>.

Мясник. И этот закон применим ко всем человеческим установлениям?

Рыбник. Ко всем — если ничто не препятствует, конечно.

Мясник. А что, если законодатель, издавая закон, никого не имеет в виду связать страхом перед геенною или хотя бы боязнью вины, но желает, чтобы его установление служило лишь побуждением и поощрением — не более того?

Рыбник. Милый мой, не от законодателя зависит, в какой мере обязателен будет его закон. Власть его исчерпывается созданием закона, а к чему этот закон обяжет или не обяжет, зависит от бога.

Мясник. Но почему тогда мы слышим чуть не каждый день, как наши приходские священники возглашают с кафедры: «Завтра пост! Кто нарушит, будет проклят вовек!» Ведь нам неизвестно, насколько обязательны человеческие законы.

Рыбник. Так делается для того, чтобы пуще запугать строптивых. Именно к ним, я полагаю, относятся эти слова.

Мясник. Устрашают ли подобные угрозы строптивых, не знаю, но слабых они заведомо ввергают в тревогу и даже в опасность.

Рыбник. Обо всех разом позаботиться трудно.

Мясник. Скажи, у обычая и у закона сила одна и та же?

Рыбник. Нередко у обычая силы больше.

Мясник. Значит, у тех, кто вводит обычай, может и не быть желания накидывать на кого бы то ни было петлю, но сам обычай связывает, независимо от их воли?

Рыбник. Пожалуй.

Мясник. Взвалить бремя он может, а снять не может?

Рыбник. Конечно.

Мясник. Теперь, надеюсь, ты видишь, как опасно вводить новые законы, если не требует необходимость или не призывает ощутимая польза?

Рыбник. Вижу.

Мясник. Когда господь говорит: «Не клянись вовсе»<sup>405</sup>, — обрекает ли он геенне всякого клянущегося?

Рыбник. Не думаю. Это скорее совет, чем заповедь. Мясник. А из чего это явствует, когда едва ли что иное запрещено с такой же строгостью и определенностью, как клятва?

Рыбник. Узнаешь от ученых.

Мясник. И Павел, когда советует, не обрекает слушника геенне?

Рыбник. никоим образом!

Мясник. Почему?

Рыбник. Потому что не хочет накидывать петлю на слабых.

Мясник. Стало быть, обречь или не обречь геенне зависит от законодателя. И следует свято остерегаться, чтобы какими-нибудь установлениями не запутать немощных.

Рыбник. Ты прав.

Мясник. И уж если Павел проявлял в этом осторожность, тем более осторожны должны быть священники: ведь каким духом движимы они, никому не известно.

Рыбник. Согласен.

Мясник. Еще совсем недавно ты отрицал, что степень обязательности закона зависит от законодателя.

Рыбник. Теперь мы говорим уже о советах, не о законах.

---

<sup>404</sup> См. «Евангелие от Матфея», XII, 1—14.

<sup>405</sup> «Евангелие от Матфея», V, 34 (третье из пяти правил Нагорной проповеди).

Мясник. Нет ничего легче, как переменить название. «Не кради»<sup>406</sup> — это повеление?  
Рыбник. Повеление.

Мясник. А «Не противься злему вовсе»<sup>407</sup>?

Рыбник. Совет.

Мясник. Но второе с виду больше похоже на повеление, чем первое. Скажи, от епископа зависит, чем быть его наставлению — приказом или советом?

Рыбник. Да, от епископа.

Мясник. Но совсем недавно ты решительно это отрицал. Кто не желает, чтобы его установление подало повод преступить закон, тот, конечно, пожелает, чтобы оно было не приказом, а советом.

Рыбник. Верно. Но толпе знать это ни к чему, иначе про все, что им не угодно исполнять, люди станут твердить: это совет, это совет.

Мясник. А как тебе быть с нестойкими душами, которые столь многочисленны и которых твое молчание приведет в столь плачевное замешательство? Ну, ладно, скажи мне вот что: есть какие-либо приметные знаки, по которым ученые могут открыть, имеет ли установление силу совета или приказа?

Рыбник. Я слышал, что есть.

Мясник. А мне проникнуть в эту тайну нельзя?

Рыбник. Можно, если болтать не будешь.

Мясник. Что ты! Буду нем, как рыба!

Рыбник. Когда ты слышишь только: «призываем», «повествуем», «передаем», — это совет. Когда услышишь: «велим», «строго предписываем», да еще вслед за тем угрозу отлучения, — это приказ.

Мясник. Если я задолжал булочнику, а платить нечем, и, чтобы не попасть в тюрьму, я предпочитаю скрыться, — это тяжелый грех?

Рыбник. Не думаю. Разве что ты вообще не желаешь платить. /

Мясник. За что ж тогда отлучать меня от церкви?

Рыбник. Эта молния грозит нечестивым и никогда не опалит невинных. Ты знаешь, что и у древних римлян были жестокие и грозные законы, изданные единственно для той же цели, как, например, один из законов Двенадцати таблиц — о рассечении тела должника на части: потому-то и неизвестно ни единого примера его действия, что издан он был не для применения, а для устрашения. Подобно тому как молния не ударяет ни в воск, ни в лен, но в медь, так отлучения не убогих разят, но надменных. Откровенно говоря, употреблять по таким ничтожным поводам молнию, полученную из рук Христовых, это, на мой взгляд, все равно что — как в древней пословице — прыскать благовониями на чечевицу.

Мясник. У хозяина в своем доме та же власть, что у епископа в своей епархии?

Рыбник. Думаю, что да, соразмерная. Мясник. И его предписания тоже обязательны?

Рыбник. Разумеется.

Мясник. Я распоряжаюсь, чтобы никто не ел лука. Какой опасности со стороны небес подвергает себя тот, кто не подчинится?

Рыбник. Это его забота.

Мясник. После я объявлю своим домочадцам, что это не повеление, но увещание.

Рыбник. И умно сделаешь.

Мясник. Но вот я убеждаюсь, что мой ближайший сосед в опасности. Нарочно с ним повстречавшись, тайно увещаю, чтобы он бросил общество пьяниц и игроков в кости; а тот, плюнув на увещателя, ведет жизнь еще более скверную, чем раньше. Скажи, мои увещания

<sup>406</sup> Восьмая из десяти заповедей, данных богом Израиллю через Моисея на горе Синай: «Исход», XX, 15.

<sup>407</sup> Четвертое из пяти правил Иисуса, предложенных им в Нагорной проповеди («Евангелие от Матфея», V, 39).



его к чему-либо обязывают?

Рыбник. Видимо, да.

Мясник. Но тогда выходит, что ни советы, ни уговоры от силков не спасают.

Рыбник. Нет, не в увещании скрыты силки, но в предмете увещания. И если брат, которого ты уговаривал не ходить босиком, оставит без внимания твои уговоры, вины на нем нет никакой.

Мясник. Я уже не стану спрашивать, в какой мере обязательны предписания врачей. Но неисполненный обет грозит геенною? Рыбник. Бесспорно! Мясник. Любой?

Рыбник. Какой ни на есть, был бы только дозволенным, законным и добровольным.

Мясник. Что ты понимаешь под «добровольным»?

Рыбник. Чтобы он не был исторгнут никакою необходимостью.

Мясник. Что такое «необходимость»?

Рыбник. Это страх, гнетущий твердого и храброго мужа.

Мясник. Даже стойка, про которого сказано:

*Пускай, разбившись, небо рухнет —  
Будет сражен, но падет бесстрашным <sup>408</sup>?*

Рыбник. Покажи мне такого стойка — тогда отвечу.

Мясник. Но шутки в сторону: страх перед голодом или бесчестьем имеет ли власть над твердым и храбрым мужем?

Рыбник. Отчего же, конечно.

Мясник. Если дочь, еще не освободившаяся из-под отцовской власти, выйдет замуж тайно — без ведома родителей, которые ни за что бы на этот брак не согласились, — будет обет законным?

Рыбник. Будет.

Мясник. Не уверен. И уж, во всяком случае, он из числа тех, о которых, даже если они доподлинно обеты, должно молчать — ради слабых духом: для них это соблазн. Что, если девица, вступившая в супружество по воле родителей, тайно и вопреки родительскому желанию даст обет сделаться клариссою, — он будет дозволенным и законным?

Рыбник. Да, если будет торжественным.

Мясник. Какая там еще торжественность в деревенской глуши, в заброшенном монастырьке!

Рыбник. Такое общее мнение.

Мясник. А если та же девица у себя дома, при немногих свидетелях пообещает вечно блюсти телесную чистоту, обет законным не будет?

Рыбник. Нет.

Мясник. Почему?

Рыбник. Помехою другой обет, более священный.

Мясник. А если она же продаст участок земли, сделка будет иметь силу?

Рыбник. Едва ли.

Мясник. А если себя самое отдаст под чужую власть?

Рыбник. Будет — если она посвятит себя богу.

Мясник. Но разве частный обет не посвящает человека богу? И кто принял святое таинство брака, не посвятил ли себя богу? И те, кого соединил бог, разве диаволу они себя посвятили? О супругах и ни о ком больше изрек господь: «Кого бог соединил, человек да не разлучает»<sup>409</sup>. А с другой стороны, когда юношу, еще не успевшего возмужать, или

<sup>408</sup> Гораций, «Оды», III, III, 7—8. Перевод Н. И. Шатерникова.

<sup>409</sup> «Евангелие от Матфея», XIX, 6.

простодушную девицу загоняют в монастырь угрозы родителей, свирепость опекунов, понуждения бесчестных монахов, вкрадчивое или, наоборот, дурное обхождение, — разве это добровольный обет?

Рыбник. Нет, если они восприимчивы к обману.

Мясник. Ни один возраст так к нему не восприимчив: юных обманывать всего легче... Если я задумаю не нить по пятницам вина, это намерение свяжет меня так же, как обет?

Рыбник. Едва ли.

Мясник. В чем же различие между твердым намерением и обетом, произнесенным мысленно, про себя?

Рыбник. В решимости исполнять задуманное.

Мясник. Раньше ты утверждал, что решимость здесь ничего не значит... Если я способен что-либо исполнить, тогда я «намереваюсь», а «обет даю» вне зависимости от того, на что способен, а на что нет?

Рыбник. Ты схватил самую суть.

Мясник. Облако, нарисованное на стене, — вот что и схватил, иными словами — ничто... Если речь идет о намерении, тоже надо иметь в виду существо дела?

Рыбник. Полагаю, что да.

Мясник. И как в прежнем случае следовало остерегаться слова «закон», так теперь — слова «обет»?

Рыбник. Да.

Мясник. Если бы папа римский воспретил брачные союзы между родичами вплоть до седьмой степени родства, совершил бы преступление тот, кто женился на родственнице в шестой степени?

Рыбник. Полагаю, что да. Во всяком случае, опасность была бы.

Мясник. Что, если бы епископ повелел своей пастве не вступать в сношение с женою по иным дням, кроме понедельника, четверга и субботы, а кто-либо тайком сходил со своею супругою и в остальные дни — это было бы преступлением?

Рыбник. По-моему, да.

Мясник. А что, если бы он воспретил есть чеснок? Рыбник. Какое отношение имеет чеснок к благочестию?

Мясник. Он разжигает похоть. Не нравится чеснок — считай, что я назвал дикую капусту<sup>410</sup>.

Рыбник. Не знаю, что и сказать.

Мясник. Полно! Откуда в человеческих законах сила принуждения?

Рыбник. От изреченного Павлом-апостолом: «Повинуйтесь вашим начальникам»<sup>411</sup>.

Мясник. Стало быть, постановления епископов и светских властей обязательны для всех, не так ли?

Рыбник. Так, если только они справедливы и вынесены в согласии с законом.

Мясник. А кто будет судьей в этом деле?

Рыбник. Сам постановивший. Кому предоставлено издавать законы, тому же дано право их толковать.

Мясник. Итак, должно повиноваться всем установлениям без разбора?

Рыбник. Думаю, что да.

Мясник. Что, если начальствующий глуп и нечестив и закон издает глупый и нечестивый? Придется во всем следовать его суждению, и народ, который вообще лишен права судить о чем бы то ни было, будет покоряться?

Рыбник. К чему измышлять то, чего нет?

<sup>410</sup> По мнению древних, это растение оказывает то же действие, что и чеснок.

<sup>411</sup> Ср. «Послание к Римлянам», XIII, 1—5.

Мясник. Если кто помогает отцу только по принуждению, из страха перед законом, человек этот исполняет закон?

Рыбник. По-моему, нет.

Мясник. Как так?

Рыбник. Во-первых, он не удовлетворяет намерениям законодателя, во-вторых, к злой воле примешивает лицемерие.

Мясник. А кто постится единственно по принуждению, повинаясь велению Церкви, исполняет закон?

Рыбник. Ты меняешь и законодателя, и предмет закона.

Мясник. Ну что ж, сравни иудея, который постится по определенным дням, но не постился бы, если бы к тому не принуждал Закон, — сравни его с христианином, который соблюдает пост, назначенный людьми, но, конечно, и не подумает его соблюдать, если ты отменишь закон. Или, пожалуй, иудея, воздерживающегося от свинины, сравни с христианином, по пятницам воздерживающимся от скоромного.

Рыбник. Человеческой слабости, которая в чем-то сопротивляется закону, я думаю, будет даровано прощение, упорству, отвергающему закон умышленно и ропщущему против него, — никогда.

Мясник. Ты утверждаешь, что божественные законы не всегда обязательны под страхом геенны огненной.

Рыбник. Да. И что из этого?

Мясник. Но ты не смеешь утверждать, что существует человеческий закон, грозящий тою же карой, который был бы не обязателен, ты оставляешь нас в сомнении на этот счет? Человеческим законам ты, по-видимому, придаешь намного больше значения, чем божиим. Ложь и злословие дурны по самой своей природе и воспрещены богом; и, однако, ты утверждаешь, что есть разновидность лжи и злословия, которая геенною не кажется. А того, кто по какой бы то ни было причине поел в пятницу мяса, ты избавить от геенны не смеешь.

Рыбник. Не мне карать или освобождать от наказания.

Мясник. Если законы божественные и человеческие обязательны в равной мере, какое между ними различие?

Рыбник. Ясно какое. Кто нарушит человеческий закон, против человека погрешает непосредственно, а прошив бога опосредствованно (если разрешишь мне воспользоваться цветочками схоластики), кто нарушит закон божественный — наоборот.

Мясник. Что за важность, в каком порядке будешь ты смешивать уксус с полынью, если все равно мне нить и то и другое? Или что за важность, ранит ли камень сперва меня, а после отскочит и поразит друга, или наоборот?

Рыбник. Я повторяю то, чему выучился.

Мясник. И если силу принуждения оба закона черпают из своего предмета и из обстоятельств, какое различие меж авторитетом божиим и человеческим?

Рыбник. Нечестиво ты расспрашиваешь!

Мясник. Однако ж многие верят, что различие громадное. Бог дал Закон через Моисея, и нарушать его не дозволено. Но бог возвещает законы и через пап тоже или, во всяком случае, через собор — какая ж разница между этими и теми, древними? Моисеев закон дан через человека и наши через людей. И, по-видимому, открытое богом через одного Моисея имеет меньше веса, чем явленное святым Духом через многолюдный собор епископов и ученых.

Рыбник. О духе Моисея сомневаться не пристало.

Мясник. На место епископов поставим Павла. Итак: какое различие меж наставлениями Павла и любого из епископов?

Рыбник. Бесспорно, Павел писал под наитием Духа.

Мясник. Это высшее достоинство писаний на кого распространяется?

Рыбник. Я думаю, только на апостолов. Да еще, пожалуй, авторитет соборов непререкаем.

Мясник. Почему нельзя сомневаться о духе Павла?

Рыбник. Единогласие Церкви этому противится.

Мясник. А насчет епископов сомневаться можно?

Рыбник. Пустые подозрения недопустимы, разве что откроется несомненное стяжательство или нечестие...

Мясник. А насчет соборов?

Рыбник. Нельзя — как скоро они собраны и проведены по всем правилам и во Духе святе.

Мясник. Значит, есть соборы, о которых этого не скажешь?

Рыбник. Могут быть. Иначе богословы не прибавили бы такого ограничения.

Мясник. Выходит, что и насчет соборов возможно сомнение?

Рыбник. Раз уже они приняты и одобрены единодушным суждением христианских народов, — едва ли.

Мясник. Раз уже мы переступили ту черту, которою господь соизволил положить границую вокруг святейшего и нерушимого авторитета Писания, мне кажется, существует и другое различие меж законами божественными и человеческими.

Рыбник. Какое?

Мясник. Божественные законы неизменны, кроме тех, что, по-видимому, даны были лишь на время — как провозвестие будущего или для обуздания распущенности: об них и пророки предсказывали, что они будут отброшены в телесном смысле, и апостолы учили, что уже настал срок ими пренебречь. Далее, среди человеческих законов встречаются несправедливые, глупые и вредные; такие законы отменяет либо высшая власть, либо дружное пренебрежение народа. Ничего подобного среди божественных законов нет. Далее, человеческий закон сам прекращает свое действие, когда исчезнет причина, вызвавшая его к жизни: так, если предписаны ежегодные взносы на построение храма, с завершением строительства иссякает строгость закона. К тому же закон, установленный людьми, — не закон, если он не одобрен всеми, на кого распространяется. Божественный закон не подлежит обсуждению и не может быть отменен. Впрочем, Моисей, предлагая Закон, собрал голоса народа, но не потому, что это было необходимо, а чтобы впредь легче добиваться покорности: ведь это наглость — не подчиняться закону, который сам же одобрил. Наконец, человеческие законы, почти все, касаются телесного и служат воспитателями благочестия; по-видимому, они прекращают свое действие, если человек достигнет такой крепости духа, когда больше не имеет нужды в подобных ограничениях и лишь в меру своих сил избегает соблазна для слабых — не для завистливых пустосвятов! Все равно как если бы отец запретил несовершеннолетней дочери пить вино, чтобы целее было ее девство вплоть до свадьбы; когда ж она входит в возраст, переходит под власть мужа, отцовские предписания уже для нее не обязательны. Многие законы — словно лекарства, которые изменяются и уступают место другим лекарствам с одобрения самих врачей: если бы врач постоянно пользовался одними и теми же снадобьями, дошедшими от древних времен, он больше убивал бы, чем исцелял.

Рыбник. Вон сколько ты наговорил! С иным я согласен, с иным — нет, а кой-чего и вовсе не понимаю. Мясник. Если закон, изданный епископом, явственно пахнет своекорыстием, например, требует, чтобы каждый приходский священник дважды в год платил по золотому дукату за право отпускать грехи в так называемых «епископских случаях», умножая тем самым епископские прибитки, — как по-твоему, надо повиноваться? Рыбник. По-моему, надо. Но одновременно надо возражать против несправедливого закона всеми средствами, кроме бунта. Откуда ж, однако, на мою беду мясник-вопрошатель? Кому до чего, а кузнецу до наковальни.

Мясник. Мы часто ломаем себе голову над такими вопросами за столом и, бывает, слово за слово, до того разгорячимся, что начинается драка.

Рыбник. Пусть дерется кто хочет, а я считаю, что законы предков следует с почтением усваивать и соблюдать неукоснительно, точно бы они исходили от самого господа бога.

Питать или сеять дурные подозрения насчет общественной власти и неразумно и нечестиво. И даже тиранические распоряжения, если только они не понуждают нас к нечестию, лучше переносись терпелива, чем отвергать путем прямого: бунта.

Мясник. Надо признать, что твой образ мыслей целиком на пользу власть имущим. Я с тобою согласен, и к ним ненависти не питаю, но охотно выслушал бы доводы в пользу народа — в пользу его свобод или выгод. Рыбник. Бог не оставит свой народ. Мясник. Но где та духовная свобода, которую, на основании Евангелия, сулят апостолы, которую столько раз возвещает Павел, восклицая, что царство божие — не пища и питье, и что мы не дети под присмотром дядьки, и что мы более не служим началам мира сего, и многое иное, без числа, — где, повторяю, эта свобода, если гораздо больше обременительных установлений давит на плечи христианам, чем иудеям, и если человеческие законы обязывают строже, чем многие повеления от бога? Рыбник. Я отвечу тебе, мясник. Не в том свобода христианина, чтобы делать что заблагорассудится и быть свободным от человеческих установлений, а в том, чтобы, с пылкою готовностью, охотно и радостно исполнять любое предписание. Конечно: ведь мы не рабы, но родные дети!

Мясник. Легко ты растолковал, но родные дети были и при Моисеевом законе, и при евангельском существуют рабы и боюсь, как бы главная часть человеческого рода не состояла именно из рабов, ибо разве не рабы те, кто верен своему долгу лишь из страха перед законом? Что же, в конце концов, за различие меж старым Законом и новым?

Рыбник. По моему разумению — немалое. Что старый внушал прикровенно — новый явил воочию; о чем тот вещал загадками — этот выставил в полном свете; что старый смутно обещал — новый исполнил большею частью. Тот был дан одному народу — этот научает спасению все народы. Тот сообщал дивную и исключительную духовную благодать лишь немногим пророкам и избранным мужам — этот щедро излил на людей всякого возраста, пола и племени дары всякого рода: дар языков, исцеления, пророчества, дар чудес.

Мясник. Где же они теперь?

Рыбник. Прекратились, но не иссякли окончательно. Либо нет в них потребности, поскольку учение Христово уже распространено; либо все дело в том, что большинство из нас — христиане только по имени, веры же, каковая есть строительница чудес, не имеем.

Мясник. Если чудеса были нужны ради неверующих и сомневающихся, так их сейчас полным-полно!

Рыбник. Бывает неверие от простодушного заблуждения, как, например, у иудеев, которые роптали на Петра за то, что он допустил к евангельской благодати семейство Корнилия<sup>412</sup>, или у язычников, которым религия, перенятая от предков, казалась залогом спасения, а апостольская проповедь — чужеземным суеверием; они увидели чудеса и обратились. Кто сомневается в Евангелии ныне, когда свет просиял над целым миром, те не просто заблуждаются, но ослеплены дурными страстями и отказываются понимать, не имея желания жить достойно; их никакие чудеса не исправят. Сейчас время лечить; время карать наступит позже.

Мясник. Хотя многое из того, что ты сказал, очень похоже на правду, я не хочу полагаться на рыбака, но обращусь к одному особенно ученому богослову, и какое бы решение он ни вынес по каждому из предметов нашего спора, оно будет для меня божественным оракулом.

Рыбник. Кто же это? Фаретрий<sup>413</sup>?

---

<sup>412</sup> Благочестивый сотник Корнилий призвал к себе апостола Петра, и тот крестил его вместе с родственниками и близкими друзьями. «Апостолы и братия» сперва упрекали его за то, что он «ходил к людям необрезанным и ел с ними». Но Петр успокоил их, объявив, что «дар святого Духа излился и на этих язычников» («Деяния апостолов», I—II).

<sup>413</sup> Далее следуют зашифрованные имена нескольких богословов — современников и оппонентов Эразма. Иные из них ученым удалось расшифровать. Фаретрий — Гильом Фарель (1489—1565), знаменитый французский реформатор, резко нападавший на Эразма в Базеле в 1524 г. Амфихол — Жак Массой

Мясник. Он решительно выжил из ума, и вдобавок безвременно. Теперь ему только перед старыми дурами проповедовать.

Рыбник. Блителей?

Мясник. Неужели ты думаешь, что я поверю такому болтливому софисту?

Рыбник. Амфихол?

Мясник. Никогда не доверюсь суждению того, кому, на свою беду, поверил в долг мясо! Добросовестно ли распугает наши затруднения тот, кто самым бессовестным образом не желает выпутываться из долгов?

Рыбник. Лемантий?

Мясник. Слепых в проводники не беру.

Рыбник. Так кто же?

Мясник. Раз ты настаиваешь, — это Цефал, муж триязычный, отменно сведущий во всей изящной словесности, долго и внимательно читавший священные книги и древних богословов.

Рыбник. Я дам тебе лучший совет: ступай-ка в преисподнюю, там найдешь Рабина Друина, и он тенедосской секирою<sup>414</sup> рассечет все твои недоумения.

Мясник. Ладно, только ты иди первый и показывай дорогу.

Рыбник. Но шутки в сторону. Правда ли, что ты] рассказываешь, — будто вышло разрешение есть мясо?

Мясник. Нет, я это выдумал, чтобы тебя позлить. Если б папа римский и в самом деле так порешил, рыбаки подняли бы мятеж. И потом — мир полон фарисеев, которые не могут притязать на святость иначе, как через соблюдение этих пустых и никчемных правил: они бы не дали отнять у себя уже добытую славу и не позволили бы младшим пользоваться большей свободой, чем пользовались они сами. А что до мясников, им было бы даже во вред разрешение есть всякую пищу, какую кому ни вздумается. Наша торговля оказалась бы тогда в зависимости от разных случайностей; теперь же и прибыль надежнее, и риска меньше, да и трудов.

Рыбник. Совершенно верно. Но те же неудобства довелось бы испытать и нам.

Мясник. Какая радость! Наконец-то рыбник с мясником сошлись во мнении! Но я тоже хочу говорить всерьез. Наверное, было бы полезно избавить христианский люд от иных обязательств, в первую очередь от тех, которые мало чем служат благочестию или даже вовсе не служат — чтобы не сказать: вредят. Но я не желаю принимать сторону тех, кто отвергает все человеческие установления без изъятия и не ставит их ни во что. И это еще не все: многое они делают именно по той причине, что так делать воспрещено. Впрочем, в большинстве случаев превратность человеческих суждений меня не удивляет.

Рыбник. А вот я — так никак не могу в досталь на нее надивиться!

Мясник. Мы готовы смешать небо с землей, если нам кажется, будто влиянию священников или их положению грозит малейший ущерб, — и мы лениво дремлем, хотя существует явная опасность, что, уделяя слишком много человеческому влиянию, мы уделяем меньше должного влиянию небесному. Так, стараясь избежать Сциллы, мы забываем о Харибде — о зле, еще более пагубном. Епископам следует оказывать почести,

---

(1475—1544), более известный под латинизированным именем Иакова Латомуса, лувенский богослов, непримиримый противник Реформации. Лемантий — уже упоминавшийся выше кармелит Николас Бехем (см. прим. к «О несравненном герое Иоганне Рейхлине...», к словам...одного черноризца верблужьего ордена). Цефал — Вольфганг Кёпфель (Капитон) из Хагенау (ок. 1478—1541) — ученый-гуманист, знаток еврейского языка, помогавший Эразму в работе над изданием и комментированием Нового завета. С 1523 г. принял сторону Реформации.

<sup>414</sup> То есть решительно и скоро. В «Адагиях» Эразм приводит две версии происхождения этой поговорки: 1) царь острова Тенедоса (у берегов Малой Азии) вершил суд с секирою в руках и, вынеся приговор, тут же казнил виновного; 2) царь того же острова издал закон против прелюбодеев, по которому обоих провинившихся без промедления зарубали насмерть топором.

которые им причитаются. Кто с этим не согласится — в особенности если они оправдывают свое имя епископа? Но нечестиво переносить на людей почести, которые мы обязаны воздавать только богу, и когда, усердно велича человека, мало величат бога, — это тоже нечестие. Почитать и величить бога в ближнем — наш долг, но следует остерегаться, как бы бог по этой случайной причине не лишился своих почестей.

Рыбник. И точно так же мы видим многих, которые до такой степени верят в обряды, что только на них и полагаются, а истинным благочестием пренебрегают; дары божественной щедрости они дерзко приписывают собственным заслугам, останавливаются там, откуда лишь начинается подъем к совершенству, и порочат ближнего, кивая на то, что само по себе и не хорошо, и не дурно.

Мясник. Если в одной вещи заключены два начала, из которых одно выше другого, мы всегда больше заботимся о том, что ниже. Телу и телесному повсюду отдается предпочтение перед духовным. Убить человека считается тяжким преступлением, и это верно; но отравить человеческий ум тлетворным учением, ядовитыми подстрекательствами — это забава. Если священник отрастит волосы или оденется в светское платье, его сажают в тюрьму, сурово наказывают, но если он пьянствует в непотребном доме, распутничает, играет в кости, если соблазняет мужних жен, а священных книг не касается и пальцем, — все равно он столп церкви! Я не извиняю перемены платья — я обвиняю превратность суждения.

Рыбник. Мало того: он не отчитал часов — и вот уже анафема наготове; он отдает деньги в рост, он повинен в симонии — и остается безнаказанным.

Мясник. Если мы увидим картезианца, одетого не по уставу или вкушающего мясо, как мы его проклинаяем, как трясемся от страха, что земля разверзнется и поглотит обоих — и преступника, и свидетеля преступления. Но если он пьяница, если неистово порочит ближнего клеветой, если притесняет бедного соседа беззастенчивым обманом, наше возмущение намного тише.

Рыбник. Да, и если кто увидит францисканца, препоясанного веревкою без узлов, или августинца, не в кожаном поясе, а в шерстяном, или кармелита распоясанного, или родосца опоясанного<sup>415</sup>, если кто увидит обутого францисканца или полуобутого крестоносца, — ведь он, как говорится, Тирское море возмутит, правда?

Мясник. А недавно у нас две женщины, обе разумные и рассудительные, увидели, как каноник, духовник девичьего монастыря по соседству, прогуливается на людях без черного плаща поверх полотняной одежды, — и у одной случился выкидыш, а другая упала в обморок. А ведь они часто видали птичек той же породы за гулянками, за песнями, за пляской — об остальном умолчу — и ни малейшей дурноты не испытывали.

Рыбник. Пожалуй, что по слабости пола они заслуживают снисхождения. Но вот Полифреск!... Ты, наверно, его знаешь. Он опасно болел, лежал в чахотке. Врачи долго убеждали его есть яйца и молочную пищу, но безуспешно; с тем же увещанием обращался и сам епископ. Но он человек образованный, бакалавр богословия, и, казалось, скорее согласен был умереть, чем послушаться совета врачей. Тогда врачи и друзья решили его обмануть. Приготовили питье из яиц и козьего молока и объявили, что это миндальное молоко. Он охотно выпил, на другой день — еще, и спустя немного начал поправляться, как вдруг какая-то девица открыла ему обман. После этого что он ни проглотит — тут же отдает обратно. Но этот суеверный ненавистник молочного без всяких колебаний принес ложную клятву, отпираясь от денег, которые задолжал мне. Я спроста предъявил ему расписку, а он потихоньку соскреб свою подпись, а после присягнул в том, что ничего мне не должен, и я уступил. Сделал он это так беззаботно, что, казалось, с охотой отвечал бы на подобные обвинения ежедневно. Возможно ль суждение превратнее? Не подчинившись священнику и

---

<sup>415</sup> Родосцы — монашеский рыцарский орден госпитальеров или иоаннитов, возникший во времена Крестовых походов и первоначально имевший пребывание в Палестине, затем, после изгнания крестоносцев арабами, — на острове Родос. В 1522 г. госпитальеры были вынуждены покинуть Родос под натиском турок, а в 1530 г. император Карл V даровал им остров Мальту. С тех пор этот орден зовется Мальтийским.

врачам, он погрешил против духа Церкви и, столь робкий перед молоком, перед лжесвидетельством ни малейшей робости не испытывал.

Мясник. Мне пришла на память история, которую недавно рассказал один доминиканец за проповедью, при громадном стечении народа; была пятница, он говорил о смерти господней и хотел шуткою смягчить суровость и горечь своей речи. Юноша изнасилничал монахиню. У той стал расти живот, и грех обнаружился. Созвали девиц, возглавила собрание аббатиса. Предъявляют обвинение. Запираться бесполезно — улика очевидная. Обвиняемая пытается оправдать само деяние или, если угодно, сложить с себя вину. «Я не могла сопротивляться, — заявляет она, — он сильнее меня». — «Но ты бы хоть закричала!...» — «Конечно, закричала бы, да только в спальне строго-настроено запрещено нарушать тишину». Пусть это выдумка, но надо признаться, что сплошь да рядом случаются истории поглупее этой. Расскажу, что я видел собственными глазами; только имен называть не хочу. Был у меня свойственник, приор, помощник аббата, бенедиктинец, из числа тех, что вкушают мясо только за стенами монастырской трапезной. Он считался ученым и очень этой славою дорожил. Лет ему было от роду пятьдесят. Дня не проходило, чтобы он не бражничал с друзьями, состязаясь, кто больше выпьет, а раз в двенадцать дней ходил в баню очищать почки.

Рыбник. А достатков хватало?

Мясник. Он получал доходу шестьсот флоринов в год.

Рыбник. Завидная бедность!

Мясник. Пьянство и блуд довели его до чахотки. Когда врачи объявили, что надежды нет, аббат приказал больному есть мясо, прибавив грозные слова: «Под страхом кары за непослушание»<sup>416</sup>. С великим трудом заставили приора отведать того самого мяса, которое он столько лет поглощал, не задумываясь.

Рыбник. Каков аббат, таков и приор. Но я догадываюсь, о ком ты говоришь: историю эту я уже слышал и хорошо помню.

Мясник. О ком же?

Рыбник. Аббат высокий и тучный, немного заикается — верно? А приор пониже, но стройный и красивый?

Мясник. Угадал.

Рыбник. Плачу тебе твоею же монетой: послушай, что я недавно видел, и не только видел, но сам участвовал, и даже чуть ли не главным участником оказался. Две монахини были в гостях у родственников. Вдруг обнаруживается, что слуга, по рассеянности, забыл захватить молитвенник по уставу того ордена и той обители, к которой монахини принадлежали. Боже бессмертный, какой поднялся переполох! Монахини не решались сесть на обед, пока не прочтут вечерние молитвы, а читать по любому другому молитвеннику, кроме своего, ни за что не соглашались. Что долго говорить? Слуга взгромоздился на мерина, поскакал назад и поздним вечером привез забытую книгу. Тут только звучат долгожданные молитвы, и в десятом часу садимся к столу.

Мясник. Пока я не слышу ничего особенно предосудительного.

Рыбник. Не мудрено: ты еще и половины истории не выслушал. За обедом монахини выпили вина и развеселились. Зала гудела от хохота и непристойных шуток, но никто не держал себя распушеннее, чем эти девицы, которые прежде отказывались обедать, покуда не помолятся в согласии с правилом своего ордена. После застолья пошли игры, пляски, песни... Об остальном умолчу, но боюсь, что события той ночи с девичеством никак не совместишь, если только не обманул зачин — зазывный смех, кивки, поцелуйчики.

Мясник. Эту извращенность суждений я поставлю в вину скорее не монахиням, а священникам — их духовникам. Но вот тебе рассказ за рассказ; послушай, чему я сам был свидетелем. На этих днях посадили в тюрьму несколько человек, которые пекли хлеб в

<sup>416</sup> То есть за нарушение одного из трех монашеских обетов — послушания, целомудрия и бедности.



воскресный день — случайно не хватило хлеба. Я их не оправдываю, но приговор возмутительный. Немного спустя, в воскресенье, которое обычно зовут «Вербным», случилась мне нужда побывать в соседнем селе. Примерно в четвертом часу после полудня увидел я там зрелище, то ли смешное, то ли горестное — и сам толком не разберу. В безобразии и непристойности оно, по-моему, никаким вакханалиям<sup>417</sup> не уступало. Иные шатались, упившись, точь-в-точь как корабль, оставшийся без рулевого, когда волны и ветер швыряют его то в одну сторону, то в другую. Иной, подхватив приятеля под руку, старался его поддержать, хотя и сам-то едва не падал. Иные то и дело валились наземь и насилию подымались. У некоторых на лбу были венки из дубовых листьев.

Рыбник. Скорее им подошли бы виноградные листья. И еще дать бы им в руки тирсы.

Мясник. Какой-то старик изображал Силена<sup>418</sup>. Его несли на плечах, как иногда выносят трупы, ногами вперед, с тою лишь разницей, что лежал он ничком — иначе бы захлебнулся собственной блевотиной; а так он облевал все икры и пятки задним носильщикам. Мерзость! И между носильщиками не было ни одного трезвого: почти все хохотали, словно помешанные. Хмельное исступление владело каждым. И в таком виде вступили они в город, да еще среди бела дня.

Рыбник. Откуда на них это безумие?

Мясник. В этом ближнем селе вино продают чуть дешевле, чем в городе, и несколько собутыльников отправились туда, — не за тем, чтобы меньше истратить, но чтобы сойти с ума поосновательнее. И правда: денег ушло несколько не меньше, а помешательство намного сильнее обычного. Если б они съели яйцо, их потащили бы в тюрьму, словно они отца родного убили; а тут они не только пропустили святую проповедь, не только пренебрегли вечерней, но в столь священный день вели себя с такою наглою разнузданностью — и никто их не наказывал, никто не возмутился.

Рыбник. Чему ты дивишься, если посреди города, в кабаках по соседству с храмом божием в любой из праздничных дней пьют, поют, пляшут, дерутся, и шум стоит такой, что и службу править невозможно, и проповеди не расслышишь. Но если б любой из тех же бражников в то же время вздумал сшить башмак или если бы в пятницу отведал свинины, его притянули бы к суду как уголовного преступника. А ведь воскресный день установлен главным образом для того, чтобы у нас был досуг послушать евангельское слово; и, на мой взгляд, шить башмаки запрещено оттого, что это время предназначено на очищение и украшение душ... Не поразительная ли превратность суждений?

Мясник. Чудовищная! А сам по себе пост? Ведь он может заключаться либо в воздержании от пищи, либо в особом выборе пищи. Всякий знает, что первое назначено богом или, по крайней мере, очень близко к божественным назначениям, второе же не просто идет от людей, но чуть ли не впрямую противоречит апостольскому учению, как бы мы ни старались это оправдать. Однако и здесь та же превратность суждений: вообще не воздерживаться от пищи можно безнаказанно, а вкушать пищу, запрещенную человеком, но разрешенную богом и апостолами — преступление. Хотя и неизвестно точно, исходит ли правило поста от апостолов, но и пример их, и послания одобряют его; а сколько посылок потребуется, чтобы перед таким судьей, как Павел, отстоять мнение, будто запрещено вкушать пищу, которую бог сотворил, а мы должны принимать с благодарностью? И тем не менее во всем мире наедаются досыта, и никого это не оскорбляет, но если больной отведаст

---

<sup>417</sup> Вакханалии — празднества в честь греческого бога вина Вакха, справлявшиеся и в Древней Греции, и в древней Италии. В Италии они приняли особенно разнузданный характер и были запрещены римским сенатом. Тирсы — вакхические жезлы, увитые плющом и виноградом и увенчанные сосновой шишкой.

<sup>418</sup> Силен — наставник и неразлучный спутник Вакха. Его изображали в виде плешивого, пузатого и всегда пьяного старика, едва держащегося на ногах.

цыпленка, христианская религия под угрозой. В Англии, во время Четыредесятницы<sup>419</sup>, через день готовят полный обед, и никто не удивляется; если ж страдающий лихорадкою пригубит куриного бульона, это больше чем святотатство! Там же в Четыредесятницу, древнее и священнее которой нет поста у христиан, обедают, как я уже сказал, безо всякого страха, но попробуй сделать то же самое иной порою в пятницу — никто этого не стерпит. Если спросишь англичан почему, они сошлются на обычай своего отечества. Того, кто равнодушен к обычаю страны, они проклинают, а себе легко прощают небрежение старейшим обычаем всей церкви Христовой.

Рыбник. Но нельзя похвалить и того, кто без причины пренебрегает обычаями страны, где он живет.

Мясник. Да и я не обвиняю людей, которые разделяют Четыредесятницу между богом и своим желудком, я только указываю на превратное суждение о вещах.

Рыбник. Воскресный день установлен преимущественно с тою целью, чтобы народ собирался вместе послушать слово Евангелия, и, однако, кто пропустил обедню, покрывает себя презрением, а кто предпочел проповеди игру в мяч — чист и незапятнан.

Мясник. Как все ужасаются, если кто причастится святых тайн, не помыв рта, и как все спокойны и уверены в себе, причащаясь с неомытою, замаранной дурными страстями душой!

Рыбник. Как много есть священников, которые скорее умрут, чем станут служить обедню с потиром и диском<sup>420</sup>, еще не освященными епископом, или в повседневном платье! Но сколь многие среди них не стыдятся подойти к святому престолу, еще не протрезвев после ночной попойки! Какое смятение, если случайно коснутся тела Христова тою частью руки, которой не касался святой елей! Почему нет у нас той же осмотрительности и того же страха, как бы не оскорбить господя нечистою душою?

Мясник. К священным сосудам мы не притрагиваемся, и считаем за грех, если это по какой-нибудь случайности произойдет. Но как беспечно оскверняем мы в то же время живые храмы Духа святого!

Рыбник. Человеческие законы воспрещают допускать к богослужению хромого, кривого или незаконнорожденного. Тут мы непримиримо строги. Но в то же время как часто допускаем к божественной службе неучен, игроков, пьяниц, вояк, убийц! Мне скажут: недуги души скрыты от глаз. Но я не о тайных недугах говорю — говорю о тех, что очевиднее телесных изъянов!

Мясник. Есть даже епископы, которые изо всех пастырских дел не входят ни во что, кроме счетов и прочей подобной пошлости. Обязанности проповедника, которые составляют главное достоинство епископа, они готовы уступить любому проходимцу. Никогда бы они на это не решились, если бы не были во власти превратного суждения о вещах.

Рыбник. Кто нарушает праздничный день, установленный епископом, того примерно наказывают, а разные сатрапы, бесстрашно презревши столько папских постановлений и деяний соборов, столько угроз отлучением, препятствуют выборам духовных лиц, самовольно отменяют льготы церкви, не щадят даже тех приютов для престарелых, больных и неимущих, которые были устроены на милостыню благочестивых даятелей, — и остаются в собственных глазах примерными христианами, если свирепо карают малейшие отступления от правил и законов.

Мясник. Сатрапов лучше оставим в покое и будем говорить о рыбе и мясе.

Рыбник. Ты прав. Вернемся, стало быть, к посту и к рыбе. Я слышал, что папские уставы разрешают от поста детей, стариков, больных, слабосильных, беременных, кормящих

---

<sup>419</sup> Великий пост.

<sup>420</sup> Потир и дискос — чаша и блюдо для так называемых «святых даров» — «крови и тела Христовых\*» (то есть вина и хлеба).

матерей, обремененных тяжким трудом и крайне бедных.

Мясник. Я и сам слышал об этом не раз.

Рыбник. Еще я слышал мнение одного выдающегося богослова — по имени, если не ошибаюсь, Жерсон, — что если возникает причина, столь же веская, как перечисленные в папских уставах, она, подобным же образом, смягчает требования закона. Существуют особенности телесного сложения, при которых воздержание от пищи еще более вредно, чем при очевидных недугах, и бывают недуги, незаметные глазу, но по сути дела чрезвычайно опасные. Кто хорошо себя знает, тому нет нужды спрашивать совета у священника, точно так же, как не спрашиваются у священника младенцы, изъятые из-под действия закона своим младенчеством. И кто принуждает к посту или к рыбной пище детей, или ветхих старцев, или вообще слабосильных, грешит вдвойне: во-первых, против братской любви, во-вторых, против воли пап, не желающих подчинять закону тех людей, которым исполнение закона грозит гибелью. Все, что ни учреждено Христом, учреждено для здоровья души и тела; и ни один папа не притязает на такую власть, чтобы своим установлением принуждать человека расстаться с жизнью. Подобным образом, если кто, постясь на ночь, приобретает бессонницу, а бессонница может привести его к безумию, он самоубийца — вопреки как разуму Церкви, так и воле бога.

Государи, всякий раз как сочтут целесообразным, угрожают слушникам закона смертную казнь. Что им дозволено и что нет, я не берусь определять, скажу только, что осмотнительнее было бы не причинять телесной смерти ни в каких иных случаях, кроме обозначенных в Святом писании. В грехах, которые коренятся в ненависти, бог удерживает нас далеко от крайней черты — удерживает от ложной клятвы, запрещая клясться вовсе, удерживает от убийства, запрещая гневаться, а человеческие установления приводят нас на грань человекоубийства, и мы зовем это необходимостью! Нет, напротив, если появится уважительная причина, долг любви требует внушить ближнему, чтобы он не противился немощи своего тела. И даже если нет никакой видимой причины, долг христианской любви требует благожелательного суждения о поступке, который мог быть совершен с чистым сердцем, — разве что, нарушая пост, человек выказывает откровенное презрение к Церкви. Светские власти по праву карают тех, кто строптиво и вызывающе ест все подряд; но чем питается больной у себя дома, это уже забота врача, а не властей. И если чье-то бесстыдство послужит в этом случае поводом к волнениям, лишь сами бесстыдники и раздувают распрю, но никак не те, кто заботится о своем здоровье, не оскорбляя ни божественных, ни человеческих законов. И уж вовсе неуместно ссылаться здесь на авторитет пап, чье милосердие столь велико, что они по собственному почину, едва убедятся в вескости оснований, призывают нас смириться с требованиями больного тела и вооружают особыми грамотами против злонамеренных нападок.

Наконец, по всей Италии разрешено торговать мясом на специально отведенных рынках — бесспорно, из внимания к тем, кого не связывают законы о посте. Даже за святою проповедью я слышал, как богословы, далекие от фарисейства, говорили: «Нечего нам страшиться, если, по слабости человеческого тела, съедем в обеденное время один хлебец и выпьем стакан вина или пива». Но если они берут на себя смелость предлагать здоровым вместо обеда перекуску — вопреки установлению Церкви, которая велит поститься, а не перекусывать, — почему не смеют разрешить полного обеда больным, чья немощь этого требует, тем более что и папы объявляют о своем согласии, ясно обозначив причины? Если кто сурово обращается со своим телом, это называют ревностью. Что же, каждый знает себя сам. Но где благочестие, где любовь у тех, кто вопреки закону природы, вопреки божьему закону, вопреки смыслу закона пап толкает к смерти немощного брата, бодрого духом, но слабого телом, к смерти или к недугу, который горше смерти?

Мясник. Твои слова приводят мне на память случай, которому я был свидетелем два года назад<sup>421</sup>. Знал я некоего Эрота, человека уж пожилого, шестидесяти лет от роду,

<sup>421</sup> Следуют два автобиографических эпизода, действительно относящиеся к 1522 и 1523 гг. Эрот —

здоровья более чем хрупкого; болезни, и к тому же самые ужасные, не оставляли его ни на день, а бремя ученых занятий, которое он на себя взвалил, могло бы свалить с ног хоть и Милона<sup>422</sup>. Вдобавок с самых молодых лет он по какому-то тайному свойству природы ненавидел рыбу и не переносил голода, так что и рыбный стол, и воздержание от пищи всякий раз могли стоить ему жизни. В конце концов он получил папскую грамоту, надежно оборонявшую его от фарисейских кривотолков. По просьбе друзей он приехал в город Элевтерополь, который, однако же, имя свое оправдывал не в полную меру<sup>423</sup>. Дело было Великим постом. День и другой ушли на встречи с друзьями, и это время Эрот питался рыбою, чтобы никого не задеть и не обидеть, хоть у него и была папская грамота, позволявшая есть все, что угодно. Он уже чувствовал приближение болезни, хорошо знакомой, но более тяжкой, нежели смертная мука, и стал готовиться к отъезду: это было необходимо, если только он не хотел слечь. Тогда некоторые его знакомцы, догадываясь, что он уезжает раньше срока, спасаясь от рыбы, уговорили Главкоплута, мужа на редкость образованного и чрезвычайно в том государстве влиятельного<sup>424</sup>, пригласить Эрота к себе позавтракать. Эрот, уже пресыщенный суетою, которой нельзя было избежать в гостинице, согласился, но на том условии, чтобы к завтраку не готовили ничего, кроме двух яиц: он поест, не присаживаясь, и — на коня. Главкоплут обещал. Но когда Эрот явился, подали цыпленка. Гость был возмущен и, кроме яиц, ни к чему не прикоснулся. Не дожидаясь конца застолья, он удалился в сопровождении нескольких ученых друзей. Не знаю как, но запах этого цыпленка дошел до ноздрей сикофантов<sup>425</sup>. Они распустили слух такой страшный, будто десять человек умерли, отравленные ядом. И не только Элевтерополь загудел в тревоге — почти в тот же самый день молва перепорхнула в другие города, в трех днях пути от Элевтерополя, и, как всегда случается, добавила к правде выдумку — будто Эрот поспешно бежал, а иначе власти притянули бы его к ответу. Это была наглая ложь; на самом деле власти спросили у Главкоплута объяснений и вполне ими удовлетвоались. Но ведь Эрот находился в таком положении, что мог бы есть мясо даже у всех на глазах, никому не давая повода к неудовольствию! И в том же городе весь Великий пост, и особенно по праздничным дням, пьют до одури, кричат, дерутся, играют в кости, да еще рядом с храмом, так что проповеди не слышно; и никто этому не препятствует.

Рыбник. Удивительная превратность суждений!

Мясник. А вот тебе еще одна история вроде этой. Примерно года два назад тот же Эрот ездил лечиться в Фервенцию<sup>426</sup>; я из любезности его сопровождал. Остановился он у старого друга<sup>427</sup>, который в прежнее время часто ему писал и звал к себе. Это человек очень влиятельный, одно из первых лиц в тамошней церкви. Опять появилась на столе рыба, опять Эрот под ударом: против него целый легион недугов — и лихорадка, и головная боль, и

---

совершенно точный портрет Эразма.

<sup>422</sup> Милон Кротонский — знаменитый древнегреческий атлет (VI в. до н. э.).

<sup>423</sup> Элевтерополь — греческий перевод названия Фрейбург (германский город на Рейне). Это название обозначает «свободный город».

<sup>424</sup> Имеется в виду Ульрих Цэзи (1461—1535), более известный под латинизированным именем Удальрикус Цазиус. Он был ученым-гуманистом, преподавал право во Фрейбургском университете. О соответствии вымышленного греческого имени «Главкоплут» немецкому «Ульрих» уже говорилось выше.

<sup>425</sup> Сикофанты — профессиональные доносчики, клеветники (греч.).

<sup>426</sup> Имеется в виду город Констанц на берегу Боденского озера.

<sup>427</sup> Старый друг — уже упоминавшийся Иоганн Ботцхейм, констанцский каноник.

тошнота, и камень в пузыре. Хозяин, хоть и видит, что друг в большой опасности, все же не отваживается дать ему ни крошки мяса. Почему? Он ведь знал, сколько есть к тому оправданий, своими глазами видел папскую грамоту, и все же боялся злых языков. Болезнь между тем усилилась настолько, что и мясо уже не помогло бы.

Рыбник. И что Эрот? Я знаю нрав этого человека: ему легче умереть, чем навлечь на друга хоть малейшее недоброежелательство.

Мясник. Он заперся у себя в комнате и три дня питался по своему обыкновению. На завтрак — одно яйцо и кипяченая вода с сахаром. Как только лихорадка отпустила, сел на коня и уехал, увозя с собою свой припас.

Рыбник. Какой припас?

Мясник. Бугылку миндального молока и мешочек изюму. Когда он вернулся домой, вышел камень, и Эрот целый месяц пролежал в постели. Но и этот его отъезд сопровождался слухами насчет мяса, опять и страшными и пустыми, и слухи долетели до Парижа, обросши по дороге густой бородою невероятных вымыслов. Какое средство предложил бы ты против таких оскорблений?

Рыбник. Пусть каждый опрастает на голову сплетникам свой ночной горшок и после, проходя мимо, отворачивается и зажимает нос: может быть, хоть так они сознают свое безумие.

Мясник. Фарисейское это нечестие надо бы высечь побольнее изобличениями богословов. А что ты скажешь о хозяине?

Рыбник. Мне кажется разумным, если человек понимает, какие ужасные трагедии разыгрывает иной раз народ по самым ничтожным поводам.

Мясник. Ладно, он пусть поступил благоразумно — истолкуем в лучшую сторону опасения достойного мужа. Но как много людей, которые в подобном случае оставляют брата умирать, ссылаясь на обычай Церкви и соблазн для народа, а сами проводят жизнь позорно — в разгулах, в блуде, в роскоши, в безделии, в полнейшем презрении к божественным занятиям, в грабежах, симонии и обманах, — и это у всех на виду, нимало не опасаясь соблазна для народа!

Рыбник. Да, многие таковы, как ты говоришь. То, что они зовут благочестием, на самом деле безмерная и нечестивая жестокость. Но еще более жестоки, на мой взгляд, те, кто не по случайности оставляет человека в опасности, но нарочно созданными опасностями, словно петлями, тянет тела и души на край гибели, да еще безо всякого права!

Мясник. Объясни, что ты имеешь в виду.

Рыбник. Тридцать лет назад жил я в Париже, в одной коллегии, название которой происходит от слова «уксус»<sup>428</sup>.

Мясник. «Уксус» — обозначение для острого ума. Но что я слышу? Рыбник жил в такой едкой коллегии — не мудрено, что он держит в голове столько богословских вопросов! Там, говорят, и стены искушены в богословии.

Рыбник. Так оно и есть. Но я оттуда ничего не унес, кроме тела, отравленного вреднейшими влагами, да бесчисленного множества вшей. Но позволь мне закончить то, что я начал. Правил тогда в коллегии Иоанн Стандонк. Намерения у этого мужа были прекрасные, но рассудительности никакой. Помня собственные молодые годы, проведенные в крайней бедности, он постоянно думал о бедняках, и это достойно самого горячего одобрения. И если бы он помогал неимущим юношам настолько, чтобы для занятий науками было достаточно, а для распушенности ни средств, ни возможностей не было, ато заслуживало бы похвалы. Но он приступил к делу так круто — с постелями настолько жесткими, с пищей настолько грубой и скудной, с трудами и бдениями настолько тяжкими, — что при первом же знакомстве, в течение одного лишь года, многие юноши,

---

<sup>428</sup> Еще один автобиографический эпизод. Коллегия, в которой жил Эразм в 1495—1496 гг., называлась Монтэгно, по-латыни — Collegium Montis acuti, а «уксус» по-латыни — acetum.

счастливо одаренные, подававшие наилучшие надежды, одни погибали, другие слепли, третьи сходили с ума, иные заболели проказою (кое-кого из них я знал сам), а свободен от опасности не был решительно никто.

Разве не очевидно, что это жестокость к ближнему? Но и это еще не все. Он одел учеников в плащ с капюшоном и лишил мясной пищи совершенно. И такого же рода питомцев он разослал по отдаленным краям. Если кто из них уступит своим склонностям в такой же степени, в какой он уступил своим, кончится тем, что подобные люди заполнят весь мир. Ведь сходным образом возникли сперва и монастыри, которые ныне угрожают папам и монархам.

Если ближний образумился и обратился к благочестию, гордиться такою прибылью — благочестиво, но искать славы в одежде или в пище — фарисейство. Облегчать нужду ближнего — благочестие, заботиться, чтобы изобилие благ не выродилось в роскошь, — необходимая мера строгости, но доводить брата своего до болезни, до безумия, до гибели — жестокость, злодейство. Намеренного убийства здесь, может быть, и нет, но убийство налицо. Заслуживают ли прощения подобные убийцы? Да, столько же, сколько врач, который по редкостному своему невежеству убил больного.

Мне скажут: «Никто не принуждает этих юношей к такому образу жизни. Они приходят сами, сами просят места и вольны уйти, если невтерпеж». Скифское возражение! Требовать от молодых людей, чтобы они лучше различали, что им пристало, нежели ученый муж, искушенный в житейских делах и зрелый годами! Так может оправдываться перед волком ловчий, который наживкою заманил изголодавшегося зверя в сети. Или если кто предложит очень голодному человеку нездоровую или даже смертоносную пищу, так ли будет оправдываться он перед умирающим? Тебя, дескать, никто не заставлял, ты добровольно и охотно съел все, что тебе предложили. Необходимость — страшное оружие, и голод — тяжкая мука. Прочь же эти напыщенные речи насчет свободного выбора! Нет, кто использует в своих целях такие муки, тот применяет грубое насилие.

Но не только бедняков губил он своею безжалостной суровостью, нередко похищал он сыновей и у богатых родителей, портил благородное потомство. Сдерживать шаловливый возраст разумными ограничениями — отцовский долг. Но там самой холодной порою зимы хлеба дают в обрез, а пить велят из колодца с дурною водой; впрочем, и одного утреннего холода было бы довольно, чтобы ее отравить. Я знаю многих, которые так расстроили там свое здоровье, что не могут оправиться и поныне. Было несколько спален с земляным полом и трухлявой штукатуркой, в смрадном соседстве с уборной. Кто бы в них ни жил, следствием непременно бывала либо смерть, либо очень опасная болезнь. Я уж не стану говорить о зверских истязаниях, которые выпадали даже ни в чем не повинным. Говорят, что розги — лекарство от разнузданности; разнузданностью эти люди зовут благородные дарования, которые они усердно сламывают, чтобы сделать их пригодными для монастыря. Сколько тухлых яиц там поглощалось, сколько выпивалось дрянного, прокисшего вина! Может быть, все это уже исправлено, но слишком поздно, во всяком случае — для тех, кто погиб или по сей день носит в себе заразу.

Не потому я это вспоминаю, чтобы ненавидел коллегия Иоанна Стандонка, но я счел важным предупредить: иногда под покровом религии человеческая свирепость калечит неопытный и нежный возраст. Насколько там выучивались обходительности и подлинному благочестию, я теперь разбирать не буду. Скажу одно: если б я видел, что всякий, кто надевает капюшон, сбрасывает с себя испорченность и злобу, я бы всех призывал накинуть на голову капюшон. Но дело обстоит иначе, и, стало быть, не ломать надо юные души, приноровляя их к этому образу жизни, но больше направлять к благочестию через воспитание. Стоит мне войти в любой картезианский монастырь, как я тут же замечаю то слабоумного, а то и прямого безумца. Однако давно уж пора от слишком долгого отступления вернуться к главному разговору.

Мясник. Но никакого отступления тут нет — мы как раз и говорили о главном. Разве что тебе пришла новая мысль, которую ты считаешь нужным прибавить к уже сказанному

насчет человеческих установлений.

Рыбник. Мне кажется, что и человеческого закона не исполняет тот, кто равнодушен к цели, которою задавался законодатель. Если кто по праздничным дням воздерживается от ручного труда, и только, но ни службы, ни проповеди не слушает, он оскорбляет праздник, пренебрегая тем, ради чего праздник учрежден. Ведь для того и было воспрещено доброе само по себе дело, чтобы совершалось другое, еще лучшее. Если же кто время, свободное от обычных трудов, посвящает харчевням, блюду, пьянству, дракам и игре в кости, он оскорбляет праздник вдвойне.

Мясник. Я полагаю, что и святые молитвы для того вменены в обязанность священникам и монахам, чтобы через это упражнение они приучались возносить сердца к богу; однако ж кто этой обязанности не исполняет, ставит себя под угрозу. Но если кто лишь языком бормочет слова, не заботясь вникнуть сердцем в то, что произносит, если он не старается изучить Писание, без которого то, что он произносит, и понять-то невозможно, он и в чужих и в собственных глазах достойный муж.

Рыбник. Мне знакомо немало священников, которые считают неискупимым грехом опустить любую часть молитв или воззвать по ошибке к Богородице, когда надо было воззвать к святому Павлу. И они же считают безделицею кости, блуд и пьянство, одинаково запрещенные и божественными законами, и человеческими.

Мясник. И я знаю многих, которые скорее примут смерть, чем согласятся служить у алтаря, если хотя бы случайно отведали пищи или, прополаскивая рот, проглотили несколько капель воды. Но они же признавались, что имеют врагов, которых охотно убили бы, если бы представился случай, и с такими чувствами они не страшились приближаться к святому Христову престолу.

Рыбник. Между тем служить натошак — человеческое правило, а изгнать гнев из души, прежде чем приблизишься к святому престолу, — божий закон.

Мясник. А как превратно мы судим о ложной клятве! Считается опозоренным тот, кто утверждал, будто возвратил долг, а его уличили во лжи. Но никто не обвинит в клятвопреступлении священника, который открыто ведет распутную жизнь, хотя торжественно клялся хранить чистоту.

Рыбник. Почему ты не споешь эту песню викарным епископам, которые клянутся перед алтарем, что знают всех, кого предполагают посвятить в сан, — что всё это люди пригодные и по возрасту, и по знаниям, и по нравственным качествам, хотя иной раз между ними едва найдутся двое или трое сносных, а большинство и для плуга-то едва пригодно!

Мясник. Того, кто по какой-либо причине принесет ложную клятву, наказывают, а беспричинная, хотя и ложная на каждом третьем слове, никому не возбраняется.

Рыбник. Эти клянутся неумышленно, ненароком.

Мясник. Под тем же предлогом можно выгораживать того, кто убьет человека ненароком. Ложно клясться не дозволено ни в шутку, ни всерьез. И убийство в шутку — злодеяние гнуснее, чем если кто убил из гнева.

Рыбник. Что, если бы тою же мерою мерили клятвы государей при восшествии на престол?

Мясник. Все это до крайности серьезно, но происходит словно бы по обычаю, и потому клятвы не считаются за клятвы. И с обетами та же беда. Брачный обет, бесспорно, принадлежит к божественному праву, однако ж расторгается принятием монашеского чина, которое установлено людьми.

Рыбник. Нет обета святее того, что произносится при крещении. И, однако, кто переменит платье или место<sup>429</sup>, того, словно убийцу родного отца, разыскивают повсюду, схватывают, сажают в тюрьму, а иногда и казнят, защищая честь ордена, но те, чья жизнь во всем противна крещальному исповеданию, кто всецело предан мамоне, чревоугодию и

---

<sup>429</sup> То есть бежит из монастыря.

блеску мира сего, пользуются уважением, их не обвиняют в нарушении обета, не бранят, не зовут отступниками и причисляют к христианам.

Мясник. Сходным образом судят и о добрых и дурных поступках, и о том, что служит порукою блаженству. Каким бесславием покрывает себя оступившаяся девица! Но насколько более преступен лживый и злой язык или душа, изъеденная ненавистью и завистью! Есть ли место, где бы самое безобидное воровство не каралось тяжелее прелюбодеяния? Никто по доброй воле не водит знакомства с человеком, однажды замаранным позором кражи, а дружба с прелюбодеем — прекрасная вещь. Никто не удостоит выдать дочь за палача, который служит законам и получает от города жалование. Но мы не гнушаемся свойства с солдатом, который сплошь да рядом нанимается на военную службу против воли родителей, а иной раз и вопреки запрету властей. Он по уши погряз в блуде, в грабежах, в святотатстве, в убийствах и других преступлениях, которые обычно совершаются либо во время самой службы, либо по пути на войну, либо на возвратном пути, — и его мы принимаем в зятя, ему, который хуже любого палача, дарит горячую любовь девица, мы даже толкуем о благородстве, хотя добыто оно злодействами. Кто украл медный грош, — болтается на виселице; кто обирает многих порчею монеты, монополией, ростовщицеством и тысячею других коварных приемов, — в числе первых людей государства.

Рыбник. Кто поднесет яда кому-нибудь одному, отвечают перед законом как отравители. Кто губит народ отравленным вином или испорченным маслом, от наказания свободны.

Мясник. Я знаю монахов до того суеверных, что им кажется, будто они в когтях дьявола, если нет на них священного облачения, хотя бы и по случайности, но отнюдь не страшатся тех же когтей, если лгут, клеветают, пьянствуют, ненавидят ближнего.

Рыбник. Очень многое в этом роде можно наблюдать и у нас, незнатных и неученых. Мы не верим, что наш дом защищен от ярости злых духов, пока не запасемся святою водой, освященными в церкви зеленью и свечами, — и мы не страшимся за свое жилище, где каждый день на все лады бросают вызов богу и чтут дьявола.

Мясник. Как много есть людей, которые больше уповают на заступничество Девы Марии или святого Христофора, чем самого Христа! Мать чтут образами, свечами и песнопениями; Христа грубо оскорбляют нечестивою жизнью. Моряк в опасности чаще взывает к Богородице, или к Христофору, или еще к кому-нибудь из святых, чем ко Христу. Мы верим, что умиливали святую Деву, если вечером пропели песнь «Радуйся, Царица», не понимая толком, что поем; а нам бы лучше призадуматься, как бы она не сочла, будто мы над нею насмехаемся, раз весь день и изрядную часть ночи проводим в непристойном пустословии, в пьянстве, в занятиях, которые и назвать-то стыдно.

Рыбник. Так и солдату в опасности скорее приходит на ум Георгий или Варвара, чем Христос. Далее, хотя нельзя угодить никому из святых сильнее, чем подражая деяниям, которыми сами они угодили Христу, об этом мы несколько не заботимся. Мы убеждены, что Антоний питает особую к нам благосклонность, если откармливаем в его честь несколько свиней, если на дверях или на стенах дома красуется его изображение со свиньею, с огнем и с колокольцем; и мы не сознаем, что скорее нам надо страшиться, как бы он не обрушил своего гнева на дом, где правят пороки, которые всегда были отвратительны святому мужу. Мы отсчитываем святой Деве молитвы и приветствия; лучше бы мы отсчитывали ей в угоду сломленное самодовольство, подавленные страсти, прощение обид. Вот какие песни приятны матери Христовой, вот чем можно заслужить милость обеих.

Мясник. И больной в опасности скорее вспоминает Роха или Дионисия<sup>430</sup>, чем Христа — единственное спасение человек. И даже те, кто толкует с кафедр Святое писание,

---

<sup>430</sup> Святой Рох (Рок) из Монпелье (1295—1327) прославился бескорыстным и преданным уходом за больными чумой. Но в XVII в. комментаторы Эраима ия числа рьяных антикатоликов уверяли, что святой Рох особенно хорошо исцеляет сифилитиков, а не чумных. Святой Дионисий (III в.) — «апостол Галлии», святой-покровитель Франции; фигура, по-видимому, чисто легендарная.



которое без наития свыше никому нельзя ни понять правильно, ни с пользою преподать, предпочитают взывать к помощи Богородицы, чем к самому Христу или к духу Христову. А кто посмеет хоть заикнуться против этого обычая, признанного похвальным, навлечет на себя подозрение в ереси. Но похвальнее был древний обычай, которого держатся Ориген, Василий, Златоуст, Киприан, Амвросий, Иероним, Августин: к духу Христову они взывают постоянно, Богородицу о подмоге не молят ни разу. И никто не гневается на людей, которые дерзнули переменить столь святой обычай, почерпнутый из учения Христа и апостолов, из примера святых отцов.

Рыбник. Подобное заблуждение владеет многими монахами, которые твердо уверены, что Бенедикт к ним благосклонен, покуда они носят его плащ и капюшон; впрочем, я не думаю, чтобы этот муж носил когда-либо такое просторное и дорогое платье. А гнева Бенедикта они не опасаются, даже если жизнь их не имеет ничего общего с жизнью святого Бенедикта.

Мясник. Кто не снимает пепельного цвета рясы и веревочного пояса, тот Франциску родной брат. Но сравни жизнь того и другого — нет ничего более несхожего. Я говорю о большинстве францисканцев, не о всех подряд. И это применимо к любому из орденов. Превратные суждения порождают превратные упования и дурные соблазны. Пусть только выйдет на люди францисканец в кожаном поясе, потерявши случайно свою веревку, или августинец в шерстяном поясе, или пусть выйдет распоясанный, кто обычно подпоясан, — какое поднимется возмущение, какие страхи, что беременные выкинут, если увидят это зрелище! И из-за таких пустяков какой ущерб братской любви, какая черная ненависть, какая ядовитая вражда! Против этого громко предупреждает господь в Евангелии и не менее усердно — апостол Павел; против этого надо бы ополчиться богословам и проповедникам.

Рыбник. Конечно, но многим среди них выгодно, что народ именно таков, каков он есть, да и государи тоже, и епископы. А иные — так и сами ничуть не умнее народа; иные же умнее, но скрывают свой ум, больше заботясь о собственном чреве, чем о Христе. Вот и получается, что народ, совершенно развращенный превратным и суждениями, уповаает на то, в чем явная опасность страшится того, в чем опасности никакой, предается отдыху, когда надо идти вперед, устремляется туда, откуда следует отступать. И если ты пробуешь хоть сколько-нибудь расшатать эту дурную постройку, раздаются крики, что ты вызываешь мятеж; как будто это мятеж, когда с помощью лучших лекарств пытаешься исцелить больного, которого долго пользовал невежественный врач, обратив недуг чуть ли не во вторую натуру. Но довольно жалоб — все равно им нет конца. И потом опасно, как бы народ не проведал о нашем разговоре и не сложил новую поговорку, насчет того, куда занеслись рыбник с мясником.

Мясник. А я отвечу старинною поговоркой:

*Часто и зеленик взмолвит разумное слово.*

Недавно я рассуждал о том же самом за обедом, и, как назло, случился подле какой-то оборванец, вшивый, бледный, сморщенный, усохший, на голове три волоса, как разевает рот, чтобы заговорить, зажмуривает глаза. Оказалось, что это богослов. Он обозвал меня учеником Антихриста и много еще чего наболтал.

Рыбник. Ну, а ты что? Онемел?

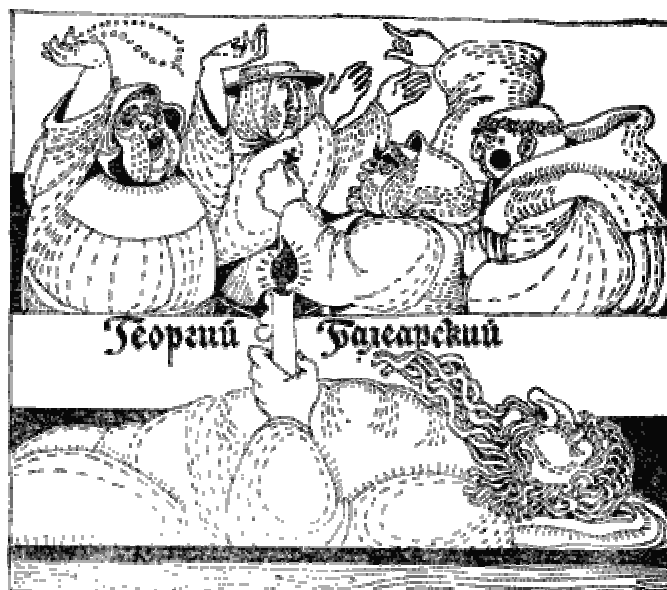
Мясник. Я ему пожелал хоть крошку здравого смысла в гнилых мозгах, если только вообще у него есть мозги.

Рыбник. Хотелось бы послушать и эту историю, всю по порядку.

Мясник. Услышишь, если придешь ко мне позавтракать в четверг. Будет телятина — отбивная, запеченная в тесте, такая нежная, что хоть не жуй, а высасывай.

Рыбник. Приду, но на том условии, чтобы в пятницу ты завтракал у нас. Ты убедишься, что не всегда рыбники кормятся тухлою рыбой, — можешь не сомневаться.

## Похороны



### Маркольф. Федр

Маркольф. Откуда, Федр? Не из пещеры ли Трофония<sup>431</sup>?

Федр. Почему ты так решил?

Маркольф. Потому что ты печален, взерошен, не-прибран, мрачен — против обыкновения. Словом, нисколько не оправдываешь своего имени<sup>432</sup>.

Федр. Кто пробудет долгое время в мастерской медника, чернеет лицом. Стоит ли удивляться, если, столько дней пробыв подле двух умирающих, а после проводивши их в могилу, я сегодня грустнее обыкновенного? Особенно когда оба были мне очень дороги?

Маркольф. О ком ты говоришь?

Федр. Ты знал Георгия Балеарского?

Маркольф. Только по имени. В лицо не знал.

Федр. Другой тебе вовсе незнаком. Звали его Корнелий Монтий, и нас много лет связывала самая тесная дружба.

Маркольф. Мне ни разу не случалось видеть, как человек умирает.

Федр. А мне — чаще, чем хотелось бы.

Маркольф. Верно ли, что смерть так страшна, как толкуют люди?

Федр. Путь к смерти тягостнее, чем сама смерть. И кто выкинет из души этот страх перед нею и ее образ, освобождает себя от большого зла. Коротко сказать, все мучительное, что есть и в болезни, и в смерти, переносится намного легче, если целиком предаться воле божьей. Что же до ощущения смерти в миг, когда душа уже отделяется от тела, я думаю, его

<sup>431</sup> Трофоний — легендарный строитель, соорудивший вместе с братом, Агамедом, храм Аполлона в Дельфах. Они строили также сокровищницу для царя Беотии (область Средней Греции) и оставили тайный, никому, кроме них, не известный лаз, чтобы красть сокровища. Агамед попался в ловушку, и Трофоний, опасаясь, что тот выдаст и его, отсек брату голову. Тогда сама земля покарала злодеи — поглотила его живым. На этом месте осталась глубокая пещера, или трещина в земле, и там возник оракул Трофония. Вопрошающие Трофония должны были проходить через какие-то ужасные испытания, а те, кто опускался в пещеру без дозволения жрецов, умирали от страха.

<sup>432</sup> Федр по-гречески — «светлый», «радостный».

либо нет вообще, либо оно едва различимо: природа заранее усыпляет и притупляет все чувства.

Маркольф. Мы родимся, совсем ничего не чувствуя.

Федр. Зато мать чувствует.

Маркольф. Почему ж умираем не так же точно? Почему богу было угодно сделать смерть такой мучительной?

Федр. Роды он пожелал сотворить тяжелыми и опасными для матери, чтобы она горячее любила ребенка, а смерть пожелал сделать ужасной для каждого, чтобы люди не налагали на себя руки. Ведь и теперь-то сколько самоубийств — что же было бы, если бы в смерти не заключалось ничего ужасного, как по-твоему? Всякий раз, когда хозяин высек бы слугу или даже отец — несовершеннолетнего сына, когда жена рассердилась бы на мужа, или погибло богатство, или приключилось еще что-нибудь, тягостное для души, люди тотчас бросались бы к петле, к мечу, к реке, к обрыву, к яду. А жестокость смерти заставляет дорожить жизнью, в особенности когда вспоминаешь, что жизни стоит только покинуть пас — и ни один врач ее не вернет. Впрочем, как не все рождаются одинаково, так не все одинаково и умирают. Иных без промедления избавляет скорая смерть, иные долго и медленно чахнут. Одержимые сонною болезнью и укушенные аспидом погружаются в сон и умирают, не помня себя. Однако я пришел к выводу, что нет смерти настолько жестокой, чтобы ее нельзя было перенести, если ты решил уйти мужественно.

Маркольф. Какая из этих двух смертей показалась тебе более достойной христианина?

Федр. Мне кажется, что Георгий умер почетнее.

Маркольф. Как? И в смерти есть свое честолюбие?

Федр. Никогда я не видел, чтобы два человека умирали так несходно друг с другом. Если у тебя есть время, послушай, я опишу кончину обоих, и ты сам решишь, какая смерть желаннее для христианина.

Маркольф. Не сочти за труд, расскажи, очень тебя прошу! Меня и самого мало что на свете так занимает\*

Федр. Тогда сначала выслушай про Георгия. Признаки смерти сделались уже очевидны, но сонм врачей, которые долго лечили больного, скрыл безнадежность его состояния и потребовал жалования.

Маркольф. Сколько было врачей?

Федр. Десять, иной раз двенадцать, но никогда не менее шести.

Маркольф. Это и здорового убить хватило бы!

Федр. Получив денежки, они тайно сообщают близким, что смерть неподалеку и что надо озаботиться всем, относящимся ко спасению души, ибо на телесное здоровье надежды больше нет. Через ближайших друзей мягко внушают и больному, чтобы попечение о теле он предоставил богу, а сам думал и заботился лишь о том, как благополучнее расстаться с этим миром. Тут Георгий устремил удивительно грозный и суровый взгляд на врачей, точно негодуя, что они от него отступились. Те отвечали, что они врачи, а не боги: все, на что способно их искусство, было исполнено, а против роковой необходимости любое врачевание бессильно. С этими словами они выходят в соседнюю комнату.

Маркольф. В чем дело? Не торопятся уйти, даже получив плату?

Федр. Между ними не было согласия насчет природы болезни. Один утверждал, что это водянка, другой — что тимпанит, третий — что язва в кишках, и так каждый называл другой недуг. Все время, что они пользовали больного, они спорили, не переставая.

Маркольф. Счастливый больной! Повезло ему.

Федр. Дабы завершить эту тяжбу, они просят через супругу, чтобы им позволили вскрыть мертвое тело: во-первых, это почетно и уже ради одного почета принято в знатных домах, во-вторых, это будет на пользу многим и, значит, умножит число заслуг усопшего, и, в-третьих, они, врачи, на свой счет закажут тридцать заупокойных обеден, которые будут полезны покойнику. Умиравший долго сопротивлялся, но наконец уступил вкрадчивым речам супруги и близких. После этого врачебный отряд удалился: им, видите ли, не должно

быть свидетелями смерти или принимать участие в погребении — ведь они помощники жизни! Немедля посылают за Бернардином, мужем, как тебе известно, почтенным, надзирающим над францисканцами, чтобы он принял исповедь. Едва исповедь завершилась, как в доме уже началось коловоращение четырех орденов, которые принято называть нищенствующими.

Маркольф. Столько коршунов на один труп?

Федр. Потом позвали приходского священника, чтобы совершить соборование и предложить умирающему священный символ тела господня.

Маркольф. Благодетиво.

Федр. Но тут едва-едва не вспыхнула кровавая битва меж священником и монахами.

Маркольф. У постели больного?

Федр. И даже на глазах у Христа.

Маркольф. Чем же было вызвано такое возмущение, да еще так внезапно?

Федр. Когда священник узнал, что больной уже исповедался францисканцу, он объявил, что и таинства соборования не совершит, и не причастит, и погребения не допустит, если не услышит исповеди собственными ушами: пастырь-то он, и ответ за овечек перед господом держать ему, а это невозможно, если он-то как раз и не ведает, что скрыто у них в сердце.

Маркольф. И что же? Разве не признали, что он прав?

Федр. Нет, не признали, по крайней мере — монахи. Все они шумно возражали, особенно Бернардин и доминиканец Винцентий.

Маркольф. И как они возражали?

Федр. Бранили священника последними словами, называли его ослом, годным лишь на то, чтобы быть пастырем у свиней. «Я, — кричал Винцентий, — бакалавр богословия, скоро буду лицензиатом, а там и доктором стану<sup>433</sup>! А ты едва Евангелие по складам разбираешь — куда тебе исследовать тайны сердца? Если уж ты такой любопытный, вынюхивай, чем занимаются дома твоя женка и ублюдки!» И много еще чего наговорил, да только повторять стыдно.

Маркольф. Ну, а священник? Промолчал?

Федр. Промолчал? Так же, как кузнечик, которого поймали за крыло! «Я, говорит, таких бакалавров, как ты, и еще намного лучше из бобовой соломы свяжу! Основатели ваших орденов, Доминик и Франциск, — где это они учились философии Аристотеля, или доказательствам Фомы<sup>434</sup>, или рассуждениям Скота? где удостоились звания бакалавра? Вы вкравшись в мир, еще полный доверия к вам, но тогда вы были немногочисленны и смиренны, а иные даже и образованны и благочестивы; вы начали вить гнезда в деревьях и селах, но скоро перебрались в самые богатые города и в каждом выбирали самое лучшее место. Столько есть деревень, которые не могут прокормить своего пастыря, — там бы вашей братии и трудиться, но теперь вас не сыщешь нигде, кроме как в палатах у богатей! Вы хвастливо ссылаетесь на пап, по наши особые права ничего не стоят, пока есть епископ, пастырь или его заместитель. Покуда я цел и невредим, никто из вас не взойдет на кафедру в моем храме. Я не бакалавр, но не был бакалавром и святой Мартин, а епископом был. Если мне и недостает учености, не у вас ее занимать. Неужели, по-вашему, мир и сейчас так глуп, чтобы, завидев облачение Доминика или Франциска, верить, будто и святость их тут же, под этой одеждою? И разве ваше дело, как я распоряжаюсь в своем доме? Как распоряжаетесь вы

---

<sup>433</sup> Бакалавр — первое ученое звание, которое получал студент, успешно завершив курс наук в университете. Лицензиат — обладатель лицензии, разрешения преподавать во всех университетах, которое выдавалось после докторских испытаний (диспута). Лицензия давала право и на возведение в докторскую степень, но это требовало громадных расходов, и многие оставались лицензиатами на всю жизнь.

<sup>434</sup> Святой Фома Аквинский, или Томмазо из Аквино (1225—1274) — один из крупнейших богословов и философов средних веков.

в своих логовах, как обходитесь с монахинями — это даже народ знает. А уж как далеко до чистоты и достоинства домам богачей, где вы столь частые гости, — это тоже известно всем и каждому».

Остальное, Маркольф, я не смею тебе пересказать; в общем он честил достопочтенных отцов без малейшего почтения. И не было бы этому конца, если бы Георгий не дал знака рукою, что хочет сказать слово. Насилу добились, чтобы распря поутихла. Тогда больной промолвил: «Да будет меж вами мир. Тебе, моему священнику, я исповедуюсь еще раз. После, прежде чем ты покинешь мой дом, тебе заплатят и за колокольный звон, и за погребальные песнопения, и за памятник, и за похороны? я не допущу, чтобы у тебя остался хоть малейший повод на меня жаловаться».

Маркольф. Надеюсь, священник не отклонил такие справедливые условия?

Федр. Нет. Он только поворчал еще немного насчет исповеди. «Что за нужда, говорит, утомлять и больного и священника, повторяя одно и то же? Если б он вовремя исповедался мне, то и завещание, наверно, составил бы безупречное, а теперь вы за все в ответе...» Справедливость больного очень не понравилась монахам, которые негодовали, что часть добычи уплывает в руки священника. Но тут вмешался я и приглушил спор. Священник совершил соборование, дал больному чело господне и, получив деньги, удалился.

Маркольф. Значит, вслед за бурей наступила тишь?

Федр. Наоборот: одну бурю сразу сменила другая, еще более свирепая.

Маркольф. А причина какая?

Федр. Сейчас услышишь. В дом стеклись четыре нищенствующих ордена, и к ним прибавился еще пятый — крестоносцев. Против этого последнего и восстали те четыре с великим возмущением, словно законные сыновья против незаконного: «Виданное ли это дело — повозка о пяти колесах? Какая наглость — требовать, чтобы и нищенствующих орденов было больше, чем евангелистов! Тогда уж ведите сюда всех нищих, со всех мостов и перекрестков!»

Маркольф. А что крестоносцы в ответ?

Федр. В свою очередь, спросили, как двигалась вперед повозка Церкви, когда не было ни одного нищенствующего ордена, как — потом, когда был один, как когда три? «Число же евангелистов, говорят, не больше имеет общего с нашими орденами, чем с игральной костью, у которой со всех сторон четыре угла. Л кто присоединил к нищенствующим августинцев<sup>435</sup>, кто кармелитов? Когда просил милостыню Августин или пророк Илья?» (Те считают их основателями своих орденов.) Так они гремели и громыхали, но выстоять в одиночку против четырех армий не смогли и отступили, сыпля угрозами.

Маркольф. И тогда, наконец, просияла тишина.

Федр. Ничего подобного. Союз против пятого ордена превратился в бой гладиаторов. Францисканец с доминиканцем настаивали, что ни августинец, ни кармелит — не подлинные нищие, а незаконнорожденные или подкидыши. Препирались так злобно, что я уже боялся, как бы до драки не дошло.

Маркольф. И больной это терпел?

Федр. Дело происходило не возле его постели, а в зале рядом со спальнею. Но все голоса долетали до больного, потому что монахи не шептались, но трубили во все трубы и вообще, как ты знаешь, слух у больного всегда обостряется.

Маркольф. Чем же кончилась война?

Федр. Больной через супругу объявил им, чтобы они успокоились и что он уладит их раздор. Он попросил августинцев и кармелитов удалиться, обещав, что ни малейшего ущерба им это не нанесет: сколько получают остающиеся, ровно столько же будет послано на дом уходящим. А в похоронах он велел участвовать всем орденам, и пятому тоже, чтобы денег

---

<sup>435</sup> Монашеский орден августинцев не следует путать с многократно упоминавшимися выше августинскими канониками. Первоначально (в XII в.) августинцы действительно были не нищими проповедниками Евангелия, но рассеянными по разным областям Италии отшельниками.

всем досталось поровну; но общего поминального застолья просил не устраивать, чтобы не вышло новой ссоры.

Маркольф. Хозяйственный был муж и распорядительный, если, даже умирая, умудрился уладить столько дел.

Федр. Разумеется! Ведь он много лет командовал войском, а там ежедневно возникают такие же шумные несогласия между отрядами.

Маркольф. Значит, он был богат?

Федр. Очень.

Маркольф. Но богатство было дурное, нажитое, как всегда, грабежом, святотатством, вымогательством?

Федр. Да, так обычно поступают начальники войска, и я не решился бы поклясться, что мой друг был иных правил. Однако, судя по тому, что я о нем знаю, он скорее умножал свое состояние умением, чем насилием.

Маркольф. Как так?

Федр. Он был силен в арифметике.

Маркольф. И что с того?

Федр. А то, что перед главнокомандующим насчитывал до тридцати тысяч солдат, тогда как их едва набиралось семь тысяч. И многим ничего не платил.

Маркольф. Замечательная арифметика!

Федр. Затем он искусно затягивал войну, выговаривая себе ежемесячную плату и с вражеских и дружественных городов и сел: с врагов — за то, что они не страдают от враждебных действий, со своих — за то, что им разрешается хранить мир с врагами.

Маркольф. Узнаю обычный солдатский нрав. Но ты продолжай свой рассказ.

Федр. Итак, Бернардин и Винцентий, каждый с несколькими товарищами по ордену, остались подле больного. Прочим припасы послали домой.

Маркольф. А между оставшимися на карауле согласие было полное?

Федр. Не совсем. И те и другие хрюкали что-то насчет своих преимуществ, дарованных папскими грамотами, но, чтобы не расстроить всю игру, делали вид, будто не слышат друг друга. Тут уже принимают меры предосторожности, связанные с завещанием, и подтверждается договор, об условиях которого успели столковаться заранее.

Маркольф. Это мне любопытно услышать.

Федр. Я объясню в общих чертах, потому что история очень долгая. У Георгия была супруга тридцати восьми лет, женщина вполне достойная и умная, двое сыновей, один девятнадцати лет, другой пятнадцати, и две дочери, обе еще малолетние. Завещанием предусматривалось, чтобы жена, — поскольку поступить в монастырь она отказалась наотрез, — надела плащ бегинки (это что-то среднее между монахиней и мирянской). Старший сын, которого тоже не удалось склонить к монашеству...

Маркольф. Ну, конечно: старую лису в силки не поймать!

Федр... сразу после похорон должен был отправиться в Рим и там, сделавшись по особому дозволению папы священником раньше законного возраста, каждый день в течение целого года служить по отцу заупокойные службы в Ватиканском соборе, а каждую пятницу всходить на коленях по священной лестнице Латеранского храма.

Маркольф. Это сын принял охотно?

Федр. Так же охотно, как осел, на которого взваливают поклажу обманом. Младшему сыну предстояло посвятить себя святому Франциску, старшей дочери — святой Кларе, младшей — Катерине Сиенской. Вот все, чего удалось добиться, поначалу же на уме у Георгия было другое: чтобы покрепче обязать бога услугами, он решил разделить пятерых остающихся в живых меж пятью нищенствующими орденами. Старались что было сил, но зрелый возраст супруги и старшего сына ни угрозам, ни лстивым уговорам не уступил.

Маркольф. Это все равно что лишить наследства.

Федр. Все имущество разделялось так, что, по изытию расходов на похороны, одна доля отходила супруге. Половина этой суммы предназначалась ей на пропитание, другая

половина — той обители, которую она для себя выберет; если ж затем она передумает и уйдет, деньги остаются обители. Вторая доля — старшему сыну, с тем, чтобы ему немедленно были выплачены деньги на дорогу, на покупку папской грамоты и на год жизни в Риме. Если ж и он переменит свое намерение и откажется от посвящения в сан, его долю следует поделить между францисканцами и доминиканцами. Боюсь, что так оно и будет, до того противно ему священство. Две доли отходят монастырю, который примет младшего сына, и еще по две — монастырям, которые примут дочерей, но на том условии, что если впоследствии юноша или девушки не пожелают произнести монашеских обетов, деньги будут возвращены полностью. Одна доля — Бернардину и одна — Винцентию; полдоли — картезианцам, за сопричастность ко всем добрым делам, которые предпринимает или предпримет орден в целом. Последние полторы доли надо распределить меж тайными бедняками, которых Бернардин и Винцентий сочтут достойными такого благодеяния.

Маркольф. По обычаю законоведов ты должен был бы уточнить: «бедняками мужеска и женска пола».

Федр. Итак, оглашают завещание, и договор утверждается в следующих словах: «Георгий Балеарский, подтверждаешь ли ты, живой и в здравом уме, это завещание, которое уже давно составил в согласии со своими намерениями?» — «Подтверждаю». — «И это твоя последняя неперемнная воля?» — «Да». — «Назначаешь ли меня и бакалавра Винцентия исполнителями твоей последней воли?» — «Назначаю». Велят снова подписаться.

Маркольф. Как же он смог?

Федр. Бернардин водил рукою умирающего.

Маркольф. И что он написал?

Федр. «Гнев святого Франциска и святого Доминика да почиет на том, кто попытается что-либо здесь изменить».

Маркольф. А он не опасался, что завещание может быть опротестовано как противоречащее долгу завещателя?

Федр. Иски такого рода не рассматриваются, если имущество посвящается богу, да ни у кого и желания нет вступить с богом в тяжбу... После этого супруга и дети подают больному правую руку и клянутся исполнить условия, которые они приняли. Потом начинаются переговоры насчет погребения, и снова возникает спор. Наконец верх берет мнение, чтобы от каждого из пяти орденов присутствовало по девяти братьев — в честь пяти книг Моисеевых и девяти ликов ангельских<sup>436</sup>. Каждый орден пусть шествует со своим крестом во главе и с погребальными песнопениями. Помимо близких, пусть наймут тридцать (по числу сребреников, уплаченных за господа) факельщиков в трауре и пусть, почета ради, сопровождают гроб двенадцать плакальщиц (это число посвящено апостольскому сонму). За погребальными носилками пусть следует конь Георгия в траурной попоне, с головою, притянутой к коленям, так, чтобы казалось, будто он ищет хозяина на земле. На покрывалах, что свешиваются по обе стороны носилок, должны быть гербы, а равно — и на каждом факеле, на каждом траурном облачении. Тело пусть покоится справа от главного алтаря, в мраморной гробнице высотой над полом в четыре фута; сверху пусть возлежит сам усопший, высеченный из паросского мрамора и с головы до пят вооруженный — шлем с гребнем (гребень в виде шеи пеликана), в левой руке щит с гербом (три золотых кабаньих головы на серебряном поле), у бедра меч с позолоченным эфесом, золоченый и убранный самоцветами пояс, на ногах золотые шпоры (он был поистине золотой всадник); у ног пусть вытянется леопард По краям надгробия — надпись, достойная такого мужа. Сердце Георгий велит предать земле отдельно, в часовне святого Франциска. Внутренности поручает приходскому священнику, чтобы тот похоронил их с почетом в часовне, посвященной святой Деве.

<sup>436</sup> В сочинении Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в.) «О небесной иерархии», пользовавшегося в средние века огромной популярностью, ангелы разделяются на девять разрядов (ликов): серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы, ангелы.

Маркольф. Погребение, что и говорить, почетное, но чересчур дорогое. В Венеции любому поденщику оказывают больше почета при самых ничтожных издержках. Цех предоставляет искусно сработанные носилки, и нередко за одним телом идут сотни монахов в траурном облачении.

Федр. Я тоже это видел и смеялся над нелепым тщеславием бедняков. Впереди выступают сукновалы и кожевники, позади поденщики, посредине монахи. Настоящая химера, а не погребальное шествие<sup>437</sup>; вот и здесь то же самое — ты бы со мною согласился, если бы видел эти похороны своими глазами. Георгий не упустил из виду и того, чтобы францисканец с доминиканцем бросили меж собою жребий, кому занять в процессии лучшее место, и чтобы остальные тоже решили дело жребием, — иначе и отсюда мог бы возникнуть беспорядок. Приходскому священнику и его причту место было назначено последнее, то есть впереди всех<sup>438</sup>: ни на что другое монахи не соглашались.

Маркольф. Не только боевые линии умел он выстраивать, но и процессии.

Федр. Предусмотрено было также, чтобы заупокойная служба в приходской церкви сопровождалась музыкою — ради почета. Пока это обсуждали и улаживали, больной вдруг затрясся, и каждый понял, что последний час настал. Итак, к показу готовят заключительное действие.

Маркольф. Значит, это еще не конец?

Федр. Огласили папскую грамоту, которая сулила отпущение всех грехов и полностью избавляла от страха перед чистилищем. Вдобавок была признана законною вся его собственность.

Маркольф. Приобретенная грабежом?

Федр. Во всяком случае — по праву войны и по солдатскому обычаю. Но случайно оказался рядом законовед Филипп, шурин Георгия; он заметил в грамоте место, изложенное не так, как полагается, и заронил подозрение, что все это — подлог.

Маркольф. Совсем некстати. Даже если и была ошибка, ее следовало скрыть, — больной от этого нисколько бы не пострадал.

Федр. Я тоже так думаю. Георгий до того встревожился, что был на грани отчаяния. Тут Винцентий показал, на что он способен. Он велел Георгию успокоиться, утверждая, что обладает властью исправлять и восполнять любые ошибки и пропуски в грамотах. «Если бы случилось так, — промолвил он, — что грамота тебя обманула, я готов немедля заменить твою душу своею, чтобы твоя устремилась к небесам, а моя была отдана преисподней».

Маркольф. Но принимает ли бог такой обмен душами? А если и принимает, казался ли он Георгию достаточно надежным при таком ручательстве? Что, если душа Винцентия и без всякого обмена обречена была аду?

Федр. Что происходило, то я и рассказываю. Так или иначе, а Винцентий своего достигнул: больной заметно приободрился. Потом оглашаются гарантии, обещающие Георгию соучастие во всех делах четырех нищенствующих орденов и еще пятого, картезианского.

Маркольф. Я бы испугался, как бы не угодить в преисподнюю, если придется взвалить на себя такое бремя.

Федр. Я говорю о добрых делах, а они обременяют душу, готовую взлететь, не более чем крылья — птицу.

Маркольф. А дурные свои дела кому монахи отсылают?

Федр. Германским наемникам.

Маркольф. По какому праву?

<sup>437</sup> Химера, в представлении древних греков, — чудовище с головою льва, телом козы и хвостом дракона.

<sup>438</sup> В согласии с евангельским поучением: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» («Евангелие от Матфея», XIX, 30).



Федр. По евангельскому: «Кто имеет, тому дано будет»<sup>439</sup>. Одновременно оглашается число обеден и псалтирей, которые будут сопровождать душу усопшего; число оказалось бесконечным. Потом умирающего снова исповедали и благословили.

Маркольф. И тут он испустил дух?

Федр. Еще нет. На полу расстилают камышовую циновку, так что один конец остается свернутым наподобие изголовья.

Маркольф. Что же дальше?

Федр. Посыпают ее пеплом, но негусто, и кладут больного; сверху накрывают францисканскою рясой, предварительно освятив ее молитвами и святою водой. Капюшон подкладывают под голову (надеть его уже невозможно) и вместе с капюшоном — папскую грамоту и орденские гарантии.

Маркольф. Странный вид смерти.

Федр. Но утверждают, будто злые духи не имеют власти над теми, кто так умирает. Помимо прочих, так, говорят, умерли святой Мартин и святой Франциск.

Маркольф. Но вся их жизнь отвечала такой смерти. Однако рассказывай скорее, что было дальше.

Федр. Больному протягивают изображение креста и восковую свечу. Глядя на протянутый ему крест, больной промолвил: «На войне я привык обороняться щитом. Теперь вот это будет моим щитом, за ним укроюсь от врага». И, облобызав крест, поднес его к левому плечу. А взглянув на свечу, сказал: «Бывало, я отменно владел копьем в бою. Теперь вот это копьё метну я во врага наших душ».

Маркольф. Вполне по-военному.

Федр. Это были его последние слова. Скоро смерть сковала язык и стала перехватывать дыхание. Справа над умирающим склонился Бернардин, слева Винцентий, оба мужи голосистые. Один показывал крест святого Франциска, другой — Доминика. Остальные монахи рассеялись по спальне и мрачно бормотали псалмы. Бернардин оглушительно орал в правое ухо, Винцентий — в левое.

Маркольф. Что именно они кричали?

Федр. Бернардин примерно вот что: «Георгий Балеарский! Если и ныне одобряешь то, о чем мы уговорились, наклони голову вправо!» Наклонил. А Винцентий — свое: «Не бойся, Георгий! За тебя горою стоят Франциск и Доминик! Будь спокоен! Подумай о том, сколько у тебя заслуг, какая грамота от папы! Помни, наконец, что моя душа отдана в залог на случай любой опасности! Если слышишь и это и одобряешь, наклони голову влево!» Наклонил. Потом еще что-нибудь вроде этого и снова: «Если слышишь, пожми мне правую руку!» — пожимает. За такими наклонами головы и пожатиями рук прошло почти три часа. Когда же Георгий перестал откликаться, Бернардин выпрямился и произнес отпущение. Но не успел он договорить, как Георгий испустил дух. Было это среди ночи. Утром сделали вскрытие.

Маркольф. И что обнаружили в мертвом теле?

Федр. Спасибо, что напомнил. В диафрагме застрял осколок свинца.

Маркольф. Откуда он взялся?

Федр. Супруга рассказывала, что Георгий как-то был ранен снарядом из бомбарды, и врачи заключили, что частица жидкого свинца осталась внутри. Потом истерзанное тело кое-как одевают в рясу францисканца. После завтрака совершается погребение — в том порядке, как было решено и постановлено.

Маркольф. Никогда не слыхивал про такую хлопотливую смерть, ни про похороны, такие тщеславные. Но я думаю, ты не собираешься разглашать эту историю?

Федр. Отчего же?

Маркольф. Чтобы не раздражить шершней.

Федр. Опасности нет никакой. Если то, о чем я рассказываю, благочестиво, им самим

<sup>439</sup> «Евангелие от Матфея», XIII, 12.

выгодно, чтобы об этом знал каждый. А если нет — все достойные среди них будут мне признательны: возможно, услышав мой рассказ и устыдившись, иные уже не станут так поступать. Наконец, простодушным это послужит уроком, и они уже не будут вовлечены в подобное заблуждение. Ведь и среди монахов есть люди разумные и подлинно благочестивые; они нередко мне жаловались, что суеверие или бесстыдство немногих навлекает ненависть на целый орден.

Маркольф. Это ты и правильно говоришь, и храбро. Но теперь я хочу узнать, как скончался Корнелий.

Федр. Как жил никому не в тягость, так же точно и умер. Он страдал годичною лихорадкой: она возвращалась ежегодно в одну и ту же пору. На сей раз, либо из-за возраста (ему уже перевалило за шестьдесят), либо по иным причинам, болезнь удручала его сильнее обычного, и, по-видимому, он сам почувствовал, что роковой срок близится. И вот за четыре дня до смерти (это было как раз воскресенье) он отправился в церковь, исповедался у своего священника, выслушал общую проповедь, отстоял обедню. После службы он с благоговением принял тело Христово и пошел домой.

Маркольф. К врачам не обращался?

Федр. Только к одному, да и тот не просто хороший врач, но и замечательный человек. Его зовут Якоб Каструций.

Маркольф. Да, я его знаю. Честнее нет человека.

Федр. Он ответил, что не откажет другу в помощи, но что, по его мнению, скорее надо уповать на бога, чем на врачей. Корнелий это суждение выслушал с такою же бодростью, как если бы ему подали самую твердую надежду на жизнь. Хотя он и всегда, в меру своих средств, был очень щедр к неимущим, теперь все, что можно было отнять у жены и детей, помимо самого необходимого, он разделил между нуждающимися, не теми тщеславными и назойливыми нищими, которые попадают на каждом шагу, но людьми скромными и честными, которые трудятся изо всех сил, борясь с бедностью. Я просил его лучше прилечь и позвать к себе священника, чем изнурять и без того немощное тело. Но он отвечал, что всегда ставил себе одну цель: лучше помогать друзьям, пока это возможно, чем обременять их просьбами об услугах, — и не желает изменять своим правилам в смертный час. Лежал он только последний день и часть ночи, в которую покинул землю. От слабости он опирался на палку или сидел в кресле; на постель опускался редко, и то не раздеваясь, и голову постоянно держал поднятой. Все это время он либо отдавал распоряжения насчет бедняков, главным образом хорошо ему известных или близких соседей, либо читал священные книги, которые пробуждают доверие к богу и свидетельствуют о его к нам любви. Если от усталости не мог читать сам, слушал чтение друга. Часто с удивительным волнением призывал домочадцев ко взаимной любви и согласию, к заботе об истинном благочестии и удивительно ласково утишал их смятение и печаль. Снова и снова повторял им, чтобы они не забыли расплатиться со всеми долгами.

Маркольф. А завещания он разве не составил?

Федр. Задолго до того, когда еще был совсем здоров. Он говорил, что от умирающего не завещания можно ждать, а вздоровещания.

Маркольф. Монастырям или нищим ничего не отказал?

Федр. Ни полушки. «Я, говорит, свое скудное имущество раздавал как мог, а теперь передаю его во владение другим — другие и раздачами займутся. И надеюсь, что они будут раздавать благочестивее, чем это делал я».

Маркольф. И святых мужей не звал, как Георгий?

Федр. Ни единого. Кроме домочадцев и двоих самых близких друзей, подле него не было никого.

Маркольф. Любопытно, что он по этому поводу думал.

Федр. Он говорил, что при своей смерти не желает доставлять хлопоты большому числу людей, чем при рождении.

Маркольф. Я жду окончания твоей истории.

Федр. Сейчас услышишь. Настал четверг. В этот день он не поднялся, испытывая крайнюю истому во всем теле. Пригласили священника, он совершил соборование и снова причастил святых тайн, но уже без исповеди: умирающий объявил, что никаких тревог в душе не осталось. Священник заговорил о погребении — где и как желает Корнелий, чтобы его похоронили. «Хорони меня так, — отвечал умирающий, — как хоронишь христиан самого низшего звания. Мне все равно, где ты положишь это тело, которое в день Страшного суда все равно будет найдено, где бы ты его ни положил. И до погребального шествия мне дела нет». Священник упомянул насчет колокольного звона, насчет тридцати заупокойных обеден, о ежегодных поминальных службах, о папской грамоте, о покупке права на соучастие в заслугах. А он в ответ: «Ах, мой пастырь, мне нисколько не будет хуже, если и ни один колокол не прозвонит. Если ты удостоишь меня хотя бы одной заупокойной обедни, и этого больше чем достаточно. Если есть еще что-либо, чего по обычаю Церкви и без соблазна для слабых духом опустить нельзя, предоставляю это на твое усмотрение. Мне не хочется ни скупать чужие молитвы, ни отнимать у кого бы то ни было его заслуги. Довольно заслуг у Христа, и я верю, что молитвы и заслуги всей Церкви будут мне на благо, если только я живой ее член. В двух грамотах заключена вся моя надежда. Одна — это перечень моих грехов, и глава всех пастырей, господь Иисус, уничтожил ее, прибив ко кресту; другую он сам написал святейшею своею кровью и кровью же скрепил, уверив нас в вечном спасении, если все упования наши возложим на него одного. Итак, да не будет того, чтобы, вооружившись заслугами и грамотами, я призывал господя моего войти в суд с рабом его, ибо я уверен, что не оправдается перед господом ни один из живущих. От господней справедливости взываю к его же милосердию, ибо оно безмерно и неизреченно». После этих его слов священник ушел. А Корнелий, точно обрета великую надежду на спасение, радостный и бодрый велит почитать ему те места из святых книг, что укрепляют надежду на воскресение и на воздаяние бессмертием, как, например, из Исаяи — об избавлении Езекии от смерти<sup>440</sup>, потом главу пятнадцатую из «Первого послания Павла к Коринфянам», потом о смерти Лазаря из Иоанна<sup>441</sup>, но главное — историю страстей Христовых из Евангелий. Как жадно и чутко он слушал, то вздыхая, то складывая руки в знак благодарности, то радуясь и ликуя, а то и прерывая чтение краткой молитвой! После завтрака он задремал ненадолго, а проснувшись, просил почитать из «Евангелия от Иоанна» главу двенадцатую, до конца рассказа<sup>442</sup>. Тут он словно преобразился и исполнился новым духом.

Между тем уже вечерело; он позвал жену и детей и, приподнявшись, насколько хватило сил, сказал им так: «Дорогая моя супруга, что господь прежде сопряг, теперь он же и разлучает, но только телесно и вдобавок на краткий срок. Заботы, любовь и преданность, которые ты привыкла разделять между мною и милыми нашими детьми, теперь целиком перенеси на них. Нет другого способа заслужить большее расположение бога или же мое расположение, чем вырастить, взлелеять и воспитать эти плоды, дарованные богом нашему супружеству, вырастить так, чтобы их считали достойными Христа. Итак, удвой свою благочестивую любовь к ним — в сознании, что и моя доля забот ложится теперь на твои плечи. Если ты так и поступишь, — а я в этом не сомневаюсь, — никто и никогда не назовет их сиротами. Если ты снова выйдешь замуж...» При этих словах жена разразилась слезами и принялась клясться, что никогда и не помыслит о новом браке. А Корнелий ей:

---

<sup>440</sup> «Книга пророка Исаяи», XXXVIII. Царь Езекия тяжело болел, и пророк Исаяя от имени бога объявил ему, что он умрет. Тогда Езекия молился и плакал, и бог пощадил его. Благодарственная молитва Езекии, заключающая ту же главу, принадлежит к числу лучших образцов библейской лирики.

<sup>441</sup> «Евангелие от Иоанна», XI (смерть и воскресение Лазаря).

<sup>442</sup> В начале этой главы рассказывается о пребывании Иисуса в Вифании вместе с воскресенным Лазарем и о торжественном въезде в Иерусалим.

«Возлюбленная сестра моя во Христе, если господь Иисус дарует тебе это намерение вместе с твердостью духа, не упускай небесного дара. Так будет лучше и для тебя, и для детей. Если ж в иную сторону призовет тебя слабость плоти, я знаю, что моя смерть освобождает тебя от супружеских уз, но не от верности, которую ты и за себя, и за меня обязана употребить на заботы об общих наших детях. Что касается брака, пользуйся свободой, которую дозволил тебе господь. Об одном лишь настоятельно тебя прошу: выбери себе мужа такого нрава и сама будь с ним такова, чтобы, либо движимый собственной добротой, либо в ответ на твою обходительность, он был способен любить пасынков. И еще: остерегайся связывать себя каким-либо обетом. Храни себя свободною для бога и для наших детей. Детей воспитывай во всяческом благочестии, но берегись, чтобы они не вступили ни в одну общину или обитель до тех пор, пока возраст и житейский опыт не обнаружат, к какому образу жизни они пригодны». Затем, обернувшись к детям, он убеждал их всегда помнить о благочестии и повиноваться матери, призывал ко взаимной любви и согласию. Договорив, он поцеловал жену, а детей осенил крестным знаменем и пожелал им крепкого разума и Христова милосердия. Потом, обводя взором всех присутствовавших, сказал: «Завтра перед зарею господь, который ожил на рассвете, по милосердию своему удостоит призвать эту душу из могилы тела, из мрака смертности к небесному своему свету. Нежный возраст я не хочу утомлять бесполезным бодрствованием; остальные пусть тоже спят по очереди — будет с меня и одного стража, чтобы читал вслух Писание». На исходе ночи, в четвертом часу, все собрались у его постели, он велел прочитать от начала до конца псалом, который произнес господь на кресте. Потом попросил свечу и крест. Принимая свечу, промолвил: «Господь — мой свет и мое спасение. Кого убоюсь?» Облобызав крест, сказал: «Господь — защитник моей жизни. Пред кем содрогнусь?» Спустя немного он молитвенно сложил руки на груди, возвел глаза к небу и сказал: «Господи Иисусе, прими дух мой», — и закрыл глаза, точно собираясь уснуть. И в тот же миг едва приметно испустил дух. Можно было подумать, что он задремал, а не умер.

Маркольф. Никогда не слышал о смерти, менее хлопотливой.

Федр. Так и в течение всей жизни он никому не доставлял хлопот... Оба были мне друзья. Быть может, я сужу несправедливо, который из двух скончался более по-христиански. Ты человек беспристрастный и разберешься вернее.

Маркольф. Непременно, но только — на досуге.

## Эхо



## Юноша. Эхо

- Юноша. Хочу с тобою кой о чем посоветоваться, если можно.  
Эхо. Можно.  
Юноша. Тебе это не будет накладно.  
Эхо. Ладно.  
Юноша. Но можешь ли и будущее открыть мне, Эхо?  
Эхо. &#917;&#967;&#969;443.  
Юноша. Так ты и по-гречески знаешь? Вот это да!  
Эхо. Да.  
Юноша. Скажи, занятия Муз тебе не противны?.  
Эхо. Дивны!  
Юноша. И тех писателей, что ведут к знанию словесности, изучать надо?  
Эхо. Надо.  
Юноша. Что же ты думаешь о людях, которые поносят эти занятия?  
Эхо. Гнать их!  
Юноша. Но если бы почитатели Муз пеклись еще и о благочестьи?  
Эхо. Если б!  
Юноша. А так бесстыдство немногих на всех кладет скверну.  
Эхо. Верно.  
Юноша. За грехи людей и про науку идет дурная слава.  
Эхо. Право-Юноша. И толпа верит клевете оной.  
Эхо. &#927;&#957;&#959;&#953;! 444  
Юноша. Чем заняты те, кто тратит годы на софистические хитроплетенья?  
Эхо. Пеньем.  
Юноша. Поют, как птички небесные, без смысла и толка?  
Эхо. Колко!  
Юноша. А мне какую идти в жизни дорогой?  
Эхо. Строгой.  
Юноша. Не жениться ли, благослови боже?  
Эхо. Позже.  
Юноша. А что, если жена попадется и нескромная и бесплодная — шутка ль?  
Эхо. Жутко!  
Юноша. Но с такою женой жизнь горше смерти?  
Эхо. Стерпишь.  
Юноша. Может быть, браку предпочесть тонзуру?  
Эхо. Сдуру!  
Юноша. Чем утешаться тому, кто уже взвалил бремя монашества себе на плечи?  
Эхо. Нечем.  
Юноша. Но это беда, коли человек холост!  
Эхо. &#927;&#955;&#969;&#962;. 445  
Юноша. В наши времена каковы по большей части монахи?  
Эхо. Ахи! Ахи!  
Юноша. Чем тогда объясняешь, что многие с благоговением склоняются перед монахом?

---

443 Произносится: «эхо». Здесь: могу (греч.).

444 Произносится «оной». Ослы (греч.).

445 Произносится: «холос». Здесь: бесспорно (греч.).

Эхо. Страхом.  
Юноша. Чего ищет тот, кто домогается прихода?  
Эхо. Дохода.  
Юноша. А кроме денег, у священника доход какой?  
Эхо. Покой.  
Юноша. Что выпадает епископам на долю?  
Эхо. Боля.  
Юноша. А что могло бы напомнить им, какое множество трудов принимает, епископ на себя разом?  
Эхо. Разум.  
Юноша. Значит, если исполнять свои обязанности, как должно, то и священство прекрасно?  
Эхо. Ясно.  
Юноша. Что приобретается при монаршем дворе вскоре?  
Эхо. Горе.  
Юноша. Но немало придворных сулят себе богатые прибитки.  
Эхо. Прытки.  
Юноша. Но люди глядят на них с восхищением, когда они вышагивают с головы до ног в шелке.  
Эхо. Волки.  
Юноша. Изнутри, значит, глиняные, хоть и золотые снаружи?  
Эхо. Хуже.  
Юноша. В твоих глазах и военные поди не выше?  
Эхо. Мыши.  
Юноша. А что скажешь об астрологах, которые предвещают грядущее, утверждая, будто им ведомы все небесные знаки?  
Эхо. Враки.  
Юноша. Грамматики трудятся упорно.  
Эхо. Вздорно.  
Юноша. Что пожелаешь законооведам?  
Эхо. Беды.  
Юноша. Кем я стану, если займусь ремеслом?  
Эхо. Ослом.  
Юноша. Выходит, что все труды худы, каждый в своем роде?  
Эхо. Вроде.  
Юноша. А если останусь верен Музам, буду я счастлив в прочем?  
Эхо. Очень.  
Юноша. Но что наставит меня в благочестии, драгоценнейшем среди качеств нашей природы?  
Эхо. Годы.  
Юноша. А я уже десять лет гну спину над Цицероном!  
Эхо. &#927;&#957;&#949;! 446  
Юноша. Что ты все бранишь меня ослом?  
Эхо. Поделом.  
Юноша. Ты, наверное, имеешь в виду, что скверно налегать на одного Цицерона<sup>447</sup>,

---

446 Осел (греч.).

447 Это первый открытый выпад против фанатиков гуманизма, «Цицероновых обезьян», тупых и слепых в своем педантизме подражателей античным образцам, против тех, кто не желал считаться с требованиями жизни, мертвое предпочитал живому. Два года спустя Эразм опубликовал большой сатирический диалог на эту тему — «Цицеронианец».

забросив остальных писателей как будто нарочно?

Эхо. Точно!

Юноша. Чего же заслуживает человек, который ради Цицерона забыл обо всем на свете?

Эхо. Плети.

Юноша. Если бы я отошел подальше, ты было бы поречистее, правда?

Эхо. Правда.

Юноша. Не по душе мне твои двусложные ответы.

Эхо. Где там!

Юноша. Начал я первый, зато последнее слово твое.

Эхо. Мое.

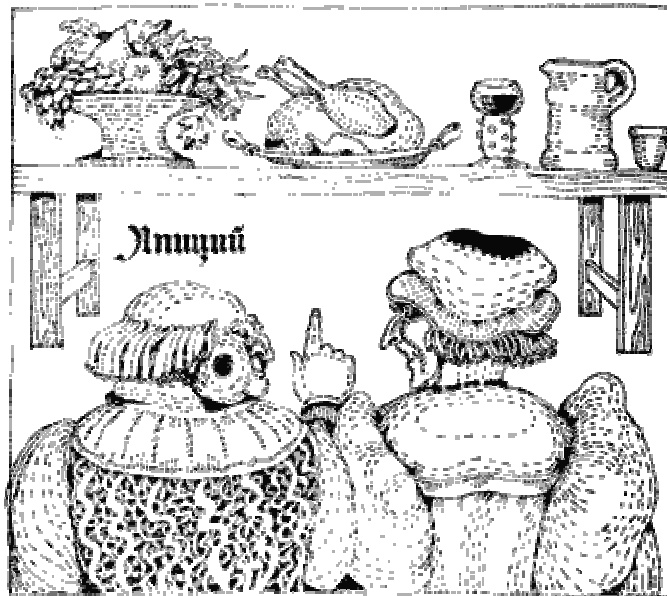
Юноша. Так ты полагаешь, мне хватит разума, чтобы не наделать себе в жизни вреда?

Эхо. Да! Да!

Юноша. Хочешь, чтобы я ушел — не скрывай.

Эхо. Ступай!!

### или пестрое застолье



Спуд. Апиций 448

Спуд. Эй, Апиций, погоди!

Апиций. Не слышу и слышать не хочу.

Спуд. Погоди, говорю, Апиций!

Апиций. Что за докучливый человек такой?

Спуд. У меня важное дело к тебе.

Апиций. И я спешу по важному делу.

Спуд. Куда?

Апиций. К обеду.

448 Спуд примерно можно перевести как «усердный», «серьезный». Апиций — см. прим. к «Разговору нищей братии».

Спуд. Именно об этом я и хотел с тобою поговорить.

Апиций. Сейчас недосуг: твоими разговорами не наешься, а там покамест все съедят.

Спуд. Ты не опоздаешь — я провожу тебя, и только.

Апиций. Ладно, говори, но в двух словах.

Спуд. Я очень хочу устроить такое застолье, чтобы угодить всем гостям, а недовольных чтобы не было ни одного. В этом искусстве ты первый, вот я и обращаюсь к тебе, словно к оракулу.

Апиций. Получай ответ, и вдобавок, по древнему обычаю —

*Хочешь всем угодить? Никому не шли приглашенья.*

Спуд. Но это торжественный пир, мне нужно принять многих сразу.

Апиций. Чем больше назовешь, тем больше будет недовольных. Знаешь ли ты хоть одну комедию, так хорошо написанную и сыгранную, чтобы пришлась по сердцу всему театру?

Спуд. Ну, пожалуйста, Апиций, любимец Кома<sup>450</sup>, помоги мне советом! А я вперед буду чтить тебя, как бога.

Апиций. Тогда вот тебе мой первый совет: не хлопочи о том, что невозможно.

Спуд. О чем именно?

Апиций. Чтобы угодить всем, кто сядет за твой стол. Вкусы слишком разнообразны.

Спуд. Ну, хоть чтобы недовольных было как можно меньше!

Апиций. Зови немногих.

Спуд. Нельзя.

Апиций. Зови равных и подходящих друг к другу умом.

Спуд. И это мне невозможно. Хочешь не хочешь, а придется позвать многих, и самых несходных, — даже людей разных племен и языков.

Апиций. Хм, боюсь, ты не на пир соберешь гостей, а на брань, и легко может выйти та же забава, которая, как рассказывают евреи, приключилась на постройке Вавилонской башни<sup>451</sup>: кто-нибудь попросит холодного, а ему поднесут горячего.

Спуд. Помоги, умоляю! По гроб жизни буду тебе обязан!

Апиций. Что ж, коль скоро выбора нет, в дурных обстоятельствах дам тебе хоть доброе наставление. Веселье за столом во многом зависит от того, как гостей рассадить.

Спуд. Истинная правда!

Апиций. И лучше всего будет, если места распределятся по жребию.

Спуд. Прекрасный совет.

Апиций. Далее, смотри, чтобы блюда не путешествовали вдоль стола, описывая линию вроде буквы «сигмы»<sup>452</sup> или, вернее, вроде змеи, и чтобы не переходили из рук в руки, как миртовая ветвь на пирах у древних<sup>453</sup>.

<sup>449</sup> В стихах (греч.).

<sup>450</sup> Ком — позднеантичный бог-покровитель веселых пиршеств.

<sup>451</sup> По библейскому преданию, люди, у которых был тогда «один язык и одно наречие», решили построить башню высотой до небес; но бог «смешал их язык», так что они перестали понимать друг друга, и «рассеял их... по всей земле» («Бытие», XI, 1—9).

<sup>452</sup> Греческая буква «сигма» —

<sup>453</sup> У греков было в обычае за пиршественным столом петь по очереди, и тот, чья очередь приходила, поднимался с места и брал в руки ветку мирта, а закончив, передавал ее следующему. В «Адагиях» Эразм



Спуд. Как же быть?

Апиций. Каждой четверке гостей ставь три блюда с четвертым посередине — так ребяташки на три ореха кладут четвертый, — и в каждом блюде пусть будет другое кушанье, чтобы всякий мог выбрать то, что ему нравится.

Спуд. Хорошо. А сколько должно быть перемен?

Апиций. Сколько частей в речи оратора?

Спуд. Пять, если не ошибаюсь. 454

Апиций. В пьесе сколько действий?

Спуд. Это я у Горация читал<sup>455</sup>: «Пять, не меньше, не больше».

Апиций. Вот столько же раз и блюда переменишь, чтобы вступлением был суп, а заключение, или эпилог, состояло из разных сладостей и плодов.

Спуд. Какой порядок в переменах ты одобришь?

Апиций. Тот же, что Пирр<sup>456</sup> — в боевом строю.

Спуд. Что ты имеешь в виду?

Апиций. Как в речи, так равно и за столом вступлению приличествует изысканность, а прелесть эпилогу сообщает скорее разнообразие, нежели пышность. Что же до трех средних частей, здесь следует держаться Пирровой науки: на флангах расставь лучшие силы, середину строя займи чем-нибудь попроще. Тогда тебя и в скупости никто не заподозрит, и хвастливое изобилие никому не будет докукой.

Спуд. О еде — довольно. Теперь научи, как пить.

Апиций. Бокалов никому не ставь, но вели слугам, чтобы они разузнали у гостей, какое вино кому по душе, и живо подносили каждому, что он пожелает. Отсюда будет двойная выгода — пить будут и меньше, и с особенным удовольствием, оттого, во-первых, что чаша всякий раз будет налита заново, а во-вторых, и оттого, что никто не станет утолять жажду, которой нет.

Спуд. Совет, поистине, превосходный. Но как бы сделать, чтобы все веселились?

Апиций. Это отчасти в твоих руках.

Спуд. Не понимаю.

Апиций. Ты ведь помнишь:

*«Но прежде — радушье  
Лиц» 457.*

Спуд. Это ты к чему?

Апиций. К тому, чтобы ты встречал гостей радушно и заговаривал с ними весело, всякий раз принаровляя свою речь к возрасту, расположению духа и характеру гостя.

Спуд. Подойду ближе — может, пойму лучше.

Апиций. Ты знаешь языки своих гостей?

Спуд. Почти что всех.

объясняет, что миртовую ветвь брали вместо музыкального инструмента те, кто не умел аккомпанировать себе на лире.

454 Теория красноречия разделяла речь на следующие части: вступление, повествование, расчленение [предмета речи], спор, заключение (эпилог).

455 «Искусство поэзии», 189.

456 Пирр (ок. 318—272 гг. до н. г.) — царь Эпира, крупный полководец, успешно воевавший против Рима.

457 Овидий, «Метаморфозы», VIII, 677—678 (из рассказа о радушии Филемона и Бавкиды, которые принимали в своей убогой хижине богов Юпитера и Меркурия, даже и не подозревая того, кто эти гости).

Апиций. Время от времени заговаривай с каждым на его языке, а чтобы застолье оживляли приятные рассказы, смешивай разные предметы, но лишь такие, которые всем доставляют радостные воспоминания, огорчить же не способны никого.

Спуд. О каких предметах ты толкуешь?

Апиций. У всякого человека особый склад натуры, и эти особенности ты вернее разглядишь сам. Я коснусь немногих случаев, и то в общем. Старики любят вспоминать про то, что многими забыто: они преданы далеким временам, когда были молоды сами. Почтенным матерям семейства приятно освежить в памяти те годы, когда к ним сватались женихи. Моряки и все прочие, кто посещал дальние страны, охотно рассказывают о том, чего никто не видел и чему каждый дивится. Милы, как гласит пословица, и воспоминания о пережитых бедствиях, — если, конечно, они не были сопряжены с позором, — например, о войнах, путешествиях, кораблекрушениях. Наконец, каждому приятно поговорить о своем искусстве, о тех вещах, в которых он сведущ и опытен.

Это самые общие черты. Особенности же пристрастия людей нельзя ни описать, ни перечислить, но вот для примера: один жаден до славы, другой хочет прослыть ученым, третий радуется, если его считают богачом, тот разговорчив, этот немногословен, иные угрюмы, иные любезны. Есть люди, которые не желают выглядеть стариками, хоть они уже стары, а есть и такие, которые хотят казаться старше своих лет, в надежде вызвать изумление тем, как хорошо они сохранились. Есть женщины, которые довольны своею наружностью, есть и дурнушки. Разобравшись в этих пристрастиях, ты легко направишь беседу так, чтобы она была приятна любому, и обойдешь все, что может вызвать тягостное ощущение.

Спуд. Да, ты владеешь застольным искусством в совершенстве!

Апиций. Ха! Если бы я извел столько же времени на оба права<sup>458</sup>, медицину и богословие, сколько на это искусство, я бы уже давно стяжал и звание, и лавры доктора и меж законоведами, и среди врачей, и у богословов!

Спуд. Охотно верю.

Апиций. Но послушай, не допусти ошибки! Смотри, чтобы беседа не затянулась слишком надолго и не завершилась опьянением своего рода. Нет ничего приятнее вина, если пить с умом, но нет и ничего противнее, если нахлебаться сверх всякого разуменья. Точно так же и с беседою.

Спуд. Правильно ты предупреждаешь. Но какое предложишь против этого средство?

Апиций. Как только почувешь в воздухе <sup>459</sup> прерви разговор при первой же возможности и направь его в иную сторону. Думаю, тебе излишне напоминать, чтобы беседа никому не разбередила старую рану: ведь еще Платон держался того суждения, что на пирах должно врачевать недуги — с помощью вина, которое разгоняет печаль и стирает память об обидах. Но вот что нелишне тебе напомнить: не надоедай гостям слишком частыми здравицами. Впрочем, если ты время от времени поднимаешься с места и подойдешь то к одному, то к другому с любезным и ласковым словом, — это хорошо: роль хорошего хозяина требует движения. Нет, однако ж, ничего грубее, как объяснять, что за кушанье перед гостем, и как оно приготовлено, и какая ему цена. То же относится и к вину. Лучше даже несколько преуменьшить цену, хотя чрезмерное преуменьшение ничем не отличается от хвастовства. Довольно дважды, в крайнем случае трижды повторить: «Не обессудьте. Обед, может, и не слишком хорош, зато намерения самые лучшие». Угощение сдабривай шутками, но — будь осторожен! — без малейшей злобы. Не повредит, если иногда перебросишься с гостем несколькими словами на его языке. Да, и еще одно: надо было сказать в самом начале, а я только сейчас сообразил.

<sup>458</sup> то есть на императорское (гражданское) и каноническое (церковное).

<sup>459</sup> Опьянение без вина (греч.).

Спуд. О чем ты?

Апиций. Если рассаживать гостей по жребию тебе не нравится, выбери троих, самых веселых и речистых, и одного помести во главе стола, другого — на противоположном краю, третьего — посередине, чтобы они гнали прочь молчание и угрюмость остальных. А если ты увидишь, что застолье слишком тихое и унылое пли, наоборот, слишком шумное и беспорядочное, или даже что до драки недалеко...

Спуд. Это у нас часто бывает. Что ж тогда делать?

Апиций. Послушай, какое средство я сам применял много раз.

Спуд. Слушаю.

Апиций. Вели привести двух мимов или 460 , чтобы они молча, без слов, разыграли какую-нибудь смешную сценку.

Спуд. Почему «без слов»?

Апиций. Чтобы все получили одинаковое удовольствие, они либо вовсе не должны говорить, либо пусть говорят на языке, всем одинаково незнакомом. Тех, кто изъясняется телодвижениями, все и поймут одинаково.

Спуд. Какую сценку ты имеешь в виду? Мне не очень ясно.

Апиций. Да их без числа! Ну, скажем, жена спорит с мужем, кто в доме главнее, или что-нибудь еще из повседневной жизни. Чем смешнее будет игра, тем больше всем удовольствия. Только пусть они будут полушутами: настоящие шуты иногда сдуру наболтают такого, что может оскорбить.

Спуд. Ком да всегда будет к тебе благосклонен за эти верные и чистосердечные советы, которые я получил.

Апиций. В завершение прибавлю или, точнее, повторю то, что уже сказал вначале: не лезь из кожи вон, чтобы угодить всем, и не только в этом случае, но и вообще в жизни, — тогда скорее всем угодишь. Ведь лучшее из житейских правил — «ничего сверх меры».

### О вещах и наименованиях



Беат. Бонифаций

Брат. Бонифацию — доброго здоровья!

Бонифаций. Доброго и тебе здоровья, Брат, здравствуй! Но если бы еще каждый из нас обладал тем свойством, которое обозначают наши имена, — ты был бы богат, а я красив!...

Брат. А разве иметь пышное и громкое имя — так уже мало, по-твоему?

Бонифаций. По-моему, имя вообще ничего не значит, если нет самой вещи.

Брат. Но многие смертные судят иначе.

Бонифаций. Может быть, они и смертные, но люди — едва ли.

Брат. И люди тоже, мой милый, если только ты не считаешь, что и в наши дни разгуливают ослы и верблюды в людском обличий.

Бонифаций. Скорее уж я в это поверю, чем в то, что смертные, которые имя ценят дороже вещи, — люди.

Брат. Я готов согласиться, что в известных случаях большинство предпочитает вещь имени, но часто — наоборот.

Бонифаций. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь.

Брат. Да мы сами тому примером. Ты зовешься Бонифацием-Прекрасноликим, и так оно на самом деле и есть. Но если бы настала необходимость лишиться одного из двух — либо имени, либо прекрасного лица, что бы ты предпочел: быть некрасивым или из Бонифация сделаться Корнелием?

Бонифаций. Я предпочел бы прозываться хоть и Ферситом,<sup>461</sup> чем иметь безобразную наружность! Впрочем, хороша ли она теперь, не знаю.

Брат. Вот и я так же, если бы был богат и если бы предстояло отказаться либо от богатства, либо от имени, предпочел бы получить имя Ира<sup>462</sup>, чем остаться нищим.

Бонифаций. Вполне с тобою согласен.

Брат. Да не иначе, мне думается, выбрали бы и другие, кто наделен крепким здоровьем или иными телесными достоинствами.

Бонифаций. Пожалуй.

Брат. Но разве мало мы встречаем таких, что предпочитают носить имя ученых и благочестивых, чем быть доподлинно образованными и честными?

Бонифаций. Я знаю очень многих из этой породы.

Брат. Так разве не больше весу имеет у нас имя, нежели вещь?

Бонифаций. По-видимому, больше.

Брат. И если бы явился среди нас диалектик, который умело определил бы, что такое государь, что епископ, что городской правитель, что философ, быть может, и тут нашлись бы многие, которые вещи предпочли бы имя.

Бонифаций. Не сомневаюсь, если государь — это тот, кто в согласии с законами и со справедливостью целью себе полагает благо народа, а не свое собственное, епископ — тот, кто целиком посвятил себя заботам о пастве господней, правитель — кто искренне печется о городе, философ — кто, пренебрегши дарами судьбы, старается стяжать одну только мудрость.

Брат. Теперь ты видишь, сколько примеров такого рода мог бы я на приводить.

Бонифаций. Да, без счета.

Брат. И все те, кого я упомянул, по-твоему, не люди?

Бонифаций. Боюсь, как бы скорее нам самим не потерять имя человека.

Брат. Но если человек — животное разумное, то как далеко это от разума: в телесных даже не благах, но скорее выгодах, в вещах внешних, которые судьба и дарит и отнимает по своему произволу, мы вещь предпочитаем имени, а в истинных благах души имя ценим больше вещи.

<sup>461</sup> См. прим. к диалогу «Поклонник и девица».

<sup>462</sup> См. прим. к «Разговору нищей братии» (объяснение имени Ирид).

Бонифаций. Превратное, клянусь, суждение, если вдуматься!

Беат. Но и в противоположных обстоятельствах — та же превратность.

Бонифаций. Я жду, продолжай.

Беат. Что было сказано о наименованиях вещей желательных, следует приложить и к названиям вещей, которых надо избегать.

Бонифаций. Очевидно, так.

Беат. Быть тираном ужаснее, чем имя тирана; и если дурной епископ, но евангельскому приговору, — вор и разбойник, не так должны мы гнушаться этих слов, как самой вещи.

Бонифаций. Ну, еще бы!

Беат. Об остальном заключи сходным образом сам.

Бонифаций. Я прекрасно тебя понимаю.

Беат. Согласится ли кто носить имя дурака?

Бонифаций. Никто решительно!

Беат. Разве не дурень тот, кто ловит рыбу золотым крючком, кто стекло предпочитает самоцветам, кому кони дороже жены и детей?

Бонифаций. Такой человек был бы глупее любого Кореба<sup>463</sup>.

Беат. Но далеко ли ушли от него те, кто спешит на войну и в ожидании не бог весть какой выгоды подвергает опасности тело и душу? Кто усердно копит богатства, тогда как душою наги и неимущи? Кто украшает платье и жилище, тогда как душа заброшена и неприбрана? Кто боязливо дорожит телесным здоровьем, душою же, страдающей столькими смертельными недугами, пренебрегает? Кто, наконец, мимолетнейшими наслаждениями этой жизни выслуживает себе вечную муку?

Бонифаций. Сам разум заставляет признать, что они более чем дураки.

Беат. Но хотя подобными дураками полон мир, ты едва ли найдешь хоть одного, кто стерпел бы это наименование, тогда как вещь ни малейшего отвращения у них не вызывает.

Бонифаций. Да, конечно.

Беат. Ты знаешь, как всем ненавистны наименования «лгун» или «вор».

Бонифаций. До крайности. И не без причины.

Беат. Согласен. Но хотя бесчестить мужних жен — хуже всякого воровства, иные даже хвастаются именем прелюбодея. А обзови их кто вором — тут же обнажат меч.

Бонифаций. Так ведут себя многие.

Беат. И многие безнадежно погрязли в блуде и пьянстве, и при этом радуются, и никого не таятся, но имя распутного гуляки их оскорбляет.

Бонифаций. Не сомневаюсь, что вещь они вменяют себе, в славу, тогда как названия, которое ей принадлежит, страшатся.

Беат. Но едва ли какое слово звучит для нас более невыносимо, чем лжец.

Бонифаций. Я знаю людей, которые за это слово мстили смертью.

Беат. Если бы они одинаково гнушались и самой вещи! С тобою никогда не случается, что человек обещает вернуть долг к известному сроку и обманывает?

Бонифаций. Часто. А бывает, что и клятвенно отпирается от своего обещания. И это не однажды, но снова и снова.

Беат. Может, им нечем было платить?

Бонифаций. Нет, было, но они полагали для себя удобнее не расплачиваться.

Беат. Но разве это не значит лгать?

Бонифаций. Безусловно!

Беат. А ты посмел бы обратиться к такому должнику с такою речью: «Почему ты лжешь мне раз за разом?»

Бонифаций. Нет, если бы только не изготовился к бою.

---

<sup>463</sup> Кореб — у древних греков анекдотический дурень, который надумал сосчитать морские волны, между тем как умел считать только до пяти.

Беат. А разве не так же всякий день обманывают нас каменщики, кузнецы, портные и золотых дел мастера, обещая закончить работу к известному дню и не заканчивая, хоть это и очень для нас важно?

Бонифаций. Поразительное бесстыдство! Но прибавь к ним и адвокатов, которые обещают свою помощь.

Беат. Можешь прибавить еще сотни других. И, однако, никто из этих людей не стал бы терпеть прозвания «лжец».

Бонифаций. Обманами такого рода полна вселенная.

Беат. Имени «вор» тоже никто не переносит, а к самой вещи далеко не все так уж непримиримы.

Бонифаций. Жду объяснений.

Беат. Какое различие меж тем, кто крадет твое имущество из сундука, и тем, кто ложно клянется, будто ничего не принимал от тебя на сохранение?

Бонифаций. Никакого. Разве что больший злодей тот, кто грабит человека, который ему доверился.

Беат. А многие ли возвращают принятое на сохранение? Или если и возвращают — то полностью?

Бонифаций. Я так полагаю, что очень немногие.

Беат. Но никто из них не примет наименования вора, хотя самой вещи не страшится.

Бонифаций. Нисколько!

Беат. А при управлении имуществом сирот и завещанными имуществами — сочти-ка мне, сколько прилипает к пальцам управителей?

Бонифаций. Часто всё до последнего.

Беат. Воровство любят, а название ненавидят.

Бонифаций. Вернее не скажешь.

Беат. Как действуют те, кто ведает общественною казной, кто чеканит скверную монету и, то поднимая, то снижая стоимость денег, расстраивает состояния частных лиц, нам, пожалуй, не совсем ясно. Но о том, что мы видим и испытываем каждодневно, говорить дозволено. Кто набирает в долг с намерением никогда не отдавать, — разве он не вор?

Бонифаций. Несколько благозвучнее назвать его, пожалуй, и можно, но лучше — никогда.

Беат. А ведь этаких господ повсюду неисчислимы толпы, и никто из них имени вора не потерпит.

Бонифаций. Душу ведает только бог; поэтому у людей они зовутся должниками, а не ворами.

Беат. Что за важность, как зовутся они у людей, если перед богом они воры! Ведь собственная душа ведома каждому. Если у человека много долгов, а он все, что ему ни достается, проматывает беспутно, если, прожившись в одном городе, надувает заимодавцев и бежит в другой, выискивая простодушных гостеприимцев, которых тоже можно было бы обмануть, и так поступает неоднократно, — разве он недостаточно обнаруживает свои намерения и свою душу?

Бонифаций. Более чем достаточно. Но вот еще какие румяна часто наводят они на свои безобразия.

Беат. Какие?

Бонифаций. Быть должным многим и помногу — это, дескать, у них общее с первыми вельможами и даже с государями; и получается, что такой образ мыслей доставляет ложную славу знатности.

Беат. Но что от нее за польза?

Бонифаций. Рыцарю люди готовы позволить чуть ли не всё подряд — просто диву даешься.

Беат. По какому праву? На каком основании?

Бонифаций. На том же основании, на каком управители приморских областей

присваивают все, что выбросят на берег волны после гибели корабля, хотя бы хозяин и уцелел; на каком поймавшие вора или разбойника забирают себе все, что у него отнимут.

Бонат. Подобные законы могли бы издать и сами воры.

Бонифаций. Они бы и издали, если бы могли сообщить им надлежащую силу; и имели бы на что сослаться в свое оправдание, если бы прежде, чем красть, объявили войну.

Бонат. Кто дал это преимущество рыцарю-коннику против пехотинца?

Бонифаций. Благосклонность войны. Они так готовят себя к службе, чтобы проворнее грабить врага.

Бонат. Так, я думаю, Пирр готовил к войне своих солдат.

Бонифаций. Нет, не Пирр, а лакедемоняне.

Бонат. Пропади они пропадом вместе со своим войском! Но откуда наименование для такого преимущества?

Бонифаций. Одним оно достается от предков, другие покупают за деньги, а кое-кто и сам принимает<sup>464</sup>.

Бонат. Разве можно и так?

Бонифаций. Можно, если нрав подходящий.

Бонат. Какой же?

Бонифаций. Это когда человек никакого доброго занятия не имеет, блестяще одевается, пальцы унижает перстнями, блудит прилежно, усердно мечет кости, режется в карты, время проводит в попойках и гуляньях, ни о чем неизменном никогда и не вспомнит, но без конца твердит Фрасоновы речи<sup>465</sup> насчет крепостей, сражений да битв. Такие люди позволяют себе объявлять войну кому ни вздумают, хотя своей земли ни вершка — негде ногу поставить.

Бонат. Ты мне описываешь рыцарей, не коня заслуживающих, а «кобылы», на которой пытаются злодеев. Но в Сигамбрии их, увы, немало<sup>466</sup>.

## Харон

---

<sup>464</sup> Нападки на самозванных рыцарей и на рыцарство в целом совпадают с тем, что более подробно сказано в диалоге «Самозванная знатность» (см. далее), обращенном против Генриха фон Эппендорфа, который сначала был пламенным почитателем Эразма, а позже столь же пламенным его врагом. Примирить враждующих пытались ближайшие и самые верные друзья Эразма — Бонат Ренан, в будущем автор первой его биографии, и Бонифаций Амербах, постоянный его советчик по всем юридическим вопросам, а в будущем один из душеприказчиков. Отсюда, по-видимому, имена действующих лиц.

<sup>465</sup> См. прим. к «Нищим богачам», к словам Фрасоновы глупости.

<sup>466</sup> Сигамбры — германское племя, обитавшее по восточному берегу Рейна, к северу от нынешнего Кельна. Комментаторы XVII—XVIII вв. отмечают: «Ныне „сигамбрами“ зовут увязнувших в долгах знатных господ».



### Харон. Дух Аластор<sup>467</sup>.

Харон. Куда ты так спешишь, Аластор, и что у тебя за радость?

Аластор. Как ты кстати, Харон! Я спешил к тебе.

Харон. Какие новости?

Аластор. Несу вести, для тебя и для Прозерпины<sup>468</sup> самые счастливые!

Харон. Выкладывай, что принес, — разгрузайся!

Аластор. Фурии<sup>469</sup> трудились так усердно и удачно, что не осталось на земле уголка, который бы они не отравили адскими бедами — усобицей, войной, грабежом, мором. Они далее оплешивели, выпустив всех своих змей, и теперь разгуливают без капли яда и повсюду выискивают гадюк и аспидов, потому что головы у них как яйцо, ни единого волоса, а в груди сухо. Так что ты не зевай — готовь свой челнок и весла: скоро нахлынет такая уйма теней, что, боюсь, тебе одному всех и не перевезти!

Харон. Это нам известно.

Аластор. Откуда?

Харон. Осса еще третьего дня уведомила.

Аластор. Нет никого проворнее этой богини! Но отчего тогда ты здесь, а не подле челнока?

Харон. По делу, конечно. Пришел подыскать какую-нибудь крепкую трирему<sup>470</sup>: мой челнок уже обветшал и весь прогнил, его на этакий груз не достанет, если то, что рассказала Осса, — правда. Впрочем, и на Оссу<sup>471</sup> кивать не надо. Сами обстоятельства вынуждают —

<sup>467</sup> Аластор — мститель, губитель (греч.).

<sup>468</sup> Прозерпина — владычица подземного царства мертвых.

<sup>469</sup> Фурии (у греков Эриннии) — богини возмездия. На голове у них вместо волос ядовитые змеи, змей держат они и в руках. Они черны лицом и одеты в черное платье. Глаза их налиты слезами и кровью.

<sup>470</sup> Трирема — римское боевое судно с тремя рядами весел.

<sup>471</sup> Осса — греческая богиня молвы.



я потерпел крушение.

Аластор. То-то, я гляжу, с тебя так и течет. Я сперва подумал, ты из бани.

Харон. Нет, выплыл из Стигийской топи.

Аластор. А тени где?

Харон. Плавают вместе с лягушками.

Аластор. Но что рассказала Осса?

Харон. Три земных самодержца <sup>472</sup> ринулись друг на друга в смертельной, непримиримой ненависти, и ни одна страна христианского мира не свободна от страха перед бешенством войны, ибо эти трое втянули в сообщество и остальных государей. Все в таком расположении духа, что никто не желает уступать другому — ни датчанин, ни поляк, ни шотландец. Между тем и турок не сидит сложа руки, но готовит великие беды. Повсюду свирепствует чума — в Испании, в Англии, в Италии, во Франции. Вдобавок, из различия мнений родился не виданный доньше недуг <sup>473</sup>, который так изуродовал все души, что истинной дружбы нет более нигде, но брат поднимается против брата и жена против мужа. Есть надежда, что и отсюда пойдет когда-нибудь на людей отменный мор, коли слова и перья заменятся кулаками и мечами.

Аластор. Все истинная правда! Много я видел сам: ведь я верный спутник и помощник фуриям, которые сейчас как никогда доказали, что достойны своего имени.

Харон. Но есть опасность, как бы вдруг не явился какой-нибудь демон и не призвал бы к миру: ведь смертные души переменчивы. Я слышал, что живет над нами какой-то Полиграф <sup>474</sup>, который своим пером не перестает поносить войну и восхвалять мир.

Аластор. Он давно поет глухим. Сперва он написал жалобу сокрушенного мира, теперь — эпитафию уже скончавшемуся <sup>475</sup>. Но есть и другие, которые радуются нашим успехам не меньше, чем сами фурии.

Харон. Кто такие?

Аластор. Некие животные в темных и белых плащах <sup>476</sup>, в туниках цвета золы, убранные разноцветными перьями. Они постоянно при дворах государей и вливают им в уши любовь к войне; к тому же склоняют и знать, и простой народ. За евангельскою проповедью возглашают, что война справедливая, святая, благочестивая. Но ты особенно удивишься отваге этих мужей, когда узнаешь, что одно и то же возглашают они по обоим станам. У французов проповедуют: «Бог за Францию, а кто защитником имеет бога, тот непобедим!» У англичан и испанцев — то лее самое: «Войну эту ведет не император, но бог! Вы только будьте храбры — и победа за нами. Если же кто падет в бою, он не гибнет — он взлетает прямо в небеса, как есть, в полном вооружении».

Харон. И люди им верят?

Аластор. На что только не способно притворное благочестие! К тому же прими в соображение юную неискренность в жизни, жажду славы, гнев, силу природных склонностей. Таких людей нетрудно ввести в обман, и легко стронуть с места повозку, чье дышло и без того направлено к пропасти.

---

<sup>472</sup> Три земных самодержца — император Карл V и объединившиеся против него Франциск I Французский и Генрих VIII Английский.

<sup>473</sup> Эразм говорит о Реформации.

<sup>474</sup> То есть «многописец» — сам Эразм.

<sup>475</sup> Декламация «Жалоба Мира» — одно из известнейших антивоенных сочинений Эразма, вышло в свет в 1517 г. Что имеется в виду под «эпитафией», неясно.

<sup>476</sup> Монахи различных орденов.

Харон. Я охотно сделаю этим животным что-нибудь приятное.

Аластор. Приготовь им знатное угощение — лучше ничего не придумаешь.

Харон. Но только из мальвы, волчьих бобов и порея. У нас, как ты знаешь, других припасов нет.

Аластор. Из куропаток, каплунов и фазанов, если хочешь угодить гостям.

Харон. Но что их побуждает так прилежно раздувать войну? Какую выгоду пожинают они на этом поле?

Аластор. А им от умирающих больше пользы, чем от живых. Тут и завещания, и заупокойные службы, и буллы, и многие другие завидные прибитки. Наконец, они предпочитают военные лагеря своим ульям. Война сплошь да рядом выводит в епископы тех, кто в мирные дни не стоил и медной монетки.

Харон. Умны!...

Аластор. Но к чему тебе трирема?

Харон. Неохота в другой раз тонуть посреди топи.

Аластор. Это из-за множества пассажиров?

Харон. Конечно.

Аластор. Но везешь-то ведь тени, не тела. А у тени что за вес!

Харон. Как у водяного паука, но этих пауков может набраться такая сила, что перегрузят челнок. И потом, ты сам знаешь, челнок тоже призрачный.

Аластор. Но, помнится, мне случалось видеть, набегала огромная толпа, челнок всех не вмещал, и на твоём кормиле висло иной раз по три тысячи теней, а ты ни малейшей тяжести не чувствовал.

Харон. Не спорю, но такими легкими души бывают, когда разлучаются с телом постепенно, а само тело истощено чахоткою или неперемежающею лихорадкой. Но если душа внезапно исторгнута из тучного тела, она уносит с собою много телесной тяжести. Такие души посылает к нам паралич, воспаление горла, чума, но в первую очередь война.

Аластор. Не думаю, чтобы французы или испанцы были очень тяжелые.

Харон. Гораздо легче прочих, но и у них души — не пушинки. Но из британцев и германцев, откормленных на славу, выходят подчас такие души, что недавно я насилу увез только десяток, да и то, если бы дорогою не выкинул две или три за борт, погиб бы вместе с челноком, со всеми ездоками и с платою за перевоз.

Аластор. Опасность громадная!

Харон. Что ж, по-твоему, будет, когда подспеют жирные сатрапы, Фрасоны и отчаянные рубаки?

Аластор. Из тех, что гибнут в справедливой борьбе, я думаю, к тебе не является никто: говорят, они возносятся прямо в небеса.

Харон. Куда они возносятся, я не знаю, а знаю только одно: всякий раз, как война, ко мне приходит столько раненых и увечных, что я начинаю сомневаться, уцелел ли на земле хоть один живой. И приходят нагруженные не только пьянством и обжорством, но еще буллами, приходами и многим иным.

Аластор. Ну, этого уж они с собою не приносят: к тебе все приходят нагие!

Харон. Так-то оно так, да новички несут с собою сонные призраки подобных вещей.

Аластор. Так ли обременительные сонные видения?

Харон. Для моего челнока — да, обременительны. Что я говорю — «обременительны»? Уже ко дну его пустили! И наконец, такое множество обол<sup>477</sup> тоже, по-твоему, ничего не весит?

Аластор. Нет, мне кажется, весит, если они медные.

Харон. Вот я и решил присмотреть себе подходящее судно.

---

<sup>477</sup> Обол — мелкая медная монета у древних греков; ее клали в рот мертвецу для уплаты Харону за перевоз через реки подземного царства.

Аластор. Поздравляю тебя!

Харон. Это с чем же?

Аластор. Ты вскоре разбогатеешь.

Харон. Из-за множества теней?

Аластор. Да.

Харон. Если бы они прихватывали свои богатства с собою! А то они в челне горько плачут об оставленных наверху царствах, епархиях, аббатствах, бесчисленных золотых талантах<sup>478</sup>, а мне не приносят ничего, кроме единственного оболы. И все, что у меня накоплено за три тысячи лет, можно насыпать в одну трирему.

Аластор. Кто ищет дохода, тому и расходы надо нести.

Харон. Но смертные, как я слышу, ведут дела поудачнее: за три года богатеют, если Меркурий благосклонен.

Аластор. Но они же и разоряются дотла сплошь да рядом. Твои доходы меньше, зато вернее.

Харон. Не знаю, насколько они верны. Если сегодня появится какой-нибудь бог, который уладит раздоры государей, — все пропало!

Аластор. Ну, об этом не тревожься, спи спокойно, хоть на левом боку, хоть на правом: ручаюсь, что в ближайшие десять лет мира бояться нечего. Один лишь папа римский усердно призывает к согласию, но, поверь мне, он моет эфиопа. Ропщут и города, устав от бедствий, и целые народы, — точно не знаю какие, — шепчутся недовольно, твердят, что это несправедливо, чтобы из-за частных обид, из-за честолюбия двоих или троих людей все в мире было перевернуто вверх дном; но как бы здраво они там ни судили, а победу — помани мое слово — одержат фурии. Но объясни мне, к чему за покупкою судна обращаться к людям? Разве у нас своих мастеров нет? Например — Вулкан.

Харон. Да, конечно, — если бы я надумал обзавестись медным кораблем<sup>479</sup>.

Аластор. И работников искать не надо.

Харон. Это-то верно, да у нас леса нет.

Аластор. Что я слышу? В подземном царстве нет лесов?

Харон. Даже рощи, что росли в Елисейских полях, и те сведены.

Аластор. Но на какую потребу?

Харон. На костры, чтобы сжигать тени еретиков. Недавно пришлось нам даже уголь рыть из земных недр.

Аластор. Не понимаю! Неужели эти тени нельзя казнить с меньшими издержками?

Харон. Так рассудил Радамант<sup>480</sup>.

Аластор. Когда ты купишь трирему, откуда гребцы возьмутся?

Харон. Мое дело — держать кормовое весло. А грести будут тени, если захотят переправиться на другой берег.

Аластор. Но есть такие тени, что веслом двинуть не умеют.

Харон. У меня ни для кого поблажек нет — пусть гребут и монархи и кардиналы, каждый в свой черед, наравне с простолюдинами и бедняками. А умеют или не умеют — мне все равно.

Аластор. Помогай тебе Меркурий счастливо приобрести трирему, а я тебя дольше задерживать не хочу. Пойду с радостною вестью к Орку<sup>481</sup>. Но погоди, погоди, Харон!

---

<sup>478</sup> Талант — наибольшая денежная единица в Древней Греции.

<sup>479</sup> Вулкан (Гефест) был богом кузнечного ремесла.

<sup>480</sup> Радамант — сын Зевса и Европы, поставленный после смерти одним из судей над душами усопших.

<sup>481</sup> Орк — римский бог подземного царства, супруг Прозерпины.

Харон. Что такое?

Аластор. Возвращайся скорее, чтобы тебя не захлестнула толпа.

Харон. Да ты и так застанешь больше двухсот тысяч на берегу, не считая тех, которые плавают в болоте. Но я потороплюсь, как только сумею. А ты скажи им, что я скоро буду.

### Синод грамматиков



#### Альбин. Бертульф. Кантел. Дифил. Евмений. Фабулл. Гадитан

Альбин. Есть ли среди нас знаток арифметики?

Бертульф. А на что он нам нужен?

Альбин. Он сосчитал бы точно, сколько сошлось грамматиков.

Бертульф. Ну, это нам и собственные пальцы скажут, безо всяких счетных камешков. Тебя кладу на большой палец, себя — на указательный, Кантела — на средний, Дифила — на безымянный, Евмения — на мизинец. Теперь перехожу к левой руке. Здесь на большой кладу Фабулла, на указательный — Гадитана. Если не ошибаюсь, нас семеро. Но к чему это знать?

Альбин. Я слышал, что как раз такое число участников сообщает собранию законную силу.

Бертульф. О каком собрании ты толкуешь?

Альбин. Есть один важный вопрос, который давно и сильно меня тревожит; и не только меня, но и многих весьма ученых людей. Я его вам предложу, чтобы суждением нашего синода он был разрешен раз и навсегда.

Кантел. Что-то должно быть необычайное, Альбин, если ты этого не знаешь и если пронизательнейшая твоя душа мучится так долго и так сильно. Поэтому мы и сами очень хотим услышать, в чем дело. Я говорю один, но от имени всех.

Альбин. Итак, все насторожите и уши, и души. Много глаз зорче одного. Есть ли меж вами хоть один, кто бы взялся нам объяснить, что означает слово «антикомарита»?

Бертульф. Нет ничего проще! Это порода свеклы, которую древние называли «водяной»<sup>482</sup>, с искривленным, узловатым корневищем, удивительно невкусная, а запаха

<sup>482</sup> Прозвище «Водяная свекла» носил известный парижский богослов Ноэль Беда (ум. в 1536 г.), фанатичный гонитель гуманистического образования, смертельный враг Эразма (по-латыни он писался Natalis Beda, а «водяная свекла» — beta natatilis). «Синод грамматиков» в целом — расчет по старому долгу: Эразм

такого мерзкого, что и с анагирисом<sup>483</sup> может потягаться.

Кантел. Водяная свекла! Скажи лучше: «свекольная моча»! Кто и когда слышал или читал такое название — «водяная свекла»?!

Бертульф. Об этом с полной определенностью сообщает Маммотрект<sup>484</sup> (название это постоянно искажают, правильно он зовется Маммотрепт — как бы «Бабкин Выкормыш»).

Альбин. Что за название такое?

Бертульф. Оно дает понять, что в книге не найдешь ничего, кроме забав да утех: ведь «маммы» (по-гречески — бабки) всегда балуют внуков больше, чем матери — детей.

Альбин. Да, в самом деле потешное сочинение. Недавно я натолкнулся на эту книгу и чуть было со смеху не лопнул.

Кантел. Где ж ты ее нашел? Это такая редкость!...

Бертульф. Как-то в Брюгге аббат святого Бавона, по имени Ливии, повел меня после завтрака к себе в библиотеку, которую он собирал, не щадя затрат: он человек старый и хочет оставить по себе добрую память. Собрание замечательное! Все книги переписаны от руки, все на пергамене, нет ни одной, которая бы не была украшена разными рисунками и не переплетена в шелк и золото. Даже сам размер книг и их тяжесть заключали в себе какое-то величие.

Альбин. И какие были книги?

Бертульф. О, одна другой прекраснее! «Католикон»<sup>485</sup>, «Брахилог»<sup>486</sup>, Овидий, переложенный аллегориями, и многие-многие другие. Среди них обнаружил я и милейшего Маммотрепта и в числе его забав нашел «водяную свеклу».

Альбин. Почему ее зовут «водяной»?

Бертульф. Перескажу то, что прочел; за достоверность пусть будет в ответе автор.

По его словам, она растет в местах влажных и гнилых, лучше всего в грязи или — извините за грубость — на навозной куче.

Альбин. И дух, стало быть, тяжелый?

Бертульф. До того тяжелый — тяжелее, чем в отхожем.

Альбин. А есть ли от этого овоща какая-нибудь польза?

Бертульф. Не только что польза — он считается изысканным лакомством.

Альбин. Наверно, у свиней, или у ослов, или у кипрских быков<sup>487</sup>.

осмеивает сорбоннистов (Сорбонную тогда назывался богословский факультет Парижского университета), которые еще в 1526 г. осудили «Разговоры», объявив их опасными для юных умов и издевающимися над религией. Само слово «антикомарита» (безграмотное новообразование, которое должно означать «враги девы Марии») взято из заглавия полемического трактата, принадлежавшего картезианцу Пьеру Кутюрье (ум. в 1537 г.). Этот богослов более известен под латинизированным именем Петра Сутора, то есть «Сапожника» (couturier по-французски «сапожник»); Эразма он ненавидел еще сильнее, чем Беда.

483 Анагирис — зловонный кустарник из семейства мотыльковых.

484 «Маммотрект» — «Ведомый нянькою», сочинение Иоанна Мархезина (годы жизни неизвестны), представляющее собой комментарий на всю Библию, многие жития святых и многие богослужебные тексты. Автор был, по-видимому, малообразованным приходским священником, и сведения в книге сообщаются до крайности примитивные, а очень часто и ошибочные, и просто нелепые.

485 «Католикон» — «Всеобщий», словарь латинского языка, составленный в XIII в. Джованни Бальби, доминиканцем из Генуи, и пользовавшийся широкой известностью: он был в числе самых первых книг, сошедших с печатного прессы после изобретения книгопечатания.

486 «Брахилог» — букв. «краткое изложение» (греч), заглавие многих пособий и кратких словарей в средние века.

487 Про этих животных Эразм пишет в «Адагиях», что они питаются человеческими экскрементами,

Бертульф. Нет, у людей, и к тому же изнеженных и разборчивых. Существует племя пелинов<sup>488</sup>, у которых застолья тянутся очень подолгу. Заключительное возлияние они на своем языке зовут «ресумта» — примерно то же, что у нас «сладкое».

Альбин. Сладкое отменное!

Бертульф. Порядок этой заключительной пирушки такой, что хозяин может предложить гостям что ни заблагорассудится, а отказываться нельзя, но все надо принимать с благодарностью.

Альбин. Что, если бы он предложил цикуту или отваренную дважды капусту<sup>489</sup>?

Бертульф. Что ни поставят на стол, надо съесть без всяких разговоров. Дома каждый может вырвать то, что проглотил, потому что почти всегда хозяин потчует водяной свеклой, или антикомаритой — можно называть и так и этак, разницы никакой. К ней добавляют немного дубовой коры и побольше чеснока — получается салат.

Альбин. Кто же установил столь варварский порядок?

Бертульф. Обычай; он сильнее любого тирана.

Альбин. Трагический круг ты мне изобразил, ежели он завершается так неприятно.

Бертульф. Я свое высказал, но отнюдь не предрешаю, что не может быть суждения, более верного.

Кантел. А мне известно, что у древних была рыба, которую называли акомарита.

Бертульф. От кого известно?

Кантел. Книгу могу показать; имени автора сейчас не припомню. Написана она по-французски, но еврейскими буквами.

Бертульф. Какого вида была рыба антикомарита?

Кантел. Вся в черной чешуе, только брюхо белое.

Бертульф. Не рыба, а какой-то киник в плаще! А вкусом какова?

Кантел. Хуже не бывает. И очень вредная вдобавок. Попадает в гнилых прудах, иногда в выгребных ямах, вялая, слизистая, только возьмешь ее в рот — начинается тяжелый насморк, который даже рвотою не облегчить. Водится в той земле, что именуют Кельтифракией<sup>490</sup>, Там ее едят с удовольствием, потому что отведать мяса там преступление страшнее убийства.

Альбин. Несчастливая это земля со своею антикомаритой.

Кантел. Больше я ничего не знаю и тоже не хотел бы, чтобы мое мнение кому-либо помешало высказаться.

Дифил. Зачем искать объяснения у Маммотрепта или в еврейских письменах, когда сама этимология слова явственно обнаруживает, что «антикомариты» — это девушки, неудачно вышедшие замуж: мужья у них старые. Ведь ни для кого не новость, что переписчики quo превращают в со, оттого, что с, q и к — звуки сродные<sup>491</sup>.

&#917;вмений. Если б мы были уверены, что это слово — латинское, Дифил, пожалуй, был бы недалек от истины. Но мне кажется, что оно греческое и слилось из трех слов: &#945;&#957;&#964;&#943;, то есть «против», &#954;&#974;&#956;&#951;, то есть «деревня», и &#959;&#945;&#961;&#953;&#950;&#949;&#953;&#957;, то есть «по-женски болтать». «О» через синналефу<sup>492</sup> выпало, и получается, что «антикомарита» — это

<sup>488</sup> Название вымышленное.

<sup>489</sup> Греческая пословица об отвратительном, тошнотворном кушании.

<sup>490</sup> Название вымышленное.

<sup>491</sup> Antiquo marito — по-латыни означает: с ветхим супругом.

<sup>492</sup> Синналефа — стяжение слогов (греческий грамматический термин).

женщина, которая всем докучает грубой деревенскою болтовней.

Абулл. Наш Евмений выказал себя чутким грамматиком. Но, по-моему, здесь сколько слогов, столько слито и слов: «ан» означает <sup>493</sup>, «ти» — <sup>494</sup>, «ко» — <sup>495</sup>, «ма» — <sup>496</sup>, «ри» — <sup>497</sup>, «та» — <sup>498</sup>. В целом же складывается: несчастный безумец, выдирающий шерсть из гнилых шкур.

Альбин. Такому работнику как раз и питаться водяною свеклою, о которой толковал Бертульф.

Бертульф. Вот именно!

Гадитан. Все вы обнаружили и чуткость и зоркость, но мне думается, что «антикомарита» — это «строптивая жена»: тут имела место синкопа<sup>499</sup>, а первоначально было «антидикомарита», то есть «постоянно перечашая мужу».

Альбин. Ну, если мы усвоим такие тропы, то «послаблять» легко превратится в «послать», а «прекрасно» в «пресно».

Бертульф. Но Альбин, который в нашем сенате консул, до сих пор не открыл своего мнения.

Альбин. От себя мне сказать нечего. Но я охотно предложу вам на рассмотрение то, что недавно услышал от здешнего своего гостеприимца; болтун он невероятный, и всевозможных рассказов у него больше, чем у соловья песен. Так вот, он решительно утверждал, что слово это халдейское и состоит из трех частей. У халдеев, говорил он, «анти» значит «чудной» или «вспыльчивый», «комар» — «камень», а «ита» — «сапожный»<sup>500</sup>.

Кантел. В нашем синоде все вышло в точности по пословице: сколько голов, столько и умов. Как же мы постановим? Подсчитать мнения можно, а разделить, так чтобы большинство взяло верх над меньшинством, нельзя.

Альбин. Тогда пусть лучшее возьмет верх над худшим.

Кантел. Но для этого потребовалось бы собрать еще один синод, потому что всяк свою невесту считает самой красивой.

Альбин. Будь это верно, было бы куда меньше прелюбодеев. Но у меня есть план. Давайте бросим жребий бобами, кому из нас быть судьей; он один и решит за всех.

Кантел. Хоть бы тебе самому и пришлось расхлебывать эту бобовую похлебку! Ну, что? Верно я предсказал?

Альбин. Мне больше по душе самое первое и самое последнее объяснение.

Кантел. Присоединяемся. Опять я один говорю от имени всех.

<sup>493</sup> Без (греч.).

<sup>494</sup> Выщипывающий (греч.).

<sup>495</sup> Овчинка (греч.).

<sup>496</sup> Очень (греч.).

<sup>497</sup> Скверное (греч.).

<sup>498</sup> Злосчастный, горемычный (греч.).

<sup>499</sup> Синкопа — выпадение слога (греческий грамматический термин).

<sup>500</sup> Пинок Петру Сутору, так же как «сапожная вакса» немного ниже.

Альбин. Ну, что же, пусть отныне это решение принадлежит к тем, в коих сомневаться не дозволено.

Кантел. Правильно!

Альбин. А если кто вздумает его оспорить, какую кару назначим?

Кантел. Записать его «еретиком от грамматики», да еще прописными буквами!

Альбин. Прибавлю, в добрый час, то, что мне представляется заслуживающим внимания. Узнал я об этом от одного врача-сирийца и хочу поведать друзьям.

Бертульф. Что именно?

Альбин. Если сотрешь в ступе водяную свеклу, дубовый желудь<sup>501</sup> и сапожную ваксу, потом добавишь шесть унций дерма и сделаешь припарку, получится быстродействующее средство против собачьей парши и свиной чесотки.

Бертульф. Но вот что, Альбин, который всех нас заставил поломать голову над антикомаритой, у какого писателя вычитал ты это слово?

Альбин. Я скажу, но только на ухо, и кому-нибудь одному.

Бертульф. Я послушаю, но только на том условии, чтобы после, в свою очередь, сказать кому-нибудь одному на ухо.

Альбин. Но единица, если ее повторять, в конце концов становится тысячей.

Бертульф. Это верно, но как скоро ты из единицы сделаешь диаду, остановить течение диады<sup>502</sup> не в твоей власти.

Альбин. Что известно немногим, то можно скрыть, что многим — никоим образом. А триада уже принадлежит к множествам.

Бертульф. Сильный довод. Но если у кого три жены, говорят, что он многоженец, а если три волоса на голове или три зуба во рту, как скажут люди — что это, много или мало?

Альбин. Ну-ка, софист, придвинь ухо.

Бертульф. Что я слышу? Это такая же нелепость, как если бы греки не умели назвать своим именем город, дая осады которого привели столько кораблей, и вместо «Трои» говорили бы «Сутрий»<sup>503</sup>!

Альбин. Но этот Рабин недавно с неба свалился, и если бы не прямая помощь божества, мы бы уже сколько времени озирались в растерянности, не понимая, где люди, где благочестие, где философия, где науки.

Бертульф. Да, он заслуживает первого места среди первых любимцев Мории и со своими «антикомаритами» впредь достоин зваться «архиморитом»<sup>504</sup>.

### **&#913;&#915;&#913;&#924;&#927;&#931; &#915;&#913;&#924;&#927;&#931;<sup>505</sup>, или неравный брак**

<sup>501</sup> Намек на третьего врага-сорбонниста, Гильома Дюшена, по-латыни «Кверкуса», то есть «Дуба» (chene по-французски «дуб»).

<sup>502</sup> Диада — двойка (греч.).

<sup>503</sup> Сутрий — городок в древней Италии. Но этот Рабин... — Как уже говорилось в примечаниях к «Хозяйским наставлениям», именем «Рабин» Эразм постоянно называет докторов богословия.

<sup>504</sup> Сверхглупцом (греч.).

<sup>505</sup> Брак — не брак (греч.).





### Петроний. Габриэль

Петроний. Откуда это наш Габриэль такой мрачный? Не из пещеры ли Трофония?

Габриэль. Нет. Со свадьбы.

Петроний. Никогда не видывал лица, которое было бы так непохоже на свадебное! Кто побывает на свадьбе, после целых шесть дней выглядит приятнее и веселее обычного, а старики — так даже молодеют лет на десять! Что же это за свадьба такая? Наверное — Смерти с Марсом?

Габриэль. Нет, родовитого юноши с девушкою шестнадцати лет, безупречной внешности, нрава и состояния. Коротко говоря — хоть и самому Юпитеру под пару!

Петроний. Как? Такая юная девушка — такому старикашке?

Габриэль. Цари не старятся.

Петроний. Откуда ж в этом случае твоя печаль? Может, завидуешь жениху, который перехватил у тебя желанную добычу?

Габриэль. О, нисколько!

Петроний. Или случилось что-либо вроде того, что в стародавние времена на пиру у лапифов<sup>506</sup>?

Габриэль. Нет, ничего похожего.

Петроний. Или влаги Вакха не достало<sup>507</sup>?

Габриэль. Наоборот, еще осталось.

Петроний. Флейтистов не было?

Габриэль. И скрипачи, и арфисты, и флейтисты, и волынщики — все были.

Петроний. Ну, так что же? Гименей не явился?

Габриэль. Хоть и усердно его призывали, а попусту.

Петроний. И Хариты не пришли?

Габриэль. Нет. Ни дружка-Юнона, ни золотая Венера, ни Юпитер Брачный — никто!

Петроний. Зловещая, как тебя послушаешь, была свадьба и

<sup>506</sup> См. прим. к «Благочестивому застолью», к словам... лапифы в битве.

<sup>507</sup> То есть вина.

508 , а лучше сказать —

Габриэль. Ты бы и больше этого сказал, если бы видел все своими глазами.

Петроний. Значит, и не плясали на свадьбе?

Габриэль. Какой там! Хромали, а не плясали!

Петроний. И ни один благосклонный бог не оживлял застолья?

Габриэль. Никого из бессмертных не было, кроме одной богини, которая по-гречески зовется Псора<sup>509</sup>.

Петроний. Ты описываешь мне чесоточную свадьбу.

Габриэль. Если б только чесоточную... Изъязвленную и гнойную!

Петроний. Но что такое, Габриэль? Упоминание насчет чесотки даже слезы у тебя вызвало!

Габриэль. Само дело, Петроний, такое, что даже из камня выжало бы слезы.

Петроний. Пожалуй, если бы камень видел. Но, прошу тебя, расскажи, что приключилось. Не скрывай, не томи меня дольше.

Габриэль. Ты знаешь Лампридия Евбула?

Петроний. Лучше и богаче нет человека в нашем городе.

Габриэль. А его дочь Ифигению<sup>510</sup>?

Петроний. Украшение нашего века.

Габриэль. Верно. А знаешь, за кого она вышла?

Петроний. Если скажешь, буду знать.

Габриэль. За Простофилия Блина.

Петроний. За этого Фрасона, который убивает всех подряд — в хвастливых своих баснях, разумеется?

Габриэль. За него самого.

Петроний. Но ведь он уже давно известен в нашем городе преимущественно двумя достоинствами — враньем и паршою, которая твердого названия еще не имеет и потому весьма многоименна<sup>511</sup>.

Габриэль. Гордая парша и грозная; если дойдет до схватки, она не уступит ни проказе, ни слоновой болезни, ни лишаю, ни стригущему лишаю, ни волчанке.

Петроний. Так утверждает племя врачей.

Габриэль. Что же теперь, Петроний? Опишу девушку. Ты, правда, и сам ее себе представляешь, но убор придал столько прелести природной ее красоте! Милый мой Петроний, ты бы сказал, что перед тобою богиня! Ей было к лицу всё! Но вот появляется распрекрасный жених — безносый, одну ногу волочит (но совсем не так ловко, как швейцарцы<sup>512</sup>), руки в струпьях, дыхание зловонное, глаза мутные, на голове повязка, гной

<sup>508</sup> Безбожная (греч.).

<sup>509</sup> Псора — чесотка (греч.).

<sup>510</sup> Микенский царь Агамемнон, возглавлявший поход греков-ахейцев против Трои, принес в жертву свою дочь Ифигению ради того, чтобы боги даровали его флоту счастливое плавание к берегам Трояды. Так и эти родители приносят дочь в жертву, только не ради общего дела, а ради собственного тщеславия.

<sup>511</sup> Речь идет о сифилисе, который тогда называли то французской, то испанской, то неаполитанской болезнью. Нынешнее свое название он получил по имени главного героя поэмы итальянского врача Джеронимо Фракасторо, описавшего эту болезнь в стихах (1530 г.). Героя поэмы звали Софил, что можно перевести примерно как «друг свиней». См. также прим. к «Солдату и картезианцу», к словам: Не испанскою ли чесоткою ты заразился?

<sup>512</sup> Эразм смеется над швейцарскими наемниками и их шагом в строю.

сочится и из ноздрей, и из ушей. У других пальцы в перстнях, у него даже на бедрах кольца.

Петроний. Что за беда стряслась с родителями, которые отдали такую дочь такому выродку?

Габриэль. Не знаю. Но многим кажется, что они рехнулись.

Петроний. Может быть, он очень богат.

Габриэль. Очень. Но одними долгами.

Петроний. Если бы девушка отравила ядом обоих дедов и обеих бабок, молено ль было придумать ей наказание тяжелее?

Габриэль. Если бы помочилась на прах родителей, достаточной карою было бы дать хоть один поцелуй такому чудовищу.

Петроний. Согласен.

Габриэль. Честное слово, мне это представляется более жестоким, чем если бы ее нагою бросили медведям, или львам, или крокодилам: либо дикие звери пощадил бы замечательную красу, либо смерть мигом прекратила бы все муки.

Петроний. Ты совершенно прав. Мне этот поступок представляется достойным Мезентия, который, как говорит Марон<sup>513</sup>,

*...мертвых тела с живыми связывал, руки  
Вместе с руками, уста — с устами...*

Но и Мезентий, если не ошибаюсь, не был так свиреп, чтобы привязать к трупу такую прелестную девушку. Да и лучше быть привязанным к любому трупу, чем к такому гнусному, как этот. Ведь самое его дыхание — яд, его речи — чума, его прикосновение — смерть.

Габриэль. Ты только подумай, Петроний, сколько наслаждения будет в этих ласках, этих объятиях, этих ночных играх и забавах!

Петроний. Я часто слышал, как богословы рассуждают о неравном браке. Этот брак с полным правом можно назвать неравным, — все равно что драгоценный камень оправили бы в свинец. Но что меня изумляет, так это отвага юной девицы. Обыкновенно девушки чуть не в обморок падают, завидев призрак или выходца с того света, а она отважится обнять ночью такой труп?

Габриэль. Ей оправданием служит воля родителей, бесстыдство друзей, простодушие нелепого возраста. Я же не могу надивиться безумию отца с матерью. Кто пожелает выдать дочь, хотя бы и самой несчастливой наружности, за прокаженного?

Петроний. Никто, по-моему, если он сохраняет хоть крупицу здравого смысла. У меня если б дочь была и кривая, и хромая, и уродливая, как гомеровский Ферсит, да еще бесприданница вдобавок, я бы и тогда отказался от подобного зятя.

Габриэль. Но эта язва и мерзее и опаснее всякой проказы! Она и расползается быстрее, и нападает все вновь и вновь, и часто убивает; а проказа иной раз не препятствует человеку дожить и до глубокой старости.

Петроний. Может быть, родители не знали о болезни жениха?

Габриэль. Знали прекрасно.

Петроний. Если они так ненавидели свою дочь, зашили б ее лучше в мешок и бросили в Шельду<sup>514</sup>!

Габриэль. Конечно, это было бы меньшим безумием.

Петроний. Может, он каким-нибудь дарованием их пленил? Отличается в каком-нибудь искусстве?

---

<sup>513</sup> Публий Вергилий Марон, «Энеида», VIII, 485—486. Перевод С. М. Соловьева. Мезентий — один из персонажей «Энеиды», за чудовищную жестокость изгнанный из города, которым он правил.

<sup>514</sup> Шельда — река на территории нынешней Франции, Бельгии и Голландии. При впадении Шельды в Северное море стоит Антверпен.

Габриэль. Во многих: неутомимый игрок, непобедимый пьяница, наглый развратник, величайший мастер лгать и молоть вздор, грабитель не из ленивых, мот замечательный, гуляка отчаянный. К чему много слов? Школа учит лишь семи благородным искусствам, у него наготове более десятка неблагородных.

Петроний. Но должно же быть хоть что-то, чем он приобрел расположение родителей!

Габриэль. Ничего, кроме хвастливого имени рыцаря-конника.

Петроний. Какой там конник, когда он из-за своей парши едва ли и в седло-то способен сесть! Хотя, наверно, у него владенья изрядные?

Габриэль. Были кой-какие, но после всех сумасбродных выходов не осталось ничего, кроме одной башни, откуда он обычно выезжает в разбойничьи набеги, да и та в таком прекрасном виде, что ты и свиней не стал бы держать. Однако ж на языке у него постоянно лишь замки, да лены<sup>515</sup>, да прочие звонкие слова; и герб свой поприколачивал где только возможно.

Петроний. Что у него в гербе?

Габриэль. Три золотые слона на пурпурном поле.

Петроний. Выходит, что слону — слоновая болезнь. Но кровожадный, надо полагать, человек.

Габриэль. Не так до крови жадный, как до вина. Красное вино прямо обожает.

Петроний. Значит, хобот ему нужен для питья.

Габриэль. Очень нужен.

Петроний. Ну, что ж, герб свидетельствует, что его хозяин — большой дурень, бездельник и винохлеб. Пурпур — цвет не крови, но вина, а золотой слон обозначает: «Сколько бы золота у меня ни появилось, все пропью!»

Габриэль. Так оно и есть.

Петроний. Принесет ли он хоть что-нибудь своей невесте, этот Фрасон, хоть какую-нибудь выгоду?

Габриэль. Выгоду? Самую обильную...

Петроний. Мот — обильную выгоду?

Габриэль. Дай мне договорить. Самую обильную и самую худшую паршу.

Петроний. Провалиться мне на этом месте, если бы я охотнее не выдал свою дочь за коня, чем за такого конника!

Габриэль. А я — так хотя бы и за монаха! Потому что не за человека вышла она замуж, но за труп человека. Если бы ты видел это зрелище, скажи, смог бы ты удержаться от слез?

Петроний. Каким образом, когда я и теперь-то едва не плачу? Неужели родители были настолько глухи к естественному чувству любви, чтобы единственную дочь, девушку такой красоты, такого дарования, такого нрава, отдать в рабство такому чудовищу ради поддельного герба?!

Габриэль. И такой посушок, свирепей и нечестивей которого и представить себе нельзя, для важных господ не более чем забава, хотя те, кто рожден править государством, должны обладать здоровьем самым крепким. Состояние тела воздействует и на силу духа; а эта болезнь пожирает мозг человека до конца. Вот и получается, что во главе государства становятся люди, недужные и духом и телом.

Петроний. Не только сильным умом и цветущим здоровьем должны обладать люди, стоящие у кормила правления, — они должны и внешне отличаться благообразием. Хотя главное достоинство государей — это мудрость и бескорыстие, далеко не безразлично, какова внешность того, кто повелевает другими. Если он жесток, телесное безобразие много способствует ненависти, если добр и честен,

---

<sup>515</sup> Лен — наследственное земельное владение, полученное вассалом (рыцарем) от сеньора и связывающее вассала и все его потомство долгом верности по отношению к сеньору.

*Доблесть милее вдвойне, заключенная в теле прекрасном* 516.

Габриэль. Верно.

Петроний. Разве не оплакивают несчастья тех женщин, чьи супруги после свадьбы заболевают проказою или падучей?

Габриэль. И с полным основанием.

Петроний. Что ж это за сумасшествие — самим отдать дочь более чем прокаженному!

Габриэль. Более чем сумасшествие. Если вельможа желает вырастить щенков, спрашивается, подпустит ли он к суке хороших кровей паршивого и безродного пса?

Петроний. Напротив, примет все меры, чтобы и кобеля подобрать как можно благороднее, — иначе родятся убудки.

Габриэль. А если бы начальник пожелал увеличить конницу, неужели подпустил бы к отличной кобыле больного и выродившегося жеребца?

Петроний. Больного он не потерпел бы и в общей конюшне — чтобы болезнь не перекинулась на других лошадей.

Габриэль. И в то же время они не считают важным, кого подпустить к дочери и от кого родятся дети, которым предстоит не только унаследовать все их состояние, но и управлять государством?

Петроний. Даже мужик не всякого быка допустит к корове, не всякого жеребца случит с кобылою, не всякого хряка со свиньею: ведь иной бык предназначен для плуга, жеребец для телеги, а хряк для кухни.

Габриэль. Взгляни, как превратны человеческие суждения! Если какой-нибудь плебей насильно поцелует патрицианскую девушку, считают, что это обида, за которую должно мстить войною.

Петроний. Беспощадной войною.

Габриэль. И сами, добровольно, все зная, все понимая, отдают самое дорогое, что у них есть, презренному выродку! Это преступление и частное, против собственной семьи, и общественное, против сограждан и всего государства.

Петроний. Если жених, в остальном здоровый, чуть прихрамывает, как трудно ему найти невесту! И только этот порок не в счет при помолвке.

Габриэль. Если кто отдал дочку в услужение францисканцу — какое возмущение, сколько слез о худо пристроенной девице! Но у нее здоровый и крепкий муж, хоть и под рясою, а та весь свой век проводит с полуживым трупом. Если девушка выходит за священника, шутят, что она окунулась в елей; но та узнает мази куда похуже елея<sup>517</sup>.

Петроний. Враги так не поступают с пленницами, пираты — с девушками, которых находят на борту захваченного судна, а родители поступают так с единственною дочерью, и власти не назначают над ними опеки!

Габриэль. Как поможет помешанному врач, когда он сам помешан?

Петроний. И удивительно, что государи, чья обязанность — заботиться о подданных хотя бы телесно, то есть прежде всего — об их здоровье, здесь никаких средств не изобретают. Страшная зараза овладела большою частью мира, а они преспокойно храпят, будто это их не касается.

Габриэль. О государях, Петроний, надо говорить с благоговением. Но придвинь-ка ухо, я шепну тебе три слова.

Петроний. Какое несчастье! Хоть бы ты оказался лживым пророком!

---

<sup>516</sup> Вергилий, «Энеида», V, 344.

<sup>517</sup> Намек на тогдашние способы лечения сифилиса: больного обмазывали различными снадобьями, а затем надолго обертывали бинтами и укутывали в простыни, чтобы лекарство получше впиталось. Ниже Эразм вспоминает и об этих укутываниях.

Габриэль. Сколько, по-твоему, разных болезней от отравленного тысячею разных способов вина?

Петроний. Бесчисленное множество, если верить врачам.

Габриэль. А городские власти что же — дремлют?

Петроний. Нет, они глядят во все глаза, но только — когда взимают налоги.

Габриэль. Та, что сознательно выходит за больного, может быть, и заслуживает своего несчастья, которое сама на себя навлекла; и будь я государем, я бы удалял из города обоих супругов. Но если женщина вышла за больного этою чумой, который, однако же, притворялся здоровым, я, вручи мне кто-нибудь папскую власть, расторгнул бы этот брак, хотя бы и тысяча договоров его скрепляла.

Петроний. На каком основании? Брак, заключенный по всем правилам, человеком расторгнут быть не может.

Габриэль. Какие же тут, по-твоему, правила, если брак заключен обманом? Брачный договор не имеет силы, когда девушка введена в заблуждение и выходит за раба, считая его свободным. В этом случае она выходит за раба самой скверной богини — Псоры, и тем печальнее это рабство, что Псора никого на волю не отпускает и, значит, горечь рабства не может быть смягчена ни малейшей надеждою на свободу.

Петроний. Да, ты нашел основание.

Габриэль. Вдобавок, брак возможен только между живыми. А тут жених — мертвый.

Петроний. Вот и еще основание найдено. Но, я полагаю, ты разрешишь паршивым выходить за паршивых — по старинной пословице: *«Паршивый жених — паршивая невеста»*.<sup>518</sup>

Габриэль. Если бы мне было дозволено делать все, что на пользу государству, я разрешал бы им сочетаться браком, но чету сжигал бы.

Петроний. Тогда ты был бы уже не государем, но Фаларидом<sup>519</sup>.

Габриэль. Разве Фаларид представляется тебе врачом, который отсекает несколько пальцев или прижигает один из членов, чтобы не погибло все тело? Мне это представляется не жестокостью, но милосердием. Если бы так поступали, когда зло только зарождалось! Тогда, ценою смерти немногих, можно было охранить здоровье целого города. Подобный пример мы встречаем во французской истории.

Петроний. Но меньшею жестокостью было бы их оскопить и изгнать.

Габриэль. А с женщинами что бы ты стал делать?

Петроний. Навесил бы замок.

Габриэль. Так мы достигнем лишь того, что дурные вороны не будут класть дурных яиц; и я соглашусь с тобою, что это менее жестоко, если и ты признаешь, что более опасно. Ведь похоть испытывают и скопцы, а болезнь распространяется не одним только способом, но ползет дальше и через поцелуй, и через разговор, и через прикосновение, и через распитую вместе бутылку. А с этою болезнью сопряжено какое-то роковое зложелательство и злорадство, так что всякий, кто ею страдает, рад заразить как можно больше людей, даже без всякой для себя корысти. Они могут бежать из своего изгнания, могут обмануть, пользуясь ночью тьмой или неведением; от мертвых же никакой опасности нет.

Петроний. Да, согласен, это надежнее; но отвечает ли это христианской кротости, я не уверен.

Габриэль. Скажи мне, от кого больше опасности — от обыкновенных воров или от них?

---

<sup>518</sup> Подобное — к подобному (греч.).

<sup>519</sup> Фаларид — тиран города Агригента в Сицилии (VI в. до н. э.). Его имя стало синонимом жестокости. Про Фаларида рассказывали, что он сжигал людей живыми, заключив их в медное изображение быка, чтобы вопли умирающих звучали мычанием «ожившей» статуи.

Петроний. Нельзя не признать, что деньги намного дешевле здоровья.

Габриэль. И, однако, воров мы, христиане, вздергиваем на виселицу, и это зовется не жестокостью, но справедливостью. А если ты печешься о благе государства, так это твой долг.

Петроний. Но виселицей карают за нанесенный ущерб.

Габриэль. А эти, стало быть, доставляют выгоду! Но допустим даже, что многие заразились безо всякой своей вины, хотя ты мало найдешь больных, которым бы эту язву не принесло распутство. Законоведы учат, что иной раз справедливо предать смерти и невинных, если это очень существенно для государства. Так вот и греки, разрушив Трою, убили Астианакта, сына Гектора, чтобы через него не возобновилась война. И не считается нечестивым, когда после убийства тирана умерщвляют и его детей, ни в чем не повинных. Мы, христиане, непрерывно воюем, а ведь нам известно, что самая большая доля военных бедствий падает на тех, кто никак этого не заслужил. То же бывает и при так называемых репрессалиях: подлинный виновник в безопасности, а грабят торговца, который не только что ни к чему не причастен, но даже и не слышал о случившемся. Если мы пользуемся такими средствами в делах не столь важных, как, по-твоему, надлежит действовать в обстоятельствах самых суровых и грозных?

Петроний. Перед истиной я отступаю.

Габриэль. И еще вот о чем поразмысли. У итальянцев, едва вспыхнут первые искры чумы, — все двери на запор, и кто прислуживает больному, не имеет права показаться на людях. Иные называют это бесчеловечностью, но в этом высшая человечность: благодаря такой бдительности после немногих похорон недуг затухает. Разве это не человечность — уберечь от опасности столько тысяч жизней? Некоторые корят итальянцев негостеприимством за то, что при слухах о чуме гостю вечерней порою двери не отворяют и он вынужден ночевать под открытым небом. Нет, это благочестие, если, ценою неудобства немногих людей, зорко хранят величайшее благо всего государства. Иные очень гордятся своею храбростью и любезностью, когда навещают больного чумой, даже не имея к нему никакого дела; но, вернувшись домой, они заражают жену, детей и всех домочадцев. Так есть ли храбрость глупее и любезность нелюбезнее — ради того, чтобы приветствовать чужого, рисковать жизнью самых близких! А ведь эта парша гораздо опаснее чумы, которая редко поражает близких больного, а стариков почти и вовсе не трогает; тех же, кого затронет, либо скоро избавляет от мук, либо возвращает к жизни и здоровью еще более чистыми, чем до болезни. Парша — не что иное как вечная смерть или, сказать вернее, погребение: человека обмазывают мазями и увертывают бинтами, в точности как мертвое тело.

Петроний. Истинная правда. Против этого столь пагубного недуга должно было принять хотя бы те же меры, какие принимаются против проказы. А если и этого чересчур много, пусть никто не дается брить бороду и не ходит к цирюльнику.

Габриэль. А если бы оба не раскрывали рта?

Петроний. Зараза выходит через ноздри.

Габриэль. Ну, этой беде можно помочь.

Петроний. Каким образом?

Габриэль. Надевать маску, как у алхимиков: глаза будут прикрыты стеклянными оконцами, а дышать — через рог, который под мышкою протянется к спине.

Петроний. Хорошо бы, если только можно не бояться прикосновения пальцев, простыни, гребня и ножниц.

Габриэль. Стало быть, всего лучше — отпустить бороду до колен.

Петроний. Видимо, так. И затем надо издать указ, чтобы никто не совмещал в одном лице цирюльника и хирурга.

Габриэль. Ты обрекаешь цирюльников на голод.

Петроний. Пусть сократят расходы, а плату за бритье немного повысят.

Габриэль. Дельно.

Петроний. Далее, нужен закон, чтобы каждый пил из своего стакана.







### Канний. Полифем

Канний. На кого ты здесь охотишься, Полифем? <sup>523</sup>

Полифем. На кого, спрашиваешь, охочусь? Без собак и без рогатины?

Канний. Видно, на какую-нибудь нимфу-гамадриаду<sup>524</sup>.

Полифем. Прекрасно угадал. А вот и охотничья сеть.

Канний. Что я вижу? Вакх в львиной шкуре <sup>525</sup>, Полифем с книгой!  
&#915;&#945;&#955;&#942; &#954;&#961;&#959;&#954;&#969;&#964;&#959;&#957;<sup>526</sup>.

Полифем. Не только шафрановым цветом расписал я эту книжку, но и красным и синим.

Канний. Я тебе не про шафран говорю. Я сказал греческую пословицу. А книжка, наверно, военная — защищена медными застежками, шишками и пластинами.

Полифем. Посмотри повнимательней.

Канний. Да, вижу. Очень красиво. Но украшений еще мало.

Полифем. Чего не хватает?

Канний. Твоего герба.

Полифем. Какого герба?

Канний. Головы Силена, выглядывающей из бочки <sup>527</sup>. Но какой предмет она

<sup>523</sup> Циклоп (киклоп) Полифем, как он изображен Гомером в «Одиссее» (песнь IX), — одноглазый великан, дикарь, пастух (а вовсе не охотник). С Эразмовым Полифемом его роднит лишь громадная сила, тупость и заносчивость.

<sup>524</sup> Гамадриада — нимфа дерева, рождающаяся и умирающая вместе с ним; как бы «душа дерева».

<sup>525</sup> Вакх, самый изнеженный из греческих богов, оделся в львиную шкуру — облачение Геракла, самого мужественного из героев.

<sup>526</sup> Букв.: «Хорьку (или кошке) — шафрановый плащ» — греческая поговорка о чем-либо совершенно несообразном, примерно отвечающая русскому: «С суконным рылом да в калашный ряд».

<sup>527</sup> Гомеровский Полифем напился пьян и во хмелю потерял единственный глаз.

изъясняет? Искусство выпивать?

Полифем. Берегись! Изречешь кощунство ненароком!

Канний. Что же это? Уж не божественное ли что-нибудь?

Полифем. Божественнее нет ничего на свете. Это Евангелие.

Канний. &#919;&#961;&#945;&#954;&#955;&#949;&#953;&#962;<sup>528</sup>! Что Полифему до Евангелия?

Полифем. Ты еще спроси: «Что христианину до Христа»?

Канний. Не знаю, не знаю, но тебе скорее подошла бы алебарда. Если бы мне повстречался незнакомец с такою наружностью в море, я бы принял его за пирата, если бы в лесу — за разбойника.

Полифем. Но как раз этому и учит нас Евангелие — чтобы мы никого не судили по наружности. Подобно тому как под серою рясой нередко скрывается душа тирана, так иной раз коротко стриженная голова, курчавая борода, грозные брови, свирепые глаза, шляпа с перьями, военный плащ, сапоги с прорезями прикрывают евангельскую душу.

Канний. Отчего же нет? Иной раз и под волчьей шерстью скрывается овца, и, — если верить басням, — под львиною шкурой осел.

Полифем. Скажу больше: я знаю человека<sup>529</sup>, у которого на голове баран, а в сердце лисица. Ему я хотел бы пожелать, чтобы глаза у него оставались черные, друзья же были белы как снег, и чтобы нрав его сделался золотым с такою же легкостью, с какою покрывается загаром его лицо.

Канний. Если человек в бараньей шапке носит на голове целого барана, как же, спрашивается, нагружен ты, если на голове у тебя баран вместе со страусом? На мой взгляд, это еще глупее — на голове носить птицу, а в сердце осла!

Полифем. Язвишь...

Канний. Но было бы чудесно, если бы не только ты убрал разными украшениями Евангелие, но и оно, в свою очередь, украсило тебя. Ты разрисовал его яркими красками; если бы оно наделило тебя добрыми нравами!

Полифем. Об этом мы позаботимся.

Канний. По всегдашнему вашему обыкновению.

Полифем. Но довольно злословия. Скажи, ты что, решительно осуждаешь всех, кто не расстаётся с Евангелием?

Канний. Нисколько. Кто нес на себе Христа, зовется Христофором, то есть Христоносцем. Ты носишь с собою Евангелие и вместо Полифема должен называться Евангелиефором.

Полифем. Но ты не считаешь, что носить Евангелие — это святое дело?

Канний. Нет, если только ты не признаешь, что самые святые существа в мире — это ослы.

Полифем. Как так?

---

<sup>528</sup> Геракл! (греч.)

<sup>529</sup> Эта реплика Полифема оскорбила главу реформаторов в Базеле (где жил тогда Эразм), известного ученого-гуманиста и богослова Иоганна Гуссена, более известного под грецизированным именем Эколампаций (1482—1531): он увидел в ней намек на самого себя, а в диалоге вообще — выпад против евангелистов-реформаторов. Последнее, пожалуй, верно, но первое подозрение неосновательно. Эразм объяснил Эколампацию, что Полифем отвечает колкостью Каннию, а Канний — это Николай Канний из Амстердама, его, Эразма, слуга, который мечтал увидеть свое имя в «Разговорах»; у этого Канния и шапка из овчины, и черные глаза, и смуглый цвет лица. А что Эколампаций тоже носит баранью шапку, Эразм никогда прежде не знал. Эколампаций удовольствовался этими объяснениями. Заметим кстати, что другое действующее лицо диалога — тоже слуга-ученик Эразма, Феликс Рекс из Гента, прозванный «Полифемом» за грубость и пристрастие к хмельному, а также, по-видимому, за знание многих языков (polyrhemos по-гречески — «многоречивый»). Солдатская внешность придана ему тоже не случайно: бранясь с хозяином и собираясь оставить его, он говорил, что поступит на военную службу и пойдет сражаться с турками.

Канний. Да ведь одного осла довольно, чтобы нести три тысячи подобных книжек. Я уверен, что и ты поднял бы этот груз, если приладить тебе на спину хорошее выючное седло.

Полифем. Ничего странного не будет, если мы и признаем святость за ослом, — ведь он тоже нес на себе Христа<sup>530</sup>.

Канний. Такую святость можешь взять себе всю Целиком. И если хочешь, я еще подарю тебе останки того осла, на котором сидел Христос: будешь их лобызать.

Полифем. Ты окажешь мне неоценимую услугу: этот осел освящен прикосновением тела Христова.

Канний. Но Христа касались и те, что били его по Щекам.

Полифем. Ну, пожалуйста, скажи серьезно, разве не благочестиво повсюду носить с собою книгу Евангелия?

Канний. Благочестиво, если в этом нет лицемерия, если это действительно так.

Полифем. Лицемерие оставим монахам. У солдата какое лицемерие?

Канний. Но прежде всего объясни мне, как ты понимаешь лицемерие.

Полифем. Это когда напоказ выставляешь одно, а в душе скрыто другое.

Канний. Но что выставляет напоказ тот, кто повсюду носит Евангелие? Не евангельскую ли жизнь?

Полифем. Думаю, что да.

Канний. Значит, если его жизнь не отвечает книге, это лицемерие.

Полифем. По-видимому. Но что означает «действительно носить с собою Евангелие»?

Канний. Некоторые носят в руках, как францисканцы — устав святого Франциска; на это одинаково способны и парижские носильщики, и ослы, и мерины. Иные носят на губах и беспрестанно твердят про Христа и про Евангелие; это фарисейство. Некоторые носят в душе. «Носить действительно» — значит нести Евангелие и в руках, и на устах, и в сердце.

Полифем. Где же такие носители?

Канний. В храмах — диаконы, которые носят книгу, возглашают из нее народу и держат ее в сердце.

Полифем. Но и среди тех, кто носит Евангелие в душе, не все святые.

Канний. Ты мне софиста не изображай! Нельзя носить в душе, если ты не полюбил всей душой, если не стараешься запечатлеть Евангелие в собственных нравах.

Полифем. Этих тонкостей я не понимаю. Канний. Я скажу проще. Если ты несешь на плечах бутылку бургундского, это только груз или еще что-нибудь?

Полифем. Только груз.

Канний. Если прополощешь вином глотку, а после выплунешь?

Полифем. Ничего хорошего. Впрочем, это не в моем обычае.

Канний. А если, как у тебя в обычае, напьешься досыта?

Полифем. Божественно!

Канний. Все тело разогревается, щеки розовеют, угрюмые морщины разглаживаются.

Полифем. Именно так!

Канний. В чем-то сходно с вином и Евангелие: разбегаясь по жилам души, оно обновляет все внутреннее обличье человека.

Полифем. Значит, я живу не по-евангельски? так ты считаешь?

Канний. Этот вопрос никто не разрешит лучше тебя самого.

Полифем. Да, если бы его можно было разрубить боевым топором, тогда, конечно...

Канний. Если бы кто назвал тебя в глаза лгуном или распутным гулякою, что бы ты сделал?

Полифем. Я что бы сделал? Отведал бы он моих кулаков!

Канний. А если бы кто дал тебе затрещину?

---

<sup>530</sup> По евангельскому преданию, Христос совершил торжественный въезд в Иерусалим верхом на «молодом осле» (за несколько дней до распятия).

Полифем. Не сносил бы он головы!

Канний. А твоя книга учит на оскорбления отвечать кроткою речью, и если ударят в правую щеку, подставить и левую.

Полифем. Да, я читал. Но забыл.

Канний. Ты, наверно, часто молишься.

Полифем. Нет, это фарисейство.

Канний. Фарисейство — молиться пространно, но притворно. А твоя книга учит, что молиться надо постоянно, но от души.

Полифем. Ну, все-таки иногда я молюсь.

Канний. Когда?

Полифем. Когда в голову придет; раз или два в неделю.

Канний. И как же ты молишься?

Полифем. Читаю Молитву господню.

Канний. Сколько раз?

Полифем. Один. Евангелие воспрещает пустословие.

Канний. Можешь ли со вниманием прочитать Молитву господню?

Полифем. Никогда не пробовал. Но разве недостаточно, если я произношу ее громким голосом?

Канний. Не уверен; лишь один голос слышит бог — голос сердца. Постишься часто?

Полифем. Никогда.

Канний. Но твоя книга одобряет молитву и пост.

Полифем. Одобрял бы и я, да брюхо не согласно.

Канний. Но Павел предупреждает: не служат Иисусу Христу те, кто служит чреву. Мясо ешь в любой день?

Полифем. Когда дадут.

Канний. Но ведь это здоровенное, как у гладиатора, тело могло бы прокормиться хоть сеном, хоть древесною корой!

Полифем. Но Христос сказал<sup>531</sup>: не оскверняет человека то, что входит в уста.

Канний. Так оно и есть, если только соблюдена мера, если это не оскорбляет других. Но Павел, Христов ученик, предпочитает погибнуть голодною смертью, лишь бы не оскорбить слабого духом брата своего, и нас зовет следовать этому образцу, чтобы мы угождали всем и во всем.

Полифем. Павел — это Павел, а я — это я.

Канний. Охотно ли помогаешь бедным?

Полифем. Мне нечего им дать.

Канний. Было бы, если бы ты жил трезво и усердно трудился.

Полифем. Так приятно ничего не делать!

Канний. Соблюдаешь заповеди божьи?

Полифем. Это тяжело.

Канний. Каешься в прегрешениях?

Полифем. Христос за нас расплатился.

Канний. Как же ты после этого объявляешь, что любишь Евангелие?

Полифем. Сейчас увидишь. Тут у нас один францисканец без конца поносил с кафедры Эразмов Новый завет<sup>532</sup>. Я встретился с ним с глазу на глаз, левой рукой схватил за волосы, а правой помахал как следует и отделал его на славу — вся рожа вспухла и посинела! Ну, что

<sup>531</sup> «Евангелие от Марка», VII, 15.

<sup>532</sup> В 1516 г. Эразм выпустил первое печатное издание Нового завета в оригинале (по-гречески) со своим;! обширными комментариями, которые вызвали страшный гнев обскурантов, утверждавших, будто Эразм — еретик и враг благочестья. Пример подобной «критики» см. дальше, в диалоге «Проповедь».

скажешь? Разве это не значит держать сторону Евангелия? Потом я отпустил ему его грехи, трижды стукнув по макушке этой самой книгой, и набил три шишки — во имя Отца, и Сына, и святого Духа.

Канний. Да, вполне по-евангельски. В прямом смысле слова защищал Евангелие Евангелием.

Полифем. Является еще один из той же братии и накидывается на Эразма как бешеный, сам себя от злобы не помнит. Я разгорелся евангельскою ревностью, пригрозил ему хорошенько и заставил на коленях просить прощения, да еще и признать, что все свои речи он произносил по наущению диавола. Попробовал бы он не послушаться — я приставил алебарду ему к затылку. А лицо у меня было, как у разгневанного Марса. Это уж произошло при свидетелях.

Канний. Удивительно, как он вообще духа не испустил. Но продолжим. Живешь целомудренно?

Полифем. Наверно, заживу когда-нибудь — когда состарюсь. Но хочешь ли, Канний, открою тебе всю правду?

Канний. Я не священник. Если вздумал исповедоваться, поищи другого собеседника.

Полифем. Исповедуюсь я чаще всего богу. А тебе открою, что мне еще далеко до совершенства, я просто один из евангельского народа. У нас четыре Евангелия, и мы, племя евангельское, охотимся главным образом за четырьмя вещами: чтобы брюхо было довольно; чтобы и то, что под брюхом, нужды не знало; чтобы было, на что жить; и, наконец, чтобы можно было делать что хочешь. И если охота удачна, мы возглашаем над полными чашами: «Ио, триумфе! Ио, пэан!»<sup>533</sup> Жив дух евангельский! Правит Христос!»

Канний. Но это эпикурейская жизнь, не евангельская.

Полифем. Не спорю. Но ты знаешь, что Христос всемогущ: он может внезапно превратить нас в иных людей.

Канний. Но может и в свиней, и это, по-моему, легче, чем в добрых мужей.

Полифем. Как будто нет на свете тварей хуже, чем свиньи, быки, ослы, верблюды! Оглянись кругом: многие свирепее льва, хищнее волка, похотливее воробья, кусачее пса, вреднее гадюки!

Канний. Однако пора уже превращаться из тупой скотины в человека.

Полифем. Верно напоминаешь. Пророки нашего времени вещают, что последний час близок<sup>534</sup>.

Канний. Тем более следует поспешить.

Полифем. Я ожидаю Христовой десницы.

Канний. Постарайся вложить в его десницу мягкий воск. Но из чего они заключают, что близится конец света?

Полифем. Люди, говорят они, заняты тем же, чем когда-то перед потопом: пируют, пьют, гуляют, женятся, выходят замуж, блудят, покупают, продают, отдают в рост, платят лихву, строят дома; государи воюют, священники хлопчут об умножении доходов, богословы плетут силлогизмы, монахи снуют по миру, народ волнуется, Эразм пишет «Разговоры»; наконец, все беды явились разом — голод, жажда, разбой, война, чума, мятеж, нужда. Разве это не убеждает, что роду человеческому скоро конец?

Канний. Из этой груды бедствий какое для тебя самое тяжкое?

Полифем. Угадай.

Канний. Что в кошельке у тебя одни пауки.

Полифем. Провалиться мне на этом месте, если ты не попал в самую точку! Сейчас я

<sup>533</sup> Возгласы радости у римлян; примерно их можно перевести так: «Ура! Ликуйте! Пойте победную песнь!»

<sup>534</sup> В 20-е гг. XVI в. часто звучали предсказания скорого конца света; особенно часто они исходили из среды радикальных реформаторов-анабаптистов.



Левкий. Едва мы вышли в море, налетел страшный вихрь.  
 Анний. Прямо собрание богов какое-то! Столько, говоришь, князей, столько благородных дам?  
 Левкий. Борей разодрал и сорвал парус.  
 Анний. Невесту я знаю. Красивее и вообразить невозможно!  
 Потом волною сбило кормовое весло.  
 Анний. Это общее мнение. Говорят, что и жених красотою почти ей не уступает.  
 Левкий. Представляешь себе, что мы в этот миг испытали?  
 Анний. Да, теперь редко кому достается в жены девица.  
 Левкий. Пришлось нам взяться за весла.  
 Анний. Такое приданое — даже не верится!  
 Левкий. И сразу новая беда.  
 Анний. Почему девочку, чуть не ребенка, отдали за такого дикаря?  
 Левкий. Появляется пиратский корабль.  
 Анний. Конечно, так оно и есть: испорченность многим заменяет недостающие годы.  
 Левкий. Тут начинается у нас двойная борьба — одна с морем, другая с разбойниками.  
 Анний. Столько ему подарков? А нищим никто и травинки не подаст!  
 Левкий. Как? Чтобы мы отступили? Наоборот, отчаяние придавало нам мужества.  
 Анний. Боюсь, как бы брак не оказался бесплодным, если все это правда.  
 Левкий. Нет, мы зацепили их за борт крючьями.  
 Анний. Неслыханное дело! До свадьбы — а уже беременна?  
 Левкий. Если б ты видел эту схватку, ты бы сам сказал, что я — не баба!  
 Анний. Как я слышу, этот брак не только совершился, но и завершился.  
 Левкий. Мы перескочили на пиратское судно.  
 Анний. Но удивительно, что тебя, чужого человека, позвали, а меня обошли, хотя отец невесты со мною — в третьей степени родства.  
 Левкий. И пиратов побросали в море.  
 Анний. Это ты правильно сказал: у несчастливого нет родственников<sup>538</sup>.  
 Левкий. Всю добычу поделили между собой.  
 Анний. Потребую у нее объяснений при первой же встрече.  
 Левкий. Тут внезапно все улеглось, и настала полная тишь.  
 Анний. У них богатство, а у меня гордость. Не нуждаюсь я в ее расположении!  
 Левкий. И вот вместо одного судна привели в гавань два.  
 Анний. Кто ее кормит, тот пускай и сердится.  
 Левкий. Куда иду, спрашиваешь? В церковь, принести в дар святому Николаю обрывок паруса.  
 Анний. Сегодня я занят: сам жду гостей. А в другой раз — охотно.

**&#921;&#928;&#928;&#917;&#933;&#931;  
 &#913;&#925;&#921;&#928;&#928;&#927;&#931;<sup>539</sup>, или самозванная  
 знатность**

<sup>538</sup> В «Адагиях» приведена та же поговорка, но в положительной форме: счастливому все подряд родичи.

<sup>539</sup> Конник без коня (греч.).



### Гарпал. Несторий 540

Гарпал. Не поможешь ли мне советом? Ты увидишь, что я умею помнить добро и быть благодарным.

Несторий. Хорошо, я дам тебе надежный совет, чтобы ты стал тем, кем хочешь быть.

Гарпал. Но родиться знатным — не в нашей власти.

Несторий. Если ты не знатен, постарайся добрыми делами достигнуть того, чтобы знатность началась с тебя. Гарпал. Это слишком долго.

Несторий. Тогда ее задешево продаст тебе император.

Гарпал. Над покупною знатностью все смеются.

Несторий. Если нет ничего смешнее мнимой знатности, почему ты так упорно домогаешься звания рыцаря?

Гарпал. Есть причины, и немаловажные. Я их тебе охотно открою, если ты сперва подскажешь мне средства прослыть знатным у толпы.

Несторий. Получить одно прозвание, без вещи?

Гарпал. Если самой вещи нет, важнее всего слух о ней. Но, пожалуйста, Несторий, дай мне совет; узнаешь причины — сам скажешь, что ради этого стоит потрудиться.

Несторий. Ну, раз ты так настаиваешь, изволь. Во-первых, уезжай подальше от отечества.

Гарпал. Запомнил.

Несторий. Войди в общение с молодыми людьми действительно знатными.

Гарпал. Понятно.

Несторий. Отсюда возникнет первое предположение, что и ты таков же, как твои приятели.

Гарпал. Верно.

Несторий. Следи, чтобы ничего не было на тебе простонародного.

Гарпал. Чего именно?

Несторий. Я говорю о наряде. Шерстяного платья ни в коем случае не носи, но либо шелковое, либо, если не достанет, на что купить, — бумажное; пусть даже холстина, лишь бы не сукно.

540 Гарпал — одного корня с греческим глаголом *harpazo*, «грабить». Несторий — от имени гомеровского Нестора, мудрого советчика.



Гарпал. Правильно.

Несторий. И смотри, чтобы цельного ничего не было, но повсюду делай прорези — и на шляпе, и на камзоле, и на штанах, и на башмаках, и даже на ногтях, если сможешь. И ни о чем неизменном не говори. Если приедет кто из Испании, спроси, как улаживается спор между императором и папой, как пожирает твой родич граф Нассау, как прочие твои собутыльники.

Гарпал. Будет исполнено.

Несторий. На палец надень перстень с печаткой.

Гарпал. Если только кошелек выдержит.

Несторий. Ну, медное кольцо с позолотой и с поддельным камнем стоит немного. И не забудь про щит с гербом.

Гарпал. Какой герб мне выбрать?

Несторий. А вот, если не возражаешь: два подойника и пивная кружка.

Гарпал. Нет, ты скажи серьезно.

Несторий. На войне ты никогда не был?

Гарпал. Даже не видал никогда!

Несторий. Но крестьянским гусям и каплунам, я полагаю, головы рубил.

Гарпал. Очень часто, и не без отваги.

Несторий. Возьми серебряный нож и три золотые гусиные головы.

Гарпал. И на каком поле поместить?

Несторий. На каком еще, как не на пурпуре? В память об отважно пролитой крови.

Гарпал. А и в самом деле! Гусиная кровь так же красна, как человеческая. Но, пожалуйста, продолжай.

Несторий. Этот щит с гербом постарайся прибить у ворот всех гостиниц и заезжих дворов, где ты когда-нибудь останавливался.

Гарпал. Какой выбрать шлем?

Несторий. Верно напоминаешь. Забрало пусть будет в прорезях.

Гарпал. Зачем?

Несторий. Чтобы ты мог дышать; и затем — в лад всему наряду. А нашлемник какой будет?

Гарпал. Скажи ты — я жду.

Несторий. Собачья голова с опущенными ушами.

Гарпал. Это примелькалось.

Несторий. Прибавь рога — это редкость.

Гарпал. Хорошо. Но какие животные будут держать щит?

Несторий. Оленей, псов, драконов, грифонов разобрали князья. Ты изобрази двух гарпий.

Гарпал. Прекрасный совет.

Несторий. Остается имя. Тут, прежде всего, надо остерегаться, чтобы тебя не звали попросту Гарпалом Комским, но Гарпалом из Комо<sup>541</sup>: это подобает знати, а то жалким богословам.

Гарпал. Так. Запомнил.

Несторий. Нет ли у тебя какого-нибудь владения, чтобы ты мог именоваться его господином?

Гарпал. Даже хлева и то нет.

Несторий. Ты родился в большом городе?

Гарпал. Нет, в глухой деревне. Грешно лгать тому, у кого просишь лекарства.

Несторий. Ты прав. Но нет ли по соседству с этой деревней какой-нибудь горы?

---

<sup>541</sup> Комо — город северной Италии, но, вместе с тем, Ком у греков — бог веселых пирушек. Отсюда — двусмысленность прозвища.

Гарпал. Есть.

Несторий. А скала где-нибудь на горе есть?

Гарпал. Есть.

Несторий. Итак, будь Гарпалом, рыцарем Золотой Скалы.

Гарпал. У знати принято, чтобы каждый имел свой девиз. Например, у Максимилиана было: «Соблюдай меру!», у Филиппа — «Кто пожелает», у Карла — «Всё дальше!» И так у каждого свой.

Несторий. А ты надпиши: «До последней карты!»

Гарпал. Очень удачно!

Несторий. Чтобы мнение о тебе утвердилось, сочиняй письма, якобы посланные важными господами, и в них погуще расставь обращение «Светлейший рыцарь!» и упоминания о твоих ленах, о замках, о многих тысячах флоринов, о важных должностях, о богатой женитьбе. Позаботься, чтобы такие письма, якобы случайно тобою потерянные или забытые, попадали в чужие руки.

Гарпал. Это мне будет нетрудно: пишу я хорошо и долгим опытом приобрел способность подражать любому почерку.

Несторий. Вкладывай в платье или оставляй в кошельке, а после отдашь платье в починку, и мастера найдут. Они молчать не станут, а ты, как только об этом узнаешь, изобрази на лице гнев и огорчение, словно досадуешь на случившуюся оплошность.

Гарпал. А я и тут уже давно приготовился: могу менять выражение лица, как маску.

Несторий. Таким образом, обмана никто не заподозрит, и к молве все будут прислушиваться с доверием.

Гарпал. Обо всем позабочусь неукоснительно.

Несторий. Потом надо собрать нескольких приятелей или просто слуг, чтобы они повсюду уступали тебе место и величали «енкером»<sup>542</sup>. Расходов здесь опасаться нечего — есть очень много молодых людей, которые вызовутся разыгрывать эту комедию хотя бы и даром. Вдобавок здешние края кишат полуобразованными юношами, одержимыми страстью — чтобы не сказать «зудом» — к писанию; нет недостатка и в голодных типографах, готовых на все, если блеснет надежда на прибыль. Подкупи нескольких среди них, чтобы в своих книжках они объявили тебя «столпом отечества», и неоднократно, да еще и прописными буквами напечатали бы. Так ты хоть и в Богемии прослывешь «столпом отечества». Ведь книжки расходятся и живее и дальше, чем слухи или самые говорливые слуги.

Гарпал. И этот прием мне нравится. Но слуг надо содержать.

Несторий. Надо. Но ты не держи слуг  
&#945;&#967;&#949;&#953;&#961;&#959;&#965;&#962; 543 и потому  
&#945;&#967;&#961;&#949;&#943;&#959;&#965;&#962;<sup>544</sup>. Рассылай их туда, сюда — вот они что-нибудь и разыщут. Сам знаешь, случаи могут разные открыться.

Гарпал. Довольно: уже все понял.

Несторий. Остаются занятия.

Гарпал. Да, говори скорее!

Несторий. Если не будешь добрым игроком в кости, приличным картежником, неприличным блудодеем, неутомимым пьяницей, дерзким мотом и расточителем, по уши завязнувшим в долгах, если не будешь разукрашен галльской паршой наконец, — едва ли

<sup>542</sup> То есть «молодым господином» (голландское *jonkheer*, немецкое *Junker*). Обращение вроде русского «барич» или «барчук».

<sup>543</sup> Безруких (греч.).

<sup>544</sup> Беспольных (греч.).

кто поверит, что ты рыцарь.

Гарпал. В этом я давно понаторел. Да где взять средства?

Несторий. Погоди, сейчас узнаешь. Есть у тебя состояние?

Гарпал. Ничтожное.

Несторий. Когда многие поверят молве о твоей знатности, ты без труда найдешь дураков, которые поверят тебе в долг: кто побоится отказать, а кто и постыдится. А чтобы обмануть заимодавцев, есть тысяча разных способов!

Гарпал. И в этом я не новичок. Но ведь начнут напирать, когда убедятся, что, кроме слов, нет ничего.

Несторий. Наоборот, нет более удобного пути к царству, чем задолжать как можно большему числу людей.

Гарпал. Как так?

Несторий. Во-первых, заимодавец оберегает тебя не иначе, как если бы ты оказал ему великое благодеяние: он боится потерять свои деньги и не хочет создать к этому повод. Рабы так не покорны своему хозяину, как заимодавцы должнику. А если когда-нибудь что-нибудь им вернешь, благодарности больше, чем за подарок.

Гарпал. Я это наблюдал.

Несторий. Только остерегайся иметь дело с мелкими заимодавцами. Из-за ничтожной суммы они поднимают целую бурю. С теми, кто побогаче, сговориться легче: их сдерживает стыд, ласкает надежда, пугает страх — им известно, на что способны рыцари. Наконец, когда долги станут тебя захлестывать, выдумай какую-нибудь причину и перебирайся в другое место, а оттуда — еще в другое. Стыдиться не нужно. Кто больше всех в долгу? Самые знатные. Если кто посмеет настаивать и напирать, прикинься оскорбленным такою наглостью. Правда, время от времени кое-что возвращай, но не все и не всем. Главное — это чтобы никто не почуял, что в кошельке у тебя совсем пусто. Всегда хвастайся.

Гарпал. Чем хвастаться тому, кому нечем похвастаться?

Несторий. Если друг оставит что-либо у тебя на сохранение, хвастайся будто своим, но как бы ненароком, неумышленно. Для этой же цели иногда бери деньги на короткий срок и возвращай исправно. Кошелек набей медной монетой, а доставай два золотых, которые припрятаны среди меди. Остальное сообрази сам.

Гарпал. Понимаю. Но в конце концов долги все равно меня погубят.

Несторий. Ты знаешь, сколько у нас позволено рыцарям.

Гарпал. Все, что угодно, и к тому ж безнаказанно.

Несторий. Так вот, слуг держи не робких и не ленивых, а еще лучше — не слуг, а кровных родичей, которых так или иначе приходится содержать. Встретится на дороге купец — они его ограбят. Найдут кое-что без присмотра в гостиницах, в домах, на судах. Смекаешь? Пусть помнят, что не напрасно даны человеку пальцы.

Гарпал. Опасно все-таки...

Несторий. Ты одевай их получше, и непременно чтобы гербы на платье, да снабди вымышленными письмами к первым людям государства, — и тогда, если что стянут потихоньку, обвинить их никто не отважится, а если и будут подозрения, всякий промолчит, опасаясь господина. Если ж захватят добычу силой, это будет называться «войною». Такие забавы служат подготовкою к войне.

Гарпал. Какой удачный совет!

Несторий. И еще вот какой рыцарский закон всегда надо держать в памяти: рыцарь в полном праве опорожнить кошелек путнику-простолодину. Слыханное ли дело, чтобы ничтожный купчишка позвякивал монетами, меж тем как рыцарю нечем уплатить продажной девке, нечего проиграть в кости! Всегда держись вблизи первых вельмож или, вернее, втирайся к ним в близость. Забудь про стыд, и в особенности — с иноземцами. Время старайся проводить в каком-нибудь людном месте, — к примеру — в банях или в тех гостиницах, где всегда много постояльцев.

Гарпал. Это самое намерение у меня и было.

Несторий. Там судьба часто подбросит тебе добычу.

Гарпал. Каким образом? Объясни.

Несторий. Допустим, кто-нибудь забудет кошелек или оставит ключ в двери кладовой. Остальное сам понимаешь.

Гарпал. Но...

Несторий. Чего боишься? На такого нарядного, так надменно и цветисто изъясняющегося, на рыцаря Золотой Скалы — кто осмелится подумать? А если такой наглец и найдется, где у него мужество, чтобы тебя обвинить? Тем временем подозрение падет на кого-либо из постояльцев, уехавших накануне. Твои люди заведут брань и ссору с хозяином, а ты изображай невозмутимое спокойствие. Если ж обворованный окажется человеком осторожным и рассудительным, он не скажет ни слова, чтобы вместе с убытком не понести еще и позора, за то что плохо хранит свое добро.

Гарпал. Это ты дельно говоришь. Граф, владелец Белого Коршуна, тебе, конечно, известен.

Несторий. Разумеется.

Гарпал. Мне рассказывали, что у него гостил один испанец, весьма благородной наружности и прекрасно одетый. Он украл шестьсот флоринов, и граф не посмел жаловаться. Столько было в этом человеке достоинства.

Несторий. Ну, вот тебе и пример. От времени до времени посылай одного из слуг на войну. Он пограбит церкви или монастыри и возвратится, нагруженный военной добычей.

Гарпал. Это всего вернее и безопаснее.

Несторий. Есть и еще способ доставать деньги.

Гарпал. Открой, очень тебя прошу.

Несторий. Изобрети какие-нибудь причины, чтобы можно было разгневаться на людей состоятельных, главным образом на монахов или священников, которых теперь почти все люто ненавидят. Один, дескать, насмеялся над твоим гербом или плевал на него, другой говорил о тебе недостаточно уважительно, третий что-то написал, что может быть превратно истолковано. Этим людям через своих фециалов <sup>545</sup> объяви <sup>&#945;&#963;&#960;&#959;&#957;&#948;&#959;&#957;&#960;&#959;&#955;&#949;&#956;&#959;&#957;</sup> <sup>546</sup>. Не жалея свирепых угроз, сули им <sup>разрушения,</sup> <sup>&#960;&#945;&#957;&#969;&#955;&#949;&#952;&#961;&#943;&#945;&#962;</sup> <sup>547</sup>. В ужасе они прибегут к тебе улаживать раздор. Тут оценивай свою честь высоко, то есть требуй непомерно, чтобы получить в меру. Если запросишь три тысячи, меньше двухсот золотых дать постыдятся.

Гарпал. А другим буду грозить законами.

Несторий. Это уже ближе к искусству сикофантов; впрочем, отчасти небесполезно и оно. Да, вот что, Гарпал, чуть не забыл самое главное: надо поймать в сети богатую невесту. У тебя в руках приворотное зелье — ты молод, смазлив, забавно болтаешь, мило шутишь. Распусти слух, будто тебя зовут ко двору императора и делают самые заманчивые предложения: девушки охотно идут замуж за царских наместников.

Гарпал. Я знаю людей, у которых это отлично получалось. Но что, если в конце концов обман выйдет наружу и отовсюду разом накинется заимодавцы? Затравят мнимого рыцаря насмешками! В их глазах самозванство страшнее и позорнее святотатства.

<sup>545</sup> Фециалы у древних римлян — коллегия жрецов, отправлявшая обряды, связанные с международным правом; фециалы входили в состав посольств, объявляли войну, заключали мир.

<sup>546</sup> Непримируемую войну (греч.).

<sup>547</sup> Окончательную погибель (греч.).

Несторий. Здесь нужно твердо помнить насчет бесстыдства, и в первую очередь — что никогда еще наглость не имела такого преимущества перед мудростью, как в наше время. Надо придумать какое-нибудь оправдание. Затем, всегда найдутся честные простаки, которые поверят твоей басне, а иные и разгадают обман, но из учтивости промолчат. Наконец, если ничего иного не останется, ищи выхода в войне или в гражданской смуте. Подобно тому как <sup>548</sup>, так война покрывает все преступления. Кто не прошел такой подготовки, того нынче и за хорошего военачальника не считают. Это будет тебе последним прибежищем, если все прочее обманет. Но сперва надо горы и моря перевернуть — лишь бы до этого не дошло! Смотри, чтобы беззаботность тебя не сгубила. Избегай мелких городишек, где и пукнуть-то нельзя без того, чтобы весь народ не узнал. В больших и многолюдных городах свободы больше, если, конечно, это не Массилия какая-нибудь<sup>549</sup>. Исподтишка выведывай, что про тебя говорят. Как узнаешь, что участились такие примерно речи: «Чем он занимается? Почему застрял у нас на столько лет? Почему не возвращается на родину? Почему не позаботится о своих замках? От кого ведет свое происхождение? Откуда средства для такой расточительности?» — когда, говорю, подобные речи зазвучат все дружнее, тут тебе самое время подумать о переселении. Бегство, однако же, Пусть будет львиным, а не заячьим. Притворись, будто тебя приглашают к императорскому двору по важным делам и скоро ты вернешься с войском. Те, кому есть что терять, и пикнуть не посмеют в твоё отсутствие. Но кого нужно остерегаться всего больше, так это поэтов из числа раздражительных и колючих. Если им что не по нраву, тут же давай марать бумагу, и что намарают — мигом разлетается по свету.

Гарпал. Клянусь, я в восторге от твоих советов! И ты скоро убедишься, что повстречал юношу, которого бестолковым или неблагодарным никто назвать не сможет. Как увижу на пастбище хорошего коня, тут же пошлю тебе подарок.

Несторий. Теперь и ты исполни обещание, в свою очередь. Почему ты так стремишься прослыть знатным?

Гарпал. Единственно потому, что знатным все позволяется безнаказанно. Разве это не веская причина, по-твоему?

Несторий. Как бы худо ни обернулось, двум смертям не бывать; а одной не минуешь, даже если жить в самом Шартрезе<sup>550</sup>. И легче умереть на колесе, чем от камня в пузыре, от подагры или от паралича. Это по-солдатски — верить, что после смерти от человека не остается ничего, кроме трупа.

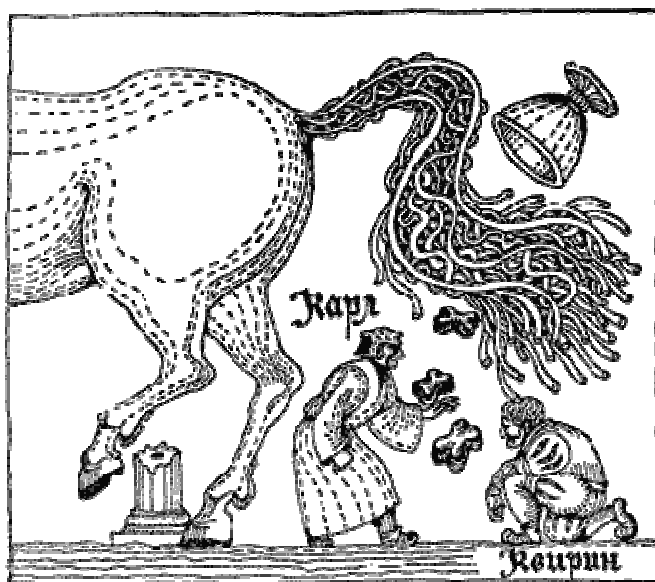
Гарпал. Так я и думаю.

## **913;931;932;929;913;915;913;923;921;931;924;927;931;, или игра в бабки**

<sup>548</sup> Море смывает все грехи людей (греч.). Слегка искаженная цитата из «Ифигении в Тавриде» Еврипида (ст. 1193). В «Адагиях» Эразм сообщает, что это изречение родилось после того, как с Еврипидом в Египте случился припадок эпилепсии, а египетские жрецы исцелили его, окунув в морскую воду.

<sup>549</sup> Древняя Массилия (нынешний Марсель) славилась строгостью нравов и любовью к наукам.

<sup>550</sup> Шартрез (Картузия) — первый монастырь ордена картезианцев, давший имя самому ордену; назван по месту, где был основан, — горному массиву Большой Шартрез в Альпах.



### Карл. Квирин

Квирин. «Лишь от ученых учись», — говорит Катон<sup>551</sup>. Вот я и хочу у тебя поучиться, мой дорогой Утенхове<sup>552</sup>: объясни мне, почему древние наставники в благочестии распорядились, чтобы клирики носили одежду до лодыжек, или, как они говорили, «до бабок».

Карл. Я полагаю, по двум причинам. Во-первых, ради скромности, чтобы глазу не открывалось нагое тело. Ведь в старину не был еще известен тот вид штанов, что покрывает тело от пупка до подошвы, не были в употреблении и подштанники. (По этой же самой причине стыдятся носить короткое платье женщины — заботясь о целомудрии своего пола.) И во-вторых, чтобы не только нравами, но и внешним видом отличались клирики от народа, среди которого кто всех дальше от благочестия, тем короче любит одеваться.

Квирин. Это вполне похоже на правду. Но от Аристотеля и Плиния я выучился, что у человека бабок нет, а есть они только у четвероногих, и вдобавок не у всех, но преимущественно у тех, что имеют раздвоенное копыто, да и у них — лишь в задних ногах. Как же о платье, которое носит человек, можно сказать «до бабок»? Разве что люди некогда были четвероногими — по Аристофановой притче<sup>553</sup>!

Карл. Ну, если верить Эдипу, среди людей есть и четвероногие и двуногие<sup>554</sup>; с войны

<sup>551</sup> См. прим. к «Мальчишескому благочестию».

<sup>552</sup> Карл Утенхове из Гента, друг и ученик Эразма, живший у него в Базеле как раз в ту пору, когда писался этот диалог (конец 1528 г.). Другой собеседник, Квирин, — слуга-ученик Эразма, который провел у него на службе семь лет (1524—1531 гг.), пользуясь неизменным расположением хозяина.

<sup>553</sup> В диалоге Платона «Пир» одним из собеседников, рассуждающих о природе любви, выступает великий комедиограф Аристофан. В начале своей речи он объявляет, что «когда-то наша природа была не такой, как теперь... Прежде всего, люди были трех полов, а не двух... Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук...» (189D — 190A; перевод С. Апта).

<sup>554</sup> Миф рассказывает, что на скале у дороги в Фивы (город в Средней Греции) сидело чудовище Сфинкс, которое каждому путнику загадывало неразрешимую загадку и всех неотгадавших убивало. Лишь Эдип оказался умнее Сфинкса. На вопрос: «Какое животное утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» — он ответил: «Человек, потому что в младенчестве он ползает на четвереньках, подростки — ходит на собственных ногах, а в старости опирается на палку».







... в детстве ты, Авл, и орехи, и бабки, —

и так далее. Наконец, есть спартанское, если не ошибаюсь, изречение: «Детям отводи глаза бабками, а взрослым — клятвами». Такой кости нет ни у одного живого существа, которое принадлежит к числу «с цельным копытом» (кроме носорога), или «с лапою, расчлененной на несколько пальцев или когтей»; среди последних — лев, пантера, собака, обезьяна, человек, птица и очень многие другие. Те же, что относятся к числу «с раздвоенным копытом», большей частью имеют бабки, и, как ты правильно напомнил, — в задних конечностях. У человека нет бабок по двум причинам: во-первых, он двуногий, во-вторых, стопа у него расчленена на пять пальцев.

Квирин. Это я слыхал не однажды. Ты мне, пожалуйста, опиши расположение бабки и ее внешний вид. Этой игрою теперь даже девушки пренебрегают; они тянутся к костям, к картам и прочим мужским забавам.

Карл. Не удивительно: они тянутся и к богословию. Впрочем, будь я математиком, или живописцем, или даже ваятелем, я бы не смог показать тебе внешний вид бабки лучше, чем с помощью самой бабки. Разве что ты настаиваешь, чтобы я описал ее тебе словесно — по общему обыкновению.

Квирин. А есть у тебя бабка?

Карл. Вот, гляди — овечья, из правой голени. Ты видишь только четыре грани, тогда как у куба или тессеры<sup>566</sup> их шесть: четыре по окружности, одна сверху и одна снизу.

Квирин. Верно.

Карл. У бабки верхний и нижний края закруглены, и потому граней всего четыре. Одна из них, как видишь, вздута горбом.

Квирин. Вижу.

Карл. На противоположной грани углубление, и Аристотель зовет ее «ничком», а эту — «навзничь». Так, когда сочетаются муж с женою, чтобы зачать ребенка, жена лежит навзничь, а муж ничком. Ораторы и поэты часто употребляют эти два слова в переносном смысле, что, впрочем, к нашему разговору отношения не имеет.

Квирин. Это ты очень искусно мне представил. А какое различие между двумя остальными гранями?

Карл. Одна чуть впалая — в соответствии с очертанием кости, к которой она прилегает, другая почти совсем ровная и хрящом не одета, но прикрыта лишь сухожилием и кожей.

Квирин. Вижу.

Карл. Обращенная вверх жил лишена вовсе, а в обращенную вниз, в самую впадину, входит сухожилие, так же точно, как с правою гранью сухожилие скреплено в верхней ее части, а с левою — в нижней.

Квирин. Хорошо рассказываешь. Но как мне узнать, которая левая, а которая правая.

Карл. Верно напоминаешь. Все мои объяснения впустую, если ты не взял в толк, что речь идет о правой бабке. Объясню, стало быть, понятнее и одновременно укажу расположение кости, как ты и просил. Бабка расположена в сгибе голени, прямо под бедром.

Квирин. А очень многие думают, что подле стопы.

Карл. Они заблуждаются. То, что именуется «бабкою» в собственном смысле слова,

---

<sup>566</sup> Тессера — игральная кость (лат.).

лежит в сгибе, который греки зовут *ἄστρον*,<sup>567</sup> но только, как я уже говорил, в задних конечностях. У тебя между стопой и коленом — голень. Квирин. Да.

Карл. А позади колена — *ἄστρον*;

Квирин. Не спорю.

Карл. У четвероногих в задних конечностях сгиб такой же, как у людей между плечом и предплечьем; исключение составляет обезьяна — она получеловек. Итак, локтю руки в ноге животного соответствует колено.

Квирин. Понял. Карл. И сгиб отвечает сгибу.

Квирин. Ты хочешь сказать — в передних и задних голенях?

Карл. Да. Итак, в сгибе насупротив колена стоит бабка — разумеется, лишь когда и само животное стоит; и верх ее, и низ слегка закруглены, но не одинаковым образом. Верх раздваивается в некое подобие рогов, которые Аристотель называет *ἄστρον*,<sup>568</sup> а Феодор<sup>569</sup> переводит: «реи». Низ бабки подобных рогов не имеет. Квирин. Вижу.

Карл. Ту грань, что повернута к передним ногам, Аристотель называет «ничком», противоположную «навзничь». И еще две грани, из которых одна смотрит внутрь, на вторую заднюю ногу (левую или правую, соответственно), а другая — наружу. Ту, что смотрит внутрь, Аристотель называет *ἄστρον*,<sup>570</sup> ту, что наружу — *ἄστρον*.

Квирин. Ну, прямо вижу собственными глазами! Теперь тебе остается рассказать, как прежде играли в бабки. Ведь та игра, что, говорят, была в ходу еще сравнительно недавно, со сведениями, которые мы находим у древних писателей, ни в чем не совпадает.

Карл. Но очень может быть, что, как сегодня мы по-иному играем в карты и кости, так у древних существовал иной способ игры в бабки. Квирин. Вполне вероятно.

Карл. Феодор Газа, или, как предпочитают говорить некоторые, Феодор Фессалоникский, в переводе Аристотелевой «Истории животных», в книге второй, сообщает, что грань бабки, обращенная вбок наружу, называется «псом», обращенная внутрь, ко второй ноге, — «вене-рою». Впрочем, это он прибавляет от себя. У Аристотеля сказано только следующее: То *ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*;

*ἄστρον*.<sup>571</sup> Но от других

<sup>567</sup> Сгиб, сочленение (греч.).

<sup>568</sup> Рога, выступы (греч.).

<sup>569</sup> Феодор Газа (ок. 1400—1478), грек из Фессалоники, бежавший в Италию после захвата Фессалоники турками в 1430 г. Автор греческой грамматики и многих переводов греческих классических авторов (в том числе Аристотеля) на латинский язык.

<sup>570</sup> Сторона, бок (греч.).

<sup>571</sup> «Навзничь» — снаружи, «ничком» — внутри, «бока» повернуты друг к другу, так называемые «бедра» — наружу, а наверху «рога» (греч.). В изданиях нового времени этот текст читается несколько по-иному: вместо «бока» (*ἄστρον*) — «внутренние части лодыжки» (*ἄστρον*), вместо

авторов известно, что «венера» — это такой бросок, когда все четыре бабки ложатся разными гранями вверх, и мне непонятно, чему следовал Феодор, называя «венерой» одну из граней. Наш общий приятель Эразм, который вообще-то к подобным наблюдениям довольно равнодушен, в примечаниях к нескольким пословицам сообщает, следуя древним, кое-что и об игре в бабки. Например, к пословице «Не Хиос, но Кос»<sup>572</sup> он делает, между прочим, такое примечание: «Кос» и «шестерка» — то же самое, что греки звали «Хиос» против «коса» он указывает, что «хиос» и «пес» — одно и то же и что «кос» был счастливый бросок, а «пес» — несчастливый, и ссылается на Персия<sup>573</sup>:

*... сколько «шестерка»  
Ловкая мне принесет и отнимет зловедная «сучка».*

То же и у Проперция:

*Вечно опасные «псы» б ярости так и взвились.*

И Овидий во второй книге «Скорбных песен» «псов» называет «опасными». Еще Эразм прибавляет из Марциала — что «шестерка» сама по себе представляется счастливой, но приносит несчастье, если выпадет «пес». Марциал говорит так<sup>574</sup>:

*Да и «шестерки» со «псом» нету в рожке у меня...*

Что «венера» — бросок и редкостный, и самый счастливый, отмечено у Марциала в «Гостинцах»<sup>575</sup>:

*Если по-разному вдруг у тебя обернутся все бабки,  
Скажешь, что я подарил ценный подарок тебе.*

В игре участвовали столько игроков, сколько у бабки граней. (В кости обычно играли втроем, не более.) Но подробнее раскрывает смысл игры Светоний<sup>576</sup> в «Октавии Августе», приводя такие слова из письма Августа к Тиберию:

«За обедом и вчера и сегодня играли  
и кому выпадал «пес» или «шестерка», ставил на кон за каждую бабку по денарию. Все

---

«бедр» — «хиосские кувшины»

<sup>572</sup> Эта пословица (II тысяча, II сотня, пословица 9) читается в «Адагиях» иначе: «Не Хиос, но Киос» (сопоставляются нравы жителей острова Хиоса и малоазийского городка Киос). Лишь в толковании пословицы Эразм отмечает, что в некоторых источниках вместо «Киос» значится «Кос».

<sup>573</sup> Персии, III, 48—49. Перевод Ф. Петровского.

<sup>574</sup> Марциал, XIII, 1, 6. Перевод Ф. Петровского.

<sup>575</sup> Марциал, XIV, 14. Перевод Ф. Петровского.

<sup>576</sup> «Божественный Август», LXXI, 2.

<sup>577</sup> По-стариковски (греч.).

забирал тот, кто выбрасывал «венеру».

Квирин. Ты объяснил мне, что самым счастливым был бросок, когда все четыре бабки ложились разными гранями; так, при игре в кости самый удачный бросок тот, что зовется «мидасом». Но ты еще не доказал, что этот бросок действительно называли «венерой».

Карл. Эту задачу разрешит Лукиан, который пишет в «Любовях»<sup>578</sup> :  
 &#922;&#945;&#953; &#946;&#945;&#955;&#969;&#957; &#956;&#949;&#957;  
 &#949;&#960;&#953; &#963;&#954;&#959;&#960;&#959;&#973;,  
 &#956;&#940;&#955;&#953;&#963;&#964;&#945; &#948;&#949;  
 &#949;&#953;&#960;&#959;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;  
 &#952;&#949;&#959;&#957; &#945;&#965;&#964;&#942;&#957;  
 &#949;&#965;&#946;&#959;&#965;&#955;&#949;&#963;&#949;&#953;&#949;,  
 &#956;&#949;&#948;&#949;&#957;&#959;&#962;  
 &#945;&#963;&#964;&#961;&#964;&#947;&#945;&#955;&#959;&#965;  
 &#960;&#949;&#963;&#972;&#957;&#964;&#959;&#962; &#953;&#963;&#969;  
 &#963;&#967;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;,  
 &#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#954;&#965;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;&#962;  
 &#949;&#960;&#953;&#952;&#965;&#956;&#943;&#945;&#962;  
 &#964;&#949;&#965;&#958;&#949;-&#945;&#952;&#945;&#953;  
 &#957;&#959;&#956;&#953;&#950;&#969;&#957;<sup>579</sup>. Богиня, которая здесь упомянута, — Венера.

Квирин. Если Феодор ошибся, только две грани имеют свое имя.

Карл. Быть может, он следовал какому-то свидетельству, от нас ускользнувшему. Мы же готовы представить на твое рассмотрение все, что только обнаружено нами у древних авторов. Некоторые упоминают еще о Стесихоровом числе<sup>580</sup> в бабках, — это, по их словам, была «восьмерка», — некоторые об Еврипидовом, которое равнялось сорока.

Квирин. Теперь опиши правила игры.

Карл. Я не думаю, чтобы мальчишки играли по тем же правилам, которыми пользовался Октавий, судя по его письму. Едва ли этот способ игры был общепринятым. Иначе достаточно было бы сказать: «За обедом мы играли в бабки». Мне кажется, он намекает на особые условия игры, которые были приняты только между ними, — подходящие для стариков, не обременяющие душу тревожными размышлениями. Ведь и ныне многие игры утомляют сильнее, чем серьезные занятия, — и все из-за этих самых размышлений!

Квирин. Достань, прошу тебя, и остальные бабки — попробуем сыграть.

Карл. Но у нас нет ни стаканчика, чтобы встряхивать бабки, ни игральной доски.

Квирин. Чтобы сыграть для примера, и стол годится. А стаканчиком нам послужит винная чаша или шапка.

Карл. Можно и ладони сложить ковшом. «Навзничь» выпадает чаще, чем «ничком», а «ничком» чаще «шестерки» или «пса».

Квирин. Очевидно.

Карл. Если из четырех бабок «псом» ляжет одна — выкладывай одну монету, если две — две, если три — три, если четыре — четыре. И наоборот: всякий раз, как выбросишь «шестерку», берешь с кона одну монету.

<sup>578</sup> «Две любви», XVI.

<sup>579</sup> И бросив удачно, в особенности когда, по счастью, выбрасывал самое богиню — то есть ни одна бабка не падала так же, как Другая, он благодарственно простирался ниц, в надежде, что достигнет исполнений своих желаний (греч.).

<sup>580</sup> Стесихор — греческий лирический поэт VII—VI вв. до н. э.

Квирин. А если «шестерку» и «пса» одновременно?  
Карл. Тогда, если не возражаешь, будем оба платить, а с кона ни тот, ни другой ничего не возьмет. Кому первому выпадет «венера», забирает всё.  
Квирин. Что, если кость ляжет «ничком» или «навзничь»?  
Карл. Это холостой бросок, и либо ты бросаешь снова, либо теряешь ход.  
Квирин. Будем играть с потерей хода.  
Карл. Теперь делай ставку.  
Квирин. Попробуем так, без денег.  
Карл. Такое искусство хочешь выучить задаром?  
Квирин. Но борьба-то неравная между мастером и новичком!  
Карл. Но надежда выиграть и страх проиграть удвоят твою внимательность.  
Квирин. Какая же будет ставка?  
Карл. Если хочешь быстро разбогатеть — сто дукатов.  
Квирин. Если б они у меня были! Надежней богатеть понемногу. Вот тебе медяк.  
Карл. Что же, прибавим к малому малое, как советует Гесиод<sup>581</sup>, — так тоже соберется изрядная грудка. Встряхни и бросай. Доброе начало — у тебя «пес»! Ставь монету и наперед запомни опасную грань. Давай сюда бабки.  
Квирин. Начало еще добрее — у тебя три «пса»! Деньги на стол!  
Карл. Это судьба заманивает тебя в ловушку, мой милый. Бросай, только сперва встряхни получше. Напрасный труд: «ничком» и «навзничь». Мой ход. Передай бабки.  
Квирин. Прекрасно! Снова мы видим трех «псов». Карл. &#924;&#951;&#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962; &#957;&#943;&#954;&#951;&#962;&#949;&#947;&#954;&#969;&#956;&#953;&#959;&#957; 582 . Судьба, говорю, тебя приманивает. Послушай, однако, я выучен играть именно так, что Октавий, мне кажется, играл по-другому.  
Квирин. Как же?  
Карл. Кто выбрасывал «пса», давал денарий (это я тебе уже говорил), а кто «шестерку» — ничего не забирал, зато противник ставил на кон еще монету.  
Квирин. А если выпадало несколько «шестерок»?  
Карл. Столько ж и монет добавлял к ставке противник. А потом всю грудку разом уносила «венера». А можно ввести еще условие: если не выпадет ни «шестерки», ни «пса», теряешь только ход.  
Квирин. Не возражаю.  
Карл. И самое лучшее, по-моему, если каждый мечет три раза кряду, а после передает ход противнику.  
Квирин. Хорошо. А которая по счету «венера» завершит игру?  
Карл. Третья, если ты не против. А потом мы будем вольны начать сначала на других условиях. Впрочем, «венера» благосклонна нечасто и к немногим. Итак, начнем, в добрый час!  
Квирин. Начнем. Но надо закрыть двери, чтобы владычица нашей кухни не подсмотрела, как мы занимаемся пустяками, будто малые дети.  
Карл. Скорее уж будто старики. А что, у тебя такая болтливая служанка?  
Квирин. До того страдает недержанием, что, если некому пересказать все домашние события до последнего, расскажет хоть курам и кошкам!  
Карл. Эй, слуга, затвори дверь да заложил засов, чтобы не появился внезапно

---

581 Если и малое даже прикладывает к малому будешь,  
Скоро большим оно станет, прикладывай только почаще.  
Гесиод, «Работы и дни», 361—362. Перевод В. Вересаева.

582 До победы не пой победную песнь (греч.)

какой-нибудь зритель и не посмеялся бы над нами всласть.

**Сенатик, или**  
**Корнелия, Маргарета, Перотта, Юлия**  
**583**



**Корнелия. Маргарета. Перотта. Юлия. Катарина**

Корнелия. В добрый час для нашего сословия и для всего женского государства, вы собрались сегодня и с охотой, и в большом числе. Отсюда я с величайшей надеждою заключаю, что милостивый бог вложит в душу каждой из нас мысли, которые послужат величию и благу всех. Я полагаю, всем известно, какой ущерб терпим мы оттого, что мужчины ведут свои дела, совещаюсь ежедневно, а мы, прикованные к кастрюле и к прялке, забыли об общем нашем деле. Дошло до того, что государство наше полностью неустроено, и мужья видят в женах только утеху, и едва признают за нами человеческое звание. Если так будет продолжаться и впредь, сообразите сами, что ожидает нас в конце концов! Страшно вымолвить, и да избавят нас от этого небеса! К своему достоинству мы равнодушны, пусть так, — но о самой жизни ведь обязаны позаботиться! А мудрейший из царей написал<sup>584</sup>: «Лишь там благоденствие, где обилие советов». У епископов — свои синоды, у монашеской братии — свои соборы, у солдат — свои сходки, у воров — свои. Даже муравьи и те имеют меж собою общение. Среди всех живых существ одни лишь мы, женщины, никогда не сходимся.

Маргарета. А с мужчинами? Чаше, чем надо бы!

Корнелия. Для возражений еще не время. Дайте сперва договорить; каждая получит возможность высказаться в свой черед. В том, что мы затеваем, нет ничего нового — мы только следуем старинному образцу. Тысяча триста лет назад, если не ошибаюсь, славнейший император Гелиогабал<sup>585</sup>...

<sup>583</sup> Заседание женщин (греч.).

<sup>584</sup> «Книга Притчей Соломоновых», XI, 14 (перевод отличен от синодального).

<sup>585</sup> См. прим. к «Благочестивому застолью» (стр. 649).

Перотта. Как «славнейший», когда его зацепили крюком, проволочили по всем улицам и швырнули в сточную канаву?!

Корнелия. Опять перебивают! Если поводом к одобрению или порицанию будут для нас подобные признаки, мы скажем, что Христос, которого распяли на кресте, плох, а Домициан, который умер в своей постели<sup>586</sup>, хорош. Между тем самое страшное, что вменяется в вину Гелиогабалу, — это что он бросил наземь священный огонь, который сберегали весталки, и держал у себя в ларарии<sup>587</sup> изображения Моисея и Христа, которого язычники, издеваясь, называли «Хрестос», то есть «полезный». Итак, Гелиогабал постановил, чтобы, подобно тому как император в сенате совещается со своими приближенными об общественных делах, так и родительница императора, Августа, имела бы свой сенат, в котором рассматривались бы заботы и нужды женского племени и который мужчины, либо в насмешку, либо в отличие от императорского сената, прозвали «сенатиком».

Обстоятельства уже давно требуют, чтобы мы возродили этот пример, оставленный столько веков назад. Пусть никого не смущает, что апостол Павел не велит женщине говорить в собрании, которое он зовет «церковью»: он имеет в виду собрание мужчин, а у нас женское собрание. В противном же случае, — если бы женщинам надлежало всегда молчать, — зачем дала нам природа язык, подвешенный не хуже, чем у мужчин, и голос, не менее звучный? (Есть, правда, одно различие: у них голоса звучат хрипло и потому ближе к ослиному реву.) Но все мы должны отнестись к своему начинанию с той серьезностью, чтобы мужчины опять не прозвали нас «сенатиком» или же не выдумали какого-нибудь еще более постыдного имени — ведь они так любят язвить на наш счет. Впрочем, если бы можно было оценивать по справедливости их собрания, они оказались бы вдвойне и тройне женскими. В самом деле, монархи уже столько лет не заняты ничем иным, кроме войны; меж богословами, священниками, епископами и народом никакого согласия; сколько голов, столько и умов, да еще каждый непостоянен, как ни одна из женщин! Государство враждует с государством, сосед с соседом. Если бы бразды правления вручили нам, жизнь человеческая стала бы, мне кажется, намного более сносной. Быть может, женской скромности и не пристало винить столь высоких особ в неразумии, но повторить то, что написал Соломон в «Притчах», в главе тринадцатой, я полагаю, вполне дозволено: «Меж высокомерными всегда раздор, а кто обо всем совещается, теми правит мудрость».

Не хочу утомлять вас дольше этим вступлением, и чтобы все шло стройно, прилично и по порядку, прежде всего необходимо обсудить, кто должен участвовать в совете и кто не должен. Чрезмерное многолюдство будет скорее смутю, чем советом, а совещание немногих заключает в себе нечто тираническое. Я думаю, что здесь не место девицам, ибо очень многое из того, о чем может зайти речь, — не для их ушей.

Юлия. А по какой примете ты отличишь девиц? Или же девицей считать всякую, у кого веночек на голове?

Корнелия. Нет, я думаю, что принимать следует только замужних.

Юлия. И среди замужних есть девицы: те, у кого муж — скопец.

Корнелия. Ну, пусть приписана будет браку такая честь, чтобы все замужние считались за женщин!

Юлия. Но если мы не исключим никого, кроме девиц, толпа все равно останется безмерная и убудет ненамного.

Корнелия. Исключим и тех, что были замужем более трех раз.

---

<sup>586</sup> Тираническому правлению римского императора Домициана (81—96) положил конец заговор; Домициан был умиротворен в собственной спальне.

<sup>587</sup> Лаларий — в римских домах помещение, где хранились изображения ларов (домашних богов).

Юлия. Почему?

Корнелия. Потому что им, как бы выслужившим свой срок, полагается отставка. Того же мнения я держусь и насчет тех, кто старше семидесяти. Далее, следует постановить, чтобы ни одна не говорила дерзко о своем супруге; в целом о мужчинах — пожалуйста, но и тут надо помнить меру.

Катарина. Почему нельзя даже здесь говорить о мужьях с полной откровенностью, когда о нас мужья болтают повсюду? Мой Титий, всякий раз как захочется ему повеселить гостей, рассказывает, что вытворял со мною ночью и что я ему при этом говорила; а часто и от себя многое присочинит.

Корнелия. Признаться по правде, наше достоинство зависит от мужчины: выставлять на позор своего супруга — все равно что порочить самое себя. Хотя у нас и немало причин для справедливых жалоб, однако, если взвесить все в целом, наше положение лучше мужского. Это мужчины в поисках прибытков рыщут по всем морям и землям, рискуя расстаться с жизнью; это они, если случится война, бегут на зов трубы и стоят непоколебимо в боевом строю, меж тем как мы сидим в безопасности дома. Если они нарушат закон, их наказывают со всею строгостью, а нашему полу — снисхождение. Наконец, во многом от нас зависит, чтобы мужья были с нами обходительны.

Остается вынести решение, как нам сесть; иначе с нами может случиться то же, что сплошь да рядом случается с королевскими, княжескими и папскими посланцами, которые на соборах спорят и ссорятся целых три месяца, прежде чем рассядутся. Итак, я считаю, что первым должно быть благородное сословие, а внутри него первое место пусть принадлежит тем, кто благородны на все четыре четверти, следующее — кто на три, далее — кто на два, и последнее — кто на одну; позади сядут благородные на одну восьмую. В каждом из разрядов места будут назначаться по древности происхождения. Незаконнорожденные займут самые крайние места в своем разряде. Простолюдинки сядут особо. Среди них первенство будет принадлежать тем, кто богаче потомством; между равными спор решит возраст. Особо сядут и нерожавшие.

Катарина. А вдов куда денешь?

Корнелия. Очень кстати напомнила. Вдов, если у них есть или были дети, посадим с матерями семейства, а бездетные сядут с краю.

Юлия. Какое место отведешь супругам священников и монахов?

Корнелия. Это обсудим на следующем заседании.

Юлия. Как насчет тех, кто торгует своим телом?

Корнелия. Мы не позволим осквернить наш сенат такую примесью.

Юлия. Как насчет сожительниц?

Корнелия. Их сословие неоднородно, подумаем на досуге... Теперь определим, как будем голосовать, принимая постановление, — точками, камешками, живым словом, поднятием руки или расхождением<sup>588</sup>.

Катарина. В камешках затаилось надувательство, и в точках тоже. Если будем расходиться надвое, подолами платьев поднимем тучу пыли. Лучше всего пусть каждая подаст свое мнение голосом.

Корнелия. Но голоса трудно подсчитывать. И потом, как бы собрание не превратилось в перебранку.

Катарина. А писцы на что? Они занесут на бумагу каждое слово!

Корнелия. Так, с подсчетом голосов ясно. Но как предупредить перебранку?

Катарина. Никто не будет говорить иначе, как отвечая на запрос, и только в свою очередь. Кто нарушит это правило, будет удалена из сената. Далее, если кто разгласит что-либо из здесь происходящего, будет наказана трехдневным молчанием.

---

<sup>588</sup> Так голосовали в римском сенате: сенаторы поднимались со своих мест и подходили к тому из выступавших, чье мнение они разделяли и одобряли.



Корнелия. Это о порядке заседаний. Теперь выслушайте, что именно следует нам обсудить. Первая наша забота — хранить свое достоинство, а оно, в первую очередь, заключается в нашем наряде. Мы же до такой степени небрежны, настолько в этом неразборчивы, что теперь едва отличишь благородную от простолюдинки, замужнюю от девицы или вдовы, почтенную мать семейства от продажной девки. Стыд исчез без следа, и всякая надевает на себя что вздумается. Можно увидеть женщин самого низкого происхождения и положения в платьях шелковых, переливчатых, полосатых, затканых цветами, виссоновых, золотых, серебряных, в соболях, в мадавских мехах<sup>589</sup>; а между тем муж дома тачает сапоги! Пальцы унижены изумрудами и алмазами (на жемчуг нынче никто и смотреть не хочет). Не буду уж толковать ни об янтаре, ни о кораллах, ни о золоченых туфельках. Незнатным было бы довольно, в уважение к своему полу, опоясаться шелковым поясом или обшить край платья шелковой каймой. А так — двойная беда: и свое состояние расстраивают, и смущают то сословие, которое хранит и бережет высоту своего звания. Если в колясках и носилках, отделанных слоновою костью и обитых виссоном, разъезжают простолюдинки, что остается для знатных и могущественных? И если жена обыкновенного рыцаря волочит за собой шлейф длиною в одиннадцать локтей, что делать супруге герцога или графа?

Это особенно нетерпимо потому, что мы с удивительным безрассудством то и дело изменяем свой наряд. Прежде позади макушки поднимались рога, и с них свисал платок: этот убор отличал знатных женщин от простых. Потом знатные — чтобы все было розно и несходно — стали носить шляпы, отороченные белым в черных пятнах мехом. Толпа тут же переняла. Знатные снова изменили наряд и стали носить покрывала черного виссона. Женщины из толпы не только дерзнули этому подражать, но и прибавили золотую бахрому, а после — и самоцветы. В прошлом у знатных было в обычае волосы со лба и с висков зачесывать на макушку. Но недолго удалось им сохранять этот обычай — скоро ему уже следовала любая. Тогда они опустили волосы на лоб — и снова простолюдинки ринулись следом. Когда-то свиту имели только знатные; один из свиты бывал хорош собою и всегда протягивал руку госпоже, если та хотела подняться, правой рукою поддерживал ее левую, идя обок. Честь эта не принадлежала никому, кроме женщин хорошего происхождения, теперь же ее присвоили все замужние дамы сплошь, да еще в сопровождающие берут кого попало, и шлейф за ними несет кто попало.

Когда-то лишь знатные приветствовали друг друга поцелуем, и к поцелую допускали не всякого, даже руку протягивали не всякому. Теперь от мужчины разит кожей, а он рвется получить поцелуй от женщины из самой лучшей семьи. И в браках достоинство не соблюдается нисколько. Патрицианки выходят за плебеев, плебеянки — за патрициев, и на свет появляются помеси. Нет женщины настолько низкого рода, чтобы она побоялась употребить все краски, которые и у знатных в употреблении. Между тем простолюдинки должны бы довольствоваться свежими пивными дрожжами, или свежим соком древесной коры, или еще чем-нибудь недорогим, а румяна, белила, сурьму и прочие изысканные краски оставить женщинам знатым. А в застольях, в общественных шествиях — какой беспорядок! Часто случается, что жена купца не удостаивает уступить место женщине благородной как с отцовской стороны, так и с материнской.

Итак, само стечение обстоятельств уже давно требует от нас твердого решения. Это легко может быть улажено между нами, потому что касается только женского племени. Но есть и другое, о чем придется вести переговоры с мужчинами, которые не ставят нас ни во что, считают чуть ли не прачками и кухарками и все дела вершат сами, по собственному усмотрению. Мы согласны уступить им общественные должности и военные заботы. Но можно ль терпеть, что на щите герб супруги занимает левую сторону, хотя бы она даже второе

---

<sup>589</sup> То есть в экзотических, привезенных из Африки; Мадавра — древняя римская колония в Северной Африке.

превышала знатностью своего супруга?! Далее: когда женят или выдают замуж детей, справедливо, чтобы и мать имела право голоса. А быть может, мы и того добьемся, чтобы и нам исполнять общественные обязанности — разумеется, если они исполнимы внутри городских стен и без оружия.

Вот в основном все, о чем, как мне представляется, стоит совещаться. Поразмыслите об этом покамест наедине, а после по каждому вопросу мы вынесем сенатское постановление. Если же кому придет на память еще что-либо, пусть сообщит завтра: мы будем собираться ежедневно, пока не завершим всех дел. У нас будет четверо писцов — разумеется, женщины, — которые будут записывать все речи, и две распорядительницы: они будут давать слово и лишать слова. Настоящее заседание да имеет силу учредительного.

## Рассвет



### Нефалий. Филипп 590

Нефалий. Нынче я хотел с тобою повидаться, Филипп, но сказали, будто тебя нет дома.  
Филипп. И солгали не до конца, Нефалий: для тебя меня не было, для себя же я был вполне.

Нефалий. Что это? Загадка?

Филипп. Ты ведь знаешь старинную поговорку: «Я сплю не для всех»<sup>591</sup>. Известна тебе и шутка Назики<sup>592</sup>. Он пришел навестить Энния, своего приятеля, а служанка, по приказу господина, ответила, что хозяина нет. Назика все понял и удалился. Когда же Энний, в свою очередь, пришел к Назике и спросил слугу, дома ли хозяин, Назика закричал из своей

<sup>590</sup> Нефалий — «трезвый, сдержанный» (греч.), Филипп — «любитель поспать» (греч.).

<sup>591</sup> Источником этой поговорки послужил анекдот, который Эразм вычитал у Плутарха. Как-то за пиром знатный и влиятельный гость энергично ухаживал за хозяйскою женою, и муж, чтобы не мешать высокой особе, закрыл глаза и прикинулся спящим; но когда подошел раб и хотел было стянуть со стола чашу с вином, хозяин мигом поднял голову и сказал: «Ах ты, несчастный! Ты что же, не видишь, что я сплю только для Мецената?!»

<sup>592</sup> Другой анекдот, заимствованный Эразмом у Цицерона.

комнаты: «Нет меня дома!» Энний узнал голос и сказал: «Бесстыдник! Ты думаешь, я тебя не узнаю?» — «Нет, — возразил Назика, — ты еще бесстыднее моего, если не веришь мне самому, меж тем как я поверил твоей служанке».

Нефалий. Наверно, ты был очень занят...

Филипп. Наоборот, предавался приятному досугу.

Нефалий. Опять озадачиваешь меня загадкой!

Филипп. Хорошо, скажу напрямик, назову вещи своими именами.

Нефалий. Назови.

Филипп. Я крепко спал.

Нефалий. Что ты говоришь! А ведь уже восьмой час миновал, а в нынешнем месяце солнце встает раньше четырех!

Филипп. По мне, пусть встает хоть в полночь, лишь бы меня не тревожили и дали выспаться досыта.

Нефалий. Но это вышло случайно или же у тебя привычка такая?

Филипп. Конечно, привычка!

Нефалий. Но привычка к дурному — худшая из привычек.

Филипп. Почему ж «к дурному»? Никогда не спится так сладко, как после восхода солнца.

Нефалий. Так в котором часу ты обычно поднимаешься с постели?

Филипп. Между четвертым и девятым.

Нефалий. Промежуток достаточно долгий: едва ли царицы причесываются и прибираются столько часов подряд. Но откуда у тебя эта привычка?

Филипп. А мы обычно засиживаемся до глубокой ночи за угощением, за игрою да за шутками, и этот убыток возмещаем утренним сном.

Нефалий. Никогда не видывал более отчаянного мота, чем ты.

Филипп. Мне это кажется скорее бережливостью, чем мотовством. Ведь я той порою и свечей не жгу, и одежду не снашиваю.

Нефалий. Бережливость наоборот: хранить стекло, теряя дорогие камни. Иначе судил философ, который на вопрос, что самое драгоценное, отвечал: «Время». Известно, далее, что рассвет — лучшая часть дня, и то, что есть самого драгоценного в самом драгоценном, ты с удовольствием расточаешь.

Филипп. Разве то, что отдаешь телу, расточаешь впустую?

Нефалий. Не отдаешь, а отнимаешь, потому что тело тогда в наилучшем состоянии, тогда всего бодрее, когда оно освежается умеренным сном и крепнет в утренних бодрствованиях.

Филипп. Но спать приятно...

Нефалий. Какая может быть приятность, если ты ничего не ощущаешь?

Филипп. Это-то и приятно — не ощущать никаких беспокойств.

Нефалий. Тогда уже самые счастливые те, кто спит в могиле, потому что спящего иной раз беспокоят сновидения.

Филипп. Говорят, что утренний сон — наилучшая для тела пища.

Нефалий. Это пища для животного, которое зовется соней, а не для человека. Упитывают каплунов и поросят, готовясь к праздничному обеду, это понятно, но зачем наращивать жир человеку? Чтобы двигаться было тяжелее? Скажи, какого слугу предпочел бы ты иметь — жирного или бодрого и проворного?

Филипп. Да ведь я-то не слуга!

Нефалий. С меня довольно и того, что слугу, пригодного для работы, ты предпочитаешь хорошо упитанному.

Филипп. Разумеется.

Нефалий. А Платон сказал, что человек — это душа, тело же — не что иное, как помещение или орудие. И, во всяком случае, я полагаю, ты согласишься, что душа в человеке главное и что тело — прислужник души.

Филипп. Пусть так, если тебе угодно.

Нефалий. Себе ты не желаешь слуги пузатого и неповоротливого, предпочитаешь резвого и проворного — почему же для души готовишь ленивого и тучного прислужника?

Филипп. Против правды не возразишь.

Нефалий. Задумайся еще вот о каком убытке. Если Душа намного выше тела, то богатства души намного дороже телесных благ.

Филипп. Вполне вероятно.

Нефалий. Но между душевными благами первое место занимает мудрость.

Филипп. Согласен.

Нефалий. А для стяжания мудрости нет более удобного времени дня, чем рассвет, когда восходящее солнце вселяет во все бодрость и живость и рассеивает испарения, поднимающиеся из желудка и всегда затуманивающие голову — жилище ума.

Филипп. Не спорю.

Нефалий. Теперь разochти, сколько учености мог бы ты приобрести за те четыре часа, которые губишь на несвоевременный сон.

Филипп. Очень много.

Нефалий. Я по собственному опыту знаю, что в ученых занятиях больше пользы приносит один утренний час, чем три послеполуденных; и к тому же — без всякого ущерба для тела.

Филипп. Это я слышал.

Нефалий. Далее, сообрази: если каждодневные потери собрать воедино, какая получится груда?

Филипп. Огромная, конечно.

Нефалий. Кто без толку сорит золотом и самоцветами, считается расточителем, и ему назначают опекуна. Но если кто губит это добро, неизмеримо более ценное, разве такое расточительство не позорнее, и намного?

Филипп. Видимо, позорнее, если правильно взвесить.

Нефалий. Взвесь и другое — то, что пишет Платон: «Нет ничего прекраснее и милее мудрости. Если бы возможно было разглядеть ее телесным взором, она возбудила бы необыкновенную к себе любовь».

Филипп. Но это невозможно.

Нефалий. Да, телесным взором. Но она открыта и видима очам души, которая есть лучшая часть человека. А где любовь необыкновенна, там должно быть и высшее наслаждение — всякий раз, как душа встречается с такою возлюбленной.

Филипп. Похоже, что ты прав.

Нефалий. Теперь ступай и сон, подобие смерти, променивай на это наслаждение!

Филипп. Но тогда прощай ночные игры.

Нефалий. И в добрый час, если худшее заменится лучшим, бесчестное — славным, самое дешевое — самым драгоценным. В добрый час расстается со свинцом тот, кто обращает его в золото. Ночь природа отвела сну; восходящее солнце призывает к житейским обязанностям весь род живых существ, а человека — в особенности. «Ибо спящие, — говорит Павел, — спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью»<sup>593</sup>. И есть ли что позорнее: в то время как все живое поднимается вместе с солнцем, а иные пением приветствуют его приближение, еще не видя самого светила, в то время как слон поклоняется восходящему солнцу, в это самое время человек еще долго храпит после восхода! Когда золотое сияние наполняет твою спальню, разве не кажется тебе, что оно корит сонливца: «Глупец, ты по доброй воле губишь лучшую часть своей жизни! Не для того я свечу, чтобы вы спали, укутавшись, а чтобы бодрствовали для самых достойных трудов. Никто не зажигает светильник, чтобы спать, но чтобы заниматься делом. Зажжен самый

<sup>593</sup> «Первое послание к фессалоникийцам», V, 7.

прекрасный из всех светильников — а ты знай себе храпишь!»

Филипп. Великолепная речь!

Нефалий. Не великолепная, а истинная. Не сомневаюсь, что ты не один раз слышал Гесиодовы слова<sup>594</sup>: «Когда показалось дно, поздно быть бережливым».

Филипп. Тысячу раз. И верно: лучшее вино — в середине бочки.

Нефалий. А в жизни лучшая часть — первая, то есть юность.

Филипп. Бесспорно.

Нефалий. Но для дня рассвет — то же, что юность для жизни. Разве не глупо поступают те, кто юность растрчивает на пустяки, а утренние часы — на сон?

Филипп. По-видимому.

Нефалий. Есть ли такое имущество, которое можно поставить рядом с человеческою жизнью?

Филипп. Все сокровища персидской казны — и то нельзя!

Нефалий. Разве ты не испытывал бы сильной ненависти к человеку, который и мог бы, и желал коварно укоротить тебе жизнь на несколько лет?

Филипп. Я бы сам с удовольствием отнял у него жизнь.

Нефалий. Но еще хуже и вреднее, на мой взгляд, те, что по своей воле сокращают собственную жизнь.

Филипп. Согласен, если только найдутся такие люди.

Нефалий. Если найдутся? Да это делает всякий, кто схож с тобою!

Филипп. Опомнись, что ты говоришь?

Нефалий. То, что ты слышишь. Суди сам, разве не с полным основанием утверждает Плиний, что жизнь — это бодрствование и что человек прожил тем дольше, чем больше времени уделял занятиям? А сон — своего рода смерть. Потому-то и изображают его выходцем из царства мертвых, у Гомера же он назван братом смерти. Тех, кто во власти сна, ни среди живых нельзя числить, ни среди мертвых; скорее все-таки они ближе к мертвым.

Филипп. В целом так оно и есть, по-моему.

Нефалий. Теперь подсчитай, какую часть жизни отнимают у себя люди, которые ежедневно отдают сну три или четыре лишних часа<sup>595</sup>.

Филипп. И не подсчитать!

Нефалий. Разве не чтит бы ты, словно бога, того алхимика, который мог бы прибавить десять лет жизни и вернуть пожилому возрасту юношескую бодрость?

Филипп. Как же иначе!

Нефалий. Но это божественное благодеяние ты способен оказать себе сам.

Филипп. Как так?

Нефалий. А так, что утро — юность дня, до полудня кипит молодость, потом наступает мужество, за ним следует старость, то есть вечерняя пора, а вечер сменяется закатом — это как бы смертный час. Бережливость и вообще приносит немалый доход, но всего более — в этом: разве не громадную выгоду доставил бы ты себе, если бы перестал губить без толку большую и вдобавок лучшую часть жизни?

Филипп. Ты прав.

Нефалий. А потому до крайности бесстыдными представляются жалобы тех, кто винит природу, которая, дескать, столь тесно ограничила человеческую жизнь, но сами, по собственному почину, столько урезают от того, что им отведено. Жизнь у каждого достаточно долгая, если расчетливо ею распорядиться. Значительного успеха мы достигаем,

---

<sup>594</sup> См. прим. к «Мальчишескому благочестию», к словам Но Гесиод учит... В той форме, в какой она приведена здесь, эту мысль формулировал Сенека («Письма к Луцилию», I).

<sup>595</sup> Нормою сна в то время считалась четвертая часть суток. Столько спят и утопийцы в романе Томаса Мора. Сам Мор регулярно поднимался в 2 часа ночи, чтобы отдать пять часов ученым занятиям и молитве.

если каждому делу назначен свой срок. После завтрака мы люди едва наполовину, ибо тело обременено пищей и, в свою очередь, отягчает ум, и небезопасно жизненный дух, занятый трудом пищеварения, из мастерской желудка вызывать наверх; после обеда — и того менее. Но в утренние часы человек — полностью человек: тело способно ко всякой службе, дух бодр и подвижен, все орудия ума чисты и исправны, и частица божественного дыхания, как говорит поэт<sup>596</sup>, веет, и сознает свое начало, и устремляется к добродетели.

Филипп. Изящно ты проповедуешь.

Нефалий. Агамемнон у Гомера<sup>597</sup> выслушивает, если не ошибаюсь, такие слова:

&#927; &#965; &#967; &#961; &#951;  
 &#960; &#945; &#957; &#957; &#965; &#967; &#953; &#959; &#957;  
 &#949; &#965; &#948; &#949; &#953; &#957;  
 &#946; &#959; &#965; &#955; &#951; &#966; &#959; &#961; &#959; &#957;  
 &#940; &#957; &#948; &#961; &#945; 598.

Насколько постыднее расхотовать на сон значительную часть дня!

Филипп. Верно, но —  
 &#946; &#959; &#965; &#955; &#951; &#966; &#959; &#961; &#969; 599 . А я не начальник войска.

Нефалий. Если есть у тебя что-либо дороже самого себя, тогда, конечно, не смущай душу словами Гомера. Медник ради скудной выгоды поднимается до света, а нас любовь к мудрости не может разбудить, чтобы мы вняли хотя бы голосу солнца, зовущего к выгоде поистине бесценной? Врачи предписывают принимать лекарства почти что исключительно на рассвете — они знают золотые часы, когда помочь телу; а мы их не знаем, не знаем, когда лечить и обогащать душу? Если это для тебя недостаточно веско, выслушай, что вещает у Соломона божественная Премудрость<sup>600</sup>. «Кто рано, — говорит она, — устремится ко мне, найдут меня». А в таинственных псалмах<sup>601</sup> сколько похвал утренней поре! Рано утром восхваляет божественное милосердие пророк, рано услышан голос его, рано достигает господя его мольба. И у Луки Евангелиста<sup>602</sup> народ, взыскуя здравогомыслия и учения, стекается к господу рано... Что вздыхаешь, Филипп?

Филипп. Едва сдерживаю слезы, когда вспоминаю, сколько потерял понапрасну!

Нефалий. Бесплезно мучиться из-за того, что вернуть нельзя, а исправить последующими стараниями можно. Лучше об этом позаботиться, чем в пустой скорби о прошедшем растрчивать впустую и будущее время.

Филипп. Хороший совет. Но ведь долгая привычка уже сделала меня своим невольником.

Нефалий. Вздор! Клин клином вышибают, привычка побеждается привычкою.

<sup>596</sup> Гораций, «Сатиры», II, II, 79.

<sup>597</sup> «Илиада», II, 24. Перевод Н. И. Гнедича.

<sup>598</sup> Ночи во сне провождать подобает ли мужу совета? (греч.)

<sup>599</sup> Мужу совета (греч.).

<sup>600</sup> «Книга Притчей Соломоновых», VIII, 17. Цитата неточна.

<sup>601</sup> «Псалтирь», LVIII, 17, и LXXXVIII, 14.;

<sup>602</sup> «Евангелие от Луки», VI, 13.



место уже освящено. Только знайте, что здесь мне не из чего соорудить вам трапезу. Разве что вам по душе попойка <sup>605</sup>. Я поставлю на стол латук без соли, уксуса и масла, вина же нет ни капельки, кроме того, что родит вот этот колодезь; и хлеба тоже нет, и стакана ни одного. Нынешнее время года больше ласкает взор, чем утробу.

Бартолин. Но у тебя есть игральные доски, есть шары — освятим сад игрою, если застольем нельзя!

Альберт. Раз уже собралось такое славное и веселое общество, я могу кое-что предложить. Ты, Бартолин, называй это хоть игрою, хоть застольем, а, на мой взгляд, более достойного освящения для сада и желать нельзя. Карл. Что же это?

Альберт. Устроим складчину, и у нас будет роскошное и очень вкусное пиршество.

Эмилий. Какую там складчину, когда мы пришли с пустыми руками!

Альберт. Руки пусты, но грудь полна сокровищ. Франциск. Объясни, что ты имеешь в виду. Альберт. Пусть каждый поделится с остальными самым изысканным и прекрасным из того, что он прочитал за последнюю неделю.

Герард. Отлично! Ты прав: нет ничего более достойного таких гостей, такого хозяина, такого места! Твой план — ты и начинай, а мы за тобою следом.

Альберт. Если вы так решили, отказываться не стану. Сегодня меня восхитили совершенно христианские слова в устах нехристианина. Фокиона<sup>606</sup>, мужа самого чистого среди афинян и всех горячее заботившегося о пользе государства, зависть и злоба осудили на смерть. Перед тем как ему поднесли цикуту, друзья спросили, что бы хотел он передать сыновьям, и он сказал: «Пусть они никогда не вспоминают об этой несправедливости».

Бартолин. Столь замечательный пример терпения и снисходительности едва ли сыщешь сегодня среди доминиканцев и францисканцев. Равного примера привести не могу, но подобный припомню. На редкость схож с Фокионом был Аристид<sup>607</sup>, который отличался такою безупречностью нрава, что народ дал ему прозвище «Справедливого». Это прозвище, однако, пробудило к нему неприязнь, и человек, оказавший важнейшие услуги государству, остракизмом был приговорен к изгнанию<sup>608</sup>. Но так как он понимал, что раздражение народа вызвано лишь одной причиною — прозвищем, в остальном же он, Аристид, был всегда полезен своему городу, и никто из афинян в этом не сомневается, он встретил приговор спокойно. В изгнании друзья спросили его, чего желает он неблагодарным согражданам. «Ничего, — отвечал он, — кроме такого благополучия, чтобы им никогда не приходил на память Аристид».

Карл. Удивительно, как не стыдятся христиане, вспыхивая гневом в ответ на самую ничтожную обиду и стараясь отомстить всеми правдами и неправдами. Вся жизнь Сократа в целом представляется мне не чем иным, как примером терпеливости и самообладания. Но чтобы была в складчине и моя доля, расскажу об одном случае, который мне особенно нравится. Сократ шел по улице, и какой-то негодяй ударил его кулаком. Сократ смолчал, но друзья стали уговаривать его покарать обидчика. «Что же мне с ним сделать?» — спрашивает Сократ. «Притяни, говорят, его к суду». — «Смешно! А если бы осел лягнул

---

<sup>605</sup> Без вина (греч.).

<sup>606</sup> Фокион (ок. 402—317 гг. до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель.

<sup>607</sup> Аристид (ум. в 468 г. до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель.

<sup>608</sup> Остракизм — суд черепков (греч.). С конца VI в. до н. э. в Афинах в течение столетия существовал обычай изгонять граждан, не совершивших никакого преступления, но слишком влиятельных и потому опасных для общей свободы. Решение об изгнании принимало Народное собрание в полном составе; голосование было тайным, и каждый писал на глиняном черепке имя того, кто, по его мнению, должен быть изгнан.



меня копытом, вы бы советовали мне тащить в суд осла?» — возразил Сократ, желая сказать, что негодный проходимец ничем не лучше осла и что лишь низкая душа не способна перенести оскорбление от сумасбродного человека, оскорбление, которое легко перенесла бы от тупой скотины.

Дионисий. В римских летописях примеров самообладания меньше, и они не столь замечательны. Кто Щадит разгромленных наголову и добивает непокорных, те, на мой взгляд, большою славою сдержанности себя украсить не могут. Однако вполне заслуживает памяти то, что сказал Катон Старший, когда некий Лентул плюнул ему в лицо гнилой и смрадной слюною. Он промолвил только: «Вперед я знаю, что отвечать тем, которые говорят, будто у тебя нет ни лица, ни рта». А у римлян так говорили про людей, лишенных всякого стыда. Из этой двусмысленности и возникает острота.

Эмилий. У всякого свой вкус. Меня, например, среди изречений Диогена, которые все прекрасны, ни одно не восхищает сильнее, чем ответ на вопрос, как лучше всего отомстить врагу. «Сам выкажи себя человеком как можно более честным и достойным», — сказал Диоген. Ума не приложу, какой бог внушал им такие мысли. Мне кажется, что и слова Аристотеля вполне отвечают Павлову учению. Аристотеля спросили, какой плод принесла ему его философия. «Я по доброй воле делаю то, к чему большинство людей принуждается страхом перед законами», — отвечал философ. А Павел учит, что люди, которых вдохновила христианская любовь, неподвластны закону, ибо они по собственной воле исполняют более того, к чему может вынудить закон страхом перед наказанием.

Франциск. Христос, когда иудеи роптали, что он входит в общение с мытарями и грешниками и даже трапезу с ними разделяет, отвечал, что не здоровые нуждаются во врачах, но больные. С этим нисколько не расходится высказывание Фокиона у Плутарха. Его упрекали, что он взялся защищать в суде человека негодного и обесславленного, и ответ его был настолько же остроумен, насколько кроток и мягкосердечен: «Как же иначе? Ведь ни один порядочный человек в такой защите нужды не имеет».

Герард. Это тоже пример христианской доброты — благодетельствовать, насколько возможно, и достойным и недостойным, по образцу предвечного Отца, который велит своему солнцу всходить не только для праведных, но и для грешных. Но, пожалуй, еще удивительнее будет пример сдержанности в царе. Демохар, племянник Демосфена, прибыл во главе афинского посольства к Филиппу, царю македонян. Афиняне добились того, чего хотели, и, отпуская Демохара, царь учтиво осведомился, нет ли у него еще какого-нибудь желания. «Есть, — отвечал Демохар, — чтобы ты удавился». Яростные эти слова обличали слепую ненависть: оскорбление было брошено, во-первых, царю, а во-вторых, благодетелю. Тем не менее Филипп не вспылал и только, обратившись к остальным участникам посольства, промолвил: «Передайте это афинскому народу, а он пусть решит, кто из нас двоих лучше — я, который терпеливо это выслушал, или он, который сказал». А теперь взглянем на нынешних властителей вселенной, которые числят себя равными богам и затевают жесточайшие войны из-за оброненного над винною чашею слова.

Иероним. Громадною силою обладает жажда славы, и многих эта страсть сбивает с прямого пути. Один из их числа спрашивал Сократа, каким образом возможно стяжать в короткий срок самое громкое имя. «Если ты оправдаешь то мнение, которое хочешь о себе внушить», — был ответ.

Якоб. Право, не знаю, можно ль высказаться короче или совершеннее. Славы домогаться ни к чему — она сама следует за доблестью, так же как беславие за негодяйством. Вы все восхищаетесь мужами, а мне понравилась девушка-лаконка, которая, когда ее продавали с торгов и один из покупателей приблизился и сказал: «Будешь ли честной, если я тебя куплю?» — возразила: «Даже если и не купишь». Она имела в виду, что хранит честность не в угоду кому-то, но следует доблести по собственному побуждению и ради нее же самой, ибо доблесть — сама за себя наградой.

Лаврентий. Поистине мужская речь в устах девушки. А мне представляется замечательным пример твердости перед ласками судьбы, который дал Филипп Македонский.

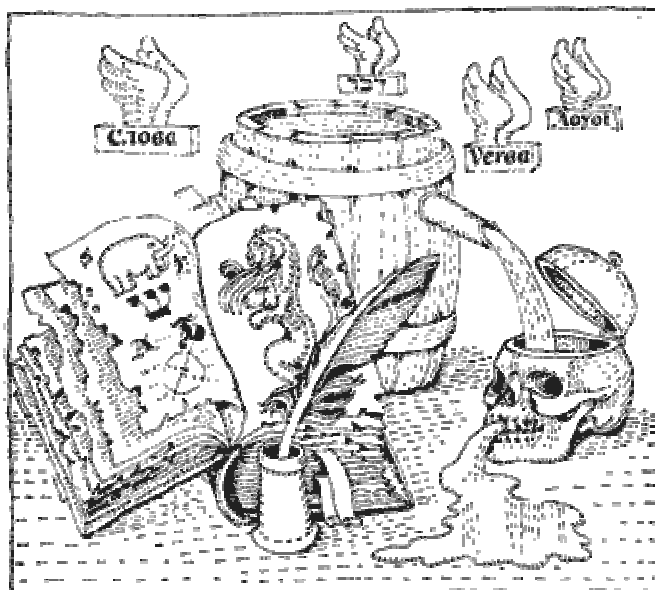
В один день ему сообщили о трех чрезвычайно радостных событиях — о победе на Олимпийских играх, о том, что его полководец Парменион разбил дарданов<sup>609</sup> и что супруга родила ему сына, и тогда он, воздев руки к небу, взмолился, чтобы столь великое счастье бог дозволил искупить мелкою неудачей.

Альберт. А теперь нет такого счастья, чтобы оно кого-нибудь испугало завистью небес, но всякий, кому выпадает успех, хвастается так, словно Немезида умерла или оглохла... Если эта трапеза прилась вам по вкусу, мой садик, который вы освятили разговором, настолько же приятным, насколько полезным, предложит ее снова, когда ни пожелаете.

Бартолин. Далее Апиций не смог бы угостить вкуснее! А потому жди нас к себе часто — лишь бы только ты остался доволен нашею складчиной. Пожалуй, она и недостойна твоего слуха, но каждый выложил первое, что пришло в голову. Когда подумаем заранее, принесем кой-чего получше.

Альберт. Тем более меня обяжете.

### Искусство запоминания



### Дезидерий. Эразмий 610

Дезидерий. Как подвигаются твои занятия, Эразмий?

Эразмий. Кажется, Музы не очень ко мне благосклонны. Но дело пошло бы удачнее, если бы я мог кое-что от тебя получить.

Дезидерий. Отказа ни в чем не встретишь — только бы это было тебе на пользу. Итак, говори.

Эразмий. Не сомневаюсь, что нет ни единого из тайных искусств, которого бы ты не знал.

Дезидерий. Если бы так!

Эразмий. Говорят, существует некое искусство запоминания, которое позволяет почти без хлопот выучить все свободные науки.

<sup>609</sup> Дарданы — племя, обитавшее к северу от Македонии. Победа Пармениона над дарданами — 356 г. до н. э.

<sup>610</sup> Эразмий — тот же Иоганн Эразмий Фробен, к которому обращено посвящение в начале книги.

Дезидерий. Что я слышу? И ты сам видел книгу?

Эразмий. Видел. Но именно что видел: учителя не нашлось.

Дезидерий. А в книге что?

Эразмий. Изображения разных животных — драконов, львов, леопардов, разные круги, а в них слова — и греческие, и латинские, и еврейские, и даже из варварских языков.

Дезидерий. А в названии указывалось, за сколько дней можно постигнуть науки?

Эразмий. Да, за четырнадцать.

Дезидерий. Щедрое обещание, ничего не скажешь. Но знаешь ли ты хоть одного человека, которого бы это искусство запоминания сделало ученым?

Эразмий. Нет, ни одного.

Дезидерий. И никто иной такого человека не видел и не увидит, разве что сперва мы увидим счастливец, которого алхимия сделала богатым.

Эразмий. А мне бы так хотелось, чтобы это было правдой!

Дезидерий. Наверно, потому, что досадно покупать знания ценою стольких трудов.

Эразмий. Конечно.

Дезидерий. Но так судили вышние боги. Обыкновенные богатства — золото, самоцветы, серебро, дворцы, Царства — они иной раз дарят и ленивым и недостойным; но истинные богатства, которые доподлинно составляют нашу собственность, нельзя приобрести иначе, как трудом. И нам не должен быть в тягость труд, которым приобретается такая ценность, когда мы наблюдаем, как очень многие сквозь ужасающие опасности и неисчислимые преграды рвутся к благам преходящим и, по сравнению с ученостью, право же, ничтожным, да еще и не всегда достигают цели. А кроме того, к трудам учения примешана и немалая сладость, если подвигаться вперед постепенно. И наконец, ты сам способен утишить и скуку и досаду — в значительной степени это зависит от тебя.

Эразмий. Как так?

Дезидерий. Убеди себя, во-первых, полюбить занятия. А во-вторых — восхищайся ими.

Эразмий. А какие к этому средства?

Дезидерий. Задумайся над тем, скольких людей обогатили науки, скольких возвели на вершину почета и власти. И еще задумайся, как велико различие меж человеком и скотом.

Эразмий. Добрый совет.

Дезидерий. Далее, нужно приучить ум к сосредоточенности; он должен находить удовольствие прежде всего в полезном, а не в приятном. То, что само по себе и достойно и славно, поначалу иной раз бывает сопряжено с некоторою тягостью, которая, однако же, рассеивается привычкою. Тогда ты и учителя будешь меньше утомлять, и сам усваивать будешь легче — в согласии со словами Исократ<sup>611</sup>, которые следует начертать золотыми буквами на титульном листе твоей книги: &#917;&#945;&#957; &#951;&#962;&#966;&#953;&#955;&#959;&#956;&#945;&#952;&#942;&#962;, &#949;&#963;&#951;&#960;&#959;&#955;&#965;&#956;&#945;&#957;&#951;&#962;<sup>612</sup>.

Эразмий. Усваиваю-то я довольно быстро, но все мигом утекает!

Дезидерий. Как из дырявой бочки?

Эразмий. Да, именно. А помочь ничем не могу.

Дезидерий. Отчего же, надо заделать щели и остановить течь.

Эразмий. Чем заделать?

Дезидерий. Не мхом и не гипсом, а усердием. Кто вытверживает слова, не поняв смысла, скоро их забывает, ибо слова, как говорит Гомер, &#960;&#964;&#949;&#961;&#959;&#949;&#957;&#964;&#945;<sup>613</sup> и легко улетают, если их

<sup>611</sup> Исократ (436—338 гг. до н. г.) — знаменитый афинский оратор и учитель красноречия.

<sup>612</sup> Если будешь любознателен, узнаешь много (греч.).

<sup>613</sup> Крылаты (греч.).

не удерживает груз смысла. А стало быть, в первую очередь, старайся понять существо дела, потом обдумай еще и еще раз. И надо, как я уже сказал, приучить ум к тому, чтобы он мыслил сосредоточенно всякий раз, когда потребуется. А если у кого ум до того дикий, что к этому привыкнуть не способен, он для науки решительно не годится.

Эразмий. Я слишком понимаю, как это трудно.

Дезидерий. А у кого ум до того верткий, что не может задержаться ни на какой мысли, тот ни слушать долго не может, ни закрепить в памяти то, что узнал. Надежно оттиснуть что бы то ни было можно на свинце; на воде или ртути, которые всегда струятся и растекаются, нельзя оттиснуть ничего... Если бы тебе удалось приучить к этому свой разум, ты с наименьшими трудами запомнишь очень многое, — ведь ты постоянно находишься среди ученых<sup>614</sup>, чьи беседы каждый день приносят столько достопамятного.

Эразмий. Да, конечно.

Дезидерий. Ведь, помимо речей за столом, помимо повседневных разговоров, ты сразу после завтрака выслушиваешь восемь изящных, остро отточенных изречений, выбранных из лучших авторов, и после обеда столько же. Подсчитай-ка, сколько наберется за месяц и за год.

Эразмий. Целая гора, если бы все упомянуть.

Дезидерий. А раз вокруг говорят только по-латыни, и говорят хорошо, что мешает тебе в течение немногих месяцев выучиться этому языку, когда неграмотные мальчишки за короткий срок выучиваются по-французски или по-испански?

Эразмий. Последую твоему совету и испытаю свой ум — способен ли он привыкнуть к ярму Муз.

Дезидерий. Иного искусства запоминания, кроме старательности, любви и усердия, я не знаю.

## Проповедь, или Дермард



Гиларий. Левин

---

<sup>614</sup> Типография Фробенов была одним из главных центров новой гуманистической учености к северу от Альп.

Гиларий. Боже бессмертный! Каких только чудищ не рождает и не питает земля! До такой степени забыть всякий стыд! А еще «серафические мужи»<sup>615</sup>! Наверно, воображают, будто перед пнями дубовыми держат речь, а не перед людьми!

Левин. Что это Гиларий бормочет себе под нос? Наверно, стишки сочиняет.

Гиларий. С каким удовольствием заткнул бы я грязную пасть этому болтуну дермом!

Левин. Окликну его. Что с тобою, Гиларий? Отчего такой невеселый, вопреки своему имени<sup>616</sup>?

Гиларий. Ах, как хорошо, что ты повстречался мне, Левин! Сейчас выплесну в тебя всю горечь, которая накопилась в этой груди!

Левин. Чем в нас, так уж лучше в таз. Но что такое приключилось? Откуда ты идешь?

Гиларий. От святой проповеди.

Левин. Что поэту до святых проповедей?

Гиларий. Я святого не чуждаюсь, но тут напал на святость в том смысле, в каком Вергилий называет «святою» жажду золота, — на гнусную святость. Вот из-за таких пустобрехов я и не хожу к проповеди.

Левин. А где было дело?

Гиларий. В соборе.

Левин. После обеда? Об эту пору люди обыкновенно спят.

Гиларий. Хоть бы все люди спали для этого болтуна, едва ли достойного проповедовать даже перед гусями!

Левин. Гусь существо шумливое. Говорят, правда, что патриарх Франциск проповедовал как-то перед сестрами-птичками, и те слушали в глубоком молчании. Но разве по субботам тоже бывает проповедь?

Гиларий. Бывает, в честь святой Девы. По воскресеньям проповедуют Христа, а Матери подобает первенство.

Левин. О чем проповедник говорил?

Гиларий. Изъяснял Песнь Богородицы<sup>617</sup>.

Левин. Избитая тема.

Гиларий. Но как раз под стать проповеднику. Я подозреваю, что ничего иного он и не знает. Так же, как, говорят, молено встретить священников, которые не знают ни одной службы, кроме зауспокойной.

Левин. Итак, назовем его «Проповедником от „Величит“, или „Величительным проповедником“. Но что была за птица, в какие перья одета?

Гиларий. Очень схожа с коршуном.

Левин. А из какого птичника?

Гиларий. Из францисканского.

Левин. Что ты говоришь! Из святейшего братства? Может, из выродившейся породы, из тех, что зовутся «радующимися»<sup>618</sup> и ходят в темной рясе и в башмаках,

---

<sup>615</sup> «Серафическим орденом» назывались францисканцы; доминиканцы носили звание «херувической братии».

<sup>616</sup> Hilaros по-гречески — «радостный».

<sup>617</sup> Песнь Богородицы — слова, которыми Мария, беременная Иисусом, отвечала на приветствие Елисаветы, матери Иоанна Крестителя. Этот евангельский текст («Евангелие от Луки», I, 46—56) чрезвычайно часто употребляется в богослужении.

<sup>618</sup> См. прим. к «Нищим богачам», к словам: Ты, видимо, подозреваешь, что мы из тех, которые изменили... — «Радующимися» (гаудентами) назывались умеренные францисканцы (по-иному — конвентуалы), которые с 1517 г. составляли особый францисканский орден, отличный от францисканцев-обсервантов.

подпоясываются белым поясом и не боятся — страшно вымолвить! — не боятся трогать деньги голыми руками?

Гиларий. Нет, из отборнейшего стада, из тех, что с наслаждением именуют себя «наблюдающими устав», носят рясу цвета золы, веревочный пояс и сандалии и скорее человека убьют, чем прикоснутся к деньгам.

Левин. Нет ничего удивительного, если между розами вырастет репейник. Но кто выпустил этого шута на такой проскений<sup>619</sup>?

Гиларий. Ты назвал бы его шутком еще с большею уверенностью, если бы увидел своими глазами. Высокий, дородный, щеки красные, брюхо торчком, плечи как у гладиатора — прямо атлет какой-то! И, насколько можно догадываться, за обедом выпил не одну кружку вина.

Левин. Откуда столько вина у того, кто не притрагивается к деньгам?

Гиларий. От короля Фердинанда<sup>620</sup>: наш гладиатор получал по четыре кружки на день из королевского погреба.

Левин. Худая щедрость! Но, может, он ученый?

Гиларий. Нет у него за душою ничего, кроме бесстыдства, негодяйства да разнузданного языка.

Левин. Что же ввело Фердинанда в заблуждение — почему бык очутился в палестре?

Гиларий. Собственно говоря, благочестие и королевская доброта: кто-то хорошо о нем отозвался, и король склонил голову к правому плечу.

Левин. Как Христос на кресте... А слушателей собралось много?

Гиларий. Как могло быть иначе — в прославленном храме, в Аугсбурге, во время сейма<sup>621</sup>, на который император Карл созвал столько монархов со всей Германии, из Италии, из Испании, из Англии? Даже ученые пришли в немалом числе, особенно те, что состоят при разных дворах.

Левин. Едва ли этот хряк мог произнести хоть что-нибудь достойное такого собрания.

Гиларий. Зато произнес многое, что было достойно его самого.

Левин. Что же? Расскажи, наконец! Но сперва, пожалуйста, открой мне его имя.

Гиларий. Это ни к чему.

Левин. Отчего, Гиларий?

Гиларий. Мне неприятно делать одолжение таким скотам.

Левин. Как? Выставлять на позор — это значит одалживать?

Гиларий. Они почитают за величайшее благодеяние, если их выводят из неизвестности каким бы то ни было способом.

Левин. Но все-таки назови мне имя. Я буду молчать.

Гиларий. Его зовут Дермардом<sup>622</sup>.

Левин. Прекрасно его знаю! Это ведь он, Дермард, недавно в каком-то застолье обозвал нашего Эразма «диаволом»?

Гиларий. Он самый. Тогдашние его слова, правда, не сошли ему безнаказанно, но все же люди учтивые и доброжелательные приписывали их хмелю, опьянению.

Левин. А как он оправдывался в ответ на все укоры?

---

<sup>619</sup> Прокений — так в античном театре называлась игровая площадка, на которой выступали актеры

<sup>620</sup> Речь идет о младшем брате императора Карла V, в ту пору — короле Богемском и Венгерском.

<sup>621</sup> Аугсбургский имперский сейм был созван летом 1530 г. с целью положить конец раздорам, вызванным Реформацией.

<sup>622</sup> Настоящее имя этого францисканца было Медард; насмешник Эразм переделал его в Merdardus, чему полностью соответствует русское Дермард.

Гиларий. В сердцах, дескать, сказал.

Левин. «В сердцах»? Ведь у него ни сердца нет, ни души!

Гиларий. Но когда Дермард излил свое гнойное дермо всенародно, да еще в таком месте, да еще перед такими слушателями, при таком блестящем стечении монархов, наконец — это уже показалось непереносимым и мне, и всем образованным людям!

Левин. Рассказывай! Не томи!

Гиларий. Он долго, до крайности тупо и до крайности злобно напал на нашего Эразма. «Появился в последнее время, — так он орал, — какой-то новый доктор Эразм. Виноват, оговорился: не Эразм, а осел!» И тут же объяснил народу, как «осел» по-немецки. Левин. Очень забавно!

Гиларий. Так ли уж забавно? Скорее глупо! Левин. Разве, по-твоему, не забавно, что такой осел зовет «ослом» кого бы то ни было (не говоря уже об Эразме)? Одно я знаю точно: будь среди вас сам Эразм, он бы от смеха не удержался.

Гиларий. Да, бестолковостью он напоминал осла не меньше, чем цветом платья.

Левин. Я полагаю, во всей Аркадии<sup>623</sup> не сыскать осла, который был бы ослом до такой степени, чтобы жевать сено с большим на то правом, нежели у нашего Дермарда.

Гиларий. Ну, прямо-таки Апулей навыворот! Тот под ослиным обликом скрывал человека, этот под человеческим обликом скрывает осла.

Левин. Но этаких ослов мы нынче кормим пирогами да поим медвяными винами, — так что же удивляться, если они и кусают, кого вздумается, и копытами лягают?

Гиларий. «Этот, говорит, доктор-осел смеет поправлять „Величит“, хотя песнь изречена святым Духом через уста святейшей Девы!»

Левин. Узнаю &#960;&#945;&#961;&#959;&#953;&#956;&#953;&#945;&#957;&#945;&#948;&#949;&#955;&#966;&#953;&#954;&#951;&#957; <sup>624</sup> . Гиларий. Он так надрывался и ужасался, словно совершилось чудовищное богохульство.

Левин. Сердце в пятки уходит! Что же он натворил, наш Эразм?

Гиларий. Церковь поет: «Ибо призрел господь смирение рабы своей», а Эразм, вместо этого, перевел: «Ибо призрел ничтожество рабы своей». Это слово по-немецки звучит унизительнее, чем по-латыни.

Левин. Кто ж не согласится, что это мерзостное богохульство — святейшую Матерь Христову, которая превыше всех серафимов и херувимов, назвать ничтожной рабой?!

Гиларий. Ну, а что, если бы кто-нибудь назвал апостолов ничего не стоящими рабами?

Левин. Я бы сложил костер богохульнику.

Гиларий. А что, если бы несравненно Павла-апостола кто-нибудь назвал недостойным апостольского имени?

Левин. Я закричал бы: «Огня!»

Гиларий. Но именно так научил говорить своих апостолов единственный неопровержимый учитель — Христос<sup>625</sup>: «Когда исполните все, повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“. И, помня об этом наставлении, Павел объявляет о себе: „Я наименьший из апостолов и недостойн называться апостолом“<sup>626</sup>.

<sup>623</sup> Аркадия — область в Южной Греции. Аркадские осла считались особенно сильными и выносливыми.

<sup>624</sup> Братское вещание (греч.). Двойная игра слов: намек не только на отнюдь не братские чувства «меньших братьев» (францисканцев), но и на нелепость вещания, потому что &#945;&#948;&#949;&#955;&#966;&#953;&#954;&#951;&#957; может означать еще «недельфийский», то есть далекий от божественной истины, какую изрекала пифия в Дельфах.

<sup>625</sup> «Евангелие от Луки», XVII, 10.

<sup>626</sup> «Первое послание к Коринфянам», XV, 9.

Левин. Да, так объявляют о себе люди благочестивые, ибо скромность — добродетель, которая богу всего милее; но если то же объявит о них кто-либо другой, и особенно когда они причислены к лику святых, — это тяжкое богохульство.

Гиларий. Отлично распустил узел! Но тогда, если бы Эразм сказал про почитаемую Деву, что она ничтожная раба господина, всякий согласился бы, что это нечестие. Однако ж это она сама говорит о себе таким образом — умножая свою славу, а нам подавая пример спасительной скромности, чтобы каждый, чем выше он поднялся, тем тише бы держался, потому что чем бы мы ни были, все это лишь по щедрости божией.

Левин. Тут я с тобою согласен. Но когда те люди говорят «поправить», они имеют в виду «испортить» или «исказить». Значит, надо проверить, отвечает ли слово «ничтожество» греческому слову, которое употребил Лука.

Гиларий. Как раз поэтому сразу же после проповеди я схватился за книгу.

Левин. И что выискал?

Гиларий. Слова, которые Лука, в наитии свыше, начертал святейшими своими перстами, таковы: &#959;&#964;&#953;&#949;&#960;&#949;&#946;&#955;&#949;&#968;&#949;&#957;&#949;&#960;&#953;&#964;&#951;&#957;&#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#969;&#963;&#953;&#957;&#964;&#951;&#962;&#948;&#959;&#973;&#955;&#951;&#962;&#945;&#965;&#964;&#959;&#973;. Наш Эразм перевел так: «Ибо призрел на смирение рабы своей». Против прежнего<sup>627</sup> он прибавил только предлог, который есть и у Луки; этот предлог и изящества римской речи не оскорбляет, и для смысла он не лишний. Так же выразился и Терений в «Формионе»<sup>628</sup>. Но в «Примечаниях» Эразм говорит, что Лука имеет в виду скорее не «призирать», а «взирать».

Левин. Значит, это не одно и то же?

Гиларий. Не совсем. Различие есть, хотя и не большое. Призирает тот, кто взирает, повернув голову, — когда предмет находится позади него. Взирает тот, кто просто глядит. Далее, о человеке, который, занявшись иными делами, не заботится о своих детях, говорят, что он оставил детей без призрения; если же отбросив все прочие заботы, он обращает свои помыслы к семье, говорят, что он призрел своих детей, и выражение это изысканное. Бог единым взглядом охватывает вселенную в ее настоящем, прошедшем и будущем; однако с нами в Писании он изъясняется на человеческий лад. О тех, кого бог осуждает, говорится, что они отвергнуты, о тех, кого он словно бы не замечал какое-то время, а после удостаивает своей благосклонности, — что бог на них призрел. Лука выразил бы это точнее, если бы казал: &#945;&#960;&#949;&#946;&#955;&#949;&#968;&#949;&#957;. Однако мы читаем: &#949;&#960;&#949;&#946;&#955;&#949;&#968;&#949;&#957;. Впрочем, смысл почти не меняется.

Левин. И все-таки повторять предлог, по-моему, ни к чему.

Гиларий. Но ведь и по-латыни так же: отослал от себя, навел на мысль. Мне предлог не кажется здесь лишним. «Призреть» может и тот, кто обернулся случайно, не направляя взгляда на определенный предмет. «Призрел на меня» обозначает особую благосклонность, если кто желает оказать помощь тому или иному. Взираем мы иногда мимоходом, на вещи, которые несколько нас не занимают, а иной раз — даже и нехотя. Но если мы взираем на кого-либо, мы обнаруживаем особое внимание к тому, на кого смотрим. И святой Дух, желая, чтобы мы убедились в необычайной его благосклонности к святейшей Деве, так

<sup>627</sup> То есть против «Вульгаты», общепринятого в католической церкви латинского перевода Библии. Эразмов перевод Нового завета, выполненный в 1505—1506 гг., был напечатан впервые в 1519 г. вместе с оригиналом, заменив «Вульгату»: тремя годами раньше, в первом издании греческого оригинала (см. прим к «Циклопу», к словам Эразмов Новый завет), Эразм на это не отважился и сопроводил греческий текст традиционным латинским переводом.

<sup>628</sup> «Формион» — одна из комедий Теренция.



глаголит ее устами: «Ибо призрел на смирение рабы своей». Отвратил взор от надменных, которые считали себя великими, и обратил к той, кто в собственных глазах была всех меньше и ниже. Нет сомнения, что много было ученых, сильных, богатых, знатных, которые надеялись, что мессия<sup>629</sup> выйдет из их рода, но их господь презрел и милосерднейший взор свой направил на деву, никому не ведомую, бедную, супругу плотника, даже обилием потомства не взысканную.

Левин. Но я еще ничего не слышал о «ничтожестве».

Гиларий. Это слово принадлежит доносчику, а не Эразму.

Левин. Но, может быть, в примечании упомянуто насчет «ничтожества».

Гиларий. Ничего подобного. По поводу он самым осторожным образом замечает только одно: «Имеется в виду незначительность положения, а не достоинство души. Смысл: хоть я и самая последняя рабыня, не отвергнул меня господь».

Левин. Если объяснение верно и вполне благочестиво, что же они разревелись, дикие ослы?

Гиларий. Они не знают латыни — отсюда и все возмущение. У древних, когда они говорят, точно употребляя слова, «смирение» обозначает не достоинство души, которое противоположно пороку высокомерия и зовется «скромностью», а низкое положение; в этом смысле мы называем «смиренными» незнатных, бедных, невежественных, не стоящих внимания, — они словно бы низко пригнулись к земле. Подобно тому как, обращаясь к важным особам, мы говорим: «Прошу твое высочество оказать покровительство нам в этом деле», — так же точно, желая принизить себя, говорим: «Пожалуйста, поддержи наше смирение своею добротой». Если ж мы упираем на личные местоимения, в этом есть что-то вызывающее; например: «Я говорю», «Я сделаю». И скромнейшая девушка одновременно и умалила свое положение, и возвеличила щедрую милость божества, сказав о себе не просто «раба», но «смиренная раба», то есть самого низкого положения. Пословица гласит, что раб рабу рознь; и между служанками одна выше другой — по достоинству своего занятия. Горничной больше почета, чем прачке.

Левин. Удивительно, что Дермард не узнал этого оборота речи. Ведь я сколько раз собственными ушами слышал, как францисканцы изыснялись следующим образом: «Моя малость благодарит тебя за пышное угощеванье».

Гиларий. Иные были бы недалеки от истины, если бы сказали: «Моя пакость»... Греческое слово имеет, по-видимому, значение несколько более широкое, чем «скромность», и потому христиане предпочли перевести не «скромность», но «смирение», иначе говоря, ясность предпочли изяществу. «Скромным» зовется человек, который судит о себе разумно и умеренно и не требует ничего сверх заслуженного. Но слава приличествует лишь такому человеку, который приписывает себе менее того, что имеет.

Левин. Но есть опасность, как бы, ища скромности, мы не впали в суесловие.

Гиларий. Отчего?

Левин. Оттого что, если верно сказал Павел: «Я недостойн называться апостолом» и если верно назвала себя Мария «смиренной рабою», то есть служанкою самого низшего положения, тогда люди, которые превозносят их обоих столь громкими похвалами, могут оказаться повинны во лжи.

Гиларий. Опасности ни малейшей, мой милый! Восхваляя благочестивых, мы

<sup>629</sup> Мессия — искаженное еврейское «машиах», то есть «помазанник». Греческое «Христос» есть перевод еврейского «машиах».

прославляем в них милость божию, а когда они сами унижают себя, то имеют в виду, что и силы их, и заслуги были бы тщетны, если бы не благосклонность божества. И это не обязательно ложь, если кто не заявляет притязаний на свою собственность; если только он не кривит душою, заблуждением это еще, пожалуй, можно назвать, ложью — никогда. Но как раз такое заблуждение любит в нас бог.

Левин. Но Павел, утверждающий, что недостойн имени апостола, в другом месте вещает о себе цветисто и выпренне<sup>630</sup>, припоминая свои деяния. «Я, — говорит он, — более всех потрудился». И еще: «Знаменитые не возложили на меня ничего более». Меж тем из уст святейшей Девы мы ничего подобного не услышим.

Гиларий. Но деяния эти Павел зовет<sup>631</sup> своими немощами, которыми было прославлено божие могущество; а упоминание о них зовет неразумием, к которому его привело бесстыдство лжеапостолов. Из-за лжеапостолов пришлось ему отстаивать свою апостольскую власть — не ради того, чтобы наслаждаться человеческой славой, но ради Евангелия, о котором ему было доверено печься. Приснодева же об этом не помышляла, ибо задача провозглашения Евангелия ей поручена не была. Далее, и полу ее, и девству, и, наконец, святейшему материнству подобала великая застенчивость и великая скромность.

Теперь перехожу к корню ошибки. Кто не знает по-латыни, думают, будто «смирение» не выражает ничего иного, кроме особой скромности; на самом же деле слово это иногда относится не к достоинству души, но к состоянию или положению, а иногда, относясь к душе, обозначает и порок.

Левин. Как? И в Святом писании?

Гиларий. Разумеется. Вот тебе место у Павла, из «Послания к Колоссянам», глава вторая: «Никто да не обольщает вас самовольным смирением и служением ангелов». Правда, здесь не &#949;&#957;&#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;, как в Песни Богородицы, а &#949;&#957;&#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#959;&#966;&#961;&#959;&#963;&#973;&#957;&#951;. Я готов признать, что место не вполне ясное, но мне представляется, что ученые открывают подлинный смысл, приводя следующее толкование: «Не будьте так смиренны и унылы духом, чтобы, однажды посвятив себя Христу, единственному источнику спасения, затем поверить, будто спасения должно ожидать от ангелов, которые якобы являлись некоторым. Будьте возвышенны духом, дабы если и поистине сойдет с небес ангел и возвестит вам иное Евангелие, нежели Христово, вы бы прокляли его как ангела нечестия, как врага Христова. И уже вовсе не подобает вам такая приниженность духа, при коей вымышленные явления ангелов способны отторгнуть вас от Христа. Ждать спасения от одного Христа — это вера, от ангелов или же святых — суеверие». Павел, стало быть, хочет сказать, что смирение и унылость духа — путь к отпадению от величия Христова ради ложных явлений ангелов, ибо душевной приниженности свойственно доверяться любому внушению. Ты видишь, что здесь &#949;&#957;&#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#959;&#966;&#961;&#959;&#963;&#973;&#957;&#951; употреблено в дурном смысле?

Левин. Как не увидеть!

Гиларий. И еще раз, в той же главе: «... по заповедям и учению человеческому, которые имеют только вид мудрости в самовольном служении и смирении». Здесь снова &#949;&#957;&#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#959;&#966;&#961;&#959;&#963;&#973;&#957;&#951; означает порок.

Левин. Бесспорно.

<sup>630</sup> «Первое послание к Коринфянам», XV, 10; «Послание к Галатам», II, 6.

<sup>631</sup> «Второе послание к Коринфянам», XI, 30; XI, 16.



В псалме девятом: «Воззри на страдание мое от ненавидящих меня» — и еще, в псалме сто восемнадцатом: «Это утешение в бедствии моем». Мест такого рода очень много, приводить все подряд — времени не останется. Раз человек скромный и несколько не надменным можно сказать, не было бы ничего удивительного, если бы кто вместо того, кто сказал: «Призрел господь на мое бедствие» — не скромностью хвастается здесь Лия<sup>634</sup>, но называет «бедствием» то, что по безобразию своему немила супругу. Так же точно во «Второзаконии», в главе двадцать шестой: «И увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше»; здесь явно означает бедствие.

Левин. Отчего же пришло им в голову «смирение» в Песни толковать как «скромность»?

Гиларий. Не вижу иной причины, кроме той, что многие богословы пренебрегли знанием языков и изучением латинской речи, а заодно — и творениями древних учителей Церкви, которых без этих вспомогательных средств полностью понять невозможно. До крайности трудно вырвать из души то, что засело давно и глубоко. Ты встретишь людей, настолько преданных схоластическим суждениям, что они предпочитают извращать Писание в угоду схоластике, а не исправлять человеческие мнения в согласии с правилами Писания.

Левин. Но это еще нелепее, чем так называемые «лесбосские правила»<sup>635</sup>!

Гиларий. Монах Беда<sup>636</sup>, автор не слишком надежный во всех случаях, когда не идет по чужим стопам, упоминает «гордыню» в связи со «смирением». Но грек Феофилакт<sup>637</sup>, который черпал сведения у самых лучших писателей Греции, утверждает, что нельзя понимать как достоинство.

Левин. К чему ссылаться на писателей, когда сам здравый смысл отвергает это толкование?

Гиларий. Это ты правильно заметил. Скромность — как бы вершина и хранилище

<sup>633</sup> В переносном значении (греч.).

<sup>634</sup> Лия — нелюбимая жена патриарха Иакова (Израиля), но бог «отверзает ее утробу», и она говорит: «Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой» («Бытие», XXIX, 31—33).

<sup>635</sup> «В „Адагиях“ Эразм объясняет, что эта пословица применима всякий раз, когда приспособляют правило к поступку, а не поступок к правилу, закон к собственному нраву, а не нрав к закону.

<sup>636</sup> см. прим. к «Паломничеству», к словам... я читал эпитафию Беды...

<sup>637</sup> См. прим. к «Благочестивому застолью»

всех добродетелей, но объявлять во всеуслышание о собственной скромности — нескромно. Мы признаем, что святой Деве эта добродетель была свойственна в высочайшей и ни с чем не сравнимой мере (Христа я из своих рассуждений исключаю), однако скромность ее заслуживает особенных похвал как раз потому, что сама Дева ее не хвалит, но признает свою незначительность и все величие совершающейся тайны приписывает божественному милосердию. Нам говорят, что Мария через скромность сподобилась стать Матерью божьей. Допустим, отчасти это верно, но что за новая скромность такая, чтобы юная девица вещала о своей скромности?

Левин. Да и само движение Песни показывает, что говорит о своем недостоинстве. Поэтому и начало такое — «Величит душа моя господа». Ведь кто желает сказать: «Я сподобилась стать Матерью божьей через скромность», — та величит себя, а не господа. Вскоре следует: «Вот отныне будут звать меня блаженной все роды». «Вот» обозначает неожиданность, внезапность. Не ждет высшей почести человек, который вообще не считает себя достойным почестей. И если что досталось человеку по заслугам, это не называется счастьем. Флакк, например, решительно отказывается от имени счастливица по случаю того, что Меценат принял его в число друзей.

Гиларий. Почему?

Левин. Потому что он был принят обдуманно, а не по беспричинной милости: Меценат уделил ему то, что заранее оценил как заслуженную награду его достоинствам.

Гиларий. Это подтверждает и следующий стих: «Ибо сотворил мне величие сильный, и свято имя его». Не потому сотворил мне величие, что счел меня достойной, но потому, что силен, и делает что пожелает, и милостью своею из недостойных творит достойных. Вот почему свято имя его («свято» здесь означает «прославленно»). Сколько мы приписываем собственным заслугам, равно столько отнимаем у славы божьего имени; ибо, согласно Павлу, через нашу немощь достигает полноты божье могущество.

Далее, в стихе «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных» поставлено не &#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#959;&#966;&#961;&#959;&#957;&#945;&#962;, но &#964;&#945;&#960;&#949;&#953;&#957;&#959;&#973;&#962;, то есть «презренных в глазах мира», — в противоположность «сильным». Этот стих, по обычаю пророческого красноречия, поясняется следующим: «Алчущих исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем». Тех, кого только что назвала «смирненными», здесь она зовет «алчущими», то есть бедняками, а кого «сильными» — здесь «богатыми». В следующем стихе — упоминание о милосердии, изливающимся на все народы земли. Последний стих объявляет о верности бога своим обещаниям: «Как говорил отцам нашим...» и так далее. Вся Песнь — это возгласение славы, то есть могущества, благодати и правды божьей; о заслугах — ни единого слова.

Левин. Но как могуществу и богатствам сопутствует гордыня, так нищета учит скромности.

Гиларий. Спорить не стану, бывает и так, но ты можешь увидеть нищих, самых заносчивых и высокомерных, и в громадном числе. Если ты со мною не согласен, я укажу тебе на многих Дермардов. Но допустим, что ты прав, — хоть это верно и не всегда, — речь ведь не о том, какова была святейшая мать Иисуса на самом деле, но как говорила о себе в Песни.

Левин. Дивлюсь я их упорству: столько раз их увещали, даже осмеивали не один раз — а они никак не образумятся!

Гиларий. А сколько раз им внушали, что «декламация» — это разработка вымышленной темы, применяемая всего чаще для упражнения в красноречии? И, однако, для них «декламация» — не что иное, как святая проповедь. Сколько раз им твердили, что «безбрачный» — это не имеющий супруги, а наложниц у него может быть хоть и целая сотня? И, однако, для них «безбрачие» не что иное, как воздержание и чистота. То же происходит со «смирением» и с очень многими иными словами.

Левин. Откуда такое упорное тупоумие?

Гиларий. Насчет Дермардов я тебе отвечу. Смолоду они науками не занимались, нет у

них ни учителей, ни книг, а если и появится возможность обзавестись книгами и нанять учителя, они предпочитают ублажить чрево. Священное облачение они полагают вполне достаточным, чтобы слыть и благочестивыми и образованными. Наконец, благочестие, и немалое, они усматривают в том, чтобы понимать по-латыни так же скверно, как их Франциск.

Левин. Да, мне знакомы многие, кто в этом отношении весьма схож с основателем своего ордена. Но Франциск неизменно отказывался от пресвитерского достоинства, и так же, по-моему, поступали Бенедикт и Доминик. А эти, нынешние, со всем своим невежеством, от кардинальской шляпы не отворачиваются.

Гиларий. Не только от шляпы, но и от тройной короны<sup>638</sup>! И смиренные сыны нищего Франциска протягивают высочайшим в мире монархам туфлю для поцелуя.

Левин. А если бы все-таки он упомянул о ничтожестве, страшное было бы преступление?

Гиларий. Какое же тут преступление, если только под «ничтожным» ты понимаешь человека, мало чего стоящего в глазах других людей или вообще ничего не стоящего в собственных глазах? Но зачем оправдывать то, что и сказано-то не было?

Левин. И не стыдно было Дермарду лгать так грубо? Да еще в знаменитом храме, при стечении стольких монархов, в присутствии стольких ученых мужей, из которых большинство читало труды Эразма?

Гиларий. Стыдно, говоришь? Наоборот! Этому шуту казалось, будто он совершает подвиг, заслуживающий награды, триумфа. Это у Дермардов четвертый обет, намного священнее трех остальных<sup>639</sup>: ничего и никогда не стыдиться.

Левин. Его-то, конечно, большинство соблюдает неукоснительно!

Гиларий. И это не простая ложь. Во-первых, Песнь Марии в целом остается нетронутой — в том виде, в каком написана Лукою. Как можно о том, кто ничего не изменяет, утверждать, будто он делает исправления? Затем, и слово «смирение» не изменено, а «ничтожество» нигде не упомянуто. И наконец, кто добросовестно переводит начертанное Лукою, не исправляет Песнь, а изъясняет ее.

Левин. Тройная ложь, достойная бессовестного шута!

Гиларий. погоди, ты еще не слышал про самое главное бесстыдство.

Левин. Как, еще более наглее?

Гиларий. Он вопил, что этот доктор-осел был главою, источником и застрельщиком всеобщего смятения, которое ныне сотрясает христианский мир. Левин. Что ты говоришь!

Гиларий. Это, дескать, его вина, что Церковь разодрана на столько сект, что епископы в пренебрежении, что у священников отнимают десятину, что над святейшим величием папы повсюду нагло глумятся, что крестьяне возрождают древний пример гигантов<sup>640</sup>.

Левин. И это — при народе?

Гиларий. Орал во всю глотку!

Левин. Но совсем другого мнения те, кто внимательно вчитывался в Эразмовы книги. Чуть ли не каждый из них признает, что почерпнул из его трудов семена истинного благочестия. Весь этот пожар вспыхнул из-за монахов, и из-за них же разгорелся так страшно, потому что даже теперь они не столько стараются погасить огонь, сколько, как говорится, подливают в него масла.

Гиларий. Вот, видишь, &#969;&#962;

<sup>638</sup> То есть папского престола.

<sup>639</sup> То есть обетов послушания, нестяжательства и безбрачия.

<sup>640</sup> Крестьянская война в Германии сравнивается с неудачным бунтом гигантов, сыновей матери-Земли, против богов-олимпийцев.

&#954;&#945;&#954;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957;  
&#952;&#951;&#961;&#953;&#959;&#957; &#949;&#963;&#964;&#943;&#957; &#951;  
&#947;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;<sup>641</sup>.

Левин. Ты попал в самую точку. Брюху выгодно, чтобы суеверия в народе христианском было как можно больше, благочестия — как можно меньше. Но собрание-то что? Неужели терпеливо слушало, как этот кумский осел<sup>642</sup> нагло ревет с кафедры?

Гиларий. Некоторые не могли понять, что приключилось с проповедником. Другие, более нетерпеливые и вспыльчивые, поднимались с места и выходили из храма, ворча вполголоса: «Мы пришли послушать хвалу святой Деве, а этот пьянчуга выплеснул на нас ушат доносов!» Немалую долю среди уходивших составили женщины.

Левин. А ведь обычно их пол на диво предан францисканской братии.

Гиларий. Верно, но теперь и женщины поумнели. Все ученые, сколько их там ни было, гневно хмурились, а иные даже шикали.

Левин. Что ослу шиканье?! Такого пустобреха надо было гнать с кафедры камнями или тухлыми яйцами.

Гиларий. Многие именно так и считали, но их сдерживало уважение к месту.

Левин. Но святость места не должна быть на пользу проходимцам, которые его оскверняют, — подобно тому как, если кто убьет человека в пределах храма, несправедливо, чтобы этот же храм послужил злодею убежищем. И если кто за проповедью бессмысленно злоупотребляет и святостью места, и терпением народа, не может он находить защиту в том, что сам же осквернил своим безрассудством. Древние прославляли одного сенатора, отказавшего в признании и повиновении консулу, который отнесся без уважения к сенатскому его достоинству; не подобает народу признавать проповедником того, кто не уважает своих слушателей.

Гиларий. Люди страшатся епископской молнии: «Если кто но наущению дьявола...» и так далее — сам знаешь закон!

Левин. Но епископы прежде всего должны бы метнуть молнии в пустобрехов!

Гиларий. Страшатся и епископы.

Левин. Кого?

Гиларий. Этих самых пустобрехов.

Левин. Из-за чего?

Гиларий. Из-за того самого, что они пустобрехи.

Левин. Апостолы не страшились угроз царей и правителей, а эти страшатся одного нищего?

Гиларий. Именно потому, что они нищие, они особенно опасны: им терять нечего, а вредить они очень даже способны. Попробуй-ка подойди к осиному гнезду или к гнезду шершней и тронь любого из них пальцем; ежели это сойдет тебе безнаказанно, тогда вот и возвращайся ко мне и называй трусами епископов, которые избегают раздражать хотя бы и одного нищего. Не чтут ли папу римского самые могущественные монархи христианского мира? И, пожалуй, не только чтут, но и страшатся?

Левин. Что же удивительного? Ведь он наместник Христа!

Гиларий. А вот что, как рассказывают, любил повторять Александр Шестой<sup>643</sup>, муж и умный и просвещенный: «Я предпочитаю обидеть нескольких сильнейших самодержцев, чем одного самого последнего монашка из нищенствующего ордена».

---

<sup>641</sup> Какое ужасное чудовище — желудок (греч.).

<sup>642</sup> Пословица о глупце, который сходит за мудреца в обществе еще больших глупцов. Ее источник — басня об осле в львиной шкуре, который якобы объявился в итальяском городе Кумы.

<sup>643</sup> Александр Шестой. — Он занимал папский престол в 1492—1503 гг.

Левин. Пап оставь в покое. Когда слух об этой грязной болтовне дошел до ушей государей, которые были тогда в Аугсбурге, неужели они не покарали Дермарда?

Гиларий. Все негодовали, но особенно — король Фердинанд и его сестра Мария, лучшая среди женщин нашего века; возмущался и кардинал Бернард Тридентский<sup>644</sup>, и Балтазар<sup>645</sup>, епископ Констанцкий. Проповедника жестоко порицали, и всех суровее — Иоганн Фабер<sup>646</sup>, епископ Венский.

Левин. Что порицания?! Осел ни к чему не чувствителен, кроме дубины.

Гиларий. Да, в особенности — если угодишь по брюху. Но что могли поделать с этим тупицею государя, занятые намного более важными заботами?

Левин. Запретили бы ему проповедовать, лишили бы его своих милостей.

Гиларий. Но этот умелец приберег свое гноесловие к самому закрытию сейма, когда и вообще уже надо было разъезжаться.

Левин. Говорят, что так именно удаляются злые духи, оставляя за собою нестерпимую вонь.

Гиларий. Король Фердинанд все же отослал его от себя, но — отлично упитанного; от порицаний его полнота не пострадала нисколько.

Левин. Говорят, что Франциск проповедовал сестрам птицам; этот, мне кажется, достоин проповедовать братьям ослам и сестрам свиньям. Но куда он направился?

Гиларий. Куда ж еще, как не к собутыльникам из своего стада, которые наградили его овацией за отвагу и блестящий успех; и над винными чашами вместо «Ию, триумфе!» пели «Тебя, бога, хвалим»<sup>647</sup>.

Левин. Вокруг шеи бы ему веревку, этому Дермарду, а не вокруг пояса! А что пожелать тупоумному стаду, которое выращивает и холит таких скотов?

Гиларий. Едва ли ты придумаешь что-нибудь хуже того зла, которое они сами на себя навлекают. Ведь подобный образ действий и мыслей удачнее любого врага выставляет их на позор и в каждом порядочном человеке разжигает ненависть к ним. Однако желать зла кому бы то ни было — не по-христиански. Пожелаем лучше, чтобы милосерднейший образователь и преобразователь всего сущего, — который Навуходносора из человека превратил в быка<sup>648</sup>, а после из быка снова в человека, который Валаамову ослицу наделил даром человеческой речи<sup>649</sup>, — всех Дермардов исправил бы, даровавши им разум и речь,

<sup>644</sup> Бернард Тридентский (1485—1539) — церковный и государственный деятель, первый приближенный короля Фердинанда, епископ Тридентский с 1514 г., кардинал с 1530 г. Он был другом и покровителем многих ученых; приглашал Эразма поселиться у него в Триденте (Тренто, на северо-востоке Италии).

<sup>645</sup> Балтазар — Балтазар Мерклин из Вальдкирха близ Фрейбурга (1479—1531), советник императоров Максимилиана I и Карла V, верный друг многих германских гуманистов; епископ Констанцкий с 1529 г.

<sup>646</sup> Иоганн Фабер (1478—1541), родом из Лейткирха, в Альпгау — церковный деятель, сын кузнеца (отсюда прозвище «Фабер», то есть «мастеровой»). Сперва сочувствовал идеям Реформации, затем решительно поддержал католицизм, что открыло ему дорогу к высшим церковным должностям; с 1536 г. епископ Венский. Всегда покровительствовал наукам; основал в Вене Триязычную коллегия во имя святого Николая; убеждал Эразма обосноваться в Вене.

<sup>647</sup> Тебя, бога, хвалим» — одно из самых известных песнопений католической церкви, приписываемое разным авторам, но главным образом — святому Амвросию (см. прим. к «Благочестивому застолью», стр. 647).

<sup>648</sup> В ветхозаветной «Книге пророка Даниила» (гл. IV) рассказывается, что вавилонский царь Навуходносора был за свои прегрешения «отлучен от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти... как у птицы», а затем он взмолился богу о прощении, и к нему «возвратился разум... и прежний вид... и величие».

<sup>649</sup> В то время, когда Израиль завоевывал Землю обетованную, царь моавитян, испуганный успехами израильтян, просил волшебника Валаама проклясть Израиль, и Валаам, несмотря на воспрещение бога,



достойные проповедников Евангелия.

### Филодокс, или Славолюб



#### Филодокс. Симбул 650

Филодокс. Вот счастливая примета — что я с тобою повстречался, Симбул!

Симбул. Если бы я мог чем-нибудь принести тебе счастье, Филодокс!

Филодокс. Бывает ли человеку знамение благоприятнее, чем повстречаться с божеством?

Симбул. По-моему, — нет, даже если бы тысяча сов пролетела мимо. Но о каком божестве ты мне толкуешь?

Филодокс. О тебе, Симбул.

Симбул. Обо мне?

Филодокс. Именно.

Симбул. Богам, которые какают, — грош цена. Филодокс. Если не лжет пословица, что всякий, помогающий смертному, — это бог, ты можешь быть для меня богом.

Симбул. Верна ли пословица, пусть судят другие; что до меня, то я в любом случае с полной охотой приду на помощь другу, если сумею.

Филодокс. Не бойся, Симбул, я не в долг хочу просить. Совет — святая вещь; только совет мне и нужен.

Симбул. Но это как раз и значит «просить в долг», потому что эта услуга должна быть взаимной, как, впрочем, и все остальное между друзьями должно быть взаимным и общим. Но по какому делу желаешь ты выслушать мой совет?

Филодокс. Мне опротивела безвестность. Я хотел бы прославиться. Укажи мне путь.

Симбул. Вот тебе наикратчайший: возьми за образец Герострата, который поджег храм

---

согласился. Тогда бог послал своего ангела, и тот преградил путь ослице, на которой ехал Валаам. Как Валаам ни погонял к ни бил свою ослицу, она не шла дальше, а под конец «отверз господь уста ослицы, и она сказала Валааму: „Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?“...И открыл господь глаза Валааму, и увидел он ангела господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое» («Числа», XXII).

650 Симбул — подающий советы (греч.).

Дианы<sup>651</sup>, или его двойника, Зоила, который очернил Гомера<sup>652</sup>, или придумай еще какой-нибудь достопамятный поступок — и будешь &#945;&#959;&#953;&#948;&#953;&#956;&#959;&#962; <sup>653</sup> вместе с керкопами и неронами<sup>654</sup>.

Филодокс. Славы в преступлениях пусть ищут другие, а мне нужно имя доброе и честное.

Симбул. Тогда выкажи себя таким, за какого желаешь прослыть.

Филодокс. Но многие, хоть и были наделены замечательными достоинствами, известности все же не достигли.

Симбул. Верно ли это, не знаю, но если и случится так, как ты говоришь, доблесть служит обильною и Щедрою наградою за самое себя.

Филодокс. Ты рассуждаешь правильно и вполне по-философски, но, мне кажется, так уж устроена человеческая жизнь, что слава для доблести — первейшее украшение. Доблесть так же любит признание, как солнце любит светить, хотя бы уже по одному тому, что признанная доблесть приносит пользу очень многим и очень многих побуждает к подражанию и соревнованию. Наконец, я не вижу собственности более прекрасной, которую родители могли бы оставить своим детям, нежели бессмертная память о достойном имени.

Симбул. Сколько я понимаю, ты жаждешь славы, приобретенной доблестью.

Филодокс. Разумеется!

Симбул. Ну, что же, поставь себе в пример тех, кого восхваляют все писатели и все книги, — Аристида, Фокиона, Сократа, Сципиона Африканского, обоих Катонов, Старшего и Утического, Марка Брута и им подобных, старавшихся сослужить самую лучшую службу своему государству и на войне, и в мирное время. Это поле славы самое тучное.

Филодокс. Но среди знаменитых мужей, которых ты назвал, Аристид был приговорен к изгнанию, Фокион и Сократ выпили цикуту, Эпаминонду грозила смертная казнь<sup>655</sup> и Сципиону тоже, Катон Старший был под судом четырежды, Катон Утический и Брут покончили с собой. А я бы хотел славы, не омраченной ненавистью.

Симбул. Но этого даже Геркулесу, родному своему сыну, не дал Юпитер. Столько чудовищ одолел он доблестью, а последняя битва была с гидрою, самая упорная из всех битв.

Филодокс. Славе Геракловых подвигов я не завидую нисколько. Лишь те кажутся мне счастливыми, кому досталось доброе имя, ни завистью, ни ненавистью не омраченное.

Симбул. Я вижу, ты хочешь жить приятно; потому и страшишься зависти. И ты прав — &#954;&#945;&#954;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957; ув &#949;&#963;&#964;&#943;

<sup>651</sup> По преданию, храм богини Дианы в малоазийском городе Эфесе, считавшийся одним из «семи чудес света», был подожжен Геростратом, который мечтал любой ценою обессмертить свое имя. Эфесяне казнили поджигателя, и по всем греческим городам Малой Азии был принят закон, запрещающий произносить его имя, чтобы оно изгладилось из памяти людей. Закон этот, однако, как мы видим, не достиг своей цели.

<sup>652</sup> Зоил — греческий грамматик IV в. до н. э. Он получил прозвище «Бича Гомера» за беспощадную критику гомеровских поэм.

<sup>653</sup> Это греческое слово имеет два значения: опозоренный и прославленный.

<sup>654</sup> Керкопы — в греческой мифологии злые демоны или злобный народец, обращенный богами в обезьян. Римский император Нерон (54—68) остался в памяти потомства как образец жестокого и злобного тирана.

<sup>655</sup> Эпаминонд (411—362 гг. до н. э.) — замечательный фиванский полководец и государственный деятель. Он возглавлял необыкновенно удачный поход против Спарты, но по возвращении на родину был привлечен к суду за то, что оставался в должности командующего на четыре месяца дольше срока, предписанного законом.

Филодокс. Так оно и есть.

Симбул. Стало быть — *легче так всего найдем друзей и имя доброе без зависти.*

Филодокс. Но это означает смерть, а не жизнь!

Симбул. Теперь я понял, чего ты домогаешься. Тебе хотелось бы нежиться на солнышке, не отбрасывая тени.

Филодокс. Ну, это-то невозможно.

Симбул. Но ничуть не более возможно достигнуть славы, не омраченной ни малейшей завистью. За достойными поступками сама собою следует слава, славу сопровождает зависть.

Филодокс. И все-таки можно стяжать славу без зависти, как внушает нам старик из комедии<sup>658</sup>:

*Легче так всего найдем  
Друзей и имя доброе без зависти.*

Симбул. Если ты стремишься к славе, которую юный Памфил<sup>659</sup> приобрел послушанием и уступчивостью, там же, откуда заимствовано изречение, ты найдешь средства достигнуть того, чего ищешь. В любых обстоятельствах помни: ничего сверх меры; всего лучше середина; будь снисходителен к чужим нравам, на легкие изъяны смотри сквозь пальцы. Не упрямясь, не держись чересчур упорно за собственное мнение, но старайся приноровиться ко вкусам других людей; никого не оскорбляй, никому не перечь, со всеми будь обходителен.

Филодокс. К молодым почти все благосклонны, и в юные годы не стоит большого труда стяжать такую славу. Но я бы хотел громкого имени, которое прозвучало бы по всему миру, с годами становилось все известнее и, наконец, за могилу просияло бы еще ярче.

Симбул. Я одобряю твою благородную решимость, Филодокс. Но если ты желаешь славы, приобретенной доблестью, то высшая доблесть — в том, чтобы пренебречь славою, высшая похвала — в том, чтобы не искать похвал, которые сами гонятся за убегающим от них. Берегись: чем настоятельнее преследуешь ты эту цель, тем более рискуешь обмануться.

Филодокс. Я не *бесстрастен*<sup>660</sup> стоик: человеческие страсти мне не чужды.

Симбул. Если ты признаешь себя человеком и не отказываешься от человеческого жребия, почему же тогда охотишься за тем, что недоступно и богу? Ты ведь знаешь изречение Феокрита, столько же верное, сколько изящное и тонкое, что Юпитер ни ясным небом, ни пасмурным всем угодить не способен.

Филодокс. Возможно, что без дыма огня не бывает, но бывают *дрова, сгорающие без дыма*<sup>661</sup>. Если слава, вообще не омраченная облачком

<sup>656</sup> Это самый худший зверь (греч.).

<sup>657</sup> Живи незаметно (греч.).

<sup>658</sup> Теренций, «Девушка с Андроса», 65—66. Перевод А. Артюшкова.

<sup>659</sup> Герой той же комедии Теренция; к нему обращена сентенция старика Симона, приведенная выше.

<sup>660</sup> Бесстрастный (греч.).

<sup>661</sup> Дрова, сгорающие без дыма (греч.).

недоброжелательства, недостижима, мне думается, существуют все-таки средства, чтобы зависти примешивалось как можно меньше.

Симбул. Значит, ты хочешь услышать об этих средствах?

Филодокс. Очень хочу.

Симбул. Выказывай доблесть умеренно — менее будешь обременен завистью.

Филодокс. Но слава, если она не замечательна, — это не слава.

Симбул. Вот тебе самый надежный путь: соверши что-либо прекрасное и умри — и будешь прославлен без зависти вместе с Кодрами, Менекеями, Ифигениями, Курциями и Дециями. 662

*Зависть жадна до живых.*

*Умрем — и она присмирет 663.*

Филодокс. Сказать откровенно, я действительно хочу оставить в наследство детям и внукам славное имя, но плоды этого хотел бы пожать еще при жизни.

Симбул. Хорошо, дольше томить тебя не стану. Вернейший путь к славе — это заслуги как перед частными лицами, так и перед государством. Тут потребны две вещи: готовность помочь и щедрость. Щедрость, однако, следует сдерживать так, чтобы, давая одним, не приходилось отнимать у других. Подобная широта вызывает больше досады у достойных людей, чем одобрения у недостойных. И затем, похвала от недостойных — это скорее позор, нежели слава. К тому же, источник щедрости истощается непомерными раздачами, тогда как доброта, состоящая в одолжениях и услугах, дна не имеет. Наоборот, чем больше черпаешь, тем обильнее бьет ключ.

Далее, есть многое, что и зависть смягчает, и умножает славу, да только никто не в силах доставить себе #ти преимущества сам — они достаются нам без трудов и безвозмездно, по милости божества.

*Доблесть милее вдвойне, заключенная в теле прекрасном .*

Но телесной красоты никто себе не добудет. Очень много достоинства сообщает знатность происхождения; но и это подарок судьбы. Так же следует судить о богатстве, честно приобретенном дедами и прадедами и дошедшем до нас: и его никто себе сам не доставит. К этому роду благ принадлежат и острота ума, и приятность речей, и обаяние, и обходительность — качества не благоприобретаемые, но врожденные. И наконец, какая-то загадочная пристойность, нет, мало, — удачливость: их действие мы наблюдаем ежедневно во многих людях, но причин объяснить не умеем. Разве не доводится нам видеть, как разные люди действуют или говорят одинаково, и тот, кто действовал или говорил хуже, встречает пылкую признательность, а кто лучше — неодобрение. Иные из древних приписывали это гениям: каждый человек, говорили они, удачлив в том, для чего он рожден, и, напротив, мало успеет тот, кто берется за дело вопреки Минерве и наперекор своему гению.

Филодокс. Стало быть, здесь любой совет бесполезен?

---

662 Кодр — легендарный царь Аттики, пожертвовавший собою ради того, чтобы спасти свою страну от чужеземного завоевания. Менекей — знатный фивянин, совершивший такой же подвиг, как Кодр. Ифигения — см. прим. к «Неравному браку», к словам А его дочь Ифигению? Марк Курций — римский юноша, бросившийся в пропасть, которая разверзлась посреди города Рима; оракул возвестил, что она не закроется до тех пор, пока кто-либо из лучших граждан не пожертвует собою добровольно. Деции — два представителя одного римского рода, отец и сын, сознательно и умышленно отдавшие жизнь ради победы над врагом, первый — в 340 г. до н. э., в войне с латинянами, второй — в 295 г. до н. э., в войне с самнитами. Античная традиция присоединяла к ним еще третьего, внука, по-видимому — бесосновательно.

663 Овидий, «Любовные элегии», I, XV, 39. Перевод С. Шервинского.

Симбул. Боюсь, что так. Впрочем, люди проницательные обнаруживают в мальчиках и подростках особые приметы, по которым можно судить, к каким занятиям, к какому образу жизни, для какой деятельности они пригодны. На то же указывает и некое тайное чувство: к одним вещам мы испытываем отвращение безо всякой видимой причины, к другим стремимся с удивительной настойчивостью. Кто отлично ведет военные действия, кто искусен в государственных делах, кто словно бы рожден для ученых занятий. Впрочем, и тут, в каждом из случаев, поразительное разнообразие — такое же, каково различие в действиях. Одного природа создала для начальствования, другому велела быть храбрым воином; а тот, кто ей милее всех, получил особый дар — он, по слову Гомера, и добрый копейщик, и предводитель отличный. То же и «а гражданском поприще: один силен в совете, другой в судах, третий в посольствах. О различиях в ученых занятиях стоит ли и говорить?... Есть люди, которые так рвутся в монастырь-да еще не в любой, а именно в тот или в этот, — что им и жизнь не в жизнь, если они не достигнут своего. А есть и такие, что испытывают неопишное отвращение к монашеству и согласны скорее умереть, чем надеть рясу; и это не из ненависти и не по здравому убеждению, но из какого-то прирожденного тайного чувства.

Филодокс. Да, такое чувство свойственно очень многим; я встречал его не раз и часто дивился.

Симбул. Так вот, эти блага, которые щедрость природы дарит нам безвозмездно, вызовут гораздо меньше зависти, если ими не чваниться и не похвастаться. И красота, и знатность, и богатство, и красноречие приятнее в тех, кто как бы и не знает за собою никакого отличия. Обходительность и скромность нисколько не уменьшают этих выгод, они придают привлекательности и гонят прочь зависть. Обходительность и любезность надо сохранять во всех обстоятельствах жизни. Но, разумеется, — не против воли Минервы: попусту, мне думается, покушался бы Ксенократ<sup>664</sup> на то, в чем имели успех Сократ и Диоген, попусту помышлял бы Катон Цензорий<sup>665</sup> о том, что сделало Лелия всеобщим любимцем. А впрочем, Демей у Теренция<sup>666</sup> меняется внезапно и тем достаточно ясно показывает, как это важно, — если ищешь благосклонности, — покоряться влечениям и пристрастиям всех подряд.

Но и сбиться с пути нетрудно, и тогда мы всякий раз от истинной славы опускаемся до мимолетного человеческого одобрения. Лишь та слава вечна, что исходит от добрых корней, опираясь на твердое суждение разума. Страсть лее налетает порывами; порыв иссякнул — и ты начинаем ненавидеть то, от чего прежде были в восторге. И рукоплескания обращаются в свист, похвалы — в брань.

Невозможно изменить природные задатки совершенно, но исправить их отчасти — возможно.

Филодокс. Жду, что скажешь дальше.

Симбул. Кто от природы уступчив, тому надо остерегаться, как бы, угождая всем и каждому, не забыть о благопристойности, как бы, приравливаясь к любому и подражая полипу, не потерять самого себя.

Филодокс. Таких людей я знаю очень много — постыдно легкомысленных и совершенно ненадежных.

Симбул. А кто особенно суров, пусть изображают любезность так, чтобы это не

---

<sup>664</sup> Ксенократ (396—314 гг. до н. э.) — греческий философ, ученик Платона. Он был и справедлив, и неподкупен, но на редкость мрачен и необщителен.

<sup>665</sup> Катон Цензорий — Катон Старший, уже много раз упоминавшийся выше. Лелий — друг Сципиона Младшего, победителя карфагенян в Третьей Пунической войне (149—146 гг. до н. э.), или его отец, сопровождавший Сципиона Старшего в его походах в Испанию и Африку (210—202 гг. до н. э.) во время Второй Пунической войны. Оба славились любезностью и обходительностью.

<sup>666</sup> Ворчливый старик, персонаж комедии «Адельфы» («Братья»).

казалось притворством, и не дают то и дело воли своему нраву; иначе вместо похвалы они навлекут на себя двойной позор — за то, что временами непереносимо строги, и за то, что непостоянны. Такая сила заключена в постоянстве, что человека, испорченного от природы, легче бывает переносить по одному тому, что он всегда верен себе. А обман, стоит лишь нам его почуять, рождает ненависть даже при добрых побуждениях. Далее, притворство не может скрываться вечно, когда-нибудь оно непременно обнаружится, и тут всё пышное облако славы рассеется в один миг, да еще и притчею во языцех сделается.

Филодокс. Стало быть, насколько я вижу, ты советуешь возможно менее отступать как от собственной природы, так и от благопристойности.

Симбул. Вот именно. Вдобавок помни, что всякая внезапная известность подвержена зависти. Отсюда обидное слово <sup>667</sup> у греков, у римлян — прозвище «новый человек», у тех и других — выражения «сыны земли» и «с неба свалившиеся». А добрая молва, которая зарождается и растет постепенно, и зависти почти неподвластна, и наиболее прочна; как замечает об этом Гораций<sup>668</sup>, самый острый и тонкий среди поэтов:

*Скрыта, будто дуб, у Марцеллов слава  
Все растет, растет...*

Поэтому, если желаешь славы истинной, вечной и укрытой от зложелательства, послушайся Сократа, который говорил: чем больше торопишься вначале, тем позднее доберешься до цели.

Филодокс. Но человеческая жизнь коротка.

Симбул. Значит, с добрыми делами надо торопиться, а не со славою, которая сама явится следом. Ведь я полагаю, ты не о том спрашиваешь, как продлить свой век. Долголетие — милость Парок<sup>669</sup>, которые выпрадают нить и обрезают ее, когда сами надумают.

Филодокс. Если бы ты и в этом мне помог!...

Симбул. Никогда, Филодокс, не бывают боги настолько благосклонны, чтобы одному даровать все разом: что отнимут с годами, то возместят блеском имени. Лишь к очень немногим снисходительны и милостивы они настолько, что позволяют как бы пережить самих себя и насладиться грядущим еще при жизни. Но они редки, эти любимцы Юпитера. Быть может, отпрыскам богов и выпадало на долю такое блаженство, однако же к нашему разговору оно отношения не имеет.

Филодокс. Я часто дивлюсь про себя злорадству то ли судьбы, то ли природы, которая не дает смертным Ни единой радости без примеси огорчения.

Симбул. Что же нам остается, друг, как не переносить со спокойствием человеческую участь, коль скоро мы рождены людьми?... И еще одно важное средство для смягчения зависти: надо основательно и не щадя усилий изучить нравы целых народов и отдельных людей, по примеру укротителей диких животных. Главная их задача — узнать, что возбуждает и что утоляет гнев каждого животного в отдельности. Я говорю теперь не только о различии между пернатыми и четвероногими, между змеею и рыбою, или же о различии между орлом и коршуном, между слоном и конем, между дельфином и тюленем, между

<sup>667</sup> Выскочка, букв.: недавно разбогатевший; в точности соответствует французскому «nouveau riche», вошедшему и в русский язык («Нувориш»).

<sup>668</sup> «Оды», I, ХН, 45—46. Перевод Н. И. Шатерникова.

<sup>669</sup> Парки (у греков Мойры) — три богини судьбы: Клото прядет нить человеческой жизни, Лахесис распределяет между смертными житейские удачи, Атропос обрезывает нить.

гадюкой и аспидом, но о бесчисленных особенностях, существующих в этом отношении внутри каждого рода живых существ.

Филодокс. Я жду, к чему ты клонишь.

Симбул. Все собаки включены в один вид, но нет конца формам, на которые этот вид делится; можно подумать, будто не вид их объединяет, но род, — до чего разнообразны нравы и природные свойства собак в пределах одного вида!

Филодокс. Бесконечное разнообразие!

Симбул. То, что сказано о собаках, можешь отнести ко всякому живому существу; но нигде не проявляется это несходство более заметно, чем у лошадей.

Филодокс. Не спорю. Но что из того?

Симбул. Все черты несходства, какие находим у животных, — между видами и внутри видов, — все они встречаются в человеке. Здесь ты найдешь и всевозможных волков, и собак в несказанном разнообразии, и слонов, и верблюдов, и ослов, и львов, и овец, и гадюк, и обезьян, и драконов, и орлов, и коршунов, и ласточек, и чего-чего только не найдешь!

Филодокс. Ну, и что?

Симбул. Нет, однако ж, животного настолько дикого, чтобы, при искусном обращении, не доставляло какой-либо пользы или, по крайней мере, не перестало причинять вред.

Филодокс. Все еще не различаю, к чему ты клонишь.

Симбул. Существует заметное различие между испанцем, итальянцем, германцем, французом, англичанином?

Филодокс. Конечно.

Симбул. Вдобавок и в каждом племени у любого человека — свой, особый нрав.

Филодокс. Согласен.

Симбул. Если ты точно подметишь все эти особенности и во всех случаях станешь действовать сообразно с характером человека, ты очень легко достигнешь цели: повсюду у тебя будут только друзья или, во всяком случае, врагов не будет нигде.

Филодокс. Ты велишь мне сделаться полипом — где же тут честь и благопристойность?

Симбул. Иные общественные правила требуют покорности, однако ж чести это не унижает несколько. Например, у итальянцев мужчины приветствуют друг друга поцелуем, но попробуй сделать то же в Германии — на тебя посмотрят как на глупца: вместо поцелуя немцы обмениваются рукопожатием. Далее: в Англии мужчина целует женщину при встрече даже в церкви — в Италии это сочли бы за гнусное бесстыдство. Или еще: в Англии предложить свой бокал вновь пришедшему гостю — знак вежливости, во Франции — оскорбление. В этих и подобных этим делах можно угождать всем, не нарушая благопристойности.

Филодокс. Но знать обычаи всех народов и характер каждого человека — невероятно трудно!

Симбул. Но если ты ищешь редкостной славы, Филодокс, да еще желаешь приобрести ее доблестью, необходимо и доблесть выказать незаурядную. Тебе известно, что доблесть окружена трудностями — как еще до славного перипатетика<sup>670</sup> учил Гесиод. Если хочешь меда, не бойся пчелиного жала.

Филодокс. Это я знаю и помню. Но сейчас мы ищем способа смягчить зависть.

Симбул. На войне старайся быть начальником, а не солдатом, и воевать старайся с заклятыми врагами, а не с согражданами или с союзниками. На государственном поприще лови, в первую очередь, те должности, которые доставляют любовь народа. Например, лучше быть защитником, чем обвинителем, лучше награждать, чем наказывать. Если же

---

<sup>670</sup> Перипатетиками, то есть «прогуливающимися» (греч.), назывались Аристотель и его последователи, потому что основатель школы вел беседы с учениками, прогуливаясь по афинскому гимнасию (школе физического воспитания) Ликейю, который он избрал местом для своих лекций. По другому мнению, это название происходит от того, что Аристотель во время занятий расхаживал взад-вперед.

случится принять должность, тягостную по самой своей сути, — а иной раз это неизбежно, — и тут смягчай суровость снисходительностью. Филодокс. Каким образом?

Симбул. Положим, ты судья или посредник; одна из сторон должна проиграть; но ты веди дело с таким благожелательством, чтобы — если только это возможно — даже проигравший был тебе благодарен.

Филодокс. Не понимаю.

Симбул. Например, вчиняется иск о краже или святотатстве; измени, если можешь, исковую жалобу так, чтобы получился иск о восстановлении в праве на собственность. Ты поможешь ответчику, немало не ущемляя интересов истца. Далее, судебное разбирательство направляй так, чтобы — без ущерба для истца! — произвести благоприятное впечатление на ответчика. И наконец, осужденному чуть смягчи наказание. При этом — никакого угрюмства в лице, никаких резких слов, никакой придирчивости! Благодеяние от угрюмца нередко вызывает меньшую признательность, чем любезный отказ. Иногда следует обратиться к другу с предостережением, но если никакой надежды на успех нет, лучше промолчать. Если дело важное и надежда есть, многое зависит от того, каким будет твое увещание. Ведь так часто случается, что превратно понятый или несвоевременный совет лишь обостряет недуг и друга превращает во врага!

Еще нужнее это умение, когда говоришь с государем. Иногда бывает необходимо воспротивиться его желанию. Если это сделать учтиво и умело, тогда, спустя немного, возражавшие будут в большей милости, чем те, кто поддакивал. Ведь страсть мимолетна и скоро проходит; лишь решения разума сохраняют свою привлекательность навсегда.

Всего больше ненависти и зависти порождает несдержанность языка. Сколько злобы всколыхнет иногда одно, случайно вырвавшееся словечко! Сколь многим стоило жизни неуместное суждение или шутка! Итак — хвали, но только достойных, и на похвалы будь скуп; но еще скупее будь на порицания, если только вообще следует порицать кого бы то ни было. Избегай многословия: чрезвычайно трудно сказать и много и кстати одновременно.

Филодокс. Со всем этим я согласен. Но мне главнейшим путем к славе представляется писание книг.

Симбул. Верно, да только писак развелось несметное множество. Но если ты выберешь этот путь, старайся писать чем точнее, а не чем больше. Прежде всего предмет выбери не избитый, — чтобы не делить его со многими другими, — и никому не внушающий злобы. С ним соотнеси все примечательное, что собрано за многие годы чтения. Излагая предмет, представь его в таком виде, чтобы приятное сочеталось с полезным.

Филодокс. Очень умно, Симбул, и я буду удовлетворен вполне, если прибавишь еще только одно: каким образом устроить, чтобы слава пришла поскорее? Я знаю многих, которые прославились лишь перед самой кончиной, а иные — так и вовсе за могилу, как говорится.

Симбул. Здесь не могу присоветовать тебе ничего синего, чем советовал флейтист флейтисту<sup>671</sup>. Постарайся понравиться тем, кто уже победил зависть славою; пойди в дружбу с теми, чей добрый отзыв легко доставит тебе благосклонность народа.

Филодокс. А если вдруг вспыхнет зависть, какое укажешь мне лекарство?

Симбул. Поступай так же, как смоловары: едва лишь сверкнет пламя, они льют воду. Это должно повторять и часто и неукоснительно — иначе разбухнет пожар.

Филодокс. Что за загадка такая? Симбул. Зарождающуюся зависть лучше подавлять благодеяниями, чем мезтью. Геркулес ничего не добился, отсекая Лернейской гидре одну голову за другой, — греческим огнем одолел он смертоносное чудовище.

Филодокс. Какой огонь ты зовешь «греческим»?

---

<sup>671</sup> То есть отложить флейту вовсе, если не можешь извлечь из нее стройных звуков (Цицерон, «Брут», LI, 192).



Симбул. Который горит и в воде<sup>672</sup>. Его применяет тот, кто, в ответ на незаслуженные обиды, продолжает оказывать услуги всем без различия.

Филодокс. Что я слышу? Только что доброта была водой, теперь стала огнем?

Симбул. А что этому помехой, если Христос в аллегориях — то солнце, то огонь, то камень? Говорил я с усердием, но если нападешь на что-нибудь лучшее, лучшему и следуй, а моими советами пренебреги.

### Скарредный достаток



Якоб. Гильберт

Якоб. Откуда ты к нам, такой иссохший, точно бы все это время питался одной росой, вместе с кузнечиками? Прямо выползок человека, да и только!

Гильберт. Тени в преисподней насыщаются мальвою и пореем; а я прожил десять месяцев в таком месте, где и того не доставалось.

Якоб. Где же это? Объясни, пожалуйста! Может тебя похитили и ты попал на галеру?

Гильберт. Ничего похожего. Я был в Синодии<sup>673</sup>.

<sup>672</sup> Секрет изготовления этого боевого состава, известного византийцам, забыт. Видимо, в него входили негашеная известь, смола и сера

<sup>673</sup> Прежде всего, можно было бы предположить, что этим вымышленным именем обозначен Аугсбург, где годом раньше происходил имперский сейм, а сейм обозначается латинским словом *conventus*, которое можно перевести греческим *synodos*. Но это умышленный отвод глаз. Эразм как бы заручается алиби, чтобы затем достаточно прозрачно намекнуть на события более чем двадцатилетней давности, происходившие в Венеции, где он жил с марта по декабрь 1508 г., готовя к печати первое издание «Адагий». Он поселился в доме Андреа Торрезано, тестя и старшего компаньона Альда Мануция — лучшего типографа Италии и всего тогдашнего мира. Сам Альд и все ученые, группировавшиеся вокруг него и его печатни, оказали Эразму огромную помощь, без которой, по его же собственным словам, работа над «Адагиями» не могла бы быть исполнена. И вот теперь, когда ни Альда, ни его тестя уже не было в живых, Эразм оплатил приютившему его дому такими воспоминаниями, которые, даже если они и верны, лучше бы не ворошить. Объясняется этот не слишком красивый поступок нападками ученых-гуманистов, оскорбленных диалогом «Цицеронианец» (см. прим. к «Эхо»). Самой злобной из нападков была «Речь в защиту Цицерона от Эразма», принадлежавшая итальянскому врачу и филологу Джулио Чезаре делла Скала (Юлий Цезарь Скалигер) и ставшая известной Эразму еще до напечатания. Помимо прочих обвинений, Скалигер укорял Эразма и в том, что он будто бы пьянствовал в Венеции в 1508 г. Но Эразм был уверен, что под именем Скалигера скрывается бывший друг, а в ту пору

Якоб. В таком богатом городе — и чуть не умереть голодную смертью?

Гильберт. Именно.

Якоб. Но по какой причине? Денег не было?

Гильберт. И деньги были, и друзья.

Якоб. Так в чем же дело?

Гильберт. Я гостил у Антрония.

Якоб. У этого богача?

Гильберт. Но страшнейшего скареда!

Якоб. Диво какое-то!

Гильберт. Дива нет никакого. Все богачи таковы, если они выбились из крайней бедности.

Якоб. Но что за охота была оставаться столько месяцев у такого хозяина?

Гильберт. Так я решил в ту пору: были обстоятельства, которые меня удерживали.

Якоб. Расскажи, заклинаю тебя, как устроена его жизнь.

Гильберт. Охотно: воспоминания о пережитых бедствиях доставляют удовольствие.

Якоб. А у меня удовольствие впереди.

Гильберт. Когда я приехал, на Синодию обрушилась беда <sup>674</sup>: целых три месяца задувал борей, хотя — по какой причине, не знаю — дольше недели кряду он не держался.

Якоб. Тогда каким же образом он дул целых три месяца?

Гильберт. На восьмой день ветер, так сказать, снимался с лагеря, но восемь часов спустя разбивал шатры на прежнем месте.

Якоб. Тут слабому телу понадобился жаркий очаг.

Гильберт. Жара было бы вдоволь, если бы хозяин запасся дровами. Но наш любезный Антроний, спасаясь от расходов, корчевал на островах пни, на которые никто больше не польстился; трудился он главным образом по ночам. Вот этими-то дровами, почти совсем еще сырыми, он и топил; дыма много, огня мало, да и тот не греет — скорее одна видимость, чтобы нельзя было сказать, будто огня вообще не разводили. Один огонечек тлел целый день — до того был чахлый.

Якоб. Да, тяжелая выпала тебе зима. Гильберт. Но лето — еще тяжелее. Якоб. Почему?

Гильберт. Столько в этом доме блох и клопов, что и днем нет покоя, и ночью глаз не сомкнешь.

Якоб. Пакостное богатство!

Гильберт. Да, такого рода скотинкою хвастаться не стоит.

Якоб. Как видно, женщины там ленивые.

Гильберт. Они прячутся по своим углам и среди мужчин не показываются. Так и получается, что женщины там — только утеха для мужчин, а той заботы, которую обычно слабый пол оказывает сильному, мужчины лишены.

Якоб. А что Антроний? Ему это запустение разве не в тягость, не в досаду?

Гильберт. Он вырос в такой же самой грязи, и ничто, кроме барыша, ему не дорого. Он проводил время где угодно, только не дома, и совал нос во все дела подряд. Ты знаешь, что этот город под особым покровительством Меркурия. Прославленный живописец <sup>675</sup> считал

непримиримый враг Джеронимо Алеандро (1480—1542), когда-то входивший в основанное Альдом сообщество ученых в Венеции («Новую академию»), но успевший сделать блестящую церковную карьеру (он был архиепископом еще в 1524 г.). Итак, Антроний в диалоге — это Андреа Торрезано; Ортрогон — Альд Минуций; ученый Обрезаний — Алеандро (ходили слухи о его еврейском происхождении, и Эразм делал вид, будто верит этим слухам); Стратег — Сципион Картеромах (Шипоне Фортигуэрра), отличный знаток греческого языка, вместе с Альдом основатель «Новой академии» в Венеции.

<sup>674</sup> С небес (греч.).

<sup>675</sup> Греческий художник Апеллес (IV в. до н. э.).

потерянным день, в который он не провел хотя бы одной линии; Антроний гораздо горше оплакивал тот день, который не приносил ему никакого барыша. И если так случалось, искал даров Меркурия в собственном доме.

Якоб. Что же он делал?

Гильберт. В доме был водоем, — по обычаю того города, — и Антроний зачерпывал несколько ковшей и подливал в винные кувшины. Вот тебе и доход!

Якоб. Вино, наверно, было слишком крепкое?

Гильберт. Наоборот, жиже помоев! Он всегда покупал только дрянное вино, чтобы купить подешевле. И чтобы ни капли не пропало даром, все время подмешивал гущу десятилетней давности и старательнейшим образом взбалтывал, чтобы с виду напоминало сусло; так и гущи у него не пропадало ни крошки — он бы это го ни за что не допустил.

Якоб. Но если верить врачам, вино с гущею рождает камни в пузыре<sup>676</sup>.

Гильберт. Врачи правы: года не проходило, чтобы один или двое из его домочадцев не умирали от камня; но Антрония траур в доме не страшил.

Якоб. Нет?

Гильберт. Он даже с мертвых драл подать. Не гнушался любим, самым ничтожным прибытком.

Якоб. Ты говоришь о воровстве?

Гильберт. Торговцы называют это барышом.

Якоб. А что сам Антроний пил?

Гильберт. Тот же нектар.

Якоб. И ему не было худо?

Гильберт. Он до того здоров, что хоть сено мог бы жевать, и смолоду, как я уже сказал, воспитан на подобных лакомствах. По его мнению, нет дохода вернее.

Якоб. Как это?

Гильберт. Если сочтешь всех — жену, сыновей, дочерей, зятя, работников и служанок, выйдет, что в доме кормилось тридцать три человека. Чем сильнее разбавлено было вино, тем меньше пили, тем дольше тянулся запас. Теперь сообрази, если всякий день прибавлять по ковшу воды, какая кругленькая сумма соберется за год.

Якоб. Какая гнусная жадность!

Гильберт. Но не меньше сберегалось и на хлебе.

Якоб. Объясни.

Гильберт. Он покупал испорченную пшеницу, которую никто другой брать не хотел. Тут сразу и доход, потому что обходилось дешевле. А порчу исправляли.

Якоб. Как же исправляли-то?

Гильберт. Есть белая глина, несколько схожая с хлебом. Ее любят лошади — они грызут стены, охотно пьют из рытвин, где вода взмучена такою глиной. Вот ее он и подмешивал: на две части зерна одну часть глины.

Якоб. И это значит «исправлять»?

Гильберт. Во всяком случае — на вкус. А доход и здесь совсем не шуточный. И еще одну хитрость прибавь сюда же. Хлебы месили дома, и не чаще, чем дважды в месяц, даже летом.

Якоб. Но это значит подавать на стол камни, а не хлебы!

Гильберт. Нет, камни, пожалуй, мягче. Впрочем, и тут нашлись, как пособить беде.

Якоб. Я слушаю.

Гильберт. Куски сухаря размачивали в вине.

Якоб. Одно под стать другому. А работники терпели такое обхождение?

Гильберт. Сперва расскажу тебе, как кормят родных, — тогда ты легче поймешь, как

---

<sup>676</sup> Эразм всегда утверждал, что каменной болезнью, которою он страдал до конца жизни, его наградило дрянное венецианское вино.

обходятся в этом доме с работниками.

Якоб. Я весь слух.

Гильберт. О завтраке там и речи не было, обед же задерживался чуть не до первого часа пополудни.

Якоб. Почему?

Гильберт. Дожидались Антрония, главу семейства. А ужинали иногда в десятом часу.

Якоб. Но ты всегда плохо переносил пост.

Гильберт. Вот я и кричал что ни день Ортрогону, зятю Антрония (мы с ним жили в одной комнате): «Эй, Ортрогон, нынче в Синодии не едят?» Он отвечал учтиво, что Антроний сейчас будет. На стол, однако же, не накрывали, а в животе урчало вовсю, и я снова говорил Ортрогону: «Эй, Ортрогон, нынче придется умирать с голоду?» Он ссылался на ранний час или еще на что-либо. Урчание в животе делалось невыносимым, и я опять спрашивал Ортрогона, занятого своими делами: «Что ж будет? Погибнем голодной смертью?» Исчерпав все отговорки, Ортрогон шел к слугам и приказывал накрывать. Но Антрония все не было, и стол по-прежнему был пуст; наконец Ортрогон, уступая моим попрекам, спускался к жене, к теще и к детям и кричал, чтобы подавали ужин.

Якоб. Ну, теперь-то уж подадут.

Гильберт. Не торопись. Приходит хромой слуга, который ведает столом, очень похожий на Вулкана; постилает скатерть. Это первое предвкушение трапезы. После долгой переклички приносят стеклянные чаши с чистою и прозрачною водою.

Якоб. Вот и другое предвкушение.

Гильберт. Не торопись, говорю. Снова ожесточенные крики — и появляется кувшин того мутного от гущи нектара.

Якоб. О, радость!

Гильберт. Но без хлеба. Пока опасности никакой: даже самая сильная жажда не прибавит вкуса этакому вину. Опять кричат до хрипоты, и лишь после этого ставят на стол хлеб, который и медведь едва ли угрызет.

Якоб. Ясно, что решили спасти тебя от смерти.

Гильберт. Поздним вечером возвращается, наконец, Антроний, но еще на пороге делает сообщение, которое не сулит ничего доброго: оказывается, у него разболелся живот. Чего ждать гостю, если хозяин нездоров?

Якоб. Он и вправду худо себя чувствовал?

Гильберт. До того худо, что один слопал бы трех каплунов, если бы кто дал задаром.

Якоб. Я жду трапезы.

Гильберт. Прежде всего, ставят перед хозяином тарелку бобовой каши — это у них обычное кушанье бедняков. Антроний говорил, что бобовая каша помогает ему от всех болезней.

Якоб. Сколько вас бывало за столом?

Гильберт. Восемь, иногда девять, в том числе — ученый Обрезаний, я полагаю, тебе небезызвестный, и старший сын Антрония.

Якоб. А им что подавали?

Гильберт. Разве не довольно людям воздержным того, что Мелхиседек вынес Аврааму, победителю пяти царей<sup>677</sup>?

Якоб. Значит, кроме хлеба и вина, ничего?

Гильберт. Нет, кое-что перепадало.

Якоб. Что именно?

Гильберт. Помню, сидели мы вдвоем, а в миске я насчитал лишь семь листиков

---

<sup>677</sup> В библейской книге «Бытие» (гл. XIV) рассказывается, как патриарх Авраам, узнав, что уведен в плен его племянник Лот, вооружает триста восемнадцать своих рабов и наносит поражение четырем (а не пяти) царям. На возвратном пути его встретил царь и священник Мелхиседек, дал ему хлеба и вина и благословил Авраама.

салата, которые плавали в уксусе, но без масла.

Якоб. Значит, Антроний поедал свои бобы один?

Гильберт. А их и покупали-то всего на пол-обола. Впрочем, он не возражал, если соседу по столу приходила охота отведать, да только невежливым казалось вырывать у бедняги пищу изо рта.

Якоб. Значит, листья салата делили на части — как в поговорке про тминное зернышко?

Гильберт. Нет, салат съедали самые почтенные сотрапезники, а остальные макали хлеб в уксус.

Якоб. А после седьмого листочка что?

Гильберт. Что же еще, как не сыр — заключение застолья?

Якоб. И так постоянно?

Гильберт. Почти постоянно. Лишь изредка, в день, когда Меркурий улыбался особенно милостиво, стол бывал несколько обильнее.

Якоб. И что же тогда?

Гильберт. Антроний приказывал купить три грозди винограда на одну медную монетку; и весь дом радовался.

Якоб. Как же иначе!

Гильберт. Но исключительно в ту пору, когда виноград всего дешевле.

Якоб. Стало быть, кроме как осенью, он ничего лишнего не тратил?

Гильберт. Тратил. Есть там рыбаки, которые вылавливают мелкие раковины, главным образом — в отхожих местах; особым криком они дают знать, что у них за товар. У них иной раз он распорядился купить на полушку (эту монетку синодийцы зовут «багаттино»). Тут ты бы решил, что в доме свадьба: надо было разводить огонь, чтобы поскорее все сварить. Это подавали после сыра — вместо сладкого.

Якоб. Сладкое отменное, клянусь Геркулесом! Однако ни мяса, ни рыбы на столе не было никогда?

Гильберт. В конце концов он все же сдался на мои жалобы и стал чуть щедрее. Когда же хотел показать себя вторым Лукуллом<sup>678</sup>, перемены были примерно вот такие.

Якоб. Очень любопытно!

Гильберт. На первое подавалась похлебка, которую там, не знаю почему, зовут «служанкою».

Якоб. И недурная?

Гильберт. Приправляли ее так. Ставят на огонь горшок с водою, а в воду кладут несколько кусков буйволового сыра, сухого и твердого, как камень, без доброго топора ни крошки не отколешь. Размякая в горячей воде, сыр слегка окрашивает ее — и уже никто не может сказать, будто это одна вода. Это у них преддверие пира.

Якоб. Хлебово для свиней!

Гильберт. Потом — требуха от старой коровы, но, во-первых, в ничтожном количестве, а во-вторых, сваренная недели две назад. Якоб. Значит, смердит?

Гильберт. Невыносимо! Но и тут беде умеют помочь.

Якоб. Как?

Гильберт. Я скажу, но ты не вздумай подражать.

Якоб. Будь покоен!

Гильберт. Разбалтывают яйцо в горячей воде и этой подливою заливают мясо; правда, скорее это обман зрения, чем обоняния, потому что смрада ни под какую подливою не спрячешь. Если день требует рыбного стола, подают в иных случаях три маленькие златобровки, — это на семь или на восемь человек.

Якоб. А больше ничего?

---

<sup>678</sup> См. прим. к «Благочестивому застолью» (стр. 648).

Гильберт. Ничего, кроме того же каменного сыра.

Якоб. И вправду, второй Лукулл! Но чтобы такого скудного припаса хватило на столько сотрапезников, да еще и без завтрака, — как это возможно?

Гильберт. Ты еще не все знаешь — остатками нашего застолья кормились теща, невестка, младший сын, служанка и несколько малых ребят.

Якоб. Ты лишь умножил мое недоумение, но никак не рассеял.

Гильберт. Едва ли я смогу тебе это объяснить, если сперва не опишу порядка нашего застолья.

Якоб. За чем же дело стало? Опиши.

Гильберт. Во главе стола сидел Антроний, по правую руку от него — я, на правах почетного гостя, напротив Антрония — Ортрогон, подле Ортрогона — Обрезаний, подле Обрезания — Стратег, грек родом. Слева от Антрония садился старший сын; если являлся еще гость, это место, из уважения, отводили ему.

Начнем с похлебки. О ней беспокоиться было нечего, и наливали всем почти одинаково — разве что в тарелках первых за столом лиц плавали кусочки сыра. Что же касается второго блюда, то из кувшинов с вином и водою (обычно их бывало четыре) воздвигалось подобие крепостной стены, так что дотянуться не мог никто, кроме троих, перед которыми блюдо стояло: только величайший наглец решился бы перескочить через эту ограду. Вдобавок блюдо на столе не задерживалось: скоро его уносили, чтобы и прочим домочадцам кое-что перепало.

Якоб. А вы, за столом, что ели?

Гильберт. Утешались на свой лад.

Якоб. На какой же это лад?

Гильберт. Глиняный хлеб размачивали в старой-престарой винной гуще.

Якоб. Но такое застолье, должно быть, в один миг и заканчивалось.

Гильберт. Нередко тянулось дольше часа.

Якоб. Не понимаю.

Гильберт. То, что внушало опасения, быстро уносили, — я уже тебе говорил, — и подавали сыр, за который можно было не опасаться, потому что от него ни одним столовым ножом ни крошки не отколупнешь. Оставалась эта знаменитая гуща и у каждого свой ломоть хлеба. К этому сладкому примешивались вполне невинные беседы, а тем временем закусывал женский сенат.

Якоб. Ну, а работники-то что?

Гильберт. Они с нами никак не общались, в свои часы и обедали и ужинали, но в целом на еду тратили не более получаса в день.

Якоб. Но чем же их кормили?

Гильберт. Это уж сам догадайся.

Якоб. А немцам едва хватает часа на первый завтрак, еще одного часа на второй, полутора часов на обед и двух — на ужин; и если доверху не нальют утробу добрым вином, не набьют вкусным мясом и рыбою, — бросают хозяина и бегут на войну.

Гильберт. У каждого народа свой нрав. Итальянцы на еду расходуют очень мало: наслаждению они предпочитают деньги. И трезвенники они не только по привычке, но и от природы.

Якоб. Теперь я, конечно, не удивляюсь, почему ты вернулся такой тощий. Удивительно другое — как ты вообще жив остался, особенно после того, как дома всегда ел каплунов, куропаток, голубей да фазанов.

Гильберт. А я бы и правда умер, если б не отыскалось спасительное средство.

Якоб. Худо идут дела там, где нужно столько целебных средств!

Гильберт. Я уже изнемогал от слабости, когда добился, чтобы мне за каждую трапезой давали четверть вареного цыпленка.

Якоб. Теперь-то ты оживешь!

Гильберт. Не совсем. Цыпленка, из бережливости, покупали до того маленького, что и

шестерых таких недостало бы на завтрак одному здоровому поляку, а купивши, не кормили, чтобы не было лишних расходов. От этой заморенной, полудохлой птички варили крылышко или лапку. Печенку отдавали маленькому сыну Ортрогона. Навар и раз и другой выпивали женщины, дважды подливая свежей воды. В конце концов ко мне лапка попадала суше пемзы и безвкуснее трухлявой деревяшки, а навар был чистойшею водою.

Якоб. А я слышал, что там кур без числа, что они и вкусны и дешевы.

Гильберт. Это верно, но деньги синодийцу милее курицы.

Якоб. Такого наказания было бы довольно, даже если бы ты убил папу римского или помочился на гробницу Петра-апостола.

Гильберт. Ты дослушай до конца. Тебе известно, что скоромных дней в неделе пять.

Якоб. Еще бы неизвестно!

Гильберт. Но цыплят покупали только двух. По четвергам прикидывались, будто забыли купить, — чтобы не пришлось подавать целого цыпленка сразу или чтобы на пятницу не оставалось.

Якоб. Клянусь, этот Антроний побивает самого Эвклиона у Плавта<sup>679</sup>! А постными днями как ты спасал свою жизнь?

Гильберт. Я поручил одному другу, чтобы он за мой счет покупал мне по три яйца на день — два к обеду, одно к ужину. Но и тут женщины вместо свежих, купленных задорого, подкладывали тухлые, и я считал, что все обстоит превосходно, если из трех яиц хотя бы одно оказывалось съедобным. Купил я на свои деньги и мех вина получше; впрочем, женщины сломали засов и в несколько дней все высосали досуха. Антроний не очень на них рассердился.

Якоб. Неужели не было решительно никого, кто бы тебя пожалел?

Гильберт. Пожалел? Наоборот — я казался им обжорою и мотом: ведь я один поглощал столько пищи! Ортрогон неоднократно мне внушал принять в рассуждение особенности тамошних краев и всерьез о себе позаботиться. Он вспоминал нескольких наших земляков, которых прожорливость довела до тяжелой болезни, а то и вовсе свела в могилу. Когда он увидел, что я пытаюсь укрепить здоровье, подорванное непрерывными трудами, недоеданием и даже болезнью, — покупаю у аптекарей сладости из сосновых орешков, из тыквенных и дынных семечек, он подговорил одного врача, близкого моего приятеля, посоветовать мне умеренность в пище. Тот взялся за дело с усердием, я быстро почувствовал, что он исполняет чужое поручение, и ничего не ответил. Тогда он приступил еще старательнее, и увещаниям не было конца, пока я не возразил: «Скажи мне, дорогой друг, ты это всерьез или в шутку?» — «Всерьез», — говорит. «Как же, по-твоему, мне быть?» — «От ужина откажись вовсе, а вино разбавляй водой, по меньшей мере наполовину». Я посмеялся над этим прекрасным советом: «Если ты хочешь меня убить, то для моего тела, тощего, скудного и на редкость слабого, отказаться от ужина хотя бы раз было бы равносильно смерти. Это проверено на опыте, и не однажды; снова испытывать судьбу никакой охоты нет. Понимаешь ли ты, что получится, если, пообедав так плотно, я не стану ужинать? И понимаешь ли, какое вино советуешь разбавлять водой? Право же, лучше пить чистую воду, чем мутную! Не сомневаюсь, что все эти речи ты ведешь по просьбе Ортрогона». Врач улыбнулся и заговорил менее строго: «Не в том мой тебе совет, ученнейший Гильберт, чтобы не ужинать вовсе. Можно скушать яйцо и выпить глоток вина, — я и сам так живу. На ужин мне варят яйцо, я съедаю полжелтка, а все остальное отдаю сыну; затем выпиваю полстакана вина и занимаюсь до глубокой ночи».

Якоб. И теперь он говорил правду? Гильберт. Истинную правду. Случилось как-то, что я прогуливался, возвращаясь из церкви, и вдруг мой спутник мне напоминает, что на этой улице живет врач. Захотелось мне взглянуть на его царство. День был воскресный. Я постучался в дверь. Слуга отворил. Я вошел. Застаю врача с сыном и этим самым слугою за

<sup>679</sup> Эвклион — скупой старик, герой комедии «Горшок».

обедом. На столе два яйца и больше ничего.

Якоб. Тщедушные, надо полагать, людишки! Гильберт. Нет, оба были хорошо упитаны, на щеках румянец, глаза блестят. Якоб. Что-то не верится.

Гильберт. Я тебе рассказываю то, что видел сам. И не он один так живет, но и очень многие другие из тех, что и знатны и богаты. Поверь, объедалы и опивалы — рабы не природы, но привычки. Если втягиваться постепенно, в конце концов придешь к тому же, что Милон<sup>680</sup>, который в день съедал целого быка.

Якоб. Боже бессмертный! Если можно поддерживать здоровье таким малым количеством пищи, сколько же денег уходит впустую у немцев, англичан, датчан, поляков!

Гильберт. Ужасно много, не сомневаюсь, и не без тяжкого ущерба как для здоровья, так и для ума.

Якоб. Но что мешало и тебе довольствоваться этой пищей?

Гильберт. Я привычен к другому, и менять привычку уже было поздно. Впрочем, не столько меня мучила скудость пищи, сколько скверное качество. И двух яиц могло бы хватить, если б они были свежие, и стакана вина было бы довольно, если бы вместо вина не подавали прокисшую гущу, и полхлеба насытили бы, если бы вместо хлеба не давали глину.

Якоб. Неужели Антроний до того скуп при таких достатках?

Гильберт. Я думаю, у него не меньше восьмидесяти тысяч дукатов. И не было года, который бы не принес ему тысячи дукатов — это по самым скромным подсчетам.

Якоб. А сыновья, для которых он копит, такие же бережливые?

Гильберт. Да, но только дома. А как за порог — так и едят сладко и жирно, и распутничают, и в кости играют. Отец ради самых уважаемых гостей боится медный грош истратить, а сыновья меж тем за одну ночь проигрывают шестьдесят дукатов.

Якоб. Так всегда уходит на ветер то, что приковано скарденостью. Но куда же ты теперь, выбравшись цел из таких опасностей?

Гильберт. Во Францию, в старинную, издавна знакомую мне гостиницу — там и возьму потерянное в Синодии.

### Серафическое погребение



<sup>680</sup> См. прим. к «Рыбодству» (стр. 678).



**Филекой. Феотим**

Филекой. Откуда, Феотим, в таком невиданно благочестивом обличий?

Феотим. Это ты о чем?

Филекой. Ну как же — брови насуплены, глаза опущены долу, голова склонилась к левому плечу, в руках четки.

Феотим. Если хочешь знать то, что тебя нисколько не касается, друг, я возвращаюсь после зрелища.

Филекой. Что за зрелище было? Канатный плясун? или фокусник? или еще что-либо в этом же роде?

Феотим. Пожалуй.

Филекой. Но я никогда еще не видал, чтобы после зрелища возвращались с таким печальным лицом.

Феотим. Но если б ты сам присутствовал при этом зрелище, то, возможно, сейчас был бы еще печальнее моего.

Филекой. Открой же, наконец, что внушило тебе такой страх божий!

Феотим. Я был свидетелем серафического погребения.

Филекой. Что я слышу? Стало быть, и ангелы умирают?

Феотим. Нет, не ангелы, но их сподвижники. Но не буду дольше тебя томить. Ты, наверно, знаешь здесь, в Пелузии, Евсевия<sup>681</sup>; он человек образованный и многим известен.

Филекой. Тот, что из государя сделался обыкновенным гражданином, из гражданина — изгнанником, из изгнанника — по сути дела, нищим и, я бы даже сказал, сикофантом?

Феотим. Он самый!

Филекой. Что же с ним приключилось?

Феотим. Нынче его хоронили, и я прямо с похорон.

Филекой. Да, все это, должно быть, до крайности грустно, если настроило тебя на такой грустный лад.

Феотим. Боюсь, что без слез не смогу описать тебе того, что увидел.

Филекой. А я боюсь, что не смогу слушать без смеха. Но, пожалуйста, рассказывай.

Феотим. Ты знаешь, что Евсевий давно был слаб здоровьем.

Филекой. Да, он уже несколько лет, как потерял всякую силу.

Феотим. При таких недугах, которые съедают больного постепенно, врачи, как правило, предсказывают день смерти безошибочно.

Филекой. Разумеется.

Феотим. И вот они предупреждают Евсевия, что все возможности врачебного искусства исчерпаны с величайшею добросовестностью, что бог могущественнее всей медицины в целом, но, насколько способен предугадывать человеческий ум, жить ему, Евсевию, осталось не больше трех дней.

Филекой. И что же?

Феотим. Тотчас достойнейший Евсевий приказывает одеть изнуренное свое тело в полный наряд святейшего Франциска — бреет голову, накидывает капюшон цвета золы, облачается в рясу того же цвета, подпоясывается узловатую веревкой, обувает сандалии.

Филекой. Готовясь к смерти?

Феотим. Да. И, уже умирающим голосом, заявляет, что будет сражаться за Христа по уставу святого Франциска, ежели бог дарует то, в чем лекари отчаялись. Заявление делается при свидетелях — мужах проставленной святости. В этом одеянии достойный Евсевий и

---

<sup>681</sup> Этим именем Эразм прозрачно называет Альберто Пио (pius — «благочестивый» по-латыни, eusebes — по-гречески), князя Карпи; этот итальянский вельможа лишился наследственных владений, был на дипломатической службе у императора Карла V и умер изгнанником в Париже (Пелузии) в 1531 г. В год смерти Пио вышло в свет его сочинение под названием: «XXIII книги против различных мест в различных трудах Эразма». Выступал он и против Лютера.

умирает — в срок, предсказанный врачами. Сходится во множестве францисканская братия для участия в торжественном погребении.

Филекой. Ах, если бы мне довелось увидеть это собственными глазами!

Феотим. Ты бы заплакал, видя, с какою любовью серафические сподвижники обмыли труп, снова одели его в священный наряд, сложили усопшему руки крестом, а стопы обнажили и, обнажив, облобызали, лик же просветлили елеем, по слову евангельскому<sup>682</sup>.

Филекой. Дивное смирение: серафические мужи исполняют дело веспиллонов<sup>683</sup>!

Феотим. Потом положили умершего на погребальные носилки, и — в согласии с наставлением Павла «носить бремена друг друга» — братья на собственных плечах понесли брата по улице к монастырю и там, под горестные песнопения, предали земле. Когда почитаемое это шествие двигалось по улице, я замечал, как у многих на глазах выступали нежданные и невольные слезы: ведь муж, которого прежде они видели одетым в пурпур и виссон, теперь покоился в облачении францисканца, опоясанный кудельной веревкою, всей своею наружностью, от макушки до пят, изображая благочестие. Голова мертвого наклонена была к плечу, руки, как я уже сказал, сложены крестообразно; и во всем прочем поразительно обозначался страх божий. Сама серафическая толпа, с понуренными головами, с опущенными долу очами, у многих исторгла слезы и рыдания своим пением, до того мрачным, что и выходцы с того света, я полагаю, не поют мрачнее.

Филекой. А пять ран Франциска у покойника были? <sup>684</sup>

Феотим. Утверждать положительно я бы не решился. Но на ладонях и ступнях виднелись какие-то синеватые следы, а на рясе, слева на боку, была прореха. Но присматриваться я не посмел: говорят, что любопытство в подобных делах многих погубило.

Филекой. А ты не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся?

Феотим. Слышал. Но я подозреваю, что это были еретики, которыми ныне полон мир.

Филекой. Скажу тебе напрямик, Феотим, я бы тоже едва ли удержался от смеха, если бы присутствовал при этом зрелище.

Феотим. Уж не испорчен ли и ты, избави бог, тою же закваскою<sup>685</sup>?

Филекой. Успокойся, милейший мой Феотим, я с детства свято чту блаженного Франциска, в глазах мира — и неученого и немудрого, но, как мало кто иной, угодившего богу беспримерным умерщвлением мирских страстей; вместе с ним чту всех, кто, вступивши на его путь, от души старается умереть для мира и жить для Христа. Собственно, до одежды мне дела нет, но я охотно выслушаю от тебя, какая польза мертвецу от одежды.

Феотим. Ты ведь знаешь, господь запретил бросать жемчуг перед свиньями и давать святыню псам. Если ты расспрашиваешь потехи ради, ничего от меня не узнаешь, если по искренней любознательности — охотно поделюсь с тобою тем, что сам узнал от монахов.

Филекой. Обещаюсь быть учеником и внимательным, и толковым, и благодарным!

Феотим. Во-первых, как тебе известно, есть люди до того тщеславные, что им мало прожить всю жизнь в надменности и чванстве, — им непременно нужен показной блеск и после смерти, на похоронах. Правда, тогда они уже ничего не чувствуют, но еще при жизни, силою воображения, предвкушают грядущую пышность и заранее ликуют. Как об этом ни

---

<sup>682</sup> Эразм насмеяется над монашеской привычкою толковать Писание вкривь и вкось: текст «Евангелия от Матфея» (VI, 17), на который ссылаются францисканцы, не имеет ни малейшего отношения к погребению мертвых («А ты, когда постишься, умасти голову твою и умой лицо твое»), так же точно, как приведенное чуть ниже «наставление Павла» («Послание к Галатам», VI, 2); слова Павла означают призыв помогать друг другу.

<sup>683</sup> В Древнем Риме похоронная прислуга, по ночам хоронившая умерших бедняков.

<sup>684</sup> По преданию, у святого Франциска Ассизского за два года до смерти появились раны (так называемые «стигматы») на тех же самых местах, что у распятого Христа.

<sup>685</sup> То есть «еретичеством» реформаторов.

суди, а все-таки, я думаю, ты не станешь спорить, что в отречении от страсти уже есть доля благочестия.

Филекой. Согласен, но только в том случае, если погребальной спеси нельзя избежать никаким иным способом. А мне кажется более скромным, если умершего князя окутывают дешевым саваном и простые веспиллоны хоронят его на обыкновенном кладбище, среди тел простолюдинов. А кого погребают так, как Евсевия, те, мне кажется, не избавились от спеси, а просто переменили одну на другую.

Феотим. Все, что делается с добрым намерением, угодно богу, а судить человеческое сердце — лишь в божией власти. Впрочем, я привел только первый, И потому легковесный довод; есть и другие, более весомые.

Филекой. Какие?

Феотим. Умиравшие принимают устав снятого Франциска...

Филекой. Для того, чтобы исполнять его в Елисейских полях!

Феотим. Нет, здесь, на земле, — если они поправляются. А случается, что осужденные приговором врачей помощью божией оживают в тот самый миг, как облачатся в священное платье.

Филекой. То же самое нередко случалось и с другими, которые этого платья не надевали.

Феотим. Надо идти путем веры, не мудрствуя лукаво! Если бы это не приносило плода, и плода замечательного, не домогались бы очень многие, люди и родовитые и образованные — особенно среди итальянцев, — не домогались бы они преимущества быть похороненным в священном одеянии. А чтобы ты не отклонил примеры неведомых тебе людей, — так был похоронен человек, которого ты по заслугам ценишь чрезвычайно высоко, — Рудольф Агрикола<sup>686</sup>; так похоронили недавно и Христофора Лонголия<sup>687</sup>.

Филекой. Меня несколько не занимает вздор, который несут умирающие при последнем издыхании. От тебя же я хочу узнать одно: зачем человеку, пораженному ужасом смерти и уже распростившемуся с надеждою на жизнь, произносить обеты и переодеваться? Ведь обеты не имеют силы, если они не произносятся в здравом уме и твердой памяти, по зрелому размышлению, безо всякого страха, обмана или насилия. Чтобы ни одно из этих условий не оказалось нарушено, обет связывает не раньше, чем по прошествии пробного года, в продолжение которого испытываемый должен носить рясу «с капероном» (так говорит серафический муж Франциск<sup>688</sup>). Стало быть, если умирающий вернется к жизни, он ничем не связан по двум основаниям: во-первых, слова, произнесенные в отчаянии и под страхом смерти, — не обет, а во-вторых, без испытательного срока обет в силу не вступает.

Феотим. Как бы там ни было, но они считают себя связанными, и эта целокупная преданность воли не может быть негодна богу: ведь, при прочих равных обстоятельствах, добрые дела монахов ему угоднее, нежели добрые дела остальных людей, именно по этой причине — потому что они исходят из самого лучшего источника.

Филекой. Я не стану сейчас разбирать, насколько важно для человека целиком посвятить себя богу в тот миг, когда себе уже не принадлежишь. Я полагаю, что каждый христианин целиком посвящает себя богу при крещении, когда отрекается от всех

---

<sup>686</sup> Рудольф Агрикола (Ролеф Гюисманн) (1443—1485), родом из Гронингена, — филолог и философ, один из образованнейших людей своего времени. Эразм видел и слушал его лишь однажды — в школьные годы, в Девентере.

<sup>687</sup> Христофор Лонголий (Кристоф де Лонгей) (1498—1522) — гуманист, несравненный подражатель Цицерону. Эразм писал о нем с неодобрением и легкой насмешкою в уже упоминавшемся выше диалоге «Цицеронианец».

<sup>688</sup> Святой Франциск знал латынь очень скверно и постоянно мешал латинские слова с «варварскими» — итальянскими.

роскошеств и соблазнов Сатаны и записывается в войско полководца Христа, чтобы после всю жизнь воевать под его знаменем. И Павел, говоря о тех, кто умирает со Христом, дабы жить уже не для себя, но для Умершего ради них, имеет в виду не только монахов, но всех христиан.

Феотим. Кстати ты вспомнил про крещение: ведь в старину умирающих окунали в купель или опрыскивали водою и через это внушали им надежду на жизнь вечную.

Филекой. Что обещали епископы, не так уже важно; что соблаговолит даровать бог, нам неизвестно. Если б такое опрыскивание наверняка и заведомо творило граждан небесного государства, можно ли шире распахнуть ворота людям, которые преданы миру и всю жизнь усердно служат ему нечистыми своими страстями, а когда нет больше силы грешить, именно тогда и прибегают к спасительным капелькам воды? Если обет, о котором ты мне рассказываешь, подобен такому крещению, лучше и позаботиться нельзя о нечестивцах, чтобы они не погибли, иначе говоря — чтобы жили для Сатаны, а для Христа умерли.

Феотим. Напротив, — если только дозволено выдать хотя бы одну из серафических тайн, — францисканские обеты действеннее любого крещения. Филекой. Что я слышу?

Феотим. В крещении лишь смываются грехи, и душа остается чистой, но нагой. Тот, кто принес обет, немедля обогащается исключительными заслугами всего ордена; и не диво — ведь он приобщился к телу святейшего братства.

Филекой. А кто приобщается через крещение к телу Христову, ничего, значит, не получает ни от главы, ни от тела?

Феотим. От серафических запасов — ничего, если не заслужит благодеяниями и благорасположением.

Филекой. Какой ангел им это открыл?

Феотим. Не ангел, друг мой, но сам Христос собственными устами открыл и это, и весьма многое иное святому Франциску, беседуя с ним с глаза на глаз.

Филекой. Заклинаю тебя нашею дружбой, не откажись поделиться со мною: о чем они беседовали?

Феотим. Это глубочайшая тайна; сообщать ее нечестивцам — грех.

Филекой. Как так «нечестивцам»? Да я никогда, ни к одному ордену не испытывал столько любви, сколько к серафическому!

Феотим. А тем временем несносно над ним насмехаешься!

Филекой. Это как раз и есть доказательство любви, Феотим, ибо никто не вредит францисканскому ордену тяжелее, чем люди, которые, прячась под его сенью, ведут постыдную жизнь. Всякий, кто по-настоящему желает добра ордену, обязан ненавидеть его растлителей.

Феотим. Но я боюсь разгневать Франциска, если выболтаю то, о чем следует молчать.

Филекой. Какого зла можно ожидать от самого незлобивого из святых?

Феотим. А что, если он ослепит меня или отнимет рассудок? Говорят, он со многими так обошелся, кто оспаривал знаки пяти его ран.

Филекой. Неужели святые на небесах настолько хуже, чем были прежде на земле? Франциск, как рассказывают, отличался такою добротой, что, когда мальчишки на улицах бросали ему в болтавшийся за спиною капюшон камни и сырные корки, лили молоко, он нисколько не обижался, но весело, радостно шагал дальше. А теперь, стало быть, он сделался запальчив и мстителен? В другой раз товарищ обозвал его вором, святотатцем, убийцей, кровосмесителем, пьяницей и всеми прочими бранными словами, какими только можно назвать самого отъявленного и закоренелого преступника, — и Франциск смиренно его благодарил и признался, что и ни в чем не солживил. Товарищ был изумлен, а Франциск ему в ответ: «И это всё, и еще худшие преступления я бы совершил, если бы милость божия меня ИС уберегла». Отчего же теперь он сделался мстителен?

Феотим. Так уж повелось: святые, что властвуют на небесах, оскорблений не переносят. Кто был снисходительнее Корнилия, спокойнее Антония, терпеливее Иоанна

Крестителя, пока они жили? А ныне какие ужасные хвори насылают они на тех, кто не читит их надлежащим образом?

Филекой. Скорее я бы поверил, что они прогоняют болезни, чем насылают. Но все, что ты мне скажешь, ты, во-первых, доверишь отнюдь не нечестивцу, а во-вторых, я обещаю молчать.

Феотим. Ну, что же, положусь на твою честность... Молю тебя, святой Франциск, вместе со своею братией будь ко мне благосклонен, позволь пересказать то, что я слышал, и да не вменится мне это в грех... Ты знаешь, что Павел владел сокровенною мудростью, которую не разглашал во всеулышание, но вещал тайно, среди совершенных. Так и у них есть тайны, которых они не открывают всем подряд, но наедине делятся с богатыми вдовами и другими благочестивыми и избранными — доброжелателями серафического стада.

Филекой. Жду 689

Феотим. Во-первых, господь предрек серафическому патриарху, что, по мере умножения серафического стада, корм для него будет все обильнее.

Филекой. Разом пресекаются все жалобы тех, кто Твердит, что людей этой породы со дня на день все больше и что они в обузу христианскому люду.

Феотим. Затем господь объявил Франциску, что ежегодно, в день его праздника, все души не только братии, носившей священный этот наряд, но и всех друзей ордена, всех, кто оказывал услуги сподвижникам Франциска, будут избавлены от пламени чистилища.

Филекой. Так запросто беседовал с ним Христос?

Феотим. Отчего же нет? Как с другом и соратником — так же, как бог-отец беседовал с Моисеем. Моисей принес народу закон, который передал ему бог, Христос возвестил закон евангельский, а Франциск свой закон, дважды переписанный рукою ангела, передал серафическим братьям.

Филекой. Жду третьего откровения.

Феотим. Славный патриарх опасался, как бы доброе семя не повредил в ночной тьме нечистый и чтобы, вследствие того, вместе с плевелами не была выполота и пшеница. Господь избавил его от тревоги, обещав позаботиться, чтобы племя полуобутых и подпоясанных веревкою не редело вплоть до Страшного суда.

Филекой. О, милосердие господне! А иначе с церковью божией было бы покончено. Однако продолжай.

Феотим. В-четвертых, он открыл, что никто из живущих нечестиво не может долго принадлежать к ордену.

Филекой. Но разве не отпадает от ордена всякий, кто совершит нечестие?

Феотим. Нет. Ведь кто совершит преступление, не отрекается в тот же миг от Христа. В значительной мере отрекаются от бога те, что исповедуют его устами, поступками же отрицают. Но всякий, кто сбросит с плеч сиятейшее облачение, отпадает от ордена невозвратно.

Филекой. А что же нам сказать о многочисленных монастырях конвентуалов, которые и деньги имеют, и пьют, и в кости играют, и распутничают, и открыто содержат наложниц, и... но дальше перечислять не станем!

Феотим. Франциск никогда не носил ни рясы такого цвета, как у них — чересчур темной, — ни пояса из белого полотна. И когда они постучатся в дверь, то услышат: «Не знаю вас!» — ибо не будет на них свадебных одежд. 690

Филекой. Это всё?

---

689 Трижды святых откровений (греч.).

690 Намек на евангельскую притчу о брачном пире, откуда изгоняют «человека, одетого не в брачную одежду» («Евангелие от Матфея», XXII, 1 14).

Феотим. Да ты еще ничего не слыхал! В-пятых, сообщил ему господь, что все зложелатели серафического ордена — а таковых, увы! слишком много — не достигнут и половины возраста, назначенного им свыше, но будут гибнуть самую злою, но не самую скорою смертью.

Филекой. Тому мы знаем в прошлом много разных подтверждений, а можем привести и свежий пример — кардинала Сионского Матфея<sup>691</sup>: он ненавидел полуобутых и отзывался о них самым скверным образом — и умер, не дожив, мне кажется, и до пятидесяти.

Феотим. Да, ты прав. Но он и херувическому ордену вредил не меньше. Говорят, что это главным образом его стараниями сожгли в Берне четверых доминиканцев<sup>692</sup>, а если бы не он, монахи, дескать, сумели бы смягчить сердце папы деньгами.

Филекой. Но рассказывают, что они разыграли неслыханно нечестивую комедию! Ложными видениями и чудесами они старались внушить убеждение, будто Богородица запятнана первородным грехом, будто у святого Франциска не было истинных знаков ран Христовых, но были они скорее у Катерины Сиенской, и будто бы самые явные и бесспорные знаки были обещаны послушнику, которого они подучили сыграть в комедии главную роль. Ради этого обмана употребили во зло святые дары, а под конец прибегли и к дубью, и к яду. И говорят, что это была затея не одного только монастыря, но всего орденского начальства.

Феотим. Как бы там ни было, а недаром изречено богом: «Не прикасайтесь к помазанному моим»<sup>693</sup>.

Филекой. Жду, не осталось ли еще чего.

Феотим. Остается шестое откровение, в котором господь поклялся Франциску, что покровители и доброхоты серафического ордена, как бы нечестиво они ни жили, все-таки рано или поздно сподобятся господнего милосердия и преступную жизнь заключат блаженной кончиною.

Филекой. Даже если будут захвачены за прелюбодеянием и убиты на месте?

Феотим. Что обещал господь — незыблемо и неизменно.

Филекой. Но чем они меряют благосклонность и расположение?

Феотим. Неужели не ясно? Кто дарует, кто одевает, кто вкусно кормит — тот и любит.

Филекой. А кто увещает и наставляет, тот не любит?

Феотим. Этого у них и меж собою в избытке, и потом такого рода благодеяния они привыкли оказывать сами, а не принимать от других.

Филекой. Выходит, что господь ученикам Франциска пообещал больше, чем собственным ученикам. Он согласен записать на свой счет любое благодеяние, оказанное ради него любому христианину, но тем, кто живет дурно, жизни вечной не обещает.

Феотим. И не удивительно, друг, ибо величайшая сила Евангелия была припасена для этого ордена. Но выслушай седьмое, и последнее откровение.

Филекой. Слушаю.

Феотим. Поклялся ему господь, что ни один из тех, кто умирает в серафическом облачении, не умрет плохо.

Филекой. Но что ты называешь «умереть плохо»?

Феотим. Плохо умирает тот, чья душа, расставшись с телом, отправляется прямо в

---

<sup>691</sup> Сион — здесь: город в Швейцарии, столица кантона Валлис. Кардинал Матфей — Маттеус Шинер (ок. 1465—1522).

<sup>692</sup> В 1509 г. Об их преступлении Эразм рассказывает достаточно подробно, причина же его — соперничество между доминиканцами и францисканцами. Последние старались утвердить новый догмат — о непорочном рождении Богородицы; доминиканцы были готовы на все, чтобы их опровергнуть.

<sup>693</sup> «Псалтирь», CIV, 15.

преисподнюю, откуда нет возврата.

Филекой. Значит, от пламени чистилища это платье не избавляет?

Феотим. Нет, кроме тех случаев, когда смерть наступает в самый праздник святого Франциска. Но разве мало, по-твоему, — спастись от преисподней?

Филекой. По-моему, чрезвычайно много. Но как судить о тех, кого облачают в священное платье уже мертвыми? кто не успел в нем умереть?

Феотим. Если они желали этого при жизни, желание принимается за деяние.

Филекой. Когда я жил в Антверпене, довелось мне, в числе других родственников, присутствовать при последних минутах одной почтенной женщины. Был у постели францисканец, муж, окруженный всеобщим уважением. Видя, что умирающая вот-вот испустит дух, он вложил одну ее руку в свой рукав, так что прикрытою оказалась и часть плеча. Тогда некоторые сомневались, вся ли женщина спасена от адских врат или только ее часть — та, что была прикрыта рясою.

Феотим. Она была спасена целиком, совершенно так же, как при крещении в воду погружают только часть человека, но христианином он становится весь, от пят до маковки.

Филекой. Поразительно, что злые духи так боятся этого платья.

Феотим. Больше, чем креста господня. Когда хоронили Евсевия, я видел — и не я один — полчища черных демонов, с виду похожих на мух; они так и бросались на мертвое тело, но коснуться не смели.

Филекой. Но лицу, ступням и ладоням грозила опасность — ведь они-то были обнажены.

Феотим. Как змеи не выносят тени ясеня, сколь бы далеко она ни протянулась, так демоны ощущают достославную едкость священного облачения даже издали.

Филекой. Коли так, я не думаю, чтобы эти тела были доступны тлению, — иначе оказалось бы, что у червей храбрости больше, чем у демонов.

Феотим. Вполне правдоподобно.

Филекой. До чего посчастливилось вошкам, которые постоянно живут в столь божественной одежде! Но когда одежду опускают в могилу — что же тогда хранит душу?

Феотим. Она уносит тень платья с собою, и эта защита настолько надежна, что, по мнению серафических братьев, никому из их ордена даже чистилище не угрожает.

Филекой. Если ты рассказываешь правду, клянусь, это откровение дороже «Откровения Иоанна»<sup>694</sup>! Ведь оно указывает ровный и легкий путь, которым всякий без труда, без забот, без покаяния может ускользнуть от печной смерти, всю жизнь проведя в удовольствиях.

Феотим. Согласен.

Филекой. Теперь я больше не удивляюсь, что очень многие с превеликим усердием чтут серафическую братию. Но не могу надивиться тому, что есть люди, которым не страшно над нею глумиться.

Феотим. Ты должен понять, что все они, все до последнего, «преданы превратному уму»<sup>695</sup> и ослеплены собственной греховностью.

Филекой. Вперед буду осмотрительнее и постараюсь умереть в священном платье. Но в наш век появились люди, которые учат, что человек оправдывается одною верою, без дел<sup>696</sup>; было бы величайшим преимуществом, если бы одежда даровала блаженство даже и без веры.

Феотим. Не вовсе без веры, Филекой, не заблуждайся! Но достаточно верить, что Христос действительно обещал все это патриарху Франциску.

<sup>694</sup> Последняя книга Нового завета, изображающая конец мира и приписываемая апостолу Иоанну.

<sup>695</sup> «Послание к Римлянам», I, 28.

<sup>696</sup> Это было главное в учении Лютера.

Филекой. Значит, платье спасет хоть и турка?

Феотим. Хоть и самого Сатану, если бы тот согласился его надеть и имел веру в откровение.

Филекой. Я уже давно твой — ты меня обратил, — но хотелось бы с твоею помощью избавиться от одного или двух сомнений.

Феотим. Говори.

Филекой. Я слышал, что Франциск называл свой путь в жизни «евангельским».

Феотим. Верно.

Филекой. Но «правило евангельское» исповедуют, по моему крайнему разумению, все христиане. А тогда, если их путь — евангельский, выходит, что сколько христиан, столько и францисканцев, и первое место среди них займет Христос с апостолами и святейшею Матерью.

Феотим. Тебя нельзя было бы опровергнуть, если бы Франциск не прибавил кое-чего к Христову Евангелию.

Филекой. Чего же именно?

Феотим. Серой рясы, пеньковой веревки и босых ног.

Филекой. Вот, значит, по каким приметам мы различаем евангельского христианина от францисканского?

Феотим. И еще — по прикосновению к деньгам.

Филекой. Но я слышал, что Франциск запрещает принимать деньги, а не притрагиваться к ним. А принимают и хозяин, и управляющий, и заимодавец, и наследник, и поверенный; и если даже рукавицы натянут, считая, все равно каждый скажет, что они принимают деньги. Откуда ж взялось это новое толкование: «не принимать» — значит «не прикасаться»?

Феотим. Так истолковал папа Бенедикт.

Филекой. Но не в качестве папы, а в качестве францисканца. Вдобавок, и соблюдающие устав самым неукоснительным образом все равно завязывают в тряпицу монетки, отправляясь в дорогу. Разве не так?

Феотим. Так, но у них нет иного выбора.

Филекой. Но лучше умереть, чем нарушить правило, которое выше евангельского! И, далее, разве они не принимают деньги повсюду через своих управляющих?

Феотим. Отчего же нет? И нередко по нескольку тысяч разом.

Филекой. Но правило гласит: ни лично, ни через иных лиц.

Феотим. Но ведь они не прикасаются.

Филекой. Смешно! Если прикосновение к деньгам — это нечестие, они прикасаются через иных лиц.

Феотим. Но они с управляющими никаких дел не имеют.

Филекой. Вот как? Пусть проверит, кому охота.

Феотим. Нигде в Писании нет, что Христос прикасался к деньгам.

Филекой. Хорошо, но вполне можно предполагать, что подростком он часто покупал для родителей масло, уксус, овощи. А уж Петр и Павел прикасались бесспорно! Не в страхе перед прикосновением заключена слава благочестия, но в презрении к деньгам. Прикосновение к вину намного опаснее, — почему же в этом случае они ничего не опасаются?

Феотим. Потому что Франциск не запретил.

Филекой. Разве не протягивают они своих мягких от безделья и чисто вымытых рук женщинам для поцелуя? А если им случайно попадет на глаза монета, они отшатнутся и осенят себя крестным знаменем. По-евангельски, ничего не скажешь! Франциск был человеком совершенно необразованным, пусть так, но все же, я уверен, не настолько безрассудным, чтобы воспретить любое прикосновение к деньгам. А если именно это имел он в виду, как худо он позаботился о своей братии, которой приказал ходить босиком! Ведь нельзя избежать того, чтобы когда-нибудь не наступить ненароком на монетку, валяющуюся



в пыли.

Феотим. Но все-таки не руками притронутся они к деньгам.

Филекой. А разве чувство осязания принадлежит не всему телу?

Феотим. Всему. И если что-либо подобное случится, они служат обедню не иначе, как наперед исповедовавшись.

Филекой. Какое благочестие!

Феотим. Оставим шутки — я объясню тебе суть дела. Деньги для многих были и будут причиною самых страшных зол.

Филекой. Не спорю. Но они же, в других случаях, — основание для многого благого. Страсть к богатству осуждается, это я читал, но осуждения деньгам не читал нигде.

Феотим. Это ты правильно говоришь. Но прикосновение возбраняется ради того, чтобы подальше отстранить братию от греха алчности, — точно таким же образом, как в Евангелии запрещено клясться, чтобы мы не впали в грех клятвопреступления.

Филекой. Почему же тогда не воспрещено и смотреть на деньги?

Феотим. Потому что руки сдержать легче, чем глаза.

Филекой. И однако ж смерть вступила через эти окна. <sup>697</sup>

Феотим. Вот отчего подлинные францисканцы надвигают капюшон ниже бровей, на самые глаза, а взор устремляют долу, и так и ходят, чтобы не видеть ничего, кроме земли под ногами.

То же бывает с лошадьми, везущими тяжелую кладь: с обеих сторон к узде прилажены шоры и закрывают от взора все, кроме дороги.

Филекой. Но скажи, верно ли то, что я слышал, — будто устав запрещает им просить у папы каких бы то ни было особых прав.

Феотим. Верно.

Филекой. Но я слышал, будто никто не одарен особыми правами с такою щедростью, как они; говорят даже, что им дозволено умерщвлять ядом или хоронить заживо людей, осужденных их же приговором, и это — безо всякого риска нарушить закон.

Феотим. То, что ты слышал, — не пустая болтовня. Мне рассказывал один очень надежный человек, поляк, что он как-то уснул спяну в церкви у францисканцев, в одном из тех уголков, где сидят женщины, исповедуясь сквозь зарешеченное отверстие. Ночное пение разбудило его, но выйти он не посмел. Допев, по обычаю, полунощницу, весь хор братьев опустился в склеп; там был уже вырыт ров, достаточно широкий и глубокий; подле стояли двое юношей со связанными за спиною руками. Звучит проповедь о похвальности послушания; обещано, что у господина готово прощение всем грехам; подана даже некоторая надежда, что господь склонит души братьев к милосердию, если они сами спустятся в яму и лягут навзничь. Они повинуются; лестницы убраны, и вся братия разом засыпает могилу землей.

Филекой. Но он тем временем молчал, это и свидетель?

Феотим. Еще бы! Он боялся, как бы не попасть в ров третьим, если объявится.

Филекой. Разве и на это у них есть права?

Феотим. Есть, когда честь ордена в опасности. А ведь этот поляк, как только выбрался из церкви, принялся повсюду, за каждым столом, рассказывать про то, что видел, — к великому ущербу для серафического племени. Так разве не лучше было бы похоронить его заживо?

Филекой. Возможно. Но довольно этих тонкостей, а скажи-ка мне вот что: как получилось, что патриарх велел ходить босиком, а теперь почти все обуты в сандалии?

Феотим. Повеление это было смягчено по двум причинам: во-первых, чтобы избежать случайного прикосновения к деньгам, а во-вторых, чтобы защитить ноги от холода, от

---

<sup>697</sup> Вероятно, намек на грехопадение: Ева отведала запрещенных плодов, «увидев, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз» («Бытие», III, 6).

колючек, от змей, от острых камней и от прочего подобного, — это когда им пришлось пуститься в странствия по всему свету. А чтобы величие устава не понесло ущерба, сквозь прорези в сандалиях видна босая нога — своего рода синекдоха<sup>698</sup>.

Филекой. Они утверждают, что исповедуют евангельское совершенство, а оно, по их словам, заключено в наставлениях евангельских, насчет которых между учеными великое несогласие. Но в любом житейском состоянии есть место евангельскому совершенству. Какое же из евангельских правил ты считаешь самым совершенным?

Феотим. Высшее совершенство, по-моему, в том, что сказано у Матфея в главе пятой, завершающейся такими словами: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного; ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».

Филекой. Удачный ответ. Но Отец богат и щедр и не просит милостыни ни у кого.

Феотим. Щедр и они, но лишь на духовные сокровища, коими изобильны, — на молитвы и добрые дела.

Филекой. Если бы явились среди них примеры евангельской любви, воздающей за проклятие благословением, благоденствием за обиду! Что означает это известное каждому изречение папы Александра: «Не так опасно оскорбить могущественного государя, чем кого бы то ни было из ордена францисканцев или доминиканцев»?

Феотим. Мстить за униженную честь ордена — не грешно; а что обида для одного из самых меньших, обида для всего ордена.

Филекой. Но почему бы не судить так: что благо для одного, благо для всего ордена? И почему один оскорбленный христианин не зовет к отмщению весь христианский мир? Почему Павел, столько раз битый и осыпавый камнями, не зывал о помощи против оскорбителей апостольского достоинства? И если, по слову божью, «блаженнее давать, нежели принимать»<sup>699</sup>, в любом случае совершеннее тот, кто и живет и учит праведно и при этом дает неимущим, нежели тот, кто принимает, и только! А иначе напрасно гордится Павел, что проповедовал Евангелие безвозмездно. И тут, мне кажется, главная проба прославленной этой приверженности богу: способны ли не раздражиться, не разгневаться в ответ на брань, способны ли иметь любовь к тем, кто не заслуживает любви. Если человек оставляет кое-какое имение, чтобы жить гораздо пристойнее за счет чужого имени, но с чувством мести не расстается, — что в этом великого? Подпоясанных веревкою и полу босых повсюду несметное множество; но кто обнаруживает то, что господь зовет совершенством и что постоянно выказывали апостолы, — слишком редкая среди них птица.

Феотим. Да, мне известно, какие вздорные слухи распускают про них иные нечестивцы. Но я, где бы ни приметил священнейшую эту одежду, точно бы ангелов божиих вижу воочию, и тот дом полагаю счастливым, чей порог часто попирают их стопы.

Филекой. А я всегда считал, что в домах, где они бывают запросто, меньше становится бесплодных женщин. Но святой Франциск да будет милостив ко мне — ведь я так заблуждался до сей поры! Мне казалось, что их платье — не что иное, как платье, и, само по себе, не лучше одежды матроса или сапожника, если только не прославлено святостью того, на ком надето: так прикосновение к платью Христа исцелило страдавшую кровотечением. И вдобавок, я не был уверен, кто сообщил платье эту силу, — ткач или портной.

Феотим. Несомненно, кто сообщает форму, сообщает и силу<sup>700</sup>.

---

<sup>698</sup> Грамматическое понятие, один из тропов: употребление названия части предмета вместо названия целого.

<sup>699</sup> «Деяния апостолов», XX, 35.

<sup>700</sup> Намек на средневековую аксиому права: при изменении формы меняется существо дела.

Филекой. Теперь заживу приятнее: не буду томить себя ни страхом перед адом, ни докукою исповеди, ни муками раскаяния.

## Дружество



### Эфорин. Иоанн

Эфорин. Я часто спрашиваю себя, с каким богом советовалась природа, когда во всем смешала чувства дружбы и вражды — тайные и, по-видимому, совершенно беспричинные; разве что предположить, будто природа забавляется этим зрелищем, так же как мы получаем удовольствие, стравливая петухов и перепелов.

Иоанн. Пока что-то не различаю, к чему ты клонишь.

Эфорин. Объясню, если угодно, попроще. Ты знаешь, что змеиный род полон неприязни к человеку.

Иоанн. Знаю, что между змеями и нами старинная и непримиримая вражда и что ей не будет конца, пока мы не забудем того злосчастного яблока<sup>701</sup>.

Эфорин. А ящерицу знаешь?

Иоанн. Еще бы!

Эфорин. В Италии они крупные и зеленые. Это животное от природы — друг человеку и враг змеям.

Иоанн. Из чего это следует?

Эфорин. Где бы ни появился человек, собираются ящерицы и, повернув голову, долго глядят ему в лицо; если плюнешь, они слизывают слюну; видел я еще, как дети мочились, а они глотали мочу. Они даются ребятишкам в руки и терпят, даже когда им причиняют боль, а если их поднести к губам, с наслаждением лизут слюну. Но если их поймать и стравить, удивительно, с какою яростью кидаются они друг на друга, на человека же, который их стравливает, не обращают внимания. Если идешь полем и дорога спускается в лощину, они стараются привлечь твое внимание шорохом терновника. Сперва, по непривычке, думаешь, что это змеи, но, разглядев, убеждаешься, что ящерицы, которые смотрят на тебя, повернув голову, пока ты стоишь на месте, а как зашагаешь дальше, они за тобой. Так же и в иных обстоятельствах — они стараются обратить на себя внимание человека. Они словно бы

<sup>701</sup> По библейскому преданию, змей уговорил Еву отведать запрещенных плодов с дерева добра и зла.

играют, и взгляд человека для них — громадная радость.

Иоанн. Удивительно!

Эфорин. Однажды я видел, как очень большая ярко-зеленая ящерица билась со змеею б устье расселины. Сперва мы не понимали, что происходит, оттого что змеи не было видно. «Враг в пещере», — объяснил итальянец. Немного спустя приблизилась к нам ящерица, как бы показывая свои раны и требуя лекарства; мы могли бы, наверно, и потрогать ее; всякий раз, как мы останавливались, останавливалась и она и пристально нас рассматривала. Змея растерзала ей один бок до того, что из зеленого он сделался красным.

Иоанн. Будь я с вами, мне бы захотелось отомстить за ящерицу.

Эфорин. Но враг уже спрятался в глубине расселины. Впрочем, через несколько дней мы насытились зрелищем расплаты.

Иоанн. Очень рад! Как же это произошло?

Эфорин. Мы прогуливались случайно в том же самом месте. Змея приползла напиться к соседнему источнику: зной был невероятный, так что и мы погибали от жажды. В этот миг прибегает с поля мальчик лет тринадцати, сын нашего хозяина, у которого мы жили, перебравшись — в страхе перед чумою — из Болоньи в деревню; на плече у него грабли, которыми крестьяне сгребают сено. Увидев змею, он вскрикивает.

Иоанн. От страха, наверно.

Эфорин. Наоборот — от радости, точно издеваясь над врагом, захваченным врасплох. Он бьет граблями; змея свертывается кольцом; он бьет еще и еще, пока змея, с разбитою головою, не вытягивается во всю длину. Так они распрямляются лишь перед смертью, и отсюда басня про краба<sup>702</sup>, которую, ты слышал не раз, — про то, как он убил свою жилицу-змею и, когда она выпрямилась, промолвил: «Вот такую быть бы тебе при жизни».

Иоанн. Прекрасный поступок! А потом что?

Эфорин. Мальчик подхватил ее граблями и повесил над расселиною, на кусте; через несколько дней я видел, что листва залита гниющею слизью.

Тамошние крестьяне рассказывали нам удивительную историю, уверяя, что это истинная правда. Усталые, они нередко засыпают в поле, а при себе иногда имеют кувшин с молоком: это у них и пища и питье разом. Змеи обожают молоко; и часто случается, что они заползают в кувшин. Но против такой беды у крестьян есть средство.

Иоанн. Что за средство? Открой, пожалуйста.

Эфорин. Края кувшинного горла натирают чесноком. Этот запах отпугивает змей.

Иоанн. О чем же думал Гораций, когда писал, что чеснок — яд, страшнее цикуты, тогда как, по твоим словам, это противоядие?

Эфорин. Но выслушай историю еще более невероятную. Бывает, что змея подобрется тайком к спящему и через открытый рот скользнет в желудок.

Иоанн. А разве человек, заполучивши такого постояльца, не умирает мгновенно?

Эфорин. Нет, но жизнь влачит самую несчастную, и нет ему никакого облегчения, кроме как кормить гостью молоком и прочими любимыми змеиными кушаньями.

Иоанн. А справиться с этой бедою никак нельзя?

Эфорин. Можно — если до отвала наестся чесноку.

Иоанн. Не удивительно, что жнецы любят чеснок.

Эфорин. Но есть и другое средство, помогающее людям, изнуренным жарою и работой: в этих обстоятельствах крохотная ящерица нередко спасает человека.

Иоанн. Как так?

Эфорин. Едва почует змею в засаде, принимается бегать по лицу и по шее спящего и до тех пор не перестает, пока не разбудит его, щекоча когтями. Проснувшись и увидев рядом с

---

<sup>702</sup> Эзопова басня о крабе и змее, которые решили поселиться вместе. Краб скоро распознал коварство змеи и много раз внушал ей, чтобы она изменила свой нрав, но понапрасну. В конце концов однажды, когда змея спала, краб задушил ее клешней и, увидев, как она вытянулась и выпрямилась, промолвил: «Вот по какому образцу тебе бы и жить».

собою ящерицу, человек тут же догадывается, что его подстерегает враг; он старательно озирается и находит змею.

Иоанн. Дивный дар природы!

Эфорин. Нет животного, более враждебного человеку, чем крокодил. Он часто проглатывает людей целиком и злобу соединяет с хитростью: набравши воды, он смачивает ею тропинки, которыми ходят к Нилу по воду люди, — чтобы сожрать всякого, кто поскользнется... От тебя, конечно, не укрылось, что дельфин — <sup>703</sup>, хоть и родится в иной стихии.

Иоанн. Я слышал знаменитую историю про мальчика, которого полюбил дельфин, и еще более знаменитую — про Ариона<sup>704</sup>.

Эфорин. И при ловле лобанов рыбаки используют дельфинов наподобие охотничьих собак. Получивши свою долю добычи, дельфины уплывают, а если за ловлею в чем-либо оплошали, терпеливо выслушивают порицания. Часто они являются плывущим по морю, весело резвясь и играя в волнах, иногда подплывают вплотную к судну и прыгают, проносясь над раздутыми парусами — до того они радуются общению с людьми. Но насколько предан дельфин человеку, настолько же непримирима его вражда к крокодилу. Он покидает море и смело входит в Нил, где царят крокодилы, чудовища, вооруженные клыками, когтями и чешуей, которая несокрушимей железа, меж тем как сам он и укусь-то по-настоящему не способен, потому что рот у дельфина обращен к груди. Но он мчится на врага вихрем, а подлетевши почти вплотную, вдруг ныряет и спинным плавником пропарывает мягкое брюхо — единственное уязвимое место у крокодила.

Иоанн. Удивительно, что любое животное мигом узнает своего недруга, хотя бы и никогда не виданного прежде, и что знает, как напасть, и откуда грозит опасность, и как от нее защититься. Человеку же в этом отказано. Он даже василиска не боится, если его не предупредить заранее или если горький опыт не научит.

Эфорин. Лошадь, как тебе известно, рождается, чтобы служить и покоряться людям. Ее заклятый враг — это медведь, вредный для человека зверь. Лошадь узнает его, даже если видит впервые, и тут же изготавливается к бою.

Иоанн. Каким оружием она пользуется?

Эфорин. Скорее ловкостью, чем силой. Она перескакивает через медведя и в самый миг прыжка бьет задними копытами в голову. А медведь тем временем старается вцепиться когтями в лошадиное брюхо.

Аспид жалит человека насмерть; с ним воюет ихневмон, который и крокодилу не дает пощады. Сходные чувства питает к человеку слон: заблудившегося путника он ласково выводит на дорогу, а учителя своего и помнит и любит. Приводят и случаи преданной любви слонов к определенным людям. Так, один слон в Египте горячо привязался к торговке венками, возлюбленной грамматика Аристофана<sup>705</sup>. Другой любил сиракузского юношу Менандра и, не видя его, тосковал так, что отказывался от пищи. Этих примеров бесконечное

---

<sup>703</sup> Человеколюбец (греч.).

<sup>704</sup> Арион — греческий поэт и музыкант VII—VI вв. до н. э. Ни одно из его произведений не сохранилось. Ходила легенда о чудесном спасении его от смерти. Арион возвращался в Грецию из Италии, где выступал в разных городах и приобрел много денег. Моряки польстились на богатства певца и решили его убить. Арион попросил у них разрешения спеть перед смертью. Закончив песню, он в парадном наряде певца, с кифарой в руке бросился в море, но дельфины, привлеченные и очарованные его пением, подхватили Ариона на спину и вынесли на берег.

<sup>705</sup> Аристофан из Византия, крупнейший греческий филолог III в. до н. э. Он заведовал царской библиотекой в Александрии.

множество; вот еще один, напоследок. Царь Бокх<sup>706</sup> решил казнить самой жестокою смертью тридцать человек и велел привязать каждого к шести и бросить тридцати слонам. Особые прислужники бегали взад-вперед, стараясь раздражить животных, но так ничего и не достигли: слоны не стали орудиями царской свирепости. У этого животного-идет война с индийскими драконами, — как говорят, самыми крупными среди драконов, — война до того отчаянная, что часто битва кончается гибелью обоих противников. А дракон нападает на человека даже без всякого повода. Подобная же вражда у орла с малыми драконами, тогда как для человека орел безвреден, более того — иногда, как сообщают, испытывает страсть к молодым девицам. Та же птица ведет истребительную войну с циминдой, то есть ночным ястребом. Слон ненавидит также мышей, — тварей неприятных и для человека, — он никогда не возьмет корма, если заметит в нем мышь. Причина этой ненависти настолько же непонятна, насколько объясним страх перед пиявками: проглотив пиявку вместе с водою, он мучится самым ужасным образом.

Едва ли есть животное более дружественное человеку, чем собака, и более враждебное, чем волк, — одним своим взглядом он лишает нас дара речи. Между собою волк и собака лютые враги, ибо волк до крайности опасен овечьему роду, который целиком зависит от человеческой заботы, и особый долг человека — оберегать безобидное существо, созданное для его пропитания. Против волка же, словно против общего врага рода человеческого, ополчаются все, и в первую очередь — собачья рать. Это даже в пословицу вошло: «Пошадим не более, чем волка».

Морской заяц, если отведать его по неопытности, для человека смертельный яд; но и для морского зайца прикосновение человека — это смерть.

Пантера свирепа и безжалостна к человеку, а гиены боится до того, что даже встречи с нею не может вынести. Отсюда сведения, что, если иметь при себе любой предмет из кожи гиены, пантера не нападет; вот как тонко природное чувство. Еще рассказывают, что если шкуры обеих повесить друг против друга, шерсть пантеры вылезает.

Паук для человека — домашнее животное, для змеи — смертельная опасность. Заметив случайно под деревом змею, которая греется на солнышке, паук спускается, раскачиваясь на своей нити, и вонзает жало прямо в лоб; и рана до того тяжела, что змея от боли вертится волчком, а после издыхает. Слышал я от очевидцев, что такой же самый раздор у паука с жабами; только жаба, укушенная пауком, излечивается, если погрызет листок подорожника.

Послушай, что рассказывают в Британии. Ты, верно, знаешь, что пол в комнатах там устилают зеленым камышом. Один монах принес к себе в келью несколько вязанок камыша про запас. После обеда он уснул, лежа на спине, и тут из камыша выползла громадная жаба и заткнула спящему рот, вцепившись двумя лапками в верхнюю губу и двумя в нижнюю. Попытаться снять жабу означало верную смерть, но терпеть было горше самой смерти. Кто-то посоветовал поднести монаха — все так же на спине — к окну, где сплел паутину громадный паук. Так и сделали. Скоро паук завидел врага, спустился, ужалил жабу и по той же нити вернулся к себе. Жаба раздулась, но не тронулась с места. Паук нападает снова; жаба раздувается еще больше, но все жива. Лишь с третьим укусом разжимает она лапки и падает мертвой. Так отслужил паук своему гостеприимному хозяину.

Иоанн. Поразительно!

Эфорин. А теперь расскажу не то, что читал, а что видел собственными глазами. Обезьяна сверх всякой меры боится черепахи. Этому образец нам показал один приятель в Риме. Он положил на голову слуге черепаху, прикрыл ее шляпой и подвел юношу к обезьяне. Животное радостно вспрыгнуло ему на плечи, готовясь поискать в голове, но, сбросив шляпу, обнаружило черепаху. Удивительно было наблюдать, в каком ужасе обезьяна отскочила и как робко озиралась, не гонится ли за нею черепаха.

---

<sup>706</sup> Царь Мавритании.

А вот тебе другой образец. Мы привязали черепаху к цепи, на которой сидела обезьяна; таким образом, обезьяна не могла не смотреть на черепаху. Ты себе не представляешь, как она терзалась — только что не издохла с перепугу! А время от времени повертывалась и пыталась оттолкнуть страшилище задними ногами. И желудок и пузырь она опорожнила дочиста. Потом на нее напала лихорадка, и нам пришлось спустить ее с цепи и отпаивать водою с вином.

Иоанн. А ведь черепаха решительно ничем обезьяне не угрожает.

Эфорин. Может, и угрожает, да только нам это неизвестно, а природе известно. Почему, например, щегол ненавидит осла, совершенно очевидно: осел любит почесаться о колючки и поедает цветы чертополоха, а щеглы выют там гнезда. До того запуган щегол, что, как слышит вдали рев осла, выбрасывает яйца, а птенцы вываливаются из гнезда. Впрочем, и врагу достается по заслугам.

Иоанн. Но как, скажи на милость, способен щегол повредить ослу?

Эфорин. Клювом берedit язвы, оставленные дубиною и поклажей, колет в мякоть ноздрей.

Можно догадаться и о причине раздора лисиц с коршунами: хищная птица подкарауливает лисенят, а лисы, вероятно, охотятся на птенцов коршуна. Именно в этом корень вражды между землеройками и цаплями и примерно в этом же — между птичкой-невеличкою эсалоном и лисами. Эсалон бьет вороны яйца, и он же щиплет лисьих детенышей и потому гоняется за лисами, а лисы — в свою очередь — за ним. И если это заметят вороны, они спешат лисам на помощь, словно против общего врага.

Но едва ли возможно угадать, почему ненавидят друг друга лебеди и орлы, ворон и иволга, ворона и сова, орел и трохил, — разве что досадно слушать, как орла называют царем птиц. Почему раздор у совы с малыми птицами, у ласки с вороною, у горлицы с пиралидой, у ихневмоновых ос с фалангами, у уток с морскими чайками, у сокола с канюком, у тоев со львами<sup>707</sup>? Почему землеройки боятся дерева с муравейником? Откуда такая ожесточенная война между навозным жуком и орлом? — ведь аполог придуман в согласии с природными свойствами обоих. Отчего близ Олинфа<sup>708</sup>, на определенном участке земли, навозные жуки не живут, даже если их занести извне?

А среди водяных животных — по какой причине плавают взаимною ненавистью лобан и морской волк или угорь и мурена, отгрызающие друг другу хвосты? Рыба локуста до того страшится полипа, что, если увидит его подле себя, подыхает от ужаса.

Но таким же точно образом некоторые живые существа сопряжены неким сокровенным чувством благожелательства, например — павлины с голубями, горлицы с попугаями, дерябы с черными дроздами, вороны с цаплями (они помогают друг другу в борьбе против лисьего племени) или же сокол и коршун, которые вместе борются против канюка, общего врага. Китаю показывает дорогу крохотная рыба-мышонок, и почему ей вздумалось угождать киту, никто не знает. А то, что крокодил подставляет разинутую пасть птичке трохилу, дружбою никак не назовешь: оба руководятся своею выгодой — крокодилу приятно, что ему очищают зубы и щекочут десны, а птичка отыскивает пищу, выклеывая остатки рыбы, застрявшие между зубами. И на сходных условиях разьежжает ворон верхом на свинье.

Между желтою трясогузкою и корольком такая закоренелая вражда, что, говорят, кровь их не может смешаться; рассказывают также, что перья остальных птиц истлевают, если их перемешать с орлиными. Ястреб очень опасен голубиному роду, но голубей защищает

---

<sup>707</sup> По словам Плиния Старшего, той (по-гречески «быстроногие») — разновидность волков, безопасная для человека. Большая часть сведений, сообщаемых в этом диалоге, заимствована из «Естественной истории» Плиния. Недаром один из собеседников назван Эфориним: Ансельм Эфорин — издатель Плиния. Он гостил у Эразма во Фрейбурге весной и летом 1531 г., то есть как раз тогда, когда писался диалог «Дружество».

<sup>708</sup> город на полуострове Халкидика, недалеко от нынешних Салоник. О войне навозника с орлом см. прим. к «Благочестивому застолью» (стр. 646).

пустельга: ни вида ее, ни голоса ястреб не выносит, и для голубей это не тайна. Где укрывается пустельга, там не переводятся и голуби, полагаясь на своего покровителя. Кто объяснит, почему пустельга благоволит к голубиному племени или почему ястреб боится пустельги?

Если иной раз ничтожное животное приходит на выручку исполинскому зверю, то бывает и обратное — ничтожные несут гибель исполинам. Есть рыбешка, с виду похожая на скорпиона, а величиною с рыбу-паука; она разит жалом под плавник тунцов, превышающих размерами дельфина, и случается, что они от боли выпрыгивают из воды на суда. Так же жалит она лобанов. Почему лев, который на всех наводит ужас, боится петушиного пенья?

Иоанн. Будем пировать на складчину — принимай мою долю. Я расскажу то, что видел когда-то своими глазами в доме Томаса Мора, знаменитейшего в Англии мужа. Он держал у себя очень большую обезьяну; как раз в ту пору она поправлялась после ранения и могла гулять где вздумается. А на краю сада, в клетке, сидели кролики, а подле клетки хлопотала ласка. Обезьяна смотрела на это спокойно и безучастно, пока видела, что кроликам ничего не угрожает. Но вот ласка раскачала клетку и отодвинула ее от стены; теперь ничто не защищало кроликов с тыла, и они легко могли достаться в добычу врагу. Обезьяна подбежала, взобралась на какой-то помост и поставила клетку на прежнее место, да так ловко, что и человеку не сделать ловчее. Отсюда очевидно, что этот род животных мил обезьянам. Сами кролики опасности не понимали, но через решетку целовались со своим врагом. Обезьяна помогла простодушию, оказавшемуся под угрозой.

Эфорин. Обезьяны любят всех маленьких детенышей, охотно их обнимают и держат на коленях. Но эта добрая обезьяна заслужила награды за доброту.

Иоанн. Она и получила награду.

Эфорин. Какую?

Иоанн. Нашла на том же месте ломоть хлеба, вероятно, брошенный детьми, подобрала и съела.

Эфорин. Но мне представляется еще более удивительным» что примерно те же симпатии и антипатии (так зовется у греков природная приязнь и неприязнь) мы обнаруживаем и в вещах, лишенных души или, по крайней мере, чувства. Не стану уже говорить о ясене, которого даже тень, — как бы далеко она ни протянулась, — не выносят змеи: если обвести такое место огненным кругом, змея скорее бросится в пламя, чем будет спасаться подле дерева. Примеры подобного рода бесконечны. Когда капустные гусеницы, заключившись и оболочку, превращаются в бабочек тайным трудом природы, они совершенно как мертвые и даже на прикосновение не отвечают; но если мимо пробежит паук, те же гусеницы, которые не слышат нажима человеческого пальца, слышат легкую поступь легчайшего насекомого — тут они живы.

Иоанн. Они чувствуют главного своего врага, еще не родившись. Отчасти это схоже с тем, что рассказывают об убитых железом: кто бы к ним ни приблизился, ничего не происходит, но если подойдет убийца, тут же начинает сочиться кровь, будто из свежей раны. И говорят, что по этой примете часто обнаруживали преступника.

Эфорин. Это не пустые разговоры. Но — чтобы нам не копаться в Демокритовых баснях<sup>709</sup> — разве мы из опыта не знаем, какое несогласие между маслиною и дубом? Любое из этих двух деревьев, посаженное в яму, где раньше росло другое, погибает. А дуб так плохо уживается с грецким орехом, что просто засыхает с ним по соседству, хотя почти для всех прочих растений грецкий орех безвреден. Далее, виноградная лоза обвивается усиками вокруг любого предмета и только капусты избегает и, как бы чуя ее, поворачивает в противоположную сторону. Кто предупреждает лозу, что поблизости неприятель? Капустный сок враждебен вину, и потому против опьянения обычно едят капусту. Есть и у

---

<sup>709</sup> Демокритовыми баснями древние называли неправдоподобные рассказы о чудесах природы — по имени философа Демокрита, которому приписывались сочинения на подобные темы.



капусты свой недруг — поблизости от цикламена или оригана она увядает. Сходное нерасположение существует между цикутою и вином: цикуга — яд для человека, вино — для цикуты.

А что за тайные узы связывают лилию и чеснок, которые, если родятся рядом, угождают друг другу? Чеснок становится крепче, а цветы лилии пахнут слаще. Надо ли здесь упоминать о брачующихся деревьях, когда самка остается бесплодна, если вблизи нет самца?

Масло смешивается только с известью, и оба одинаково ненавидят воду. Деготь влечет к себе масло, потому что оба жирны. На поверхности ртути плавает все, кроме золота; только золото увлекает она на дно, обнимая отовсюду. Что это за природное свойство, в согласии с которым алмаз, не уступающий предметам сколь угодно твердым, размягчается под воздействием козлиной крови? И меж самими ядами можно наблюдать раздор. Скорпион, если случайно вползет на лист аконита, блекнет и замирает. Тому же насекомому настолько вредна трава, называемая кераст, что, стоит подержать в руке ее семечко, и можно безнаказанно трогать скорпиона.

Впрочем, размышлять о подобных явлениях, которым и числа нет, — дело врачей.

Но что за сила дружбы или, в иных случаях, вражды сопрягает сталь с магнитом, так что тяжелое от природы тело устремляется к камню и льнет к нему, словно в поцелуе, или же, напротив, отстраняется, даже не прикоснувшись? Вода легко смешивается с любым веществом, но легче всего — сама с собою, и, однако же, есть воды, избегающие смешения, точно по обоюдной ненависти, как, например, река, которая вливается в озеро Челано и протекает сквозь него, или река Аддо, впадающая в озеро Комо, или Тичино, впадающая в Лаго-Маджоре, или Минчо, впадающая в озеро Гарда, или Ольо, впадающая в Севинское озеро, или Рона — в Женевское. Иные из этих рек пробегают много миль и выносят всю ту воду, которую сами же принесли, не прихватывая ни капли чужой. Тигр втекает в озеро Аретузу и проносится через него, как гость, не принимая от хозяина ни цвета, ни рыб, ни качеств воды. Кроме того, почти все реки спешат к морю, а некоторые как бы проникнуты ненавистью к нему и, не достигнув морского берега, прячутся в землю.

Нечто подобное мы видим и среди ветров. Австр губителен для человека, а его противник, борей, целебен; один собирает тучи, другой рассеивает. А если верить астрологам, то и звезды отличаются некоторым расположением приязни или неприязни: иная благосклонна к человеку, иная враждебна, а есть и такие, что обороняют человека от пагубного влияния других звезд. Словом сказать, нет в природе ничего, что, через эти согласия и разногласия, не доставляло бы людям и вред, и средства защиты.

Иоанн. Пожалуй, и за пределами небес можно кое-что обнаружить. Если послушаем магов, каждого из смертных сопровождают два гения — добрый и злой.

Эфорин. С нас, друг мой, и того довольно, что добрались до небес — эту ограду можно уже не перескакивать. «Скорее назад, к волам и коням!»

Иоанн. Вот это, и вправду, громадный скачок!

Эфорин. Особенно надо удивляться тому, что в пределах одной породы мы находим следы любви и ненависти, совершенно, по-видимому, беспричинных. Такое убеждение сообщают нам конюхи и волопасы. На одном выгоне или в одной конюшне вол радуется соседству одного вола и не переносит другого; и кони так же точно. Я полагаю, что подобные чувства присущи всякому роду живых существ, — независимо от тяготений пола, — но ни у кого не проявляются яснее, нежели у человека. Как часто замечаем мы то, что говорит Катулл<sup>710</sup> о своем чувстве к Волузию:

*Нет, не люблю я тебя, Волузий, за что — сам не знаю.  
Только одно скажу: нет, не люблю я тебя.*

<sup>710</sup> Эразм ошибся: эти строки принадлежат не Катуллу, а Марциалу (I, 32) и вместо Волузия (бездарного поэта, врага Катуллы) в них назван Сабидий, враг Марциала. Перевод Ф. Петровского.

У взрослых иной, пожалуй, и разгадает иную причину; но у детей, которые руководятся единственно лишь природным чувством, — что связывает одних такую горячей любовью, а других разъединяет такую же горячей неприязнью? Я сам, когда был еще мальчишкой, лет около восьми, повстречался со своим сверстником, — или, может, он был на год старше, — чудовищным пустомелею, который по любому поводу измышлял нечто совершенно несусветное. Проходит мимо женщина. «Видишь вот эту?» — «Вижу». — «Я с нею десять раз спал». Идем по узкому мостику, возле мельницы; он замечает, что я со страхом поглядываю в черную глубину. «Однажды, объявляет, я здесь поскользнулся и упал в воду». — «Что ты говоришь?!» — «Да, и нашел человеческий труп с кошельком у пояса, а в кошельке — три перстня». Вранью не было конца, и я боялся этого мальчишки больше гадюки — безо всякого, впрочем, основания (ибо других его ложь забавляла), но лишь по врожденному и непонятному чувству. Зато чувство оказалось стойким: даже теперь я до того боюсь пустых и болтливых людей, что при виде их дрожу всем телом. Примерно такое же свойство отмечает Гомер у Ахилла, который говорит, что лжецы ненавистны ему наравне с вратами ада. И поскольку эта черта у меня от рождения, родился я, видимо, под несчастливой звездой, потому что всю жизнь имею дело с обманщиками и лгунами.

Иоанн. Однако же цели, к которой направлен весь этот разговор, я так и не вижу.

Эфорин. Объясню в двух словах. Есть люди, которые ожидают счастья и удачи от магических искусств, есть — которые от звезд. Я же считаю, что самый надежный путь к счастью можно обрести, уклоняясь от того образа жизни, к которому внушает отвращение немое, природное чувство, стремясь к тому, что тебя привлекает (позорные влечения я, разумеется, исключаю). И, далее, надо избегать общества тех людей, чей гений, как ты ощущаешь, твоему гению несроден, и соединяться с теми, к кому испытываешь природную симпатию.

Иоанн. Но тогда друзей у тебя будет немного.

Эфорин. Христианская любовь распространяется на целый мир, но дружить должно с немногими. И если человек не делает зла никому, даже самому дурному, если готов радоваться чужому исправлению и просветлению, — он, по-моему, любит всех достаточно по-христиански.

## Проблема



Курион. Альфий

Курион. Ты, Альфий, человек на редкость знающий, и мне бы хотелось кой о чем тебя спросить, если это тебе не в тягость.

Альфий. Спрашивай о чем хочешь — ты только оправдаешь свое имя Куриона-Пытливого.

Курион. Объясни мне, что это такое — то, что мы называем «тяжелым» и «легким».

Альфий. Точно так же ты мог бы спросить, что такое «холодное» и «горячее». И почему ты предлагаешь эту проблему мне, а не носильщикам или, если угодно, ослам, которые ушами показывают, насколько тяжел взваленный на спину груз?

Курион. Но я ищу не ослиного ответа, а философского, и не случайно обращаюсь к Альфию-Разыскателю.

Альфий. Тяжелое — это то, что по природе своей устремляется вниз, легкое — то, что вверх.

Курион. Почему же тогда антиподы, которые находятся под нами, не падают на простирающееся внизу небо?

Альфий. Равно удивляются и они, почему ты не падаешь на небо, нависающее у тебя над головою. Нет, небо — надо всем, что оно объемлет, и антиподы не под тобою, и ты не над ними. Напротив нас они могут быть, под нами — не могут; в ином случае тебе скорее следовало бы удивиться, почему не падают скалы в земле антиподов и не прорывают неба.

Курион. Какое же место назначено природою для остановки и покоя всем тяжелым вещам и какое легким?

Альфий. Природным движением все тяжелое устремляется к земле, легкое к небу. О насильственном или о животном движении мы сейчас не говорим.

Курион. Значит, существует движение, которое именуется «животным»?

Альфий. Да, существует.

Курион. Опиши его.

Альфий. Это движение по четырем положениям тела — вперед, назад, вправо и влево — или по кругу. Вначале и под конец оно скорее, в середине медленнее: вначале быстроту придает сила, близко к концу — надежда достигнуть цели, к которой направляется живое существо.

Курион. Не знаю, как другие существа, а моя служанка утомлена, не успев еще начать, и умирает от усталости, едва доведя работу до середины. Но прости, я тебя перебил.

Альфий. Природным движением, говорю я, все тяжелое устремляется вниз, и чем предмет тяжелее, тем стремительнее летит к земле. Чем легче — тем быстрее уносится к небу. В насильственном движении, которое скорее вначале и понемногу замедляется, все иначе, чем в природном. Сравни, например, стрелу, пущенную ввысь, и падающий камень.

Курион. А я думал, что люди бегают по земле так же, как крохотные муравьи по очень большому шару — все держатся крепко, и ни один не падает.

Альфий. Этому причиной — поверхность шара, всегда несколько неровная, затем — шероховатость муравьиных лапок, которая свойственна почти всем насекомым, и, наконец, легкость их телец. Если не веришь, возьми стеклянный шар, очень гладкий и скользкий, — и увидишь, что не упадут лишь те муравьи, которые на самой вершине.

Курион. Если бы какой-нибудь бог пробуравил землю насквозь, опустивши отсюда к антиподам отвес через центр, — как делают космографы, изображая на деревянных шарах расположение суши и морей, — и если бы потом ты бросил в эту дыру камень, куда бы он долетел?

Альфий. До центра земли: там все тяжелое покоится.

Курион. А если антиподы тоже бросят камень, навстречу твоему?

Альфий. Тогда камни сойдутся у центра: там оба остановятся.

Курион. Но если верно, что природное движение, не встречая никаких препятствий, непрерывно, как ты сказал, ускоряется, камень или же свинец, брошенный в дыру, силою разгона минует центр и затем движение обратится уже в насильственное.

Альфий. Свинец центра никогда не достигнет, разве что в жидком состоянии, а камень, если минует центр в насильственном движении, сперва замедлит свой ход, а после вернется к центру совершенно таким же образом, как возвращается на землю камень, брошенный ввысь.

Курион. Но, возвращаясь природным движением, он снова приобретет разгон и снова пролетит мимо центра. Выходит, что камень никогда не остановится.

Альфий. Нет, в конце концов остановится — проскакивая мимо и возвращаясь, до тех пор пока не достигнет равновесия.

Курион. Но если в природе нет ничего пустого, эта дыра непременно заполнится воздухом.

Альфий. Допускаю.

Курион. Что ж получится — что тяжелое от природы тело висит в воздухе?

Альфий. Что же из того? Ведь и сталь висит в воздухе, если ее со всех сторон удерживают магниты. И разве это чудо, что один-единственный камешек повис в середине воздуха, когда вся земля, обремененная столькими скалами и утесами, висит таким же самым образом?

Курион. Но где центр земли?

Альфий. А где центр круга?

Курион. Это неделимая точка. Если и центр земли столь же мал, всякий, кто продырявит середину земли, уничтожит центр, и тяжелым телам будет некуда падать.

Альфий. Ты мелешь вздор!

Курион. Пожалуйста, не сердись. Все мои вопросы — только от любознательности, от желания понять. Если землю просверлить не в самом центре, а в стороне от него, скажем — в сотне стадиев<sup>711</sup>, как полетит брошенный камень?

Альфий. Не прямо сквозь дыру, или, вернее — прямо к центру земли, так что, не дойдя до середины, остановится у левого края отверстия, если центр остался левее.

Курион. Но что делает тело легким или тяжелым? Альфий. На это пусть тебе ответит бог — почему огонь он сотворил самым легким, воздух по легкости ближайшим к огню, землю самой тяжелой, а воду ближайшей к земле.

Курион. Почему ж тогда водяные тучи висят высоко в воздухе?

Альфий. Потому что получают огненную природу от солнца, которое их притягивает: так сильный жар гонит дым из сырых дров.

Курион. Почему ж тогда они падают так грузно, что иной раз обращают горы в равнину?

Альфий. Сгущение и плотность придают им веса. Кроме того, можно представить себе, что они удерживаются воздухом так же, как держится на поверхности воды тонкий лист железа.

Курион. Значит, ты считаешь, что тело тем легче, чем больше в нем огненной природы, а чем больше земной, тем тяжелее?

Альфий. Ты почти угадал.

Курион. Но не всякий воздух одинаково легкий и не всякая земля одинаково тяжела. Не иначе, по-видимому, следует судить и о воде.

Альфий. Вполне понятно: ведь то, что ты сейчас назвал, — не первоначала в чистом виде, но смесь из разных начал. Вероятно, та земля всех легче, которая имеет наибольшую примесь огня или воздуха, та вода всех тяжелее, к которой примешана особенно тяжелая земля; такова, по-моему, морская вода и вода соляных источников.

Равно и воздух в ближайшем соседстве с водою или землей более тяжел или, по крайней мере, менее легкий, чем воздух вдали от земли.

Курион. В чем больше земной природы — в камне или в свинце?

Альфий. В камне.

---

<sup>711</sup> Греческая мера длины, равная 185 м.

Курион. И, однако, свинец тяжелее камня, если взять их в равном объеме.

Альфий. Тут причиную плотность: камень реже, и оттого содержит больше воздуха, чем свинец. Оттого же некоторые роды земли, если их как следует высушить и бросить в воду, не тонут, но плавают. По той же причине мы можем наблюдать целые плавающие поля: их поддерживают полые корни тростника и других болотных трав, переплетшиеся меж собою.

Курион. Отсюда, возможно, и легкость пемзы.

Альфий. Конечно, она вся пористая и вдобавок насквозь прожжена сильным огнем — ведь произносят ее места, где бушует пламя.

Курион. А у пробки откуда такая легкость?

Альфий. Это уже говорилось: причиную — рыхлость.

Курион. Что тяжелее — свинец или золото?

Альфий. Думаю, что золото.

Курион. А между тем в золоте огненной природы, по-видимому, больше.

Альфий. Потому что ночью оно сияет как огонь, по слову Пиндара?

Курион. Конечно.

Альфий. Но у золота плотность больше.

Курион. Как это обнаруживается?

Альфий. Тебе ответят золотых дел мастера, что ни серебро, ни свинец, ни кипрская медь, ни одно подобное вещество не расплющивается молотком тоньше, чем золото. Сходным образом философы обнаружили, что нет ничего жиже меда и масла; если их размазывать, они и расходятся очень широко и высыхают медленней, чем любая иная жидкость.

Курион. Но что тяжелее, масло или вода?

Альфий. Если ты говоришь о льняном масле, мне думается, масло тяжелее.

Курион. Почему ж тогда масло плавает поверх воды?

Альфий. Причина не в легкости, а в огненной природе масла и в особом свойстве всего жирного не сочетаться с водою; это свойство принадлежит и траве, называемой *712*.

Курион. Почему ж тогда не плавает раскаленное железо?

Альфий. Жар его не природный, и оно проходит сквозь воду даже быстрее холодного, потому что сильный жар расталкивает жидкость, сопротивляющуюся движению. Так железный клин идет ко дну быстрее, чем пластина.

Курион. Что непереносимее — раскаленное железо или холодное?

Альфий. Раскаленное.

Курион. Значит, оно и тяжелее.

Альфий. Если горящую солому нести в руке удобнее, чем холодный камень, — то тяжелее.

Курион. Отчего одно дерево тяжелее или, напротив, легче другого?

Альфий. Причиную плотность и рыхлость. В Англии я знал принца королевской крови, который показывал нам за столом брусок дерева, по его словам, приносящего алоэ. Дерево было такое твердое, что казалось крепче камня, а на вес такое легкое, что казалось тростинкой или чем-то еще более легким, нежели сухой тростник. Его опустили в вино (принц полагал, что это защищает от всех ядов), и оно тут же утонуло, чуть ли не быстрее свинца.

Не только плотность или рыхлость может служить причиную, но и особое, скрытое в вещах сродство, которое в одних случаях вызывает взаимную приязнь, а в других — отталкивание; например, магнит притягивает сталь, виноградная лоза избегает капусты, а пламя летит к нефти, даже издали, даже сверху вниз, хотя от природы нефть тяжела, а огонь

---

712 Букв.: «не смоченный» (греч.).

легок.

Курион. Любая медная монета плавает на поверхности ртути, а золото тонет и обволакивается ртутью, веществом в высшей мере текучим.

Альфий. Мне нечем это объяснить, кроме как особым природным сродством: ртуть для того ведь и создана, чтобы очищать золото.

Курион. Почему река Аретуза течет не по поверхности Сицилийского моря, а под нею? Ведь ты сказал, что морская вода тяжелее речной.

Альфий. Причиною естественный, но скрытый раздор.

Курион. Почему плавают лебеди, а люди в той же воде тонут?

Альфий. Причиною не только пустота и легкость перьев, но также сухость, которой избегает вода. Отсюда же и другое: если плеснуть воды или вина на очень сухое полотно, жидкость соберется в шар, а если ткань сыровата — мигом увлажнит ее еще больше. Или если наливать жидкость в сухую чашу или в сосуд со смазанными жиром краями и налить чуть больше, чем эта чаша вмещает, жидкость скорее округло поднимется в середине сосуда, чем переплеснется через край.

Курион. Почему на реке судно берет меньше груза, чем на море?

Альфий. Потому что речная вода тоньше. По этой же причине птицам легче парить в плотном воздухе, чем в очень тонком и редком.

Курион. Почему не тонут мурены?

Альфий. Потому что кожа у них высушена солью, очень легка и отталкивает воду.

Курион. Почему железо, расплющенное в большой лист, плавает, а стиснутое в комок тонет?

Альфий. Отчасти сухость причиною, отчасти — воздух между листом и водою.

Курион. Какая из двух жидкостей тяжелее — вода или вино?

Альфий. Думаю, что вино не уступает воде.

Курион. Почему ж тогда те, кто пользуется услугами виноторговцев, находят на дне кувшинов воду вместо вина?

Альфий. Потому что есть в вине нечто жирное, избегающее воды, так же как избегает ее масло. И вот тебе доказательство: чем вино благороднее, тем хуже смешивается с водою и тем лучше горит, если его поджечь.

Курион. Почему в Асфальтовом озере<sup>713</sup> ни одно живое тело не погружается в воду?

Альфий. Я не вызывался объяснять все чудеса природы. Есть у нее свои тайны, дивиться которым она охотно разрешает, а открыть не хочет.

Курион. Почему худощавый человек весит больше тучного — при прочих равных условиях, разумеется?

Альфий. Кости плотнее мяса и потому тяжелее.

Курион. Почему после обеда человек легче, чем на пустой желудок, хоть еда и прибавляет ему веса?

Альфий. Пища и питье придают жизненного духа, а дух сообщает телу легкость. Потому же и веселый легче грустного, и мертвый намного тяжелее живого.

Курион. Но как получается, что один и тот же человек бывает то легче, то тяжелее — по своему желанию?

Альфий. Задержит дух — становится легче, переведет — тяжелее. Так, надутый пузырь плавает, а если его проткнуть, тонет. Но будет ли когда конец твоим «как» да «почему»?

Курион. Будет, если ответишь еще на несколько вопросов. Небо тяжелое или легкое?

Альфий. Не знаю, легкое ли, но тяжелым, во всяком случае, быть не может, потому что природу имеет огненную.

Курион. Что ж тогда означает старинная пословица: «А что, если небо рухнет?»

Альфий. Простодушная древность, полагаясь на Гомера, верила, что небо железное. Но

<sup>713</sup> Так древние называли Мертвое море.

Гомер назвал его «железным» лишь по сходству окраски — так же как мы называем «пепельным» то, что носит окраску пепла.

Курион. Значит, небо окрашено?

Альфий. На самом деле — нет, но так нам кажется из-за воздуха и влаги посредине. Точно так же, как солнце мы видим иногда красным, иногда рыжим, иногда беловатым, а на самом деле оно не меняется нисколько. И радужная дуга появляется не в небе, а в сыром воздухе.

Курион. Но — чтобы закончить — ты согласишься, что нет ничего выше неба, каким бы образом ни обнимало оно землю?

Альфий. Соглашусь.

Курион. И ничего глубже центра земли?

Альфий. Конечно.

Курион. Между всеми видами вещей, что самое тяжелое?

Альфий. Золото, я полагаю.

Курион. Здесь я с тобою решительно не согласен.

Альфий. Разве тебе известно что-либо тяжелее золота?

Курион. Известно, и во много раз тяжелее.

Альфий. Тогда поделись со мною и ты, в свою очередь, если знаешь то, чего я, — признаюсь откровенно, — не знаю.

Курион. То, что низвергло огненных духов с высочайшей вершины неба в самую глубь Тартара (которая, по общему представлению, в центре земли), — разве не должно ему быть тяжелее всего на свете?

Альфий. Не спорю. Но что это такое?

Курион. Грех; он и человеческие души, которые Марон называет «начального ветра огнями»<sup>714</sup>, погружает туда же, в Тартар.

Альфий. Если тебе угодно перейти к этому роду философии, я соглашусь, что и золото и свинец по сравнению с грехом — пушинки.

Курион. Как же возможно, чтобы обремененные таким грузом взлетали на небо?

Альфий. Право, не знаю.

Курион. Кто готовится к бегу или к прыжку, не только сбрасывают с себя всякий груз, но и дух задерживают, чтобы самим стать легче. А для этого бега, для этого прыжка, который приводит нас на небеса, мы и не думаем сбросить с себя то, что тяжелее любой каменной глыбы, тяжелее свинца!

Альфий. Будь у нас хоть капля здравого смысла, мы бы об этом не забывали.

## Эпикурец

---

<sup>714</sup> Вергилий, «Энеида», VI, 747.



### Гедоний. Спудей 715

Гедоний. За чем это охотится мой друг Спудей? Он весь так и ушел в книгу и что-то бормочет себе под нос.

Спудей. Да, Гедоний, я охочусь, но и только, не более того.

Гедоний. А что за книга у тебя на коленях?

Спудей. Диалог Цицерона «О пределах добра».

Гедоний. Насколько лучше было бы отыскивать начала добра, а не его пределы!

Спудей. Но Марк Туллий «пределом добра» зовет добро, во всех отношениях совершенное, достигнув которого человек не испытывает более никаких желаний.

Гедоний. Сочинение весьма ученое и красноречивое. Но есть ли у тебя чувство, что ты потрудился не напрасно и сколько-нибудь приблизился к познанию истины?

Спудей. Сдается мне, что весь мой прибыток в одном, — теперь я еще больше прежнего сомневаюсь насчет пределов и рубежей.

Гедоний. Насчет межей и рубежей пусть сомневаются землепашцы.

Спудей. Никак не могу надивиться, что в таком важном вопросе меж такими замечательными людьми не было ни малейшего согласия.

Гедоний. Ничего удивительного: заблуждение плодовито, истина одинока. Им неведомо самое начало, самый источник всего дела, и потому они гадают и несут вздор. Однако какое суждение кажется тебе менее далеким от цели<sup>716</sup>?

Спудей. Когда я слушаю, как Марк Туллий нападает и спорит, мне ни одно не по душе, когда слушаю, как он отстаивает и защищает, становлюсь прямой &#949;&#966;&#949;&#954;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; <sup>717</sup>. И все-таки ближе других к истине, по-моему, стоики; следующее за ними место я отвожу перипатетикам.

Гедоний. А мне ни одна школа не нравится так, как эпикурейская.

Спудей. Но между всеми школами ни одна не вызывает такого единодушного

<sup>715</sup> Гедоний — «преданный удовольствиям», Спудей — «дельный», «серьезный» (греч.).

<sup>716</sup> В диалоге «О пределах добра и зла» Цицерон сопоставляет этические воззрения главных философских школ своего времени.

<sup>717</sup> Воздерживающийся от суждений (греч.), то есть скептик.



осуждения.

Гедоний. Давай пренебрежем ненавистью к именам: пусть сам Эпикур будет каким угодно скверным или хорошим — мы рассмотрим суть дела. Счастье человека Эпикур полагал в удовольствии и ту жизнь считал блаженной, в которой удовольствия как можно больше, а печали как можно меньше.

Спудей. Да, верно.

Гедоний. Можно ли высказать суждение чище и выше?

Спудей. Наоборот, все кричат, что это голос скота, а не человека!

Гедоний. Знаю, но их обманывают названия вещей. А если по правде, так нет больших эпикурейцев, чем благочестивые христиане.

Спудей. Нет, христиане ближе к циникам: они изнуряют себя постами, оплакивают свои прегрешения и либо бедны, либо легко сходятся с нуждой, помогая неимущим; их угнетают сильные, над ними смеется толпа. Если удовольствие приносит счастье, этот образ жизни от удовольствий, по-видимому, всего дальше.

Гедоний. Питаешь ли ты уважение к Плавту?

Спудей. Да, если он говорит дело.

Гедоний. Тогда выслушай слова самого никчемного раба, которые, однако, мудрее всех парадоксов стоиков.

Спудей. Слушаю.

Гедоний. «Нет хуже, если знаешь за собою зло»<sup>718</sup>.

Спудей. Этих слов я не отвергаю; но что ты из них выводешь?

Гедоний. Если нет большего несчастья, чем нечистая совесть, следовательно, чистая совесть — наибольшее счастье.

Спудей. Вывод правильный. Но где ты найдешь такую душу, которая была бы совершенно чиста от зла?

Гедоний. «Злом» я называю то, что расторгает дружбу между богом и человеком.

Спудей. И от этого рода зла чисты, по-моему, лишь очень немногие.

Гедоний. А я и тех, кто очистился, принимаю за чистых. Кто свел пятна с души щелочью слез, содою покаяния, огнем любви, тому грехи не только не вредят, но часто становятся толчком и поводом к большому благу.

Спудей. Щелочь и сода мне знакомы; но чтобы пятна счищали огнем, слышу впервые.

Гедоний. Но если ты побываешь в мастерской у ювелира, то увидишь, как золото очищают огнем. Впрочем, есть и лен, который в огне не сгорает, но блестит яснее любой жидкости; он зовется «горным льном».

Спудей. Право, ты предлагаешь нам парадокс &#960;&#945;&#961;&#945;&#948;&#959;&#958;&#959;&#964;&#949;&#961;&#959;&#957; 719 всех стоических парадоксов! Живут ли те в свое удовольствие, кого Христос назвал блаженными ради их страданий?

Гедоний. Это миру чудится, будто они страдают, а по-настоящему они радуются и, как говорится, живут припеваючи, так что всякие Сарданапалы, Филоксены<sup>720</sup>, Апиции и прочие, кого прославила страсть к наслаждениям, по сравнению с ними провели жизнь в печали и горестях.

<sup>718</sup> Плавт, «Привидение», 546.

<sup>719</sup> Неожиданнее, парадоксальнее (греч.).

<sup>720</sup> Сарданапал (Ашшурбанипал) — последний из могущественных царей древней Ассирии (668—626 гг. до н. э.). Филоксен с острова Левкады (V—IV вв. до н. э.) — кутила и тонкий гастроном, которого охотно приглашали к своему столу богачи и властители за острый язык и несравненное знание секретов кухни. Он говорил, что хотел бы иметь шею журавля — чтобы подольше ощущать вкус проглоченного.

Спудей. Новости и неслыханные и, скорее всего, невероятные!

Гедоний. А ты проверь — и признаешь, что все это трижды и четырежды верно. Впрочем, я и сам постараюсь, чтобы оно не казалось тебе таким уже неправдоподобным.

Спудей. Приступай.

Гедоний. Хорошо, только сперва согласись со мною в нескольких вещах.

Спудей. Но при условии, что твои требования справедливы.

Гедоний. Будешь с прибылью, если ссудишь для начала.

Спудей. Итак?

Гедоний. Прежде всего, я надеюсь, ты мне уступишь в том, что существует некоторое различие меж душою и телом.

Спудей. Такое же, как между небом и землею, между бессмертным и смертным.

Гедоний. Далее, ложные блага не следует числить среди благ.

Спудей. Не в большей мере, нежели тени считать за тела или лжечудеса магов и сонные наваждения — за истину.

Гедоний. Пока отвечаешь метко. Я полагаю, ты уступишь мне и в том, что подлинное удовольствие испытывает лишь здравый дух.

Спудей. Как же иначе! Невозможно наслаждаться солнцем, если воспалены глаза, или вином, если рот обметало лихорадкою.

Гедоний. И сам Эпикур, если не ошибаюсь, не обрадовался бы удовольствию, которое привело бы с собою мучение, и гораздо большее, и намного более длительное.

Спудей. Пожалуй, что нет, если бы разум ему не изменил.

Гедоний. Не станешь ты отрицать и того, что бог есть высшее благо, самое прекрасное, самое сладостное.

Спудей. Этого никто не будет оспаривать, разве что какой-нибудь дикарь, хуже циклопов. Но что дальше?

Гедоний. Ты уже согласился со мною, что всех приятнее живут те, кто живет благочестиво, а всех несчастнее и горше — кто нечестиво.

Спудей. Значит, я уступил больше, чем хотел.

Гедоний. Но что дано честно и по правилам, того требовать назад нельзя, как учит Платон.

Спудей. Продолжай.

Гедоний. Если с собачкой прекрасно обращаются, если она сытно и сладко ест, мягко спит, всегда играет и резвится, — разве не живет она приятно?

Спудей. Живет.

Гедоний. А хотел бы ты такой жизни для себя?

Спудей. Вот еще придумал! Для этого надо сперва из человека превратиться в пса!

Гедоний. Значит, ты признаешь, что лучшие удовольствия началом и источником имеют дух?

Спудей. Это очевидно.

Гедоний. Сила духа такова, что нередко заглушает чувство телесной боли, нередко делает отрадным то, что само по себе мучительно.

Спудей. Это мы видим каждый день на примере влюбленных, которым сладко не спать ночи напролет, бодрствуя в зимнюю стужу у дверей любимой.

Гедоний. Теперь рассуди, если такую силою обладает человеческая любовь, которую мы разделяем с быками и собаками, насколько могущественнее любовь небесная, исходящая от духа Христова! Такова ее сила, что даже смерти, ужаснее которой нет ничего, сообщает она привлекательность.

Спудей. Что у других на сердце, не знаю, но я уверен, что ревнителю подлинного благочестия лишены многих удовольствий.

Гедоний. Каких?

Спудей. Они не богатеют, не получают высоких должностей, не пируют, не пляшут, не поют, не благоухают душистыми притираниями, не смеются, не играют.

Гедоний. О богатстве и высоких должностях не к чему было и упоминать: ведь они не радость приносят, а скорее заботы и беспокойства. Поговорим о прочих удовольствиях, за которыми усердно охотятся люди, одержимые охотой пожить приятно. Не встречаешь ли ты каждый день пьяных, дураков и безумцев, которые смеются и пляшут?

Спудей. Встречаю.

Гедоний. По-твоему, они живут приятно?

Спудей. Врагам бы моим такую приятность!

Гедоний. Почему?

Спудей. Потому что они не в своем уме.

Гедоний. Значит, ты предпочел бы голодать и гнущся над книгою, чем забавляться подобным образом?

Спудей. Землю копать — и то лучше!

Гедоний. Ты прав, потому что между безумным и пьяным разницы никакой; только одного излечивает сон, а другому и врачи не помогут. Дурак ничем не отличается от тупой скотины, кроме наружности. Но менее несчастны те, что тупы от природы, от рождения, нежели те, что оступели и одичали под воздействием скотских страстей.

Спудей. Согласен.

Гедоний. Находишь ли ты трезвыми и здравомыслящими тех, кто ради призраков и теней удовольствия пренебрегает истинными удовольствиями духа и навлекает на себя истинные муки?

Спудей. Нет, не нахожу.

Гедоний. Не вином они опьянены, но любовью, но гневом, но алчностью, но суетным честолюбием и прочими низменными страстями, и этот хмель намного опаснее винного. Сир в комедии<sup>721</sup>, проспавшись с похмелья, рассуждает трезво, но с каким трудом приходит в себя дух, захмелевший от порочной страсти! Сколько долгих лет угнетают разум любовь, гнев, ненависть, похоть, роскошь, тщеславие! Как много мы видим людей, которые от юности до глубокой старости так и не смогли оправиться и опомниться от хмеля тщеславия, корыстолюбия, похоти, роскоши!

Спудей. Я их знаю даже слишком много. Гедоний. Ты признал, что ложные блага нельзя считать благами.

Спудей. И назад своего слова не беру.

Гедоний. Истинное удовольствие — лишь то, что исходит от истинных начал.

Спудей. Согласен.

Гедоний. Значит, те блага, которых толпа домогается всеми правдами и неправдами, — не истинные.

Спудей. Думаю, что нет.

Гедоний. Будь они истинными благами, они доставались бы только достойным и делали бы счастливыми тех, кому достались. Но что такое удовольствие? Истинно ли оно, если исходит не от истинных благ, но от лживых призраков блага, как по-твоему?

Спудей. никоим образом!

Гедоний. Но удовольствие делает жизнь приятной.

Спудей. Несомненно.

Гедоний. Стало быть, поистине приятно можно жить лишь тогда, когда живешь благочестиво, то есть наслаждаясь истинными благами; блаженство человеку дарует только благочестие, ибо оно одно приближает человека к богу, высшему источнику блага.

Спудей. И я думаю так же или почти так же.

Гедоний. Теперь взгляди, как далеки от удовольствия те, кто, по общему мнению, только и делает, что гоняется за удовольствиями. Во-первых, их дух нечист, испорчен закваскою страстей, и если даже достается ему какая-нибудь сладость, она мигом горкнет:

<sup>721</sup> Сир — раб, персонаж комедии Теренция «Братья» («Адельфы»)

так в испорченном источнике не может быть иной воды, кроме скверной на вкус. Далее, истинное удовольствие — лишь то, которое воспринимается здоровым духом. Для гневающегося нет ничего отраднее мести, но это удовольствие обращается в страдание, как только недуг покидает душу.

Спудей. Не спорю.

Гедоний. Наконец, удовольствия эти черпаются из ложных благ, а следовательно, и они — не более чем призраки. Что бы ты сказал, если бы увидел, как человек, обмороченный магическими наваждениями, ест, пьет, пляшет, смеется, рукоплещет, тогда как на самом деле ни одной из вещей, которые он будто бы видит, нет?

Спудей. Я бы сказал, что он несчастный безумец.

Гедоний. При подобном зрелище я и сам присутствовал несколько раз. Был один священник, опытный в искусстве волшебства...

Спудей... которому выучился не из священных книг, я полагаю?

Гедоний. Нет, из трижды и четырежды проклятых. Несколько придворных дам часто к нему приставали, чтобы он их угостил, и бранили скупцом и скрягою. Наконец он согласился и позвал их в гости, Явились они натошак, чтобы с тем большей охотой откусать. Сели за стол, который так и ломился от самых изысканных яств и напитков; наелись до отвала, поблагодарили хозяина и разошлись по домам. Но очень скоро начало урчать в животе. Дамы изумились: что за чудо — откуда взялся голод и жажда сразу после обеда, да еще такого роскошного? В конце концов все открылось, и над обманутыми смеялись.

Спудей. И поделом: лучше было дома утолить голод чечевицею, чем услаждаться пустыми видениями.

Гедоний. Но, по-моему, намного смешнее, когда толпа вместо истинных благ схватывает пустые тени и восхищается призраками, которые не к смеху приводят, но к вечной скорби.

Спудей. Чем ближе вглядываюсь, тем менее нелепыми кажутся мне твои утверждения.

Гедоний. Пусть на какое-то время именем «удовольствие» называется и то, что по-настоящему к удовольствиям не принадлежит. Но назовешь ли ты медвяное вино сладким, если алоэ примешано гораздо больше, чем меда?

Спудей. Даже если четыре унции примешаны — и то не назову!

Гедоний. Или пожелаешь себе чесотку, оттого что в чесанье заключено какое-то удовольствие?

Спудей. Нет, если только не сойду с ума!

Гедоний. Тогда подсчитай, какая доля горечи примешана к тем лжеудовольствиям, которые рождает развратная любовь, непозволительная страсть, разгул, хмель. Я теперь опускаю самое главное — муки совести, вражду с богом, ожидание вечной казни; но есть ли, скажи, среди этих удовольствий такие, которые не тянули бы за собою целую вереницу внешних зол?

Спудей. Каких зол?

Гедоний. Снова опустим алчность, тщеславие, гнев, гордыню, зависть — любое из этих зол губительно само по себе; задумаемся над теми, что преимущественно славятся как наслаждения. Если за обильной попойкою следует лихорадка, головная боль, спазмы в желудке, расстройство в мыслях, бесчестье, потеря памяти, тошнота и рвота, дрожь во всем теле, — разве Эпикур счел бы это удовольствие желанным?

Спудей. Эпикур велел бы бежать от него, как от огня.

Гедоний. Если юноши — как это случается сплошь да рядом — из утех распутства выносят новую проказу, которую некоторые  
722 зовут «неаполитанской чесоткою» и которая превращает человека в живой труп,

722 Смягчая выражения (греч.).

заставляя его еще при жизни умирать бесчисленное множество раз, — разве не кажется, что они прекрасно прекрасны, эти юноши?

Спудей. Скорее нет, чем да. <sup>723</sup>

Гедоний. Представь себе даже, что наслаждение и страдание уравнивают друг друга: захотел бы ты столько же времени мучиться зубной болью, сколько длилось удовольствие от попойки или от блуда?

Спудей. Я бы отказался и от того, и от другого. Покупать удовольствие страданием — не прибыль, а возмещение убытка. Тут, конечно, предпочтительнее <sup>724</sup>, которую Цицерон отважился назвать «нечувствительностью к боли».

Гедоний. Но ведь все обстоит по-иному: щекотка непопозволенного удовольствия и намного слабее муки, которую она приводит, и, вдобавок, ничтожно коротка. А проказа мучит заразившегося всю жизнь и заставляет умирать тысячу раз, прежде чем разрешит умереть.

Спудей. Таких учеников Эпикур не признал бы.

Гедоний. Большею частью спутница роскоши — нужда, «тяжкий и ужасный груз» <sup>725</sup>, у похоти попутчики — паралич, нервная дрожь, воспаление глаз и потеря зрения, проказа и многое иное. Не правда ли, отличная сделка — в обмен на ложное и, к тому ж, мимолетное наслаждение получить столько бедствий, да еще таких тяжких и долгих?

Спудей. Даже и без всякой муки — мне кажется непроходимым глупцом делец, который самоцветы променивает на стекляшки.

Гедоний. Ты имеешь в виду человека, который жертвует истинными благами души ради поддельных радостей тела?

Спудей. Да.

Гедоний. Теперь обратимся к более точным подсчетам. Не всегда роскошь сопровождается лихорадкой или нуждой, не всегда неумеренность в любовных утехах сопровождается новой проказою и параличом, но муки совести, хуже которых нет ничего, — всегдашний провожатый непопозволенных удовольствий; в этом мы уже согласились.

Спудей. Мало того, иногда они забегают вперед и тревожат душу в самый миг наслаждения. Ты, правда, возразишь, что есть люди, которым это чувство незнакомо.

Гедоний. Тем хуже для них! Кто не предпочтет страдать от боли, чем иметь сердце тупое и бесчувственное? Но если кой у кого необузданность страстей, словно некий хмель, либо привычка к порокам, будто какая-то мозоль, отнимают чувствительность ко злу в юные годы, то в старости, когда, помимо бесчисленных неудобств (а их, излишествами минувшей жизни, накоплена целая сокровищница), страшит близкая и для каждого неизбежная смерть, — в старости, повторяю я, совесть мучит тем тяжелее, чем неподвижнее она была в продолжение всей жизни. Старость и вообще-то невесела из-за многих естественных неудобств, которым она подвержена, но насколько несчастнее, насколько позорнее старость, угнетаемая нечистою совестью! Застолья, разгулы, любовные приключения, пляски, песни и прочее, что казалось сладким юноше, старику горько, и нет у этого возраста иной

<sup>723</sup> Эпикурействуют (греч.).

<sup>724</sup> Бегают по цирюльням (греч.). Цирюльники исполняли роль лекарей.

<sup>725</sup> Бесчувственность (греч.).

<sup>726</sup> Теренций, «Формион», 94.



не тройную, а стократную, — если только ты отнимешь чистую совесть, я без колебаний объявлю, что этот францисканец, босоногий, подпоясанный узловой веревкою, бедно и дешево одетый, изнуренный постами, бодрствованиями и трудами, не имеющий в целом мире даже медной полушки, коль скоро дух его спокоен, живет приятнее, чем тысяча Сарданалов, собранные и соединенные в одном лице.

Спудей. Отчего же в таком случае бедняки, когда и где их ни встретишь, постоянно печальнее богачей?

Гедоний. Потому что большая их часть — вдвойне бедняки. Конечно, болезнь, голод, бодрствование, труды, нагота истощают тело, но не только в этих обстоятельствах, а и в самый час смерти торжествует бодрость духа. Душа хотя и привязана к смертному телу, но от природы она сильнее и потому в известной мере преобразует плоть по своему подобию, в особенности когда к могучему натиску природы присоединяется <sup>735</sup> духа. Вот почему мы часто наблюдаем, как праведники умирают с большею бодростью, чем иные пируют с гостями.

Спудей. Да, этому я нередко дивился.

Гедоний. Но нет ничего удивительного, что неодолимая радость разливается там, где присутствует бог, источник всяческого веселья. Что странного в том, что душа истинно благочестивого человека радуется в смертном теле непрерывно? Ведь счастье ее не уменьшилось бы ни на йоту, даже если бы она спустилась в самую глубь Тартара. Повсюду, где дух чист, там и бог; повсюду, где бог, там и рай; где небо, там счастье, где счастье, там истинная радость и неподдельная бодрость.

Спудей. Но праведники жили бы еще приятнее, если бы некоторых неудобств не было, а были бы рады, которыми они либо пренебрегают, либо не знают их.

Гедоний. О каких неудобствах ты мне толкуешь? О тех, что по общему закону сопутствуют человеческому существованию? О голоде, жажде, недугах, усталости, старости, смерти, ударах молнии, землетрясениях, наводнениях, войнах?

Спудей. Да, и об них тоже.

Гедоний. Но у нас с тобой разговор идет о смертных, а не о бессмертных. Впрочем, и в этих бедствиях положение праведников намного терпимее, чем оголтелых охотников за телесными удовольствиями.

Спудей. Почему?

Гедоний. Во-первых, они давно приучили себя к терпению и потому сдержаннее переносят то, чего нельзя избежать. Далее, они сознают, что все это послано им от бога либо для очищения от грехов, либо для утверждения в доблести, и не только спокойно, но радостно, словно покорные дети, принимают наказания из руки благосклонного Отца и еще благодарят либо за милосердное поправление, либо за неоценимую выгоду и пользу.

Спудей. Но многие причиняют себе телесные тяготы.

Гедоний. Но еще многочисленнее те, кто пользуется целебными средствами, чтобы сохранить или вернуть телесное здоровье. Впрочем, причинять себе тяготы, страдать от нужды, от болезни, от гонений, от дурной молвы в тех случаях, когда к этому не понуждает христианская любовь, — не благочестие, а глупость. А всех, утесненных ради Христа, ради справедливости, кто осмелится назвать несчастными, когда сам господь возглашает их блаженными и велит им радоваться?

Спудей. Однако же и такие утеснения сопряжены с ощущением муки.

Гедоний. Конечно, но оно легко поглощается, с одной стороны, страхом перед геенною, а с другой — надеждой на вечное блаженство. Допустим, тебе внушили бы, что ты никогда не будешь болеть, за всю жизнь не узнаешь никаких телесных тягот, если согласишься, чтобы тебя один раз слегка кольнули иголкой, — неужели ты не принял бы с охотою и удовольствием такое ничтожное страдание?

---

<sup>735</sup> Мощь (греч.).

Спудей. Еще бы! Более того: если бы я точно знал, что у меня никогда в жизни не будут болеть зубы, я бы хладнокровно стерпел и более глубокие уколы — хотя бы даже оба уха продырявили шилом.

Гедоний. Но все огорчения, какие случаются в этой жизни, против вечных мук и легче и короче, чем мгновенный укол против целой человеческой жизни, сколь угодно долгой. Между вещью конечной и бесконечной никакого соответствия нет.

Спудей. Совершенно верно.

Гедоний. Допустим, тебе пообещали бы, что ты проживешь без забот и хлопот до самой смерти, если, в нарушение Пифагорова запрета<sup>736</sup>, один раз рассечешь пламя рукой, — ты, наверно, охотно бы согласился?

Спудей. Конечно, и не один, а хоть и сто раз, — лишь бы меня не обманули!

Гедоний. Бог не может обманывать. Но жжение от этого пламени по сравнению со всей человеческой жизнью дольше, чем вся жизнь по сравнению с небесным блаженством, даже если бы кто прожил три Несторовых века! Ведь как бы мало ни оставалась рука в пламени, все же это какая-то частица земной жизни; но вся человеческая жизнь не составляет и мельчайшей частицы вечности.

Спудей. Мне нечего возразить.

Гедоний. Тогда скажи, неужели ты думаешь, что те, кто изо всех сил и с твердой надеждою спешит к вечности, мучаются тяготами этой жизни — в особенности когда переход так непродолжителен?

Спудей. Нет, не думаю, — были бы только твердое убеждение и твердая надежда на успех.

Гедоний. Теперь перехожу к отрадам, о которых ты упомянул. Да, эти люди не участвуют в плясках и пиршествах, не любят зрелищами, но, пренебрегая ими, наслаждаются иными удовольствиями, намного более приятными; они радуются не менее прочих, но по-иному. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил бог любящим его»<sup>737</sup>. Святой Павел знал, каковы песни, пляски, хороводы и пиршества благочестивых душ даже и в этой жизни.

Спудей. Но есть и дозволенные удовольствия, которые, однако ж, они сами себе воспрещают.

Гедоний. И в дозволенных радостях чрезмерность непозволительна; если же ее исключить, те, кто на первый взгляд ведет жизнь и суровую и тягостную, выигрывают во всем. Может ли быть зрелище великолепнее, чем созерцание нашего мира? А ведь божьи любимцы извлекают из него гораздо больше удовольствия, чем иные. Иные, разглядывая любопытным взором дивное это творение, в душе испытывают тревогу оттого, что причины многого остаются для них непостижимы. Иногда они даже, точно Момы какие-то, ропщут на творца, нередко зовут природу не матерью, но мачехой, и это оскорбление только на словах направлено против природы, а по сути падает на того, кто ее создал, если вообще возможно такое понятие — «природа». А человек благочестивый с душевным удовольствием, взором благоговейным и простосердечным глядит на дела господина и Отца своего; всему он дивится, ничто не порицает и за все благодарит, размышляя о том, что каждая вещь создана ради человека; и, созерцая отдельные вещи, он поклоняется мудрости и благодати создателя, следы которых прозревает в создании. Представь себе дворец, в точности такой, какой Апулей

---

<sup>736</sup> Этот запрет — одно из многих, часто совершенно непонятных и необъяснимых правил, которые составляли своего рода устав древних пифагорейцев. Эразма, по-видимому, они очень занимали: он приводит все «Пифагоровы символы» (как он их называет) в самом начале «Адагий» (Первая тысяча, Первая сотня, пословица вторая), именно ради интереса к ним и без всякой нужды для комментируемой пословицы.

<sup>737</sup> «Первое послание к Коринфянам», II, 9.



придумал для Психеи<sup>738</sup>, или, — если сможешь, — еще более пышный и прекрасный, приведи туда двух зрителей, одного — чужеземца, который для того только и явился, чтобы посмотреть, другого — слугу или сына зодчего, воздвигнувшего здание. Кто будет радоваться больше — пришелец, которому этот дом чужой, или сын, с восторгом узнающий в этом строении ум, богатство и щедрость любимого отца, особенно когда он вспоминает, что все выстроено ради него и для него?

Спудей. Твой вопрос не нуждается в ответе. Но большинство нечестивцев тоже знает, что и небо и все, что под небом, создано ради человека.

Гедоний. Не большинство, а почти все, но не всем приходит это на ум, а если и приходит — больше удовольствия получает тот, кто больше любит творца, так же как охотнее смотрят на небо те, кто стремится к жизни небесной.

Спудей. Скорее всего ты прав.

Гедоний. Что же до сладости пира, то она не в изысканных блюдах и не в искусстве поваров, но в добром здоровье и в голодном желудке. Не думай, будто какой-нибудь Лукулл, уставив стол куропатками, фазанами, голубями, зайчатинной, скарами, сомами и муренами<sup>739</sup>, обедает приятнее, чем благочестивый муж — простым хлебом, овощами и зеленью, запивая либо водою, либо жидким пивом, либо сильно разбавленным вином. Все нехитрые яства он принимает как дар щедрого отца, для всех приправою служат святые речи, все освящает вступительная молитва, чтение Писания, освежающее душу лучше, чем пища тело, и заключительное благодарение. Из-за стола он поднимается не раздувшись, но подкрепившись, не отяжелев, но отдохнув, и отдохнув столько же духом, сколько телом. Неужели ты думаешь, что тот Лукулл, громоздящий лакомство на лакомство, пирует приятнее?

Спудей. Но высшая услада — в любви, если верить Аристотелю.

Гедоний. И здесь побеждает благочестивый, не в меньшей мере, чем за пиршественным столом. Вот послушай. Чем горячее любовь к жене, тем больше радости в объятиях на супружеском ложе. Но никто не любит жену горячее, нежели те, чья любовь подобна любви Христа к Церкви; ибо кто любит супругу ради удовольствия, не любят вовсе. Прибавь, что чем соитие реже, тем оно слаще; об этом знал и языческий поэт<sup>740</sup>, написавший:

*Удовольствие в том, что с нами бывает не часто.*

Впрочем, в соитии заключена самая незначительная часть удовольствия. Гораздо большая — в постоянной совместной жизни, которая всего приятнее у тех, кто искренне любят друг друга христианской любовью. У остальных, когда старится удовольствие, вместе с ним часто старится и любовь; христианская же любовь становится все зеленее, по мере того как увядает радость плоти.

Я тебя еще не убедил, что никто не живет веселее праведников?

Спудей. Если бы все убедились в этом так же, как я!

Гедоний. Значит, если эпикурейцы — это те, кто живет приятно, никто не может называться эпикурейцем с большим правом, чем святые и благочестивые. И если нас тревожат имена, никто так не заслуживает имени эпикурейца, как прославленный и чтимый

---

<sup>738</sup> Имеется в виду знаменитая «вставная новелла» об Амуре и Психее в романе Апулея «Золотой осел» (IV, 28—VI, 24) и сказочный дворец, в котором живет Психея с неведомым супругом (Амуром).

<sup>739</sup> Породы морских рыб, ценившиеся в Древнем Риме как изысканное лакомство.

<sup>740</sup> Ювенал, сатира XI, 208. Стр. 636. Евангельская грешница... — Раскаявшаяся грешница, которая на пиру у фарисея облила ноги Иисуса слезами, утерла своими волосами и помазала миром, за что и услышала от Иисуса: «Прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много» («Евангелие от Луки», VII, 36—50), — один из самых знаменитых эпизодов евангельского предания.

глава христианской философии. У греков означает «помощник». В то время как естественный закон был почти изглажен из памяти грехами, как закон Моисеев скорее распял страсти, чем утишал, как невозбранно правил миром тиран Сатана, лишь Он один подал скорую помощь гнущему роду человеческому. И грубо заблуждаются некоторые, кто болтает, будто Христос от природы сам был печален и мрачен и нас будто бы призывал к безрадостной жизни. Напротив, лишь он показывает нам жизнь, самую приятную из всех возможных и до краев наполненную истинным удовольствием, — если только не висит над нами Танталов камень!

Спудей. Это что за загадка?

Гедоний. Ты посмеешься над притчею, но в шутке здесь заключена серьезная мысль.

Спудей. Итак, жду серьезной шутки.

Гедоний. Рассказывают те, что некогда старались скрыть философские наставления под покровом басен и притч, что некий Тантал был приглашен к трапезе богов — неописуемо роскошной, как они изображают. Когда пришла Танталу пора удалиться, Юпитер, считая неподобающим своему богатству отпускать гостя без гостинца, разрешил ему просить, чего бы тот ни пожелал, — отказа, дескать, не будет. Глупец Тантал блаженство человеческое мерил радостями чрева и глотки и пожелал, чтобы ему всю жизнь можно было провести за таким столом. Юпитер кивнул; желание глупца исполнилось. И вот сидит Тантал у стола, заставленного всеми видами яств и питий; тут и нектар, и розы, и благовония, которые могли бы ласкать ноздри бессмертных; подле — виночерпий Ганимед или кто-то схожий с Ганимедом, вокруг — сладостно поющие Музы; пляшет смешной Силен, балагурят шуты; словом сказать — есть все, что только способно порадовать любое чувство человека, и среди всего этого Тантал сидит грустный, подавленный, испуганный, не улыбнется, пальцем не Притронется к угощению.

Спудей. Отчего?

Гедоний. Оттого, что над головою у него, на одном-единственном волоске, висит громадная скала и, кажется, вот-вот рухнет.

Спудей. Я бы за таким столом не остался.

Гедоний. Но желание сделалось неумолимою судьбою, а Юпитера не так просто умиловить, как нашего бога, который разрешает смертных от пагубных обетов, едва лишь они одумаются. Вдобавок тот самый камень, который не дает протянуть руку к еде, не дает и подняться из-за стола: Танталу страшно, что стоит ему шевельнуться — и камень упадет, и раздавит его в лепешку.

Спудей. Смешная история!

Гедоний. А теперь послушай то, что не смешно. Толпа домогается радости в жизни от внешних вещей, меж тем как радости не дает ничто, кроме спокойствия души, ибо над теми, у кого нечиста совесть, висит камень гораздо тяжелее Танталова. Да нет, не висит, но давит и гнетет душу! И не пустым страхом терзается душа — ведь с часу на час она ожидает, что будет ввергнута в геенну. Скажи мне, сыщется ли в человеческой жизни что-нибудь до того сладкое, что смогло бы по-настоящему развеселить душу, придавленную таким камнем?

Спудей. Нет, ничто, кроме безумия или неверия.

Гедоний. Если бы над этим призадумались молодые люди, которые помешались на удовольствиях, словно пригубив из чаши Цирцеи, и теперь вместо истинных радостей ценят медвяные яды, как бы старательно они береглись, чтобы по опрометчивости не совершить поступка, который всю оставшуюся жизнь будет жечь их душу! Чего бы только не сделали, чтобы собрать дорожный припас на грядущую старость — чистую совесть и ничем не запятнанное имя! Что несчастнее старости, которая, оборачиваясь назад, с ужасом видит, как прекрасно то, чем она пренебрегла, как гнусно то, чем дорожила; глядя же вперед, различает грозный последний день, а тотчас за ним — вечные муки геенны?

Спудей. Да, необычайные, на мой взгляд, счастливицы те, кто сберег в чистоте свой юный возраст и дошел до рубежа старости, непрерывно преуспевая в благочестии.

Гедоний. Второе же место по заслугам принадлежит людям, которые вовремя опомнились от юношеского хмеля.

Спудей. Но что ты посоветуешь тому жалкому старику?

Гедоний. Пока есть дыхание в груди, отчаиваться нельзя никому: пусть он прибегнет к божьему милосердию.

Спудей. Но чем дольше была жизнь, тем больше накопилось грехов — больше, чем песка на морском берегу.

Гедоний. Но милость божия еще обильнее, и намного. Морской песок человеку не счесть, но все-таки число песчинок имеет конец, а господне милосердие не знает ни меры, ни предела.

Спудей. Но у того, кто скоро умрет, уже и времени не остается!

Гедоний. Чем меньше осталось времени, тем горячее пусть взывает к богу: для бога, во всяком случае, времени довольно, и от земли к небу зов подняться успеет. Ведь и краткая молитва достигает неба — был бы только силен порыв духа, ее пославший. Евангельская грешница каялась, говорят, всю жизнь; но сколь немногими словами вымолил рай у Христа разбойник<sup>741</sup> в самый миг смерти. Если всем сердцем воззовет грешник: «Помилуй меня, боже, по великой милости твоей!»<sup>742</sup> — уберет господь Танталов камень, даст слуху радость и веселие, и кости, сокрушенные и смирившиеся, возликуют о прощении грехов.

---

<sup>741</sup> Рядом с Христом были распяты два разбойника, и один из них глумился над Иисусом, а другой, напротив, старался усюветить глумящегося, напоминая ему, что они страдают по заслугам, тогда как Иисус «ничего худого не» сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“ („Евангелие от Луки“, XXIII, 33—43).

<sup>742</sup> «Псалтирь», Л, 3.